Эдвард Радзинский О себе

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Страна наша особенная. В ней за жизнь одного человека, какие-то там 70 с лишком лет, три раза менялись цивилизации. Причем каждая не только заставляла людей отказываться от убеждений, но заново переписывала историю, да по нескольку раз. Я хотел писать от истории. Я хотел жить в Истории. Ибо современность мне решительно не нравилась.

Оставалось только выбрать век и найти в нем героя.

«Есть два драматурга с одной фамилией. Один — автор «Сократа», «Нерона и Сенеки» и «Лунина», а другой — «Еще раз про любовь», «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано», «Она в отсутствии любви и смерти» и так далее. И это не просто очень разные драматурги, они, вообще не должны подавать руки друг другу».

Профессор Майя Кипп, США

- Эдвард Станиславович Радзинский
  - ○
  - ○ Моя театральная жизнь
    - ■ Отец
    - ■ Первые уроки истории
    - ■ Поход к Наполеону
    - ■ «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом»
    - ■ Великий Сергей Митрофанович
    - ■ Смерть поэтов
    - ■ «Я помню день…»
    - ■ Об истории
    - ■ Цитаты
    - ■ Галантный век
    - ■ Казацкие сиятельства
    - ■ Мой герой
    - ■ Рыночный дьявол в Галантном веке
    - ■ «Путь нашего театра лежит через Индию»
    - ■ «Пьеса — это ребенок, которого посадили на горшок…»
    - ■ «Любите ли вы театр, как люблю его я»
    - ■ Конец «Астронома»
    - ■ «Ну не могу я этого прочесть!»
    - ■ И оно свершилось — чудо!
    - ■ Гений Дау
    - ■ «Ленком» в шестидесятых

- «Здорово, Островский»
- Остров
- Большие деньги
- Снимается кино
- «Оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда»
- Еще раз про любовь
- «Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»
- Нос
- Ночной звонок
- «А мы с вами уже не умеем любить»
- Конец эфросовского «Ленкома»
- «Птица, чтобы взлететь, должна стать гордой»
- О Татьяне Дорониной
- МХАТ и «сердечная ненависть»
- МХАТ на линии огня
- «Женщина» и смерть»
- История интеллигенции до Рождества Христова
- «Ваш Сократ говорит не то!»
- Сократ на сцене и в зале
- Интеллигенция до Рождества Христова (продолжение темы)
- Истина статистиков
- Турбаза в монастыре
- Пощечина из гроба
- Разгром
- Смешок
- Лунин
- Дон Жуан жив-здоров и проживает в Москве
- О Дале
- Инородный
- Андрей Миронов
- Лунин: жизнь после смерти
- Рукописи не горят
- Толпа
- Чуть-чуть о прессе
- Два драматурга
- Маргарита
- Пьесы о женщинах
- О драматурге
- О главном режиссере
- Актриса и Достоевский
- Премьера

        - И немного про Брежнева
        - Советский Декамерон
        - Финал
        - «Этот повар будет готовить очень острые блюда»
        - Порвалась цепь великая
        - Уходя, уходи
        - Триллер
        - Разговоры по пути на гильотину
        - Мой театр
        - Шум времени
        - Эпиграф
        - «Сколько дерево ни красить, будет дерево зеленым»
    - Пьесы
        - 104 страницы про любовь
        - Беседы с Сократом
        - Театр времен Нерона и Сенеки
        - Лунин, или Смерть Жака
        - Продолжение Дон Жуана
        - Она в отсутствии любви и смерти
        - Старая актриса на роль жены Достоевского
- notes
    - 1

Эдвард Станиславович Радзинский
О себе

сборник

Моя театральная жизнь

Отец

Отец был интеллигентом, помешанным на европейской демократии. Он часто цитировал мне Томаша Масарика: «Что такое счастье? Это — право выйти на главную площадь и заорать во все горло: «Господи, какое же дурное у нас правительство!»… И глаза его становились влажными.

Его идолом был вождь кадетов Павел Милюков, его частый рассказ — как Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, закрыл своей грудью Милюкова от пули и погиб сам. Отец восторженно приветствовал Февральскую революцию. Это была его революция, его правительство. «Его, как первую любовь, России сердце не забудет», — цитировал он чьи-то стихи о Керенском. Но несколько месяцев свободы быстро закончились, и к власти пришли большевики. Почему он не уехал за границу — он, блестяще образованный, говоривший на английском, немецком, французском и даже думавший часто по-французски? Обычная история: он любил Россию. В 20-х он редактировал одесский журнал «Шквал» и писал статьи под псевдонимом Уэйтинг, что означало «Ожидающий». Ожидающий возврата погубленного мира — мира Февральской революции, мира, где будет править первый свободно избранный русский парламент.

Однако первый русский парламент бесславно погиб (как и Февральская революция). Его заседания преспокойно прекратил полуграмотный матрос с револьвером. И под дулами наганов, под насмешки матросни, избранные народом депутаты, тесня друг друга, покорно заспешили к выходу. В профессию политика входит не только жизнь, но и смерть. Она подчас важнее его жизни. Но не нашлось никого, кто согласился бы умереть во имя свободы… Отец этого понимать не хотел.

Тот краткий глоток свободы — время митингов, надежд, свободы — воистину казался золотым веком в торжественно глухой тьме сталинской России.

В 20-х «Ожидающий» был уверен, что исчезнувший мир Февраля когда-нибудь вернется. А пока он писал сценарии для первых немых советских фильмов на знаменитой Одесской кинофабрике. Но вскоре наступила пора окончательного укрощения мысли. Гибель Авангарда и Утопии — создание сталинской тоталитарной империи.

Мы не позволим жандармским коленям,
Музу зажав, ей кудри остричь.
Будь они из Третьего отделения,

Или из Особого отдела Три, —

гордо писал поэт в 20-х.

Позволили, еще как позволили!

Интеллигенцию наградили страхом и немотой.

Но отец не роптал, он жил тихо, незаметно, точнее — существовал. Оставив журналистику, переводил пьесы с французского, писал инсценировки для театра. В том числе и по романам знаменитого в сталинское время писателя Петра Андреевича Павленко.

Любимым героем отца был философ-скептик Бротто из романа Анатоля Франса «Боги жаждут». И как франсовский герой печально-насмешливо наблюдал ужасы Французской революции, с той же печально-насмешливой улыбкой отец наблюдал жизнь сталинской России… с французским романом в руках.

Он учил меня размышлять, вместо того чтобы действовать. Он верил в изречение: «Кто действует, тот не размышляет». Он просил меня не забывать — даже маленькая монетка, поднесенная к глазу, заслоняет от тебя целый мир. Никакого фанатизма. Любовь к живущим, ирония и сострадание — таков был его девиз. Он был всегда мягок и вежлив и ненавидел спорить. И был прав. В российском споре, обычном споре до ненависти, всегда умирает истина.

И он любил повторять строки: «Но в мире все вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».

И когда я с восторгом декламировал любимую строчку Маяковского: «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп», он только пожимал плечами.

Но однажды все-таки сказал:

— Это завет глупца. Постарайся запомнить другое… понять это сейчас ты вряд ли сможешь. И он заставил меня записать слова Сенеки: «Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца — как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего нам стремиться к мудрости: ибо мудрец без радости не бывает».

Почему его не посадили? Его защитила мощная фигура Павленко. Тот был автором сценариев двух самых знаменитых кинофильмов «Клятва» и «Падение Берлина». В этих культовых фильмах действовал сам Вождь. Романы Павленко тоже были знамениты. Четырежды ему присуждали Сталинскую премию первой степени. Согласно логике тех времен, арестовать отца — значило бросить тень на Павленко.

Но отец понимал: это когда-нибудь закончится.

И он ждал. Был даже собран узелочек на этот случай. Но, несмотря на эту жизнь под топором, он всегда улыбался. Я так и запомнил его с этой вечной улыбкой.

Он очень любил бунинские слова, которые бог весть как донеслись из эмиграции: «Хорошо было Ною — в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел Хам, но ведь тоже всего один». Слова эти часто повторял и знакомец отца Юрий Карлович Олеша.

Первые уроки истории

В 13 лет я начал понимать про Сталина, хотя тогда отец ничего не говорил мне о нем. Но у нас лежало Собрание сочинений вождя. И я с изумлением прочел его. И понял, что все эти ужасные расстрелянные «враги народа» были в свое время друзьями и союзниками Сталина.

Кроме того, к нам приходил некий мальчик Игорек, его кормили, давали ему деньги. И он уходил.

— Его отца посадили, — шепнула мне моя няня.

Няня, как я потом узнал, была дочерью кулака. Отца и мать выслали, а они с сестрой бежали из деревни, и перед бегством няня сожгла свою избу. Моя мать все это знала, но приютила ее.

Однажды я спросил отца о Сталине. Он ничего не ответил. А потом дал мне прочесть рассказ. В нем люди молились в храме божеству. А потом оказалось, что в алтаре за занавесью лежал гигантский спрут.

С 15 лет он стал пересказывать мне устные рассказы Павленко о Сталине. Как и опубликованные впоследствии рассказы Симонова, они были полны восхищения… Восхищения мощью диктатора. Умом диктатора. Юмором диктатора. Рабского восхищения. И отец это как-то легонько подчеркивал. И после каждого рассказа следовал его вечный рефрен: «Может быть, когда-нибудь ты напишешь о нем».

В детстве моим кумиром был Наполеон. Фантастический человек, вернувший в XIX век, обещавший стать веком буржуа и денег, безрассудное величие античных героев. Человек, отвергавший понятие «невозможно».

«Дерзайте!» — любимый лозунг Французской революции — его жизнь!

Я был плохим патриотом. Я много раз читал любимую книгу Тарле о Наполеоне, тщетно надеясь, что на этот раз великий Наполеон все-таки победит. Остров Святой Елены я ненавидел. В конце концов я научился читать книгу Тарле так, как мне хотелось. Я заканчивал читать ее конгрессом в Дрездене, где Наполеон собирал жалких, трепещущих европейских королей. Тридцать европейских монархов съехались поклониться ему. И прусский король, и австрийский император, и немецкие князья — стояли с покорно обнаженными головами, а он стоял перед ними в треуголке с кокардой Французской республики.

Я попросту теперь не читал дальше — ни про отречение, ни про Святую Елену.

Я не мог понять отца, который все пытался объяснить мне,

что без острова Святой Елены, без трагического финала — нет наполеоновской легенды. «У меня были две короны — Франции и Италии. Мне не хватало третьей и самой главной — тернового венца», — цитировал отец слова Наполеона. Пытаясь объяснить: без страдания нет подлинного бессмертия. «Кто такая Мария Антуанетта без гильотины? Заурядная кокетка, носившая корону, как модную шляпку», — говорил отец.

Но тщетно. Я был здоровый подросток. Я не понимал радости страданий. Я понимал тогда только радость побед.

Илья Самойлович Зильберштейн был другом отца и редактором знаменитого «Литературного наследства». Он был знаменитым коллекционером русской живописи. Его квартира была увешана картинами великих мастеров.

— Это — Репин, — объяснял он мне, — очень редкая картина… И это тоже — Репин, а это — Серов…

Но я был равнодушен к его фантастической галерее, ибо там не было Наполеона.

Илья Самойлович решил исполнить мою мечту — он отвел меня к самому Тарле.

Поход к Наполеону

Я не знал тогда его удивительной биографии.

Евгений Тарле был знаменитым историком уже в начале XX века. Один из самых популярных профессоров Петербургского университета, он участвовал в демонстрации — получил удар казацкой шашки. С радостью встретил Февральскую революцию — стал членом Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царского режима.

При большевиках был избран в Академию, но…

Для большевистских историков он оставался подозрительным, «классово чуждым», несмотря на революционный шрам от казацкой сабли.

И уже в январе 30-го года Тарле был арестован. На инспирированном процессе Промпартии он фигурировал как будущий министр иностранных дел в правительстве заговорщиков… Но это была лишь «проба пера» будущих кровавых процессов Большого террора. Тарле посадили. Но сидел он всего полтора года в знаменитых «Крестах», после чего отделался высылкой. Сталин с недоверием относился к врагам Тарле — историкам-марксистам, как правило, почитателям Троцкого и прочих вождей революции. Уничтоживший их всех впоследствии, Сталин быстро вернул Тарле из ссылки. Более того, в разгар террора Тарле вернули звание академика. Сталин, смиритель нашей революции, благосклонно отнесся к его «Наполеону» — смирителю революции французской.

Теперь Тарле жил в знаменитом «Доме на набережной», большинство прежних обитателей которого лежали в бездонной могиле в Донском монастыре. В этот дом и привел меня Зильберштейн.

Тарле шел восьмой десяток, и он был пугающе похож на Наполеона в старости. Он, конечно, это знал.

Во всяком случае, помню, он сидел под огромной гравюрой Наполеона.

Посещение меня разочаровало. Тарле как-то холодно выслушал мои восторги Наполеоном. И вообще, о Наполеоне, к моему разочарованию, в этот вечер он совсем не говорил. Вместо этого он долго и нудно рассказывал о классовых выступлениях французских рабочих в XIX веке. После чего они с Зильберштейном заговорили о письмах Герцена, выкупленных Зильберштейном за границей. Экземпляра «Наполеона» у Тарле почему-то тоже не оказалось. Вместо желанного «Наполеона» он подарил мне свою книгу «Жерминаль и Прериаль». Книга

оказалась все о тех же французских рабочих и показалась мне невероятно скучной. Но главное — там не было Наполеона.

Отец выслушал с улыбкой мои разочарования и промолчал. Он не посмел мне объяснить: увенчанный славой старый академик попросту испугался. Испугался мальчишеских восторгов Наполеоном, как бы порожденных его книгой. Ведь Бонапарт был врагом России. И к тому же душителем революции. «Бонапартизм» — одно из страшных обвинений во время сталинских процессов. И старый Тарле поспешил подарить мне «правильную книгу» — о классовой борьбе французских трудящихся.

Друзьями отца были Виктор Шкловский и Сергей Эйзенштейн. У меня долго хранилось чудом уцелевшее раблезианское письмо Эйзенштейна к отцу с весьма откровенными рисунками. (Его украли из моего дома.) Вообще, от отца осталось мало его личных вещей. Слишком много его знакомых отправились на тот свет, слишком много писем и фотографий ему пришлось уничтожить.

Отец окончил знаменитую одесскую Ришельевскую гимназию. Остались великолепные тома Шекспира и Алексея Толстого, которыми награждали лучших ришельевцев «за благонравие и отличные успехи». И осталась фотография. На ней — шестеро гимназистов, трое из них погибли в Гражданской войне, сражаясь на стороне белых.

«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом»

Но один из бывших гимназистов-ришельевцев жил тогда в соседнем парадном. И часто навещал отца.

Его звали Юрий Карлович Олеша.

Я до сих пор его вижу… Он идет по весенней Москве, коренастый, в длинном, когда-то белом плаще. И этот видавший виды грязноватый плащ почти волочится по асфальту. И шарф как-то щегольски намотан на шею. И шляпа — широкая, тоже видавшая виды, с опущенными полями. Из-под этих полей — его хищный нос, седые усы и беспощадный взгляд нашего писателя в несчастье…

Он входит в букинистический магазин. Букинист почтительно предлагает ему, видно, редкие книги. Стоя у прилавка, он листает страницы. Точнее — ласкает страницы… гладит, нежно переворачивает. А потом с какой-то яростной усмешкой возвращает книгу.

И старый букинист, понимающе покачав головой, ставит книгу на место.

У Олеши нет лишних денег. У него вообще нет денег.

Ибо он пьет.

В 20-30-х годах он гремел. Его повесть «Зависть» была не просто знаменита. Ее начало — эпатажная фраза: «По утрам он пел в клозете», — стала паролем тогдашней «крутой» интеллигенции. Но сейчас, в 50-е годы, его почти не печатают, о нем забыли, и Юрий Карлович Олеша — выпускник Ришельевской гимназии — приходит в наш дом к моему отцу, другому выпускнику той же знаменитой гимназии — поговорить.

Они разговаривают, а я стою под дверью и подслушиваю. Здесь, под дверью, я и получаю уроки Всемирной истории от Юрия Карловича. Я слушаю его бесконечный монолог.

Олеша: «Станислав, порядочный человек не может жить долго. Мы с тобой уже засиделись. Как любил говорить Ильф: «Можно уходить — нового нам здесь уже ничего не покажут…» Хотя я знаю, ты по-прежнему надеешься на мало предсказуемый бег нашей птицы-тройки. Вообще история очень печальная вещь. Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал. Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»

«Тс-с-с!..» — говорит отец.

«Ты думаешь, отрок подслушивает? Это не пугает.

В последнее время мне не хватает аудитории… Так я продолжу мысль, Станислав, цитатой из стихотворения:

Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках!
Я тебе расскажу о таких подлецах,
Кто уходит в историю в белых венцах!

Или еще лучше: «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».

И он хохочет. А несчастный отец боится, что я перескажу эти стихи в школе. Он хорошо знает мою опасную память, тренированную память. Ибо каждый день он заставляет меня учить 14 строк из «Евгения Онегина».

«У Монтеня есть замечательное понятие — «бродяжничество мысли», — продолжает Олеша. — К старости выдумывать какой-то сюжет почему-то стыдно… Все, что мне приходит в голову, я попросту записываю на листочках, и они и должны составить книгу… и это интересно, потому что там нет вранья, ибо нет сюжета!».

И начинается «бродяжничество мысли». Он как-то сладострастно рассказывает, как разыграл Булгакова… «1-е апреля, но по старому стилю, — очень удобный день для розыгрышей. Никто к ним не готов. Булгаков написал тогда письмо Сталину с просьбой его выслать или дать работу. Все ждали ужасного. Но я знал — обойдется. Потому что письмо присоветовал ему написать этот стукач… о котором, помнишь, были чьи-то вирши:

Он идет неизвестно откуда,
Он идет неизвестно куда,
Но идет он, наверно, оттуда
И идет он, конечно, туда…

И 1-го апреля, но по старому стилю, я позвонил Мише (с грузинским акцентом): «С вами будет говорить товарищ Сталин». Он тотчас узнал меня, послал к черту. И наверняка лег спать — он всегда спал после обеда. Но тут его разбудил новый телефонный звонок. В трубке сказали: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Он выматерился, бросил трубку,

понял, что я не унимаюсь. Но тут же звонок последовал вновь, и раздался очень и очень строгий голос: «Не бросайте трубку, товарищ Булгаков, надеюсь, вам понятно?» И тотчас другой голос, с грузинским акцентом, начал сразу: «Что, мы вам очень надоели, товарищ Булгаков?»

«Бродяжничество мысли» продолжается:

«Ты знаешь, Станислав, мир спасет метафора. Вот я никогда не мог запомнить ни одной даты из истории, потому что как только читал дату, я ее уже забывал.

Но если все это прикрыть метафорой?.. Давай вдвоем писать Историю. К примеру: «Скифы с усами, седыми, как дым, жили в каком-то веке». Я буду писать «седыми, как дым», а ты, как не пьющий, будешь уточнять, в каком это было веке. Ты делаешь две ошибки в жизни, Станислав. Первая — ты не пьешь. И вторая — у тебя нет усов. Понимаешь, усы очень важны в нашем климате. Вот Чехов очень ценил усы, он написал: «Мужчина без усов, что женщина с усами». Но Монтень, он первый понял главное предназначение усов. Дело в том, что на усах мы приносим запахи женских поцелуев… О поцелуях читай у Боккаччо. Он писал, что, к сожалению, мужья никак не могут понять, как важно, когда их жен целует другой. Ведь от чужих поцелуев губы их жен… обновляются! Ты знаешь, Станислав, эротическая литература…»

И тут они переходят на французский! Которого я не знаю! На французский — в самом интересном месте! Перемежая французский изречениями на латыни! Которую я не знаю тоже!

Что делать, они были учениками царской, классической гимназии, а я — ученик нашей школы, которая справедливо называется «средней». Я — дитя проекта, который начался с лозунга, достойного героя «Бесов»: «Организованное понижение культуры». И придумал его интеллектуал Бухарин! И продолжился сей проект знаменитым изгнанием. По ленинскому приказу полтораста ученых — цвет общественной мысли России — были выброшены из страны. И они брели по городу Штеттину, под руку со своими женами, толкая перед собой фуры с жалким скарбом. В этой знаменитой нищей процессии шли вместе: Бердяев, Ильин, Лосский, Кизеветтер, князь Трубецкой… кого там только не было! И все это закономерно заканчивалось в 50-х правительством, во главе которого стоял недоучившийся семинарист; рядом с ним были вчерашний сапожник Каганович, вчерашний луганский слесарь Клим Ворошилов и символ интеллигентности, «русский Талейран», человек в пенсне, Молотов, едва закончивший реальное училище. Я был из страны, где необразованность стала синонимом лояльности.

Обычно конец их бесед был для меня опасен: «Дорогой Станислав! — говорил Олеша. — Не пора ли нам немного позабавиться? Призовем отрока, которому надоело ничего не понимать за дверью».

Я вхожу в комнату.

— Правда ли, ты учишь наизусть каждый день 14 строк Пушкина? Представляю, как ты должен его ненавидеть.

— Не обижай. Он разнообразен. Сейчас вместо Пушкина он учит речи Цицерона.

(В борьбе с моей необразованностью отец заставлял меня учить наизусть речи Цицерона. Речи мне понравились. И еще больше жизнь Цицерона. И уже вскоре в сочинении на тему «Кем ты собираешься стать?» я написал, что буду оратором. Изумленная учительница справедливо объяснила мне, что такой профессии у нас нет.

Она, правда, не объяснила мне, что ее нет и не будет.)

— Скажи мне, отрок, кто убил Пушкина? Только не вздумай отвечать, что это сделал Дантес! — начинает Олеша.

Он, улыбаясь, глядит на мои мучения и наконец сообщает:

— Пушкина убил… лирический герой молодого Пушкина!.. Станислав, не волнуйся, сейчас я ему все объясню. Лирического героя молодого Пушкина сам поэт справедливо называет как? «Повеса»! Он постиг что? Что «вечная любовь живет едва ли три недели».

И этот повеса знает только одного врага — это кто? Это муж… (отцу). Станислав, я его не порчу, поверь, он испорченней нас обоих, вспомни себя в его возрасте. Каждое новое поколение гордится, что оно испорченнее предыдущего… И он продолжил меня мучить. — И вот лирический герой А.С. приезжает в имение Каменку, или Каменку, я уж не знаю, как точно… Там живет его приятель, генерал Давыдов, милейший человек, которого он тотчас обзовет: «рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой». У Давыдова жена — прелестная женщина, урожденная герцогиня. Из знаменитого французского рода герцогов де Грамон — Аглая Антоновна. Что делает повеса А.С.? Он ее соблазняет и даже пишет стихи по этому поводу:

Но скука, случай, муж ревнивый…
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись… потом… увы!
Потом забыли клятву нашу;

Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.

Она его бросила. Посмела бросить!! Но лирический герой молодого Пушкина, как Вальмон из «Опасных связей», про которого ты тоже ничего не знаешь, этого не прощает! Он начинает отвратительно мстить женщине, с которой был близок. Он мстит бессердечно. Он ославил ее в чудовищной эпиграмме, где упоминает ее подлинное имя!

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир, за черный ус,
Другой за деньги — понимаю,
Другой — за то, что был француз.
Клеон — умом ее стращая,
Дампе — за то, что сладко пел.
Теперь скажи, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Таков его лирический герой! А каково… каково его кредо? Я обязан тебе рассказать:

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага…
Враг — это муж.
Приятно зреть, как он упрямо
Склонив бодливые рога,
Упорно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится.
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: «Это я!»
Но отправлять его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

Ты понял, что произошло? А.С. предсказал будущее. Все это случится с ним самим. Это история, отрок, об обязательном возмездии за Слово. К нему явится как бы его овеществленное Слово в лице Дантеса. Сам Пушкин в это время уже другой, он написал «Пророка». Но Командор неминуем. И лирический герой Пушкина, воплощенный в лице Дантеса, убивает мудреца Пушкина! А теперь иди, и… забудь все, что я тебе говорил.

И они остаются одни.

А я… я вновь перемещаюсь под дверь — слушать и запоминать.

Великий Сергей Митрофанович

Олеша и отец ударяются в воспоминания.

Олеша: «Королем метафоры был Хлебников».

Я уже знаю о Хлебникове. Я пытался читать его стихи, но ничего не понял. Но я знаю: он великий поэт. Отец объяснил мне: он поэт для поэтов. И только истинным поэтам открывается его красота!

Олеша рассказывает, как Хлебников читал стихи: «Он был наказанием для устроителей вечеров. Прочтет первую строчку, остановится и задумчиво скажет: «И так далее…» И уйдет».

Теперь они переходят к его смерти. Отец рассказывает о дружбе Хлебникова с нашим знакомым Сергеем Митрофановичем. Оказывается, с Сергеем Митрофановичем переписывался некий художник, в доме которого и умер загадочный Хлебников. И у Сергея Митрофановича хранится дневник смерти «поэта для поэтов».

Сергей Митрофанович — давний знакомый нашей семьи. Но совсем недавно отец рассказал, что «наш Сергей Митрофаныч» — не просто Сергей Митрофаныч. Нет ни одного великого в Серебряном веке, с которым он не был бы дружен. Сергей Митрофаныч был другом любимого мною Блока, он был другом Розанова, другом Мережковского и так далее. И Есенин, приехав в Петербург, пошел сначала к Блоку, но от Блока — к Сергею Митрофанычу.

Сергей Митрофанович Городецкий. Уже в начале XX века имя его гремело. Когда Распутин явился в Петербург, Городецкий издал свою первую книгу «Ярь», которая сразу сделала его знаменитым. «Он, — заключает Олеша, — недобиток…»

Смерть поэтов

Между тем отец начинает пересказывать Олеше письма художника, у которого жил Хлебников, — рассказ о гибели великого поэта. И я пытаюсь их запомнить. (Впоследствии Городецкий даст мне прочитать эти письма, я скопирую их и опубликую в своей книге «Наш Декамерон».)

Эти письма меня потрясли. Был тогда общепринятый миф о Луначарском — последнем просвещенном министре культуры, заботливом отце интеллигенции… И в 60-х, когда очередной полуграмотный министр культуры РСФСР Попов спросил у скульптора Вучетича, почему у его скульптуры «Родина-мать» открыт рот, тот мрачно ответил: «Она зовет Луначарского!»

Но в этих письмах был иной Луначарский.

Переписка начиналась с письма художника Петра Митурича, родственника Хлебникова, Городецкому. Митурич писал:

«Сообщаю Вам следующее: Виктор Владимирович Хлебников спустя неделю по прибытии в деревню Сан-талово Новгородской губернии тяжко захворал: паралич ног. Помещен мною в ближайшую больницу города Крестцы. Необходима скромная, но скорая помощь, ибо больница не может лечить его без немедленной оплаты за уход и содержание больного (больница переведена на самоснабжение), и второе — не располагает медицинскими средствами для лечения. Лично мы с женой не имеем средств оплатить эти расходы, и поэту грозит остаться без необходимой медицинской помощи. По мнению врача, ему нужно следующее: 1) 50 г йодистого кальция, 2) мягкий мужской катетер (для спуска мочи), 3) 150–200 довоенных рублей. Прошу Вас ускорить оповещение общества посредством печати о постигшем недуге Велимира Хлебникова и о том, что он не имеет абсолютно никаких средств к существованию. Такое положение материальной необеспеченности и неколебимой сосредоточенности на своем труде и привело его к настоящему положению. До последнего часа он приводил в окончательный порядок свой многолетний научный труд — исследование Времени «Доски Судьбы»…

Пути сообщения таковы: Петербургское шоссе, город Крестцы, или по Николаевской ж. д. до станции Боровенка и на лошадях по Большому тракту 40 верст до Крестцы (на полпути — деревня Санталово, место нашего пребывания). Для телеграмм: Крестцы Новгородской, П. Митурич. Для писем: Крестцы Новгородской, деревня Санталово, Наталье Константиновне Митурич».

И страдавший в те годы безденежьем, как и вся тогдашняя интеллигенция, Городецкий начинает посылать нищему Митуричу какие-то деньги. И «оповещает общество» — обращается за «скромной помощью» к просвещенному наркому Луначарскому, подробно описав ему бедственное состояние несчастного поэта.

Просвещенный нарком ответил:

«Товарищу Городецкому С. М., Красная площадь, 1, от Наркома по просвещению. 4–7. 1922, № 7905.

Дорогой товарищ Городецкий! Я давно уже знаю о болезни Велимира Хлебникова. Первой сообщила мне об этом тов. Рита Райт. Я тотчас же ответил, чтобы она пришла ко мне для переговоров о том, что конкретно можно для Хлебникова сделать. Телеграфировать в Крестецкий исполком я, конечно, с удовольствием могу, но думаю, что это будет довольно-таки бесполезно. Очень хорошо, что вы посылаете туда деньги, но как сможет дать Хлебникову деньги Наркомат по просвещению — я не представляю себе. Дело в том, что совсем недавно РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) предупредила нас, что за все случаи выдачи пособия ввиду болезни он (Наркомат. — *Э.Р.)* впредь, ввиду неоднократных нарушений его указаний, будет предавать суду лиц, которые делают такие распоряжения. Вы ведь знаете, что вся помощь больным сосредоточена в Наркомсобесе и Наркомздраве. Легче, вероятно, было бы поместить Хлебникова в какой-нибудь санаторий за счет НКП (Наркомата просвещения. — *Э.Р* .), так как некоторое количество мест в санаториях, оплачиваемое из смет НКП, существует. Правда, я не знаю, имеются ли свободные места. Надеюсь видеть у себя Райт или Вас, чтобы можно было бы сейчас стелефонироваться с соответствующими органами НКП. Представлять себе дело так, что у меня есть какая-то касса, в которую мне стоит только опустить руку, чтобы оттуда взять сколько угодно миллионов для помощи тому или иному заслуженному лицу, абсолютно неверно. Это дело сложное, требующее постановления Президиума, Коллегии и притом могущее быть произведено только в определенных формах: помещение в больницу, оплата дороги и т. д.».

Пока утрясали «сложное дело», вырабатывали постановление Президиума, искали средства на 50 граммов йодистого кальция и мягкий мужской катетер для спуска мочи, поэт умер.

И вскоре Митурич прислал Городецкому дневник болезни и смерти Хлебникова.

«Дорогой товарищ Городецкий!

Посылаю вам ход болезни В.В. Хлебникова.

В. Хлебников родился 28 октября 1885 г. в селе Тундутове бывшей Астраханской губернии. Окончив в 1903 г. гимназию, Хлебников поступил на математическое отделение Казанского университета… (Далее зачеркнуто. — *Э.Р.)* Родные живут в Астрахани, Большая Демидовская, дом Полякова.

20 мая. Чувствовал вялость, жаловался на расстройство, пил черничный отвар.

23. Ноги еще хуже.

25. Принял глауберову соль, живот и ноги вспухли, принять льняное масло отказался.

26. Просил согревать ноги, потерял чувствительность ног. Бредит числами.

27. Жаловался на боль в сердце, просит свезти в больницу, ночью бредил числами.

28. Свезен в больницу Крестцы.

29. Выпущена моча, дано слабительное.

30-5. Улучшение.

6. Повышение температуры (39). Отказывался спускать мочу. Видел образы людей и чисел в цветах.

7. Опять видел образы людей и чисел. Ухудшение.

8-11. Общее ухудшение. Положение врачами признано безнадежным. Началась гангрена.

11-22. Общее ухудшение, душевное состояние спокойное. Видит образы…

23. Состояние болезни безнадежное. Врачи требуют взять из больницы. Привезен к нам в деревню Санталово.

24 июня. Наблюдалась рвота, речь спутанная, часто непонятная.

25. Заметно ослабел, не мог подниматься, видел образы людей в цветах, рассуждал о числах, говорил, что летал, хотел описать планету Юпитер (описывал планету).

26. Речь опять едва понятная. Просит самогонки.

27. На вопрос, трудно ли ему, ответил: «Да». И повторил: «Да!» Это и было его последнее слово…

28 июня в одиннадцать утра Велимир ушел с земли. Крестцы Новгородской губернии, деревня Санталово. Рост два аршина и 1/2 вершка, величина черепа 58 см. Похоронен двадцать девятого на погосте в Ручьях, в левом углу у самой ограды параллельно задней стене, меж елью и сосной. На сосне надпись и дата. На гробу написано «Председатель Земного Шара Велимир Хлебников». И нарисован земной шар».

Вот так, среди мучений и образов людей в цветах, ожидая йодистый кальций, сгорая в гангрене и путешествуя на планету Юпитер, умер Велимир Хлебников, именовавший себя иногда сокращенно «Предзем шара».

Впрочем, поэт Городецкий тоже фактически умер после революции, хотя еще жил.

Дочь Городецкого, красавица Ная, приходила к нам почти ежедневно. Она дружила с моей матерью. Ная — это сокращенно. Ее полное имя Рогнеда. Это варяжское имя — подарок ей от отца, воспевавшего когда-то языческих богов.

Сам Сергей Митрофанович — редкий гость, и не только у нас. Он почти не выходит из дома. Ибо он болен той же «русской болезнью», что и Олеша. Он пытается заглушить вином то, что происходит за окном, и то, что случилось с ним. Ибо знаменитый в прошлом поэт Серебряного века пишет теперь либретто для советских опер. Городецкий переделал знаменитую «Жизнь за царя» в советскую оперу «Иван Сусанин». И «славься, славься наш русский царь» удачно превратил в «Славься, славься наш русский народ».

Мандельштам записал страшноватые слова некоей старой осетинки: «Ты к ним, Ося, в колхоз не идешь, и я тебя понимаю. А ты иди, а то пропадешь…»

Мандельштам не пошел, и пропал.

Городецкий в «колхоз» пошел, он хотел жить. Люди этого круга говорили о себе: «У нас — «хвосты». «Хвостами» считалась та, прежняя, прекрасная жизнь.

И нынешняя ответственность за нее.

У Городецкого — большие «хвосты»: жизнь и слава в Серебряном веке и знакомство с царской семьей…

Это что — стоять за правду!

Ты за правду посиди… — предлагал поэт в XIX веке… В идиллическом XIX веке стоявший за правду сидел один. В сталинском XX сажали семьями.

А еще точнее — расстреливали семьями.

И не за борьбу, за правду. Всего лишь за прошлое. За «хвосты».

Вот этого Городецкий не захотел. Он старался — писал то, что нужно новой власти. При этом думал, как многие: что сегодня он пойдет в их сторону, напишет все, что им нужно, а потом вернется и напишет другое, истинное. «Но беда состоит в том, — сказал однажды Анджей Вайда, — что когда вы идете в их

сторону, помните: оттуда не возвращаются».

Городецкий не вернулся — он перестал быть поэтом. И потому смертно пил.

Но живым памятником исчезнувшего века он остался.

«Я помню день…»

И однажды оба выпускника царской Ришельевской гимназии решили направить ученика советской средней школы к Городецкому. Для расширения кругозора.

— Но все надо воспринимать высоко, — зверским голосом учил Олеша. — Отрок идет к Поэту, поэтому отрок должен преподнести ему Дар. Даром Поэту может быть только стихотворение. Стихотворение должно быть приятно Сергею Митрофанычу.

Было выбрано стихотворение, посвященное Иннокентию Анненскому (только впоследствии я узнал, что оно принадлежало расстрелянному Николаю Гумилеву):

К каким нежданным и певучим бредням,
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский — последний
Из царскосельских лебедей.
Я помню день: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня с улыбкою учтивой
Слегка седеющий поэт.

— Вот, ты придешь к нему, откинешь ножку, прочтешь. Это прозвучит как бы о нем самом, и он будет доволен. Иди! И я пошел.

Сергей Митрофанович Городецкий жил в доме 1 на Красной площади, который сейчас не существует. Это был дом, построенный в XVI веке. В нем когда-то останавливался Радищев.

Он открыл мне дверь сам. На красном, весьма разгоряченном в тот день лице, торчали огромные усы, видимо, хранившие много поцелуев. Он был в халате и несколько пьян. Он посмотрел на меня какими-то страшными глазами. И, не здороваясь, спросил меня яростно:

— Сколько сундуков открывает скупой рыцарь у Пушкина?

Я не знал.

Он вновь уставился на меня ненавидяще и сказал:

— Как отвратительно ты молод. Ведь ты будешь жить, мерзавец, когда я умру.

И начал читать.

Он читал как-то бешено, продолжая пугать меня взглядом в упор:

Как молодой (яростно — *Э.Р.)* повеса
Ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой,
Иль дурой, им обманутой,
Так я… — и он начал приплясывать —
Весь день минуты жду,
Когда сойду в подвал мой тайный
К верным сундукам. Счастливый день:
Могу сегодня я в шестой!

И тут он закричал совсем страшно:

— Ты понял?! В ШЕСТОЙ… шестой сундук… в шестой сундук — сундук еще неполный…

Горсть золота накопленного всыпать!
Немного, кажется, но понемногу
Сокровища растут.

— Сокровища!! Сокровища! — вдруг пропел он и поволок меня к стене.

Торопливо снял со стены картину в деревянной раме. И за картиной обнаружилось отверстие.

— Иди сюда, — таинственным шепотом позвал он. Схватил мою руку и засунул в отверстие в стене.

— Чувствуешь?

Я наткнулся рукой на что-то твердое.

Он зашептал:

— Это клад. Вынуть его нельзя, потому что на нем крепятся балки… Проклятые балки и древний клад.

Глаза его горели!

Поэт не смог умереть до конца. И обычное крепление балок он превратил в сокровище.

Олеша как-то спросил меня:

— Ты так скверно и часто читаешь стихи, что мне кажется… ты наверняка мечтаешь стать актером. Выбрось это из головы. Ты слишком простодушен. Во Франции до революции только актеры и палачи не пользовались гражданскими правами. И во многих странах напряженно относились к лицедеям, умеющим сегодня притворяться воплощением добродетели, а завтра — зла. Люди театра коварны и неверны — таково это искусство. И таково это племя. Не ходи в актеры!

В актеры я не пошел. Я поступил хуже — я стал драматургом.

Об истории

Я, с гордостью могу сказать, закончил Московский историко-архивный институт с отличием, но… Но я не хотел стать историком. Дело в том, что страна наша особенная. В ней за жизнь одного человека, какие-то там 70 с лишком лет, три раза менялись цивилизации. Причем каждая не только заставляла людей отказываться от убеждений, но заново переписывала историю, да по нескольку раз. И в своей пьесе «Снимается кино» я написал монолог историка:

— Я начинал историком в 20-х годах. Моя первая работа была о Шамиле. Шамиль как вождь национально-освободительного движения на Кавказе. Но уже в 30-х годах взгляды переменились, и он стал считаться «агентом империализма». И я признал свою ошибку. Но во время Отечественной войны он снова стал считаться «освободительным движением», и я признал ошибкой, что я признал свою ошибку. Однако в 49-м году, когда началась борьба с национализмом, он снова стал «агентом империализма», и я признал ошибкой, что я признал свою ошибку, в том, что я признал ошибкой свою ошибку…

Я мог бы продолжить рассказ о бесконечных превращениях бедного Шамиля и в нынешние годы.

Эта анекдотическая история была закономерной. Михаил Покровский, вождь большевистской исторической науки, очень точно сказал о роли истории в России: «История — это политика, обращенная в прошлое».

Еще раньше задачу наших историков раз и навсегда определил Александр Христофорович Бенкендорф. Отец Третьего отделения сказал: «Прошлое России удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что только может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот с какой точки зрения следует оценивать русскую историю».

Эти знаменитые слова остались знаменем на столетия.

Мой учитель (произношу опять с гордостью) — великий историк Александр Александрович Зимин. Его труды охватывали почти тысячелетие в истории России — с IX по XVIII век. Но у него произошла беда, он усомнился в подлинности «нашего все». «Наше все» в истории — это «Слово о полку Игореве».

Точнее, посмел усомниться! И посмел бороться за свои убеждения.

В нормальной стране другое мнение рождает всего лишь дискуссию. Но не у нас.

Началась бешеная травля. В ней приняли участие и достойнейшие люди, которые сами когда-то многое испытали. Эта травля сыграла свою роль в ранней смерти ученого.

Наблюдая неистовость обвинителей, я вспоминал слова Белинского о травле Чаадаева, в которой так же принимали участие достойнейшие люди, страстно обидевшиеся на «Философическое письмо».

«Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся… а тут Чаадаев, видите ли, народную честь зацепил — не смей говорить!.. Отчего же это в странах, больше образованных, где, кажется, чувствительность, должна быть развитее, чем в Калуге да Костроме, не обижаются словами?»

Впрочем, за посмертную судьбу Зимина можно было быть спокойным. Ибо в России вслед за холуйским негодованием непременно следует холуйское подобострастие к тому, кто осмелился перестать быть рабом. В нашем обществе есть давний закон: все обиженные правительством становятся желанны и почетны… как только страсти поутихнут и опасность пройдет.

Цитаты

В той, советской, исторической науке существовала вещь, которая была мне глубоко противна. В любом исследовании должны были быть обязательные цитаты из классиков марксизма-ленинизма. Так что вся работа как бы становилась рабским доказательством этих цитат.

Цитаты из большевистских евангелий освещали и повседневную жизнь. В бесчисленных Домах культуры Ильич весьма часто учил со стен: «Искусство должно быть понятно народу!» Святая фраза, считавшаяся столь же непреложной, как «голубое небо». Она была камнем, на котором стояла идеология искусства шестой части света — социалистического реализма.

Как-то ночью, в половине второго, меня разбудил тревожный звонок. Звонил главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий Александрович Завадский.

О нем мы еще поговорим дальше. Он был в самой что ни на есть ажитации. На восьмом десятке он сделал невероятное открытие, буквально перевернувшее все его мировоззрение. Он открыл подлинную цитату Ильича.

Оказывается, Ленин не говорил: «Искусство должно быть понятно народу». У Ильича он разыскал совсем иное: «Искусство должно быть понято народом».

— Значит, — счастливым голосом кричал он в ночь, — и сюрреализм, и авангард могут быть!!!

Могут! Конечно, могут, если это следует из Ильича! Так же, как если не следуют, — не могут! Все могла защитить и убить нужная цитата. Беда и головная боль были только в том, что у отца этих изречений Ильича в бесчисленных томах его Полного собрания сочинений очень часто были совершенно противоположные цитаты.

Главный идеолог страны Михаил Суслов, опасно похожий на иссушенного постами Великого Инквизитора, имел заветный ящичек с цитатами классиков марксизма-ленинизма, которым он пугал не слишком образованных членов Политбюро. Впрочем, мог тут же успокоить — нужным толкованием.

Галантный век

Итак, я не хотел быть историком. Но я хотел писать об Истории. Я хотел жить в Истории. Ибо современность мне решительно не нравилась.

Оставалось только выбрать век и найти в нем героя. В веке сомнений не было. Конечно же, он… Век великой мощи индивидуальности. Век великих мудрецов и великих авантюристов. Когда путь из сарая во дворец и из дворца на плаху был так короток. Упоительный греховный век с лозунгом, провозглашенным герцогом Орлеанским: «Наслаждайтесь!»

Туалеты дам изысканны и сложны… В начале века царствует кринолин… И они плывут в своих неправдоподобных платьях, как корабли, неся на головах невозможные многоярусные гигантские прически (воздвижение подобной прически обходится в цену небольшого поместья)… Знатная дама могла раздеться только с помощью камеристки или любовника.

— Я уверена, что одежду изобрел какой-то безобразный карлик, — воскликнула в сердцах одна из них.

Галантный век, где главной войной была война за обладание женщиной. Где мужчины думали о том, как соблазнить женщину, а женщина — о том, как быть соблазненной. Век, наказанный за грехи Французской революцией, в которой мистически погибнут все ее отцы.

«Кто не жил в XVIII веке, тот вообще не жил», — вздыхал в XIX веке Талейран.

Героя мне искать не пришлось. Герой нашел меня. В архиве совершенно случайно я наткнулся на документы о нем.

Казацкие сиятельства

Так началось мое первое путешествие во времени.

И уже вскоре я мог представить палящий зной, дорогу в Неаполь и вереницу карет. Это было посольство графа Андрея Кирилловича Разумовского. Я бы назвал его — посольством вечного изгнанника любви.

Граф Андрей был племянником Алексея Разумовского, знаменитого фаворита императрицы Елизаветы. Его дядя Алексей — сын казака, красавец, певчий. Алексея увидела в церкви дочь Петра Великого, молодая красотка Елизавета. И вот он уже «попал в случай». Ее Высочество влюбилась страстно. И когда дочь Петра стала Величеством, вчерашний певчий остался в постели императрицы. Двор прозвал его насмешливо: «ночной император».

«Ночной император» решил привезти в Петербург и своего брата Кирилла. Брат пас скот и в 15 лет был неграмотен. Когда приехали посланцы из Петербурга везти Кирилла в столицу, он залез на дерево — решил, что забирают в солдаты…

Кирилл оказался бешено талантлив. Он будет учиться в знаменитом Геттингенском университете. Еще вчера неграмотный, Кирилл станет президентом Академии наук, последним гетманом Малороссии и одним из главных придворных интриганов.

Но если Кирилл Разумовский был сыном казака, то его сын — уже отпрыск всесильного вельможи. Великолепный граф Андрей — красавец, как все Разумовские. И конечно же, истинное дитя Галантного века, то есть Дон Жуан.

Он становится другом наследника престола Павла Петровича.

Беда случилась, когда умерла жена наследника. Обнаружились ее письма к Андрею. И тогда Павел узнал, что красавец Андрей был не только его другом, но куда большим другом его жены. Взбешенный Павел захотел вызвать его на дуэль, императрица с трудом его образумила. Екатерина была обязана семье Разумовских. Отец Андрея очень помог во время переворота. И она сделала то, что будут часто делать наши правители. Именуется: «посол вон!» Она отправила графа Андрея Кирилловича послом в Неаполь.

Но у графа было положительно пристрастие к коронованным особам. Приехав в Неаполь, он тотчас соблазняет… неаполитанскую королеву! Еще один скандал. Императрица вынуждена повторить: «посол вон…» Она отправила его послом ко двору матери соблазненной королевы — главной ханже

Европы, императрице Марии-Терезии.

Во время этих скитаний по Европе из посольства графа Андрея ушел человек.

Мой герой

Мы так и не знаем, был ли он отпущен или стал, говоря по-нынешнему, невозвращенцем. Его звали Герасим Лебедев… Он был скрипач, причем великолепный. Уже вскоре его имя гремело в Европе. Он стал настолько известным скрипачом, что великий Гайдн в своих мемуарах не забыл написать о встрече с Герасимом Лебедевым.

Но тяга к странствиям гонит его по миру. И все заканчивается старой русской мечтой-сказкой — Индией.

Лебедев приплывет в Индию… Мадрас — владения Ост-Индской торговой компании. Торговля, денежная лихорадка, битвы за собственность — все радости рыночного дьявола. В Индии создаются великие состояния, отсюда возвращаются сказочными богачами. Но он артист и обольщен иным.

Индийская улица… Здесь показывают свое искусство они — бродячие музыканты, заклинатели змей, танцоры. И Лебедев решает увести с улицы на сцену весь этот пестрый, фантастический мир. Он покупает помещение и превращает его в театр, где властвует индийское искусство.

С этого момента он останется в истории Индии. Его новый и вечный титул — основатель первого ИНДИЙСКОГО театра европейского типа. Он это сделал!

Но дальше…

Рыночный дьявол в Галантном веке

То, что произошло дальше, было бы, наверное, очень понятным сейчас. Но тогда для меня эта история была несколько умозрительной.

Итак, вместе с театром Лебедева в Мадрасе существовал обычный европейский театр, принадлежавший Ост-Индской торговой компании. По мере того как театр Лебедева становился моден, театр Ост-Индской компании стал терпеть убытки. В него перестают ходить. И тогда владельцы театра, говоря современным языком, решили «наехать» на конкурента. Но сделали это в стиле Галантного века.

Однажды, идучи по улице, наш герой увидел, как несколько человек избивают одного. В традициях века Лебедев тотчас выхватывает шпагу и разгоняет мерзавцев. Спасенный оказывается столь нужным ему театральным декоратором. Причем настолько умелым, что вскоре наш герой делает его совладельцем своего театра. Ну а дальше — финал интриги…

Спасенный декоратор, конечно же, был подослан.

И подлинным совладельцем театра Лебедева теперь оказался… театр Ост-Индской компании. Лебедев потрясен. Он подает в суд. Разыгрывается процесс — точнее, состязание человека из феодальной страны, все время взывающего к совести и благородству, с законами рыночных отношений.

И Лебедев потерял свой театр. Он покидает Индию совершенно разоренным. Ему остаются лишь воспоминания о фантастическом театре… и место в будущих энциклопедиях по индийскому искусству.

«Путь нашего театра лежит через Индию»

Для меня сомнений не было. Это была та самая желанная история благородного Дон-Кихота. И, конечно, это должна была быть пьеса — театр в театре.

В это время все были увлечены итальянским неореализмом. Подлинность, простота, этакие обычные «трамвайные» лица — вот что ценилось в актерах. Исключительность находили в обыденности. Я все это презирал. И решил вернуть на сцену шекспировский театр страстей.

Я написал пьесу о вечном Дон-Кихоте и о фантастической стране. В джунглях прячутся развалины древних городов, и мистические факиры прямо на улицах беседуют со змеями, и брамины хранят тысячелетнюю мудрость. И нищие мудрецы удивляются глупости европейцев, тратящих бесценную, столь краткую жизнь на собирание бумажек, именуемых ими деньгами… Вся эта риторика была изложена белыми стихами.

Пьесу я отнес в Театр юного зрителя, удобно расположившийся через дорогу от моего дома.

Я перешел через тогдашнюю улицу Горького, через этот допробочный, достаточно пустынный тогда Рубикон.

Состоялась читка.

Прежний Театр юного зрителя, оправдывал тогда свое название. Он ставил пьесы для детей и подростков. Так что его актеры не были избалованы. Они добросовестно играли хороших пионеров, боровшихся с неуспеваемостью, их сверстников мальчишей-плохишей (в этих ролях блистал молодой актер Ролан Быков), играли зловещую Бабу-Ягу и честно воплощали в сказках грибы, лисиц и медведей в первом и втором составах. И вот, после всего этого я прочел им пьесу про страсти — про коварство и любовь… Восторг был невероятный. Я до сих пор храню протокол этого обсуждения. Выступил Ролан Быков. Он сказал: «Путь нашего театра лежит через Индию».

«Пьеса — это ребенок, которого посадили на горшок…»

Ну что делает молодой человек, у которого так блистательно приняли пьесу? Он начинает легкомысленно ждать, когда ее поставят. Но те, кто собирается писать пьесы, должны знать: если пьеса начинающего драматурга принята в театре, это совсем не значит, что ее поставят. Более того, на 90 процентов ее там никогда не поставят…

Итак, время шло, а репетиции не начинались. Каждый месяц я надоедал несчастной заведующей литературной частью мучительным вопросом: когда? Когда вы начнете репетировать эту замечательную пьесу?

Она была изобретательна в ответах. Говорила мне: «Вы понимаете, пьеса — она, как тесто. Оно должно взойти, чтобы испечь пирог. А для этого нужно что? Время!»

В следующий раз она оказалась еще образней: «Пьеса — это ребенок, которого посадили на горшок: умейте подождать».

Так я ожидал бы, думаю, до сегодняшнего дня и оттого жизнь моя, может, была бы куда счастливей, если бы… Если бы Генеральному секретарю Никите Сергеевичу Хрущеву не пришло в голову поехать в Индию.

Во всех газетах описывали индийцев, кричащих загадочное «Хинди — Руси пхай-пхай», означавшее что-то очень дружелюбное.

Как я уже отмечал, мы — страна цитат. Поэтому должностные лица дружно начали искать, чтобы рассказать этакое о нашей вечной дружбе с Индией. Цитаты из Афанасия Никитина были повсюду и уже не радовали. Хотелось «свеженького мясца».

И вот в это время те, кому надлежало ведать культурой, узнали, что в Театре юного зрителя лежит сокровище. Пьеса о русском человеке, «внесшем большой вклад в историю индийского искусства», «о великих корнях нашей дружбы».

Причем это была не просто пьеса, а пьеса, написанная студентом. К тому же очень успешным студентом (в это время в журнале «ЮНЕСКО информейшн» я опубликовал содержание моей студенческой работы о Герасиме Лебедеве. Журнал «ЮНЕСКО» выходил на множестве языков. И со мной тотчас вступил в переписку индийский профессор, исследователь жизни Герасима Лебедева).

… И заметки о пьесе тотчас появились в газетах. Заголовок пьесы — «Мечта моя Индия» — оказался так своевременен в те

дни цветения нашей бессмертной дружбы. И как хорош был подзаголовок статей: «Пьеса, написанная студентом»… Короче, если бы меня не было, меня следовало бы выдумать.

И, конечно же, немедленно начались репетиции. Причем с государственным размахом. Для дальнейшего укрепления нашей великой дружбы был приглашен из Индии индийский режиссер.

Он начал учить бедных артистов Московского театра юного зрителя индийской пантомиме. В пьесе был текст: «Тигр идет на врагов, кровь хлещет из ран. Он изгибается, готовится к прыжку, он не знал хитрого оружия, он хотел сразиться честно… и они убили его».

Наш индийский друг выходил на сцену. Изумляя оливковым лицом, пугая нездешней пластикой, он все это показывал. После чего просил повторить… Выходил на сцену артист Театра юного зрителя и начинал…

Было ясно — нам этого делать не надо.

«Любите ли вы театр, как люблю его я»

И вот в это время, проводя все дни в театре, я начал что-то понимать про театр. Точнее, про его кулисы… Ну написали вы книгу, ну, в лучшем случае, скажут вам — хорошо! Может быть, даже — замечательно! В театре подобные слова жалки. Настоящий театр знает одно слово — гениально! Там все гениально. Гениален режиссер, гениальны актеры, гениален драматург, правда, пока он работает в этом театре. Театр — это очень условное место, но самое условное в театре — это правда.

Я помню, как второй режиссер (который репетировал мою пьесу, прежде чем пришел главный) объяснял мне, что ужасней человека, чем главный режиссер, быть не может… Он — чудовище, которое вскоре придет и присвоит плоды его труда.

Я честно возненавидел главного режиссера. Когда буквально через два дня увидел, как они… мирно шли в обнимку и беседовали. Нет, нет, он тогда не лгал. Просто тогда это было тогда, а сейчас — это сейчас. Театр — это сейчас, это — мгновение.

И еще меня потрясла одна вещь, которая и в дальнейшем меня будет очень удивлять. Дело в том, что во время самой первой читки пьесы актерами как кто читал, так потом и играл. Кто читал хорошо, он и будет играть хорошо, кто читал не очень, он и будет играть не очень… несмотря на все многомесячные репетиции.

Итак, спектакль вышел. О нем было написано много хвалебных статей. Никогда в дальнейшем обо мне не будут так писать… и никогда у меня не будет такого провала!

Дело в том, что взрослые зрители, купив билет, сидят себе и смотрят на сцену, нравится им или нет. Ну не нравятся — уйдут в перерыве. Или досидят тихонечко, да еще похлопают благодарно в конце. Но мерзавцы-дети безобразно искренни. У них все понятно.

Успех сказки у малышей, например, определялся количеством выжатых тряпок. Когда добрую девочку Машу злая Баба-Яга заталкивала в печку, дети от страха не выдерживали… И чем больше было этих мокрых тряпок, тем оглушительней считался успех.

У меня были зрители постарше. Но и они бывали совершенно захвачены происходящим на сцене, хотя здесь уже обходилось без тряпок.

Но, не дай вам бог, если они не были захвачены!

Конец «Астронома»

Я это понял уже на первом представлении. Мой герой, который в самые трудные моменты разражался монологами, вместо того чтобы колоть шпагой, им явно не понравился. Как и положено в XVIII веке, он часто «призывал в свидетели небо», и они быстро прозвали его «астрономом». Так что во время действия они в голос решали задачки и обменивались рассказами совсем не о моей пьесе. Апофеоз наступал перед последней картиной. В ней разоренный Лебедев горестно прощался с любимой Индией. Чтобы в последней картине приплыть в Россию…

Но встретиться с родной землей ему удавалось с трудом. После сцены прощания с Индией, решив, что пытка наконец-то закончена, юный зал дружно вскакивал и бросался к выходу. Но у дверей их ждала отважная «педагогическая часть» театра. Немолодые дамы мужественно сражались, отправляя их обратно. Но большинство все-таки пробивались в желанный гардероб.

Четырнадцать раз я выходил на сцену Театра юного зрителя раскланиваться с вмиг пустеющим залом.

Пятнадцатого не было. Пьесу сняли.

И вот тут бы мне и закончить. Я думаю, это был намек судьбы. Но в театре есть одна беда. В него очень трудно прийти, но уйти из него невозможно. Вы тоскуете по этому фантастическому миру, где все мираж, все представление, и все — «гениально!».

И я продолжил писать пьесы. Я писал пьесы, относил их в театры.

Пьесы нравились, но… ставить их почему-то не хотели. И тем не менее о моих пьесах стали знать. В газете «Советская культура» в обзорной статье о драматургии даже было напечатано об этих пьесах.

И Виктор Борисович Шкловский насмешливо сказал: «Вы заметили, что у вас уже слава, правда, она — подземная».

Но эта слава уже не радовала. В это время у меня уже была семья, должен был родиться ребенок. Мы снимали комнату и жили на подачки от родителей.

А я по-прежнему писал пьесы, которые никто не хотел ставить. И близкие смотрели на меня уже выжидающе — когда же, наконец, я займусь делом!

Единственным моим заработком были информации в московских газетах «Вечерняя Москва» и «Московская правда».

— Ну-с, какой у вас сегодня опус? — спрашивал заведующий отделом информации, читая мои очередные перлы:

«Поздней ночью на улицы Москвы выезжают белоголубые машины, разбрасывающие в обе стороны мощные струи воды. Это машины Второго механического парка… Алеют на Доске почета имена передовиков…» и т. д.

— Этот ужас мы берем. В нем необходимая краткость… а она, как известно, главная сестра таланта… Сеструху напечатаем… А вот другой опус, про ткачиху с «Трехгорки»… как ее по батюшке… для нас велик. Так что возьмите сей опус и суньте его в ж… -с.

Я тщательно проверял свои опусы. Я очень боялся допустить ошибки в фамилиях передовиков. Но заведующий успокаивал меня:

— Не волнуйся. Если мы вставим в твои опусы матерное слово, все равно никто не узнает… нас ведь никто не читает.

Но читал я. Каждое утро я мчался к газетным стендам — считать, сколько опубликовано моих строчек; сколько я за них получу.

«Ну не могу я этого прочесть!»

И свершилось! Подпольная слава помогла! Однажды мне позвонили из Радиокомитета и предложили инсценировать для радио роман, который получил тогда Государственную премию.

С каким восторгом я согласился!

Роман оказался о Гражданской войне. Это был обычный тогдашний графоманский роман на нужную тему, написанный одним из секретарей Союза писателей. При этом роман был необыкновенной толщины.

Назывались подобные сочинения: «секретарская проза».

Я пролистал его и пошел на встречу с автором.

Как и положено, жил он в писательском доме. Хозяин встретил меня в халате. Мне дали чай с бубликами.

Он задал мне несколько вопросов. Я отвечал уклончиво. И он грозно сказал:

— По-моему, вы не читали моего романа. Идите! Идите и прочтите мою книгу! Книгу, которую вам поручили инсценировать!

Я честно прочел треть. Но осилить роман до конца было выше моих скромных сил. И, пробежав глазами остальное, опять отправился к нему.

Он вновь встретил меня в халате. Но чай на этот раз был без бубликов. Он сразу начал с расспросов. Спросил меня о судьбе героя-командарма.

Я рассказал. После чего он поинтересовался некими любимыми им деталями. Они оказались для меня непосильными.

Он сказал:

— Идите и читайте мою книгу!!

Я был почти, как его командарм. Я совершил подвиг — прочел необъятную графоманщину до половины. И остальное внимательно просмотрел. Мне очень нужны были деньги.

… Он сидел в ненавистном мне халате. Мне не дали чая. Я не успел сесть, когда он сурово спросил меня о судьбе какой-то девушки по имени Клава.

Я понял, что погиб. Но решил нагло отвечать. Там вроде была какая-то очень героическая девушка. И, когда я вдохновенно начал, он сказал:

— Никакой Клавы там нет вообще. Вы опять пробежали мой роман — мой труд! Вы в третий раз так и не прочли!

И тут совершенно неожиданно для себя с криком… «Ну не

могу я этого прочесть!» — я бросился прочь из комнаты.

Он написал гневное письмо в Радиокомитет. И оно мне очень помогло.

И оно свершилось — чудо!

Мне позвонил настоящий кинорежиссер. И это был не просто кинорежиссер. Теодор Юрьевич Вульфович был автором очень известного тогда фильма «Последний дюйм».

Оказалось, не ведая о том, я поднимался по ступенькам славы. История моих тщетных походов к секретарю-ромаиисту, наивно-подробно рассказанная им в негодующем письме, мой отчаянный вопль — все это очень веселило читавших жалобу. И они пересказывали эту историю друзьям.

Один из них и пересказал ее Вульфовичу.

Он попросил меня вновь рассказать всю историю.

Я рассказал в лицах.

Задыхаясь от смеха, он сказал:

— Я читал твой последний непоставленный шедевр… (Он имел в виду последнюю пьесу о физиках. — *Э.Р.)* Который он у тебя по счету — непоставленный?

— Третий.

— Мало. У тебя многое впереди. А пока мы напишем сценарий о твоем поколении. Это должен быть сценарий о молодых людях. Твоих сверстниках. В нем должно быть ощущение бури и натиска.

Вообще жизнь «идет полосами и похожа на тигра». И не только печаль не бывает одна, удача тоже бывает не одна. В это время в Театре имени Ленинского комсомола приняли мою пьесу.

Гений Дау

Пьеса была о студентах-физиках. Физики были тогда властителями дум. Они, изобретшие самое страшное оружие уничтожения человечества, были окружены мистическим ореолом. Существовала стойкая легенда о том, что в мире, разделенном на два лагеря, они сумели создать некое надгосударственное братство интеллектуалов. И отвоевали себе право на независимость суждений. Даже Сталин вынужден был терпеть опасные суждения академика Капицы.

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе… —

писал в 60-х Борис Слуцкий.

Когда я работал над пьесой, мне посоветовали встретиться с кумиром молодых физиков, легендарным Дау (так прозвали великого физика Льва Ландау).

Я сумел достать его телефон. Отважился — позвонил.

К моему изумлению, величайший Дау сам подошел к телефону.

Растерявшись, заикаясь, я начал что-то ему объяснять. Он прервал:

— Давайте кратко: что вам от меня нужно?

Я (косноязычно):

— Мне бы поговорить.

Он:

— Приезжайте!

Я:

— Когда?

— Сейчас, — сказал он, продиктовал адрес и тотчас повесил трубку.

Я был потрясен. Ведь величайший Дау не знал про меня ничего.

И я приехал к нему.

Вошел в квартиру и сумел произнести только «Здравствуйте». И больше — ни слова.

Он обрушил на меня длинный монолог — водопад парадоксов. Он сообщил мне, что математики, как науки, вообще не существует, что это спорт, вроде игры в шахматы. И вообще,

математику надо давно передать в институт физкультуры и спорта. И что ни одной из задачек по математике, которые при поступлении в университет задают абитуриентам, он, Ландау, не решил бы…

И так далее. Все это я записал и честно целиком вставил в пьесу.

Он закончил говорить и… простился со мной. Он так и не поинтересовался — кто я, что я думаю о сказанном. Я был ему неинтересен.

Как же распирала, раздирала его жажда говорить, точнее, мыслить вслух, еще точнее — эта игра в парадоксы, коли он мог целый час посвятить совершенно неизвестному, неинтересному ему молодому человеку!

Эту пьесу о физиках «Вам 22, старики!» и принял театр.

«Ленком» в шестидесятых

Театр Ленинского комсомола в это время, мягко говоря, не очень посещался. После смерти своего знаменитого главного режиссера Ивана Берсенева он потихоньку загнивал.

Но именно тогда в театр пришла группа молодых актеров. В моей пьесе играли те, кто потом пройдет через мою жизнь — Александр Ширвиндт, Михаил Державин и Ольга Яковлева.

Играл Всеволод Ларионов — актер, которым бредила страна. Он снялся в популярнейшем фильме «Пятнадцатилетний капитан». И в его героя были влюблены все девочки воистину необъятной тогда родины.

Ширвиндта я узнал раньше. Впервые увидел его в Театральном училище имени Щукина (или попросту в «Щуке»), где вместе с ним училась моя первая жена. Узнав о моем возрасте (я придумал жениться в 10-м классе), он тотчас посоветовал ей подарить мне на свадьбу пионерский галстук.

Увидел я его в спектакле Театрального училища. Играли «Даму с камелиями». Он вышел на сцену… Был неправдоподобно красив. Естественно, играл Армана… Появилась и она — трагическая Маргарита Готье, «дама с камелиями». Дама старательно закашляла, намекая на свою смертельную болезнь. Ширвиндт посмотрел на нее взглядом удава. И спросил печально:

— Ну что, все кашляешь, да?

Зал зашелся от смеха, на этом спектакль, пожалуй, и закончился.

В моей пьесе у него была реплика, которую он сделал бесконечной.

По роли это была несложная присказка: «Вот такие помидоры…» Он разбросал эту присказку по всему тексту. Но перед каждым повтором он задумывался, смотрел в зал гипнотическим взглядом и после этого философского раздумья заменял «помидоры» на что-то вроде: «Вот такие огурцы…» И зал почему-то начинал смеяться. Перед каждой новой присказкой его раздумье в поисках нового фрукта-овоща увеличивалось… Тут были корнишоны, финики, гранаты… Он был изыскан. Теперь он еще не открывал рта, а зал уже хохотал… И когда, уже уходя со сцены, он вдруг оборачивался и произносил: «Вот такие…» и останавливался в самом долгом, томительном раздумье, по залу прокатывались уже какие-то безумные смешки. Но он все держал томительную паузу раздумья. И наконец как-то совсем элегически договаривал: «… патиссоны». Зал заходился в истерическом

смехе.

Он был артист!

На этом спектакле Театр Ленинского комсомола (редкий тогда случай!) был полон.

«Здорово, Островский»

Я был обременен семьей, и строка: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — звучала для меня очень насущно. Я очень хотел побыстрее получить деньги, которые театр должен был заплатить за пьесу.

Но в Театре Ленинского комсомола был настоящий директор. Настоящий директор отличается от просто директора тем, что платить деньги молодому драматургу он физически не может. Поэтому каждый раз, когда я подходил к нему с вопросом: «Когда?», — он весело спрашивал:

— На хлеб с маслом есть?

— Есть! — растерянно отвечал я.

— Ну, вот и хорошо, — и, поощрительно хлопнув меня по плечу, исчезал в кабинете.

Его кабинет был рядом с великолепной мраморной лестницей театра.

Здесь, у лестницы, я и караулил его. Он сбегал с лестницы, возвращаясь в кабинет после очередной репетиции. Но я не успевал раскрыть рот… Весело ударив меня по плечику, с возгласом: «Здорово, Островский!» — он стремительно исчезал в кабинете.

В следующий раз было: «Здорово, Грибоедов!» И он также исчезал в кабинете, куда мне дорогу тотчас преграждала секретарша:

— У Анатолия Андреевича важное совещание.

Я был Сухово-Кобылиным, я был Бомарше, я был даже Шекспиром… Но денег он не платил.

Однажды я не выдержал и в гневе бросился за ним, секретарша не успела меня остановить. Я влетел в кабинет, но там… никого не было!

Запомните: настоящий директор театра может все — даже исчезнуть!

Остров

Все это время мы с Вульфовичем придумывали сценарий. Я был городской человек и потому ветер странствий меня манил. Я придумал сюжет о некоем парне с какого-то далекого острова. Он приезжает завоевывать Москву. Поступает… здесь сомнений не было… поступает в легендарный Физтех (Физико-технический институт).

Оставалось найти остров. В Ленинской библиотеке я нашел в какой-то книге некий остров в Каспийском море. Там с конца XVII века жили беглые староверы. Они летом рыбачили, зимой били тюленей.

Там я решил поселить своего героя.

И мы с Вульфовичем отправились на этот остров.

И началось путешествие. Мы приехали в Махачкалу. От Махачкалы до берега Каспия вез автобус, где в невероятной духоте ехали вместе люди, птицы, животные — козы и куры, но окна нельзя было открывать — летел песок.

С островом я не ошибся — остров оказался великолепен.

Старинные дома… В домах — бронзовые складни XVIII века, старинные иконы староверов и рукописные Библии в горницах — в красном углу.

Дома стояли высоко, на насыпном фундаменте. Великолепные резные деревянные «севрюги»-флюгера ворочались под ветром. Каждый вечер бабы влезали на крыши домов — высматривать возвращавшихся с лова своих мужиков.

Когда-то море плескалось у окон домов, и прибой подходил к заборам. Но уже давно море ушло, и, чтобы теперь дойти до него, нужно было пересечь пустую, растрескавшуюся землю. И каждый раз, возвращаясь по этой земле домой, неся с собой тяжелые багры и сети, рыбаки кляли море за то, что оно ушло, за то, что оставило им никчемную землю, по которой так тяжко ступать уставшими ногами.

Я никогда не забуду бескрайнее небо над островом — «открылась бездна, звезд полна…».

На необитаемой стороне острова жил табун диких лошадей, одичавших после войны. Там жил и единственный волк. Всех волков истребили, а вот этого, одного, оставили. Волк жил в камышах и боялся людей и лошадей. Оттого пришлось ему научиться питаться рыбой. На рассвете он шел к морю, заходил по щиколотку в воду и на меляке ловил рыбу. Он бил ее лапой, выбрасывал на берег, раздирал — песок вокруг был залит

холодной рыбьей кровью. И горько выл.

Здесь же стояли вытащенные на берег старые, отслужившие сейнеры. Кладбище кораблей, ржавевших на берегу… И когда мимо проходили катера — сквозь стрекотание мотора становился различим тонкий, дрожащий звук-стон. Это резонировала обшивка мертвых кораблей.

После каждой зимы кого-то из рыбаков уносило на льдине… Но море обязательно возвращало свои жертвы. Оно выбрасывало утопленников вечерним прибоем на пустынные дальние отмели. Они лежали там, под стынущим вечерним небом, вместе с досками разбитых лодок, бревнами сплавного леса и чересчур игривыми тюленями, запутавшимися в сетях. И так же белели их тела под вечерним небом, как доски, бревна и мертвые тюлени. Каждое воскресенье родственники брали в колхозе грузовик и объезжали остров по кругу, высматривая своих.

Единственным центром веселья на острове был клуб. Здесь по вечерам были танцы, и каждый танцевал то, что умел: кто польку, кто вальс, кто танго. По выходным показывали кино.

В выходные на остров порой заходила флотилия Гослова. Молодые ребята в расклешенных брюках приходили в клуб, неся на плечах подвыпивших товарищей — пусть тоже посмотрят кино… Товарищи мирно лежали у стены, и, когда в зал кто-то входил, его вежливо просили: «Не наступи!»

… Ночь на острове. Тишина. Море лежит неподвижно, и дорожка луны на воде не беспокоится, не мерцает, стынет голубым огнем…

В бухте, прямо на палубах фелюг, раскинув руки, спят приехавшие рыбаки. Жирно блестят намазанные лица — мазь от комаров, а то сожрет их ночью комар. Тяжело ступая по доскам, кто-то пробирается с фелюги на фелюгу, прочеркнула темноту брошенная сигаретка. Потом смех и приглушенный счастливый женский голос:

— У, медведь! Руки-то шершавые… как терки…

— Да, после наших рук хоть ежа за пазуху суй…

Рассвет… Бабочка слетела с рубки и ударила в лицо. Огни фелюг в море холодно догорают, а на небе отходит последняя звезда-зарница…

И там, вдали, где небо сливалось с морем, где в детстве был край его, радостно дымился неясный свет…

А за ним уже кипел пожар. Длинное облако приняло невидимые лучи, побагровело. Всюду задрожал красный отблеск… Все сдвинулось, заходило. Краски падали, умирали, обновлялись. И с непостижимой быстротой оттуда, из-за моря-

океана, вставал пламенный шар. Вот уже показалось его темя, вот уже поднялся крестец. Вот уже он оторвался и пошел гулять над горизонтом. Встало солнце.

И я написал с Вульфовичем сценарий.

Там были не очень принятые по тем временам монологи. А поэтому началась обычная редакторская чистка.

Вульфович почти мальчиком ушел на фронт, прошел всю войну и остался жив. Он был бесстрашен. Он бился, ругался последними словами. Но все равно монологи погибли при цензурных исправлениях. Остались отдельные слова: «Идем вперед и рушим прежних кумиров. И все мы отдадим жизнь какой-то идее. А потом кто-то докажет, что мы ошибались. И это здорово. Наука — это вечный голод мысли».

Сценарий приняли на «Ленфильме». Впервые в жизни я получил «киношные деньги» — огромные по тем временам.

Я стоял у кассы, и кассирша говорила:

— Зачем вам, такому молодому, такие деньги?

Тогда молодые больших денег не имели.

В тот же день мы с Вульфовичем уезжали в Москву — на обсуждение принятого сценария. В Ленинграде меня поселили в дешевой гостинице далеко от вокзала. Добирался до Московского вокзала со множеством пересадок. И чуть не опоздал на поезд.

Нервно расхаживавший по перрону Вульфович был зол. Я был еще злее. На странный вопрос: «Что случилось?», — я злобно начал перечислять все виды транспорта, на которых добирался.

— А такси, чертов богач, ты взять не мог? — спросил он.

Я… забыл о существовании такси. Слишком долго они ко мне не имели никакого отношения.

Но уже вскоре я привык — и к такси, и к другой жизни.

Большие деньги

В это время я стал моден на «Ленфильме». И меня вызвал знаменитый директор киностудии Илья Николаевич Киселев, по прозвищу Дуче.

Была знаменита его крылатая фраза, обращаемая к режиссерам студии:

— Вы должны помнить… постоянно помнить, что скажет о вашей картине простая русская женщина Марья Ивановна Распиз… ева.

Светлый образ Марьи Ивановны Распиз… евой присутствовал на всех обсуждениях.

На очередном Съезде кинематографистов Киселев вышел на трибуну и привычно начал:

— Искусство должно быть понятно народу. Работники советского кино не должны забывать о простом зрителе, о человеке из народа — Марье Ивановне… — Он вдруг побледнел, остановился. И после мучительной паузы вымолвил:

— … Ивановой.

Зал умер от смеха. Когда смех затих, растерянного Илью Николаевича успокоил чей-то голос из зала:

— Ничего, ничего… Она просто вышла замуж.

(Впрочем, ее нетленный образ волнует и поныне.

Правда, она еще раз вышла замуж и получила иностранную фамилию — Рейтинг. И о ней, следуя заветам Ильи Николаевича, постоянно думают труженики кино и ТВ.)

В тот день Илья Николаевич сказал мне: — Ролан (Быков. — *Э.Р.)* хвалил тебя — сказал, что ты здорово пишешь диалоги. Мы тут снимаем фильм про юность Ильича, но там говенные диалоги — не мог бы ты переписать? А мы тебе заплатим, — он подумал и сказал, — как за половину сценария. Для тебя это работа на неделю.

Это были большие деньги. К тому времени я уже научился тратить деньги. И мне опять не хватало. Теперь мне не хватало больших денег.

Но я как-то ясно понял: если сейчас соглашусь — мне конец. Я окончательно привыкну жить на широкую ногу. А это значит, мне придется научиться писать то, что нужно. И халтурить, халтурить!! Как он и предлагает мне сейчас. Но в это время я придумал сюжет будущей пьесы. Пьеса называлась «104 страницы про любовь». Она совсем не была «то, что нужно». И я отчетливо понял — если соглашусь, я ее похороню.

Косноязычно я начал отказываться.

Он прервал меня, походил по кабинету и сказал:

— Понимаешь, это наш козырь к юбилею Ильича.

А диалог, повторю, там — х… й. Ну, черт с тобой, мы заплатим тебе за этот диалог… — и он закончил щедро, — как за целый сценарий!

Он смотрел на меня почти с изумлением, он видел, я колеблюсь. И решил добить меня:

— Ты понимаешь, это ведь государственный заказ… Там ведь, в госзаказе, совсем другие деньги за сценарий… а еще — потиражные… Ты представляешь, какой будет тираж у фильма про Ленина!

Он был прав — он предлагал огромные деньги.

И я не мог ему объяснить.

«Не сумею!» — как-то жалко сказал я и… ушел из кабинета.

Снимается кино

В это время вовсю шли съемки в Москве.

Вульфович был первым, кто снял эпатажную по тем временам сцену чтения стихов модными тогда молодыми поэтами. Знаменитый эпизод в Политехническом из фильма «Застава Ильича» сняли потом.

Наша съемка была ночью — на площади Маяковского. В период хрущевской «оттепели» там читали по вечерам самодеятельные поэты. Вскоре это чтение прикрыли. И не просто прикрыли — вокруг памятника по вечерам дежурили дружинники.

Вульфович решил возродить запрещенное.

Но в фильме у памятника Маяковскому должны были читать стихи тогдашние властители дум — Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Массовку собирать не пришлось. Сотни молодых людей, откуда-то узнавших, что «опять будут читать» и, главное, кто будет читать, окружили памятник.

Евтушенко читал о кубинском юноше Мансано, захватившем радиостанцию и успевшем сказать в эфир «три минуты правды», прежде чем его убили… Там были строчки: «Когда в стране какой-то правит ложь, когда газеты лгут неутомимо», — и в этом месте камера у нас шла вверх, захватывая светящуюся рекламу газеты «Известия»…

«Ты помни про Мансано, молодежь, — читал поэт. — Так надо жить! Не развлекаться праздно! Идти на смерть, забыв покой, уют! И говорить хоть ТРИ МИНУТЫ правду! Хоть ТРИ МИНУТЫ, пусть потом убьют!»

Рев восторга и аплодисменты — толпа обожала главную тогдашнюю смелость: намеки.

В фильме впервые снялись Юлий Ким и Юрий Коваль со своими песнями. Очень модные тогда скульпторы Николай Силис и Владимир Лемпорт сделали декорации и тоже снимались. Главную роль играл оператор знаменитого параджановского фильма «Тени забытых предков» Юрий Ильенко.

Это была попытка показать лица нового поколения.

А потом была экспедиция на «наш остров». И я с ужасом наблюдал обычную картину — как киноэкспедиция весело «разложила на атомы» патриархальную вековую жизнь. Забавы с островными девушками очень напоминали стрельбу по непуганым птицам.

Но фильм был снят. И тотчас, как под каток, попал под

посещение Хрущевым выставки в Манеже и разгром тогдашнего неофициального искусства.

Фильм принимали несколько раз. Вульфович на многочисленных обсуждениях по-прежнему был бесстрашен, он «вел себя как фронтовик среди тыловых крыс» (его слова). Крысы не простили. И страшновато не простили.

У него будет печальная судьба в кинематографе. После «Улицы Ньютона, 1» ему дадут снять всего одну картину, а дальше — тишина.

В кино он вернется слишком поздно, потеряв лучшие годы.

Изуродованный фильм с вырезанными сценами, с кастрированными монологами, был изруган в прессе последними словами.

Одновременно был закрыт и спектакль в Театре Ленинского комсомола. «Пруха» закончилась.

«Оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда»

В тот день я увидел директора театра с очень озабоченным лицом. Он сказал мне: «Понимаешь, Мольер, какая петрушка: твою пьесу сняли. Так что платить за вредную пьеску уже не следует (но именно тогда он заплатил!). А нас с тобой, Сухово-Кобылин, вызывают на идеологическую комиссию».

Он передал мне приглашение. Я все-таки попытался выяснить, за что сняли мою пьесу.

Он сказал: «Понимаешь, старик, ты там муссируешь (было такое идеологическое словцо. — *Э.Р.)* вредную проблему отцов и детей, которая, как всем известно, в нашей жизни отсутствует. У нас, как опять же всем известно, — великое единство поколений».

Я был уверен тогда, что единство поколений есть только на кладбище, о чем я ему сказал. Он хлопнул меня по плечу и попросил запомнить навсегда «важную» строчку классика: «Оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда». И я пошел на идеологическую комиссию. Пошел с большим интересом, ведь до этого не бывал в подобных начальственных сферах.

В зале сидело множество седовласых мужчин. Я сел в конце зала. Вышла ОНА. Она была очень привлекательна. Кто была она, знала вся страна.

Не так давно ее портрет вместе с другими портретами Всемогущего Политбюро украшал здания во время наших славных праздников. И хотя теперь она не была членом Всемогущего, но занимала ответственнейший пост в нашей идеологической стране — министр культуры. Это была Екатерина Алексеевна Фурцева, по прозвищу Екатерина Великая. Или просто — Она, как называли ее во вверенном ей министерстве.

Екатерина Алексеевна рассказала об «идеологических ошибках, допущенных отдельными деятелями» нашей в целом славной культуры. И, в частности, о вредной проблеме отцов и детей, которая муссируется в «некоторых произведениях отдельных драматургов». Здесь она назвала мою пьесу и мою дотоле неизвестную этой аудитории фамилию.

Передо мной сидел в отличном костюме седовласый драматург Георгий Мдивани. После второго упоминания обо мне, когда начали оборачиваться, ища зловредного литератора, я на него пальчиком и показал. И когда в очередной раз она назвала мое имя, все обернулись на него. Он, решил, что с ним здороваются и радостно закивал в приветствии.

Мою пьесу сняли.

Еще раз про любовь

И вот тогда-то я написал пьесу, которую, в общем-то, считаю первой своей пьесой. Когда вы пишете правду, очень важно, чтобы вам повезло с героем.

Мне повезло с героиней. Для меня она была в какой-то мере «князем Мышкиным» в юбке. Писал я эту пьесу больше для себя, без всякой надежды что ее поставят. И начиналась она по тем временам непозволительно: молодой человек знакомится в кафе с девушкой, приводит ее к себе домой. И, как солнечный удар, — их первая ночь, потом утро.

… Утром он весело прощается с нею — уходит очередная случайная девушка. Он видит в окно, как она идет по двору своей танцующей походкой. Но когда она уходит, комната становится пустой. Он чувствует безмерную тоску и пустоту. И подушка пахнет ее волосами… Так начинается их история. Начинается как бы с конца — с обладания… И уже потом они оба попадают, как под поезд, в эту мучительную любовь. Ибо все их прошлое, легкость связей, молодая радость необязательности — все прежнее мстит им.

Я отнес пьесу в Театр Ленинского комсомола. Директор прочел ее с доброй улыбкой… В улыбке было: ты хочешь снова на идеологическую комиссию, но я не хочу!

И все бы, наверное, на этом закончилось, если бы… Если бы в это время в театр не был назначен главный режиссер — Анатолий Васильевич Эфрос. У него была одна особенность, которая по тем временам была странной, даже дикой. Если он читал пьесу и она ему нравилось, он тотчас начинал ее репетировать. Он совершенно не заботился о том, что считалось главным — разрешат ли ее.

Короче, он прочел эту пьесу и даже как-то расчувствовался… И тотчас начал распределять роли. Счастливая полоса жизни вновь возвращалась.

На роль Ее после многих моих и его сомнений Эфрос назначил Ольгу Яковлеву. Он явно не был уверен, но других молодых героинь в театре не было.

Когда она произнесла первую фразу, сомнения закончились. И его и мои.

Это были удивительные репетиции. Эфрос почти не делал ей замечаний. Он с каким-то изумлением смотрел на сцену. Она была, действительно, та самая девочка с московской улицы. Я редко потом видел, чтобы вот так, сразу присвоили роль —

сделали ее своей жизнью.

(Пожалуй, всего один раз, во время съемок фильма «Еще раз про любовь». Тогда на главную роль пробовался Владимир Высоцкий. И текст пьесы тотчас стал его текстом. Он порой говорил «от себя». А я уже не мог понять, где были его слова, где мои. Но начальство на «Мосфильме» — объединением руководил знаменитый Иван Пырьев — ультимативно не утвердило его на роль. Его имя тогда пугало.)

… Возвращаюсь к Яковлевой. Она раскрывала со сцены некие женские тайны. О слезах со смехом после, о яростных истериках… Все это, по-моему, страшно озадачивало Эфроса — он всего этого не знал.

Вот так Яковлева вышла на сцену дебютанткой, а закончила репетиции первой актрисой его театра!

Эфрос и Яковлева — история для романа об Актрисе и Режиссере. Была такая пьеса в начале прошлого века, о гипнотизере, который влюблен в маленькую актриску. Но когда он ее гипнотизировал, она становилась великой. Потом она влюблялась в другого, уходила от него, уже поверив, что играет сама, что она — великая актриса. И тогда его гипноз заканчивался, и она… тотчас становилась маленькой актриской. Волшебство прекращалось. «На пороге сидит его старуха, пред нею разбитое корыто». Когда умер Эфрос, я очень боялся, что также как с той актриской, будет и с Яковлевой. Я ошибся. Она осталась замечательной Актрисой. У нее были интереснейшие роли и после него, но играла она так мало… Мне кажется, что без него ей просто стало неинтересно в театре.

«Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»

Но возвращаюсь в то время.

Во время репетиций Эфроса я получил очередной дар столь щедрой тогда судьбы. В главном театре страны, которым, бесспорно, был тогда Большой драматический театр в Ленинграде под руководством Георгия Товстоногова, тоже взяли мою пьесу. И меня позвали в Ленинград.

Наверное, со времен великого МХАТа не было такой труппы, как в БДТ. Иннокентий Смоктуновский и Павел Луспекаев, Евгений Лебедев и Виталий Полицеймако, Олег Басилашвили и Кирилл Лавров, Сергей Юрский и Владислав Стржельчик, Ефим Копелян и Олег Борисов. Главной героиней в театре была тогда Татьяна Доронина. И рядом с ней звезды — Зинаида Шарко, Эмма Попова.

Я приехал в БДТ на репетиции собственной пьесы. От усердия приехал за два дня до начала репетиций.

И в те два вечера я увидел два знаменитых спектакля.

Первым были горьковские «Варвары».

… В горящем рыжем парике Татьяна Доронина стояла на фоне стены, раскинув руки, будто распятая. Языческая Венера, которую распинают жалкие варвары.

Она играла жену жалкого акцизного чиновника, смешно помешанную на романах о любви. Но это было высокое помешательство — сродни помешательству Дон-Кихота. Это был вечный конфликт, который она будет играть всю жизнь — мечта и обыденность, жажда полета и жалкая обыкновенность.

На следующий день я смотрел «Горе от ума».

С тех пор я видел множество спектаклей. Но до сих пор уверен: кто не был в театре на товстоноговском «Горе от ума», тот не был в театре. На сцене был мираж пушкинского Петербурга. В то время я считал грибоедов-скую пьесу сборником блестящих реплик, великолепных афоризмов, блестяще написанных ролей. По этой пьесе составляли труппу, ибо в ней есть все амплуа. Но ее содержание было для меня абсолютно условным и главный конфликт совершенно надуман. Софья — умная, злая, высокомерная красавица, в нее влюблен блестящий, победительный Чацкий. Но она почему-то предпочитает холопа Молчалиа, туповатого и, главное, жалкого.

В тот вечер в театре Товстоногова я впервые понял опасное

содержание пьесы. Точнее, режиссер понял, а еще точнее — его научило наше время.

На занавесе был эпиграф, определявший смысл товстоноговского спектакля: «Догадал же меня черт с душой и талантом родится в России!» Зал впервые узнавал, что эти слова написал не какой-то злой русофоб, но «наше все» — величайший А.С.

В спектакле были совершенно неожиданные Молчалин и Чацкий. Чацкий (его играл Юрский) — с хохолком, стремительный, очень похожий на академика Ландау. Этакий современный интеллектуал из НИИ, с быстрой небрежной речью. И рядом с ним умный Молчалин! Точнее, разумный. Разумный… нашим разумом. Если Чацкий борется с обстоятельствами, то Молчалин, его играл Кирилл Лавров, уверенно следует за ними, он такой, как время. И если сегодня надо холопничать, он готов унижаться перед собачкой дворника. Но если завтра наступит время смелости, он вмиг станет супер-Чацким…

Товстоногов умер в начале перестройки, но он успел повидать, как все Молчалины тотчас стали Чацкими, и даже Репетиловы к ним примкнули.

Нос

И вот он наступил мой день. После двух великих спектаклей БДТ я пришел на репетицию своей пьесы. Репетировали знаменитости — Татьяна Доронина, Михаил Волков, Олег Борисов, Олег Басилашвили, Владимир Рецептер, Зинаида Шарко… Такой состав был в пьесе начинающего драматурга.

Все они сонно слонялись по сцене и вяло произносили, точнее бормотали, мой текст. Текст стал ужасен.

Между ними бегал молодой режиссер — объяснял им, что они играют новую пьесу нового драматурга. Они по-прежнему цедили текст и всем видом показывали, как они не хотят играть пьесу нового драматурга, а хотят играть старого драматурга Грибоедова и не очень молодого драматурга Горького.

Они демонстративно скучали. Иногда их немного развлекала декорация. Над ними нависал некий угол. И порой очень неожиданно этот угол с диким грохотом начинал двигаться, вызывая приступы их веселья и крики негодующего режиссера. Он никак не мог унять этот проклятый угол.

Мне очень хотелось все бросить и уехать из Ленинграда. Я хотел уехать к Эфросу, у которого так хорошо («гениально!») шли репетиции.

Но я был рациональным молодым человеком. И продолжал приходить на эту адову муку.

Случилось это накануне отъезда. Я, как обычно, мучился, глядя на сцену, когда сзади услышал дыхание. Кто-то нестерпимо громко дышал, будто хотел захватить весь воздух. Когда я обернулся, увидел… только нос! Это был невероятный, какой-то гоголевский нос! У знаменитого художника Альберто Санчеса есть такая скульптура — нос и на нем огромные очки.

Вот это я и увидел.

Но когда я вновь обернулся на сцену, я никого и ничего не узнал. На сцене стояли совершенно другие актеры. Горящие глаза, вдохновенные лица! Это были солдаты, заслышавшие звук боевой трубы! И текст, столь отвратительный минуту назад, зазвучал совсем по-иному.

Это был Он — тот, про кого тогда в Ленинграде говорили: «Нет бога, кроме Гога!» И только безумец мог спросить — кто такой этот Гога? Для людей театра Гога был только один — Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель БДТ и великий режиссер.

Через секунду Гога уже стоял на сцене. Он шептал актерам,

заклинал, показывал, священнодействовал…

И они вновь стали великими. И текст… Текст с каждым мгновением обретал все больший смысл! И грохотавший угол, который невозможно было унять, мгновенно затих, стал двигаться бесшумно.

И, наконец, она — Доронина… Нет, она теперь не играла случайную девочку с московской улицы, она была таинственной женщиной, у которой губы пересыхают от жажды любить.

Однажды во время репетиций Эфрос сказал:

— У нас только одна задача — приподнять пьесу.

Приподнять — значит открыть в ней притчу. За временным увидеть вечное.

На моих глазах Товстоногов творил это волшебство.

И угол, теперь бесшумно двигавшийся над героями, стал крылом самолета, в котором погибнет героиня.

И еще вечным ножом гильотины — Смертью, которая всегда таится рядом с Любовью. И была понятна неотвратимость того, что случится…

На сцене сквозь обыденные слова начинала звучать какая-то странная мелодия. И я вспомнил… Это были стихи Оскара Уайльда:

Мы все убиваем тех, кого любим.
Кто трус — поцелуем, кто смелый — ножом.
Но мы все убиваем тех, кого любим…

Я вернулся в Москву. Я был счастлив. Слишком счастлив. Опасайтесь, друзья мои, быть слишком счастливыми.

Ночной звонок

Ночью раздался он — звонок телефона. И прелестный женский голос (который я тогда так хорошо знал) ласково сказал мне:

— Ну и как — ты счастлив?

— Счастлив, — ответил я элегически.

В ответ зазвучали стальные нотки (очаровательное создание работало редактором в Министерстве культуры):

— Тогда приготовься: твою пьесу снимают.

— То есть как?!

— То есть так: о ней приготовлено постановление.

— ???

— Дело в том, что наш министр Екатерина Алексеевна Фурцева… как и положено истинной Екатерине Великой… много любила. Говорят, даже резала себе вены от любви. Но, как бывает с много любившими дамами, вступив в возраст и в чин, она стала особенно нравственной. А твоя пьеса… это не надо тебе объяснять… очень безнравственная. Там молодой человек спит с девушкой сразу, в первый же день… нет, в первый же вечер знакомства. Короче, послезавтра театр Ленинского комсомола вызван на наш не очень мягкий ковер и уже приготовлено постановление об этом театре. Не могу не обрадовать: твоя пьеса его возглавляет.

— А что же мне делать?

— Умереть.

И повесила трубку.

На следующий день я позвонил в Большой драматический, в Ленинград. Ответила знаменитая заведующая литературной частью, которая всегда была так приветлива и нежна. Теперь ее голос был лишен привычных приятных ноток. На мой вопрос: «Как дела со спектаклем?», — она сухо сообщила, что как только я уехал, заболела актриса, и репетиции временно прекращены. И торопливо повесила трубку.

В театр Ленинского комсомола я дозвониться никак не мог. Директор исчез, у Эфроса телефон молчал. Весь день я думал, что же мне делать. И решил пойти на грозное заседание.

«А мы с вами уже не умеем любить»

Приглашения у меня не было. Заседание начиналось в 10 утра. С половины десятого я начал прогуливаться у входа в Министерство культуры. Я ждал. Наконец он появился — директор театра. Он поглядел на меня с ужасом, как на восставшего из могилы покойника. Вместо того чтобы спокойно отдыхать во гробе — продолжает зачем-то торчать среди живых. Он спросил:

— А что вы тут, собственно, делаете?

Я ответил бодро:

— А меня пригласили… — и почему-то засмеялся.

Он как-то удивленно сказал:

— Ну, пойдемте.

Он был свой человек в министерстве. Так что, оживленно беседуя с ним, я прошел мимо охраны в святая святых. Не спросили ни пропуска, ни приглашения — идиллическое, дотеррорное время…

Зал был полон. Все смотрели на дверь. Наконец дверь распахнулась. И она буквально ворвалась в зал. Вот так, наверное, вылетает потревоженная медведица из берлоги. Взглянув огненно на бедного директора, она сказала:

— Встаньте!

Он встал.

— Почему по городу развешаны эти афиши — «Сто четыре способа любви»?

Директор знал свое дело. Он молчал, и взгляд его был полон раскаяния.

— Молчите? — сказала она трагически. — А знаете ли вы количество абортов среди несовершеннолетних?

Этого директор не знал. Но раскаялся еще больше.

— А я знаю… Я знаю количество абортов среди несовершеннолетних, — повторила она каким-то плачущим голосом. — И вот в это время Театр имени Ленинского комсомола… Ленинского комсомола! — грозно повторила она, — ставит пьесу про шлюшку, которая все время залезает в чужие постели…

Наступила тишина. И в этой тишине, видимо, не выдержав напряжения, я неожиданно для себя… встал.

И сказал:

— Екатерина Алексеевна, там ничего этого нет. И вы неправильно назвали пьесу. Она называется: «Сто четыре страницы про любовь».

Я много потом думал, что такое тишина. Есть описание тишины в лесу, тишины в горах… но тишину, которая наступила тогда, описать отчаиваюсь. Это была какая-то сверхтишина, оцепенение, финал «Ревизора».

Наконец она спросила:

— А кто вы такой?

Я ответил:

— Я — автор пьесы.

Зал несколько ожил — и я даже услышал легкий смешок. Ибо выглядел я тогда лет на шестнадцать, наверное. К тому же для солидности у меня росли какие-то прозрачные усы — вид был отвратительный.

— Вы — член партии? — спросила она грозно.

— Я — комсомолец.

По залу снова пронесся легкий смех. Они никогда не видели в этом зале драматургов-комсомольцев.

Тут она как-то сбилась. Я это почувствовал.

Она сказала:

— Сядьте. Мы дадим вам слово.

И предоставила слово своему заместителю.

Замминистра не был оригинален. Он сказал, что сейчас, когда среди несовершеннолетних такое количество абортов, в Театре имени Ленинского комсомола репетируется пьеса, где «шлюшка постоянно залезает в чужие постели»…

Тут он опрометчиво сделал паузу. Тотчас встал я и сказал:

— Там ничего этого нет. Вы просто не читали пьесу.

… И начался театр…

Екатерина Алексеевна (грозно):

— Сядьте! И немедленно!

Я сел.

Следующим выступал главный редактор газеты «Советская культура». Нельзя сказать, что и он захотел быть оригинальным. Он объявил, что теперь, когда количество абортов среди несовершеннолетних так велико, в это трудное для молодежи время, Театр имени Ленинского комсомола ставит пьесу про «шлюшку»…

Здесь я тотчас поднялся и сказал:

— Ничего этого в пьесе нет. Вы тоже не читали пьесу.

Она:

— Я поняла. Вы решили сорвать наше заседание. Идите и выступайте.

Я должен был умирать от страха… но я умирал от ярости! На меня с большим любопытством смотрел зал. Предстояло нечто

вроде корриды, где человек идет на быка, но без шпаги. Просто идет, и все.

Но я сумел сказать себе — никакой ярости! Ты должен, как твоя героиня, их всех любить. Они несчастные.

И я начал рассказывать. Я рассказывал правду, потому что я не писал пьесу про «шлюшку». Это была вечная история про молодого человека, который ведет ту обычную, веселую и легкую жизнь, которую во все времена вели и будут вести молодые люди. И которую люди пожилые будут именовать «распутством». Он вовлекает в эту жизнь случайную девушку и… и в нее влюбляется! И она тоже. История, тысячу раз рассказанная… и всегда новая. Но любовь — это обязательно пробуждение высокого, чистоты, это — бремя, страдание… Потому что, если этого всего нет, то это скорее следует назвать собачьей страстью, мощным сексуальным порывом… и прочим. Именно «прочим», но не любовью.

Потом министрами культуры перебывало много тухлых мужчин с тухлыми глазами. Их никогда нельзя было ни в чем переубедить. А вот она была женщиной. Прекрасной женщиной. В этом было все.

В этом, думаю, была и ее гибель.

Уже в начале моей длинной речи о любви она вся повернулась ко мне… Она слушала. И не просто слушала.

От напряжения я сразу охрип, и она подала мне воду.

— Не волнуйтесь, — говорила она нежно.

А я видел ее руки с рубцами от бритвы…

И когда я окончил, она долго молчала. Потом сказала:

— Как нам всем должно быть сейчас стыдно…

Я подумал, она скажет, «… что мы с вами не читали пьесу».

Она сделала паузу и сказала куда лучше:

— … Что мы с вами уже не умеем любить.

И далее была неумолима. Она вновь предоставила слово своему заместителю.

Замминистра рассказал, как важно для молодежи умение любить — особенно сейчас, когда такое количество абортов среди несовершеннолетних. Потому что любовь облагораживает молодежь, делает ее чище.

Затем она дала слово главному редактору «Советской культуры». Он тоже отметил, что умение любить облагораживает, и потому количество абортов среди несовершеннолетних после постановки Театра имени Ленинского комсомола сократится…

Я хорошо помнил слова маркиза де Кюстина: «Нигде в мире

нет такого количества вельможных рабов, как в России». И знаменитую фразу Чернышевского помнил: «Все рабы — снизу доверху». Все это я читал, но впервые увидел, как это наглядно демонстрировали.

Мы шли по улице со счастливейшим директором театра. Он сказал:

— Думаю, этак театров сто сейчас будут репетировать твою пьесу.

Я радостно согласился.

Но он ошибся. Их было 120.

По пьесе сняли фильм «Еще раз про любовь».

А потом моя Стюардесса перелетела через наши границы. Спектакль дружно ставили все «братские страны», и даже ФРГ.

За границу, даже в «братские страны», меня не выпустили, но мне переслали фотографии спектаклей. И я радовался, видя: Она — в Польше, Она — в ФРГ, Она — в Венгрии, Она — в Болгарии, Чехословакии, Румынии…

И вышла статья одного из самых модных тогда критиков Инны Вишневской в «Вечерней Москве». Текст звучал так: «Однажды Ермолова, Мартин Иден и драматург Эдвард Радзинский проснулись знаменитыми…»

Но газета напечатала: «известными».

С тех пор на десятилетия я остался «известным». Это и стало моим единственным титулом.

Все это время я ездил в Ленинград. Незадолго до этого пал Хрущев, и наступило столь частое на нашей любимой родине оледенение.

Квалификация держиморд в России всегда на высоте. Искусство хлебороба, столяра может исчезнуть. Но не умение «держать и не пущать». Оно — вечно.

В Ленинграде тотчас началось наступление на БДТ. В спектакле «Горе от ума» предложили снять эпиграф с пушкинскими словами: «Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»

Товстоногов согласился, чтобы спасти спектакль. Потом потребовали заменить Юрского, ибо его Чацкий своими монологами отсылал нас к современному «горю от ума». И Товстоногов опять согласился. Он все сделал ради спасения спектакля, который после этого фактически умер!

В это же время великий Гога готовил один из самых блестящих своих спектаклей. Это была пьеса Леонида Зорина

«Римская комедия», где каждое слово отсылало к родным цезарям и родной империи.

После генеральной репетиции спектакля устроили обсуждение — здесь же, в зале. Обсуждали представители общественности. Как и положено тогда, это были люди, которые отлично понимали в искусстве — знатный карусельщик с завода и прочие знатоки плюс послушные критики и чиновники, руководившие искусством. И все они уничтожали великолепный спектакль и учили первого режиссера Европы, как и что ему надо ставить. Короче, Товстоногову было предложено снять спектакль. И вот здесь у него было два пути. Первый — безумный: сыграть Георгия Товстоногова, кумира тогдашнего театрального мира, и отказаться. И второй — наш, обычный, то есть разумный: подумать о будущем своего театра, о том, что впереди еще много чего, и сыграть другого Товстоногова — лауреата Ленинской и Государственной премий. То есть остаться сидеть на коленях у власти и снять спектакль.

И он снял.

Но произошла беда. Трансляция из зала, где шло позорное побоище, была не выключена. В актерских уборных услышали обсуждение спектакля: как неуважительно разговаривали с великим режиссером, и как он уступил.

Мне кажется, именно с этого обсуждения — с этой капитуляции — что-то изменилось в жизни великого театра. И хотя у Товстоногова еще будут прекрасные спектакли, но… Но почему-то из театра начали уходить замечательные актеры — Смоктуновский, Доронина, Юрский. И вообще, что-то разладилось. И в игре актеров, и в репертуаре. Посмотрев как-то свой старый спектакль, великий Гога сделал беспощадные замечания актерам. Он сказал:

— Я не хотел бы пережить свой театр.

Он не пережил. Его театр оставался великим, когда он умер.

Все это я наблюдал. И решил написать об этом пьесу «Снимается кино». Здесь был наш каламбур: снимается кино (как процесс) и снимается, то есть запрещается. Герой — режиссер… Я решил тогда обозначить, что он немолод, и написал в ремарке: «ему уже 30 лет».

И вот в этом человеке живет Двойник. Как в американском фильме ужасов. Но это «наш Двойник» — внутренний редактор, а точнее — страх.

И этот страх превращает всю его жизнь в цепь очень благородных слов и не очень благородных поступков. Точнее — «наших поступков». Он все время уступает: редактору, уничтожая

лучшие сцены в фильме, который снимает; жене — отказываясь от девушки, которую любит… Но при этом очень мучается…

Был такой очаровательный анекдот.

Чем отличается интеллигентный человек от неинтеллигентного человека? Неинтеллигентный человек знает, что дважды два четыре, интеллигентный тоже знает, что дважды два четыре, но… нервничает.

Мой герой тоже интеллигентно нервничает, мучается. Но почему-то в результате его нервных мучений ломают себе шею другие, а он остается страдать, но в весьма комфортабельных условиях.

И вот эту пьесу я дал Эфросу.

Но он прочел ее совершенно иначе. Он придумал поставить совсем другую пьесу — об искре Божьей, которая не дает погибнуть художнику, о том, что «ты сам свой высший суд…». И как через все падения Художник идет к гармонии.

Эфрос обнажил все пространство сцены. Это было закулисье — неосвещенный гигантский съемочный павильон, где во тьме тонули предметы и люди.

В спектакле играл некий джаз — часть фиглярствующей киношной массовки. И в конце спектакля, как в «Мастере и Маргарите», где все фигляры превращаются в демонов, паясничающий джазист выходил на авансцену и начинал играть. И все преображалось. Это был тот вечный, спасительный зов божественной гармонии, который не дает погибнуть Художнику.

Пьесу бесконечно сдавали начальству. И потому, когда ее разрешили, о спектакле знала «вся Москва». И эта «вся Москва» рвалась на премьеру. С тех пор у меня не раз выходили спектакли, на которые очень трудно было попасть. Но такого не было никогда. Вокруг театра встали дружинники. Через служебный вход рвалась огромная толпа «театральной общественности». Толпа напирала, дружинники яростно отбивались. И мне подбили глаз, когда я пытался пройти через злополучный служебный вход — смотреть свою премьеру. Я сумел прорваться в театр только через главный подъезд. В вестибюле на вынесенной туда кушетке приходил в себя наш знаменитый писатель К.: прорывавшаяся в театр толпа ударила его об угол входной двери.

Конец эфросовского «Ленкома»

Как раз тогда Председатель КГБ Владимир Семичастный написал Брежневу большое письмо о состоянии идеологии в СССР.

Главный гэбэшник страны написал и о нашем спектакле:

«В Театре имени Ленинского комсомола идет спектакль драматурга Радзинского «Снимается кино». Это двусмысленная вещь, полная намеков и иносказаний о том, с какими трудностями сталкивается творческий работник в наших условиях, и по существу смыкается с идеями, охотно пропагандируемыми на Западе, об отсутствии творческих свобод в Советском Союзе, о необходимости борьбы за них. При этом отсутствие якобы «свободы» увязывается с нашим требованием партийности в искусстве».

Но в том то и был парадокс: все это действительно было в пьесе, но не в спектакле. Эфросу было неинтересно ставить о временном. Он ставил о вечном — о Художнике и Гармонии.

Письмо, как справедливо писал Александр Яковлев, опубликовавший его в книге «Сумерки», являлось фактически инструкцией для недавно вступившего на российский престол Брежнева.

В этом доносе Семичастного был целый абзац о вредном репертуаре Театра Ленинского комсомола, где вспомнили заодно и о «104 страницах про любовь». Так что разговор в инструкции-доносе шел, конечно же, не только о судьбе спектакля. Решалась судьба театра.

Но Эфрос, не желавший понимать наступавшего времени, продолжал слушать голос той Трубы. Он репетировал булгаковского «Мольера».

… В тот вечер шла брехтовская пьеса «Страх и отчаяние Третьей империи», когда в театре стало известно: Эфрос снят. На сцене играли фашистский марш. В репетиционном зале обсуждали «шаги» три руководителя театра: Юрий Любимов, Олег Ефремов и Анатолий Эфрос. Сидели и беспомощно говорили. Три истинных вождя тогдашнего театрального искусства. Три беспомощных вождя, ничем не могущие помочь друг другу.

А в это время за сценой действовали. Там собрались актеры. Составили письмо с протестом против снятия Эфроса. Кто-то отправлялся в Дубну, где на природе жили и творили представители научной интеллигенции, чтобы они подписали письмо против снятия Эфроса. Кто-то с тем же письмом поехал в Переделкино, где на природе жили и творили представители

литературы.

Представители научной интеллигенции подписали все. А представители литературы подписали далеко не все, говоря, порой, сакраментальную фразу, что «для Эфроса это снятие даже лучше».

И потом я много раз слышал эту загадочную фразу:

— Так для него будет лучше, если ему будет хуже. Хотя в том, что они говорили, был резон. Они хотели сказать, что он не может быть главным режиссером, потому что нельзя им быть у нас, если ты не умеешь исполнять любимый танец — шажок налево, шажок направо… Если не умеешь отвечать демагогией на демагогию и хамством на хамство.

Но он не только не умел. Он не хотел.

Трагическое ощущение мира — во всех спектаклях Эфроса. И его история — это история о Художнике, о Времени и об Убийстве.

В это время ему предложили стать очередным режиссером в Театре на Малой Бронной. И здесь, как и в случае с Товстоноговым, у него было два пути. Один (его так ждали те, кто его любил) — заупрямиться, отказаться. И думаю, тогда ему предложили бы что-нибудь получше. Он был слишком знаменит, чтобы власть не захотела разрядить обстановку. Но он… Он быстро согласился, поставив лишь одно условие — он приходит на Бронную со своими десятью актерами. И условие, конечно же, было принято.

Но это согласие Эфроса очень разочаровало.

И меня, в том числе. Я его тогда не очень понимал. Дело в том, что человек часто определяется тем, что у него можно отнять. Вот у этого вынь орденок из петлицы, и он — несчастный. Вот у этого — забери должность… А у Эфроса можно было отнять все, только оставить ему одно — возможность репетировать. Он очень точно написал: «Репетиция — любовь моя».

Наш другой знаменитый тогда режиссер Валентин Плучек ехал как-то с Эфросом в одном купе. И Плучек потом с юмором пересказывал их беседу.

Плучек: — Толя, чем вы сейчас занимаетесь?

— Я начал ставить пьесу.

— Подождите, но вы только что закончили другую?

Эфрос удивлено-озадаченно взглянул на него и спросил:

— А чем же еще заниматься?!

… И он пришел на Бронную. В вечно трудной судьбе этого театра будто осталось некое проклятие — кровь расстрелянных

артистов Еврейского театра, когда-то занимавшего это здание.

И туда, в Театр на Малой Бронной, я принес ему пьесу «Обольститель Колобашкин».

Ее сюжет как бы пародировал Фауста и Мефистофеля. Только всемогущий Мефистофель был похож в пьесе на вечно подвыпившего продувного командировочного. А Фауст был тоже «наш» — интеллигент, который жаждет смелости и еще больше боится ее. Но проклятый «Мефистофель» все время вовлекает этого несчастного «Фауста» в разные безумства.

А тот не хочет. Он уже понял: «Прожить жизнь — это как перейти улицу: сначала смотришь налево, а потом направо». И он в том возрасте, когда нужно только «направо». Он не хочет, но… все-таки исполняет опасные придумки «Мефистофеля» к собственному ужасу.

Спектакль был придуман озорно. Должен был быть занавес — точная копия мхатовского занавеса. Только вместо Чайки была огромная Моль. Занавес поднимался, и на сцене оказывался архив, где работал наш интеллигент. Это была пирамида из архивных ящиков, где буквы алфавита образовывали подозрительное сочетание «ёклмн». Теперь, когда ненормативная лексика стала нормативной, я ее ненавижу. Ибо мат, ругательство — это грех. Но тогда это было совсем другое. Это был протест. Против того условного лакированного языка, которым говорили на сцене. И в пьесе я разбросал много начальных строф непристойных частушек, причем некоторые «выражения» цитировались открыто. Так, например, знаменитые слова Хрущева, которые наш волюнтарист произнес в Кремле: «Государство вести — не мудями трясти».

… Ну а дальше все было по тогдашним правилам — сначала сняли хрущевскую цитату, потом поменяли занавес, и так далее…

В спектакле замечательно играл Валентин Гафт.

В этой книге я буду часто писать «замечательно играл». Ибо мне повезло: в моих пьесах играли великие актеры. И это была одна из самых блестящих его ролей. Он был трагичен и смешон, жалок и грандиозен.

Гафт долго не мог избавиться от этой роли. Уже прошло много времени, когда он начал периодически предлагать мне:

— А может быть, возобновим этот спектакль?

Я, конечно же, с энтузиазмом:

— Давай!

И он исчезал… Тогдашняя его жизнь — то есть кино плюс театр — захватывала его. Проходило время. И вдруг он звонил мне опять:

— Ты знаешь, я вчера вспоминал о пьесе, об эфросовском спектакле, давай мы его возобновим?

И я опять:

— Давай!!

Самое удивительное: однажды это случилось. Виктюк начал репетировать, но… Все быстро закончилось ничем.

Однако через какое-то время Валя опять мне позвонил, и наша телефонная игра, точнее, жизнь продолжилась. Хотя я (думаю, и он) — мы оба знали, что ничего не будет. Спектакль остался там — в Лете, частью эфросовской легенды. Ибо искусство театра сиюминутно.

Осталась ли пьеса? Или она сегодня — лишь «дождя отшумевшего капли»? Что делать, как мучительно кричал герой Леонида Андреева: «Ну почему то, что нравилось вчера, не нравится сегодня?»

Однако кроме «сегодня», есть еще «завтра».

«Птица, чтобы взлететь, должна стать гордой»

На мой взгляд, в Театре есть только одно Величество — это актер. Режиссер для меня — лишь Высочество.

Актеры — существа особые. Актер не подвластен нормальному суду.

Никогда не забуду разговор двух великих режиссеров:

— Что вы сейчас ставите?

— Ставлю «Мертвые души».

— Ох, как здорово, я прибегу смотреть. У вас, конечно, Чичикова играет этот замечательный Б.?

— Нет, Б. вообще не играет. Чичикова играет… — И назвал какого-то достаточно среднего актера.

— Но почему, почему не Б.?

— Видите ли, он очень плохой человек.

И тогда тот, второй (после паузы) спросил:

— А вы всерьез думаете, что они люди?

Да, они не люди, они — всё.! Они играют, меняясь ежедневно, эти фантастические хамелеоны — сегодня злодей, завтра жертва злодея; сегодня в пьесе любим, завтра — ненавидим. И я часто думал: с этой изменчивой, иногда больной психикой — как же им страшно читать дурные рецензии.

Когда писатель читает плохую рецензию о себе, ему легко не обратить на нее внимания. Он всегда может вспомнить, что имя первого профессионального критика было Калофан из Калофона, и был он знаменит тем, что критиковал Гомера. Вспомнить и улыбнуться. За письменным столом можно жить разумом.

Художники тоже насмешливо относятся к критике, тому их учит вся история живописи… Пикассо и Альберто Санчес проходили мимо какого-то дома. И Пикассо подошел к стене и с силой пнул ее каблуком. Отлетела штукатурка. И Пикассо сказал:

— Грош цена этому дому, как и грош цена искусству, которое не выдерживает пинков критики.

А у актеров все по-другому. Они живут только чувствами.

Есть точное определение состояния, которое должно быть перед выходом на сцену: «Птица, чтобы взлететь, должна стать гордой». Вот почему плохая рецензия порой убивает роль… Актер теряет полет.

Наш великий актер Борис Николаевич Ливанов, о котором я буду писать дальше, рассказал мне притчу — очередной великолепный ливановский вымысел.

Ливанов сказал:

— Знаете ли вы, как охотятся на льва в Африке? Охотятся с маленькими собачками. Стая маленьких уродцев берет след. Они не нападают. Они лают.

И лев не выдерживает — начинает уходить от этого нестерпимого, похожего на вой, лая. Как и положено льву, он уходит на вершину горы. Но собачки стаей без числа бегут за ним. Они по-прежнему лают, только лают. И, не дойдя до вершины горы, лев падает замертво. Отчего он умирает? От их уродства. От мерзкого вида маленькой пасти. От несовершенства озлобленной твари. От визгливого, позорящего, незатихающего лая.

Но я думаю — он умирает от несвободы от лающих.

«Несвобода от лающих» — причина ранней смерти многих великих актеров.

Да, актер — это Величество, но очень беспомощное Величество. Ибо он очень зависим. И от Высочества — режиссера, и от критики. И, наконец, от своего самого беспощадного повелителя — «Быстро стареют в страданиях для смерти рожденные люди…».

Парадокс: Актер живет, постигает мастерство, он достигает вершины. Теперь он может замечательно сыграть Ромео. Но не может — поздно… «Если бы молодость умела, если бы старость могла».

Время унесло несыгранные им роли. Время для Актера — могила несыгранных ролей.

Я никогда не писал так называемые бенефисные пьесы для актеров. Я писал для себя и только потом, когда пьесу заканчивал, начинал раздумывать о театре и актерах.

Но в это время из Большого драматического театра, из Ленинграда в Москву, во МХАТ, переехала Татьяна Васильевна Доронина.

И я решился написать пьесу специально для нее.

И не только потому, что наши судьбы стали тогда связаны. Она поистине замечательная актриса, и было безумно интересно для нее писать. Она была театральной легендой.

О Татьяне Дорониной

Все необычно в ее театральной судьбе с самого начала. Она приезжает в Москву поступать в театральное. И поступает. Без знакомств, без блата, без папы-мамы — актеров.

Да, она сумела доказать тогда прекраснейшую из истин: талант побеждает! Талант у нее был необычный. Но обычного аттестата зрелости у нее не было, ибо… Ибо поступившая в театральное, Татьяна Доронина училась тогда… в восьмом классе.

Естественно, по правилам она не могла быть принята. Но что такое правила для фантастического места, именуемого Театр? Правила — это радость учреждений. В слезах, но полная тайных надежд, стояла она перед директором знаменитого Училища МХАТ.

Но восторжествовали правила.

И вот самым медленным (потому что самым дешевым) поездом она возвращается в Ленинград. У нее было время обдумать свое поражение. Свое блистательное поражение.

И роль правил в жизни. Впрочем, это она, к счастью (к несчастью), не поймет никогда.

… Она опять — в Москве. Уже по правилам — с аттестатом. И вновь некое исступление: она подает бумаги во все театральные вузы столицы. И поступает. Во все! И сама выбирает. Не ее — а она! Свою судьбу. Судьба — это то самое Училище МХАТ, куда она уже поступила в восьмом классе!

Так сразу начинается ее легенда.

Легенда — о победительнице.

Мы опускаем, правда, несколько странную подробность: ее, блестяще закончившую мхатовское училище, не взяли во МХАТ! В театр, ради которого она шла в это училище! Но таинственные повороты лишь украшают легенду.

Зато дальше все в порядке — легенда торжествует!

Ленинград, Театр Ленинского комсомола. И сразу — главная роль: Женька Шульженко в пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка». И сразу — успех! Взлет!

Женька Шульженко — любимая роль начинающих актрис того времени. Роль, которая открыла путь целому поколению новых актрис. Жажда правды, ненависть к ханжеству, которое было нормой жизни, — все, что они чувствовали, но не умели высказать, — они смогли прокричать словами володинской героини.

И было непонятно: роль рождала актрис или актрисы

рождали роль. И кто она, эта дебютантка, объявившаяся на буквально усыпанном тогда звездами ленинградском театральном небосводе…

Но вот ее приглашают в БДТ.

БДТ 60-х: великая труппа, великий режиссер, великие актеры. И все они вместе, и все они еще молоды.

И вот в такой труппе она сразу стала примой, сыграв первую роль!

Как и должно быть по правилам легенды!

Я видел ее Софью в грибоедовском «Горе от ума». Странную красавицу Софью… Но Доронина, пожалуй, впервые объяснила Софью. Она играла опасную, высокомерную красавицу. Высокомерие и своеволие — предельные, точнее, беспредельные. Своеволие, которое вырастает до размеров бунта! Доронина играла любовь к Молчалину — как торжество беспредельного «я хочу».

Молчалин — раб, слуга. Но «я хочу» — и полюблю ничтожного! Вопреки всем условностям света! Я так хочу!

Чацкий бунтует против общества и авторитетов, и Софья бунтует в своей любви против общества и авторитетов. Они оказываются сродни — Чацкий и Софья: оба беспощадно умны, оба саркастичны и злы. Оба слишком похожи, слишком велики, чтобы быть вместе. Это было бы излишним торжеством гармонии, жизнь редко допускает такие союзы.

Ее Софья была не просто открытием грибоедовской героини. После нее уже трудно было представить другую Софью.

Но в этой бунтующей Софье уже начинала мерещиться будущая Настасья Филипповна из «Идиота», которую она вскоре блистательно сыграет в БДТ.

Роли, роли… Шолоховская Лушка, чеховская Маша, Надя Резаева в пьесе Володина «Старшая сестра» — все театральные события!

И, наконец, Наташа из «104 страницы про любовь». Стюардесса — бессловесная, задыхающаяся в своем смешном сленге, прошедшая падения, разочарования и очарования… И Татьяна Доронина — с ее индивидуальностью. Как ей трудно было ее играть! И как она преобразила типичную московскую девочку в таинственную женщину… Волею случая она возникала в жизни такого милого, но такого обычного современного парня. Она играла то ли реальную женщину, то ли мечту. И, как всякая мечта, она должна была исчезнуть, рассыпаться в прах.

Смерть и любовь — ее тема.

Она должна была все время играть и репетировать. Репетировать и играть. Прекрасный, ненасытный голод Актрисы. Иногда она играла по 30 ролей в месяц. 30 главных ролей в БДТ!

Итак, ее триумф в БДТ, ее легенда!

В 60-е годы все, кто любил театр, знали о ее легендарных ролях, но… мало кто их видел. (Попробуйте попасть в БДТ!)

Ну а как же кино? Кино, которое столь охотно берет театральные знаменитости, вводит их в каждый дом, делает их лица частью жизни толпы!

Кино и Доронина. Опять легенда, которая сложилась именно в это время, в расцвете ее театрального успеха в БДТ.

«Доронину нельзя снимать» — печальный смысл этой легенды. И два ее варианта. Она слишком сильная индивидуальность, ее слишком «много» для кино. И второй: ее театральное величие погибает от соприкосновения с экраном. Как промокашка, экран растворяет ее талант.

Действительно, в это время она снималась у очень профессиональных режиссеров. И, на редкость, незаметно.

Что делать, ее хотели, как всегда, свести к правилам, а она была исключением… Правила не позволяли работать в кино, как в театре. Ее заставляли стать незаметной. И с гордостью заявляли: «Я снял новую Доронину, вы ее не узнаете».

Действительно, не узнавали. На экране одной замечательной театральной актрисой становилось меньше, но новая киноактриса не появлялась.

Она требовала какой-то другой режиссуры, с ней надо было изобретать что-то, или…

Новое не изобреталось, и оставалось «или».

Скромный кинорежиссер Георгий Натансон решился на это «или». Он позволил Дорониной быть на экране собою, то есть прекрасной театральной актрисой. Он взял две ее театральные роли в пьесах «Старшая сестра» и «Еще раз про любовь» — и очень тактично перенес на экран.

И пока все вокруг убедительно доказывали, почему Доронину нельзя снимать, он дал возможность миллионам встретиться с ней.

Начался доронинский кинобум. Продолжение театральной легенды.

Я был свидетелем этого бума — когда со всей страны ей приходили тысячи писем (их приходилось укладывать в мешки), когда девочек называли именами ее героинь, когда носили ее прическу и подражали ее голосу.

Доронина стала суперзвездой кино, так и не став, по мнению

многих кинокритиков, киноактрисой. Еще один поворот легенды.

Никто не попытался раскрыть феномен ее успеха в этих фильмах. Ибо критика знала правила: не хватавший звезд с неба режиссер и слишком театральная актриса не могут создать кино, заслуживающее серьезного разговора.

Случались и забавные истории. Критик З. весьма насмешливо написал в «Советском экране» о фильме «Еще раз про любовь». Нет, это не была разгромная статья, отнюдь! Это было хуже — вежливое пренебрежение. Но результат оказался удивительным: ярость зрителей! Посыпались письма, звонки в редакцию. Возмущение… или подберем другое слово — «активность зрителя» была столь велика, что журналу пришлось придумать специальную зрительскую конференцию для обсуждения фильма. И напечатать итоги обсуждения. Зрители на страницах журнала спорили о том, о чем должны были спорить критики.

Так она стала кинозвездой — явочным порядком, вне правил. А критике удалось с ней помириться (скорее, примириться) в «Трех тополях на Плющихе».

Кинорежиссер Татьяна Лиознова дала ей возможность остаться собой на экране, добавив (или убрав) чуть-чуть. Великое «чуть-чуть» искусства.

В «Трех тополях…» Дорониной не нужно было «играть» Нюру. Ее детство, ее родители — оттуда. Русская деревня. Она там — своя. И Нюра в фильме для всех «своя». Конечно, мы ее знаем, мы не раз ее встречали — такую добрую, такую простую, такую преданную… Но было в этой доброте и преданности нечто беспокоящее. Загадка была какая-то.

Зрители это чувствовали. И писали актрисе смешные письма. Одно из них:

«Мы много раз смотрели фильм, чтобы еще раз увидеть то место, где ваша героиня Нюра не может найти ключ от комнаты, чтобы выйти к шоферу Олегу Ефремову, который ждет ее во дворе. Вы знаете, мы почему-то каждый раз ждали и надеялись: вдруг в этот раз она найдет! И другие люди в зале даже подсказывали вашей Нюре, где этот ключ лежит!»

Милая наивность зрителей. Великая прозорливость зрителей.

Любовь-страсть — вечная тема доронинских героинь. Зрители понимали (точнее, чувствовали), что однажды Нюра все-таки найдет этот опасный ключ! И пропадай тогда пропадом безгрешная, размеренная, уютная жизнь-существование! В такой милой, такой доброй доронинской Нюре таилась лесковская леди Макбет.

И другая ее вечная тема — конфликт мечты и обыденности.

Вспомним сцену сватовства в фильме «Старшая сестра»: чинный вальс во время этого мещанского сватовства. Но вдруг в Наде Резаевой что-то взрывается. И уже ломая движения, сокрушая пластику вальса, начинает Надя-Доронина свой безумный танец. Она танцует страшно, на разрыв! Это танец-бунт, танец-освобождение. Страсть и свобода, талант и воля, которые так хотел убить в ней ее здравомыслящий дядя, рвутся наружу. Побеждают! Любовь как бунт и бунт как любовь — потаенный смысл доронинских героинь.

А потом была знаменитая «Мачеха»… И три победы в зрительском опросе «Советского экрана». Трижды Доронина объявляется зрителями самой популярной актрисой года. Но все эти кинопобеды будут потом.

А тогда она начала работать в Москве после своих ленинградских триумфов. В том самом МХАТе, в который когда-то ее не взяли.

И я написал для нее пьесу. Пьеса называлась «Чуть-чуть о женщине». Такая обычная история: она — одинокая женщина, роман на работе (совместная работа влечет к более тесному соавторству).

Она — Прекрасная женщина. Она страдает, разочаровывается, погибает от любви… чтобы воскреснуть и начать все вновь. Ее называют безумной, но счастье, которое она испытывает, никогда не дается разумным…

Есть изречения, которые так любят мужчины: «Женщина — отдых воина», другое — еще приятнее — великая индульгенция мужского эгоизма: «Всякая женщина счастлива тем счастьем, которое она приносит. Мужчина — только тем счастьем, которое он испытывает».

В этой пьесе был бунт. Бунт Женщины против этих истин.

Роль героини и должна была играть Доронина.

Я отдал эту пьесу во МХАТ.

МХАТ и «сердечная ненависть»

После Эфроса тогдашний МХАТ был для меня, конечно же, компромиссом. Я относился тогда к МХАТу как «к могилам почитаемых, но давно умерших родственников». Но все равно, в самом слове «МХАТ» есть вечный гипноз для драматурга. Так что на читку в старомодный МХАТ шел я со страхом и уважением.

Вошел и… потерялся. В зале собралось множество великих имен. Это были они — очень постаревшие герои «Театрального романа» Булгакова. Да и сам Михаил Афанасьевич, возможно, прятался под покрытом зеленым сукном столом.

Действующим лицам «Театрального романа» пьеса понравилась. Причем понравилась — всем.

Из МХАТа я вышел совершенно счастливый.

Шел по улице Горького, когда мне встретился известный тогда драматург, лауреат еще Сталинских премий некто Т.

Я поздоровался. Он оглядел меня опытным взглядом и усмехнулся.

— Как догадываюсь, из МХАТа идете?

— Да… в некотором роде…

— Пьеску, небось, читали?

Ответил невнятно — боялся сглазить.

— С большим успехом прочли, судя по физиономии?

— Кое-какой был..

— Но уже тревожитесь? Вы ведь наслышаны о весьма печальных отношениях между нашими прославленными артистами — о некоей сердечной ненависти их друг к другу?

Я снова промычал невнятное.

— Наслышаны, голубь… все мы о том наслышаны! Думаете, они хотят друг другу неприятностей? Чтобы ключи, допустим, от квартиры потерял? Или дача сгорела?.. — он как-то нежно улыбнулся и продолжил. — Так вот, мой друг… Пока вы не поймете, что хотят они друг другу только одного… смерти!., вы туда не ходите!

И, похохатывая, удалился.

Пьесу «Чуть-чуть о женщине» во МХАТе ставил Борис Александрович Львов-Анохин. Но для того чтобы спектакль был «истинно мхатовским» (а точнее, для того чтобы Львова-Анохина сразу не съели), был назначен руководитель постановки — народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов.

Во главе МХАТа стояло тогда «художественное руководство». Ливанов был одним из трех руководителей.

Меня привели знакомиться. Нечто великолепное и огромное долго поднималось с кресла. Наконец распрямилась гигантская спина — высотой с кедр. Спина была увенчана совершенно лысой головой.

Он сказал:

— А в молодости я был весь в шерсти.

И захохотал оглушительно…

Борис Ливанов был гениальным артистом. Потрясающий чеховский Соленый, фантастический Чацкий и так далее… длинный список великих ролей. Любимец Станиславского. Один из немногих положительных героев булгаковского «Театрального романа». Ливанов потрясающе рисовал. Его беспощадные карикатуры на великих мхатовцев — лучшая иллюстрация к «Театральному роману».

Он гениально играл Ноздрева. Шулерские продувные глаза, бешеный темперамент. Однажды после премьеры «Мертвых душ» шел Ливанов по улице. Затормозила машина, из нее вышел Алексей Толстой, который сказал: «Боря, я тебя смотрел… ты великий Ноздрев. Как же ты гениально играешь себя!»

И Борис Николаевич ответил тотчас: «Как странно, Алеша, а я ведь думал, что играю тебя!»

Он все время острил. Ливановские остроты тотчас разлетались по Москве.

Однажды он сказал:

— Но лучшая шутка принадлежит все-таки Булгакову. Мы с Мишей играли в игру: кто придумает остроумнее. Однажды Миша ко мне подошел и говорит: «Боря, сегодня выиграл ты». И дает мне приз — двугривенный. Я вопросительно гляжу. И он объясняет: «Сегодня мне приснился сон. Я лежу мертвый, а ты ко мне подходишь и говоришь: «Ну и что? Був Гаков — нема Гаков»…»

Первый разговор с Ливановым:

— Как вам известно, у нас три части руководства.

И я все время хочу понять, какая часть — я… Уж не филейная ли? Пытаются, мой друг, превратить меня в ж… у. Но шалишь! Итак, я буду руководить постановкой. Что это значит? Это значит: друзья моих врагов — ваши враги.

И захохотал. Я не понял тогда, что это был грозный смех.

Вскоре звоню Ливанову. Спрашиваю обычное:

— Как дела?

Он отвечает:

— Как у ореха между дверьми…

И это было правдой. Уже на следующий же день после того, как Ливанов стал руководителем постановки, добрая половина знаменитых мхатовцев, тех, кто после читки так славили мою пьесу, стали ее врагами. Это были враги Ливанова. Но другая часть (не менее знаменитые и даже те, кто не был на читке) стали ее преданными друзьями. Излишне объяснять — они были сторонниками Ливанова.

Такова была все та же знаменитая «сердечная ненависть» мхатовцев друг к другу.

И уже вскоре директор МХАТа с постоянно печальными глазами (телец на заклание) сообщил, что ему позвонили из самой «Правды». В наш главный печатный орган пришло коллективное письмо, клеймившее вредную пьесу «Чуть-чуть о женщине» и подписанное множеством народных артистов. Но прошло немного времени, и в той же «Правде» лежало другое письмо с не менее знаменитыми фамилиями — уже за пьесу…

Страсти накалялись.

МХАТ на линии огня

Все это время я ходил на спектакли великого МХАТа. На сцене шли возобновления воистину бессмертных спектаклей, но… поставленных (увы!) много лет назад. В них играли все те же великие актеры. Но теперь совокупный возраст трех сестер в чеховской пьесе заставлял вспоминать даты из истории до отмены крепостного права. В «Ревизоре» Городничиху играла Ольга Николаевна Андровская. Эта обольстительная в прошлом «гранд-кокет» в весьма игривой мизансцене выбрасывала многолетние ноги, соблазняя Хлестакова…

На все это глядели главные зрители балкона — дети. Их привозили смотреть классику, но главное — заполнять мхатовский балкон.

Так вновь я встретился с юными зрителями, когда-то сгубившими «Мечту мою Индию!».

Как и положено, новое поколение оказалось куда опаснее своих старших братьев. Они изобрели увлекательнейшее и очень спортивное занятие. Во время спектаклей (которые казались им нестерпимо скучными) стреляли из рогаток в несчастных артистов.

Часть сцены перед оркестровой ямой была превращена в беспощадную линию огня… Вот Хлестаков опрометчиво приблизился к рампе — и тотчас, легонько взвизгнув, хватается за зад и стремительно удаляется в глубь сцены. Досталось и забывчивой Городничихе — и вот уже старая дама быстро семенит прочь от опасной рампы, держась за то же место. Счастливый шепот на балконе:

— Два — ноль в пользу «Спартака»!

А вот и Бобчинский с Добчинским получили свое. Согласно бессмертной мизансцене, придуманной то ли Немировичем то ли Станиславским тысячу лет назад, им следовало быть около ужасной рампы. И оказались несчастные на линии огня, и… уже опрометью несутся назад!

— А я их с оттяжечкой, — делится опытом маленький негодяй.

Постепенно все актеры оттеснены и держатся за нанесенные раны.

— Атас! — разносится веселый шепот.

Это вошел в темноту балкона посланный на помощь старый мхатовский капельдинер, украшенный драгоценным значком «Чайки» за выслугу лет. Но он прошел слишком далеко, оставив незащищенным зад. И тотчас его легкий вскрик — наказан за

ошибку!

Великий МХАТ, «начинавшийся с вешалки», заканчивался кошмарным балконом…

И «Комсомольская правда» опубликовала коллективное письмо, подписанное несчастными народными артистами. Оно призывало школьников не стрелять в них во время спектакля и уважать артистов и классику.

К сожалению — тщетно… Новое поколение выбирало рогатку!

Между тем приблизилась моя премьера. Доронина была невероятно популярна, и (к восторгу «ливановцев») у кассы филиала МХАТа (где должен был состояться спектакль) выстраивались столь оскорбительные для врагов очереди на премьеру.

Пожар разгорался. Враждующие группы уже не здоровались друг с другом. Письма недругов лежали в газетах. Но и друзья не отставали: «письма в редакцию» — это был популярный тогда жанр. И все эти весьма противоположные, но многочисленные послания достигли самого ЦК нашей славной Коммунистической партии.

Ситуация стала критической. Министерство культуры лихорадило от вышестоящих звонков и приказов успокоить славный коллектив — гордость страны.

Требовалось вмешательство «самой».

«Женщина» и смерть»

Екатерина Алексеевна Фурцева была в это время, кажется, в Венеции, где она должна была встретить Новый год. Встречать Новый год в Венеции для советских людей тогда звучало приблизительно, как встречать Новый год на Марсе.

Но вместо Нового года среди гондол, каналов и праздничной елки на площади Сан-Марко ей пришлось вернуться в самом конце декабря на прекрасную и очень заснеженную нашу родину. Нетрудно догадаться, что отозванная «с Марса» Екатерина Алексеевна прибыла в большом гневе на своих помощников, не справившихся со смутой.

Она сразу же оказалась в эпицентре мхатовских страстей. Ее тотчас посетили делегации великих артистов. Первая объясняла ей, как ужасна пьеса, а вторая (столь же страстно) — как она хороша.

И было объявлено: 30 декабря состоится Художественный совет, на который придет «Екатерина Великая».

Я приехал в театр, но, как обычно, опоздал. Это моя вечная беда — чем важнее заседание, тем больше вероятность: я на него опоздаю. И когда почти бегом подошел к служебному входу, увидел ужасающую картину: из театра вынесли носилки, покрытые белой простыней. Под простыней отчетливо проступало очертание лежавшего на носилках человека.

Оказалось, поднимаясь по лестнице на обсуждение, умер от разрыва сердца начальник Управления театров СССР.

Смерть чиновника… У него была семья, они его ждали, готовились к Новому году. А он не выдержал гнева «Екатерины Великой», которую заставили разбираться в том, в чем не сумел разобраться этот несчастный.

Театральная комедия закончилась человеческой трагедией.

Когда я пришел на обсуждение, бой был в разгаре.

Один перечень участников боя — история нашего театра. Василий Топорков, Борис Ливанов, Михаил Кедров, Виктор Станицын, Алла Тарасова, Павел Массальский, Анастасия Георгиевская, Ангелина Степанова, Алексей Грибов… Все эти бессмертные были здесь и бились друг с другом беспощадно! Не щадя старые сердца!

Покрывая великолепным голосом крики врагов, выступал Борис Николаевич Ливанов. Он как всегда мыслил космически. Он сказал, что теперь, когда наши представления о Вселенной

столь расширились, прежний театр обязан меняться, нам нужны молодые новые силы. «И не важно, что мы не все понимаем в этой пьесе. Это и хорошо! Нужны новые формы!»

А в это время артист, которого я так любил, — Грибов… маленький Грибов попытался толкнуть кулачком исполина Ливанова. Но Борис Николаевич огромной дланью величественно вернул его руку обратно и продолжил размышления о Вселенной.

В это время вошедшего меня наконец-то заметили, и раздался дружный крик врагов:

— Пусть он уходит к своему Эфросу!

— Это новая пьеса! — закричал в ответ кто-то из друзей.

— Пойду играть свой устаревший «Вишневый сад», — удачно парировала Алла Константиновна Тарасова.

Теперь все кричали одновременно. Но весь этот кошмар покрывал великолепный ливановский бас, продолжавший говорить о величии Вселенной.

Бедная Екатерина Алексеевна только всплескивала руками и умоляла:

— Родные мои! Вы видели, что случилось с человеком! Да плюньте вы на эту пьесу! Не стоит она ваших нервов! Берегите ваше драгоценное здоровье! Оно нужно нашей стране!

Но она уже поняла: ситуация страшная. Она не могла сказать ни «за», ни «против».

В это время бойцы подустали, и звуки сражения на какое-то мгновение стихли. И тогда…

Тогда она обвела глазами зал. Взор ее стал нежным, с поволокой. Она стала совершенно обольстительной.

И каким-то грудным голосом (можно представить, как она была обворожительна в иные моменты) сказала:

— Дорогие мои, любимые мои… вы мне доверяете?

На этот опасный вопрос требовался незамедлительный ответ.

— Да! — заторопилась Алла Константиновна Тарасова.

— Да! — дружно закричали вослед друзья и враги.

— Тогда я буду редактором этой пьесы, — сказала Екатерина Алексеевна. — Может быть, мне удастся помочь… Но мы с вами не можем вот так уничтожить труд актрисы, которая перешла к вам в театр. И главное — труд нашего замечательного Бориса Николаевича Ливанова. Мы просто не имеем права! — говорила она нежнейшим голосом. — Я отдаю театру свои выходные… Мы будем работать… Сразу после Нового года я жду вас, Борис Николаевич… автора пьесы и режиссера у меня в кабинете.

Бурные аплодисменты!

Они умели аплодировать начальству.

3 января я пришел в Министерство культуры. У кабинета «самой», около секретаря, сидел замминистра, несчастнейший человек, который все время находился под знаменитым прессингом «Екатерины Великой», — некто Владыкин.

Появился Ливанов, посмотрел на него и сказал:

— Владыкин живота моего, и вы здесь?

Из кабинета вышла помощница и спросила мое имя-отчество.

— Это для надгробных досок? — захохотал Ливанов.

Появился режиссер спектакля Львов-Анохин, и мы прошли в кабинет.

И началась работа над пьесой… Точнее, все сразу забыли про пьесу. Екатерина Алексеевна поучительно рассказывала и про свою влюбленность в Климента Ефремовича Ворошилова, и про то, как она была ткачихой, и как все они верили в победу коммунизма. Потом — про дружбу с Надей Леже, великий муж которой тоже верил в победу коммунизма, как и наши ткачихи. А вот его жена Надя верит уже не очень. Но с каждой встречей Екатерина Алексеевна убеждает ее все больше и больше.

Наконец она вспомнила про пьесу.

Посмотрела на меня и сказала:

— Вы знаете, вчера я смотрела во МХАТе пьесу… — она назвала чудовищный спектакль. — Но ведь можно же хорошо писать! Ну, напишите что-то подобное, хорошее… А сейчас давайте работать. У вас сколько картин в пьесе? Нужно увеличить хотя бы на одну, чтобы видна была наша работа… Ну, я не знаю… пусть она стоит перед зеркалом… и пудрится, — сказала она застенчиво, — или, что лучше, читает газету. Понимаете, в пьесе совсем нет связи с нашей сегодняшней жизнью, с нашими достижениями…

Но, посмотрев на мое лицо, сказала:

— Впрочем, это не обязательно. Но есть и обязательное. У вас есть сцена, где она лежит в кровати… с любовником! И это на сцене Московского художественного театра! Вы понимаете, что этого не может быть?!

Я все-таки спросил:

— Почему?

— Потому что этого не может быть никогда! Короче, этой картины не будет!

Наступила тишина.

— Но я не могу ее выбросить, там — интрига.

— Не можете? — она саркастически засмеялась. — Но мы, поверьте, сможем…

Поняв, что я разозлился и приготовился ответить, торопливо

вступил режиссер Борис Александрович Львов-Анохин. И он как-то умиротворяюще сказал:

— Екатерина Алексеевна, вы знаете, я придумал. Дело в том, что это очень поэтическая пьеса. Она скорее символическая, чем бытовая. Поэтому буквальность, правдоподобие тут излишни. И вообще, я предлагаю ставить всю пьесу так: некие артисты пришли на радио читать эту пьесу. У них в руках роли… и они их читают перед микрофоном… Но постепенно они как бы забывают о том, что это роли, и начинают жить текстом… Потом вновь возвращаются к ролям… Так что никакой кровати в спектакле не нужно. А текст весь остается.

— Браво! — зааплодировал Ливанов.

— Ну вот, — сказала Екатерина Алексеевна, — весь текст остается и эта ваша (насмешливо) — интрига.

Текст и вправду оставался, просто пьеса исчезала.

После этого она уговорила убрать название «Чуть-чуть о женщине» (в этом старикам-мхатовцам почему-то мерещилось неприличное)… И я опять согласился.

И пьеса стала называться «О Женщине».

Так что я до конца сыграл героя собственной пьесы «Снимается кино».

Что делать! Я очень хотел, чтобы Доронина сыграла — она замечательно репетировала.

И была премьера, где она действительно великолепно играла.

И я был счастлив.

Я подробно рассказываю об этой обычной театральной истории, ибо волею судеб она сыграла свою роль в истории нашего театра.

Именно тогда, в день обсуждения пьесы, вместе со смертью несчастного чиновника погибал, окончательно раскалывался старый МХАТ.

В книге о Борисе Николаевиче Ливанове есть воспоминания народного артиста Владлена Давыдова. Подобно Регистру в булгаковском «Мольере», Давыдов записывал жизнь, а точнее — агонию старого МХАТа.

И он справедливо написал, что именно после этого заседания мхатовские «старики» поняли, что им не победить Ливанова. Ибо он уже делал ставку на молодежь, на другой театр. И они решили его упредить.

И сделали это достаточно хитро. Они предложили в главные режиссеры «своего» молодого. Это был символ тогдашнего нового театра, руководитель «Современника» Олег Ефремов. И Фурцева,

очень уставшая от постоянных, нескончаемых битв могучих мхатовских армий, с радостью согласилась.

Как сострил тогда кто-то: «Старый МХАТ умер на «Женщине»…»

Олег Ефремов пришел создать новый МХАТ. Новый МХАТ, на мой взгляд, он не создал. Но старый великий «Современник» подкосил.

Именно тогда я придумал писать совсем другие пьесы.

История интеллигенции до Рождества Христова

… Театр имени Маяковского был в тот вечер переполнен. Еще бы — играли премьеру, которую не разрешали целых шесть лет!

Есть счастливое выражение администраторов: «Публика висела на люстрах». Действительно, партер, балкон, галерка — переполнены. Приставные стулья не спасали. Толпа контромарочников — студентов театральных вузов и просто людей, близких к театру — толпилась у входа в зал. Сажать было некуда. В ложах стояли. Хотя был май, в переполненном зале была страшная духота.

Но мне было не до духоты.

Я стоял на балконе и ждал его. Он появился, когда уже гасили свет — с пиджаком на руке, в старомодных подтяжках. Приблизился к третьему ряду, где сидели его гонители. И пошел мимо них к своему креслу.

Пьеса, которую играли в тот день, называлась «Беседы с Сократом».

Начал я ее писать весело. Я написал фарс. Мудрец Сократ, который, как известно, был урод, в моей пьесе был красавец. И непроходимо глуп. А Ксантиппа, жена Сократа, которая, по преданию, была красива, в пьесе была уродлива, но умна. И она придумала — заставила глупца Сократа молчать, чтобы сделать его мудрецом.

И постепенно все мудрые изречения афиняне начали приписывать молчальнику. В пьесе Сократ умирал от молчания и пьянства. Но глупое быдло — афинский народ, не могущий жить без героя, создавал легенду о суде и героической смерти философа.

Я прочел эту веселую пьесу очень известному тогда режиссеру. Он очень смеялся, мы договорились о читке в его театре и, счастливый, я пришел домой.

И в тот же вечер совершенно случайно (хотя случайности в жизни неслучайны) я просматривал «Круг чтения Льва Николаевича Толстого». И наткнулся… на речь Сократа в суде, старательно переписанную Толстым из Платона!

И когда я прочел эту речь, как мне стало стыдно за мой фарс о Сократе. В речи была такая высота души, такое страдание! И в ней была тема. Важнейшая для нашего времени: народ и философ.

Есть такое выражение, которое любят повторять демагоги: «Глас народа — глас Божий». Но в XX веке, когда великие народы истерически славили самые страшные диктатуры, когда погибали великие умы и уничтожались целые нации при радостном «одобрям-с» народов, это изречение звучало почти кощунством.

Так что история великого философа, которого убивает народ Афин за то, что он пытался учить его подлинной добродетели, заставляла вспомнить другой афоризм, куда более точный: «Глас народа и Христа распял».

Я решился написать пьесу о настоящем Сократе.

Есть выражение — «возвращение в Итаку». Одиссей после долгих странствий возвращается в Итаку, то есть возвращается к себе.

Я понял, что должен вернуться в Историю. Я должен вернуться к себе.

История гибели Сократа показалась мне особенно необходимой у нас в стране, где с первых дней большевистской власти началось гонение на Мысль. И поэтому таким важным было появление философа на нашей сцене. Я назвал эту пьесу «Беседы с Сократом», и это было правдой. Это были мои беседы с ним. И они были счастьем для меня. Я бежал в эти беседы от скудости мысли вокруг, от телевизора, который рассказывал «немножко про погоду, все остальное — про Брежнева», от всех этих картинок на экране и в газетах, заставлявших повторять слова поэта:

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

«Ваш Сократ говорит не то!»

Пьесу о Сократе я отдал в Театр Маяковского. Театр этот тогда был на подъеме, его недавно возглавил знаменитый режиссер Андрей Гончаров.

Я прочел пьесу, ее радостно приняли, и Гончаров объявил начало репетиций. Репетировать Сократа он назначил актера, который недавно поступил в труппу, но уже тогда был известен — Армена Джигарханяна.

Правда, всех смущало, что он был слишком молод.

И никто не мог предположить, что в конце репетиций это опасение отпадет само собой. Ибо ему предстояло репетировать… шесть лет!!!

Вначале, как и было положено, пьесу отправили в Московское управление театров. И меня вызвали туда — к заместителю начальника М. (говорили, что на самом деле именно этот М. «правит бал» в управлении).

М. был весьма немолодым человеком. Он начал с загадочной фразы: «Как мы с вами понимаем — то, что понимаем мы, поймут и другие».

Я уставился на него. Он мне объяснил: кому-то может показаться, что я написал пьесу совсем не о суде над Сократом, а о суде (не так давно состоявшимся) над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Это сравнение Сократа с Синявским и Даниэлем показалось мне несколько вольным. Я возразил, что написал пьесу все-таки о Сократе. И если она кому-то что-то будет напоминать, то это вполне понятно. Ибо пророков и мыслителей преследовали до Сократа, преследовали после Сократа и будут преследовать всегда. Именно поэтому в Евангелии мы читаем вечное: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!»

В ответ он только вздохнул и прошелся по кабинету.

После чего как-то очень добродушно сказал: «Поверьте, ваша пьеса мне не просто нравится. Нет! Я люблю вашу пьесу. Я люблю ее, как любят красивого ребенка, в глазах которого тлен. Понимаете? Вот видите эту полочку?» И он показал на застекленную полочку на стене. «На этой полочке стоят, поверьте, замечательные сочинения, которые никогда, однако, не увидят свет. Здесь есть и пьесы Булгакова, здесь есть и Эрдман, здесь есть и западные классики. Вот Олби написал, поверьте, отличную пьесу. Но ее перевод уже стоит навсегда на этой моей полочке. Я очень не хочу, чтобы ваша пьеска там тоже стояла».

— А что же делать?

— Ждать. Ждать, пока острота момента минет. Давайте ждать. «Годить» — как призывал наш классик. Уметь «годить» в России очень важно. Иногда важнее, чем уметь писать.

И мы стали с ним «годить». Правда, скоро пришлось мне «годить» без него. Он умер. Но у меня появился другой редактор, и «годили» мы уже с ним. А театр все репетировал. Правда, наше «годить» дало неожиданные результаты. Постепенно начали забывать про дело Синявского и Даниэля, но… Но началась история с гонением Солженицына, и пьеса тотчас стала похожей на его историю.

В это время на Западе кто-то назвал Солженицына «оводом», и мой новый редактор в ужасе процитировал мне текст Сократа из пьесы: «Я жил среди вас, как овод, который пристает к коню, когда-то благородному, но очень обленившемуся коню. Это опасное занятие беспокоит тучное животное, потому что конь, однажды проснувшись, ударом хвоста может убить надоедливого овода. Не делайте так… Другого овода, поверьте, вы не скоро найдете…»

Потом Солженицына изгнали из страны, и опять бедный Сократ опростоволосился. Он говорил на суде: «Какое наказание вы назначите мне за мою жизнь? Вы можете изгнать меня, но если вы, мои сограждане, не вынесли моих поучений об истине, почему вы думаете, их вынесут другие?»

Потом в Москве начались Олимпийские игры, где мы побеждали. Но мой Сократ умудрился опять сказать не то.

Он говорил: «Какое наказание вы назначите мне за мою жизнь? Вы можете кормить меня бесплатными обедами, как кормите вы победителей на Олимпийских играх. Но те, кто побеждают в беге колесниц, дают вам мнимое наслаждение. А я давал — подлинное. Они повара, которые лезут к вам с вредными, но вкусными яствами… Но как часто, афиняне, мы предпочитаем такого повара суровой истине искусства врача».

… А потом настало время несчастной пьесе «годить» потому, что история Сократа стала удручающе похожа на историю академика Сахарова.

… Прошло шесть лет, я все «годил», несчастный Сократ все «не то» говорил, а Джигарханян все репетировал.

Было ясно, если дело пойдет так дальше, Джигарханяну должно репетировать, пока он не сравняется годами с семидесятилетним Сократом. В декорациях, которые были построены для «Сократа», давно игрались другие спектакли.

Но есть замечательное выражение Талейрана о чиновниках: «Чем меньше рвения, тем больше пользы». И вот появился, наконец, равнодушный чиновник, который решил избавиться от этой пьесы, от этих постоянных нажимов театра. И он удачно сумел забросить ее на лучезарно далекие вершины.

Вскоре меня срочно вызвали в Управление театрами. Меня принял сам начальник управления. Взгляд его был полон благоговения, и в руках у него был экземпляр моей пьесы. Чиновник держал его, как держат драгоценную вещь. Он сказал: «Поздравляю вас. Пьесу разрешили ставить. Но с важными исправлениями». Он почтительно открыл передо мной экземпляр.

— Вы видите пометки?

Я увидел. Они были сделаны по-разному — одни прямо на моем тексте, другие на полях. Он сказал:

— Вот эти, на полях, — это наши предложения… Здесь вы можете, конечно, дискуссировать со мной, хотя, думаю, этого делать не надо… А вот вычеркивания на вашем тексте красным карандашом обсуждать не нужно. Их нужно выполнять. Вы поняли, чьи это пометки?

Я не понял.

— Михаила Андреевича, — сказал он очень тихо.

Нет, не надо было спрашивать, кто такой Михаил Андреевич. Михаила Андреевича знала вся страна.

Это был — Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны.

И второй человек в государстве занимался редактурой какой-то пьесы! Каким диким мне показалось это тогда! Но я был не прав. Это не было дико. Это вытекало из сущности режима. При тоталитарном правлении, при автократии Власть воспринимает литературу как свое задание. У литератора не может быть личных мыслей. Он должен выражать интересы государства, о которых Власть осведомлена лучше Художника. Николай I занимался всей литературой — не только сочинениями Пушкина. И Сталин заботливо читал каждое сочинение, выходившее в крупных издательствах. Это была его литература. Литература его государства. И Суслов, главный идеолог страны, делал то же.

Сократ на сцене и в зале

И вот наступил день премьеры.

Я подумал, мне не разрешали пьесу из-за Сахарова. Они считали его Сократом. Что ж, в этом была логика. А что, если я приглашу его на премьеру?!

Это был пик кампании против Андрея Сахарова. В газетах печатались возмущенные письма видных представителей интеллигенции. Я понимал, что действую не очень хорошо — ибо, скорее всего, разгорится скандал и последуют жесткие меры к спектаклю, которого я, актеры, театр ждали целых шесть лет, и, наконец, к руководству театра… Но я не смог удержаться! Сократ на сцене, и другой Сократ в зале! — это была еще одна пьеса. И какая! Я переслал билеты на премьеру Сахарову.

На премьеру явились они. И в большом количестве. Они редко ходили на спектакли, которые легко разрешались, и которые они должны были бы любить. Как говорилось в той же пьесе о Сократе: «Греки, как женщины, их тянет к запретному»… А тут — шесть лет не разрешали. В тот день в зале были: министр финансов с семьей, министр внутренних дел, глава Гостелерадио Сергей Лапин и сам генеральный прокурор… И мои места, которые я передал Сахарову, оказались в их третьем ряду! Он должен был сидеть среди них. Тех, кто были в первых рядах его гонителей!

Итак, перед появлением Сократа на сцене в зале готовилась вторая пьеса. Назовем ее «Явление Сократа среди преследователей-афинян». И я, благодарный зритель этой пьесы, поднялся на балкон и стал ждать.

Итак, уже гасили свет в зале, когда появился он. Тогда его мало кто знал в лицо. Но они знали. Он подошел к третьему ряду и пошел на свое место — мимо них.

Я стоял на балконе и ждал — мучительно ждал, что же сейчас будет? Какая получится эта вторая пьеса?

Я думал: вряд ли они демонстративно уйдут. Скорее всего, презрительно его не заметят.

Но ничего подобного! К моему изумлению, они вскакивали с мест, приветственно тянули к нему руки — Андрей Дмитриевич, здравствуйте! — Андрей Дмитриевич!.. Андрей Дмитриевич!!! И он всем им отвечал. Сплошные рукопожатия! ВТОРАЯ пьеса оказалось удивительной!

Они, видимо, хотели продемонстрировать перед семьями свою независимость. На самом же деле они демонстрировали

ханжество и ложь, которые царили вокруг. Они демонстрировали неуважение к собственным решениям. Именно тогда я понял: такое безнаказанно не проходит. Власть, которая не уважает самое себя, она отнюдь не вечная египетская пирамида, как я полагал прежде. И она совсем не навечно. И, возможно, над ней, как над дворцом вавилонского царя, уже горят те губительные слова: «Мене, мене, текел, фарес» [1].

Я вернулся домой и в дневнике написал цитату из Евангелия: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».

Тогда же, в ожидании будущего Великого падения, я решил поторопиться.

Я давно хотел заняться таинственной тогда историей гибели царской семьи. Взял в Театре Маяковского официальную бумагу. Театр просил допустить меня в архив и в специальный фонд Библиотеки им. В.И. Ленина для работы над документами и книгами о расстреле Романовых.

Так я начал писать биографию Николая II.

Сотрудница архива принесла мне дневники, которые попали в архив из последнего дома царской семьи — Ипатьевского дома. Страницы царского дневника буквально слиплись — их редко тревожили.

И сотрудница спросила:

— Зачем вам это нужно? Печатать это все равно нельзя.

Но я уже знал: непременно напечатаю.

И повторял про себя: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».

Интеллигенция до Рождества Христова (продолжение темы)

Итак, «Сократ» вышел. Тогда же я понял, что нужна вторая пьеса. Сократ — символ философии, но был в античные времена и другой символ философии, очень загадочный — Сенека. Наверное, никто не написал столько великих афоризмов о нравственности, о праведной жизни… И этот радетель нравственности и морали умудрился быть не только воспитателем, но и главой правительства величайшего убийцы Нерона… Символ мудрости и морали долгое время был рядом с символом убийств и насилия. Это казалось таким загадочным великому писателю в XVIII веке. Но в моем XX веке это представлялось абсолютно нормальным, даже обычным!

Весь XX век знаменитые интеллектуалы сотрудничали с самыми страшными режимами и находили себе те же оправдания, которые за две тысячи лет до них придумал Сенека: «Лучше рядом с кровавым деспотом буду я, чем кто-то такой же страшный, как он… Может быть, я сумею его изменить!»

Это было самооправданием Сенеки, когда он покрывал убийства Нерона… не понимая, что каждый компромисс неотвратимо приближает его к собственной гибели. Ибо тоталитарная власть не терпит Мысли.

Мысль — ее главный враг.

И, как интеллектуалы в XX веке, отчаявшись изменить державного Палача, Сенека пытается убежать в отставку. Он провозгласил: «Кто борется с обстоятельствами, тот становится их рабом». Он мечтает, чтобы Нерон его забыл. Но у его воспитанника хорошая память. И разрешает он лишь выбор — служить ему или умереть.

Истина статистиков

В этой пьесе я часто цитировал подлинные слова Сенеки о тогдашней римской жизни. Но как удивительно знакомы эти слова! Это все те же нынешние возмущенные причитания о жизни в большом городе, о дурной экологии.

«Посмотрите на Тибр. Там же плавает невесть что… А Рим? Там же дышать нельзя. Все пропитано дымом кухонь… А шум!! Сколько рук здесь стучит по меди, сколько глоток орет во все тяжкие». И так далее!

А суровые обличения нравов модных римских курортов?! «Ночью меня будят крики с озера — там до утра раздаются визг женщин и похабные крики мужчин. Да, наши замужние Пенелопы недолго носят на курорте в Байях свои пояса верности».

И этот его восторг по поводу технических достижений века! Он пишет о том, как «ужасно жили наши прадеды и деды». Они умирали от холода. «А теперь в домах наших по трубам течет теплая вода, и в доме зимой так же тепло, как летом на улице»… А изобретение стенографии! Оно кажется Сенеке чудом, таким же глобальным переворотом, как нам — Интернет. Он не устает восторгаться эпохальным достижением: ведь наконец-то руки смогут поспевать за проворством языка! И теперь речи мудрых на Форуме останутся запечатленными навечно.

Далекий голос Сенеки, оставшийся в его письмах, твердит нам банальную мысль: люди всего лишь переодевались. Менялись времена, но не менялись пороки. И с течением времени холмик человеческой нравственности оставался прежним, жалким; росла лишь вавилонская башня новых технологий. И стрела христианства улетела безнадежно далеко от топчущегося на месте языческого человечества. И оттого все искания светлого будущего, все мудрствования оборачивались колючей проволокой лагерей. И все революции кончались фразой, произнесенной тысячи лет назад в Древнем Египте: «Колесо повернулось — те, кто были внизу, оказались наверху». Всего лишь.

Неизменной осталась только истина статистиков — «из каждых ста человек умирает ровно сто».

Слова, которые любил повторять Бернард Шоу.

Но я не хотел, чтобы все эти извечные размышления стали главным в спектакле. Я не хотел, чтобы это была история о Нероне и Сенеке. Это должен был быть ТЕАТР времен Нерона и Сенеки. Ибо помешанный на лицедействе Нерон превращает в театральный фарс всю римскую жизнь. Проститутка объявлена

символом целомудрия, мальчик объявлен девочкой, чтобы Нерон смог на нем… то есть на «ней»… жениться. Римский аристократ-сенатор объявлен породистым жеребцом. И за все это покорно голосует символ народовластия — римский сенат. А внизу, в подземелье, пируют гладиаторы, которые завтра погибнут на арене. Но сегодня, в продолжение театра, они объявлены на одну ночь царями, и там, в подземелье, идет непре-кращающаяся оргия.

У этого театра есть режиссер — Нерон.

И в этом театре смерти он и решает поставить пьесу о жизни. О жизни двоих — его и Сенеки. Готовый играть себя, он заставляет и моралиста Сенеку играть самого себя.

Вот об этом и была эта пьеса.

К сожалению, я не мог отдать Эфросу ни «Сократа», ни «Нерона».

Все эти годы Эфрос мучительно выживал.

Доходило до анекдотов. Он поставил «Ромео и Джульетту». Спектакль был признан «излишне пессимистическим». На заверения самого Шекспира: «Нет повести печальнее на свете…», — ответ был обычный: «Только не надо демагогии!»

Социалистическое искусство хотело быть радостным.

Эфрос поставил замечательные «Три сестры». После чего с трибуны партийного съезда актриса МХАТ, народная артистка С., как бы от имени театра Чехова, обличила вредный спектакль.

Я не собирался осложнять ему жизнь. Я отдал обе пьесы Гончарову — в Театр Маяковского.

И Нерона, как и Сократа, играл Джигарханян. Армен был великолепным Сократом. Все-таки мудрость — дитя Востока.

Что же касается Нерона… Гончаров правильно угадал. Конечно же, Джигарханян рожден играть диктаторов. Но Джигарханян — восточный диктатор. Восточный диктатор — повелитель медлительный, величественный и кровавый. В нем — тайна, сдержанность барса перед прыжком. И когда он играл Нерона, вспоминались слова о Сталине: «Горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей».

Я понимал мысль Гончарова — он отсылал зрителя к Сталину. Но мне она казалось сомнительной. Ибо Нерон — это западный диктатор. Мистик, декадент, неистовый неврастеник… Это Гитлер, не Сталин.

Я уверен, что Джигарханяну надо было играть Сенеку. Это была бы его великая роль. И тогда история двух философов, так по-разному живших и все-таки одинаково погибших от

насилия, — стала бы куда яснее.

Мысль всегда наказуема — толпой или диктатором.

Турбаза в монастыре

На один из премьерных спектаклей «Бесед с Сократом» Гончаров пригласил Эфроса. У них были прекрасные отношения. Гончаров всегда замечательно говорил о нем.

Эфрос посмотрел спектакль. Спектакль в тот день, как обычно, имел успех. После спектакля именитые приглашенные стайкой потянулись поздравлять — в весьма гостеприимный кабинет Гончарова.

Эфрос тоже пошел поздравить… но не смог.

Он стоял в стороне со страдальческим лицом. Он очень хотел сказать: «Понравилось». Но… так и не открыл рта. Для него пафос гончаровского спектакля был невыносим.

Придя домой, он мне позвонил. Он яростно ругал спектакль: «Так надо ставить тысячелетнего Еврипида! Точнее, и его не надо так ставить! Это — опера!»

И одновременно, воистину, очень мучался, не обиделся ли Гончаров на его молчание. После чего тотчас рассказал свой спектакль:

— Понимаете, в Афинах холодная зима… Ветер… Все в теплых хитонах… И их норовит поймать у портика храма полузамерзший, в рваном хитоне маленький старичок… И торопливо… боясь, что, как обычно, они убегут от него… начинает приставать к ним со своими поучениями-монологами, ежась от пронзительного холодного ветра…

Все это было удивительно интересным. И с тех пор, даже отдавая пьесу в другой театр, я обязательно давал ее ему прочесть.

Желание вернуться к Эфросу? Конечно, не покидало. Не покидало и ощущение, что желание — тщетное. Слишком, повторюсь, нелегкая была у него ситуация.

И следующая пьеса, которую я написал, вряд ли бы ее облегчила.

Пьеса называлась «Турбаза». Место действия показалось мне символическим. Древний монастырь. После революции он стал тюрьмой, во время войны стал крепостью, а сейчас — турбазой. Осталось старинное кладбище с гранитными памятниками. На одном из них — знаменитая надпись, скопированная из петербургского Некрополя:

Прохожий, бодрыми шагами
И я ходил здесь меж гробами,

Читая надписи вокруг,
Как ты мою теперь читаешь.
Намек ты этот понимаешь?
Так до свиданья, друг.

Но, чтобы не пугать туристов, монастырское кладбище уничтожили — его превратили в волейбольную площадку. Крест со знаменитого когда-то храма сдали в «Утильсырье» — в фонд помощи «героическому народу Вьетнама, сражающемуся с американскими агрессорами». В братском корпусе монастыря — общежитие ткачих местной ткацкой фабрики. И главную достопримечательность, часовню Голгофу, закрывают на ремонт, чтобы оборудовать в ней склад.

… На турбазу приезжает группа интеллигенции. Узнав про ремонт часовни, они постоянно и нудно острят:

— Голгофа у нас в путевках… Хотим на Голгофу — и все… И вообще, членов творческих союзов на Голгофу вне очереди…

В центре пьесы писатель. У него почти нет реплик. Наиболее частая — тютчевская цитата: «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют».

И все, что происходит в пьесе, на самом деле это всего лишь роман, который сочиняет этот писатель.

Пьесу я отдал театру, который назывался тогда «образцовым». Это был любимый театр московской власти — Театр имени Моссовета, возглавляемый Юрием Александровичем Завадским, народным артистом, лауреатом всех возможных и невозможных премий. Ленинскую премию имел, и, конечно же, Гертрудой не обошли (так именовали титул — Герой Социалистического Труда).

Завадский прочел пьесу. Она ему понравилась. Он позвонил мне и сказал, что будет ставить сам, правда, с каким-нибудь молодым режиссером-помощником.

И решив судьбу пьесы, я дал ее Эфросу — почитать.

Ночью он позвонил мне и долго ругал пьесу. Он говорил: «Вы понимаете, это все трудно… С одной стороны, — нормальное действие… Но оказывается: перед нами вымысел — роман, придуманный писателем… Оказывается, младший брат писателя — это не просто младший брат.

Это сам писатель, только уже в его романе. Там все запутано… И вообще, вся ваша символика мне ненавистна. Вы понимаете, она — барокко, завитки. Классики писали прямо. Вот Мольер — там сквозное действие. Действие!» Потом он помолчал

и сказал: «Я придумал такое распределение ролей…»

И начался удивительный разговор.

Я: «Как распределение?»

Он: «Да… В пьесе что-то есть… Сама ткань очень забавна: монастырь, турбаза, это мне понравилось. Я сейчас думаю, кто может сыграть писателя?»

Я: «Пьеса вообще-то в театре Моссовета».

Это на него не произвело никакого впечатления.

«Тем лучше, — сказал он как-то легкомысленно. — Я там ставил не так давно. Там очень хорошие актеры для этой пьесы. Плятт, конечно же, сыграет критика, девицу, думаю, Неёлова… И я уверен: Завадский обрадуется. Вы поговорите с ним. Он же не может это ставить. И вообще, никто, кроме меня, не сможет поставить вашу ужасную… чудовищную пьесу».

И, засмеявшись, повесил трубку.

Как большинство писателей, я был занят собой. И я пропустил, что в это время Эфрос с огромным успехом поставил в том же Театре Моссовета спектакль «Дальше тишина», с Ростиславом Пляттом и Фаиной Раневской. Это был один из немногих его спектаклей, который великолепно приняли публика (что было обычно) и начальство (что было необычно).

Итак, мне надо было идти к Завадскому. И объяснить ему не самое простое: пьеса, которую он решил поставить… хорошо бы эту пьесу поставил другой! Впрочем, идти к нему в это время было невероятно интересно. И, отнюдь, не из-за моей пьесы.

Пощечина из гроба

В эти дни в журнале «Новый мир» была впервые напечатана «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой. И телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку обязательно читать «Новый мир», звонили друг другу…

Помню, как я читал повесть — пугающее извержение любви, казавшееся столь странным в 70-х — в пуританское, торжественно-глухое время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Цветаева (тогда еще для всех — Марина, ей было шестнадцать лет) лежала в Коктебеле на июльском раскаленном пляже. В те допотопные времена на коктебельском пляже часто находили камни-сердолики с тайным розовато-голубым огнем… И Марина кокетливо сказала коктебельскому гуру — поэту Волошину:

— Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.

— О нет, все будет иначе, девочка, — печально ответил Волошин. — Ты сначала его полюбишь, потом он принесет тебе булыжник, вложит его тебе в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»

Это стало странным эпиграфом к жизни Марины.

Ее любовь пугала. Она заблудилась в нашем опасном, кровавом, но пресном столетии. В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза: «Как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях, а о поцелуях. Когда они умели плакать от страсти».

И далее — восхитительное описание плача женщины, плача — священного обряда: глаза-виноградины блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже в глазах-виноградинах…

И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: «Она плакала по-моцартовски».

Божественность Плача Женщины… Божественность Женщины… «Повесть о Сонечке» — мечта о Галантном веке:

> Плащ Казановы, плащ Лозэна,
> Антуанетты домино…

Но телефонные звонки, которыми обменивались в те дни,

были связаны, увы, не с великолепием повести.

В повести была заключена сенсация. Точнее сказать — скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.

И в то время один из них еще жил.

Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная — любовь из стихов Марины.

Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриска из вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании — неземная принцесса, описанная со страстью — почти подозрительной страстью.

Что же касается Юрочки — предмета Сонечкиной любви, — тут цветаевский сарказм и ярость. И тоже — подозрительные.

Красавец Юрочка… Марина пишет об «ангельском подобии», о его росте — «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой… О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога — Юрочки… Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце… Тщетно!

— Юрочка у нас никого не любит, — говорит его старая няня. — И отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки…

(— И себя в зеркале, — зло добавляет Марина.)

— Прохладный он у нас, — ласково говорит нянечка.

Умерла Марина, умерла Сонечка. Но этот «прохладный Юрочка» продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране.

Сколько театральных легенд было вокруг этого имени! Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!

Но все это прошло. Давным-давно прошло… А сейчас Юрочка был величественным патриархом, главным режиссером Театра имени Моссовета Юрием Александровичем Завадским, к которому я в тот поздний вечер шел — поговорить о судьбе пьесы «Турбаза».

Шел я к нему с понятным писательским садизмом — посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому дала пощечину из-за гроба истлевшая женская рука.

Я пришел в тот поздний час — около двенадцати ночи, — когда все нормальные люди спят, но люди этого круга только начинают жить. Как я уже писал — любимый час нашей тогдашней интеллигенции.

Он сам открыл мне дверь — очередная нянечка давно спала. Как он был хорош в проеме двери — все то же «ангельское подобие»! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора…

Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего я заговорил о пьесе. Он невероятно легко и, как мне показалось, с радостью сказал: «Что ж, я согласен на Толю, мы все его очень любим». Я хотел узнать его мысли о распределении ролей, но уже через три минуты понял: ему скучно. Его занимало совсем другое — журнальчик на столе. … И теперь мы оба не отрывали взгляд от журнала.

И он вдруг спросил:

— Вы давно читали «Евгения Онегина»?

Я гордо ответил, что знаю «Онегина» наизусть, отец заставлял меня каждый день учить 14 строк из поэмы.

— Ах, — воскликнул он, — какая удача! Вы знаете его наизусть — и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио… Хотите, поиграем? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»… ну, скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать. А можно и наоборот — вы начинайте.

Я начал:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил…

— Стоп! — сказал он и продолжил:

Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень…

Потом пришла его очередь начинать. И он начал:

…А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
Он остановился, а я продолжал:
…А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и — снова захрапит…

В этом месте (я точно помню) он усмехнулся и спросил:

— Вы любите старые письма?

Я замер.

Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом, не глядя, перемешал рукой, как карты, взял одно и стал читать.

С первых строчек я понял все. Только одна женщина в мире была способна на это словоизвержение любви. Точнее — словоизвержение ревности.

Это было ее письмо — Марины!

Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи…

Это была «Попытка ревности». Они обращены к другому человеку, но там то же отчаяние… Те же проклятия… Те же слова:

Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром — люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?..
…Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой?..
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли?
Так же ли, как мне с другим?

Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны. И какая у него была печаль… но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная — печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 19-го года, видел ее рот, видел ее всю, и знал — этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь, да и он сам — все исчезло во времени!

Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?

Да нет! Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая за горло Дон Жуана.

Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя злая мысль заставила его вздрогнуть.

А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг остановился и сказал:

— Я очень хотел поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только очень глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной — знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину прочь от себя… Женская вечная тяга к запретному плоду, тяга поступать наперекор… Смешная ловушка… — Он остановился и добавил: — Но когда она уже с другим — извольте доиграть роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть — только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!

Он бросил письма в ящик стола и закрыл его. И сказал:

— За равнодушие мстят!

Засмеялся и встал, показывая, что встреча закончена.

Он проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, вдруг спросил меня:

— Вам не приходило в голову, как Дон Жуан протягивает руку Командору?

И показал.

Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в проеме двери, свет тусклой лампочки из коридора… Как

он тянул в пустоту руку, и как менялось его лицо! Сначала это было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас смерти… Опаленное лицо с мертвыми глазами.

И он захлопнул дверь.

Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал те самые строки:

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Разгром

В спектакле «Турбаза» играли замечательные актеры: Ростислав Плятт, Маргарита Терехова, Ия Савина, Марина Неёлова, бывшая тогда в Театре Моссовета, Леонид Марков, Евгений Стеблов, Анатолий Адоскин… Ставил Эфрос, декорации были знаменитого Давида Боровского.

Но коли быть честным, спектакль получился какой-то затянутый, скучновато-мрачный. И самое печальное: не получилась главная роль, писателя. Не вышло.

Эфрос это чувствовал. И пока он мучился по поводу искусства, серьезные люди в серьезных кабинетах также занялись спектаклем, но по иному поводу. Как я узнал потом, в ЦК лежал донос о том, что в центре столицы, в замечательном, образцовом Театре имени Моссовета поставлена пьеса, порочащая нашу непорочную действительность.

Секретарем по идеологии в Московском городском комитете партии был тогда человек с премилой фамилией Ягодкин. Ягодкин к тому времени так поднаторел в борьбе с идеологической крамолой, что, несколько меняя ударение, его называли Ягодкин, вспоминая сталинского палача.

Ягодкин жаждал борьбы. Не так давно из страны изгнали Солженицына. И он, видно, подумал, что момент настал. Разжечь очередной костерчик — сигнализировать об идеологической опасности.

И события начались.

В театре объявили выездное заседание идеологов из городского комитета партии. Должен был приехать весь отдел во главе с Ягодкиным.

Опытный Завадский сразу оценил серьезность готовившегося. И, видно, для подкрепления решил позвать на это обсуждение бывшую супругу, Галину Уланову. Одну из величайших балерин века. При жизни в Лондоне ей был поставлен памятник. Завадский верил, что ее присутствие охладит пыл прибывших.

Но не тут-то было! Плевали они и на великую балерину, и на патриарха Завадского. Плевали они на пьесу и на спектакль. Им надо было устроить показательное идеологическое побоище. Они яростно, беспощадно уничтожали и обвиняли. Обвиняли меня, что я наконец-то «сумел собрать воедино все свои черные замыслы» (это — дословно). Сумел собрать все, чего нет в жизни. Оказалось, в жизни не было: разрушенных монастырей, уничтоженных памятников культуры, беспробудного пьянства, идеологических погромов — ничего этого не было. И все эти

черные замыслы автора «рельефно» (так было сказано) выпятил режиссер при попустительстве руководства театра.

Несчастный Юрий Александрович впервые слышал подобное о своем образцовом театре! Он не ожидал, он был растерян.

Я подготовил неплохую речь. Сказал, что, слушая все эти обвинения в несуществующих грехах, слушая всю это пародию на 37-й год, я все время вспоминал хрестоматийное изречение о трагедии, которая повторяется в виде фарса… Я, конечно, понимаю, что только борьба хорошего с лучшим достойна быть на нашей сцене… и так далее.

Но все мои ораторские ухищрения пропали даром. Они попросту не слушали. Демонстративно и громко переговариваясь между собой, показывали, как они плюют на все рассуждения.

Объявить снятым спектакль в образцовом театре они не решились. Была придумана формулировка: приостановить для доработки.

Но дорабатывать было некому. Вскоре у Эфроса случился инфаркт, и он слег в больницу. Конечно, это было не только из-за этого спектакля, это был результат всей предыдущей жизни. Разгром спектакля оказался последней каплей. Именно каплей, потому что главное, серьезное, что мучило его все это время, — спектакль не удался.

События развивались стремительно. И уже на следующий день Юрий Александрович Завадский позвонил мне ночью и сообщил, что и в «Правде», и в «Советской культуре» лежат разгромные статьи. И к моему изумлению, назвал мне имя одного из авторов. Тот слыл тогда обходительнейшим либералом. Более того, за несколько дней до того он позвонил мне и сказал, что хочет защитить пьесу, написать о ней. И попросил первый вариант пьесы с вычеркнутыми цензурой репликами. Я дал. Оказалось, что он написал разгромную статью, где цитировал «антисоветские реплики», как он писал, «вычеркнутые, к счастью, редактурой, но наглядно раскрывающие смысл пьесы».

Появилась разгромная статья в «Огоньке».

На статью в «Огоньке» тут же отозвались. Я узнал, что в ленинградском Театре комедии сняли мой спектакль «Монолого браке». Пьесу поставил Камо Гинкас. Это был один из первых его спектаклей в Ленинграде.

Спектакль был смешной и грустный, и очень новый. И очень нелегкий для публики, привыкшей к реалистическому театру.

И вот мне сообщили, что спектакль снят. Причем не властями, а… главным режиссером театра.

Я не поверил, позвонил ему. И он сказал мне:

— Понимаешь, было время, когда вместе с вождем ложились в могилу преданные слуги и жены. Но оно прошло. Короче, мы сняли… У нас своих грехов достаточно. С твоими будет перебор. — И повесил трубку.

Это был страх, основанный всего лишь на призраке опасности. Я видел, как в людях пробуждался какой-то условный рефлекс, который остается у нас, видимо, на генетическом уровне. Он не большевиками создан. Он задолго до большевиков появился в России.

Глеб Успенский в XIX веке написал: «Надо постоянно бояться — вот смысл жизни в России. Страх, ощущение «виновности» самого вашего существования на свете пропитали все мысли, все наши и дни, и ночи».

Впоследствии, во время перестройки, когда появилось изречение «перестройка необратима», я очень смеялся. Я много писал об истории России и знаю, как она обратима. Знаю, как живет в нас этот гаденький бесенок страха. И он не исчез, просто уснул. И разбудить его очень легко.

А тогда я повесил трубку. И решил насладиться бедой по полной программе. Я позвонил директору Театра Моссовета и спросил, как дела, уже зная ответ.

Он, действительно, ответил: «Пушки подвезены к нашему образцовому театру. Готовятся палить! Будет собран городской актив работников культуры».

Но ответил как-то весело, и в голосе его я, с удивлением, не почувствовал никакой тревоги. Была одна насмешка.

Будто он уже что-то знал.

Узнал вскоре и я. Да, наш патриарх Юрий Александрович Завадский оказался куда мощнее, чем думали в горкоме. Он сумел быть принятым… в «лучезарно-высоком там». И его, знаменитого и, скажем прямо, верноподданного режиссера, конечно же, в обиду не дали. Тем более что наверху наши правители-геронты совсем не жаждали борьбы. На дремотном верху не любили тех, кто, говоря языком классика, «бежит впереди прогресса, так что прогресс за ними не поспевает». И не прощали желания показаться «большим роялистом, чем сам король».

Ягодкин не понял ситуации. И уже вскоре закончил политическую карьеру. Погромные статьи были не напечатаны. И торопливая подлость либерального критика N. оказалась напрасной…

А далее было забавно. Одной из сюжетных линий в

злосчастной «Турбазе» были взаимоотношения писателя и критика. В пьесе критик написал разгромную статью о писателе. Приехав на турбазу, он встречает этого писателя. И он не знает, успел ли писатель прочесть его статью до отъезда или нет. Писатель же играет с ним — то он дружелюбен, нежен, и критик с облегчением понимает — не успел! То он мрачен и зол, и критик понимает — прочел!

Теперь я играл с N. свою пьесу в жизни. Мы часто встречались с ним — в ЦДЛ, Доме кино и прочих подобных местах. И я по-приятельски разговаривал с ним, и он был спокоен — понимал, что о его статье, так похожей на донос, неизвестно. Но в следующий раз — я был мрачен и суров, и тогда он пребывал в очень большой тревоге. Что делать, в то время опасно было быть непорядочным. В то время интеллигентные люди доносчиков не прощали. А он хотел оставаться человеком «этого круга».

Мне было его жалко и я, конечно, никому о нем не рассказал.

Эфрос вышел из больницы.

И, выйдя из больницы после инфаркта, он тотчас приступил… к репетициям! «Репетиция — любовь моя!»

Олег Ефремов, ставший главным режиссером МХАТа, предложил ему ставить пьесу в Художественном театре.

И Эфрос репетировал днем пьесу во МХАТе, чтобы… Чтобы поздним вечером мчаться в Театр Моссовета — репетировать «Турбазу».

И это, повторяюсь, после инфаркта!!! Он не мог оставить пьесу. Ему она не давала покоя. Он должен был понять: почему не вышло.

Когда я навещал его еще в больнице, он мне сказал:

— Понимаете, мы сами во всем виноваты, мы не смогли их увлечь (как будто можно было их увлечь!). Понимаете, если бы мы их увлекли, они бы ничего не заметили! Вы помните, мы же увлекли их — и в «Снимается кино», и в «104 страницах…» Теперь нам нужно понять: почему не смогли?..

И он предложил мне переписать ряд сцен, чтобы по мере сил «убрать барокко».

Я честно переписал несколько сцен…

Сразу скажу — он к ним не притронулся, он репетировал старый текст.

Итак, «в 12 часов по ночам»… ну, не в 12, но не раньше 11-ти (именно тогда актеры освобождались после вечерних спектаклей), участники спектакля собирались в репетиционном зале.

Марина Неёлова уже перешла в «Современник», но исправно

приезжала репетировать. Ия Савина, чтобы репетировать, отказалась от съемок.

Многих знаменитостей в спектакле Эфрос заменил — он перетасовал весь состав исполнителей.

И до часу, до двух ночи репетировал!

Некоторые актеры просто не знали, как они доедут домой, метро уже было закрыто. Машинами в то время владели немногие. И владельцы этих машин должны были развозить безмашинных исполнителей.

Время шло, репетиции шли. И ничего по-прежнему не выходило. Эфрос злился, яростно и как-то мстительно предлагал:

— Надо переписать вот это!

Я переписывал. Он по-прежнему новый текст даже не читал. И также мстительно перед началом репетиции рассказывал, как замечательно репетируют актеры во МХАТе.

Сезон заканчивался. Оставалось несколько дней до летних гастролей театра, когда он заболел.

Непонятно было, как не заболел раньше — две репетиции в день после инфаркта!! О нездоровье сообщил слишком поздно. Видно, до конца колебался. Репетицию отменить не успели, и актеры собрались.

Это была одна из немногочисленных дневных репетиций. Перед началом появился директор театра, который объявил:

— Анатолий Васильевич нездоров. Но здесь присутствует наш молодой режиссер, и вы все его знаете. Это Роман Виктюк. Он уже удачно ставил в нашем театре. Роман побывал на многих репетициях Анатолия Васильевича. И он порепетирует сегодня, чтобы время не пропало. Ну а после отпуска придет сам Анатолий Васильевич и выпустит спектакль.

Вышел Виктюк. Я его видел в первый раз. Мне показалось, что он несколько смущен. Виктюк сказал:

— Так как Анатолия Васильевича нет, мы просто пройдем текст. И давайте… — он задумался, потом сказал, — давайте пройдем его побыстрее.

Они начали быстро играть текст. Тотчас все стало безумно интересно — обнаружился жанр пьесы. Это была «улица в 2 часа дня», где все важно и все неважно. Все эфросовские психологические изыски, все тонкости, наработанные актерами за эти мучительные репетиции, — как они заиграли, когда все пошло в темпе!

И впервые по-настоящему захватило.

На следующий день пришел Эфрос. Видно было, что он болен. Выглядел он ужасно.

Сказал:

— Начнем репетицию.

Потом снял часы, положил перед собой. И добавил:

— Давайте-ка сегодня побыстрее…

Они начали играть. И раздался его голос:

— Еще быстрее!

И потом почти крик:

— Быстрее, как можете… И еще быстрее!

Репетиция закончилось. Он обернулся ко мне. Он улыбался, он вновь меня любил.

И сказал только одно слово:

— Взлетело!!!

Он поставил пять моих пьес, и мне кажется, что это был лучший спектакль. Спектакль, который никто не увидел. Потому что больше он никогда к нему не вернулся.

Начался новый сезон, он не пришел в Театр Моссовета.

Я был ужасно зол. Злы были и актеры. Хотя и я, и они понимали: «увлечь власть» этим спектаклем было невозможно. Впереди ждала жестокая борьба — надо было пробивать, доказывать и т. д. Я решил тогда: он попросту поберегся, понял, что после инфаркта он всего этого не выдержит.

Но теперь я думаю обо все этом иначе. Все эти причины годятся для нормального человека. А он был иной. Он воистину жил репетицией, ему самое главное было найти ключик. Он его нашел — «взлетело!» И все!

А дальше — борьба за премьеру, все наши тогдашние битвы — это ему было скучно. Там, где начиналась политика, там для него умирало искусство. У него на все это не было времени, он должен был открывать ключиком другое. Новая репетиция — новая любовь, новое неведомое.

Смешок

Меня вызвали в Московский городской комитет партии.

В маленьком кабинете сидел какой-то молодой человек, инструктор горкома. Он сразу начал на «ты».

— Ты, старик, написал три пьесы, которые сняли. Ты понимаешь, государство затратило деньги, театры мобилизовали лучшие актерские силы, актеры тратили нервы, а мы вынуждены были их снять. Ты понимаешь, старик, кто ты?! Ты бракодел. Короче, сейчас ты пойдешь домой и напишешь пьесу. Нужную. Но ты должен знать, что если опять будет не та пьеса, она будет у тебя последней. Причем никаких статей в газетах про тебя не появится. Шумная критика — все, что вы все так любите… ничего этого не будет. Будет указание. После него ставить тебя не будут нигде — куда ты не ткнешься. Знаешь, как с молью поступают?.. Открывают сундук, а там моль. И вот внутри посыпают нафталином и захлопывают крышку. Тишина, темнота — и нету моли. Иди и пиши ту пьесу. Это тебе дружеский совет.

Весь монолог был пересыпан дружеским матом.

Я ничего не ответил.

Я ушел.

Сел писать в тот же день. Сначала написал эпиграф:

«И раз навсегда объявляю: что если я пишу, как бы обращаясь к читателям, то так мне легче писать… Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет…»

Это была цитата из Достоевского, которую я прочел накануне.

После нее написал первое слово в пьесе. Это была ремарка: «Смешок». Это был мой смешок, мой ответ на предупреждение сукина сына.

А потом долго думал, о чем я буду писать. И понял: это будет пьеса о Лунине. Об одном из очень немногих декабристов, которых не сломали.

Лунин

«Лунин» — это история о последних трех часах жизни декабриста Михаила Лунина. Место действия — тюрьма Акатуй. Она считалась самой страшной тюрьмой в России. А в России тюрьму ценить умеют. Тюремщики получают приказ удавить Лунина. Но они знают, как опасен сей господин — он так просто к себе не подпустит. Большой физической силы был человек. Удавить-то они его все равно удавят, но крови-то, крови будет… И они приходят к нему договариваться. Официально он умрет от апоплексического удара. Но если согласится подпустить убийц, дают ему три часа жизни перед, чтоб последнюю волю изложить смог, завещание написал, со священником встретился. И главное — к смерти приготовился. И он соглашается, только просит на руки убийц посмотреть — на руки тех, кто жизнь его примет.

… И вот они наступают эти последние три часа.

И тотчас в камере начинается его театр.

«Господа, как спастись в тюрьме, ужаснее которой нет в России… Сердцу полезны страдания… Но разум угасает… в грязи, в вони, в мучениях, в обществе убийц и фальшивомонетчиков, где единственное зрелище — публичная порка, которую заставляют меня смотреть! Но я открыл: страдание — пища сердца… а пища разума? Беседа! Воображение! И вообще, господа, что такое воображение? Коли каждую ночь вы будете видеть сон, который есть продолжение сна предыдущей ночи… как вы отличите дневную реальность от сновидений? Воображение, господа, поверьте, это та же реальность! Ибо после публичной порки… после поручика Григорьева и убийц… возвращаясь в свою камеру, я в воображении учился видеть Магомета и Будду… Я научился беседовать с ними!.. И неужели вы думаете, я признаю после того реальностью физиономию поручика? Поверьте, воображение реальнее реальности! (Смешок.) И тогда я понял: спасен! спасен!..»

В эти три часа он ставит пьесу о своей жизни.

Но, как в детстве нас учат сокращать дроби, так теперь, в старости, жизнь постепенно сокращает кажущееся многолюдство. И оказывается, во всей его жизни всегда были только они, четверо — Женщина, которую он называет Мария, Каин, Авель и Кесарь. На одной жалкой лавочке уместилась вся его бурная жизнь.

И рожденные воображением призраки начинают разыгрывать его жизнь. Точнее — бал! Ибо до тюрьмы его жизнь была веселым, пьяном балом. И заговор был составлен на балу — между

картами, пуншем и девками.

Но тюрьма оказалась важнее бала.

Один из декабристов, выйдя из тюрьмы, увидел своего доносчика и в ноги ему поклонился. Почему? А потому, что только «с сумой да тюрьмой» можно понять то, чего не мог понять на балу, — он, жестокий, молодой, беспощадный дуэлянт, радостно заставлявший бояться других. И только здесь, в этой грязи, в этом мраке, среди каторжников, он понял главное… Радость страдания и счастье прощения: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».

И только в тюрьме он, вчерашний беспощадный революционер, понял заклинание французского революционера, прокричавшего под ножом гильотины: «Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!»

Ибо поднявший меч, от меча и погибнет.

Дон Жуан жив-здоров и проживает в Москве

Я закончил «Лунина», когда наступило очередное «потепление».

В это время у меня оказались две оконченные пьесы.

Другая называлась «Окончание Дон Жуана». Это была «веселая пьеса». Дон Жуан жил во все времена, только под разными именами: Парис, Овидий, Казанова… Дон Жуан…

Но каждый раз в конце концов приходил очередной Командор и убивал его… чтобы он воскрес вновь, в другом веке. И так — тысячелетия!!

Зато его слуга Лепорелло бессмертен, как бессмертны пошлость и холопство. Он жил всегда, во все времена. И во все времена у него была только одна забота — найти себе Хозяина в отсутствии Дон Жуана.

Но как только появлялся под очередным именем Дон Жуан, бедолаге Лепорелло приходилось вновь выполнять свою хлопотливую, трудную службу при беспокойном соблазнителе…

И вот теперь, в XX веке, к его ужасу, в Москве появляется в очередной раз воскресший Дон Жуан. Все с тем же предназначением — дарить любовь. Пагубную и оттого желанную любовь-страсть. Он должен дарить ее юным красоткам, еще не отведавшим этой любви, и зрелым женщинам, чья страсть уже умерла на скучном супружеском ложе. Он, как пчела, которая должна опылять все цветы, он, как дождь, который должен орошать все поля. Но Дон Жуан выясняет удивительную вещь: в XX веке великий любовник Дон Жуан не нужен… Богини исчезли, несчастные равноправные женщины превратились в рабочих лошадок… И роль Дон Жуана вполне успешно может исполнять… его слуга Лепорелло. Когда Лепорелло торопливо квакает: «Я тебя люблю», — этого нынче достаточно, все остальное несчастные женщины выдумывают за него сами.

Дон Жуан, эта китайская ваза в одном экземпляре, оказался странен в век пластика. Век, когда тот, «кто был ничем, стал всем», оставаясь при этом все тем же жалким ничем.

Я отдал и эту пьесу Эфросу.

И чтобы не было хлопот с разрешением, Эфрос объявил работу экспериментальной. «Дон Жуаном» должна была открыться экспериментальная Малая сцена в Театре на Малой Бронной.

На роль Дон Жуана Эфрос пригласил Олега Даля, блестяще

сыгравшего лермонтовского Печорина в поставленном Эфросом телевизионном спектакле.

Роль Лепорелло играл другой киногерой — Станислав Любшин.

«Пьеса хороша», — записал Даль в своем дневнике, где подобные слова и о людях, и о пьесах редкость.

О Дале

Актеры бывают счастливые и несчастливые. Счастлив актер, чей облик совпал со временем. Иногда актер появляется чуть раньше. Иногда чуть позже. Это трагично.

У Даля было счастливое начало. Он вошел в искусство, когда его герой диктовал в литературе и в жизни. Вся модная исповедальная проза, печатавшаяся, как правило, в журнале «Юность» 60-х, воспевала этого героя. Он создавался и жизнью, и молодыми писателями в незримом соавторстве с западными властителями дум. Весь Хемингуэй, «Три товарища» Ремарка, «Над пропастью во ржи» Сэллинджера и так далее… Рефлексирующий мальчик-ремарчик, как называли его недруги, задавал насмешливые вопросы себе и Времени. Нервный, мучительно ищущий, не желающий принимать на веру ничего. Именно таким появился Даль на экране в самом начале 60-х.

Тогда казалось — наступает время молодых. Время бури и натиска. Молодые поэты были властителями дум, молодые ученые верили, что они изменят страну, молодой гроссмейстер Таль стал шахматным чемпионом мира. Но, как случалось бесконечное количество раз в нашей истории, «Зима холодная дохнула…».

Наступило очередное «оледенение». И вся эта литература была уничтожена, как катком. «До свиданья, мальчики», — называлась модная повесть. «До свиданья, мальчики!» — торжествующе написал в своей статье Секретарь ЦК ВЛКСМ по идеологии, хороня эту литературу.

Вот так Олег Даль остался без современного героя и играл теперь, в основном, костюмные роли.

Мальчик-принц с прелестным инфантильным лицом и удивительной речью. Это была речь тогдашнего «Современника» — подлинная, совершенно неактерская и вместе с тем очень интеллигентная.

У него не было никаких званий, но кино и телевидение уже сделали его знаменитым.

«Я не народный, я инородный», — сказал он о себе правду.

Он был инородный и в жизни, и в театре… В нем была какая-то невероятная скрытая боль… и тайная жажда страдания.

Рассказывали, что первый раз женился он на женщине, которая его не любила, и он это знал. И ее со свадебного застолья на его глазах увел другой, которого она любила…

Он по-особому воспринимал людей. Он рассказывал мне: «Однажды я понял по голосу, что рядом в купе ехал актер Б. Я его

физически не переносил (глаза больные!). Я заперся в своем купе. И полночи стоял у двери, держался за ручку — боялся, что проводница откроет ее (и в глазах — ужас!). Понимаешь, Б. любил со мной говорить! А я… я его не выносил! Не выносил!!!» — повторял он со страданием.

У него была особая, слишком тонкая для жизни кожа.

И еще один его рассказ. Во время выездного спектакля «Вкус черешни» ему надоело, как он сказал, «играть ерунду».

И он преспокойно сошел со сцены и обратился к партнерше:

— Послушай, давай будем искренними…

И начал рассказывать все, что думает о пьесе. Публика аплодировала, решив, что это режиссерский прием. Тогда он начал сообщать все, что думает о публике. Кончилось диким скандалом, и театр спас его с большим трудом.

У него были и очень веселые рассказы (правда, редко). Он уморительно (и, конечно же, каждый раз по-другому) рассказывал, как 1 января, после бурного новогоднего застолья в «Современнике», играют на детском утреннике «Белоснежку и семь гномов». И уморительные злоключения во время спектакля жаждущих опохмелиться — гнома Даля и всех остальных нежных гномов с пугающе зелеными после новогоднего перепоя лицами. И реакция невинных крошек в зале.

Все знали, что он замечательный театральный артист. Но большой роли в театре, «чтобы не уходить со сцены весь спектакль», у него вроде не было.

В «Дон Жуане» у него была именно такая роль.

И когда Эфрос уже шел к выпуску спектакля, Далю предложили другую роль, где он тоже — не должен был уходить со сцены весь спектакль.

Это и был «Лунин».

«Лунина» я, естественно, не мог дать Эфросу.

К тому времени эту пьесу я уже давал читать многим. Один наш знаменитый актер (я хотел, чтобы он сыграл Лунина) прочитал пьесу и позвал меня домой. И с выражением начал читать куски из пьесы: «В России без доносов, как без снега, земля вымерзнет»… «В России все молчит, ибо благоденствует…». И так далее…

После чего задал мне вопрос, который я уже когда-то слышал: «Мы с тобой понимаем о чем эта пьеса… Почему ты думаешь они не поймут?»

Другой, нынче знаменитый, режиссер сказал мне совсем насмешливо: «Рванулся бы, коли был счет в швейцарском банке».

Ситуация казалась безнадежной, когда пьесу прочел и

захотел поставить главный режиссер Театра на Малой Бронной Александр Дунаев.

У него была трагичная судьба. Был он милейший и очень добрый человек. И то, что называется крепкий профессиональный режиссер. Одно время ходил он в обещающих провинциальных режиссерах, возглавлял большие театры в Воронеже, Красноярске. И вот, после того как Эфрос согласился перейти очередным режиссером в Театр на Малой Бронной, туда тотчас назначили главным режиссером Дунаева. И Дунаев согласился, не понимая на какую Голгофу он идет.

Его сразу же восприняли как надзирателя при Эфросе. Относиться к нему презрительно стало хорошим тоном. Тотчас возникла шутка: в театре на Бронной два режиссера: один главный, другой талантливый…

Быть главным при великом режиссере, видеть, как ежедневно рвутся не на твои спектакли, знать про постоянный вопрос в кассе: «Это спектакль Эфроса?» — «Нет? — Тогда не надо!..» Это — хуже пытки.

Он терпел. Ставил классику и дозволенные пьесы.

И хотя Дунаев не позволял себе «наезжать» на Эфроса, он, конечно же, раздражал Эфроса. И своей эстетикой, и просто своим присутствием. И вообще, всякий настоящий режиссер воспринимает труппу как жену. И то, что его актеры работают с Дунаевым, Эфросу было переносить трудно. Ибо актер приносит в глазах, в голосе след ЧУЖОГО, след другого режиссера. И это — след измены.

Судьба безжалостно, но заботливо учит. И впоследствии согласившись стать главным режиссером в Театре на Таганке, Эфрос в какой-то мере узнает то, что чувствовал тогда Дунаев.

Но вернемся к «Лунину». Однажды мне позвонил Дунаев. Я так и не знаю, откуда он узнал о пьесе. Я ему ее не давал.

Почему он ее взял? Это была попытка переменить ситуацию — заявить о себе. Он отлично понимал, как будет принят публикой «Лунин».

При этом он знал — власть не посмеет ему отказать ставить пьесу.

Это была плата за его страдания. Понимал и я, что режиссура Дунаева — единственная возможность увидеть пьесу на сцене.

Я отдал ему пьесу. Как он и предполагал, ему разрешили репетировать «Лунина».

И он позвал на роль Лунина Даля.

Даль записал в дневнике: «Наскочил Дунаев и предложил

Лунина… Отказаться не смог».

Отказаться не смог, ибо искушение было слишком велико. Лунин был воистину его ролью. Характеры были схожи. Очень схожи.

Итак, теперь у Даля были две роли, в которых он уже буквально «не уходил со сцены».

Я видел, как он репетировал Лунина.

Он играл смерть, физический ужас приближающейся неотвратимой смерти… Три часа жизни уходят. И смерть все ближе.

В каком-то монастыре в Италии дежурный монах каждый час возвещал: «Проходит время жизни. Еще час прошел».

Даль играл, и вы видели эти ужасные песочные часы, эти беспощадно утекавшие минуты. Он так репетировал, что осветители все время забывали заниматься светом, а режиссер забывал делать им замечания.

Помню финал спектакля, его хрипловатый голос:

— Во все дни человеческие… во времена надругательства — и креста — всегда находится тот, кто говорил: «Нет!»… В этом был смысл… И тайна… Ах, как бьет барабан! Как оглушительно… Не надо мне завязывать глаза. Это — жмурки… Это няня прикрыла мне глаза руками… чтобы не попало мыло, и мое детское тельце…

Я чувствую единение с Сущим! И дух мой блуждает по пространствам и доходит до звезд!.. — (и почти изумленно). — Свободен!

… Какая тишина была в репетиционном зале!

Репетиции «Лунина» были в самом разгаре, когда должна была состояться премьера «Продолжения Дон Жуана».

Я пришел на генеральную репетицию.

В тот день над городом собралась какая-то булгаковская гроза. Небо угрожающее — тьма. И когда в 11 утра я вошел в театр, впору было зажигать свет. Но его не зажгли, так что лица актеров были еле видны. И только всполохи за окном освещали маленький зал.

Репетировали на Малой сцене.

Это были несколько рядов скамеек, окружавших небольшую площадку, посыпанную песком, будто для корриды.

По стене над рядами скамеек висели великолепные платья истлевших женщин, Дон Жуана, и в платьях прятались черепа.

Тонкий, хрупкий Даль — в камзоле. Этакая фарфоровая старинная статуэтка, и Лепорелло-Любшин в современном

костюме.

Репетировали начало. Недавно воскресший Дон Жуан приходит к Лепорелло в фотоателье, которым Лепорелло (Лепо Карлович Релло — как его зовут в нынешнем веке) благополучно заведует.

Даль: «Как здесь хорошо… Я так намерзся, Лепорелло. Ночь, холодище, а ты летишь себе сквозь звезды в дрянном камзольчике».

Любшин: «А вы разве… не оттуда?..» (Указывает на землю.)

Даль (с негодованием): «Никогда!»

И царственный жест в небо.

И точно в эту секунду, будто подтверждая слова, ударил гром.

С этого мгновения они перестали отвечать друг другу, они начали общаться с грозой. Они включили грозу в репетицию. И вся фарсовая мистика пьесы тотчас стала буквальной, бытовой.

И свет молнии все время вырывал лица.

Я так и запомнил навсегда — лицо Эфроса и лицо Даля в грозовых всполохах.

Но обе роли, которые он так блестяще репетировал, он не сыграл. Накануне премьеры «Продолжения Дон Жуана», во время пика репетиций «Лунина», он ушел из театра. Точнее сказать — бежал.

Инородный

Эфрос позвонил мне и кратко сказал:

— Сегодня Даль подал заявление. Он уходит из театра.

— Почему?

— Не знаю. Думаю, и сам он тоже… Мне он не соизволил объяснить. Даже не попрощался. Загадочный человек.

И повесил трубку. Я понял, он взбешен.

Мне позвонил Дунаев:

— Слушайте, это безумный человек. Он уходит из театра! Но почему?! Мне говорили, что он замечательно репетировал у Толи… Вы видели, как он репетировал у меня! Нет, он безумный! Я звонил ему, но он отказался говорить.

На следующий день я встретил его в театре — он сбегал по лестнице.

Я растерянно сказал:

— Как же так — ты ушел, даже не попрощавшись с Эфросом, не объяснив ничего.

— А надо ли? — ответил он и, не оборачиваясь, побежал по лестнице.

Дунаев пытался ему звонить снова — он не брал трубку. Сказали, что он заболел.

Наконец, Дунаев позвонил мне и попросил поехать к Далю.

— Он вас любит, попытайтесь! Уговорите!

И я поехал. У меня уже несколько лет не было ни одного спектакля. И вот у меня выходило два спектакля и… опять ничего! Это было невероятно — и глупо, и страшно. Но главное — непонятно.

Я приехал. Он лежал в кровати. Болел.

Я попытался выяснить только одно: почему?

Он объявил, что он не может репетировать с Эфросом, потому что Ефросинья (так он его называл) слишком диктатор, слишком повелевает. (Это он-то не может, он, который в театр пришел из-за Эфроса!)

— Но есть Дунаев. Он дает возможность делать все, что ты хочешь.

Оказалось, что и там он не может репетировать, потому что Дунаев дает возможность делать все, что он хочет!

Я видел, что объяснить он ничего не может. Но у него есть только одно желание, как у гоголевского героя в «Женитьбе» — бежать! Выпрыгнуть из окна — и бежать! Любой ценой, но только — прочь из театра!

Я много потом думал об этом загадочном бегстве.

И мне показалось — понял.

Никто не мучил этого человека больше, чем он сам. Ибо он был болен очень редкой и опасной манией. Манией совершенства. Он все время ощущал: «Гул затих. Я вышел на подмостки…» Ему казалось, что весь мир сосредоточенно смотрит на него и гадает, что будет. Прежде была слава, но не было ролей.

И вот все ждут: теперь у него большая роль, как он ее сыграет?

И он знал, как надо играть. Но так, как он знал, как он репетировал сцены, сыграть весь спектакль было ему невозможно. Сил таких у него не было. У него было жалкое, худенькое тело. Это было не телосложение, а теловычитание.

Сыграть так, повторюсь, было невозможно!

Так можно было только умереть. А играть иначе он не мог.

Жажда совершенства убивала его!

И он это понимал. Он как-то сказал мне:

— Я хотел бы сыграть великого джазиста.

И он назвал имя (имя запамятовал, но хорошо помню рассказ):

— Понимаешь, он замечательно играет, но все не так! И он пьет и колется, чтобы «не так» заглушить.

И этот мучитель, самоед страшный, постепенно сжирает — убивает себя… Ты не хотел бы написать?

Итак, он ушел из театра.

Прошло время. И когда я закончил пьесу о Нероне, сразу подумал — о нем!

Нет, нет, я не собирался предлагать ему роль после всего, что случилось. Просто, перебирая актеров на роль Нерона, видел только его лицо.

Однажды я шел по улице и вдруг увидел его. Он как-то затосковал, но деться некуда. Переходить дорогу было глупо, и он пошел прямо на меня.

И первым начал разговор:

— Я знаю, вы на меня очень сердитесь.

(Ну разве можно сердиться на актера!)

— Я слышал, что вы написали о Нероне. — И в глазах его было… Продолжать ему было не надо.

Я сказал:

— Да, да, я дам тебе почитать.

— Я живу теперь за городом, там так хорошо. — (Было лето.) — Давайте повидаемся. Может, вы решите к нам

приехать… И почитать. — (Торопливо.) — Я на всякий случай нарисую…

И он очень подробно начал рисовать план — как проехать к нему и как дойти от электрички.

— Я сейчас улетаю в Киев. Вернусь и, коли позволите, непременно позвоню вам, — с обычной своей изысканной вежливостью заключил он.

Через несколько дней меня разбудил звонок. Я в ужасе посмотрел на часы — было шесть утра.

Женский голос сказал:

— Даль умер.

И повесили трубку.

Я так и не знаю, чей это был голос.

В его дневнике есть одна из последних записей: «Борьба с собой не на жизнь. НО НА СМЕРТЬ! Это не фигурально».

Пьесу «Лунин» поставили без Даля.

Пригласили нескольких актеров. Но со всеми ними пришлось расстаться.

Помню: сидит Дунаев в темноте зала. На сцене — декорация, играет музыка к спектаклю. Но на сцене — никого.

Он сказал:

— Я должен хотя бы отвыкнуть немного, хотя бы чуть его забыть! После него любой другой голос меня раздражает.

В конце концов Лунина сыграл молодой тогда актер Олег Вавилов.

И сыграл, на мой взгляд, удачно.

Эфросу спектакль, конечно же, не понравился. Он тотчас придумал свой. Он сказал: должна быть крохотная камера. И вся она тесно набита народом — всеми, кто участвовал в лунинской жизни. И он творит свой театр в этом крошечном пространстве. Но постепенно людей в камере становится все меньше и меньше. И в конце концов… как там у вас сказано: «К старости жизнь сокращает кажущееся многолюдство. И оказывается, во всей его жизни всегда были только они, четверо — Каин, Авель, Кесарь и Мария.

Я думаю, Эфрос был необъективен. И совсем не потому, что впервые у достаточно нелюбимого им Дунаева было то, что называется «шумной премьерой».

И на «Лунина» пришли те, кто на спектакли Дунаева не ходили… Просто это был другой театр, добротный, реалистический театр, который он терпеть не мог.

Кстати, на премьеру пришел тот самый зловещий когда-то Ягодкин. Он даже высказался — ему понравился спектакль. Теперь он работал на другом, совсем не идеологическом месте. Вдали от идеологии он тотчас стал милым человеком с нормальными вкусами. Что делать: место не только «красит» человека. Оно им управляет.

И «Дон Жуана» тоже поставили без Даля.

Эфрос сразу назначил новых исполнителей. И каких! На Дон Жуана пригласил Андрея Миронова.

Был такой роман — Миронов и публика. Ему достаточно было просто выйти на сцену — и зритель уже умирал от восторга. Лепорелло играл еще один любимец публики — Лев Дуров. Они превратили репетиции в концерт.

Первый спектакль, на который пригласили несколько критиков и драматургов, прошел блестяще. И тогда было решено устроить общественный просмотр.

Есть такая пословица — мне ее сказал кто-то из циркачей: «На премьеру приходят наши враги»…

Врагов не было. Пришли куда пострашнее — друзья: знаменитые актеры, режиссеры, писатели, драматурги. Короче, люди, внимательно следящие за творчеством друг друга.

Зал был полон блестящих имен.

В обычном зрительном зале все эти известнейшие люди сидели бы скрытые темнотой и пространством. Здесь, на Малой сцене, они сидели прямо перед актерами, совсем рядом. Они дышали им в лица и спины.

Начался спектакль. И актеры тотчас познали ужас Малой сцены. Вышел Миронов. На него внимательно смотрели знаменитые коллеги из Театра сатиры. Еще до того, как он открыл рот, он вспотел. Опытный, блестящий актер был убит сразу и наповал. Миронов… зажался!

Он потел, текст, смешной вчера, сегодня звучал неостроумно, а точнее — ужасно. И если Дуров еще как-то держался, Миронов погибал с каждой репликой.

Это был воистину провал.

Что бывает после такого провала? Режиссеру много звонят. И говорят: это (увы!) уже не ваш автор (вам надо ставить классику), и Миронов — не ваш артист… он исчерпал себя, убил себя съемками в пошлых фильмах и т. д.

Автору говорят, что это (увы) уже не ваш режиссер, он постарел и т. д.

Артистам тоже говорят…

Эфрос очень переживал, он стал испытывать отвращение к спектаклю.

Но жизнь продолжалась, и провалившуюся премьеру надо было продолжать играть. Сто мест на Малой сцене были по-прежнему нарасхват. Администрация с радостью погибала от количества звонков «нужных» людей. На следующем спектакле зал опять был переполнен знаменитыми именами, но большинство их, к счастью, не имело отношения к искусству.

Начался спектакль. Вышел Миронов. Он не успел раскрыть рот — раздался смех.

Он снова был повелитель. Роман «Миронов — публика» расцвел вновь.

И успех был — вновь.

На одном из спектаклей присутствовал знаменитый американский театральный продюсер и режиссер Джозеф Папп. Он, не понимавший ни слова по-русски, по окончании подробно пересказал по-английски содержание пьесы. И сказал: «Здесь перевод излишен, они все играют без слов… Этот спектакль, этих актеров нужно показать миру».

И вскоре спектакль пригласили на Мюнхенский театральный фестиваль. Более того, нашим спектаклем фестиваль должен был открыться!

В это время нам объявили бойкот из-за войны в Афганистане. И подобный шаг устроителям сделать было нелегко. Но они сделали. Согласие Эфроса они, конечно же, получили. В согласии наших властей они не сомневались — ведь это был прорыв в бойкоте СССР.

Так что они начали строить специальное шапито, где предполагалось играть «Дон Жуана». Они не знали, что согласие знаменитого режиссера в его стране ровным счетом ничего не значит.

Министерство культуры СССР (причем к ужасу нашего посольства в ФРГ) решило иначе. Было объявлено: «Это не тот спектакль, которым нужно открывать Мюнхенский фестиваль».

Эти безумцы хотели контролировать репертуар даже в Мюнхене.

Помню… мне (!) звонили из нашего посольства в ФРГ и просили меня (тогда невыездного!) повлиять на Министерство культуры, объясняли (почему-то мне!), что приезд спектакля, говоря словами классика, «соответствует видам и намерениям державы российской».

Но Министерство культуры знало, что лучше для державы.

Бессмертное правило: «Хотели как лучше…» действует на протяжении всей нашей истории.

В результате протратившиеся, взбешенные организаторы фестиваля специально нашли какую-то пьесу, считавшуюся антисоветской, и ею открыли злополучный фестиваль.

Миронов был удивительный артист.

В пьесе был текст: «Вот ваш отец — Алонзо Хуфрэ Тенорио — вот был весельчак! Сколько знал анекдотов! За анекдоты его король сделал бароном! Помню, враги захватили его в плен и пытали, чтобы завладеть анекдотами. Но он не выдал им ни одного и умер молча как герой».

С каким пониманием произносил этот текст Дуров. И с тем же пониманием слушал его Миронов. Ибо оба они знали анекдотов больше, чем Алонзо Хуфрэ и, вообще, больше чем кто-либо на свете. И, сидя в гримерной, рассказывали их бесконечно.

Но вот наступает священный миг. Звонок, и голос по радио помощника режиссера: «На сцену». К священной жертве зовет Аполлон.

Миронов надевает шутовскую шляпу Дон Жуана… И с любимой присказкой: «Художника может обидеть всякий, а вот наградить его материально…», — идет на Малую сцену.

Чтобы попасть на Малую сцену, надо было пройти по Большой сцене.

И этот его проход был поразителен. Я приходил его тайно смотреть.

Я сидел в темноте в зрительном зале. На Большой сцене появлялся Миронов. Он останавливался и смотрел в пустой темный зал. Лицо его начинало меняться… И уже оно… беспощадное лицо Дон Жуана!

И, постояв мгновение, быстрой походкой Дон Жуан шел на Малую сцену.

Наша страна всегда была некрополем. Чтобы понять, кто жил с нами рядом, нам надо его потерять… Так было с… (дальше — бесконечные имена).

После смерти Миронова полюбили все и признали великим абсолютно все. И фильмы, которые считались «на потребу», смотрели теперь с восторгом все.

Как справедливо сказал кто-то: «После смерти Миронов стал играть еще лучше».

Лунин: жизнь после смерти

Пьеса «Лунин» — была первой моей пьесой, которую я увидел за границей. Меня часто туда звали на мои спектакли, но обычно не выпускали (это было проблемой для большинства писателей).

В Данию меня выпустили. Хотя сначала все шло по обычным правилам. Я звонил в ВААП (Агентство по охране авторских прав, которое оформляло наши поездки). Они, как обычно, вздыхали: «На вас нет решения (то есть решения таинственной выездной комиссии, решавшей: выпускать или не выпускать. — *Э.Р* .). Позвоните завтра».

— Но послезавтра надо вылетать.

— Мы знаем и билет вам купили, но пока… нет решения.

На самом деле в это время (и это тоже было по правилам) шла оживленная переписка.

Датчанам сообщили, что «в связи с моей болезнью», я не могу приехать. Обычно после этого принимающая сторона должна была заткнуться.

Но датчане оказались странно упорны. Они объявили, что огорчены нездоровьем автора и отодвигают премьеру. Но опытные «наши» не уступили в находчивости. Телеграфировали, что я выздоровел, но, к сожалению, должен уехать на театральный фестиваль в Италию (о фестивале я знал столько же, сколько о своей болезни).

И уже знаменитый заместитель председателя ВААПа позвонил мне лично и траурным голосом, соболезнующе вздыхая, сообщил, что «решения не будет, и я никуда не еду».

Я приготовился поехать на дачу, когда вновь зазвонил телефон и взволнованный голос сотрудницы ВААПа прокричал:

— Собирайтесь немедленно, вы едете в Копенгаген, самолет днем, времени у нас с вами почти нет. Все документы привезу прямо на аэродром.

Только прилетев в Копенгаген, я все понял. Меня встречал датский режиссер Херман, который радостно обратился ко мне… по-русски! Нет, он не был нашим невозвращенцем. Он был невозвращенцем польским. Бывшим жителем очень братской и столь же социалистической Польши. И оттого этот вчерашний польский режиссер Герман, ученик великого Ежи Гротовского, отлично понимал наши нравы. Наши общие нравы.

Зная, что меня не выпустят, он придумал хитрость.

В это время у нас наметились политические игры со скандинавами, и курс был — на дружбу. И дама, тогдашний

министр культуры Дании, позвонила нашему министру культуры, кандидату в члены Политбюро Петру Ниловичу Демичеву (которого Юрий Петрович Любимов смешно называл Ниловна). В нарядной седине, в голубом костюме, Ниловна был представителен… И когда иностранная дама-министр пожаловалась: «На датской сцене впервые ставят пьесу современного советского драматурга. Это должно стать вкладом в развитие дружеских отношений наших стран. Но автор пьесы оказался зловредным гордецом. Он никак не хочет прибыть в маленькую Данию, он променял нас на фестиваль в Италии», — ответ Ниловны был незамедлителен и царственен: «Он к вам приедет!»

На аэродроме собралось множество журналистов — встречать редкого тогда гостя. (Спектаклю нужна была реклама — и Герман постарался.)

Помню один из вопросов:

— Мы вас встречаем в третий раз. Неужели вам не надоело так жить, неужели вам не хочется жить, как положено известному писателю… ездить, куда вам хочется и когда вам хочется?

Я ответил:

— Вы понимаете… жизнь интересна, когда она полна приятных сюрпризов. Жизнь в стране, откуда я приехал, — сплошной приятный сюрприз… Вот вы идете по московской улице, зашли в магазин, а там продают сыр. Только что, как у нас говорят, «выбросили». Ну что интересного для вас, когда продают сыр! А у нас радость! Победа!.. И так все время! Вот западный писатель решил поехать в Данию. Ну, проснулся утром и знает — поедет. Какая скука! А как интересно у нас.

Я просыпаюсь утром — и не знаю, куда я поеду: на свою дачу или в ваш Копенгаген! Запомните: в моей стране награждают радостью и победами каждый день… а порой и каждый час и минуту!

Меня очень порадовало польское прошлое Германа. Теперь я знал: ему должна быть понятна моя пьеса.

Радость была непродолжительна, ибо тогда же, на аэродроме, он сообщил мне ужасное.

Он сказал:

— Эту пьесу я поставил в очень уютном, молодом театре. По популярности и по своей истории он очень похож на ваш «Современник». Называется: «Кафе-театр».

И я спросил уже с некоторой дрожью:

— А почему такое необычное название?

— А потому что это действительно и кафе, и театр. Зрители там сидят за столиками.

— То есть как? Они там едят?

— И пьют. Но немного. Много пьют уже после спектакля.

— Но что же будет? Они будут есть и пить, когда в камере будет умирать Лунин?

Герман загадочно ответил:

— Увидишь.

Меня не выпускали шесть лет. Но если бы у меня была валюта, клянусь, я бы уехал, убежал бы обратно от грядущего кощунства. От этого поношения несчастного Лунина.

Но денег не было. И вообще, улететь, как и прилететь, самому было невозможно. Все решали «папа» и «мама» — советская власть.

И я отправился на премьеру. Точнее — на пытку.

Меня привезли в театр пораньше, и я увидел мирную очередь датчан в буфет. Они запасались едой и напитками.

— Во время действия буфет закрывается, — попытался успокоить режиссер.

Я молчал. Я его ненавидел.

В ужасе прошел в зрительный зал. Там стояли черные столы, на них — черные свечи… И все это траурное, черное отражалось в зеркалах на стенах… Не замечая весь этот траурный мрак, зрители весело рассаживались по местам. Они, конечно же, не очень знали, кто такие декабристы. И авторы программки к спектаклю тоже не знали, как называть героев — то ли по-русски: «декабрист», то ли по-английски: «десембрист». Так что в программке про «десембрист» объяснялось… в нескольких строчках. Но ее зрители не читали — они шумно расставляли на столах ненавистное мне питье. Они пришли отдохнуть — поесть, выпить, поглядеть на любимых популярных артистов.

В центре зала, среди столиков, стоял деревянный помост, и с потолка на помост свисали чудовищные веревки-петли. Эшафот в центре кафе!

Наконец все расселись. И тогда голос откуда-то сверху сказал:

— А теперь погасите свечи.

Они, смеясь, думая, что это игра, задули свечи.

Наступила темнота и тишина. И в темноте звякнули кандалы. Через мгновение вспыхнул свет театральных софитов и в огороженном квадрате посреди кафе стоял человек в арестантской сермяге. Это был один из любимых датских артистов. И через несколько реплик зал понял, что они будут

жрать и пить, пока его будут убивать. Убивать за то, что он боролся за свободу. Они поняли, что все они за столиками стали декорацией. Декорацией сытого мира, который веселится, прелюбодействует, жрет, когда другой умирает за людей.

Они были и тем тщеславным маскарадом, который мерещился Лунину в камере, и, одновременно, толпой, которая комфортно и безгласно наблюдает за гибелью героя.

И не то, что чавканья, звона бокалов не было — они пошевелиться не смели.

Они, как загипнотизированные, сидели до конца спектакля.

По окончании спектакля Герман выглядел победителем.

— Кстати, — сказал он, — государя в спектакле играл «имеющий право» — один из дальних родственников датской королевы и, следовательно, вашего последнего царя.

Я спросил:

— Ну ведь когда-нибудь кто-нибудь выпьет, начнет жрать?

Он ответил:

— Тогда спектакль кончится.

Они играли каждый день, играли весь театральный сезон, на который и было арендовано помещение.

Рукописи не горят

Пьесу о Лунине много ставили за границей.

В Швеции она шла в радиотеатре. Радио очень популярно было в Швеции. Как становится популярным у нас теперь.

В радиоспектакле играли знаменитые актеры. Весь спектакль был сделан как некая непрерывная звуковая симфония. Начинался он с далекого звяканья цепей. Тяжелый стук шагов кандальников. Все ближе, ближе. Ощущение: прямо на тебя движется кандальная толпа. И все обрывается. Тишина. В тишине — долгий скрип тюремной двери, стук тюремного засова, а потом сухой, щелкающий лунинский смешок. И свистящий шепот совсем рядом — так начинался монолог Лунина. Монолог этот будет прерываться звуками бала, стоном ветра, храпом лошадей и свистом картечи на Сенатской площади. И опять — шепот Лунина, разыгрывавшего свой безумный театр в камере…

Спектакль прозвучал несколько раз. И когда через год я был в Швеции на премьере другой своей пьесы, меня разыскал в Стокгольме удивительный человек. Он представился: «Граф Лунин». И рассказал: он эмигрант, потомок Лунина. Однажды в машине по радио услышал пьесу о своем предке. И был потрясен его судьбой, о которой почти ничего не знал. Потом искал и прочел все, что написано о Лунине. И тогда он сказал себе: «Не так живу. В жизни только и делал, что зарабатывал деньги. А мой предок жил совсем иначе…» И он все раздал детям, как король Лир. Начал новую, совсем другую жизнь.

Я не сказал ему, что он не был потомком моего Лунина, что графы Лунины — другая ветвь, и к декабристу Лунину отношения не имеют.

Но меня поразила ситуация. Исторический Лунин погиб, скорее всего, тайно был удавлен, в затерянной в Сибири Акатуйской тюрьме. Казалось естественным, что все бумаги государственного преступника после его смерти должны были быть уничтожены, сожжены… Однако пройдет какое-то время, и отчаянная фраза нашего писателя — «рукописи не горят» — станет реальностью лунинской жизни. Обнаружатся его письма к сестре, его сочинения, даже автопортрет, нарисованный в Акатуе… Все сохранилось в надежно охраняемых полицейских архивах, и уже в наши дни появится Собрание его сочинений.

Удавленный, он продолжал жить. И через полтораста лет за тысячи километров от Акатуя он менял жизнь другого человека.

Лунин — мистический образ. Когда началась перестройка,

пьесу разрешили снять на ТВ. До этого действовал забавный парадокс — пьесу о декабристе, революционере Лунине запрещено было играть в дни государственных торжеств и партийных съездов.

Но теперь — дули новые ветры. Хотя дули осторожно: спектакль показали днем, в будни, когда мало кто смотрит телевизор.

Но, оказалось, показали в особый, трагический день, и у него был особый зритель…

Всю историю описал сам этот зритель — академик Сахаров в своих воспоминаниях «Москва — Горький».

Сахаров находился тогда в горьковской ссылке. В эти дни в тюрьме погиб известный диссидент Анатолий Марченко. Было объявлено, что он умер от инфаркта. Но жена, когда пришла прощаться, увидела подозрительные следы на его теле — следы насилия. Так что, видимо, он был тайно удавлен.

И каково же было изумление Сахарова, когда он случайно включил телевизор…

Сахаров пишет: «Днем мы включили телевидение, и по телевидению шел спектакль «Лунин»… Мы очень редко включаем телевизор в это время. И мы были поражены, как линия пьесы рассказывает о линии, о судьбе другого человека, которая только что случилась, о гибели Марченко».

И Сахаров цитирует слова из пьесы: «Всегда в империи находится человек, который говорит — нет, в этом был смысл и тайна!» И добавляет: «… И это — Лунин, и это — Марченко!»

Тайно убитый Лунин рассказывал с экрана о жизни и смерти другого, столь похожего на него человека.

И это не было совпадением, случайностью. Это было вечное: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Или, как говорил Лунин в пьесе: «Пролитая кровь человеческая вопиет».

Толпа

Во время перестройки ушли в прошлое выездные комиссии.

В тот год на Западе поставили несколько моих спектаклей. И я счастливо ездил на свои западные премьеры.

За рубежом посмотрел много других спектаклей.

И с изумлением понял, как настойчиво переходила из постановки в постановку эта тема — «толпа».

В Швеции был май. От пуританской, темной тогда по ночам Москвы, нарядный Стокгольм отличался разительно. В парках, прямо на газонах, едят, целуются, просто валяются молодые люди. По ночам — бешеные мальчики носятся на ревущих мотоциклах со снятыми глушителями (бритые головы с гребнями разноцветных волос — фантастические петухи в черной коже). Днем — людской водоворот у метро «Центр»: прямо на асфальте, на матрасах, лежат, темнея лицами, чилийцы (голодовка в защиту политзаключенных, плакат: «Спасите их»), рядом — демонстрируют «зеленые» (плакат: «Спасите лес»); поодаль две бритые девицы молятся и бьют в барабан (плакат: «Спасите нас от бомбы в Хиросиме» — надпись на обезображенном человеческом лице). На ступенях, ведущих из метро вверх на улицу, как на скамьях римского цирка, расположились сотни молодых людей и смотрят эту пьесу жизни.

… Вечером на окраине Стокгольма я смотрел модный тогда спектакль «Ромео и Джульетта». Посредине луга: огромная деревянная постройка — театр. Перед ним, на весеннем зеленом лугу, толпа участников спектакля. Они смешались со зрителями: парень в джинсах обнимает даму из Вероны, а кавалер времен Возрождения беседует с хипповой девочкой в брюках-обрезках. Безумный цветник на зеленом лугу… Но все эти такие юные, розовые лица участников спектакля были странно обезображены чудовищными язвами — будто средневековая проказа поразила всех жителей Вероны… Звонок, зрители входят в зал. И на сцену выливается веронская толпа с изуродованными лицами. Спектакль, начавшийся у входа, продолжался в зале.

По форме это был типичный молодежный спектакль а-ля «Ленком» — то есть оглушительная музыка с зонтами, энтузиазм массовки. Но сквозь грохот музыки и все эти бешеные танцы и крики чувствовалось что-то тревожное. На сцене было нечто, что гипнотизировало, внушало ужас. Это была толпа. Словно подчиняясь невидимому дирижеру, она то мгновенно и безропотно бросалась в драку, то также мгновенно и безропотно успокаивалась. Толпа росла, ибо убитые герои пьесы не исчезали

со сцены, но лишь отступали в толпу — и тогда их лица тотчас клеймились проказой. Они сливались с лицами толпы, точнее, с одним ее общим лицом — лицом, обезображенным враждой.

И над всем этим хаосом покорной ненависти только двое — юноша и девушка с прекрасными, не тронутыми болезнью вражды ликами, тянули руки друг к другу. А под ними бесновались и убивали друг друга покорные ненависти люди. И только они, Ромео и Джульетта, сохраняли свои прекрасные лица после гибели.

Это были по-прежнему лица Любви.

Спектакль заканчивался тревожно — толпа грозно отступала во тьму под некий мрачный гул затаенной вражды. И протянутые друг другу руки Монтекки и Капулетти безвольно повисали в воздухе. И слова герцога Вероны: «Желанное примирение состоялось при пасмурном небе» — воспринимались тревожно.

… Еще один шведский спектакль. Этот уже был поставлен в знаменитом шведском театре «Драматтен» самым великим режиссером И. Бергманом.

Шекспир, «Король Лир».

Сцена обнажена, в ее глубине — кровавый полукруг. Как загон. По самому краю сцены, на алом фоне — черные фигуры гигантов-рыцарей. Как изгородь. И за черной изгородью в кровавом загоне зажата толпа: кувыркаются шуты, фланируют дамы и кавалеры, снуют горожане и горожанки.

Эта толпа просачивается между рыцарями на авансцену, где идет основное действие пьесы. Здесь, на краю помоста, лежит царская корона, добровольно снятая королем Лиром. И она незримо управляет толпой.

Толпа — главное действующее лицо. При помощи этой толпы Бергман строит декорацию, придумывает необыкновенные по изобретательности пластические решения. Телами людей сооружает он катафалк и пиршественный стол, и тюремные колодки и т. д. Согласившись сносить зло, люди перестают быть людьми — они уже служат колодками, ножками катафалка… Они становятся строительным материалом зла — метафора спектакля. Самые большие подлецы и мерзавцы в «Лире» проникновенно говорят самые прекрасные слова, не уставая при этом творить зло. В спектакле они постепенно вовлекают в орбиту своего зла все больше и больше людей. И безропотная толпа послушно участвует в этом постыдном водовороте убийств, предательств, клятвопреступлений.

На все это смотрит на авансцене корона — олицетворение власти, постыдная причина зла и насилия.

Спектакль кончается метафорой. Погиб Лир, погибла Корделия, погибли прекраснейшие герои пьесы. И вот уже на глазах молчащей толпы новый претендент тянет руки к короне на авансцене. Касается ее.

И тотчас, как электрический разряд, как гигантское замыкание! Зловещая вспышка — и в мгновение все рушится, все летит в тартарары, вся декорация, весь мир спектакля!

И только яростно и ненавистно кричит толпа.

… Еще один спектакль. Уже в Дании. «Вишневый сад». Я позволю себе пересказать содержание спектакля, который был сыгран в тот вечер по знакомой-презнакомой пьесе Антона Павловича Чехова.

На сцене — группа очень милых, современных европейских интеллигентов. Они все время твердят о своем прошлом, о безоблачном детстве, о прежнем благополучии. Но символ их прошлого — единственное, что у них осталось от благополучия, — родовое имение «Вишневый сад» должны продать за долги. Как они суетятся, как упоенно строят бесконечные прожекты спасения, как разглагольствуют о своей ответственности перед «Вишневым садом»! Но вот после всей этой болтовни им объявляют: «Вишневый сад» продан!» И тут же, моментально забыв о любимом «Вишневом саде», они упоенно пускаются танцевать на своем жалком балу. Они танцуют и опять самозабвенно болтают — теперь уже об ответственности перед родовым слугой, преданным Фирсом. Но достаточно было кому-то мимоходом сказать, что Фирса уже отвезли в больницу, — и они моментально о нем забывают. Они благополучно заколачивают его в пустом доме. И опять говорят, говорят, говорят, теперь уже о своей ответственности перед будущим. И во время этой бесконечной болтовни раздается зловещий стук. Все нарастающий стук топора по дереву.

Спектакль заканчивается в темноте — мощными ударами топора и тишиной, и вздохом падающего дерева.

Вздох дерева — шелест листвы, прощающейся с небом.

Взрыв в бергмановском «Лире»!

И стук топора в «Вишневом саде» — будет срублено дерево жизни?

Обезображенные ненавистью лица в «Ромео и Джульетте»!

В это время все тот же Герман выпустил «Театр времен Нерона и Сенеки» в датском Королевском театре. И пьеса хорошо вписалась в это объяснение в ненависти к толпе.

Здесь тоже — безгласная толпа. В подземелье — это

гладиаторы, убойные люди, которые завтра выйдут на арену, чтобы погибнуть. Но сегодня согласны забыть о «завтра» и щедротами Цезаря едят и пьют, и спят с девками, и славят повелителя. Эта толпа, загнанная в тюремное подземелье, представляет основной звуковой фон спектакля: она то покорно восхищается, то также покорно негодует.

И эта толпа подземельных рабов продолжается покорной уличной толпой свободных римлян, с энтузиазмом участвующих в безумном балагане, в который превратил Рим актер-террорист Нерон…

Чуть-чуть о прессе

На премьере «Нерона», сыграв спектакль, актеры не расходились.

Был банкет, и его затянули до утра. Ждали выхода самой влиятельной датской газеты. Там должна была быть рецензия. И если бы она была плохой, надо было сразу перекрывать балкон… Со зрителем тотчас стало бы, мягко говоря, напряженно.

Я смотрел на все это тогда с великой завистью. Я приехал из страны-наоборот. Если рецензия плохая, зритель опрометью мчался на спектакль. Не было лучшей рекламы, чем разгромная статья.

А здесь: какая была радость — похвалили.

Статью читали вслух: «Сенека — собирательное лицо тех интеллигентов, которые шли на компромисс с тиранией и которые слишком поздно устыдились этого… В этой комедии жизни идет серьезнейший разговор о человеческой слабости, которая способна привести мир на грань катастрофы в «темные времена» и о тупой покорной толпе, готовой сегодня с энтузиазмом славить деспота и с таким же энтузиазмом завтра его проклинать».

Два драматурга

Одна зарубежная работа о моих пьесах показалась мне забавной. Она принадлежала американскому профессору Майе Кипп. Она писала, что есть два драматурга с одной фамилией. Один автор — «Лунина», «Сократа», «Нерона и Сенеки», а другой — «Она в отсутствии любви и смерти», «104 страницы про любовь», «Я стою у ресторана…» и так далее. «И это не просто очень разные драматурги, — писала она, — они, вообще, не должны подавать руки друг другу».

Действительно, все это время параллельно с историческими пьесами я пытался делать невозможное — писал о женщинах. Мир женщины — это голос природы, ибо ее предназначение создавать новую плоть. И оттого в ней хаос и безмерность. И потому она способна устанавливать связь через пространство, и предвидение для нее — быт. Мир воображения и мир реальный у нее опасно сливаются. И потому множество женщин погибли на кострах инквизиции, убежденно описывая свои полеты на шабаш.

Они всегда в ожидании.

Вечные невесты, ждущие того, кто никогда не придет.

Я говорю не обо всех женщинах — лишь о тех, о ком осмелился писать.

Маргарита

Мне довелось знать таинственнейшую Елену Сергеевну Булгакову. Жила она не очень далеко, но и не так близко от редакции «Нового мира». Иногда она звонила, что собирается прийти в редакцию, и… тотчас входила! (Но тут было хоть какое-то объяснение: она могла звонить из телефона-автомата поблизости.) Но иногда из редакции звонили ей с просьбой прийти… И опять же, почти тотчас после звонка открывалась дверь, и она входила в редакцию.

Так что оставалось только поверить: она передвигается на Маргаритиной метле.

В моем присутствии она рассказывала, как продолжает беседовать с Булгаковым. Для этого достаточно ей положить голову в его секретер, накрыться крышкой… и начинался разговор!.. Она говорила, что это он уже после смерти запретил ей передавать «Мастера…» на Запад. Хотя она никак не могла исполнить его завет — напечатать роман у нас. После нескольких отказов это казалось совсем безнадежным. Но он велел ей продолжать ждать.

И вот в год полувекового юбилея советской власти, всю жизнь гонимый этой властью, Булгаков оказался одним из самых плодовитых писателей — вышел главный его роман, поставили запрещенные пьесы. И неизвестный до того широкой публике, он сразу стал самым знаменитым писателем советской России.

Нашему писателю должно повезти не с женой, но со вдовой.

Пьесы о женщинах

В 80-х годах я придумал вести журнал «Начало». Это был устный журнал. Я вел его в ЦДЛ. Решил показывать на сцене писательского дома новые течения в искусстве. В то время это был андеграунд… И, представляя весьма странных для тогдашней писательской аудитории певцов, поэтов, театральные спектакли, каждый раз предупреждал: «Неважно — нравятся они вам или нет, это не имеет никакого значения. Вы должны просто знать: это — есть! Это не прошлое и, возможно, не будущее — это новое настоящее».

Это было воистину настоящее — безумное и интереснейшее искусство. Оно вырвалось из подполья в начале перестройки и, по мере развития наших рыночных отношений, было буквально раздавлено народившимся шоу-бизнесом.

Тогда, глядя на этих молодых людей, я не мог не чувствовать: они — новое поколение с новым взглядом на мир. Что делать, новые времена — новые песни… и старые трагедии. Трагедии прежних.

Вот об одной такой новой девочке я попытался написать.

Пьеса называлась длинно: «Она в отсутствии любви и смерти».

Героиня — семнадцатилетняя девушка, Она. Для Нее нет разницы между мифом и реальностью, как не было у Цветаевой. Она живет в фантастическом, выдуманном ею мире Любви и Смерти. Но окружает ее обыденный мир — соты, где живут, копошатся, едят, где похоть привычно именуется любовью… У нее же все — реальность и все — выдумка. Она знакомится с мужчиной и тотчас создает из него своего мужчину — «милое чудо».

Я хотел, чтобы на сцене была декорация — соты… Это комнатки в разных домах, где живут герои пьесы. И действие в них должно было идти одновременно: мать девочки в своей комнате болтает с подругой, подруга в своей комнате ей отвечает. Она (девочка) приходит снимать комнату (чтобы не жить с матерью) и знакомится с мужчиной, в это время жена мужчины встречается с любовником, обдумывая вместе с ним, как ей вернуться к мужу… и так далее.

И все это должно было происходить одновременно. Тогда и возникал этот мир — мир полых людей.

И в очередной день, во время очередной суеты в сотах, она приходит отдаться «милому чуду»… И начинается трагедия.

Пьесу поставили в Театре Маяковского. Но режиссер поставил

пьесу обычно, то есть в одной комнате заканчивалось действие, в другой начиналось…

Впрочем, я должен был быть готов к подобному упрощению. Я мог все понять уже во время читки пьесы в театре… Пьесу хвалили, но… хвалили какую-то другую пьесу. Эту девочку совершенно не поняли… она была для них героиней из пьес Володина — некая странная, но очень добрая девушка.

Они не понимали, что Она — современная девочка. Новая. Она беспощадна и добра, он беспомощна и умела. И любая попытка уничтожить мир ее мифов — опасна. Она начинает ненавидеть и мстить.

Никогда не забуду, как в конце обсуждения пьесы встал молодой парень. Все смотрели на него с удивлением, ибо он работал осветителем в театре и непонятно почему пришел на заседание художественного совета. Он сказал всего лишь одну фразу:

— Зачем вы рассказываете им о нас?!

Продолжением этой фразы и был спектакль. Там был блестящий актерский дуэт — Мать девочки и ее Подруга: Татьяна Доронина и Светлана Немоляева.

Ее играла Женя Симонова.

И когда на сцене была Симонова с ее длинными монологами, партер абсолютно не слушал, зрители откидывались в креслах — она была им не только непонятна, она раздражала.

Но как только выходили Доронина и Немоляева… — как слушали, какой был восторг партера! И они блестяще играли эти понятные образы!!!

Представление продолжалось и после окончания спектакля. Во время поклонов, под бурные аплодисменты партера выходили Доронина и Немоляева. Овации долго не стихали. Но когда выходила Симонова, партер почти затихал… Но какая овация неслась сверху — с ярусов и галерки!

Я любил подниматься туда во время спектакля — там яблоку негде было упасть. Сидели, стояли — мальчики и девочки… И в этом тесном, набитом молодежью пространстве, они смотрели другой, свой спектакль. И они хлопали — Ей, Жене Симоновой!

О драматурге

Самый интересный спектакль по этой пьесе я увидел в Болгарии, в Пловдиве.

Пловдив — фантастический город: там уголок Парижа обрывается средневековой улицей, и все это рассекает рубец-раскоп, и в нем белеют мраморы Древнего Рима. Уснувшие цивилизации в Пловдиве крепко сжимают друг друга.

… Актеры только что отыграли спектакль… Обычная сцена после сыгранного спектакля… Этакая демоническая компания Боланда смешно дурачится после сыгранного бала у Сатаны! Вот так и боги-актеры шли и дурачились, пытались снять электрическое напряжение спектакля…

Пьеса, которую они отыграли, называлась «Она в отсутствии любви и смерти». Я был ее автором — но какой же неожиданной и желанной оказалась постановка.

Она не ходила по сцене — Она металась, почти танцевала! Свои бесконечные письма к возлюбленному Она не читала, Она их пела (как же я не понял, и как это точно придумано — пела!). Она все время жила в некоей песенно-танцевальной стихии современной юности. Жизнь — аэробика! Но в этой модной и яркой обертке пряталась шаровая молния. Венцом роли был ее танец. И в конце этого танца движения влюбленной Джульетты ломались, становились странно автоматическими. Она на глазах превращалась в куклу. И вдруг распахивала стеклянную дверцу шкафа и замирала рядом с куклами своего детства, странно и пристально глядя из-за стекла. Грозная девочка-женщина.

И когда она встречалась с сорокалетним мужчиной, было страшно за него, ибо эта девочка владела неким способом жить, гибельным для современного инфантильного сорокалетнего человека. Финал спектакля — смерть, точнее, убийство мужчины, был предрешен…

Во время поклонов возникал еще один финал, придуманный режиссером. Благородный Капитан, которого так тщетно ждали Ее мать и Подруга матери, улетал ввысь под колосники — в мир воображения, а они (этакая пародия на романтическую гриновскую Ассоль) обреченно махали ему вслед.

На сцене была моя пьеса — моя и чужая. И так было всегда. Драматург пишет пьесу — то есть реплики. При этом он видит определенную картину мира. Но она так и останется его тайной и с ним уйдет — навсегда, навсегда.

Запах яблок в комнате — когда она говорила ему…

Как сумрачно и сладко-страшно было перед грозой, когда он обнял ее в той комнате, и Она сказала ему…

Как утром он проснулся от солнца и слушал, как на террасе топал ножками по нагретому полу ребенок, и он сказал Ей…

Все эти грозы, грезы, запахи, — все это исчезнет. В пьесе останутся только проклятые слова. Драматург — как телевизор с погасшим экраном: картинка не видна, слышна только речь.

Но зато! Зато ему дано много раз испытать счастье (несчастье) рождения своего сочинения. Ибо, когда он завершает писать пьесу, — это только ее первое рождение.

Сначала Их Величества Актеры и Его Высочество Режиссер, как шекспировские ведьмы, швырнут бедное творение в адово варево своей фантазии. Своенравно присвоят написанную жизнь. Герои пьесы обрастут иным обликом, а слова — иными интонациями. И вот уже автор, сидя в полутемном зале и наблюдая репетицию, оглушен шоком встречи с этой новой для него пьесой. Тщетно пытается он узнать ту девочку, которую видел во время грозы (ее беспощадно красивое лицо и тяжелые ноги в узкой юбке), в бестелесной истеричной девочке на сцене… Но все равно, как-то непостижимо его мир будет прорастать сквозь чужую фантазию.

А потом придет зритель. Его Величество Зритель.

И вновь — рождение. То, что казалось скучным и затянутым во время репетиций в пустом зале, окажется божественно смешным «на публике». И наоборот. Зритель, как дирижер, станет управлять зрелищем. Беспощадно расставит он свои акценты, выпятив в пьесе то, что волнует его сегодня, бесцеремонно отодвинув то, что волновало вчера. Он выверит зрелище самым беспощадным мерилом — злободневностью.

Я много лет пишу для театра, и давно усвоил грустную формулу: драматург пишет одну пьесу, режиссер ставит другую, а зритель смотрит третью… Разбирая эту третью «пьесу», мы сможем многое понять не только о самой пьесе, но и о Времени…

Следующую «женскую» пьесу поставил все тот же режиссер — Владимир Портнов.

Пьеса называлась «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано».

В пустой квартире женщина говорит по телефону:

— Мне приснился сон, мой экс-любимый Саша сел на дирижабль и полетел по проспекту Вернадского, но в этот момент позвонила ты, и я не успела узнать самое интересное, разбился ли он?

Эта обычная история: любовь — ненависть. Неравная борьба двух сердец… «и роковое их слиянье, и поединок роковой». Есть такая картина у Магритта: женщина, одетая мужчиной. Она пытается содрать его с себя, упорно — ногтями. И он сходит с нее кусками — этакая кожа, обожженная солнцем. Но до конца не сходит, висит обрывками, она никогда не сможет от него избавиться.

Она хочет роскоши, весьма странной для нашего века — права просыпаться в одной и той же постели. Ее мужчина — обычный, нормальный. Он требует от нее чистоты и делает все, чтобы ее не стало. Он требует от нее любви и больше всего этой любви боится.

И подзаголовок пьесы: «Пьеса для актерского бенефиса», — лукав.

Ибо героиня — актриса, которую только что выгнали из театра. А мужчина, трусливо бросивший ее, — преуспевающий актер того же театра.

Это история о двух Актерах. О людях, которые играют в Жизнь.

И так же, как она не может содрать с себя мужчину, она не может содрать с себя сыгранные роли. Вся пьеса — это парад ролей, которые актриса играла на сцене. И диалог героев пьесы — тайный парафраз из этих ролей.

Ее играла Наталья Гундарева, Его — Сергей Шакуров. И они блистательно почувствовали эту Игру в Игру.

Пьеса начиналась с ее бесконечного разговора по телефону, а ее экс-любимый Саша подслушивал под дверью… И понимал из ее разговора, что вчера она познакомилась в ресторане с каким-то грузином Гошей. И как положено актеру, тотчас начинал играть в грузина Гошу.

Он страстно уговаривает ее из-за двери впустить его, грузина Гошу, изнемогающего от страсти. И она… открывает дверь. Он с веселым хохотом врывается в квартиру и с изумлением видит… валяющуюся на полу телефонную трубку.

Он бросается к лежащей телефонной трубке, поднимает ее.

Он. Нет гудков!..

Она. Ха-ха-ха!

Он. Не работает?

Она. Естественно. Он давно отключен.

Он (в изумлении застыл с трубкой в руках). Значит, ты… целый час болтала по отключенному телефону?

Она. Ха-ха-ха… Не могу на тебя смотреть… ты так сейчас похож на сайгака! Последнее время мне трудно разговаривать с

людьми… Все время вижу животных, от которых они произошли. «Третий глаз» шалит! Ха-ха-ха… Так любила болтать по телефону. Теперь лишилась главной радости — отключили за неуплату. Ха-ха-ха! Только ты не бойся, деньги у меня есть… Я знаю, родной, ты всегда меня ценил за то, что я тебе ничего не стоила! Ха-ха-ха!

Он. Значит, все это было истерическое представление?

Она. Ну, если быть точным: два представления. Твое — неудачное… Ты очень плохо сыграл за дверью грузина…

И — мое! Обалденное! Что делать, Саша, ты так и остался хреновым актером. Знаменитым, но хреновым актером. Это только в вашем театре верят, что талант, как гриб, растет со временем на пустом месте! Ха-ха-ха!

Он. Ладно, пошутили… Истеричка, я пришел взять свои кеды и кроссовки…

Она. А почему так развязно? И что это значит — «пошутили»? Это ты шутил. А я не шутила… Потому что для меня, Саша, как для древних индусов, жизнь — это «Лила», то есть божественная игра! Я все время играю, и тогда только живу… Например, подниму трубочку своего отключенного телефона и разговариваю, разговариваю… Или без телефона — вслух, сама с собой болтаю, болтаю. Первый раз, когда я поймала себя на этом, — я подумала: все, спятила! (Шепотом.) А потом поняла: нет, это началась моя «Лила» — божественная игра… Но, конечно, какая игра без зрителей! Вот почему я так обрадовалась… когда в окно увидела, как ты по двору вышагивал. Думаю, вот он идет — будущий зритель… и, может, участник моей «Лилы»? А ты, видать, это тоже почувствовал и сразу из-за двери тоже принялся играть — шпарить текстами из своей последней пьесы… Ха-ха-ха!

Он (изумленно). Не понял!

Она. Понял, все понял! Только уж очень сентиментальные тексты… Тьфу! Но я была милосердна — я подыграла тебе. Потому что уважаю любую «Лилу»! Вот так, Саша!

Он (постарался рассмеяться). А откуда ты знаешь про пьесу?

Она. Я все знаю, что происходит в вашем треклятом театре. Слежу! А чем мне еще теперь заниматься? Из театра вы меня выперли, с телевидения… тоже… (Подмигнула.) Ха-ха-ха! (Весело.) Мне очень понравилось, что ты написал пьесу про нас с тобой. Знаешь, Саша, так приятно почувствовать себя литературным персонажем. Я даже сказала себе: «Ну, мать, ты теперь у нас просто Робинзон Крузо!» Ха-ха-ха! Вот только кто осмелится сыграть меня в вашем дружном коллективе нерастущих грибов! Себя, допустим, сыграешь ты! Ну, а меня? Меня — единственную, неповторимую? Оказывается хочет твоя

молодуха в развратных лисах… с накладным задом…

Он. Послушай. (Бешено.) Во-первых, у нее совершенно нормальный зад…

Она. Даже с нормальным задом — все равно не сыграет… Ха-ха-ха! Меня — не сыграет! Ха-ха-ха! (Остановилась.) Кстати, почему ты приписал в своей пьесе мой поступок себе? Я протестую! Это ведь я рассказала тебе… как я придумала отправиться к любимому в коробке от холодильника… Забыл? Ай-ай! Это случилось со мной… ну, когда по твоей милости… я оказалась в офсайде. Ха-ха-ха! И придумала влюбляться во всех, кто на тебя похож… чтобы не удавиться… Ха-ха-ха! Ну, известное дело, — дура! В голове-то балалайка! И вот к очередному любимому меня доставили в коробке от холодильника… и меня чуть не съел его пес-боксер. Ха-ха-ха! Кстати, потом к нему же я прискакала верхом на лошади. Я тогда снималась наездницей. Как он испугался! Как вы все боялись непримиримых размеров моей любви! Ха-ха-ха! Запомни: такие вещи не сможет совершить мужчина. Это удел безумной женщины… Ха-ха-ха! А все-таки подло, что ты разрешил ей — играть меня!

Он. Послушай! По-моему, ты что-то недопонимаешь! (Раздельно.) Я пришел взять тренировочные брюки и кроссовки…

Она (миролюбиво-элегантно). Кстати, а зачем тебе вдруг понадобились эти кроссовки… и эти… брюки?

Он (стараясь поддержать ее тон). Я решил снова бегать по утрам.

Она (нежно). От кого, дорогой? От меня ты уже давно убежал… А от этой, с накладной задницей, можно скрыться только на кладбище! Ха-ха-ха! Знаешь, вначале я злилась, когда читала твою пьесу… Там нет любви… Ты никогда не знал, что это такое. Поэтому ты думаешь, что любовь — это много сентиментальных слов. А любовь — это ненависть, дружок! Когда я любила — ох, как я тебя ненавидела!

… И вот тут Она — Гундарева выхватывала револьвер и стреляла в Него. И Шакуров… схватившись за грудь, падал.

Она бросается к нему: «Ну, что ты… ну, вставай. — Но Он лежит неподвижно. — Ну не надо… ну, он же деревянный… из пьесы Олби».

И тогда с диким криком Шакуров вскакивал, выхватывал у нее револьвер и в упор стрелял в Нее.

И тогда падала Она… И протягивала к нему руку, и рука у Нее была… в крови!!!

И уже Он в ужасе бросался к ней, а Она… хохоча, показывала ему красную тряпочку, которая была у Нее между пальцами.

Бесконечная Игра в Игру.

Спектакли «Она в отсутствии…» и «Я стою у ресторана…» имели успех, который… и прекратил жизнь этих двух спектаклей.

О главном режиссере

Главный режиссер театра Маяковского Андрей Гончаров поставил две мои пьесы — «Беседы с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки». Поставил в самое трудное для меня время, боролся за них, и благодаря ему я увидел премьеры. Поставил очень по-гончаровски — то есть ярко, публицистично, с замечательными актерскими работами (это было всегда в его спектаклях. Я уверен, что и он сам — с его барственным лицом и обликом вельможи XIX века — мог быть блестящим актером).

У него был громовой голос. И от собственного крика он очень возбуждался. Как и привыкшие к этому крику актеры… Этот голос был слышен даже на улице. И если, войдя театр, вы не слышали громоподобных раскатов, значит, репетировал другой… И я благодарен ему за успех — и «Сократа», и «Нерона».

Но камерные пьесы про любовь были ему неинтересны.

И потому ставить эти пьесы он пригласил режиссера Владимира Портнова.

Когда главный режиссер (допустим, все тот же Андрей Гончаров) приглашает очередного режиссера (того же Портнова), он искренне хочет, чтобы тот имел очень большой успех. Но если этот успех состоится и будет вправду очень большим, он начинает… огорчаться. И чем больше успех, тем больше огорчение. И это закономерно. Потому что, повторюсь, главный режиссер в театре — это муж, который очень не любит, когда жена-труппа начинает увлекаться другим.

… И Гончаров не выдержал — на пике успеха снял оба спектакля. И я его за это тоже люблю. Ибо — это часть Театра, часть божественной «Лилы».

Все эти годы я сам выбирал театр — и театры, слава Богу, отвечали мне взаимностью. Проблема была в разрешении.

Но с этой пьесой все было наоборот. Впервые ее с легкостью разрешили… после чего… ее никто не захотел ставить!

Пьесу «Старая актриса на роль жены Достоевского» я решил прочесть Эфросу. Тогда по Москве уже ходили слухи, будто ему предложили Театр на Таганке, и он согласился.

Даже я — человек, далекий от общественной жизни, более того, эгоистически занятый только своими пьесами, понял, что этого делать ему ни в коем случае нельзя.

… И я пришел к нему. Сначала мы поговорили о пьесе. Там был персонаж, который живет под диваном. И он очень забавно рассказал, как это надо поставить. И даже предложил мне

поговорить с Олей (Яковлевой).

— Она могла бы замечательно сыграть вашу старую актрису.

Когда я спросил его про «Таганку», он сказал, что это слухи… но вопросительно посмотрел на меня.

Он ждал продолжения разговора.

Я сказал:

— Дай Бог, чтобы это были слухи… Потому что этого делать нельзя…

Он вмиг потерял ко мне интерес. Он не слушал.

Я понял — он решил.

Но с Олей я поговорил.

Я позвонил ей и только успел сказать: «Я написал пьесу про старую актрису…» — она тотчас прервала. Столь знакомый нежный ее голос стал ледяным:

— Это как же? Значит, другие будут играть твои пьесы про любовь, а я старуху? Не рано ли мне?

Звонил я ей, уже понимая, что Эфросу сейчас не до моей пьесы. Он был назначен главным режиссером «Таганки».

Почему решились на это власти? Думаю, они верили, что его спектакли сотрут воспоминания о ненавистном невозвращенце Любимове, сотрут воспоминания о той старой, бунтующей «Таганке».

Почему решился Эфрос? Все потому же — не мог не работать. Мечтал о своем театре. Чувствовал, что силы уходят, и надо спешить.

И еще верил, что сохранит традиции «Таганки», не даст ее актерам попусту тратить время без спектаклей. Верил, что вновь сделает театр лидером.

К тому же работать ему в Театре на Бронной стало невозможно. Отсутствие единой власти Режиссера в репертуарном театре — конец театра. Труппа была развращена восемнадцатилетним присутствием двух главных режиссеров — главного официально — то есть Дунаева, и главного фактически, главного по искусству, то есть Эфроса. И труппа научилась извлекать выгоду из этого скрытого противостояния двоих, чтобы потом начать поедать их обоих. Шли бесконечные собрания, выяснение отношений, театр разбился на группы. В результате Дунаеву пришлось уйти в театр «Эрмитаж», и он вскоре умер. Эфросу предложили «Таганку», и он умрет ненамного позднее.

Впрочем, объявился еще один умерший — это был сам Театр на Малой Бронной. На долгие годы у публики останутся лишь воспоминания о былом его величии — об эфросовских спектаклях

в Театре на Малой Бронной.

С первого дня перехода на «Таганку» Эфрос получил сполна.

Причем и от очень достойных людей.

Я никогда не забуду… Вскоре после его назначения мы шли с ним по Переделкино, где он снимал в то лето дачу. Навстречу шел один достойнейший литератор. Он поздоровался, Эфрос ответил. Прошло несколько мгновений — литератор догнал нас. Лицо его было яростно.

— Я не узнал вас сразу, — прокричал он Эфросу. — И если я поздоровался с вами — это была ошибка!

Я презираю вас.

И счастливый исполненным долгом — этим плевком — зашагал дальше.

А тот ад, который устроили в театре Эфросу таганские актеры…

Впрочем, иначе и быть не могло. Никто не хотел понимать истинных причин его перехода. Он стал дозволенной возможностью демонстрировать нелюбовь к строю. Он, всю жизнь преследуемый строем, для многих стал его воплощением. И они получили безопасное право показывать себя благородными и смелыми… И делали это с огромной охотой. Он недооценил ту готовность к ненависти, которая всегда пребывает внутри рабского общества. Радость дозволенного: «Ату его»! Любимое — «против кого дружить будем!».

Актриса и Достоевский

Пьесу «Старая актриса…» я решил отдать Олегу Николаевичу Ефремову… Я хотел, чтобы Актрису играла Доронина, которая тогда работала во МХАТе, где он был главным режиссером.

Прочитав пьесу, Ефремов позвонил мне и с искренним любопытством спросил:

— Слушай, зачем ты написал эту дребедень… У тебя так все хорошо. Столько было известных спектаклей! Зачем тебе нужна эта скучища? К тому же — непонятная!

Я позвал режиссера Х. Он и поныне, слава Богу, здравствует, так что избегну фамилии. Мы с ним были тогда дружны, я знал, что ему хочется со мной работать.

Он тотчас приехал. Он явно очень хотел, чтобы ему понравилось. Я начал читать. А он… начал засыпать, и довольно быстро. Ему было неудобно — я видел, как он борется со сном, но веки тяжко падали, как у гоголевского Вия… Я решил помочь — дал ему яблоко. Он набросился на него, видно, тоже думал, что поможет. Съел яблоко… и заснул снова. Наконец, читка-пытка закончилась.

Он сказал неловко:

— Понимаешь, была репетиция, я очень устал. Пьеса интересная, но… у нас нет актрисы, — тут он воодушевился, поняв, как отказать, не обидев. — Сюда непременно нужна великая старая Актриса, а у меня в театре нет такой.

И заспешил уйти.

Я понял: свершилось! Я наконец-то написал пьесу, которая никому не нравится.

Действие происходит в Доме для инвалидов и престарелых. Я видел один такой дом в провинции, и он меня поразил. Оказалось, инвалидами там считались тихие сумасшедшие. Их соединили с престарелыми, то есть с людьми, которые уже в силу возраста должны быть мудрыми. Поэтому в этом инвалидном Доме жили вместе мудрые и безумные.

И вот в таком Доме встретились двое: старая актриса, когда-то знаменитая, но много лет назад ушедшая со сцены, и сумасшедший художник, которому кажется, что он… Достоевский. И этот безумец, в жажде вернуться в свое прошлое, заставляет старую актрису играть жену Достоевского — а точнее, воспоминания Анны Григорьевны о своей любви к Достоевскому.

И постепенно их жизнь в этом жалком инвалидном Доме соединяется с жизнью Достоевского и Анны Григорьевны. И они перестают понимать, где выдумка и где их реальная жизнь…

Но произошло забавное: когда я перечитывал собственную пьесу она… оказалась загадкой для меня самого. Ибо, если она знаменитая старая актриса, что она делает в этом убогом Доме? Скорее всего, она ее гримерша (о которой она так часто рассказывает). Жалкая, нищая гримерша, которая вот здесь, в этом инвалидном Доме, на старости лет играет в своего кумира — знаменитую старую актрису, которой она преданно служила всю жизнь.

Но ведь возможно и другое решение: она действительно была знаменитой старой актрисой, которая в силу обстоятельств докатилась до этого жалкого пристанища.

Но тогда? Тогда, возможно, играет в игру «сумасшедший художник». Возможно, он лишь притворяется сумасшедшим. На самом деле он… молодой режиссер! Он узнал о когда-то знаменитой старой актрисе, живущей в этом нищем Доме. И придумал весь этот маскарад. Предлагая ей сыграть Анну Григорьевну, он хочет таким нехитрым способом воскресить в ней жажду играть. Он здесь с единственной целью — вернуть на сцену когда-то знаменитую старую актрису. Хотя…

Хотя, может быть, он действительно Достоевский!

В конце концов — «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». И тогда его законное место в нынешнем веке здесь, в этом доме — среди безумных и нищих — «среди униженных и оскорбленных».

Вот так внутри пьесы оказалось несколько пьес (впоследствии пьесу ставили во многих театрах на Западе — и каждый выбирал свой вариант прочтения, играя совершенно разные пьесы).

Короче, наконец, я написал, пьесу, которую мне самому надо было понимать, ибо она жила без меня.

Почему у нас не хотели ее ставить?

Есть такой забавный анекдот. Человек, у которого очень плохо с желудком, приходит в ресторан болгарской кухни, где обожают готовить острые блюда. И говорит:

— У меня больной желудок, мне нужно что-то не острое.

Отвечают:

— У нас все блюда очень острые.

После длинной дискуссии его осенило:

— У вас есть яйцо?

— Есть!

— Ну вот! Прекрасно! Сварите мне его.

Официант уходит, проходит минут двадцать, яйца нет, полчаса — нет.

Он спрашивает:

— Что с яйцом, черт побери?

Отвечают:

— Все оказалось не так просто: наш повар уже полчаса пытается ввести перец внутрь яйца.

Лучшие советские театры не хотели жить без перца политики. Это был театр аллюзий, когда при помощи ассоциаций благороднейшие художники кусали Власть. Но кусали дозволено. И за этой дозволенной фрондой и приходил зритель. В пьесе должна была быть возможность публицистики.

Вся беда этой пьесы: не могли ввести перец. Пьеса была совершенно аполитична. И оттого не возбуждала.

Я уже примирился с печальной судьбой пьесы, когда вдруг получил письмо.

Писала из Франции Лили Дени — одна из самых блестящих переводчиков с русского. Она уже переводила тогда мои пьесы, которые играли на французском радио. Она писала о том, что в знаменитом «Одеоне», которым руководил тогда Джорджо Стреллер — один из самых известных режиссеров Европы, хотят поставить «Старую актрису…». Лили прочла ее в нашем театральном журнале и перевела на французский.

Я был в ужасе. Я хорошо помнил и Ефремова, и спящего режиссера Х. Я ответил переводчице, что лучше взять любую мою другую пьесу, но только не эту.

Но они хотели ставить только ее. И поставили.

Началась перестройка, и меня легко выпустили на премьеру в Париж.

Я приехал в город, о котором всегда мечтал отец. Он никогда там не был, но так хорошо его знал.

Я жил в гостинице у Люксембургского сада. Рядом — был «Одеон».

В «Одеоне», где состоялась премьера моей пьесы, когда-то впервые сыграли «Свадьбу Фигаро». Здесь, в улочке за театром, тогда жил Бомарше. И здесь, по Люксембургскому саду, прогуливались закадычные друзья, будущие вожди Революции: Робеспьер, Камилл Демулен и его невеста красавица Люсиль. И когда Люсиль и Демулен поженятся, окна их новой квартиры будут выходить на площадь перед театром «Одеон».

Вот из этой квартиры, окна которой глядят на площадь и поныне, Демулена отвезут в тюрьму, а потом на гильотину — по приказу его друга Робеспьера. А его жену Люсиль посадят в тюрьму, совсем рядом с их жилищем. В тюрьму был превращен в дни Революции великолепный дворец в Люксембургском саду. Из тюрьмы ее отправит на гильотину все тот же их друг Робеспьер.

И сам изобретатель гильотины Шмидт жил совсем рядом,

здесь же, в Латинском квартале.

Банкет по поводу премьеры моей пьесы устроили в знаменитом ресторане «Прокоп». Здесь, в том же ресторанном зале, они все сидели — будущие мои герои: Робеспьер, Демулен, Дантон, Бомарше, Наполеон…

Премьера

Спектакль в «Одеоне» сыграли актеры «Комеди Франсез». Старую актрису играла знаменитая Денис Жане.

Они выбрали такой вариант пьесы: он был безумный художник, поверивший, что он Достоевский. Она была гримершей, играющей в жалком инвалидном Доме в своего кумира — Великую актрису.

Жизнь в этом Доме они играли лицом к залу. Но историю Достоевского и Анны Григорьевны играли, повернувшись в кулису. И оттуда тотчас начинал идти свет рампы, и возникал шум зрительного зала. Там был тоже театр.

И когда она открывала свой крохотный чемоданчик гримерши… оттуда тоже возникал свет рампы и гул зрительного зала. Там — тоже был театр. Театр был всюду. Эта была все та же любимая Игра в Игру.

Через много лет Габриель Маркес вспоминал:

«В 80-х я видел пьесу «Старая актриса на роль жены Достоевского» в одном из парижских театров. Постановка мне очень понравилась и хорошо запомнилась».

Успех спектакля родил длинное продолжение. Пьесу поставили Национальные театры в Брюсселе и Хельсинки, она вышла в Театре «Мингей» в Японии, ее ставили в Германии, Испании, Дании, Греции, Аргентине, потом в Нью-Йорке и т. д.

Я видел несколько спектаклей во Франции, поставленных в провинции. Один был особенно интересен. Это было на фестивале в Семюр-ан-Оксуа «Открытая сцена», где представили две моих пьесы.

Семюр-ан-Оксуа — средневековый город в буквальном смысле этого слова. Самое новейшее здание, по-моему, было построено здесь в XVII веке. И спектакли ставили прямо на улице, на фоне старинных домов, или в самих этих великолепных зданиях.

«Продолжение Дон Жуана» играли, к примеру, в замке легендарного Роже де Рабютена, графа де Бюсси, современника исторического д'Артаньяна… Их пути должны были пересекаться. Жизнь самого Рабютена — продолжение романа А. Дюма «20 лет спустя». Фрондер, воевавший то против короля, то за короля, познавший камеру в Бастилии, полководец, исторический писатель и великий Дон Жуан. Этот автор «Любовной истории галлов» мог покинуть поле боя ради свидания с возлюбленной. Осталась его интереснейшая переписка с кузиной — самой

блестящей женщиной века, госпожой де Севинье…

Для зрителей был построен амфитеатр прямо перед входом в спальню де Рабютена. Двери были открыты, виднелись роскошное парадное ложе и портреты его возлюбленных на стене.

На этом галантном фоне и играли «Продолжение Дон Жуана».

«Старую актрису…» играли в здании заброшенного старого вокзала. Это была как бы последняя остановка в жизни пожилой женщины. Героиня выходила совсем молодой, почти девочкой. Садилась к гримировальному столику и читала эпиграф к пьесе:

«… Мне 19 лет, я сижу в грим-уборной, сзади ко мне подходит актер — это великий Ленский. Он берет кисточку, делает несколько мазков на моем лице — и в зеркале, на глазах, я становлюсь старухой! Я плачу! Я не хочу!..»

И гример на наших глазах превращал ее в старуху. Она начинала играть.

В то время я посмотрел много своих пьес на Западе. Меня слишком долго не выпускали, и я был голоден — жаждал этих путешествий. И когда ВААП заключал договор, я не интересовался гонораром. Я требовал одного — моего присутствия на премьере.

Вместе со спектаклями я ездил по Японии и Швеции. Смотреть свою пьесу в переводе опасно. Перевод — лукавое искусство. Есть такая формула: «Перевод — как женщина: если она красива, то она неверна. Если она верна, то она некрасива».

Я всегда надеялся, что мои переводчики не следуют этому прелестному афоризму.

В Москве «Старую актрису…» долго, долго не ставили. Повторюсь: я хотел, чтобы эту пьесу играла Доронина. И, конечно, дал ей прочесть. Она замечательно разбирает пьесы, обнажая скрытую притчу.

И я подумал: какой забавный сюжет! Автор и актриса беседуют по телефону о постановке пьесы, и сквозь пьесу встает их собственная жизнь. Они начинают понимать, что случилось с ними.

Так, в разговорах о пьесе прошло несколько лет, когда она все-таки сыграла «Старую актрису»…

Это случилось уже после раскола МХАТа. Вместе с частью мхатовской труппы она ушла в здание на Тверском бульваре. И там начала репетировать пьесу.

Спектакль поставил один из самых блестящих наших

режиссеров — Роман Виктюк.

На сцене была декорация — фронтон здания МХАТа в Камергерском. Он стоял в странном, жутковатом, освещении и смотрел незрячими окнами на мхатовский занавес с чайкой. Это был исторический занавес — чудом уцелевший подлинный занавес МХАТа, великих его времен. Над этим МХАТом со слепыми окнами, столь напоминающим мертвый дом, над пустой сценой начинали звучать голоса его умерших великих актеров.

Они играли знаменитый финал «Трех сестер».

«… Как играет музыка… Они уходят… Один ушел навсегда».

И на этом чеховском прощании начинался текст пьесы. Звучала белогвардейская песенка:

Мы были на бале, на бале, на бале,
И с бала нас прогнали, прогнали,
Прогнали по шеям…

Спектакль начинался как воспоминание о канувшем в Лету прекрасном бале — о великом Московском Художественном театре, который ушел навсегда. И Доронина неистово, лично, яростно играла эту тему — поругание святынь, невозвратность погибшего высокого. И тему театра — трагизм судьбы его жрецов. Беспощадность Времени, навсегда отнимающего у Актера несыгранные роли. И, наконец, последнюю реплику пьесы — почти крик боли — о пустоте и бесцельности нынешней жизни.

Но была еще одна тема пьесы — самая для меня тогда важная.

Пьесу ставили в безумном постперестроечном мире 90-х, освещенном заревом горящего Белого дома, с растерянными, потерявшимися, полными гнева людьми. Как писал римский историк, «рабы, долго влачившие оковы, получив свободу, становятся злоречивы». Это — закон рабства. Вся ложь, которую десятилетия вынуждали говорить людей, все запреты, в которых они жили, должны были вылиться в нетерпимость и злобу.

И потому главной для меня тогда темой пьесы была Любовь.

Безумного художника играл любимый шукшинский актер Георгий Бурков.

Он это понял. И когда его герой предлагает Старой актрисе сыграть историю Полины Сусловой, загадочной «хлыстовской богородицы», святой всех расстриг, в которой и бездны, и небо, он знает — актриса слишком много прожила. Она стала мудрой. Ярость и страсти Сусловой — это для нее в прошлом. Добро — вот итог прожитой жизни. И к радости «безумного» художника вместо Полины Старая актриса решает сыграть Анну Григорьевну,

молодую жену Достоевского. Сыграть добро, олицетворенное в «лучшей из жен российской литературы». «Этой отваги и верности перевелось ремесло — больше российской словесности так никогда не везло».

Но чтобы сыграть Анну Григорьевну, нужно отрешиться от суеты и обид. И «безумный» Художник мудро ведет Актрису от зла и непримиримости — к прощению. Бурков с какой-то нежной болью, убирая даже намек обличения, произносил текст:

— А нынче любой сытый злодей клянется Достоевским Федей, а какой-нибудь преследователь человеков памятник Феде норовит поставить… А я им и говорю: «Ставьте мне ваши памятники. Только на цоколе написать не забудьте: «Феде Достоевскому от благодарных бесов»».

Изгнание бесов… «Любовь все спасет», прощение — как непросто было это играть Дорониной, перенесшей столько несправедливости во время раздела МХАТа… (Никак не ожидал такого упоения, с которым сильные мужчины беззастенчиво травили тогда женщину.) И она поневоле вносила все происшедшее с нею в роль. И сама же боролась с этим, понимая, как далек от мстительной страсти жертвенный характер Анны Григорьевны.

Мне кажется, эта роль помогла ей жить в то время.

Есть роли, которые делает актер, и есть роли, которые делают актера, меняют его самого.

И немного про Брежнева

Бурков замечательно рассказывал… Обычно он это делал, когда возникала напряженность во время репетиций. В первой же паузе он начинал какой-нибудь смешной рассказ. И в его смехе, в его лукавой интонации рассказчика было что-то очень-очень знакомое… Шукшин! Он продолжал жить в нем. Как до сих пор продолжает жить Эфрос в своих актерах.

Режиссеры не уходят. Они прячутся в своих актерах.

Мой любимый бурковский рассказ — о посещении Брежневым спектакля «Так победим!» по пьесе Михаила Шатрова. Бурков играл в этом спектакле рабочего, который встречается с Лениным.

По случаю прихода Брежнева все преобразилось — в буфете появились дефицитные тогда кипрские апельсины. И Бурков, понимая, что эта роскошь весьма временная, купил пару апельсинов домой. Запрятал в карманы штанов и отправился в гримерку.

Но все закулисье было заполнено добрыми молодцами. Один из них молча преградил ему дорогу — взгляд уперся в оттопыренные карманы бурковских штанов.

Бурков молча вынул один апельсин. Молодец молча кивнул, но продолжал недвижно стоять. Бурков все так же молча вынул второй апельсин. И добрый молодец освободил дорогу.

Брежнев и члены Политбюро появились в ложе. Раздались аплодисменты.

Брежнев был продолжением все той же кафкианской жизни. Полководец, не выигравший ни одного сражения, но удостоенный всех высших воинских наград; писатель, награжденный высшей премией по литературе, не написавший ни одной книги; оратор, нечленораздельную речь которого транслировали телевидение и радио; мудрый правитель страны, находившийся в глубоком маразме, о котором страна сочиняла бесконечные анекдоты.

Спектакль начался.

«Ленин, — рассказывал Бурков, — по замыслу режиссера должен был скромно, этак бочком, войти в свой кабинет.

Как только Ленин показался в кабинете, в тишине зала отчетливо послышался голос, до боли знакомый миллионам:

— Это Ленин?

— Да, — шепотом ответил кто-то в ложе.

— Надо его приветствовать? — спросил Генсек.

— Не надо, — прошептал достаточно громко кто-то из членов

Политбюро.

В это время на сцене появилась секретарша Ильича.

— Кто это? — тотчас осведомился на весь театр Генсек.

— Секретарша, — зашептали в ложе.

— Она хорошенькая, — отметил Леонид Ильич.

Зал испуганно слушал.

Но опять любимый голос:

— Кто это?

— Крупская, — ответил шепот.

— Крупская? Молодая, — удивился Брежнев.

Наступила очередь Буркова. Он вышел на сцену и произнес текст.

— Пусть повторит. Я не услышал, — раздался голос Брежнева.

В ответ послышался чей-то успокаивающий шепот.

Но управлять спектаклем Генсеку явно понравилось. И когда какая-то оппозиционерка на сцене посмела возражать Ленину, Брежнев был категоричен:

— Пусть она уйдет! — услышал зал.

После этого Генсека тихонечко увели на время из ложи. Но он был упрям и вскоре вернулся. И угодливый член Политбюро объяснил происходившее на сцене:

— Это Арнольд Хаммер говорит с Лениным.

— Разве Хаммер в Москве? — искренне удивился на весь театр Генсек.

И тут кто-то не выдержал. Точнее, посмел не выдержать. Или было нужно, чтоб не выдержал. Раздался чей-то смех. И тотчас напряженное молчание зала перешло в общий, очень нервный хохот.

После этого Брежнева увели смотреть любимый хоккей».

На самом деле это была не смешная, но очень трагическая история про Кремль и власть. Плохо слышащего и еще хуже понимающего больного человека привели на спектакль старики-соратники, желавшие любой ценой сохранить неизменность ситуации. И потому не отпускали его на покой, заставляли играть в вождя.

Но видно кто-то был против.

«Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно», — как справедливо написал советский поэт. И кому-то было, видимо, нужно продемонстрировать полный маразм несчастного Генсека. Брежнев плохо слышал, но сцена и ложа были напичканы микрофонами. И они усилили и без того громкий голос глуховатого Генсека.

И на следующий день о маразме Брежнева говорила «вся Москва».

Пока на сцене шла одна пьеса, в ложе, возможно, разыгралась вторая.

Уже через несколько месяцев Брежнев умер… И вскоре Генсеком стал находившийся в тот день в ложе руководитель КГБ Андропов.

Советский Декамерон

И еще одну мою пьесу, «Наш Декамерон», также поставил Роман Виктюк.

Тогдашнее министерство культуры очень любило конкурсы. И как-то я получил приглашение участвовать в очередном конкурсе, который назывался «Наш современник — герой нашего времени».

Тема показалась мне любопытной. Вокруг шла всеобщая бесстыдная продажа: тайная — интимных уголков тела и явная — интимных уголков души. И эта продажа приобрела в стране такой размах, что героем нашего времени, его символом могла быть только одна профессия.

И я написал пьесу о проститутке. Только не о несчастной и жалкой. Но проститутке-победительнице.

О героине и хозяйке нашего времени.

Виктюк поставил пьесу уже после перестройки — в Театре Ермоловой.

Занавесом спектакля он сделал копию занавеса Большого театра. Это был золотой занавес с гербом Страны Советов. Занавес — символ Империи. Ведь на сцене Большого театра — любимого театра Сталина — со сталинских времен проходили государственные торжества. И когда этот торжественный государственный занавес поднимался, за ним и оказывалась она. Героиня нашего времени. Служительница бессмертной и древнейшей профессии.

Причем история этой профессии в СССР была еще одной историей в стиле Кафки. Ведь в нашей стране не было проституток! Еще Маяковский с гордостью писал: «До вас дойдут остатки слов, таких как проституция, туберкулез…» Профессия была объявлена язвой капитализма, навсегда изжитой в Стране Советов. Итак, проституток не было, но они были. Они были изжиты, не существовали. И, несуществующие, разгуливали по центральным улицам городов. И по главной улице столицы они преспокойно фланировали на фоне «священных стен Кремля»: от Центрального телеграфа, мимо гостиницы с гордым названием «Москва», мимо вмиг ослепших блюстителей порядка. «Плешка» — так презрительно они сами именовали этот священный уголок столицы нашей родины, превращавшийся по вечерам в район Любви.

Итак, она — героиня пьесы, проститутка, оказывалась за поднявшимся государственным занавесом. Стояла она в белой пачке — этаким воплощением невинности. В балетных туфельках

— очаровательный, белокрылый лебедь из «Лебединого озера». Но падала балетная пачка, и вот она уже в телесном трико, бесстыдно обтягивающем тело. И это было тело публичной девки.

Герои пьесы жили тогда и сейчас. Тогда — это была жизнь в потонувшей во времени сталинской Атлантиде. Та Атлантида была страной маршей, страной Победителей.

Победили царизм, победили Антанту и белогвардейцев, за две-три пятилетки приготовились догнать и перегнать весь мир. На каждом процессе побеждали врагов и шпионов. Победили религию — от Святой Руси остались лишь обезглавленные храмы.

Весело просыпалось поколение победителей. Под неумолчное радио люди мчались на работу, с энтузиазмом участвовали в ежедневных митингах, где проклинали многочисленных недругов Страны Советов, с захватывающим интересом читали тощие газеты с отчетами о процессах над врагами народа. Лишенные свободы, не смеющие иметь собственное мнение, живущие убогой жизнью в чудовищных коммуналках, они искренне горевали о тяжелой доле трудящихся на Западе, жалели угнетенных негров — да и всех остальных людей, которым не выпала счастливая доля жить в СССР. И старались не знать, не думать о миллионах, которые в это же время погибали в лагерях.

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», — для меня это было смыслом пьесы.

И в этой стране Кафки, как ее символ, стояла гигантская статуя вождя на канале Волго-Дон. На голове этой статуи полюбили отдыхать птицы… И чтобы спасти от птичьих экскрементов лицо вождя, через нее пропустили ток высокого напряжения, и теперь она стояла в ковре из мертвых птиц…

Но наступили хрущевские времена, статую свергли с пьедестала. И от сталинского Колосса Родосского остался только гигантский сапог, в который приходили заниматься любовью герои пьесы…

И сам спектакль Виктюка был чудовищной какофонией прежней и новой музыки: «Ален Делон не пьет одеколон», плюс марши и песни из той, сталинской, жизни.

Финал

Последняя пьеса, которую я успел увидеть на сцене, прежде, чем решил уйти из театра, — «Спортивные сцены 1981 года».

Ее тоже поставили в Театре Ермоловой — и, конечно, тоже после перестройки.

Ставил спектакль еще один лидер нашей режиссуры Валерий Фокин. И он собрал воистину суперзвезд.

В одном спектакле играли Татьяна Доронина, Олег Меньшиков, Виктор Павлов и Татьяна Догилева.

Содержание пьесы. Две пары по выходным бегают вместе трусцой на природе. Молодая — чуть за двадцать. И пожилая — чуть за сорок. Но «чуть за сорок» — два отлично сохранившихся тела, полных жизни и здоровья.

И во время этого совместного бега обе пары то расходятся, то опять сходятся, наконец, расходятся навсегда… чтобы снова сойтись. И в конце приходят к тому же, с чего начали! Они оказываются на исходной точке бега. И никуда им из этого круга не вырваться.

Банальная метафора жизни — белка в колесе.

Но все это происходит перед перестройкой — на фоне надвигающегося краха системы.

И сорокалетняя героиня пьесы, дочь одного из партийных начальников — отчетливо чувствует: наступает пугающий и новый мир. Уже появились они — «деловые люди». Спекулянты, хозяева подпольных фабрик, дельцы с валютой. Идеология, создавшая великую большевистскую империю, умерла. И партократия давно стала обычным чиновничеством. А чиновник в России, как справедливо утверждал классик, «может все, кроме одного — не брать взятки».

И «деловые люди» с легкостью разложили систему. Теперь они вольготно существуют радом с нею — незримые хозяева жизни… Уже созданы стартовые состояния, с которых рванется в журнал «Форбс» будущий русский капитализм.

И героиня кричит в ярости:

— Как они все похожи! Будто помечены клеймом! Они все скупают — баб, антиквариат, «Мерседесы». Как расплодились! Сколько ни сажали — все равно всюду они! В графе «занятие» надо писать: «воры», в графе «национальность» — тоже. Деловые люди! Воры!

Но социальная коллизия — всего лишь фон, на котором происходит этот бег по кругу. Главное в пьесе этот бег и

крушение жизни женщины. Ее молодость осталась там — в советском прошлом. Вместе с неудачными романами, поруганной девичьей любовью. Ее нынешний муж, вчерашний жалкий «крестьянский сын» Михалев, за которого она, советская аристократка, когда-то вышла замуж, чтобы отомстить другому, любимому.

И вот она на бегу пьяно объясняет молоденькому Сереже:

— Тут одно из двух: или вы любите — и тогда вам изменяют… Или вас любят — и тогда изменяете вы. Это сказал какой-то умный сукин сын — Ларошфуко или Монтень, хрен их знает. Поэзия измен… Как я изменяла Михалеву! Тогда он терпел. Тогда ему приходилось терпеть! Но у него была дьявольская интуиция — он все всегда чувствовал. Только я подумаю, как бы рвануть «в ночное», а он уже говорит: «По-моему, ты хочешь уйти на ночь? Только не знаешь, что придумать…» И лицо у него, как у брошенного пса! Но я все равно уходила… Я когда что-то хотела… но этот мерзавец умел отравить мне всю радость! В самые неподходящие моменты я вспоминала его лицо, и… не было радости. Слушай, если он спросит, где я набралась — ни-ни-ни! Ни слова! Иначе он соберет все бутылочки под кустиками, как грибы!.. Но однажды он взбунтовался. Однажды под утро я подъехала на машине к папиной даче. Михалев вышел из кустиков — и молча шваркнул меня по лицу. (Хохочет.)

И вылетел бриллиант из сережки. Что было потом? Всю оставшуюся ночь до рассвета он искал его с фонарем в кустах. Ползал «жадный крестьянский сын»… как называл его твой папа Алеша. Впрочем, при чем тут Алеша? И где тот забитый крестьянский сын!.. Теперь его трудно даже представить! Такой шустрый! Такой лощеный Михалев! Ни одной «телки» не пропустит, паразит.

«Жадный, забитый крестьянский сын», нынче — ловкий чиновник, он уже всесилен в этом новом мире, а она — реликт. Но пока еще могущественный реликт.

Я написал пьесу в 81 году и так ее и назвал: «Спортивные сцены 81 года». И она благополучно лежала у меня в письменном столе. Но когда наступила перестройка, пьесу поставили!

Тогда, в НАЧАЛЕ, было время гражданственности. Время популярности демократических идей, время журнала «Огонек» — тогдашнего властителя дум. Это был наш февраль 17 года, который так же скоропостижно умрет.

Но тогда он был еще жив.

И личная история, про которую я писал, в спектакле ушла на второй план. Зал хотел слушать обличения «гнилого режима». Зал

жил тогда тютчевским:

Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!

И режиссер не мог, не смел не чувствовать этого. И бег трусцой в спектакле был заменен, точнее почти отменен.

Актеры лишь обозначали этот бег. Почти все действие они играли лицом в зал. Эта мизансцена была нужна режиссеру для того, чтобы бросать в зал публицистические реплики.

И вместе с залом он и актеры творили новый спектакль. О прогнившем жалком советском high society.

О деловых людях, которых только начинали называться «новыми русскими». О ненависти к наступавшему на всех фронтах первобытному русскому капитализму. После перестройки именно он и раздавит престиж демократии.

И зал радостно смотрел пьесу, как некую «перестроечную» публицистику. И вскоре я с изумлением услышал, что «эта пьеса о дочери Брежнева». И еще раз убедился, как он — Диктатор (то бишь зритель) — дирижирует действием и смыслом пьесы. Ибо зритель делает это, награждая актеров самым для них желанным — аплодисментами.

Хлыстом хлопков он заставляет спектакль двигаться в желанную ему сторону, руша порой замыслы режиссера. Может быть, в этом причина безумной фразы одного режиссера: «Я мечтаю играть спектакли без зрителей».

«Этот повар будет готовить очень острые блюда»

Со «Спортивными сценами…» произошел важный случай.

Это был один из первых «перестроечных» спектаклей. И в газетах лежали прекрасные статьи, готовился репортаж в программе «Время», когда вдруг все отменили.

Причину вскоре знали все. «В России всё секрет и ничего не тайна».

На спектакль пришел новый глава московской партийной организации Борис Николаевич Ельцин. Его очень долго ждали в тот вечер, он все запаздывал. Как было положено, с началом спектакля тянули. После пятнадцатиминутной задержки взбешенный режиссер уже велел начинать… когда Ельцин, наконец, пришел! Он посмотрел спектакль и ушел, не сказав ни слова, не передал хотя бы формальной благодарности актерам. Решили, «что все-таки он недавно из провинции…»

Но после его посещения все неприятности и произошли.

Вскоре выяснились подробности.

Один наш знаменитый артист ехал поездом в Ленинград. И в том же вагоне ехал Ельцин. И рассказал ему, что когда он смотрел спектакль «Спортивные сцены…», со стыда не знал, куда спрятать глаза. «Там говорят такие вещи!» — сокрушался Борис Николаевич. И был несказанно рад, что «пришел один, а не с женой».

Я позвонил в приемную Ельцина, представился и попросил меня с ним соединить. Конечно же, меня с ним не соединили. Соединили с помощником. Он сказали обычное:

— Бориса Николаевича нет, он уехал в Кремль.

— Когда перезвонить?

Опять обычное:

— Боюсь, что сегодня он очень занят. У него заседание, оно закончится поздно.

Положенный текст, который я слышал в жизни тысячу раз. Здесь полагалось понять, что тебя послали… и повесить трубку. Но вместо этого я попросил передать Борису Николаевичу:

— Говорят, у нас как бы началась новая жизнь. Но это только «как бы», потому что она у нас старая, ибо холопство наше вечное. И когда он приходит на спектакль, ему нужно помнить об этом холопстве! И когда он высказывает свое мнение вслух, не забывать: оно тотчас воспринимается как руководство к

действию. Хотя он всего лишь зритель, не более!

Прошло немного времени, и появились хорошие рецензии в газетах, и показали репортаж о премьере по телевидению.

Узнал я, что произошло тогда намного позднее… В это время Б. Н. заставил несчастный горком работать с раннего утра до поздней ночи. И вот на очередном полуночном совещании, после бесконечного перечня дел, он вдруг спросил:

— Кто-нибудь видел из вас «Спортивные сцены…» в театре Ермоловой?

Они были умные и дружно ответили, что-то вроде: «Где нам теперь по театрам ходить — у нас работа!»

А он продолжал:

— А я вот видел! Видел, и мне очень не понравилось! Но рядом со мной сидел молодой человек, и он весь спектакль хохотал и аплодировал. Даже мне по руке от радости съездил… Бац! Бац! — так ему нравилось. И я вот все думаю: «А может быть, мне не просто не понравилось?! Может, мне не понравилось, потому что там критикуют нас. Может, мне не понравилось, потому что все во мне сопротивляется такой правде!! Потому что понять не умеем — они там против того… против чего должны быть мы с вами!»

Я не знаю, говорил ли он это. Но так эту историю мне пересказали. И уже начинавшийся тогда роман интеллигенции с Б. Н., думаю, после таких историй цвел еще сильнее. Именно тогда я вспомнил фразу, сказанную о другом политике: «Этот повар будет готовить очень острые блюда».

Вся история оказалась правдой. И молодой человек, смотревший спектакль рядом с Ельциным, вскоре нашелся.

Вспомним эту фразу — «висели на люстрах». Так было и в тот день премьеры «Спортивных сцен…».

Но в Театре Ермоловой тогда не привыкли к аншлагам и ажиотажу. И потому поступили как обычно: почти все билеты непредусмотрительно отдали в продажу, и, конечно же, они были раскуплены. Так что в день премьеры администрация театра оказалась без билетов. Поэтому некоторых «театральных людей», пришедших на спектакль, — актеров, журналистов — пришлось разместить демократично — поставить вдоль стены. И некий молодой журналист стоял среди них. Вдруг он увидел, что какой-то седой человек (Ельцина тогда знали в лицо немногие) пробирается на свое место… он сел, и рядом с ним — свободное кресло… Наш молодой человек смекнул, что, видимо, седой пришел без своей пары. И поспешил — начал пробираться к

пустому месту… Идет вдоль ряда, а его больно — по ногам, по ногам. И он не понимает, что это трудились они — «рано встает охрана».

И состоялась сценка.

Он (возмущено):

— Что вы бьете?

В ответ суровое:

— Идите назад!

Но он уже успел спросить седовласого: «У вас место свободно?»

И тот ответил весьма радушно: «Да, конечно, свободно, садитесь».

И тотчас по ногам бить перестали, молодой человек прошел и сел. И смотрел спектакль. Оказалось, этот молодой зритель был знаменитый ныне журналист Александр Минкин.

Порвалась цепь великая

Перестройка побеждала, пьесы перестали запрещать.

И оказалось… что театр лишился самой мощной, самой действенной у нас (и при том бесплатной) рекламы — запрещения. Начиналась новая эра — когда нужно было завоевывать зрителя без самого надежного тысячелетнего помощника искусства в России — цензуры.

«Поэт в России больше, чем поэт», — утверждал поэт. И был прав. Но и театр в той исчезавшей стране, именуемой СССР, был больше, чем театр. Он был гласностью в темноте.

В темноте люди аплодировали репликам отрицательных героев. И смехом и аплодисментами превращали пьесы о давно прошедших временах во времена сегодняшние. И история из жизни языческих рабовладельческих цивилизаций до смешного оказывалась похожа на историю страны социализма. И на вратах театра было начертано: «Если пишешь, не бойся, если боишься, не пиши». То же было и в литературе. Но эта эра в те, 90-е, явно заканчивалась.

В конце XX века в России перестала существовать цензура… И при Романовых была, и при большевиках была. И, наконец, ее не стало.

«Великое счастье писать то, что ты думаешь», — написал Тацит в Древнем Риме две тысячи лет назад.

И это счастье, казавшееся несбыточным, пришло и в Россию — всего через две тысячи лет после Тацита.

Наступила новая жизнь. Сколько лет прежней жизни было потрачено на мелочные идиотские вычеркивания и смешные сражения с редакторами. Западный драматург мог наплевать на понятие: «границы дозволенного», — советский писатель чувствовал эти границы на уровне подсознания. Теперь мы с ними сравнялись. Теперь мы впервые оказались в одной весовой категории, и я знал, как выиграть бой.

В те годы в Москве шло 10 моих пьес. «Беседы с Сократом», «Театр Времен Нерона и Сенеки», «Она в отсутствии любви и смерти», «Я стою у ресторана…» — в Театре Маяковского, «Наш Декамерон», «Спортивные сцены 81 года» — в Театре Ермоловой, «Лунин…» и «Продолжение Дон Жуана» — в Театре на Бронной, «Старая Актриса…» — в доронинском МХАТе, «Приятная женщина с цветком…» — в Театре эстрады.

Иногда они совпадали, и мне нужно было решать — куда идти. Театр в это время был моей жизнью, и я исправно ходил смотреть, точнее следить, не умирают ли спектакли.

И вот в этот момент я должен был от всего этого отказаться.
Я решил изменить свою жизнь.

Да, перестройка побеждала. Но, как и многие, я спрашивал себя: надолго ли? И вспоминал эксцентрический жест Чаадаева во время той первой русской перестройки. После смерти Николая I, когда все заговорили об «оттепели» (слова Тютчева), славили «гласность» (другое слово, изобретенное в те же времена) и очень верили в реформы, Чаадаев попросил у врача рецепт на мышьяк для крыс. И каждый раз, когда кто-то при нем начинал говорить о надеждах на нового царя, вынимал из кармана рецепт и с усмешкой показывал… Так что мысль: не придется ли нам вскоре повторять любимое стихотворение: «Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман», не покидала. И когда слышал частое тогда заклинание «перестройка необратима», я вспоминал цитату из воспоминаний мудрого современника той первой русской перестройки А. Никитенко: «Почему-то всему хорошему в России суждено начинаться, но не доходить до конца. Одною рукою мы производим… улучшения, а другою их подрываем; одною рукою даем, а другою отнимаем… Нам хотелось бы нового в частностях, с тем чтобы все главное осталось по-старому».

Так что я обязан был поспешить. Ибо в это время произошло небывалое: открыли вчерашние секретные фонды архивов. И появилась возможность понять то, что меня мучило всю сознательную жизнь: как же это все произошло в 17 году? Современники были потрясены быстротой и внезапностью падения царской России. «Было, было и… вдруг не было», — изумлялся тогдашний публицист. «Народ с пугающей легкостью сдул трехсотлетнюю монархию, как пушинку с рукава», — поражался другой. «Железный занавес» опустился над русской историей, — в отчаянии от внезапности свершившегося, писал третий. — Пора уходить по домам, брать шубы. Обернулись — ни шуб, ни домов уже нет».

Страна тысячелетней автократии в три дня расправилась с режимом. А дальше — больше. Страна, которая называлась Святой Русью, с остервенением начала рушить свои храмы.

Как это все могло произойти?

И почему иностранец маркиз де Кюстин, посетив империю Николая I, где «все молчало, ибо благоденствовало», предсказал… русскую революцию? И что означало определение Достоевского, сказанное о России задолго до 17 года, в дни правления Александра II: «Колеблясь над бездною».

Я обязан был вернуться в Историю. Это было мое второе «возвращение в Итаку».

Вместо того чтобы стать стареющим драматургом, я становился начинающим беллетристом.

Я составил план. Это были три книги.

Они были названы по именам царей. Николай II — последний русский царь. Сталин — первый большевистский царь. Александр II — последний великий царь из династии Романовых.

И рядом с ними мужик — Распутин. Предтеча тех тысяч мужиков, которые обрушат романовскую империю, затопчут их дворцы и, в конце концов, сами себя погубят!

Мне как-то показали в архиве стол и кресло одного знаменитого историка. И рядом была выемка в полу. Потому что каждый раз, приходя в архив, Историк подвигал кресло к столу. Делал он это бессчетное количество раз. Всю жизнь. История — это каторжный труд.

И чтобы написать задуманные книги, нужна была совсем иная жизнь… Это было, как постричься в монастырь.

Театральная моя жизнь на этом закончилась.

Мне думается, что я ушел вовремя из Театра.

Тот старый театр — политический театр, властитель дум — умер.

НО подлинно НОВЫЙ театр только рождается. Он пока всего лишь повторяет искания полувековой давности постреволюционного авангарда. И эти искания очень напоминают веселое описание театра у Ильфа и Петрова. Новый театр пока занят изобретением велосипеда. Вместо того чтобы начать, наконец, на нем ездить.

Между тем «улица корчится безъязыкая». И со страной, восемьдесят лет жившей при пустом небе, где летали только самолеты, случилось то, что предсказано в Библии: «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (8:11–12).

Рассказать об этом — и значит создать новый театр.

Уходя, уходи

Прийти в театр трудно, но совсем уйти из него оказалось невозможно.

И в 90-х я все-таки написал историческую пьесу «Последняя ночь последнего царя», которая была фактически продолжением книги о Николае II.

Пьесу поставил Валерий Фокин. Поставил в московском Манеже — где в 17 году расстреливали восставших юнкеров. И спектакль вышел в дни очередного юбилея Октябрьской революции.

38 год. Кремлевская больница.

Пик сталинского террора.

Много пустых коек в Кремлевской больнице — забирают даже отсюда.

Идет беспощадная охота Хозяина — вся ленинская партия должна исчезнуть.

В больнице умирает от мучительной язвы очень важный персонаж большевистской истории — главный цареубийца Яков Юровский.

Ему разрешили умереть в своей кровати. Но почти все его друзья уже исчезли в бездонной могиле № 1 в Донском монастыре — Голощекин, Белобородов, Дидковский… Все те, кто решил тогда судьбу несчастной царской семьи. В лагерь отправилась и любимая дочь Юровского.

Он умирает, окруженный тенями тех, кого убивал он сам, и тех, кого уничтожил Хозяин.

И в его больном бреду, у его кровати разговаривают в последний свой вечер царь и царица… Как тогда, в тот душный июльский вечер 18 года. Читают старые письма, молятся перед сном. Засыпают… И вновь он слышит в темноте пронзительные электрические звонки — это по его приказу будят перед расстрелом Романовых.

И будто из бреда появляется у его кровати еще один соучастник — глава Уральской ЧК Федор Лукоянов. Теперь и он пациент Кремлевской больницы — в отделении душевнобольных.

И он заставляет умирающего Юровского вспомнить всю ту кромешную, адову, нечеловеческую ночь расстрела.

И опять из небытия появляется та комната… и торчащие из дверей руки с револьверами, и беспорядочная пальба обезумевших расстрельщиков, и великие княжны на коленях у стены — защищаются руками от пуль… И пули странно

отскакивают от них и, пугая убийц, летают по комнате… Мечется с нечеловеческим криком несчастная служанка, защищаясь подушкой от пуль, и он, Юровский, вступает в дым, чтобы пристрелить беспомощного, но странно живучего наследника… И фуражка государя, откатившаяся к стене… и сам царь, упавший навзничь…

И та длинная, таинственная трехдневная возня с перезахоронением трупов Романовых, скрывшая, как оказалось, последнюю загадку ипатьевской ночи.

Триллер

В спектакле вновь играл суперзвездный состав — Михаил Ульянов, Евгений Миронов, Александр Збруев и Ирина Купченко.

В это время состоялось торжественное перезахоронение останков царской семьи в Петропавловской крепости. Я был членом Комиссии по перезахоронению и участвовал в церемонии.

В Петербург со всего мира съехались потомки Романовых… И возник телевизионный проект — ночью, после торжественного перезахоронения показать «Последнюю ночь последнего царя» в Эрмитажном театре. Причем прологом представления я хотел сделать отрывок из пьесы великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский», которую когда-то смотрели в Эрмитажном театре Николай II и его семья.

И актеры, игравшие царскую семью, должны были сидеть в прологе среди зрителей. Зрителями должны были стать и приехавшие на погребение родственники царской семьи. После пролога Романовы должны были увидеть воскресшую из небытия правду о расстреле царской семьи. Правду, о которой главный цареубийца Юровский сказал: «То, что случилось в ту ночь, не узнает никто».

Трансляцию этого зрелища на всю страну должен был вести один из главных каналов. Причем в режиме реального времени, в котором происходил расстрел.

Но чем вероятней становилось осуществление проекта, тем больше меня охватывало сомнение. И когда проект начал тонуть, я вздохнул с облегчением. Уж очень страшной, бесчеловечной стала казаться мне эта затея.

Разговоры по пути на гильотину

И еще одну историческую пьесу, «Палач», я написал совсем недавно.

Это — пьеса в пьесе…

Все тот же год террора. Квартира режиссера М. (Всеволода Мейерхольда). Он обречен, уже не звонит телефон… И, ожидая неминуемого, чтобы не сойти с ума, он придумывает спектакль. Спектакль в театре его мечты — в театре будущего, где не будет рампы, где взбесившаяся сцена сможет умчаться на улицу сквозь зрительный зал, как… Как телега палача, мчавшая когда-то на эшафот жертвы Французской революции!

Так он начинает придумывать пьесу, так появляется ее герой — палач Сансон.

XVIII век, Франция. Эротика века, небывалая роскошь века… Древний род палачей Сансонов, презираемых всеми. И тайная жизнь, и любовные похождения Палача, вынужденного скрывать даже перед возлюбленными свое ремесло.

Но грянула революция.

И, помешанная на равенстве, Революция провозглашает равенство даже на эшафоте. Раньше простолюдинов вешали, дворянам рубили головы. Теперь головы должны рубить — всем. И Сансон, палач города Парижа, понимает, что ему — крышка: стольких будущих клиентов он обслужить не сможет. Но на помощь приходит технический прогресс. Настройщик музыкальных инструментов, единственный человек, который знается с палачом, придумывает для него невиданное сооружение — гильотину. Лезвие, висящее между двумя досками… Теперь весь труд палача — лишь только дернуть за веревку. Прогресс победил: палачом может стать любой.

«Гильотина — самое гуманное из изобретений. Лежащий лицом вниз осужденный как бы отдыхает…

И, к тому же, это поза любви… И сама смерть мгновенна… Падающее лезвие… оно — как дуновение ветерка. Оно вам отрубит голову и вы даже не почувствуете», — докладывают в Конвенте. Весело хохочут члены Конвента. Чтобы в дни террора ощутить на себе дуновение этого ветерка.

И вот уже часы революции торопятся к невиданной крови. День равен веку. Рушатся авторитеты возраста, таланта, происхождения. На вершины возносятся все новые исполины, которые при падении оказываются карликами. И топор, висящий между двух досок, становится повелителем страны. И

свершилось: презренный вчера палач становится самым уважаемым человеком. Ибо, уничтожив монархию, революция основала новое царство — Царство палача… Его телега постепенно объединяет всех — от короля до Робеспьера. Этакая великая братская могила на колесах. Всех отвозит на гильотину палач Сансон, слушая по дороге разговоры приговоренных. Разговоры аристократов, разговоры проституток, разговоры великих революционеров-отцов революции…

Отдам ли я эту пьесу в театр? Соглашусь ли опять увидеть чужую пьесу, которую создадут они втроем — актеры, режиссер и зритель?

Или…

Или поставлю ее сам в своем театре.

Мой театр

Уйдя из театра, сам того не понимая, я в нем остался.

И дело даже не в том, что я не смог не писать пьесы. Оказалось, все это время я создавал свой театр.

И это совсем другой театр, где нет привычного диктата режиссера, где нет актеров.

Нет ни их Величеств, ни их Высочеств…

Есть только он — режиссер, драматург, актер в одном лице. Странный человек-оркестр.

Мой театр — театр на ТВ. Театр Истории.

В начале 90-х я впервые выступил на ТВ.

— Вы понимаете, что вы отважились читать лекцию перед миллионами, — спросил меня после первой передачи известный историк.

Он не понимал — миллионы лекции не слушают.

На самом деле это была не лекция — это был все тот же театр.

Театр мучительный. Ибо, не дай вам Бог, в этом театре приготовить текст, выучить его наизусть. Тогда все, действительно, превратится в лекцию. А это — смерть эмоции.

Настоящее ТВ — это эмоция. Это — сейчас. Этот театр рождается на глазах зрителя. Он — импровизация. Он вечное для меня «воображение реальнее реальности».

На глазах невидимых сотен и сотен тысяч я обязан за сорок минут сочинить пьесу — с завязкой, кульминацией и концовкой. При этом должен идти как бы — впереди себя, слушать себя, редактировать себя и помнить, что у меня в распоряжении сорок минут. И я обязан за это время попытаться выполнить главную задачу. Наедине со всеми понять ЕГО Чертеж в судьбе персонажа, о котором рассказываю.

И если это удалось, спектакль состоялся.

Мои издатели на Западе, когда узнают, что я выступаю на ТВ, спрашивают:

— Это ток-шоу?

— Да.

— А кто туда приглашается?

Разные люди — Сталин, Иван Грозный, Казанова, Екатерина Великая, Наполеон, царская семья, Распутин. По моему желанию. Те, кто жили и погибали в молниях истории. Те, кто для меня не умерли до сих пор. Но просто притаились в природе.

Шум времени

Недалеко от Лобного места стоит он… Я вижу его хищный нос — наследство Палеологов.

Бояре, духовенство, народ. Ждут, что он скажет. Как всегда перед важным поступком, он раззадорил себя. И вот оно наступает — желанное бешенство. И, вспоминая утеснения детства, обратился к митрополиту и народу…

«Ты знаешь, владыко… сильные бояре расхищали мою казну, а я был глух и нем по причине моей молодости… Лихоимцы и хищники, судьи неправедные, какой дадите вы ответ за те слезы и кровь, которые пролились благодаря вашим деяниям?… Я чист от крови… Но вы ждите заслуженного воздаяния».

И горят бешеные глаза, и затаился народ на площади, и бояре ожидают великой расправы. Но он объявил: «Мстить вам не буду, за все ответите на Страшном суде… а сейчас…»

И голос сорвался.

Он повелел всем забыть все обиды и соединиться — в любви и прощении. Он объявил себя защитником людей от неправедности сильных мира сего…

И в глазах его были растроганные слезы, когда он обратился к священству: «Достойные святители церкви, от вас, учителя царей и вельмож, я требую — не щадите меня в преступлениях моих. Гремите словом Божьим, и да жива будет душа моя!»

И чувствуешь ветер. Как он треплет его длинные, рано поредевшие волосы…

… А вот другой ветер.

По талому грязноватому снегу летит царский экипаж. Снег — на булыжной мостовой вдоль канала. Народу совсем мало: мартовский петербургский холодный ветер, пробирающий до костей, сдул с канала гуляющую публику. По тротуару прогуливаются полицейские — охраняют проезд императорской кареты.

А вот из-за поворота показалась и карета.

Но полицейские почему-то не замечают странного молодого человека… Он явно нервничает, в руке у него что-то подозрительное, величиной с тогдашнюю коробку конфет «Ландрин», завернутое в белый платок.

Молодой человек подождал приближающуюся карету и швырнул сверток под ноги лошадям.

Эхо мощного взрыва прокатилась по каналу.

… На булыжной мостовой лежит убитый — один из казаков,

охранявших карету, рядом с мертвецом умирает в муках проходивший мальчик… Кровь, обрывки одежды на покрытом снегом булыжнике.

Императорский поезд останавливается. Государь, невредимый, выходит из кареты. Поздно бросил бомбу молодой человек — видно, сильно нервничал.

В шинели с бобровым воротником, на красной подкладке, в золотых эполетах с вензелем отца, Александр II…

Государь высок, прям, гвардейская выправка. Последний красавец-царь романовской династии.

… Не пройдет и пятнадцати минут, и он будет корчится в муках на этом талом грязном снегу.

И те, кто посещают мой театр на ТВ, слышат главное — шум времени.

У этого театра огромная аудитория. Я знаю, что не все понимают то, что я рассказываю.

Но это и не важно.

Один наш известный актер увидел, что его домработница смотрит мою передачу. И спросил ее:

— Ты хоть что-нибудь понимаешь?

— Не всё, — вздохнула она, — но очень интересно. Это и есть для меня высший комплимент. Ибо мой театр на ТВ — это, прежде всего, эмоция.

Эпиграф

Я храню редкое издание, доставшееся мне из библиотеки отца. Это — «Album de Madame OLGA KOZLOW. 1869–1889».

Альбом был куплен у букиниста. В начале альбома, видно, были акварели, но они кем-то вырваны.

Свои записи в этом альбоме оставили, пожалуй, все тогдашние властители дум. И не только отечественные. (Мадам часто жила в Париже.)

Проспер Мериме, Альфонс Карр, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Аксаков, Апухтин, Писемский, Ламартин, Полонский, Плещеев, Виктор Гюго, Некрасов… и т. д. — в ее альбоме.

Там оставил запись писатель Болеслав Маркевич, которому суждено было описать агонию и смерть Достоевского.

И там же находится удивительная запись самого Достоевского:

«Посмотрел ваш альбом и позавидовал. Сколько друзей вписали в эту роскошную памятную книжку свои имена… Сколько живых мгновений пережитой жизни сохраняют эти листы.

Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в своей жизни — и что же? Я никогда не смотрю на эти изображенья: для меня, почему-то, воспоминание равносильно страданию, и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него мучения.

В то же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо; люблю жизнь для жизни и, серьезно, все собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть и деятельности».

Достоевский.

31 января 1873».

Я часто думаю об этих его словах.

«Сколько дерево ни красить, будет дерево зеленым»

И в заключение о Времени.

Время любых реформ — время Моисеева похода к свободе через пустыню. Оно всегда злое и тяжелое…

И будут изменять Богу. И будут молиться прежним идолам и проклинать пославших в путь.

Ибо долог и мучителен путь к новому небу и новым берегам.

Но надо идти и надо верить.

И когда вы услышите столь частый нынче, наглый, победный лопахинский крик: «Вишневый сад продан!», — оставайтесь спокойны.

Ибо Вишневый сад продать нельзя.

Пьесы

104 страницы про любовь

Часть первая

Над сценой — светящаяся вывеска «Молодежное кафе «Комета». В кафе. Два столика. За одним столиком сидит девушка. Она одна. На стуле стоит ее чемоданчик. На чемоданчике — букет в целлофановой обертке. За другим столиком — парень. И он тоже один. За сценой мальчишеский голос поэта читает стихи.

МОТОГОНКИ ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНКЕ В ОГАЙО

Мы — мотоциклисты —
Мчимся вверх,
Ввинчиваясь в стенку
Круг за кругом.
Над нами звезды,
А внизу — огонек у входа,
Так похож на червовую карту
Или — проще — на чье-то сердце.
А кругом почтеннейшая публика,
Как ей спокойно
Смотреть за пятиалтынный,
Как мчатся к звездам,
Круг за кругом,
Шальные мотоциклы,
Играя с судьбою в червовую карту.
А потом сердце у входа гаснет,
И публика расходится,
И ты говоришь мне немного устало,
Снимая со лба мокрый шлем:
— Придет время — мы станем толстыми
И будем смотреть,
Как другие мальчишки,
Круг за кругом,
Рвутся к звездам
По отвесной стенке.
Но пока…
Мы — мотоциклисты.

Поэт закончил читать стихи. Аплодисменты.

Голос председателя общественного совета кафе. Мы обсуждаем стихи и песни «молодого, начинающего… и т. д. и т. п.» поэта Жени Даля. Кто-нибудь хочет высказаться? Ну давайте, ребятки, в бой! **Девушка** *(за столиком)*. Я только два слова. Можно? *(Встала.)* Мне очень понравились стихи. Большое спасибо.

Смех, аплодисменты за сценой.

Голос председателя. Еще кто-нибудь. Только помногословнее…

Молчание.

Ну, ребятки. Кто родил хоть какую-нибудь идею?

Парень. Я родил… *(Встает.)* Вызнаете… передо мной здесь выступала девушка…

Голос председателя. Ваша профессия?

Парень. Анкета необязательна… Так я продолжаю… Вот передо мной здесь выступала девушка… Довольно необычная. Мне даже показалось, что она…

Голос председателя. Я не понял. вы собираетесь обсуждать стихи или девушку?

Смех.

Парень *(тоже усмехнулся, невозмутимо)*. Нет. Стихи я обсуждать не буду. А девушка мне понравилась. Все.

Смех, аплодисменты.

Голос председателя. Ясно. С идеями у нас… не выходит. По этому случаю предлагается маленькая врезочка в наш вечер… Прошу!

И тотчас женский голос за сценой запел песенку. А парень преспокойно подходит к столику, где сидит девушка, снимает со стула ее чемоданчик и цветы и садится рядом.

Девушка *(даже задохнулась)*. Ну!..

Парень *(ровно)*. Да, такие шутки я ценил в средней школе. Думал, что вырос. Оказалось — нет.

Девушка. Нет, это… ну… на нас все смотрят!

Парень. Несущественно. Кстати, стихи были довольно дрянные. Вам всегда нравятся дрянные стихи?

Девушка. А может быть, этот товарищ писал их от чистого сердца? Может быть, у него просто не получились хорошие?

Свет на сцене медленно гаснет. Освещен только их столик.

Парень. Тоже довод… Вы, видимо, очень чуткая девушка?

Девушка. А вы приставучий товарищ.

Парень. А вам нравится, что я к вам пристаю. Красивые

девушки страшно тщеславные. У вас сегодня целый вечер будет чудесное настроение.

Девушка *(засмеялась).* Вы… веселый товарищ.

Проходит спортивного вида, тщательно одетый очкастый парень.

Очкастый *(дружелюбно).* Привет.

Парень *(сухо).* Салют.

Очкастый *(обескураженный его тоном).* Ну, я к тебе лучше потом подойду.

Парень. Да, лучше потом.

Очкастый уходит.

Девушка. Это ваш знакомый?

Парень. Это мой знакомый… Что же это вы одна?

Девушка. Одна — не одна… Не все ли равно?

Парень. Не все. Я боюсь, что к вам сейчас кто-то придет.

Девушка. Чепуха какая… Я просто с аэродрома, ужасно проголодалась и зашла. *(Махнула рукой.)* А! Все это не важно… Часто вы так пристаете к девушкам?

Парень. Часто.

Девушка. Не надоело?

Парень. Нет… Людям моложе ста двух лет свойственна вера в «необыкновенную встречу». Без этой веры можно было бы умереть от скуки. Идет по улице человек. Упал и умер. Все думают — он от инсульта. А он — от скуки.

Девушка *(засмеялась).* Вы невероятно веселый товарищ.

Парень. Вы уже два раза об этом сказали.

Девушка. Вы грустный?

Парень. Да, я пессимист. *(Чуть насмешливо, чуть серьезно.)* Иногда вдруг отчетливо понимаешь, что жизнь проходит. И довольно быстро. Люди смешны. Вот если я потерял два рубля — я огорчусь. А каждую секунду мы теряем секунду жизни. И ничего, не замечаем.

Девушка. Да… Вы очень странный…

Парень. Товарищ…

Девушка *(опять засмеялась).* Вот именно, товарищ.

Парень *(встал, перенес бутылку вина со своего столика).* Давайте выпьем. По поводу моей странности.

Девушка. А… зачем?

Парень. Только не надо ханжить, хорошо?.. Кстати, это сухое вино.

Девушка. Сухое — мокрое, это не важно. Терпеть не могу, когда меня кто-то угощает.

Парень. Хотите оставаться независимой?

Девушка. Хочу!

Парень. Проблема. Ну что ж… Тогда давайте пить как мужчина с мужчиной. Кончим эту бутылку — вы купите следующую. Подходит такое решение?

Девушка *(отважно).* Подходит.

Парень. Ну вот. А теперь поехали?

Девушка. Поехали.

Он наливает.

(*Торопливо.)* Только не очень много. А то я рано утром опять улетаю…

Парень засмеялся.

Чего вы смеетесь?

Парень. Так… Значит, то прилетаете, то улетаете? Веселая у вас жизнь. Где же вы работаете?

Девушка. «Где», «что» — кому нужны эти уточнения! И вообще… А! Вы все равно этого не поймете.

Парень. Я отлично понял.

Девушка. Что же вы поняли?

Парень. Человек — не тот, кто он есть на самом деле, а тот, кем он мечтал стать. Просто в силу тех или иных причин часто что-то не получается в жизни. А вот встретишь незнакомого человека — и ничего он о тебе не знает, и ты можешь держать себя с ним так, будто все у тебя вышло. С незнакомыми людьми легко. Вы это хотели сказать?

Девушка *(тихо).* Да… Вы здорово все понимаете.

Парень *(так же).* Вам… со мной легко?

Пауза.

Девушка. А! Ерунда! Просто вы мне попали под настроение. *(Опять засмеялась.)*

Парень. Часто смеетесь. *(Сухо.)* Вам, наверное, кто-то сказал, что у вас красивый смех. А он у вас довольно глуповатый.

Девушка. Ну!..

Парень. Простите, сорвалось.

Девушка. Нет, это даже хорошо. Я люблю людей, которые говорят то, что думают.

Парень. Налить?

Девушка. Как мужчина мужчине… Вообще, правда, я сегодня часто смеюсь. Вы знаете, я заметила, есть какой-то закон: если плачешь, всегда потом будешь смеяться. И наоборот. Вот однажды я плакала два дня подряд. Мне это так надоело. И вот на третий день я решила: буду смеяться — и все! И целый день ходила и

смеялась сквозь слезы, как идиотка… А! Вот странно. С той минуты, как мы познакомились, мы трещим, трещим…

Парень. И все равно мы ничего не сможем сказать друг другу.

Девушка. Знаете, это тоже правда. Я тоже об этом часто думаю. Хорошо бы все люди лет на пять замолчали. Вот тогда у всех-всех слов появился бы снова большой смысл. Непонятно? Вот когда я думаю — понятно, а говорить не умею. Юморочек один… Что вы так на меня глядите? Вообще, что вы все время улыбаетесь?

Парень. Так.

Девушка. Так, да?.. *(Чтобы что-то сказать.)* У вашего знакомого очень грустное лицо… Нет, но почему вы все-таки улыбаетесь?

Парень. Так.

Девушка. Так — не так… Я ненавижу, когда улыбаются. Вы… вы просто мне попали под настроение.

Парень. Нет. Я вам понравился. Еще когда там сидел и на вас смотрел — уже понравился. Да?

Девушка. А! Да — не да… Чепуха все это.

Парень. Понравился?

Девушка. Нет… Ну понравились! Ну и что с того! Мало ли кто мне нравится…

Парень. На будущее. Мы постараемся говорить друг другу только правду. Этого еще никто не сумел. Идет?

Девушка (*засмеялась, потом спохватилась и опять засмеялась).* Буду смеяться своим глуповатым смехом… Кстати, неплохо бы узнать, как вас зовут.

Парень. Неправда первая. Вы давно хотите, чтобы я вам сказал это. И вас ужасно бесит, что я молчу. Да? Девушка. Нет!.. То есть — да.

Парень. Как вас зовут?

Девушка. Наташа.

Парень. А меня — Евдокимов.

Девушка. Как?

Парень. Евдокимов. Я люблю, когда меня называют по фамилии.

Танго за сценой.

Вам очень хочется, чтобы я вас пригласил сейчас танцевать? **Наташа.** Нет… То есть хочется. Ну хочется. Что тут особенного? Я люблю, когда меня приглашают танцевать, вот и все.

Они танцуют.

Давно не танцевала… Не надо. Не смотрите на меня все

время… Мы сегодня будем здесь недолго, хорошо? Евдокимов. Плохо… Когда мы с вами встретимся? Наташа. Не знаю. Завтра я, возможно, улетаю. Завтра или через несколько дней.

Евдокимов. Вы не улетайте завтра. Улетайте через несколько дней.

Наташа. Это от меня не зависит. Евдокимов. Все зависит от нас. Если вы очень захотите…

Наташа. Вообще, действительно все зависит от нас.

Евдокимов. Так вы хотите встретиться со мной завтра?

Наташа. Ну, ладно. Хочу! Ну и что с того? Ну почему вы все время смотрите… А!

Евдокимов. Здорово у вас звучит это «а!».

Наташа. Это раньше, когда мне мама что-нибудь неприятное говорила, я всегда хмыкала. Потом мы решили покончить с хмыканьем, и я ей теперь на все неприятное говорю «А!» Ну не смотрите на меня все время!

Евдокимов. Буду смотреть. Здорово, что вас зовут Наташа.

Наташа. «Здорово», да? Почему «здорово»?

Евдокимов. Не знаю. Здорово — и все!

Наташа. Чепуха какая… Ну не смотрите на меня так.

Евдокимов. Буду. У вас невероятные глаза. У вас желтые глаза. У вас, наверное, лучшие глаза в СССР.

Наташа. Желтые, серые, зеленые… *(Вдруг кокетливо.)* Вот один человек называет меня лучшей девушкой Москвы и Московской области.

Евдокимов. Он дурак. Вы лучшая девушка в СССР.

Наташа. Не надо смотреть.

Евдокимов. Буду… *(Тихо.)* Вы хотите, чтобы я вас поцеловал.

Наташа. Нет!.. То есть… А! Хочу — не хочу… Нет… это кошмар какой-то.

Затемнение.

Одинокий столбик с шашечками. Надпись: «Стоянка такси». Прямо на тротуаре, под столбиком, сидит парень. Он что-то чертит в записной книжечке. Подходят Евдокимов и Наташа.

Наташа. Пусто… А вчера было сколько угодно машин, да?

Евдокимов. Просто вчера мы вышли из «Кометы» рано, а сегодня поздно.

Наташа. Какой вы рассудительный товарищ. (*Смеется. Парню на тротуаре.)* Простите, вы на такси?

Парень *(с достоинством).* Нет, я на троллейбус.

Наташа. Разве еще ходят троллейбусы?

Парень. В час двадцать «букашка» по кольцу. Таксистов подбирает.

Евдокимов. Здорово, что ты не улетела.

Наташа. Вот интересно… Вчерашний, сегодняшний день… Это все будто один день… Какой-то долгий-долгий. Я еще с утра… *(Махнула рукой.)* А! Юморочек.

Евдокимов. Понятно. Кстати. Ты счастливая?

Наташа. Нет.

Евдокимов. Зря. У меня сейчас решается одно важное дело. Постарайся принести мне счастье.

Наташа. Постараюсь. Сколько сейчас?

Евдокимов *(глядя на часы).* Стоят.

Парень *(услужливо).* Двенадцать сорок.

Наташа. Мне осталось спать шесть часов.

Евдокимов чуть обнял ее. Она отстранилась.

Евдокимов. Ты не бойся. К часу ты будешь дома.

Наташа. Я не боюсь — ты сам не бойся.

Евдокимов. А знаешь *(показывает на виднеющийся силуэт дома),* это мой дом.

Наташа *(будто не слыша).* Ну ни одной машины. Вот всегда так, когда тебе нужно что-нибудь позарез…

Евдокимов. А вон мое окно… Шестой этаж, первое справа.

Наташа (*неловко, чтобы что-то ответить).* У вас темно.

Евдокимов. Просто нет никого в квартире. Я там один сейчас живу.

Молчание.

Парень. Прости, закурить не найдется?

Евдокимов. Найдется. (*Передавая сигарету, взглянул в записную книжку парня.)* Мыслишь? Не так уравнение написал, Топтыгин. (*Наклонился, что-то черкнул в записной книжке парню.)*

Парень. Понял. *(Доброжелательно.)* Стрельни мне еще сигарету, про запас.

Евдокимов протягивает сигарету.

(Словоохотливо.) Начал боксом заниматься, выбросил сигареты. Смех: девушку проводишь, пока сидишь здесь, ждешь «букашку», так закурить разбирает — обязательно согрешишь. Ничего, с понедельника начнем жизнь сначала. **Евдокимов.** Ага. Пятьдесят процентов людей каждый понедельник начинают жить сначала.

Появляется веселый **гражданин** с цветком георгина.

Гражданин. За Саврасушкой очередь, рыбочки мои, воробушки? Кто последний?

Евдокимов. Мы.

Гражданин. Все Саврасушки в парк едут… Храп-храп делать… Да здравствует ночь — друг молодежи. Ночью нахально блестят скамейки и по пустым улицам пощелкивают каблучки. «А я усталый старый клоун… и в испуге даже дети убегают от меня». *(Строго.)* О прекрасная наша молодежь! Вы не подумайте, что я пьян. Не подумали?

Парень. Ну что вы.

Гражданин. Просто я — балалаечник. Представляете, в двадцатом веке быть балалаечником? Ужас. Каждый вечер я порчу настроение современной публике. Трагедия. Ну можно быть после этого трезвым? Ведь правильно? Ведь точно?

Парень. Несомненно.

Гражданин. А я трезв. *(Вынимая из-под пальто четвертинку.)* Малыш еще не начат. *(Парню.)* «Бип-бип-бип… я Земля, ищу спутника».

Парень. Нет, мил человек, поздновато.

Наташа *(Евдокимову).* Всегда так, когда машина нужна позарез…

Евдокимов. Есть предложение…

Наташа. Не надо никаких предложений.

Гражданин *(Евдокимову).* Можно к вам обратиться?

Евдокимов. Нет, нельзя.

Гражданин. А я нарушу и обращусь. *(Протягивая Наташе цветок.)* Возьмите этот георгин. Как дань восхищения…

Наташа. Спасибо. *(Вынимает из чемоданчика яблоко.)* А вы возьмите яблочко. Очень хорошее, из Ташкента.

Гражданин. Прекрасно… Вся история человечества началась с яблока. Прекрасно… Вы добрая. А он злой. Вы от Чернышевского. А он от Достоевского. Я тоже добрый. А мир не приемлет доброту. Вот я говорю: «Дайте мне большое, чистое, настоящее». А мне отвечают: «Возьмите слона и вымойте его в ванне». Вот тебе большое, чистое, настоящее. Уйти из мира, рыбочки мои, воробушки?

Парень. Сделайте одолжение.

Евдокимов *(тихо).* Слушай, Наташа…

Наташа. Нет, нет!

Евдокимов. Ну перестань. Пойдем ко мне, и от меня вызовем такси по телефону.

Наташа. Я не спешу!

Евдокимов. Ну, пойдем. Ты с трудом держишь этот чемодан. Я все могу вытерпеть в жизни, только не ханжество! Ведь днем ты бы пошла?

Наташа. Но я не спешу.

Шепотом, бессвязный разговор.

Евдокимов. Ты спешишь.

Наташа. Нет.

Евдокимов. Боже мой, вызовем по телефону. Я прошу…

Наташа. Не надо!

Евдокимов. Ну, по телефону. Идем!

Наташа. Идти, да?

Евдокимов. Да, туда.

Наташа. Туда идти, да?

Евдокимов. Туда.

И они уходят.

Гражданин. Тысячелетняя поэма. И он увел ее, как Ромео увел Джульетту… как Фауст увел Маргариту… и еще кто-то увел еще кого-то… Ведь правильно я говорю, ведь точно?

Парень *(равнодушно).* Несомненно.

Гражданин. Эй, таксист! Саврасушка! Савра-сушка! *(Бросается за проезжающей машиной.)*

Затемнение.

Квартира Евдокимова. Очень пустая комната. **Наташа** и **Евдокимов** .

Евдокимов *(говорит по телефону).* … Дом семь, квартира пять.

Голос из трубки. Когда нужна машина? Евдокимов. Сейчас.

Голос. Заказ пятьдесят семь. Позвоним в течение часа.

Евдокимов вешает трубку; глядит на Наташу. Она сидит не раздеваясь, в плаще, на краешке кресла.

Евдокимов. Конфеты на столе. **Наташа.** Спасибо.

Молчание.

Евдокимов. Вы меня сейчас очень боитесь? Наташа. Почему? Вы ведь не волк. Евдокимов. Да, я тоже так думаю… Вы можете снять плащ… А то в этом есть нечто вокзальное. Наташа. Да нет, я так посижу. **Евдокимов.** Смешно. Мы опять перешли на «вы».

Молчание.

Наташа *(стараясь весело).* Почему смешно? Я до сих пор не знаю вашего имени.

Евдокимов. Это не бог весть какая потеря. Меня зовут довольно нелепо… Видите ли, я появился на свет, когда моя мать защищала кандидатскую… У нее было плохо с юмором… Короче, меня назвали Электроном. Электрон Евдокимов.

Наташа *(смеется).* Смеюсь глуповатым смехом.

Евдокимов *(без юмора).* Зря смеетесь. Может быть,

человечество выучит наизусть это странное имя.

Наташа. А вы все-таки страшно смешной товарищ, когда говорите самоуверенным тоном. Просто не тон — аюморочек.

Евдокимов. Вы лучше ешьте конфеты.

Молчание.

Мне подарили эту коробку на день рождения. Я всех угощаю, а она никак не кончается.

Наташа *(усмехнулась).* Ну если… всех угощаете, — я возьму.

Евдокимов. Да вы снимите, наконец, плащ.

Наташа. Ничего, ничего.

Евдокимов. Вы хотите спросить, где мои родители?

Наташа. Вообще, да.

Евдокимов. Они на юге. Отчим скоро должен вернуться.

Наташа. Вы тоже без отца?

Евдокимов. Тоже. *(Хочет пододвинуть стул к ней.)*

Наташа. Вы сидите там, ладно? (*Чтобы что-то сказать.*) А я хочу купить себе мотороллер и черные перчатки. Вот буду носиться по городу… Глупость, конечно, но все-таки мечта.

Евдокимов. Да… Поэтому давайте договоримся. Это будет ваша зона. (*Жест на ее стул.)* А вот здесь — моя… А здесь будет проходить условная граница, и я не буду переходить эту границу. Так будет безопаснее. Идет?

Сразу наступило какое-то облегчение. Будто это заявление решало все вопросы.

Наташа *(очень радостно).* Идет.

Евдокимов. Скоро позвонят.

Наташа. Спать хочется ужасно. Мне осталось до самолета…

Евдокимов *(перебивая).* Давайте поставим кофе.

Наташа. Давайте!

Евдокимов. У меня есть потрясающая кофеварка. Я ее сам сконструировал. Это лучшая кофеварка в СССР. *(Идет в угол комнаты.)*

Жужжание кофемолки.

Вы не сидите как именинница, вы ставьте чашки.

Наташа. Где чашки?

Евдокимов. На потолке, наверное.

Наташа *(снимает плащ, хозяйственно вынимает из буфета чашки, расставляет на столе).* Мы сейчас похожи на столетних супругов. Вам снятся сны?

Евдокимов. Нет.

Кофемолка затихла, потом опять пошла.

Наташа *(доставая ложки).* А мне снятся каждую ночь. Вы не улыбайтесь. Очень пророческие сны. Однажды я с Котиком… это так моего старшего брата зовут… купила облигацию. Больше для юморочка… И вот мне приснилось: плывет корабль, а на мачте у него наша облигация. Представьте, мы выиграли.

Он подходит к ней сзади.

А еще… Что вы там стоите?.. Мне часто снится такой сон: ночь. Поле. Какой-то кол. Почему-то каска. Она звонит на колу от ветра. Как колокол.

Он вдруг резко обнял ее.

(Вырвалась.) Ну не надо… Ну оставьте… Ну! Не надо же!

Он попытался ее поцеловать, но она вырвалась, оцарапав ему щеку. Он отступил.

Успокоились?

Евдокимов. Да.

Наташа *(почти грубо).* Все?

Евдокимов. Да.

Пауза.

Вы поймите…

Наташа. Не надо!

Евдокимов. Я хотел…

Наташа *(грубо).* Да не надо! Все ясно! «Потянуло на любовь», как говорят в Аэрофлоте.

Молчание.

Евдокимов. В каком-то Аэрофлоте…

Наташа. Смешно. С той минуты как вы появились, я подумала: какой одухотворенный товарищ. Вообще, вы мне здорово прожгли обшивочку. Я думала, вы… А вы… А!

Евдокимов. Ерунда. Ведь ты хотела, чтобы я тебя поцеловал! Хотела?

Наташа. Не так! Понимаешь?!

Он сидит какой-то растерянный. Почти жалкий.

(Искоса взглянула на него, и в ней проснулась жалость, которой так боятся женщины; примирительно.) Какой вы… взъерошенный сейчас.

Евдокимов. «Одухотворенный»… «взъерошенный»… У тебя жуткий лексикон.

Наташа. Ну вот. И смех глуповатый, и лексикон… Все плохо. А вообще, я люблю, когда меня ругают… Я вас здорово оцарапала?

Евдокимов. Прилично.

Наташа. У меня есть духи. Вы продезинфицируйте.

Евдокимов. Это только когда кошки царапают, нужно дезинфицировать.

Наташа. Ну вот, я уже кошка. При чем тут кошка?

Евдокимов. Ладно, успокоились. (*Презрительно.)* Хватит об этом. Я вас больше никогда в жизни не буду целовать.

Наташа. Ну и хорошо.

Молчание.

Не будете?

Молчание.

Вообще не будете?

Молчание.

Телефон что-то не звонит… Вы сейчас совсем как обиженный мальчик. Вот таким вы мне нравитесь… Вы обиделись?

Молчание.

(Милостиво.) Ну, хорошо… Ну поцелуйте меня, если вам это так нужно…

Евдокимов. Ханжа и трусиха.

Наташа. Ну, ладно уж, поцелуйте.

Евдокимов. Я сказал!

Пауза.

Наташа. Тогда я сама вас поцелую. Евдокимов. Я не хочу. **Наташа.** А когда я не хотела…

Она не доканчивает фразы, потому что он поцеловал ее. Это очень долгий поцелуй, оттого что оба они боятся тех слов, которые нужно говорить после этого поцелуя. Потом она только махнула рукой и сказала свое «А!».

Затемнение.

В затемнении звонок телефона. Телефон звонит безостановочно. И затихает. Шестой этаж большого дома. Раскрытое окно квартиры Евдокимова. За окном слышны голоса — его и ее.

Она. Качается фонарь.

Он. Ветер.

Она. Я не могу объяснить. Я все понимаю и ничего не могу объяснить. Как собака. *(Смех.)* Кошка, собака… *(Смех, и вдруг скороговоркой, как заклинание.*) Я люблю тебя… люблю, люблю… *(Тревожно.)* Ты меня любишь?

Он. Да.

Она. Молчи! *(Мстительно.)* А ты всем предлагал конфеты и чертил границу?

Он. Не говори пошлостей.

Она. Я, конечно, понимаю… Но все это гадко! Гадко!

Молчание. Слышны шаги на улице…

Он. Да.

Она. А знаешь, жалко, что кончилось детство. Это все-таки самое лучшее. *(Смеется.)* Странно. Я вот откалываю какие-то дикие номера. Но это самый дикий. Моя мама мне всегда говорит: «Худая, худой и останешься. Потому что злая и сумасшедшая».

Он. Тебе попадет, что ты не вернулась?

Она. О какой чепухе мы говорим. Разве об этом надо сейчас говорить!

Молчание. Опять кто-то прошел… Слышны шаги на улице.

Он. Кому ты несла вчера букет?

Она. Цветочки, да? *(Засмеялась.)* Одной личности. Мы с ним живем в одном доме. Он был «моя первая любовь». Все уже давно кончилось, а я всегда посылаю ему цветы в день рождения. И он не знает, от кого. *(Засмеялась.)* Ловко? *(Вдруг встревоженно, как заклинание.)* Я люблю тебя, люблю, люблю. А ты меня любишь?

Он. Знаешь, не надо все время говорить это слово. Надо быть сдержанной.

Молчание.

Наташка?.. Ты что?.. Ты плачешь? **Она** *(спокойно)*. Что ты. Я редко плачу. Я обычно сдержанная.

Затемнение.

Комната Евдокимова. Утро. **Евдокимов** спит на кровати. **Наташа** стоит, одетая, рядом. Смотрит на него. Задумалась. Вдруг подошла к столу. Взяла коробку конфет, вышвырнула ее за окно. Опустила голову, еще постояла. Ее обычный жест: «А!» Она включает на полную мощь радиоприемник. Раздается веселая песенка «Угадайки». Голоса дикторов.

Голос *(изображающий мальчика Борю; с большим энтузиазмом)*. Ой, сколько мы писем получили сегодня, дедушка! В каждом из них ребята отвечают на наши вопросы.

Благородный мужской голос *(игриво)*. В прошлой «Угадайке» мы, кажется, передавали голоса птиц и зверей. Кто правильно ответил на наши вопросы? Ну-ка, Боренька?

Голос Бореньки. «Первым вы передавали стрекотание кузнечика, — пишет нам Лева Пысин из города Брянска. — Я часто слышу пение кузнечика на лугах». Леве шесть лет… Он всегда помогает своей маме.

Благородный мужской голос. Смотри, какого кузнечика нарисовал Лева Пысин из города Брянска.

Голос Бореньки. Ой, какой хороший кузнечик! Маленький, настоящий!

Благородный мужской голос. А вот Володя Спицын из города Гомеля Белорусской ССР не узнал стрекотание кузнечика и решил, что это кричит крокодил.

Смех в репродукторе.

Евдокимов (*просыпается, благодушно*). Вы не сон… к счастью? **Наташа.** Я быль, к счастью.

Евдокимов садится на кровати.

Голос из репродуктора. «Вторым вы передавали по радио крик слона», — пишет Володя Воробьев, пяти лет, из города Сольвычегодска. Володя не умеет писать, и письмо за него написала мама. А слона Володя видел в зоопарке.

Евдокимов. Брось мне конфеты.

Наташа. Конфет нету.

Евдокимов. Где они?

Наташа. Я их в окно выбросила, чтобы они наконец у тебя кончились.

Евдокимов. Ясно.

Голос по радио. А вот Коля Бурмистров из города Выборга не узнал слона. И решил, что это кричит жаба.

Евдокимов. Быстро ты оделась.

Наташа. Я немного проспала.

Евдокимов. Тебе попадет?

Наташа. Попадет — не попадет, не важно.

Евдокимов. Мне снился сегодня в первый раз сон. Странно. Тебе снились сегодня сны?

Наташа. Снились.

Евдокимов. Ну и что же тебе снилось?

Наташа. Что-то большое… чистое… настоящее… Потом пришел вчерашний гражданин и объяснил мне, что это был просто слон, которого вымыли в ванне. А я его и не узнала. Совсем как Коля Бурмистров из города Выборга.

Евдокимов. Перестань, ладно?

Наташа *(стоя у окна).* Какое чистое небо! Чистое-чистое… Ну я пошла.

Евдокимов. Не поворачивайся. Я оденусь, провожу.

Наташа. Не хочу, чтобы ты провожал… Да и ты не очень хочешь.

Евдокимов. Как знаешь… Когда ты вернешься?

Наташа. Денька через три.

Евдокимов. Быстрые у тебя полеты. Значит, встретимся в понедельник в восемь вечера. У метро «Динамо». Идет?

Наташа. В восемь вечера у метро «Динамо».

Евдокимов. Если что изменится, позвони 295-5000, добавочный 365. Легко запомнить. В номере есть какой-то ритм.

Наташа *(резко повернулась, подошла к нему вплотную).* Поцелуй меня, ну, быстро! *(Засмеялась.)*

Евдокимов (*поцеловал ее).* Я был неправ — у тебя дивный смех.

Наташа. Просто — утро. Прощай, Электрон Евдокимов. Вы очень милый товарищ.

Евдокимов. Салют, Наташка, до понедельника.

Она уходит. Стук захлопнувшейся двери. (Вскакивает с кровати, напевая, подходит к столу. Ищет сигареты и вдруг натыкается на записку, читает.) «Ты ничего не понял. Я думала, ты поймешь… И получился — юморочек. Встречаться не надо. Наташка».

Затемнение

Большая комната в НИИ. Четыре стола — в ряд, как парты. В углу комнаты стоит доска. У доски — Владик (очкастый парень, которого мы уже видели в кафе «Комета») и Евдокимов. Оба одновременно пишут на доске. Что они пишут, мы не видим, а видим только оборотную сторону доски, на которой мелом торжественно начертано разными почерками:

Евдокимов — лапочка.

Евдокимов — дуб.

Евдокимов — душечка.

Евдокимов — кретин.

В противоположном углу комнаты сидит третий научный сотрудник — Галя Острецов а. Она тоже что-то пишет. В комнате два телефона. Один — на столе у Гали, другой в противоположном углу, за доской, — на столе у руководителя группы Семенова. Звонок телефона на столе у Гали.

Галя *(сняв трубку).* Семенова нет. Он на установке «Альфа».

В продолжение картины все заняты делом. Весь разговор идет «между делом». Это привычная, никого не отвлекающая болтовня. Далекие удары, похожие на разряды.

Опять Гальперин начал рвать свои проволоки… Кстати, мальчики, с этими проволочками получается труднообъяснимый

эффект.

Звонок телефона на столе Гали.

(Подняв трубку). Семенова нет. Семенов на «Альфе»… *(Продолжая работать.)* Кстати, в девяносто третьем ящике все установки называют именами цветов. Установка «Флокс». Звучит?

Евдокимов *(у доски, мрачно).* Целый день хочется жрать. К чему бы это?

Галя. Я думаю, к дождю.

Молчание.

Евдокимыч, сыграем после работы в шахматы? Мне надо сыграть с заведомо слабым противником.

Владик *(у доски).* Одни люди живут, чтобы есть. Другие едят, чтобы жить. Острецова ест и пьет, чтобы играть в шахматы.

Галя. Владюша, ты вдумчивый мальчик. Но ты ошибся. Шахматы для меня не страсть, а цель. Человек должен все время ставить новые цели и добиваться. Я добилась первого разряда по лыжам. Потом стала мастером по пинг-понгу. Теперь я буду мастером по шахматам… Потом добьюсь еще одной вещи… Хочешь, скажу какой, Евдокимыч?

Евдокимов. Ну?

Галя. Фигушки. Ничего я тебе не скажу. *(Собирая бумаги.)* Я ушла на модель. *(Выходит из комнаты).*

Владик. Эта твоя… в кафе… ничего была.

Евдокимов. Да, неплохая…

Владик. Я вас вчера искал перед закрытием. Но вы куда-то исчезли.

Евдокимов. Мы исчезли.

Владик. Не понял. Поподробнее.

Евдокимов. Я не люблю поподробнее…

Молчание. Возвращается Галя.

Галя. Мы пробирки заказывали?

Евдокимов. Нет, это Владик-маленький заказывал. Из тридцать девятой лаборатории.

Галя *(садится за свой стол).* Драма, мальчики. Мы работаем вместе целый год и до сих пор не придумали друг другу прозвища. Есть предложение называть Евдокимова «многообещающим». Я буду — «элегантная». «Элегантная Острецова из почтового ящика». А вот Владюша…

Входит Феликс, высокий красивый парень. Он медлителен, даже величав. Он разговаривает выспренно, патетически и в то же время очень серьезно. Так что нельзя понять, шутит он или

говорит всерьез.

Феликс. Здорово, отцы. Принес переводы.

Галя *(не отрываясь).* Как живешь, Феликсончик?

Феликс. Мог бы лучше, мать. Плохо живу. Очень я огорчен. *(Трагически.)* Понимаете, много платят, а вот я считаю, что истинный человек должен получать мало. Он должен работать ради энтузиазма! Ради дела! Может, я неправильно считаю, пусть старшие товарищи меня поправят. *(Евдокимову.)* А ты все тоскуешь по мне, отец?

Евдокимов. Не говори.

Феликс. Я вот тоже. Я всегда тянусь к тебе, Евдокимов, как тянется цветок навстречу утреннему солнцу.

Евдокимов. Отчего-то мне всегда хочется говорить тебе гадость, Топтыгин. К чему бы это?

Галя. Я думаю, к дождю.

Феликс. По-моему, все проще. Ты очень много кушаешь, Евдокимов. А диалектика жизни такова: когда кони сытые — они бьют копытами. *(Уходит.)*

Звонок телефона.

Галя (*подняв трубку).* Семенова нет, Семенов на «Альфе».

Евдокимов. Ученый, который взялся заведовать отделом информации. Переводики составляет, кретин.

Галя. Ты очень впечатлительный, Евдокимыч. Ученого из него все равно бы не получилось. А там и оклад у него большой, и сидит на своем месте.

Евдокимов *(встал).* Не могу!.. Если придет Семенов, я в буфете. *(Уходит.)*

В комнате остаются Галя и Владик. Владик по-прежнему стоит у доски, что-то пишет. Галя усмехается, снимает трубку своего телефона, набирает номер. Звонок телефона на столе у Семенова, за доской.

Владик *(бросаясь к телефону).* Алло!

Галя *(тихо, в своем углу).* Здравствуйте, Владик, это опять я.

Владик *(не без кокетства).* Кто же мне все-таки звонит?!

Галя. Красивые девушки, Владик, не прощают, когда их не узнают по телефону.

Владик. Ну, совершенно не могу вас вспомнить. У вас весьма знакомый голос. Но вспомнить не могу. Ну, скажите… ну примерно, откуда вы меня знаете?

Галя *(роковым голосом).* В жизни, Владик, так много ясного. Пусть у вас будет хотя бы одна загадка… Нет, пока вы меня сами не узнаете, я вам ничего не скажу.

Владик. Вы меня не разыгрываете?

Галя. Что вы, Владик! Мы взрослые люди. Вы просто мне нравитесь. Поэтому я вам звоню.

Входит Семенов, за ним Евдокимов с бутербродами.

Семенов *(глядя на разговаривающих).* Любопытно! *(Саркастически.)* Был один телефон — занимали. Добился — поставили два телефона. Два занимают! Поставим десять телефонов!.. *(Махнул рукой, начинает быстро расхаживать по комнате.)*

Владик *(шепотом в трубку).* Здесь пришли. Позвоните завтра, хорошо?

Галя *(так же).* Хорошо.

Вешают трубки. Семенов молча продолжает расхаживать.

Бегуны прошли половину дистанции.

Семенов. Каждый раз… я мысленно расстреливаю себя за то, что взял в лабораторию Острецову.

Галя. Вы очень впечатлительный, Петр Сергеевич.

Семенов (*походил, вдруг остановился, неожиданно заулыбался).* Так вот. Трубы на «Альфе» в норме, герметичность — экстра. Короче, разрешение на опыт Евдокимова даю. И Гальперин тоже дает.

Евдокимов *(стараясь небрежно).* Ясно.

Семенов. Ты не стесняйся, ты улыбайся, Электрон. *(Расхаживая.)* Только нужна будет осторожность, ребятки. И главное — меньше темперамента. А то Евдокимов Электрон со своим темпераментом…

Евдокимов. Все ясно, Петр Сергеевич.

Семенов *(поднимая трубку телефона, заученно).* Третий? Алло! Милая, красивая, хорошая, Семенов Петр Сергеевич тебя беспокоит. Оформи мне заявочку… Значит, машина на установку «Альфа». Часикам к трем… Молодежь свою на экскурсию повезу. *(Вешает трубку.)* Ну, по домам! *(Надев какую-то разбойную, помятую кепку и допотопное пальто, начинает на ходу делать записи в журнале.)*

Галя *(одеваясь).* Вы бы хоть кепку приобрели новую, Петр Сергеевич. Все-таки руководитель группы.

Семенов *(не отрываясь).* Зачем? Симпатичная кепка с остатками былой красоты.

Галя. Знаете, Петр Сергеевич, современный человек может ходить в чем угодно. Только у него должны быть в порядке обувь и головной убор.

Уходит, за ней **Владик** .

Семенов *(по-прежнему не отрываясь от журнала, добродушно).* Все вы тряпичники, забодай вас комар. Я в вашем возрасте водку пил, а вы тряпьем занимаетесь. *(Засмеялся.)* Хорошая девушка эта Острецова. Только язык — лезвие.

Евдокимов. До свидания, Петр Сергеевич.

Семенов. Подожди, вместе пойдем… Да, был у меня друг, понимаешь, на фронте. Было ему тогда столько, сколько мне сейчас. Один раз приходит и говорит: «Полюбил». Я ему вопрос: «Красивая?» — «Да нет, не особенно…» — «Характер, спрашиваю, у нее, что ли, экстра или душа?» — «Да нет, отвечает, ничего особенного, просто молодая». Я тогда удивился, не понял… *(Грустно.)* А вот сейчас иной раз встретишь девушку и засмотришься. Потом думаешь: да что в ней особенного?.. Ничего. Просто молодая. Значит, стареть стал?

Евдокимов. Не знаю.

Семенов. Когда-нибудь узнаешь. *(Усмехнулся.)* Тяжелая будет неделя… Только ты… смотри… постарайся обойтись эту неделю без своих «ля-ля».

Они выходят. Кабинет пустеет. Бьют часы. Бьют шесть.

Затемнение.

В затемнении — голос Наташи: «Товарищи пассажиры, в восемнадцать ноль-ноль мы будем пролетать над городом Ждановом». Самолет. Кухня в самолете. **Наташа,** в синей форме стюардессы, раскладывает обед на подносы. Входит вторая стюардесса — **Ира,** очень маленькая, очень молчаливая девушка по прозвищу «Мышка». Потом появляется штурман **Лева Карцев** .

Карцев. Что у вас хорошего, девочки?

Наташа. Как всегда — характер.

Карцев. В Адлере — тридцать восемь градусов.

Наташа. Очень интересная публика. У меня сидит такой пожилой товарищ, похож на Жана Габена. Он чтец и все время говорит: «В данном театральном сезоне». Хочешь яблочка?

Карцев *(взял).* Наташка, ты лучшая девушка Москвы и Московской области.

Наташа. Ты ошибся. Я лучшая девушка в СССР.

Карцев. Почему ты не носишь серую форму? Она тебе очень идет.

Наташа. Пошел говорить глупости.

Ира. Серая у нее в чистке.

Наташа. А ну, Мышка, шустри в салон!

Ира выходит с подносом.

Карцев. Почему ты опоздала на рейс?

Наташа *(вдруг сделав па).* Левка, мне предлагают стать манекенщицей. Согласиться? «Для полных женщин мы по-прежнему рекомендуем строгие формы… В этом году войдет в моду застроченная встречная складка…» Сойдет?

Карцев. Так я не понял, почему ты опоздала?

Наташа. Это и понимать не надо. Проспала — и все. Ти-ра-ри-ра. (*Повернулась, взглянула на себя в зеркало.)* Ах! Ну до чего же прелестна эта женщина!

Карцев. Что с тобой сегодня происходит?

Наташа. Не знаю. Я несчастная сегодня, Лева… и почему-то счастливая. И где счастье, где несчастье — никто ничего не знает. (*Засмеялась* .)

Карцев. У тебя отличный смех, Наташка!

Наташа. Ты ошибся, Левушка. У меня глуповатый смех.

Возвращается Ира.

Карцев *(сразу официально*). Слушай, лучшая девушка Москвы и Московской области. Ты что, серьезно переходишь на спецрейсы? **Наташа.** Ага. С конца месяца буду летать в Европу. Хорошо! Только вот по Мышке буду тосковать.

Ира вновь уходит с подносом.

Карцев. Слушай, Наташка!

Наташа. Опять, да?

Карцев. Не надо со мной шутить. Ты меня знаешь.

Наташа. Еще что?

Карцев. Я люблю тебя. Люблю!

Наташа. Не надо повторять это слово. Нужно быть сдержанным… Ты чудный парень, Левка… Когда ты водишь самолет и свою машину… ты ужасно значителен. Мужчинам идет заниматься делом… Но когда ты начинаешь объясняться…

Карцев. Это все из-за Мыши?

Наташа. Что ты! Если бы я любила, ни на Мышь… ни на что…

Карцев. Понятно. Ты просто восторженная дура!.. И пропадешь ты с этим ожиданием любви абсолютно ни за что!

Наташа. Может, я уже пропала… Ну смеюсь, смеюсь. Я когда пропаду — сразу тебе дам знать.

Возвращается Ира.

Ну, до свидания, до свидания, Левушка. Не мешай нам работать.

Карцев уходит.

Ира. Зачем он приходил? **Наташа.** А! Спрашивал, почему я

опоздала на рейс. *(Взглянув на Иру.)* Глупая ты моя Мышь… Ты очень его любишь?

Пауза.

Ира. Очень… Иногда мне кажется, что он меня позовет, и я за ним — вот куда угодно!

Молчание.

Наташик, интересно, ты бы могла… куда угодно… только вот сразу?

Пауза.

Наташа. Нет… Не могла.

Молчание.

Вообще, Мышь, все эти разговоры тебе ни к чему. Выкинь из головы все эти глупости. Тебе только семнадцать, ты еще зеленая!

Ира. Да…

Молчание.

Счастливая ты, Наташка. Все за тобой ухаживают. Счастливая ты!

Наташа (*вдруг села, сжала виски, глухо*). Иди в салон, Мышь.

Ира. Что ты, Наташка?!

Наташа *(сразу спокойно).* Ерунда… немного прожгло обшивочку. Эх ты, Мы-ышь! (*Встала, привычным жестом одернула юбку. Взглянула в зеркало.)* Ах! Ну до чего же прелестна эта женщина! *(И ритмичной походкой стюардессы она направилась в салон* .)

Ее веселый голос: «Товарищи пассажиры! Полет проходит на высоте восемь километров. Скорость полета шестьсот пятьдесят километров в час. В девятнадцать часов две минуты мы будем пролетать над городом Харьковом».

Затемнение.

Улица. Справа — огромное окно парикмахерской. Окно раскрыто. В глубине, за окном, видна голова женщины. Линии проводов вокруг головы придают ей нечто марсианское. У окна, рядом с креслом, парикмахерша **Лилька.** Она переговаривается со стоящей на улице **Наташей.** Наташа, как всегда, с чемоданчиком и букетиком цветов. Слева на улице, на скамейке, — очередь: интеллигентный мужчина, **всхлипывающая девушка,** ее подруга, **толстая женщина** .

Наташа *(Лильке).* Только ты мне как следует уложи. Мне сегодня очень нужно выглядеть.

Лилька (*она в очень свободном халате).* Милая ты моя, да я тебе такую прическу отгрохаю! Осень ты моя золотая, румяные щечки…

Интеллигентный мужчина (*безнадежно*). Вика! Ну скоро,

наконец, там?!

Лилька. Не волнуйтесь, гражданин! Ваша дама на сушке. *(Опять затараторила, Наташе.)* Я к тебе вчера забегала с Нелькой Комаровой. Ты была в полете. Да, совсем забыла спросить, как я в рыжем цвете?

Наташа. Ничего.

Лилька. Значит, мы с Нелькой к тебе заходим — и твоя благоверная так на тебя разорялась!

Наташа. Да?

Лилька. Что ты дома последнюю ночь не ночевала… И если это повторится — она тебя вообще выгонит из дому… Такое наговорила!

Наташа. Нервы.

Лилька. Ты не расстраивайся! Я когда с моим Ленькой гуляла, моя благоверная…

Наташа. Ну, ладно! Благоверные какие-то пошли… Хватит!

Девушка в очереди *(подруге).* Соня, ты не плачь! У тебя все права есть!.. Товарищи, так же нельзя — она невеста.

Толстая. Все мы невесты.

Интеллигентный мужчина. Все-таки вы, я полагаю, не невеста.

Толстая. Ты про меня не полагай — ты про жену свою полагай.

Девушка. Нет, так же нельзя, товарищи! У нее номерок на девятнадцать часов во Дворец бракосочетаний! Она на свадьбу опаздывает. Товарищ парикмахер!

Лилька *(сразу сварливо).* Невест, девушка, у нас отдельный парикмахер обслуживает. Он на бюллетене. А у меня не тысяча рук — я разорваться на клиентов не могу! Невесты в порядке общей очереди.

Невеста безнадежно всхлипывает, глядя на часы.

(Снова шепотом, Наташе.) Эх и дуры мы… какие мы все дуры. Я иногда на своего Леньку смотрю — и чего я в нем нашла? За мной дипломаты ухаживали. Но вот появился этот бес Ленька…

Наташа. Когда… у тебя?

Лилька. Через пять месяцев.

Наташа. Боишься?

Лилька. Да… Он у меня уже там ручками-ножками шевелит… Так хорошо бывает! Мы с Ленькой теперь как заведенные ходим — имя ему придумываем… Ух! Я тебе сейчас такую голову отгрохаю. *(«Марсианке».)* Гражданочка, у вас в норме. *(Освобождает ее от проводов. Наташе.)* Садись.

Наташа. Я, пожалуй, невесту пропущу.

Лилька. Да ты что?

Молчание.

Ты ведь спешишь? **Наташа.** Ага, спешу… Я пойду, а то опоздать могу. Не люблю опаздывать.

Пауза.

Лилька. Я думала, тебе действительно нужно сегодня… выглядеть.

Наташа. До свидания, Лилька.

Лилька. Сумасшедшая ты.

Наташа. Ну хватит, хватит!.. Яблочко возьми. Из Адлера.

Лилька. Эх, Наташка, и всегда ты кушаешь на ходу. *(Раздельно.)* Слушай… Если тебе… жить все-таки станет негде… ты к нам переезжай.

Наташа. Опять пошли какие-то глупости… Я побежала.

Лилька. Да, а как звать твоего?

Наташа. Какого моего?

Лилька. Ну ладно, ладно!..

Наташа. Ясненько. Моего любимого мужчину зовут Электрон. *(Уходит.)*

Лилька. А чего — Электрон? *(Заулыбалась.)* И необычно… и современно… *(Кричит.)* Ну кто там невеста? Эй, невеста!

Затемнение.

Площадка перед метро «Динамо». На площадке сейчас пустынно. Идет матч. Доносится рев и свист стадиона.

Голос радиодиктора. Одиниадцатиметровый удар назначен судьей Клавсом за игру Иванова, номер четыре.

На площадке разгуливает **Евдокимов.** Глядит на часы. Появляется **Наташа** с тем же чемоданчиком и цветами. Они стоят и молчат.

Наташа. Чего же ты пришел, Эла… Я ведь написала, чтобы ты не приходил.

Рев стадиона.

Голос радиодиктора. Мяч в ворота «Кайрата» забил Кожемякин, номер девять.

Евдокимов. Я на всякий случай… Кстати, тебе очень идет косынка, Наташа.

Наташа. Ничего мне не идет. Просто в парикмахерскую никак не выберусь. Ненавижу ходить по парикмахерским, Эла.

Евдокимов. Как ты здорово меня называешь — «Эла». Знаешь, «Эла» — это мысль! Просто выход из моего положения. *(Смеется.)* Ну давай твой чемоданчик.

Она отрицательно качает головой.

Самостоятельная?

Наташа *(кивает).* Я пришла… просто… узнать, как у тебя твои важные дела?.. Я принесла тебе счастье?

Евдокимов. Ясно. Принесла.

Наташа. Честно?

Евдокимов. Честно… Слушай. Ты сегодня что-то ужасно красивая.

Наташа *(засмеялась).* Ты в хорошем настроении, да?

Евдокимов. Я в потрясающем настроении. Я тебя сейчас, наверное, поцелую.

Наташа. Не надо! Не люблю, когда целуются на улицах. Вообще не люблю, когда что-то афишируют.

Евдокимов. Ты мне просто невозможно нравишься… К чему бы это? Я думаю — к дождю.

Наташа. К какому-то дождю… Ты просто поглупел сегодня. Стоишь очень глупый и не такой самоуверенный. Это тебе идет.

Евдокимов *(заметил ее букет).* Ой, Наташка, простите, я не купил вам цветы.

Наташа. Какая чепуха. Ненавижу, когда мне дарят цветы. Я сама себе все дарю.

Евдокимов. Опять забыл, ты ведь самостоятельная… И куда же мы двинемся?

Наташа *(торопливо).* Мы просто погуляем сегодня, хорошо?

Пауза.

Евдокимов. Да. **Наташа.** Всю жизнь хочу выбраться в зоопарк. Там что-то родилось у бегемота…

Затемнение.

Голос по радио. Сегодня в зоопарке демонстрируются вновь поступившие животные: пантера Роза с потомством, вьетнамская свинья и камерунские козы… Пионеры, школьники и другие посетители! Клуб любознательных при зоопарке объявляет конкурс на лучшую фотографию отечественных животных зоопарка. Принимаются черно-белые и цветные фотографии размером восемнадцать на двенадцать, в двух экземплярах. Лучшие фотографии будут премированы свинками, белыми мышами и книгами.

Зоопарк. Вольер с надписью «Вилорог». Указатель со стрелками: «К носорогу», «К бегемоту», «К тиграм и львам». Скамейка у вольера. На скамейке сидит Евдокимов, рядом стоит Наташа. Вдоль вольера прогуливается сторож.

Наташа. Что ты сел? Мы ведь не посмотрели камерунскую

козу.

Евдокимов. Может, лучше навестить носорога? Все-таки у него рог есть. Хоть какое-то развлечение. Интересно, отчего меня всегда мутит в зоопарке?

Наташа. Наверное, ты не любознательный, Эла. Евдокимов. Нет. Скорее всего это от клеток. Слишком много клеток… Слушай, может, нам сфотографироваться на фоне жирафа, на память?

Наташа. Опять ты смеешься. Ну пойдем к козе.

Евдокимов. Я не могу идти к козе. Я лучше задам тебе один вопрос. Из чисто познавательных соображений.

Наташа. Да? Какой вопрос?

Евдокимов. Отчего мне все время хочется сегодня тебя поцеловать? К чему бы это?

Наташа. Я думаю — к дождю, как ты говоришь всегда… Ну вставай, ну пойдем. Вьетнамскую свинью посмотрим, а то ее на обед скоро закроют.

Евдокимов. Ну и пусть. Пусть свинья спокойно пообедает… Наташка, мне осточертели лисицы, свиньи, козы и жирафы… Слушай, с тобой очень трудно ходить рядом. На тебя все смотрят, как ненормальные. *(Смеется.)* Нет, я определенно хочу тебя поцеловать.

Наташа. Ты просто ужасный «чмокальщик». Что с тобой сегодня?

Евдокимов. В каком смысле?

Наташа. Ты совсем другой товарищ.

Евдокимов. Просто раньше я был сосредоточенный. А сегодня я счастливый. Я по натуре величайший оптимист СССР… Ну сядь!

Наташа. Нет.

Евдокимов. Ну не бойся.

Наташа. Я не боюсь. Я уже сказала: не люблю, когда целуются при всех.

Евдокимов. Что ж, резонно. Слушай, Наташка, вот ты меня не хочешь поцеловать, да? А может, я великий ученый… Смейся, смейся. Вот я сижу здесь среди орлов с обрезанными крыльями. А может быть, я разработал такой опыт…

Наташа. Ты, да? *(Смеется.)*

Евдокимов. Ну вот, не веришь? Ну удавиться — разработал! Ты знаешь вообще, кто я по профессии?

Наташа. Ты хвастун.

Евдокимов. А ты не хочешь меня поцеловать!.. Может быть, я «кувырнусь» во время опыта…

Наташа. Как «кувырнешься»?

Евдокимов. Ну как, как… Погибну. Знаешь, как в этом фильме…

Наташа *(кричит)*. Перестань! И никогда не смей так шутить!

Евдокимов *(засмеялся)*. Сядь, а?

Наташа. Не сходи с ума.

Евдокимов. Ты боишься сторожа? Давай на компромисс: я тебя буду целовать, пока этот Топтыгин пойдет в ту сторону… Знаешь, я еще никогда не целовался среди тигров и бегемотов. *(Целует ее.)*

Сторож тотчас же оборачивается.

Евдокимов *(сторожу)*. Привет.

Сторож. Здравствуйте. *(Проходит.)*

Евдокимов. Зверей охраняете, шеф?

Сторож. Зверей.

Евдокимов. От кого же вы их охраняете?

Сторож. От людей.

Евдокимов. Правильно. Человеку дай волю — он сразу тигра загрызет. Давно вы здесь работаете?

Сторож. Четвертый год.

Евдокимов. Все вилорога охраняете?

Сторож. Зачем? Я и моржа охранял, и львов. Я подсменный сторож.

Евдокимов. Здорово. А лев моржа съест?

Сторож. Съест. Лев всех съест. Он царь зверей.

Евдокимов. Вот зверюга. А морж много рыбы у государства жрет?

Сторож. Много.

Евдокимов. Безобразие. А тысячу рыб морж сожрет?

Сторож. Морж и две, и три сожрет. Сколько дашь — столько и сожрет.

Евдокимов. Почему у вас звери такие молчаливые? Не кричат, не орут.

Сторож. Чего им орать?! Сыты, никто не обижает. Зверь — он кричит, когда тоска на него находит… Или в постный день. Вот тут он легкие развивает. Зверь — искренний. *(Проходит.)*

Наташа. Вот интересно. *(Замолчала.)*

Евдокимов. Что?

Наташа. Что ты подумал, когда я ушла?

Евдокимов. Эх, ты! *(Целует ее.)*

Сторож тотчас же оборачивается.

А гиппопотама лев съест?

Сторож. Лев и гиппопотама съест. Всех съест.

Наташа. Возьмите яблочко. Очень хорошее. Из Адлера.

Сторож. Спасибочки. *(Проходит.)*

Евдокимов *(Наташе)*. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь.

Наташа. А! Ни о чем я не думаю. Глупость все это.

Евдокимов. И почему ты написала то письмо… тоже знаю.

Наташа. Ну ладно, ладно!

Евдокимов целует ее, сторож тотчас же оборачивается.

Евдокимов. Так как же насчет тигра, шеф?

Сторож *(радостно)*. И тигра лев съест. Лев всех съест. Он царь зверей. *(Проходит.)*

Евдокимов. Легче нужно относиться ко всему, Наташка!

Наташа *(тихо)*. Я и так, Эланька, очень легко отношусь.

Евдокимов. Ты относишься, а потом себя грызешь. Понимаешь…

Наташа. Ну молчи, молчи.

Евдокимов. Ведь я знаю, как тебе было трудно… потом…

Наташа. Не надо.

Евдокимов. Улыбнись. Все хорошо, да?

Наташа. Да, все хорошо, Эла.

Евдокимов. Давай простимся с этими бегемотами и пойдем в нашу «Комету».

Наташа. У нас уже есть что-то «наше»… Только, Эла… Я сегодня… к ночи должна быть обязательно дома.

Евдокимов. Нереально.

Наташа. Нет, это нужно. Обязательно.

Евдокимов ее целует, сторож тотчас же оборачивается.

Евдокимов. А вот… какаду лев съест? **Сторож** *(радостно)*. Съест! Лев и какаду съест. Лев всех съест. Царь зверей.

Затемнение.

Ночь. Та же стоянка такси. Тот же **парень** сидит на тротуаре. Проходят **Наташа** и **Евдокимов** .

Наташа *(увидела парня и почему-то безумно обрадовалась)*. А, здравствуйте, здравствуйте.

Евдокимов. Ждем «букашку»?

Парень. Ждем.

Евдокимов. Дать сигарету?

Парень. Не дать. Сегодня понедельник.

Наташа. Опять нету такси…

Молчание. Они стоят обнявшись.

Ты какого писателя больше всех любишь?

Евдокимов. А что?

Наташа. Ничего. *(Отчаянно.)* Нет, не то! Вот с тобой я

отчего-то дура. А без тебя — я столько хочу тебе рассказать. А! Все не то! Я просто, наверное, очень мало читала. У меня, как ты сказал, жуткий лексикон…

Молчание.

Хочешь, скажу одну вещь?

Евдокимов. Скажи одну вещь.

Наташа. Знаешь, где я тебя увидела первый раз?

Он удивленно глядит на нее.

Нет, не в «Комете». *(Смеется.)* Это было три года назад, в Политехническом музее. Там был вечер «Кем быть»… и ты тоже выступал от университета… Я тебя сразу узнала в «Комете».

Евдокимов. А ты что делала в Политехническом?

Наташа. Решала, кем быть. *(Смеется.)* И до сих пор не решила… Почему я все время с тобой смеюсь?.. Такси нет… Интересно, вот мы стоим сейчас, будто все это так и надо. А потом… когда-нибудь… я буду вспоминать об этом дне как об ужасном счастье.

Евдокимов *(шепотом)*. Ничего не понимаю. Никогда у меня так не было. Вот всегда…

Наташа. Яне хочу знать, как у тебя было всегда… Куда исчезли такси?

Евдокимов. Пойдем?

Наташа. Опять все то же!

Евдокимов. Ты боишься?

Наташа. Какая ерунда.

Евдокимов. Значит, боишься. Идем. Наташа. Идти, да?

Евдокимов. Да. Туда.

Наташа. Туда?

Евдокимов. Смешно. Когда ты волнуешься, ты всегда повторяешь слова.

Наташа. Совсем я не волнуюсь. А! *(Она махнула рукой, и они пошли к парадному .)*

Парень. Эй, друг!

Евдокимов обернулся.

(Смеется.) Одну.

Евдокимов. Держи всю пачку. *(Бросает пачку.)* Эх ты, Топтыгин.

Парень. Спокойной ночи.

Евдокимов. Салют, Топтыгин.

Затемнение.

Раннее утро. Звуки радиоприемника (передают гимн).

Голос радиодиктора. Доброе утро, товарищи…

Лестничная клетка. Перед дверью квартиры Наташи. Прямо на лестнице стоит чемодан, привязанный веревкой к дверной ручке.

Сначала раздается Наташин голос, поющий песенку. Потом на лестничной площадке появляется сама Наташа. Останавливается, рассматривает чемодан.

Наташа. Ясненько. (*Начинает отвязывать.)* А! Переживем.

По лестнице сверху сходит Лилька. Волосы у нее теперь выкрашены в черный цвет.

Лилька. Доброе утро! Ты чего это?

Наташа. Ничего. *(Отвязывает чемодан.)* Улетаю.

Лилька. Выгнала, значит, благоверная? Наташа. Опять благоверные какие-то пошли. Просто улетаю. Ясно? Никто меня не выгонял. *(Поднимает чемодан.)* «Что нам, летунам», — как говорят в Аэрофлоте… Значит, стала черная?

Лилька. Да, нужно черной попробовать. На всякий пожарный. *(Волнуясь.)* Ну как я?

Наташа. Очень прилично. Я побежала. Лилька. Чемодан ты можешь к нам поставить… И вообще можешь у нас пока пожить.

Наташа. Какая чушь.

Лилька. Дуреха. Гордая дуреха.

Наташа. Знаешь, мне что-то уже надоело. Все: дура, дуреха, глуповатый смех… Никакая я не дура. Ясно? *(Поправила волосы, откинула голову, пошла по лестнице.)* Ах, до чего же прелестна эта женщина. *(Уходит.)*

Лилька остается на площадке. Дверь соседней квартиры открывается. На площадку выходит Феликс, вынимает газеты из ящика.

Феликс. Здравствуй, мать.

Лилька. Здравствуй.

Феликс. Ты что же, мать, стала цвета маренго? Лилька. Ну тебя! Наташку мать выгнала. Феликс. Это что, в связи с новой любовью? Лилька. Да.

Феликс *(помолчав).* Ты бы к себе ее пока поселила, а?

Лилька. Не хочет. Она улетела.

Молчание.

Поговори с ней. Ведь вы… когда-то…

Феликс *(резко).* Ну и скоро ты увеличишь население голубой планеты Земля?

Лилька *(заулыбалась).* Скоро.

Феликс. Приглашай меня крестным отцом. Всю жизнь мечтаю быть крестным отцом. Имя-то хоть придумали?

Лилька *(счастливо)*. Придумали.

Феликс. Ну?

Лилька *(улыбаясь)*. Электрон…

Затемнение.

Комната в НИИ. Далекие разряды. На часах — без четверти шесть. За своими столами Евдокимов, Владик, Галя Острецов а.

Владик. Сегодня будем сидеть допоздна… Посетить, что ли, столовую? **Галя.** Нецелесообразно. Там только что побывал могучий Евдокимов. После посещений могучего Евдокимова в столовой как-то становится нечего делать.

Молчание.

Впрочем, тебе это даже лучше, Владюша. Ты ведь бережешь свое телосложение. **Евдокимов.** «У него не телосложение. У него — теловычитание», как сказал поэт!

Разряды. Входит Феликс с цветком в петлице.

Феликс. Принес переводы, парубки. Статья американского кибернетика Эшби «Интеллектуальные машины»… Это, я считаю, прямо для Евдокимова. **Владик.** Разреши, Феликс, я сначала прогляжу. А то я уезжаю.

Разряды.

Феликс. Вас не раздражает этот стук? У меня голова трещит из-за этих гальперинских проволочек. *(Владику.)* Куда же это ты уезжаешь, парубок?

Владик *(проглядывая статью)*. На «Альфу».

Феликс *(усаживаясь)*. Как хорошо сказал!.. Готовитесь к опыту, отцы? Очень я вам завидую. Вот я считаю, что все подлинные ученые должны бесстрашно рисковать жизнью во имя науки. Вот интересно, правильно ли я считаю?

Евдокимов *(не поднимая* головы). Топтыгин ты…

Владик *(просматривая статью)*. Сильная статья.

Феликс *(Гале)*. А ты, мать, все такая же целомудренная. Сидишь в финской юбке, мохнатой, как медведь.

Галя. Откуда у тебя цветы, сынок?

Феликс. Подарок любимой. Даже точнее — экс-любимой.

Галя. Что же это у тебя за экс-любимая?

Феликс. Кстати, мать, отчего все целомудренные девушки так интересуются подробностями моей биографии…

Галя. Динозавр ты все-таки, Феликс… Просто интересно, откуда человек может доставать сейчас такие цветы.

Феликс. Человек не может. Человек слаб. Могут только стюардессы. Любите стюардесс, мальчики. Они привезут вам с юга такие же цветы. Любите их, тонких, изящных и длинноногих. Любите стюардесс.

Владик. Просто отличная статья.

Феликс. Вот так, Галчонок. Каждый свой день рождения я получаю по почте эти цветы. Она шлет их мне… анонимно. Представляешь, какая романтика? (*Патетически.)* Вот, по-моему… не знаю, прав я или нет… но мне кажется, что романтика и чистота — основные качества наших девушек. Вот интересно, правильно ли я считаю?

Галя. Хохмач ты, Фелька.

Разряды.

Феликс. Все-таки этот Гальперин безобразник.

Звонок телефона.

Галя *(берет трубку*). Семенова нет. Семенов в столовой… Нет, просто мы задерживаемся после работы, он пошел поужинать… Ясно. *(Вешает трубку.)* **Владик** — к Гальперину! (*Уходит, за нею Владик.)*

В комнате Евдокимов и Феликс.

Феликс. Прочитал в «Лепр франсэз», что итальянские стюардессы избрали своей покровительницей святую Боннету… Это была самая длинноногая из всех святых. Кроме того, она имела склонность к путешествиям.

Молчание.

Я тебя видел с ней.

Евдокимов. С кем… с ней?

Феликс. Со святой Боннетой, естественно. Ты ее провожал. Мы со святой Боннетой живем в одном доме.

Молчание. Разряды.

Евдокимов. Что ж, ты ее хорошо знал?

Феликс. Неплохо знал.

Евдокимов. Да?

Феликс. Да. *(Насмешливо.)* Мы с ней дружили. Мы ходили вместе в кино и на каток, читали вслух статьи об интеллектуальных машинах. *(С пафосом.)* Вот я считаю, что дружба…

Евдокимов *(резко встал)*. Ты врешь! Все врешь!

Феликс (*отступая, свалил стул)*. Вру.

Евдокимов *(бешено)*. Ты Топтыгин. Ясно?! Говори: «Я Топтыгин!..». Не скажешь, да?

Феликс *(очень спокойно)*. Скажу. Я Топтыгин. Все? *(Поправляя галстук, так же спокойно.*) Она — настоящая… Это не так часто бывает… Ее мать выгнала из дому. Из-за тебя… Ты это учти.

Галя *(заглядывая в дверь)*. Семенов не возвращался?.. Что это у вас стулья на полу? *(Исчезает.)*

Феликс. Это — диалектика жизни. Она такова. Когда кони сытые — они бьют копытами. *(Уходит.)*

Евдокимов один, возвращается **Владик.** Глядит на стул, лежащий на полу. Поднимает, потом набирает номер телефона.

Владик. Это из семьдесят девятой лаборатории. Здесь заказывали машину на «Альфу»… Хорошо, я жду вашего звонка по сорок девятому. *(Положил трубку.)* Очень сильная статья у этого Эшби. Охватывает страх, что никогда не сумеешь так мыслить… Понимаешь, мысль…

Евдокимов. Удивительно. Раньше мне очень нравилась твоя манера постоянно все анализировать. Теперь она меня раздражает. Почему?

Владик. С возрастом люди становятся примитивнее.

Евдокимов. Ты очень похож на английского физика. И еще тебе бы очень пошла пыжиковая шапка. Есть люди, просто созданные для пыжиковых шапок.

Звонок по телефону.

Владик *(берет трубку)*. Хорошо… «Волга», 15–53?.. Я сейчас выхожу, спасибо. *(Положил трубку* .)

Пауза.

(Невозмутимо.) У всех у нас за неделю скапливается большое количество лишних эмоций. Они мешают нам мыслить. Короче — одни играют на трубе… Другие бросают стулья на пол… Но все мы так или иначе избавляемся от лишних эмоций.

Молчание.

Ты, вероятно, хочешь меня о чем-то попросить?

Евдокимов *(засмеялся)*. Как ты догадался?

Владик. Когда нормальные люди хотят о чем-то попросить, они становятся предупредительными. А ты становишься невыносим. Ты ненавидишь просить.

Евдокимов *(совсем развеселившись)*. Владька, ты отличный парень… Понимаешь, сегодня прилетает один человек… Мы с ней должны встретиться у метро «Динамо». В половине седьмого. А Семенов сегодня затеял работать. Короче, у меня горит свидание.

Владик. У тебя их мало горело?

Евдокимов *(небрежно)*. Да нет, я мог бы наплевать. Но оказалось, что этому человеку негде будет сегодня ночевать… Ты не сможешь подъехать к метро и передать записочку?

Владик. Исключается. В половине седьмого я должен быть на «Альфе». *(Идет к дверям, повернулся.)* Что касается комнаты, я могу отдать свою. И переехать пока к брату.

Евдокимов. Спасибо. Ты чуткий. Но это не понадобится. У

меня родичи на юге.

Владик. Ну, я рванулся.

Евдокимов. Рвись.

Владик уходит. Часы бьют шесть. **Евдокимов** снимает с вешалки свой плащ. В комнату входит **Семенов,** за ним **Галя** .

Семенов *(глядит на одевающегося Евдокимова).* Вы что, Евдокимов?

Евдокимов. Простите, Петр Сергеевич, я, к сожалению, должен отлучиться на часок.

Семенов. Вы сошли с ума, да?

Евдокимов. Нет, я не сошел. Мне просто нужно отлучиться на часок.

Семенов. То есть как это «отлучиться»? У нас, кажется, опыт на днях, забодай вас комар. Последние дни…

Евдокимов. Я вернусь через час.

Семенов. Я договорился с вами: без «ля-ля». Договорился?.. Я не разрешаю вам. Точка.

Евдокимов. Так я пошел, Петр Сергеевич? Я через час вернусь…

Пауза.

Семенов. Идите.

Евдокимов уходит.

Вот черт!.. *(Начинает расхаживать по комнате.)* Ладно, всякое бывает. *(Расхаживает.)* Да… Мне нужно с вами поговорить, Галя. Это лучше сейчас. *(Резко, безапелляционно.)* Существует инструкция шестьдесят седьмого года. Женщинам работать на установках типа «Альфа» при намечаемых нами условиях… Короче, есть приказ: вас придется освобождать от опыта… **Галя** *(помолчав).* Что ж… переживу.

Вновь молчание. Разряды слышнее.

Вы очень любите Евдокимова, Петр Сергеевич. Он вас тоже. Крайне трогательно… Евдокимов способный человек? **Семенов.** У него есть интуиция. В конечном счете, ученый отличается от вахтера не знаниями, а интуицией. *(Расхаживает.)*

Разряды.

Галя. О чем вы сейчас думаете?

Семенов. О войне… И об интуиции…

Галя. Почему у вас такие мужественные мысли? Семенов. Вы очень похожи на одну девушку, Галя. Я был знаком с ней в войну.

Галя *(тихо).* И далее?

Семенов. Далее вступает интуиция. И говорит: что абсолютно не похожи. *(Резко.)* Вам придется завтра съездить на

«Альфу» забрать режимы. Но это я вам потом объясню.

Молчание.

(Расхаживает.) Все похоже… Все очень похоже…

Молчание.

У меня во дворе стоит дуб и скамейка. *(Думая о чем-то.)* Дуб и скамейка… Да, дуб и скамейка…

Галя. Я уже усвоила: дуб и скамейка. Семенов. И под этим дубом всегда пары сидят. Раньше сидели и теперь. Посидят, посидят. Потом перестанут. Потом, уже днем, под тот же дуб вывозят коляску. А вечерами на скамейке уже сидит другая пара. Непрерывность жизни… Потом откроешь ночью окно… Их ребенок кричит. А ты слушаешь: орет! Молодец! Порядок!.. Потом затихает, мать, наверное, подошла…

Галя. Вы очень впечатлительный, Петр Сергеевич.

Пауза. Разряды.

Скажите, почему вы живете один? **Семенов** *(сухо)*. Потому что живу один…

Молчание. Разряды.

Вы хорошая девушка, Галя. Только немного язвительная… и сухая. Это мешает. **Галя.** Вы тоже очень хороший человек, Петр Сергеевич. И даже не язвительный… и не сухой. *(Вдруг почти отчаянно.)* А что толку?! Вот я хорошая. Вы хороший. Мы хорошие… Да кому нужны хорошие? Не любят сейчас хороших!

Оглушительные разряды.

Семенов *(глухо)*. Дает Гальперин!.. **Галя.** Вот она, уверяю вас, нехорошая. А он — побежал к ней! Видали как: забыл все и побежал! Потому что — нехорошая!.. Вот!..

Затемнение.

Двойной номер в гостинице. У столика с телефоном Наташа. На кровати спит Ира (Мышка).

Голос телефонистки. Москва, говорите.

Голос Евдокимова. Да.

Наташа. Алло, кто это?

Голос Евдокимова. Александр Сергеевич Пушкин, поэт.

Наташа. Эла, это ты? *(Смеется.)* Элочка, прости, что я не пришла сегодня к метро.

Голос Евдокимова. Прощаю.

Наташа. Да нет, мы в Ташкенте сидим… Нам вылета не дают. Элочка, ты был сегодня у метро?

Голос Евдокимова. Не важно.

Наташа. Был! Был! Я знаю. *(Смеется.)*

Голос Евдокимова. Почему это тебя так радует?

Наташа. Не важно. Просто так. А где ты шляешься допоздна? Я тебе сегодня весь вечер звоню — никто не подходит.

Голос Евдокимова. На работе был до одиннадцати.

Наташа. Это хорошо. Ты давай там работай шустрее, чтобы девушка могла тобой гордиться… Да, я сейчас начала читать… Ой, ты знаешь… Я это тебе потом расскажу. *(Смеется.)* Мне почему-то стало очень хорошо жить.

Голос Евдокимова. Серьезно?

Наташа. Ага. Ну как твои дела-то?

Голос Евдокимова. Хороши. А твои?

Наташа. В порядке… О какой чепухе мы сейчас говорим.

Голос Евдокимова. Ну а ты как живешь? Небось веселишься направо и налево.

Пауза.

Наташа *(чуть задумалась).* Да. Веселюсь так, что пыль летит.

Пауза.

Голос Евдокимова. Серьезно?

Наташа. Абсолютно… *(Усмехнувшись.)* Ты даже не представляешь, как я развернулась.

Голос Евдокимова. Приедешь — расскажешь.

Голос телефонистки. Последняя минута.

Наташа. Эла, ну, я тебя… ну, в общем…

Голос Евдокимова. В общем, ты меня целуешь, и я тебя тоже. Как прилетишь, позвони.

Наташа. До свидания, Элочка.

Гудки в трубке. Наташа задумалась. Стук в дверь. Входит Карцев.

Карцев. Вылетаем завтра в ноль тридцать.

Наташа. Премиленько. Хочешь яблочка?

Карцев. Мышь!

Наташа *(торопливо*). Спит, спит.

Карцев. Люблю людей, которые умеют рано засыпать. Жить будут долго. *(Берет со стола брошюру, читает.)* «Программа для поступающих на филологический факультет МГУ». Чего это ты?

Наташа. Понимаешь, Левушка, я очень некультурная. Запас слов у меня маловат.

Карцев. Понятно. Решила учиться в самолете.

Наташа. Ага. Буду схватывать на лету. *(Смеется.)*

Карцев. Обожаю твой смех. Остроумная девушка… Остроумная женщина.

Наташа. Под газом?

Карцев. Несущественно. Ты читала Сент-Экзюпери? Я люблю

Сент-Экзюпери. Он был летчиком. Он летал над землею людей. Ему было до чертиков одиноко в воздухе. Он стал писать. Он был настоящий мужчина. Он хотел выразить идею… *(Громко.)* Мышь!

Наташа. Тс!.. Ну ты же видишь! Человек спит. Обязательно надо кричать.

Карцев. Я к тебе заезжал перед полетом. Хотел тебя подвезти на аэродром.

Наташа. Да?

Карцев. Тебя выгнала из дому мать.

Наташа. Все?

Карцев. Нет. Начнем с того, что я тебя сейчас поцелую.

Наташа. Ты для этого выпил?

Карцев. Начнем с того, что пока с вами ведешь себя как человек, вы…

Наташа. Ты очень хочешь сказать гадость?

Он молча встал.

(Ловя последнее мгновение, резко и повелительно.) А ну, сядь! Быстро!

Карцев *(сел, стараясь небрежно).* Не бойся.

Наташа. Я не боюсь.

Карцев. Боишься. Тогда ты тоже боялась. Я помню, как мы с тобой тогда горели… над степью… Ты ужасно боялась — и никто этого не заметил. Ты улыбалась — ты умеешь скрывать страх. Ты — «молоток».

Наташа. «Молотки» пошли. Сплошной Аэрофлот.

Карцев. И еще я тебя любил за то, что ты была… Когда при тебе говорили гадости, ты уходила и ревела. Как же ты…

Наташа. Не надо. Ты ведь ничего не знаешь, Левочка.

Карцев. Сент-Экзюпери — человек. Ты его почитай… Прости, я хотел совсем по-другому.

Наташа. Знаю.

Карцев *(вдруг резко).* Слушай! Все ясно! Только одного я не понимаю: какого дьявола ты посылала мне поздравления на каждый праздник?! Какого дьявола…

Наташа. Не надо ругаться. Ну почему все надо понимать наоборот. Просто всем знакомым на праздники я посылаю открыточки. Людям приятно, когда о них помнят. В жизни не так уж много тепла. Вот в прошлый Новый год я послала девяносто две открытки.

Карцев. Восторженная дуреха!

Наташа. Не надо. Если у меня есть друг на свете, то это, наверное, — ты.

Карцев. А когда-нибудь, не сейчас…

Наташа. Не надо!

Карцев. Значит, в следующий раз ты полетишь на спецрейсах?

Наташа. Ага.

Карцев. Ну, прощай, Наташка. (*Пошел к дверям, вдруг повернулся.*) Наташка, поцелуй меня на прощанье… сама.

Наташа. Поцеловать, да?

Карцев. Да… Только в губы.

Наташа. В губы?

Карцев. Не бойся.

Наташа. Яне боюсь. (*Подходит, целует его.)* Какой ты смешной товарищ.

Карцев. Все-таки ты лучшая девушка Москвы и Московской области.

Наташа. Я тебя прошу, будь с ней (*кивает на кровать, где спит Ира)* человеком. Понимаешь, Левушка, что бы ни случилось, главное — уметь остаться человеком.

Карцев *(помолчав).* А Экзюпери я тебе подарю. *(Уходит.)*

Ира садится на кровати.

Наташа. Ты не спала?

Ира. Нет, я не спала.

Наташа. Это даже хорошо.

Ира. Да, это хорошо! Ты лучшая Московской области! А ну-ка, идем, идем к зеркалу! *(Лихорадочно.)* Сними каблуки.

Наташа подходит к зеркалу, покорно снимает туфли.

(Надевает их.) Вот я уже такого роста, как ты или даже чуть выше!

Она не доходит на каблуках даже до виска Наташи.

Наташа. Да, чуть выше, Мышь.

Ира. И лицо у меня… Какое у меня лицо, разбирай меня!

Наташа. У тебя удивительное лицо.

Ира. Красивое!

Наташа. Больше чем красивое. У тебя родное лицо, Мышь. И ноги у тебя отличные.

Ира. Талия у меня сорок восемь! А ты туфли всегда кособочишь! Лицо у тебя — глупое! И мать тебя выгнала! И дома ты не ночуешь! Так почему же?!

Наташа. Ну зачем… Мышка?

Ира. И всегда ты смеешься. А я знаю, отчего ты всегда смеешься. Все знаю. (*Торжествующе.)* Потому что если ты перестанешь смеяться… ты задумаешься над своей жизнью! И тогда ты умрешь! И я не позволяю называть себя мышью!

Длительное молчание.

(Тихо, сквозь слезы.) Наташа…

Наташа. Да, Ира.

Ира. Сходим вечером в кино?

Наташа. Конечно.

Ира. Ты прости.

Наташа. Выключи свет.

Ира щелкает выключателем. Темнота.

Ты права, Мышонок. Во всем…

Ира. Зачем, Наташа?

Наташа. Ты послушай. Полезно. В восемнадцать лет мы ужасные дуры. Кино, книжки, все — про *него*. И вот мы ждем *его*. Необыкновенного *его*.

Ира. Ну зачем, Наташа?

Наташа. Молчи, слушай, слушай. Это для тебя, Мышонок. И вот — *он*. Наш первый. И вот уже все случилось, потому что мы все ему готовы отдать, — ну *он* и берет. А оказалось, *он* — так… обычный… Многие ошибаются в первом. Понятно, ведь первый. Да и глупые мы еще. Ох, какие мы… глупые… Но ведь все случилось. И тебе уже кричат со всех сторон: «Безнравственно! Ты что, девкой хочешь стать? Немедленно выходи за него замуж!» Дома, вокруг… И ты унижаешься, делаешь вид, что боготворишь его по-прежнему, — только бы он женился. И не дай бог, если он женится, потому что тогда… ну, я видела эти семьи.

Ира. Зачем, зачем, Наташа…

Наташа. Дальше, он не женился. На все тебе стало наплевать. Но одной трудно. У всех ведь есть *он*. Как же отстать-то! И еще — ошибочка… И еще… Но вот однажды ты говоришь себе: «Стоп! Стоп!» С этой минуты ты уже живешь одна. И ты начинаешь смеяться, и сама уже веришь, что тебе теперь все до лампочки! И твой девиз теперь: «Выдержка, выдержка и еще раз выдержка»… Но иногда бывает очень трудно… Идут девчонки с цветами. Ты тоже идешь с цветами. Только ты их сама себе подарила… Но самое трудное — это жить без кумира. Даю тебе слово, ужасно трудно… И вот однажды выдержка погорела. Я его увидела сначала в Политехническом. Он там неплохо выступал. Здорово выступал. Невероятно одухотворенный товарищ. Кумир! Но для него это все оказалось… так… Я бы его бросила, честное слово, как ни трудно! Но иногда мне кажется, что я для него… Знаешь, однажды мы ехали в такси, и он положил мне голову на плечо. Вот я бы никому не положила так голову на плечо!.. Потому что — выдержка… Главное, Мышь, тыне торопись. Вс еуспеется. И

никогда не теряй достоинства. Вот я проверю… Если я действительно для него — просто… я уйду. Возьму и совсем уйду! *(Включает свет.)* А! Все бабья болтовня.

Ира. Наташка, неужели мы расстанемся!.. Обидно!

Наташа. Нет, это здорово, Мышонок. Нам теперь никогда не будет так хорошо… как прежде. Никогда.

Ира вдруг прижалась к ней.

Ну что?.. Что, глупая Мышь?..

Ира (*торжественно).* Я хочу, чтобы ты была счастливой. Будь, Наташа, за всех!

Наташа. Какие могут быть разговоры. Конечно, буду, и ты тоже, ладно?

Ира. И я тоже. Ладно…

Затемнение.

Часть вторая

Евдокимова. **Евдокимов** и **Наташа.** Она только что вошла, ее плащ брошен на диван. Наташа в форме стюардессы. На стуле ее чемоданчик.

Наташа. Эла, дай, пожалуйста, кувшин… Я поставлю гвоздики… Кстати, у меня здесь еще веточка эвкалипта. Она очень славно пахнет. *(Выкладывает из чемодана на стол завернутую в целлофан эвкалиптовую ветку, потом достает из чемодана бесконечные яблоки.)* Знаешь, яблоки в Ташкенте — просто чудо. Что ты на меня так смотришь?

Евдокимов. Я еще никогда не видел тебя в форме. (*Усмехнулся.)* Стюардесса!

Наташа. Не люблю этого слова. Я бортпроводница, понятно?.. Слушай, Элочка, дай какой-нибудь другой кувшинчик, а то этот уж очень облезлый.

Евдокимов. Поставь в бутылку… Какой у тебя великолепный орел на груди.

Наташа *(рассмеялась).* Нет, это просто птичка, Эла. «Питичка», как ее у нас называют. Хватит Аэрофлота… *(Удовлетворенно оглядывает цветы на столе.)* Очень прилично, по-моему.

Евдокимов. Иди сюда.

Она подходит, он положил руки на плечи, так они стоят посредине комнаты.

Здравствуй, Наташа!

Наташа. Здравствуй, Эла!

Евдокимов. Как ты жила, Наташа?

Наташа. Знаешь, неплохо.

Евдокимов. Да? *(Стараясь шутливо.)* Небось, целовалась в Ташкенте с разными?.. Чего это ты мне по телефону болтала?

Наташа. Ты как жил?

Евдокимов. Нормально. Через четыре дня опыт.

Наташа. А я сегодня улетаю, в ноль тридцать. Евдокимов. Чего это ты скачешь с рейса на рейс?

Наташа. Долг зовет.

Евдокимов. Ая знаю, почему ты скачешь с рейса на рейс.

Молчание.

Тебе жить негде. Тебя мать из дому выгнала.

Пауза.

Наташа. Чепуха какая. Если я захочу, я с мамой сразу помирюсь. Приду и скажу: «А!» — и помирюсь… Откуда ты знаешь, что меня выгнали?

Евдокимов. Я все знаю. Ты к этому привыкни. Что ж ты от меня утаила, Топтыгин?

Наташа. А! Я вообще считаю, что никому не интересно слушать о чужих несчастьях. У людей своих хватает. Терпеть не могу, когда жалуются, и хватит об этом, ладно?

Евдокимов *(величественно*). У меня в записной книжке есть телефоны трехсот шестнадцати друзей. Они все сейчас ищут тебе комнату. К десяти вечера мы ее снимем.

Наташа. Знаешь, Элочка, давай договоримся: ты сообщи своим тремстам и шестнадцати друзьям, чтобы они ничего не искали. Я вообще одолжений не принимаю. Разве что от очень-очень близких друзей.

Евдокимов. А я не «очень близкие друзья»?

Наташа. Нет. Ты только мой любимый мужчина. Но ты не мой друг.

Евдокимов. Ты точно это знаешь?

Наташа. К сожалению, точно. Во всяком случае, я сегодня это проверю.

Евдокимов. Подожди, я только повешу картину, и ты начнешь проверять. *(Прикалывает к стене плакат «Летайте самолетами Аэрофлота».)*

На плакате изображена стюардесса. Внизу надпись карандашом «Приветик, Наташа!»

Наташа *(смеется).* Почему всегда нужно издеваться?

Евдокимов. Есть картина. Обстановка создана. Сейчас я буду петь песни.

Наташа. Какие песни?

Евдокимов. Ты не знаешь самого главного: я сочиняю песни. Нет, совершенно серьезно. У нас в академгородке все поют мои песни… Представляешь, картиночка: сидят доктора наук, пожилые, лысые… и поют песни про пиратов.

Наташа. А почему про пиратов? Евдокимов. Вполне естественно. Они очень положительные люди. В жизни они были начисто лишены… буйства, что ли. А в этих песнях для них и удаль, и буйство. Страшно смешно.

Наташа. Только не надо говорить так самоуверенно. Все люди в какой-то мере смешные. Кстати, ты тоже. Евдокимов *(на плакат).* Она ничего девочка… Наташа. Да ну тебя. Я ужасно хочу уничтожить твою самоуверенность.

Евдокимов. Это невозможно. Поцелуй меня. Ну!
Наташа. Не хочу.
Евдокимов. Ну!

Наташа целует. Начали песню.

Время стекает со стрелок часов,
А часы все бормочут насмешливо.

Дальше я еще не сочинил. Там будет кусок о нежности. Нежность. Ее все время стыдятся. Ее прячут далеко в боковой карман. И вынимают в одиночестве по вечерам. Чтобы посмотреть, как она истрепана за день — наша нежность. И еще о смерти… «Не бойтесь смерти. Смерть — это так, добродушный сторож в парке, который сгоняет со скамеек засидевшихся влюбленных. А они не хотят уходить, а смерть все причитает надоевшим голосом: «Попрошу на выход, закрывается». Это будет лучшая песня в СССР. Я ее сочиню для тебя.

Наташа. Спасибо, Эла.

Евдокимов. Ну все-таки: что же было с тобой в Ташкенте?

Наташа. Я вот точно знала, что ты все время хочешь задать этот вопрос.

Евдокимов. Просто интересно. Из психологических соображений.

Наташа повернулась спиной. Весь дальнейший разговор она ведет спиной к нему, потому что она не в силах видеть его лицо.

Так что же там было?

Наташа *(весело).* Ничего особенного… Увлеклась одним летчиком.

Евдокимов *(стараясь небрежно, но голосу него срывается).* Ну… и дальше?..

Наташа. Чепуха… Поцеловались немного. Евдокимов. Ну… и дальше?..

Наташа. Перестань.

Евдокимов. Мне-то, собственно, все равно… Я просто…

Наташа. Да, ты из чисто психологических соображений.

Молчание.

Ты молодец, я бы так не сумела.

Евдокимов (*почти яростно).* И что же… серьезное было?!

Наташа. По-моему, ты сам учил: не ханжить. Евдокимов. Нет, ты…

Наташа. Ну было! Было! Что с того?! И вообще, какое это

имеет значение? И прекратим этот глупый разговор.

Молчание.

Эвкалипточка очень славно пахнет.

Молчание.

О чем ты сейчас думаешь?

Евдокимов. О работе. У нас там старик Гальперин взрывает проволочки. Очень непонятный эффект. *(С ненавистью.)* А ты… *(Замолчал.)*

Наташа. Что?

Евдокимов *(презрительно)*. Ничего.

Вновь молчание. Она стоит спиной. Он сидит и бессмысленно трет себе голову.

Наташа *(резко повернувшись)*. Брось плащ, пожалуйста.

Он почти с радостью бросил ей плащ. Она надела, пошла к дверям.

Евдокимов. Я тебя провожу.

Наташа. Не надо.

Евдокимов *(не глядя на нее)*. Ну зачем же. Провожу… *(Презрительно.)* Все-таки в последний раз. *(Надевая плащ.)* Мы никогда так рано не уходили.

Затемнение.

Из затемнения голос радиодиктора, объявляющий остановки: «Станция «Ботанический Сад», следующая станция — «Новослободская». Стук колес. Вагон метро. Евдокимов и Наташа. Они стоят в пустом углу вагона. Молчат.

Радио. «Новослободская»… Следующая станция — «Белорусская».

Евдокимов. Тебе на следующей.

Наташа. Спасибо.

Стук колес.

Евдокимов. Ну прощай.

Наташа. Прощай. Я хочу напоследок дать тебе один совет.

Евдокимов *(сухо)*. Не надо никаких советов.

Молчание. Стук колес.

Наташа. Я все-таки дам. Не будь никогда таким самоуверенным.

Она засмеялась презрительно, даже зло. Он посмотрел на нее. В глаза.

Радио. Станция «Белорусская».

Евдокимов. Ты наврала, да?!

Наташа. Дурак! *(Хотела пройти к дверям.)*

Евдокимов *(загородил ей дорогу).* Наврала, да?

Наташа. Пусти! Пусти!..

Евдокимов *(счастливо).* Ты все наврала!

Стук захлопнувшихся дверей.

Радио. Следующая станция — «Краснопресненская».

Наташа. Пусти.

Евдокимов. Наврала!

Наташа. А я дура! Я поклялась не говорить тебе ничего! Если ты в это поверишь.

Евдокимов. Наврала!

Наташа. Ух, какая я глупая, что сказала! Пусти меня.

Евдокимов. Не пущу.

Наташа *(с ненавистью).* А он поверил! Пусти меня!

Евдокимов. Не пущу.

Наташа. Как же ты мог. Какой же ты гад! Если ты мог сразу поверить, что я… Отпусти меня!.. Евдокимов. Послушай…

Наташа. Как же ты ко мне относишься! (*С ненавистью.)* Ухты-ы!!

Радио. Станция «Краснопресненская». Следующая станция — «Киевская».

Наташа. Я ненавижу тебя! Я уйду! Евдокимов. Нет.

Стук захлопнувшихся дверей. Вновь стук колес. Рядом с ними становится **Щеголеватый гражданин** .

Наташа (в *порыве самоунижения.).* Неужели у тебя реле не сработало, что ты для меня такое!.. Ну пусти! Пусти меня сейчас же!!

Евдокимов кладет ей руку на плечо.

Не трогай! Я не хочу! Пусти меня. Ну я сказала, я не хочу тебя больше видеть!

Щеголеватый. Кажется, ясно тебе, уважаемый, не хочет тебя девушка видеть.

Евдокимов. Идите… пока я…

Щеголеватый. Не беспокойтесь, девушка…

Наташа *(невероятно зло*). А я, между прочим, не прошу вас вмешиваться!

Щеголеватый пожал плечами: ненормальные. И отошел.

Радио. Станция «Киевская».

Наташа. Пусти меня — я выйду.

Евдокимов. Я сказал: не выйдешь.

Наташа. А еще хорохорился: я не ревную! Работа!.. Асам сидел весь красный, пятнами покрывался! Придумываешь ты из себя что-то, тоже сверхчеловек нашелся!.. Ну отпусти меня, ну я не хочу с тобой быть.

Евдокимов. Ну что ты… Ну не плачь… Не надо.

Наташа. А я не плачу.

Евдокимов. Ну, перестань, Наташка.

Наташа *(сквозь слезы).* А еще говорил… А сам…

Евдокимов. Ну, не плачь, милая.

Наташа. Я не плачу. А еще говорил: я твой друг… Какой ты мне друг, если ты так, с ходу поверил.

Евдокимов. Успокойся.

Наташа. Над другими смеешься. А сам смешнее всех. В миллион раз! Вот в миллион миллионов раз!

Евдокимов. Ты хочешь сказать, в миллиард?

Наташа. Все равно я с тобой не пойду никуда! И песня мне твоя не нужна. Ну пусти меня… Ну…

Евдокимов. Только ты не плачь.

Радио. Следующая станция «Добрынинская».

Наташа. Убери, пожалуйста, свои руки. Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался… Интересно, когда я придумывала эту шутку… вот точно знала, что ты в нее поверишь! Все боялась и знала!

Евдокимов. И ты ни с кем не целовалась?

Наташа (*почти с радостью).* Целовалась!

Евдокимов. Врешь.

Наташа. Клянусь!

Евдокимов. С кем?

Наташа. С летчиком!

Евдокимов. Зачем?

Наташа. Нужно было!

Евдокимов. Зачем нужно было?

Наташа. Этого ты не поймешь! За тысячу лет! Потому что ты эгоист! Понятно? Я его поцеловала… за то, что он человек Мы с ним два раза горели! Он — человек!.. И те, с кем мы горели, — тоже были люди! Я их привязала ремнями, и они сидели тихие, как огурчики! *(В порыве уничтожения.)* Все люди! Один ты эгоист! Отпусти меня!

Евдокимов. Нет. А я ремнями никогда не привязываюсь в самолетах. Ясно?

Наташа. Думаешь, смелый? Вот когда-нибудь тебя так шлепнет — ух! *(Даже засмеялась от ярости.)* Пусти!

Евдокимов. Ладно. Буду привязываться ремнями.

Наташа. Не смешно.

Евдокимов. Наташка, посмотри на меня.

Наташа. Не хочу я на тебя смотреть. И откуда ты такой появился?

Радио. Следующая станция — «Октябрьская»… Следующая станция — «Курская»… Следующая станция — «Комсомольская»…

Наташа *(она немного отошла).* Целое кругосветное путешествие.

Евдокимов. Может, выйдем?

Наташа *(глядя на часы).* Нет, почти ничего не осталось… Знаешь, я ужасно проголодалась от всех этих объяснений. Ненавижу объяснения…

Евдокимов. Ты хочешь уйти?

Наташа. Нет… У меня вчера была зарплата. Хочу пригласить любимого мужчину в ресторан.

Евдокимов. Спасибо.

Наташа. Хорошо быть мужчиной. Я бы, наверное, десять лет жизни отдала… чтобы быть мужчиной!

Затемнение.

Аэропорт. Угол зала у окна. Здесь днем торговал буфет, но сейчас буфет закрыт. И оттого угол зала почти не освещен: он пуст и темен. Свет — только от фонаря из окна. Два пустых «стоячих» столика. Прислонясь к подоконнику, стоит **Наташа,** рядом у столика — **Евдокимов.** Методичный голос радиодиктора передает объявления.

Радио. Вылет самолета, следующего рейсом пятьсот восемьдесят шесть, Москва-Хабаровск, задерживается на один час по техническим причинам. Прибывший рейсом шестьсот тринадцать Тбилиси — Москва пассажир Цихмиладзе! Просьба зайти в коммерческий склад… Пассажиры, вылетающие рейсом четыреста пятнадцать, Москва — Сочи, просьба пройти на посадку…

Наташа. Мне пора.

Евдокимов. Посмотреть, как ты будешь взлетать?

Наташа. Нет. Это будет не скоро…

Молчание.

Да, так и забыла рассказать… как я читала. Ты знаешь, я действительно очень мало читала. Я даже не думала… (*Остановилась.)*

Радио. Пассажиры, вылетающие рейсом Москва — Сочи, просьба пройти на посадку.

Наташа. Понимаешь, нам было очень легко… сначала… за это нужно расплачиваться. Дальше нам будет все тяжелее,

тяжелее… потому что я хочу уважения. А я его, в общем, не заслужила… а я его хочу… потому что… ну я… я хорошо к тебе отношусь. Если бы я хуже относилась… я бы могла…

Молчание.

А сегодня я точно поняла… ты никогда не будешь… так ко мне относиться, как я хочу. Я всегда буду, в общем, чуть-чуть случайной… **Евдокимов.** Ты дурочка… «в общем»… Наташа. Ну вот, мы так все время: «Дурак, дурочка…» — и больше ничего не можем сказать.

Молчание.

А опыт будет… опасный?

Евдокимов. Чепуха. Прокрутим одну машину — и порядок.

Наташа. Я почему-то думала — опасный. Мне всегда лезут в голову какие-то глупые мысли…

Евдокимов. Когда ты вернешься, у нас как раз будет вечеринка… по случаю отъезда на «Альфу». Я тебя познакомлю с моими друзьями… Только не надо…

Наташа. Нет, нет, я не буду плакать. Я — все… Скажи только одну вещь: ну зачем я тебе нужна? Ведь тебе никто не нужен! Ты сам сильный!

Евдокимов *(вытирая ей лицо).* Ну что ты, Наташка.

Наташа. Молчи. Я все равно буду плакать, наверное… Просто есть дни, когда все время плачешь. Глаза на мокром месте.

Радио. Бортпроводницу Александрову Наталью Федоровну просят пройти к самолету.

Наташа. Дай я хоть немного попудрюсь. Что-то я вообще сегодня несдержанная. Опять погорела выдержка. *(Вдруг.)* Поцелуй меня… еще… еще, ладно?

Евдокимов *(целует ее в мокрое лицо и шепчет).* У тебя невероятные волосы. Я каждый раз удивляюсь, какие у тебя волосы.

Наташа. Тихо, Эла, тихо… На нас все время смотрят.

Евдокимов. Пусть смотрят. *(Опять шепчет какую-то чепуху.)* На нас целый день смотрят. На нас всю жизнь смотрят… У тебя абсолютно золотые волосы.

Наташа. Да, у меня лучшие волосы в СССР.

Евдокимов. Я напишу стихи о твоих волосах. Сентиментальные стихи о твоих волосах.

Наташа *(счастливо).* Выдержка, Эла, выдержка…

Радио. Бортпроводницу Александрову Наталью Федоровну просят срочно пройти к самолету.

Наташа. Я побежала, Эла.

Евдокимов. Давай, Александрова.

Наташа. И пошустрее там с твоими машинами. Чтобы девушка могла тобой гордиться… Салютик, Эла.

Евдокимов. Салютик, Наташа.

Затемнение.

Комната в НИИ. За столом — **Галя.** Входит **Евдокимов,** просматривая на ходу «Вечерку».

Евдокимов. Первоклассное объявление: «Сто семьдесят пятая школа покупает скелет для ботанического кабинета. С предложениями о скелетах обращаться по телефону 221-3205. До четырех часов». Загнать бы скелетик.

Молчание. Евдокимов усаживаясь за свой стол, напевает. Звонок телефона.

(Берет трубку.) Семенов вышел… Знаете, я не в курсе… *(Кладет трубку.)* К нам рвется некий «корреспондент Владыкина». К чему бы это?

Галя *(механически).* Я думаю, к дождю…

Евдокимов. Да, Семенов объявил… что тебя окончательно освободили от «Альфы»…

Галя. Я знаю.

Евдокимов *(напевает).* «Эх, разрядушка, бухнем, а реакция сама пойдет…»

Галя. Это даже к лучшему. У меня будет свободная среда. Ты знаешь, в среду в шахматном клубе… *(Остановилась, помолчала, небрежно.*) А я вчера вечером ездила на «Альфу».

Евдокимов. Чего это вдруг?

Галя. Семенов посылал за режимами. Евдокимов. Красиво там, да? Белые березы… «Эх, разрядушка, бухнем…»

Галя. У меня там была уйма свободного времени. Я там… разглядела…

Молчание.

Евдокимов. Видишь ли… Мы с Владюшей с самого начала знали, что тебе не разрешат… И поэтому…

Галя *(небрежно).* Евдокимыч, это все довольно рискованно…

Евдокимов. Да, есть кой-какой процент. *(Читая газету.)* «Киностудия покупает седые волосы и французские зажигалки…»

Галя. Я даже думаю, что в двух случаях из четырех… вы кувырнетесь?

Евдокимов. Отличное слово — «кувырнетесь»!

Молчание.

Да, ты заметила, там на березах невероятное количество грачей? Миллиард грачей. Они так орут, точно у них круглый

день идет совещание.

Звонок телефона.

(Берет трубку.) Семенов не приходил… Нет, не знаю. *(Кладет трубку.)* Опять безутешная Владыкина. Чтобы к нам пройти, нужно заполнить тысячу заявок. **Галя.** Да, вы здорово меня провели. Вы и Семенова, наверное, также провели. Он такой спокойный ходит. Вы, ребята, — молодцы.

Молчание. Далекие разряды.

Слушай, если говорить серьезно, Владик из нас всех… из всего выпуска… самый «сильный», да? Евдокимов. Да.

Галя. Ты помнишь, как его любил шеф? Он просто с ума от него сходил.

Евдокимов. Он сходил.

Галя. Евдокимыч, не нужно его брать на «Альфу».

Звонок телефона. Евдокимов не подходит.

Слушай, он не поедет на «Альфу»! **Евдокимов.** Поедет.

Телефон звонит безостановочно. Евдокимов не подходит.

Опять этот корреспондент. Я просто умру от этого трагического корреспондента.

В дверь просовывается голова Феликса.

Феликс. Здравствуйте, отцы! Есть информация, что вы завтра уезжаете.

Евдокимов. Все правильно, Топтыгин. Феликс. Есть информация, что у вас сегодня вечер по случаю этого радостного события.

Евдокимов. И это точно.

Феликс. Вот, все я знаю… Где Семенов? Его разыскивает какой-то корреспондент.

Евдокимов. Семенов на «модели».

Феликс исчезает. Разряды.

Да, мы здорово выросли. Может быть, пройдет время — и этот опыт будет считаться классическим.

Галя. Так вот. Если ты возьмешь его на «Альфу», я сейчас же все объясню Семенову. Придет Семенов, и я Семенову все объясню. Семенов не захочет за вас отвечать.

Евдокимов. Семенов, Семенову, Семеновым, о Семенове…

Галя. Я тебя в последний раз прошу. Евдокимов (*жестко, коротко)*. Нет.

Молчание.

(Читает.) «Киностудия покупает седые волосы»… да, это я уже читал.

Входит Семенов.

Галя. Петр Сергеевич! **Семенов.** Да.

Молчание.

В чем дело, Галя?

Галя *(после паузы).* Там какой-то корреспондент все время звонит.

Семенов. Уже… корреспонденты появились. Где Владик?

Евдокимов. Ушел домой.

Семенов. Передадите ему, что машина завтра придет за ним в ноль десять… Личная просьба, Галя. Вы сейчас посвободней всех, побеседуйте, пожалуйста, с корреспондентом. *(Уходя.)* Если будут звонить — я в проходной… вызволяю эту Владыкину. *(Уходит.)*

Евдокимов. У тебя хватило предусмотрительности сдержаться.

Молчание.

Кстати, Семенов обо всем, конечно, знает. Семенов первоклассный инженер. Смешно было подумать… Ну, ладно, проработаешь с ним побольше…

Галя. Меня не интересует Семенов.

Евдокимов. Если что случится, Семенову снимут за нас голову. Но он рискует.

Галя. Элик, ты пойми… Он — Владик!.. Нескладный и нелепый Владик! Яне хочу, чтобы он… Я его люблю. И он меня тоже!

Евдокимов. Отлично. Когда же это вы объяснились?

Галя. Не важно. Я его люблю. И мы поженимся. А ты все хочешь уничтожить. Ты не человек. У тебя вчера одна, сегодня — другая, завтра — десятая! Ты сам… твои девчонки! Вы все — пошлые! Вы… Вы… *(Замолчала.)*

Евдокимов. Я в первый раз видел, как ты потеряла чувство юмора. Ты, оказывается, тоже впечатлительная.

Галя. Замолчи.

Евдокимов. Ты очень здорово сказала о любви. Я даже вспомнил третий курс. Помнишь третий курс?

Галя. Я просила: замолчи!

Евдокимов. Я тебе нравился на третьем курсе. Очень… Помнишь, нас послали на картошку… и мы шли с тобой ночью, к бревнам?

Галя. Я не хочу слушать.

Евдокимов. Я тебе тогда невероятно нравился. Тебе потом никто так не нравился. Но ты испугалась. Ты рассудила: дело может зайти далеко. Я ведь считался веселым мальчиком. Но тебя

не интересовало, с чего это я был тогда такой веселый. Ты интересовалась только собой… И во имя себя ты предпочла… от меня держаться подальше.

Галя. Я прошу тебя…

Евдокимов. А ты мне тогда ужасно нравилась. Я тебя любил тогда. Но ты сберегла. Ты молодец. Потом появился Владик. Ты рассудила, что в него можно спокойно влюбиться. В него не страшно влюбиться. Галя *(еле слышно).* Ну, хватит…

Евдокимов. Но даже тебе нужно немного романтики. И ты придумала эти глупые звонки по телефону. И он знает, что это ты звонишь. И ты знаешь, что он это знает. Сентиментальные развлечения кибернетической машины.

Галя. Хватит!

Евдокимов. Все будет в порядке, Галка. Ты выйдешь за него замуж. Ты ведь сейчас беспокоишься за него тоже во имя себя. Бессознательно, но во имя себя… Не теряй юмора. Ты никогда не любила. Ты даже не знаешь, что это такое… И за это, если ты заметила, тебя вокруг тоже никогда не любили.

Разряды.

А насчет «Альфы» не беспокойся. Участвуют двое — я и Семенов. Владик стоит у приборов.

Молчание. Разряды слышнее. Входит **молоденькая девушка** с портфелем.

Девушка. Здравствуйте, вот наконец и я. Евдокимов. А кто же это «вы»?

Девушка. «Я» — это корреспондент. Евдокимов. Как же вас зовут, корреспондент? Девушка. Меня зовут Владыкина. Евдокимов. Очень хорошо. Я Элик, а это — Галя.

Владыкина (*поняла, засмеялась).* Ясно. А я Вера… Я к вам по такому делу. Мы проводим анкету среди молодых талантливых ученых. Что вы смеетесь?

Евдокимов. «Талантливых» — здесь не говорят. У нас употребляют термин «сильный» или еще «тянет» — «не тянет».

Владыкина. Понятно. Среди «сильных» ученых, которые «тянут». Я отлично знаю, что ваша работа закрытая. Поэтому вопросы только общего характера.

Евдокимов. Ну например?

Владыкина. Например: «Ваш любимый поэт».

Евдокимов. Больше всего я люблю греческого поэта Нофелета… Вы, наверное, слышали о нем?

Владыкина. Да… что-то слышала.

Евдокимов. А ничего не читали?

Владыкина. Что-то читала. Точно не помню.

Евдокимов. Поразительно. Как вы сумели? Нофелет — это телефон, но только наоборот.

Владыкина. Да ну вас, я ведь серьезно.

Евдокимов. Нет. Я не верю, что вы серьезно. Для этого вы слишком неглупая девушка. И я тоже — несерьезный… Ну, вы не обижайтесь на меня. У меня зарез со временем, я завтра уезжаю. А Галя на все ответит. Она по любимым поэтам у нас мастерица.

Галя. Не нужно.

Евдокимов. Не буду. Ну, до свидания, Галка. Я, может быть, не то сказал…

Галя. Нет, все то. Ты что же, больше не зайдешь до отъезда?

Евдокимов. А ты не идешь сегодня на вечерок?

Галя. Нет. У меня сегодня в шахматном клубе…

Евдокимов. Ну, тогда до свидания, Галчонок.

Галя. Я желаю тебе…

Евдокимов. Я знаю. Все будет хорошо… А Веру проводи к Гальперину. Пусть ей покажут, как рвутся проволочки. Это всегда впечатляет. Салютик, Вера Владыкина. *(Уходит.)*

Владыкина. Он очень странный.

Галя. Да.

Владыкина. Он, наверное, голодный. Я заметила: когда мужчины голодные, они становятся психами. Вот у меня брат…

Затемнение.

Комната в квартире Владика. Звуки магнитофона, шум голосов за сценой. В комнате — торшер, наряженная маленькая елочка на шкафу, бесконечные книги. Входят Наташа, Евдокимов, Владик.

Евдокимов. Запри дверь.

Владик запирает.

(Берет гитару. Садится.) Мы молоды, в меру пьяны. Он, друг и любимая девушка. И он поет песню в честь друга Владика. *(Наташе.)* Можно? **Наташа.** Можно.

Стук в дверь.

Голос из-за двери. Эй, Евдокимов, куда вы исчезли?

Евдокимов. Мы не исчезли. Мы философствуем.

Второй голос. Эй, вы, философы у торшера! Отдайте гитару!

Евдокимов. Не отдадим. У вас магнитофон. Наташа *(Владику)*. А у вас здесь очень много книг…

Евдокимов. Светские разговоры. Ну, вы! Кончайте стесняться. Давайте, знакомьтесь. *(Представляет.)* Наташа, лучшая девушка в СССР. Кроме того, она летает по воздуху.

Наташа. Хватит?

Евдокимов. Стюардесса на международных линиях.

Наташа. Ни на каких международных линиях я не летала. И вообще…

Евдокимов. Ну, ладно, ладно… Очень скромная. Завтра она полетит первый раз в Брюссель, между прочим. Вот так, друг Владюша. Мы с тобой поедем на «Альфу», а она полетит в Брюссель. Где справедливость?

Наташа. Всегда ты смеешься. Больше никогда тебе не буду ничего рассказывать!

Евдокимов. Ты молчи, скромная. Мы теперь будем встречать тебя в аэропорту. А то к ним пристают там разные пассажиры.

Наташа. Ой, какая чепуха… Откуда ты это взял?

Евдокимов. Как откуда? Я сам всегда пристаю. Ну давайте что-нибудь споем хором.

Голос из-за двери. Евдокимов, привет!

Евдокимов. Ура! Появился шумный Гальперин. Герой всех наших вечерин — Петр Семеныч Гальперин.

Голос. Евдокимов! Я только что прочел твою статью в «Вестнике». По-моему, это бред сивой кобылы.

Евдокимов. Уберите Гальперина!

Голос. Евдокимов! Я бы даже сказал, что это бред сиво-фиолетовой кобылы.

Хохот.

Евдокимов. Остроумные люди, однако, наши современники!

Голос. Слушай! Правда, ты привел какую-то потрясающую девушку?

Евдокимов. Привел.

Голос. Ну открой, дай посмотреть.

Евдокимов. Не дам.

Голос. Почему?

Евдокимов. Сглазишь.

Голос Феликса (*из-за двери).* Отцы! Почему вы так уединились? Мы грустим о вас.

Голос Гальперина. Я Феликса с собой притащил.

Голос Феликса. Чувствую вашу радость при этом известии. Я мечтаю увидеть вашу девушку. Я стремлюсь к вам, как усталый путник стремится к живительному ручью.

Евдокимов встает, открывает дверь. Входят **Феликс** и **Гальперин** .

Гальперин *(здороваясь с Наташей).* Петя Гальперин. *(Евдокимову.)* Кое-что получается с проволочками. Нужно поболтать.

Феликс. Петя Гальперин, ты — Прометей. Ну не томись.

Поздоровался с хозяевами и исчезай. Отпустите, пожалуйста, Прометея Гальперина на побывку на танцы. Там с ним пришла такая золотистая корреспондентка…

Гальперин *(задумчиво).* Странная вещь. Почему-то летом и весной появляется большое количество красивых девушек. А вот зимой совсем не так.

Феликс. Зимой у них спячка.

Гальперин уходит. Молчание.

(Евдокимову.) Что же ты не познакомишь меня с девушкой, отец?

Наташа. Не надо притворяться. Мы с тобой отлично знакомы, Феликс.

Феликс *(почтиудивленно).* Действительно… знакомы… Мы живем с Наташей в одном доме. Соседствуем, так сказать.

Наташа *(тихо, отрывисто Евдокимову).* Знаешь… это… он.

Евдокимов. Знаю.

Наташа *(удивленно глядит на него).* А ты… правда очень умный.

Феликс. С Новым годом! С новым счастьем! Как будто у кого-то старое счастье. *(Усаживается.)* Хорошо, что я к вам пришел в гости. Вот Владик не находит? Ну и не надо. Я все равно пришел… Можно мне немного с вами помыслить? Представляете, где-то там, в просторах Вселенной, вертится голубая планета Земля. И вот в одном из тысяч городов, на одной из миллионов улиц, в одном из миллиардов домов сидят грустные мальчики — мужчины и грустная девочка — женщина. И мыслят. Давайте, мальчики, помыслим.

Евдокимов. О чем же помыслим, Топтыгин?

Феликс. Несущественно. Теперь все время о чем-то мыслят. Как у Гоголя. Помните, у Чичикова был какой-то лакей. Он ужасно любил читать. Ему было абсолютно все равно, что читать. Ему нравился сам процесс чтения. Так вот, помыслим ради процесса, мальчики?.. А Евдокимов ужасно бесится, когда его называют мальчиком. Он в институте всегда прибавлял себе годы. Тяга к зрелости… Евдокимов, ты у нас старикан-старичище…

Владик. К чему вся эта болтовня?..

Феликс. Какой ты конкретный человек, Владик. Вот ты сидишь такой умный. Невероятно меня презирающий. Вечно невозмутимый. Оракул из почтового ящика…

А на самом деле ты очень прост. И вообще сентиментален. И твоя отроческая любовь к Г. О…

Евдокимов. Слушай, Топтыгин…

Феликс. Молчу. Кстати, ты тоже очень прост. Ты все время

хочешь походить на Владика. Но у тебя это плохо получается… Эта голубая планета ужасно вертится. Не могу сосредоточиться. Трясет.

Наташа. Я никогда не думала, что ты станешь фигляром. (*Евдокимову.)* Потанцуем.

Евдокимов. Сиди.

Феликс. Поймал!..

Евдокимов. Что?

Феликс … Мысль… Я просил Семенова разрешить мне вернуться в отдел.

Евдокимов. Дальше.

Феликс. Семенов сказал, что он не возражает. Он сказал, что я неплохой человек.

Владик. Неплохой человек — это еще не профессия.

Феликс. Ясно. Деловая часть закончена. Элик, сыграй что-нибудь.

Евдокимов. Нет.

Феликс. Зря. Я очень люблю, когда ты поешь… Предлагаю (*Евдокимову*) игру.

Евдокимов. Что же это за игра, Топтыгин?

Феликс. Народная игра. Собираются на голубой планете Земля двое. Чуть поддают и начинают говорить друг другу правду… А они пусть потанцуют.

Наташа. Я не хочу.

Евдокимов. Потанцуй.

Наташа. Потанцевать, да?

Феликс. Не волнуйтесь, Наташа. Мы мирные люди. Игра у нас будет совершенно мирная. Вы потанцуйте пока.

Владик усмехается, начинает танцевать с Наташей.

(Евдокимову.) А здорово ты ее подмял. Полная потеря индивидуальности. Каждая женщина — немного «душечка»… Итак, правда первая. Вы не возьмете меня обратно?

Евдокимов. Нет.

Феликс. Почему?

Евдокимов. Потому… что.

Феликс. Правда вторая. Ты можешь успокоиться. Она сама меня бросила. Для таких, как ты, это важно.

Евдокимов. Может, хватит, Топтыгин?

Феликс. Я не Топтыгин. Я животворный оптимист. Кстати, хотите узнать третью правду — как становятся животворными оптимистами?

Евдокимов. Ай-яй-яй, как образно!

Феликс. А знаешь, ты прав: это все смешно. Невероятно

смешно. Ему тоже стало смешно. Так смешно, что он до сих пор не может остановиться. Все смеется на голубой планете Земля. Давайте смеяться! Он полон смехом, как беременная рыба икрой. Впрочем, рыбы называются не беременными, а как-то иначе.

Наташа. Не надо больше, Феликс.

Феликс. Чего не надо?

Наташа. Говорить больше не надо. И пить тоже.

Феликс. А я это не им рассказывал, Наташа.

Наташа. Я… все поняла. *(Мягко.)* Но больше не надо, ладно?..

Евдокимов. Ты сложный человек.

Феликс. Не говори.

Евдокимов. Ты простой человек. Ты прост как… как…

Феликс. Потом придумаешь, как что я прост.

Евдокимов. И еще, Топтыгин, я ненавижу людей, которые…

Наташа. Перестань, Эла. *(Подойдя к Феликсу, тихо).* Ты знаешь, Феликс, вот мне отчего-то кажется… что все у тебя будет хорошо. Поверь мне… У меня на это нюх… Все будет просто великолепно. А сейчас иди домой.

Феликс. Можно мне с тобой потанцевать?

Наташа. Потанцевать, да? Ну конечно, давай потанцуем.

Феликс. Нэ. Пожалуй, нэ надо. Ты грустная девушка, я тоже грустный. Двое грустных — это уже коллектив. А вот, по-моему, мы все должны быть веселыми, как утренние воробьи. Как скворцы в мартовской роще… Вы когда уезжаете завтра?

Владик. В ноль десять.

Феликс. Желаю удачи… Проводи, хозяин.

Феликс и Владик уходят.

Евдокимов *(Наташе).* Чего ты сидишь?

Наташа. А что мне делать?

Евдокимов. Танцевать. Или, может, пойдешь поцелуешь его, как того летчика?

Наташа. Вообще, надо бы.

Евдокимов. Слушай, серьезно, ты шизофреничка?

Наташа. Ты знаешь, Эла, я на тебя не обижаюсь. Тебе все это очень трудно понять. У тебя всегда было в жизни все… не плохо. А вот у него — не вышло. Не все люди такие сильные, как ты… Но с возрастом, наверное, у всех появляется потребность уважать себя. У него — тоже… Я не понимаю, о чем он вас просил. Но он просил. А ты на него плюнул.

Евдокимов. Закончила, да?

Наташа. Ну что с тобой говорить? В тебе есть один… дефект: ты совершенно, ну ни капельки не умеешь жалеть людей. Это

потому, что тебя еще ни разу не трахнуло в жизни. Вот когда-нибудь разочек трахнет… и ты сразу станешь все понимать.

Евдокимов. Так как же насчет поцелуя? Наташа. Какой ты дурачок сейчас. Евдокимов. Вот что, умница. *(Бешено.)* Бери своего Феликса, свой плащ… и все втроем — двигайтесь отсюда!

Наташа. Хорошо. *(Пауза.)* До свидания.

Он молчит. Она уходит. Возвращается Владик, усмехнулся, сел.

Евдокимов *(хмуро)*. Ерундой много занимаемся. Работать перестали.

Владик. Я сразу понял, что ты в нее влюбишься. Единство противоположностей.

Евдокимов. Спасибо, что объяснил. Никак не мог понять, чего это я в нее влопался.

Владик. Ты ужасно разговариваешь. Впрочем, жаргон — это язык шиворот-навыворот. Это язык молодости. Однажды мы заговорим правильно — и это будет означать, что молодость прошла.

Евдокимов. Нет, как ты умеешь все объяснить! До завтра.

Владик. До завтра…

Евдокимов выходит. Владик один. За сценой звуки магнитофона, смех, говор.

Затемнение.

На следующий вечер. Квартира Евдокимова. Евдокимов один. Часы бьют половину одиннадцатого. Звонок телефона. Евдокимов бросается к трубке.

Голос Владика *(из трубки)*. Привет.

Евдокимов (*разочарованно)*. Ты…

Голос Владика. Звонил Семенов: машина за тобой придет к двенадцати.

Евдокимов. Ясно.

Голос Владика. Ты что сейчас делаешь?

Евдокимов. Читаю.

Голос Владика. Ждешь ее?

Евдокимов. Не люблю, когда ты разговариваешь на эти темы. Кстати, захвати карты, а то в свободное время мы взбесимся от скуки. (*Кладет трубку. Продолжает расхаживать по комнате* .)

Резкий звонок у входной двери. Евдокимов улыбается, бросается открывать. Шум, голоса. Евдокимов возвращается очень хмурый с матерью и отчимом. Мать — моложавая женщина в очках, тип «красивых женщин — научных работников». Отчим —

ее возраста, сухой, кашляющий, очень застенчивый.

Мать. Никогда не предполагала, что ты вечером будешь дома. Сразу открой форточку — здесь отчего-то ужасно пахнет клопами. *(Открывает форточку.)* Электрон, унеси из передней чемоданы Аникина.

Отчим. Зачем же. Я сам могу их унести. *(Выходит.)*

Мать *(шепотом)*. Ты понимаешь, такое событие: Аникина выдвинули в членкоры. Мы сразу вылетели. А Генку оставили. Ему там очень хорошо. Я только боюсь, что он сойдет с ума от свободы…

Евдокимов выходит.

Нет, отчего так пахнет клопами? (*Вдруг что-то заметила на полу. Подняла. Разглядывает. Усмехнулась. Положила в карман* .)

Звонок телефона. Евдокимов бросается к телефону. Из своей комнаты бросается к телефону и отчим.

Евдокимов (*успевает раньше)*. Алло… *(Хмуро, отчиму.)* Вас.

Отчим *(берет трубку)*. Да, я. Здравствуй, Семен… Невероятно комическое обстоятельство… Сегодня заключительный тур… Ну, если я скажу, что это мне безразлично, ты ведь все равно не поверишь… *(Смеется.)* Варианты такие: Федосевич — слишком молод… Попов — вообще никогда не обременял себя наукой. Он деятель больше общественный… Ваш покорный слуга тоже сделал в науке весьма маловато. (*Замолчал, выслушивая с улыбкой ответный поток слов, в котором содержалась вся высокая степень оценки его заслуг.)* Ну, ну, ну… Может быть, Репин? Но он всем и вся насолил. Так что остается пока гадать… Ну, звони, звони. *(Вешает трубку. Матери.)* Борисов передает тебе привет.

Мать. Но откуда у нас все-таки пахнет клопами? Может быть, они к нам переползли?

Отчим. Я, собственно, ничего не чувствую.

Мать. Мужчины никогда ничего не чувствуют. Нет, они определенно переползли из двенадцатой квартиры… Электрон, почему ты не интересуешься братом Геннадием?

Евдокимов. Интересуюсь.

Мать. Он становится до невозможности похож на тебя. Он у всех знакомых девушек спрашивает, не знают ли они Нофелета. Помнишь эту твою шутку, которую ты придумал в седьмом классе?

Евдокимов. Помню.

Мать. Дивный парень! Абсолютно влюблен в математику. И при этом пижон страшнейший. Он читал какие-то стихи и что-то перепутал. А Нинель Борисовна его поправила. И он абсолютно

невозмутимо ей сказал: «Сточки зрения трехзначной логики это все несущественно». Чем привел своего отца, гуманитария Аникина, в совершенный восторг.

Евдокимов *(тихо).* Кретин.

Мать. Что с тобой?

Евдокимов. Ничего. Вспоминаю, какой я был кретин. Кстати, что это за записочки валяются на всех столах? *(Читает.)* Федосевич — шесть, Репин — восемь.

Мать. Тсс… Это Аникин подсчитывает варианты. *(Смеется.)* А говорит, что ему все равно. Отлично!

Евдокимов хочет уйти.

Электрон, почему на кровати должны лежать мыльницы?

Евдокимов. Я уезжаю сегодня на «Альфу».

Мать. Как — уезжаешь?!

Евдокимов. В двенадцать.

Мать. Ну что же ты молчал? Что у вас там?!

Евдокимов. Да так.

Мать. Любопытное что-нибудь?

Евдокимов. Да нет, обычная ерунда.

Мать. Передавай привет Семенову. Так. Значит, тебе нужно сесть и внимательно продумать, что ты с собой возьмешь, а не бегать все время к телефону, как опаленный таракан. Главное, не забудь зубную щетку.

Звонок. Отчим и Евдокимов тотчас бросаются к телефону.

Евдокимов (*успев раньше).* Алло! Вы не туда попали. *(Вешает трубку, выходит.)*

В комнате мать и отчим.

Мать *(вынимая что-то из кармана).* Аникин, что это?

Отчим. По-моему, это шпилька.

Мать. Так. Я нашла ее на полу.

Отчим. Он вроде не мальчик.

Мать. Не в этом дело. Я удивляюсь, что ты ничего не видишь. Он стал очень странный. Эта беготня к телефону… Он влюблен! Неужели ты не видишь! А я совершенно не знаю, кто она! *(Нюхает ветку эвкалипта. Торжествующе.)* Так вот! *(Выдергивая ее из вазы.)* Значит, от этой страшной ветки пахло клопами! Ее нужно немедленно уничтожить. *(Выходит.)*

Звонок телефона. Евдокимов и отчим бросаются к телефону.

Евдокимов (*успевая раньше).* Алло! *(Мрачно.)* Вас. **Отчим** *(берет трубку).* Здравствуй, Николай!.. Понимаешь, комическое обстоятельство. (*Замолкает, выслушивая поток слов собеседника.*)

Ну, спасибо, спасибо. *(Кладет трубку, уходит.)*

Возвращается мать.

Мать. Ты положил в чемодан зубную щетку?

Евдокимов. Положил.

Мать. Боже мой, пятнадцать минут двенадцатого. Нужно что-то тебе сготовить. Куда-то девались все сковородки. После лета все сковородки куда-то исчезают. Ты понимаешь, кажется, Аникина все-таки изберут.

Евдокимов. Меня это мало интересует.

Мать. Тебя сейчас ничего не интересует. Евдокимов. Здесь стояла ветка. Куда ее дели? Мать. У нее был клопиный запах. Я ее выбросила. Евдокимов. Это была моя личная ветка! И я никого не просил!..

Мать. Ну, ладно… Ладно…

Молчание. Он собирает чемодан.

Элик!

Евдокимов. Да?

Мать. Мы с тобой редко разговариваем. Я всегда занята. Я, наверное, неважная мать. Но я бы хотела, чтобы ты мне ее показал.

Евдокимов. Кого?..

Мать. Ее… ее. *(Выходит.)*

Евдокимов один. Часы бьют половину.

Евдокимов *(грустно усмехается)*. Все… Мать *(входя)*. Одну сковородку я обнаружила в ванне. Почему?.. Ну, серьезно, Элик, я хоть раз *ее* видела? Евдокимов. Кого?

Мать. Ну, ее… которая сюда приходила.

Евдокимов. Не нужно, мамочка. Чушь все это. Приходила, уходила… Одна, другая… все это несерьезная чушь. *(Уходит.)*

Мать. Аникин! Аникин!

Из своей комнаты выходит отчим.

Неужели я опять ошиблась?

Отчим. Нет. Федосевич слишком молод… Они это не любят… *(Трагически.)* Но Попов?!

Мать *(трагически)*. Он, кажется, ни в кого не влюблен!

Отчим. Ну вот и хорошо, а ты волновалась.

Мать. Что ж тут хорошего, Аникин? Ну почему он такой? Ну почему он не умеет любить?!

Затемнение.

Парадное дома Евдокимова. В парадном Наташа, в форме и с

чемоданчиком. Стоит, прислонясь к клетке лифта. Надпись «Лихта не работает». По лестнице спускается Евдокимов, тоже с чемоданчиком. Они стоят и смотрят друг на друга.

Евдокимов. Ясно.

Наташа. Я просто проходила мимо и решила… Евдокимов. А позвонить ты не могла? Наташа. Понимаешь, я не знала, удобно ли это. Я как раз по лестнице поднималась… Там к тебе кто-то приехал… Я и решила подождать здесь… немного. Евдокимов. Значит, ты ждешь два часа? Наташа. Два или двадцать два… не помню и не важно.

Евдокимов. Я люблю тебя, Наташа.

Наташа *(почти испуганно).* Что ты?

Евдокимов. Я очень люблю тебя.

Наташа. Ну, тише, тише… А наверное, справедливость все-таки есть. Я загадала: если мы с тобой встретимся сегодня, значит, есть справедливость.

Евдокимов целует ее.

Ну, не надо. Ну, не хочу я… Ну вот, всегда ты пользуешься своей силой.

Он целует ее.

Наташа. Да не любишь ты меня. Ты просто так, «чмокальщик». Ну целуй! Целуй! Все равно тебя брошу. И мы совсем не подходим друг к другу.

Он целует ее.

Ты эгоист. Ты терпишь меня за то, что я к тебе хорошо отношусь. А доброту вообще… ты не понимаешь! Брошу я тебя! Вот соберусь с силами и брошу… Просто у меня сейчас с выдержкой плохо. **Евдокимов.** Я люблю тебя, люблю…

Гаснут и вспыхивают фары, освещая парадное.

Я ходил к тебе домой.

Наташа. Я знаю. Я у Лильки жила. Я только сегодня с матерью помирилась. Она мне трет морковный сок. Но я все равно не поправлюсь. Она говорит, что не в коня корм… Элка… Я больше не могу так… Я все думаю… иреву… Ты молчи, молчи… Я каждое утро с тобой разговариваю. Вот проснусь и спорю с тобой, как идиотка. Ты только молчи. Все как надо. Так и должно было быть. И всегда ты обо мне бог знает что будешь думать. И правильно! Девчонка, с которой ты познакомился в кафе… А! Это невозможно. Ты не имеешь права обо мне так думать! Потому что… Элка — мой, мой, мой. Я люблю тебя. Я немыслимо… я даже не знала, что так можно… Элка, я хочу… Я не виновата! Откуда я знала, что я тургеневская барышня! А ты все равно будешь на меня так смотреть! Потому что… Ты молчи, молчи…

Это нам — за все… Что это светит?

Евдокимов. Машина. За мной.

Наташа. Вот и хорошо. Иди, иди.

Евдокимов. Наташка.

Наташа. Молчи. Потом… А сейчас иди, иди. Евдокимов. Боишься, как всегда, быть обузой?

Наташа. Знаешь, я тебе подарю этого орла. (*Снимает с груди птичку* .)

Евдокимов. Тебе не попадет?..

Наташа. Уезжай, уезжай, наконец. Евдокимов. У нас все дела закончатся к двадцать первому. Значит, двадцать второго — у метро «Динамо».

Наташа. Я тоже улетаю сегодня утром. Евдокимов. К двадцать второму-то прилетишь?

Она кивает.

У метро «Динамо». В семь часов.

Наташа. Ну, разлетелись в разные стороны? Евдокимов. Ты вспоминай там обо мне. Наташа. Все твои дела будут хороши! Иди, иди, Эла!

Евдокимов. Салют, Наташка. Привет Брюсселю!

Затемнение.

У метро «Динамо», Владик и Евдокимов с цветами. Очень солнечный день. Бравурная музыка. Рядом щит с плакатами. На одном из плакатов — стюардесса с поднятой кверху рукой. Надпись «Летайте самолетами Аэрофлота».

Евдокимов (в *сторону плаката)*. Здравствуй, Наташа… Сто лет не покупал цветы девушкам.

Голос. Нет лишнего билетика?

Евдокимов. Нет… Ты знаешь, когда мы сегодня утром уезжали, я посмотрел на Семенова. У него была такая счастливая рожа. И только тогда я понял: «Выиграли». Вот, наверное, ради таких минут живут люди… Завтра все это будет очень привычным.

Голос. Есть лишний билетик?

Евдокимов. Есть… в баню.

Голос. Охламон ты!

Евдокимов. Согласен, друг, я — охламон… Люблю ходить на футбол, Владька. Азарт. Вот ты знаешь, эта Наташа — действительно лучшая девчонка в СССР. Вот она сейчас придет, и я при тебе ей это скажу. *(Смеется.)*

Появляется Ира. Оглядывается. Замечает Евдокимова и

останавливается в стороне.

Владик. Только не при мне.

Входит веселый гражданин.

Гражданин *(Евдокимову).* Здорово!

Евдокимов. Привет деятелям балалайки.

Гражданин. Ну, как сложится игра?

Евдокимов. «Динамо» штуки две положит на калитку.

Гражданин. Вот такие дела… Вот окончилась эра колониализма? Ушла, значит, в безвозвратное прошлое? Вот так же точно закончилась эра господства московских команд. Стремительный Мунтян в Москве есть?

Евдокимов. Нет в Москве стремительного Мунтяна.

Гражданин. А искусный Онищенко где, в Москве? *(Владику.)* Ты как считаешь?

Владик. Когда я вижу, как двадцать два взрослых человека гоняют один надутый шар, я отчего-то сразу вспоминаю, что всего двести пятнадцать миллионов лет назад землю населяли гигантские ящеры.

Евдокимов. Не обращайте внимания, он сухой. *(Владику.)* Ты посмотри, как на нас смотрит эта кроха. *(Шепотом.)* Владюша, ты ей нравишься.

Гражданин *(Евдокимову).* А где же твой Чернышевский?

Евдокимов. Вот скоро должен подойти… А я вот точно знал, что я вас сегодня встречу.

Гражданин. Откуда же ты знал?

Евдокимов. Я всегда знаю, что со мной случится. У меня на небе есть специальный человек. Он заведует моими удачами… Ну, как ваша балалайка?

Гражданин. Бросил.

Евдокимов. Чего так?

Гражданин. Понимаешь, чувство юмора не позволило. Бросил балалайку — и ушел в цирк.

Евдокимов. Что вы говорите! Чем же вы занимаетесь в цирке?

Гражданин. Иллюзией… Достаю из воздуха разные чашки, ложки…

Евдокимов. Очень полезная вещь. А вот бифштекс вы не смогли бы достать из воздуха? А то я с утра сегодня голодный.

Гражданин. Нет.

Евдокимов. Чего ж так слабо?

Гражданин. Иллюзия так не делается. Для иллюзии, пташечки мои, букашечки, всегда нужен партнер. *(Усмехнулся.)* Для иллюзии нужны двое. *(Уходит.)*

Ира *(подходя к Евдокимову).* Простите, вы Евдокимов?

Евдокимов. Допустим.

Ира. Можно вас на минутку?

Евдокимов. Можно.

Отходит в сторону. Теперь они стоят на проходе.

Голос. Не намечается лишний билетик?

Ира. Нет… Вы ждете Наташу?

Евдокимов. Да.

Голос. Нету лишнего билета?

Ира. Нету… Она мне объяснила, что вы ее должны здесь ждать. Она очень хорошо описала вас…

Евдокимов. В чем дело?

Голос. Нет лишнего билета?

Ира. Нет… Она не придет. Потому что…

Голос. Нет билетика?

Ира. Она ужасно волновалась. У вас там сегодня что-то происходило на работе. Она не придет.

Голос. Нет билета?

Ира. Нет… Они сели на аэродром. Я как раз была на поле. У них загорелось. Ну, она всех выпускала, выпускала…

Голос. Молодежь, нет лишнего билетика?

Ира. Выпускала пассажиров и не успела… Потом она пришла в себя… и все говорила… и все волновалась, как у вас там.

Голос. Ребята, есть билетик?

Ира. Она еще долго жила, два часа… Она просила передать вам, что главное — выдержка. Я пойду.

Евдокимов. Да.

Ира. Я вам еще позвоню. У меня есть ваш телефон.

Голос. Нет лишнего?

Ира. Нет… Я записала ваш телефон. А сейчас я пойду. До свидания. *(И она резко повернулась, почти побежала .)*

Евдокимов молча стоит. Потом повернулся лицом к Владику.

Владик. Элька!! Ты что?! **Евдокимов.** Ничего. Ты иди. *(Подошел к барьеру. Сел.)*

Владик неподвижно стоит рядом. Начинают передавать составы играющих команд. Звук постепенно затихает. Шум стадиона уже не слышен. В мире — тишина. Они не двигаются. Сколько прошло времени? Наверное, очень много. Потому что начал гаснуть свет. Они недвижимы. Темнота сгущается. Видны уже только огоньки их папирос.

Голос Евдокимова. Так не бывает.

Ее голос. Бывает, Эла.

— Я даже не подарил тебе цветов. Но ты и не хотела.

— Я очень хотела.

— А моя подушка пахнет твоими волосами. Когда мы заканчивали опыт, я все время об этом вспоминал.

— Смени наволочку — вот и все. Потрясающе, что у тебя вышел опыт. Девушка будет тобой гордиться. *(Смех.)*

— Я все время слышу твой смех. У тебя невероятный смех.

— Лучший смех в СССР.

— Было очень страшно?

— Да… Когда пошел дым, все туристы повскакали. Это тебе не геологи, тихие, как огурчики. Я их успокаивала… И забыла слово по-английски. И все вспоминала… и потом… А!

— Я идиот. Все было не так!

— Все было так. Я ни о чем не жалею.

— Ты была такая грустная в парадном.

— Я была счастливая. Ты знаешь, я просто сдерживалась, чтобы не заорать от счастья, потому что я поняла, что ты меня вправду любишь.

— Нет, так нельзя! Так не бывает!

— Выдержка, Эла. Главное, выдержка! По-английски «выдержка» — это…

Становится чуть светлее. У метро по-прежнему двое.

Евдокимов. Кончились сигареты. **Владик.** Я сейчас где-нибудь достану…

Молчание.

Евдокимов. Не надо. Пошли…

Они встают и молча уходят. Совсем светает. Появляется первая расклейщица афиш. Насвистывая, она заклеивает старые афиши. На доске остается только один старый плакат — стюардесса с поднятой кверху рукой.

Занавес.

Беседы с Сократом

Пир

Афины. Около полудня.

Молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый и в грязном хитоне, выкрикивает слова: «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифиец, против Сократа, сына Софрониска из дома Алопеки. Обвиняю Сократа в том, что не признает он богов, которых признает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание — смерть».

Афины. Ночь. Пир в доме Продика, богатого афинянина. На ложах в венках возлежат хозяин дома **Продик, Сократ** и ученики Сократа — **Первый** и **Второй.**

Сократ плешив, уродлив. Ему семьдесят лет, но это семьдесят лет без всяких следов дряхлости.

Хозяин дома Продик тоже немолод, но очень красив — лицо Зевса с греческой скульптуры.

В продолжение пира Продик почти все время молчит, внимательно слушает речи гостей и жестами руководит рабами, наполняющими чаши вином.

Второй (*декламирует*). Ладана сладостный дым. Амфоры с вином открыты. Запах веселый вина разлился. Золотистый хлеб. Янтарный мед. Сыр молодой. И украшен цветами жертвенник. Пир! Пир!

Продик. Как будем пить: для веселья или для оживленной беседы?

Первый. «Мы не скифы. Не люблю, о други, пьянства я бесчинного — нет, за чашей я пою иль беседую невинно…». Послушаем поэта и предпочтем хмелю радость беседы с Сократом.

Сократ (*счастливо*). Как хорошо, что мы вместе. Поблагодарим нашего хозяина Продика. Вчера я встретил его у рынка, и он пригласил меня на этот пир…

Продик. Так было.

Сократ. А сегодня после полудня я понял, что устами Продика нас созвала сюда судьба. Я счастлив, что эту ночь я проведу в беседе… за чашею… и с вами.

Первый. А что случилось в полдень, Сократ?

Сократ. Не спеши. Черед настанет. А сейчас… (*Задумался.)*

Продик. Мы старые друзья, Сократ. Я рад, что угодил тебе и твоим ученикам.

Первый *(четко).* У Сократа нет учеников, Продик. Он — противник этого слова. Он называет всех нас «беседующие с Сократом».

Второй. Посвятим эту чашу Продику. *(Пьет.)*

Сократ *(ласково Второму).* Как хорошо, что ты все время улыбаешься, Аполлодор. На тебя радостно смотреть. Ты знаешь, когда я увидел тебя впервые, мне перед этим как раз приснился сон. Мне приснилось… приснилось…

Первый *(четко, будто читая наизусть запись).* Сократу приснилось, что ему на грудь сел голубь и сладостно ворковал.

Сократ. Да-да. И когда явился ты — я сразу понял, что полюблю тебя. *(Помолчав.)* Я хочу, чтобы сегодня каждый из вас спросил меня о важном.

Первый *(насмешливо).* О важном тебя хочет спросить юный Аполлодор.

Второй *(указывая на Первого).* Он все время толкует, Сократ, что ты презираешь удовольствия и учишь…

Сократ *(в тон, шутливо).* Не верь старикам, Аполлодор, когда они рассуждают об удовольствиях. Веселись, покуда юн. Познавай себя. Но старайся делать выводы.

Первый *(насмешливо).* Сократ утверждает, что познать себя можно только через окружающих. Видимо, этим и занимался наш юный Аполлодор вчера в доме гетеры Гарпии.

Второй. Сократ! Сократ! Что мне делать, я все время влюблен! «И танцевать опять зовет нас бог…». *(Шутливо.)* Но как мне научиться делать выводы из посещений дома прекрасной гетеры Гарпии? *(Пьет.)*

Сократ *(улыбаясь, шутливо).* И это возможно, Аполлодор. Говорят, Гарпия очень богата?

Второй. Да! Да!

Сократ. Может быть, у нее есть стада коз, жизнелюбивый Аполлодор?

Второй. Нет! Нет!

Сократ. Может быть, у этой гетеры есть стада баранов, лицеблещущий Аполлодор?

Второй. Ничего такого у нее нет.

Сократ *(лукаво).* Тогда откуда же у нее богатство?

Второй *(горестно).* От поклонников, Сократ.

Сократ. Тогда тебе следует сделать вывод, что иметь стадо поклонников не менее выгодно, чем стадо баранов. Или предположить, что для гетеры Гарпии поклонники как бы

заменяют сразу баранов и коз… Веселись, наш счастливый друг. Но пройдет юность, и вспомни: кто провел всю жизнь в удовольствиях, у того остаются под старость только воспоминания тела. Разум не взрослеет, и душа не вырастает. И он ощущает, будто совсем и не жил. Что он все тот же мальчик, которого почему-то называют старцем. И ему страшно умирать.

Первый лихорадочно записывает речь Сократа.

Второй *(проводярукой по лицу)*. Это все пройдет?

Сократ *(усмехаясь)*. И это пройдет.

Второй. Я не хочу! Сократ, мне не стать мудрецом! Но я так люблю тебя слушать.

По знаку Продика раб наполняет чаши.

(Рабу.) «Звонче лей вино, мальчик, чтобы помнилось, что пил…». Эту чашу я дарю тебе, Эрос, бог любви, бог пробегающей молодости, бог…

Входит Анит, влиятельный гражданин Афин.

Анит. Мир твоему дому, Продик. Пусть простят, что я пришел незваный. **Продик.** Мы всегда рады тебе, Анит. *(Рабу.)* Омой ноги Аниту и помоги ему возлечь.

Анит с помощью раба укладывается на ложе.

Анит. Я счастлив видеть всех… и особенно тебя, мудрейший из афинян!

Сократ. Неловко называть меня мудрейшим в твоем присутствии, Анит. Моя мудрость — плохонькая, ненадежная. Она — как эфир струящийся между пальцев. Твоя же…

Анит. Я благодарен тебе, щедрый Сократ. И оттого мне особенно горестно сообщить тебе…

Сократ *(поспешно)*. Эта горесть от нежности твоей души, Анит. Но ты умеришь ее, потому что я уже… знаю твою весть.

Анит. Но…

Сократ. Не будем портить пир. *(Весело.)* Итак, мы внимаем юному Аполлодору, который хочет восславить бога любви. Говорят, что наш Аполлодор преуспел в деяниях во славу этого бога, а слушать сведущего — всегда полезно.

Второй. Какую весть, Сократ?

Сократ *(мягко)*. Ты хотел описать нам Эроса, юноша. Начинай. Второй. Прежде всего Эрос — нежнейший из богов. Ведь он ступает не по земле, а по сердцам — и неслышно водворяется в них. Но не во всех сердцах подряд, а только в самых нежных. Встретив суровое сердце, он бежит от него прочь.

Сократ слушает, блаженно закрыв глаза.

Я бы еще добавил, что Эрос — самый своенравный из богов, ибо он уходит от нас столь же внезапно, как и приходит. Он делает это так неслышно… так незаметно… как…

Анит. Как афинские сыщики, Аполлодор.

Сократ *(не открывая глаз). Я* услышал голос Анита, и мы уже спешим насладиться его беседой.

Анит. Я — кожевенник, Сократ. Я всегда занимался делом, а не болтовней и вряд ли смогу усладить ваш слух. Но, согласно здравому смыслу, я бы отметил, что Эрос, как бог любви, наверняка любит красоту. И, конечно, Эрос прежде всего не нежен, а он — красив. Он прекрасен! Ион отрицает всякое уродство и… ненавидит его.

Молчание.

Сократ *(провел рукой по лицу, захохотал).* И он не дозволяет уродам рассуждать о нем, так, Анит?

Молчание.

Ну что ж, думаю, мы согласимся с мудрейшим Анитом в том, что бог любви Эрос особенно любит красоту, что он вожделеет к красоте, как сказал поэт… Значит, нам остается только проверить, так ли красив сам Эрос, как подсказывает здравый смысл блистательному Аниту… Исследуем. Итак, Эрос — бог любви. Но любви вообще не бывает. Бывает только любовь к чему-то и к кому-то. Не так ли, Анит?

Анит. Это так, Сократ.

Сократ. Тогда еще вопрос. Вожделеет ли любовь?

Все. Конечно!

Сократ. Тогда еще вопрос, совсем уже ясный: когда любовь вожделеет — когда она уже обладает предметом страсти или когда еще не обладает?

Анит *(медленно).* Когда не обладает, скорее всего…

Сократ. И опять ты прав. Действительно *(взглянул на Продика*), зачем кудрявому вожделеть о кудрях — о них мечтает плешивый.

(Взглянул на Второго.) Зачем молодому желать молодости, а мудрому *(обращаясь к Аниту)* — мудрости? Итак, мы все вожделеем о том, чего лишены. Значит, если Эрос, как уже заявил нам Анит, так вожделеет к красоте — значит?.. Значит, согласно нашим рассуждениям, Эрос?.. Смелее, Анит!..

Анит *(глухо).* Лишен красоты.

Сократ. Да, это так, Анит, плениший нас мудростью! Эрос — уродлив… Именно поэтому наши деды говорили, что сей бог любви был зачат в день рождения Афродиты: бог изобилия Порос отяжелел от вина и улегся на ложе и заснул. И богиня нищеты

Пения в скудости своей прилегла к нему. И родился от них Эрос — бог любви. Как сын своей матери, он груб, неопрятен и необуздан. Но как сын своего отца, он тяготеет к прекрасному, совершенному. Он храбр, силен, изворотлив и непрестанно строит козни. И все, что он приобретает, идет прахом у сына Пении… Но главное, как мы выяснили сейчас, Эрос — уродлив. Он так уродлив… С кем бы его сравнить?.. Ну помогайте, друзья мои… Ну конечно, с Сократом, так он уродлив! Вот видишь, Анит, Сократ имеет отношение к любви, а не только к смерти, о которой ты пришел ему возвестить!

Движение учеников.

Анит. Завтра суд, Сократ.

Сократ. Меня обвинил пифиец Мелет, но я не знаю такого.

Анит. Мелет обвинил тебя в полдень. После полудня тебя обвинил философ Ликон (*усмехнулся*), «старец, ясный умом». Он требует твоей казни от имени старейших людей города… Но и это еще не все, Сократ. От имени людей дела тебя обвинил… *(Замолчал.)*

Сократ. Я понял, Анит.

Анит. Тебя обвинил я.

Второй вскакивает с ложа, но Первый удерживает его.

Есть возможность спастись, Сократ.

Сократ. Как это сделать, Анит?

Анит. Ты дашь клятву не вступать в беседы с молодыми людьми. Твои беседы отвлекают их от дела, скажем так.

Сократ. Я легко дам такую клятву. Но до каких пор мы условимся считать человека молодым?

Анит. Ну хотя бы до тридцати лет, Сократ.

Сократ. Ага, значит, у каждого, кто обратится ко мне с вопросом, я должен буду узнавать сначала, сколько ему лет. А вдруг он соврет или введет меня в заблуждение? Ведь ты знаешь, Анит, у нас в Афинах старцы так похожи на младенцев…

Анит. Я упрощу твою задачу Сократ. Ты поклянешься вообще не заниматься философией.

Сократ. Я понял. (С *необычайной резвостью он вдруг бросается на Анита и хватает его за нос.)*

На мгновение Анит опешил, но потом швыряет Сократа обратно на ложе. Ученики бросаются на Анита.

Сократ *(криком останавливает их).* Не мешайте беседовать! *(Как ни в чем не бывало, сочувственно.)* Было трудно дышать, Анит?

Анит *(спокойно)*. Именно так, Сократ.

Сократ. Боги определили тебе дышать в этом мире, а мне заниматься философией. Почему у тебя нельзя отнять дыхание, а у меня можно?

Анит *(встал)*. Прошла треть ночи, Сократ, я иду спать. До встречи на суде!

Первый *(переставая записывать, Аниту)*. Но в Афинах не судят философов.

Анит *(оборачиваясь)*. Сократ — мудрейший из философов, и он заслуживает особой участи.

Продик. Я провожу. (Уходит вслед за Анитом.)

Второй *(вскакивает)*. *Я* убью его.

Сократ. За что? Все, что он совершает, это от незнания. Человеческая природа добра. Если бы все были просвещенны, зло исчезло бы. Например, если бы Анит умел правильно рассуждать, разве он желал бы моей смерти? Что может принести смерть тому, кто открывает истину? Стоит убить глаголющего истину, и тотчас людей охватывает любопытство к его вере и уважение к ней. Потому что нет ничего прочнее и притягательнее того, за что пролита кровь. О, частый путь истины: сначала все кричат — долой ее! — и убивают произносящего ее. Потом воскрешают эту истину и привыкают к ней. А потом говорят: «Ну, это нам всем уже давно известно!»

Первый *(медленно)*. *Я* понял.

Второй. Я хочу, чтоб ты жил, Сократ.

Продик *(возвращаясь)*. Сократ, что же делать?

Сократ. Пить! И славить тебя, собравшего нас в эту благую ночь. *(Выпивает чашу. Первому.)* И еще… я не открывал законов бытия, как другие философы. Я только исследовал поведение человеков. Я пытался разобраться, как надо вести себя людям в тех или иных случаях. И поэтому все, что я высказывал, будет нуждаться в постоянной проверке и сомнении… И сомнении! Ибо меняются и времена и человек. И оттого могут меняться и рассуждения о нем. Поэтому я никогда не дерзал записывать свои беседы. Поэтому мне так не нравятся твои записи. Вы все должны запомнить главное:

«Единственное, что Сократ знал окончательно, — это то, что он ничего не знал окончательно». (*Выпивает чашу.)*

Второй. Не надо. Ты будто прощаешься с нами.

Появляется Ксантиппа, жена Сократа. Она еще молода.

Сократ *(сразу меняясь, почти заискивающе)*. А к нам пришла Ксантиппочка.

Ксантиппа *(передразнивая)*. К нам пришла Ксантиппочка. Мы

не ложимся спать. Мы ждем полночи этого почтенного старца, этого плешивого урода…

Сократ *(шепотом)*. Мы тут не одни, Ксантиппочка.

Ксантиппа *(заводясь)*. Им что! Они продрыхнут до полудня, а ты голос пропьешь, хрипеть завтра будешь! Или, может быть, ты решил проиграть суд, преспокойно умереть и оставить меня с тремя детьми? Сначала обеспечь семью, а потом умирай сколько твоей душе угодно! Домой! Спать!

Сократ. Сейчас мы допиваем последние чаши…

Ксантиппа. Одну чашу…

Сократ *(шепотом)*. Это невежливо. Я должен выпить за всех. За почтенного хозяина, за… *(Остановился, громко.)* Но прежде всего я должен выпить, друзья мои, за эту женщину Вот — истинная жена философа. После нее все кажется в жизни легким и радостным. Заметьте, как только она появилась, мы сразу забыли о завтрашнем суде. Он нас не страшит! *(Первому.)* Единственное, что я прошу тебя записать: жена Сократа была сварлива. За это его пожалеют больше, чем за любую смерть. *(Пьет.)*

Ксантиппа. Сократ, ты мне не нравишься. Домой! Продик, помогите мне. *(Кричит.)* Геракл, зажигай факел!

Сократ *(чуть опьянел)*. Я не хочу Продика! *(Кивнул на учеников.)* Пусть идут они.

Ксантиппа. С ними ты будешь по дороге болтать до утра! Спор закончен. *(Кричит.)* Геракл!

Сократ. Хорошо! Тогда напоследок мы споем песню!

Ксантиппа. По-моему, я сказала…

Продик *(мягко, с вибрирующими интонациями)*. Ксантиппа…

Ксантиппа (сразу смягчаясь, кокетливо). Ну хорошо, спойте песню. Только он петь не будет. *(Сократу.)* Тебе завтра выступать, ты охрипнешь. *(Ученикам, строго.)* Пойте, и быстрее.

Второй *(поет)*. «К чему раздумьем сердце мучить!

Сократ, шевеля губами, беззвучно, но страстно подпевает.

…Предотвратим ли думой грядущее? Вино из всех лекарств самое лучшее. Самое лучшее!.. Напьемся же пьяны!» **Ксантиппа.** Кончено! Геракл!

Входит Геракл, крошечный раб Сократа, с факелом.

Сократ *(обнимая его)*. Милый Геракл… Какую хорошую песню я пел…

Ксантиппа. Сократ, ты мне окончательно не нравишься! Обопрись о Геракла.

Сократ (*Первому*). Как я сказал о ней?

Первый. Ты много о ней говорил. Например, Иону из Эфеса

ты сказал: «Истинный наездник выбирает необузданную лошадь». А Диоклу из Фив…

Сократ *(смеется).* Он все знает… Зачем я?

Ночь в Афинах.

В доме Фрасибула, одного из правителей Афин. Анит и Фрасибул. Фрасибул стар — иссеченое шрамами лицо воина.

Анит *(продолжаяразговор).* Мне тоже жаль Сократа. Но каждый день по городу разгуливает этот старец и терзает горожан своими поучениями о недостижимых добродетелях. Ежечасно он подвергает сомнению несомненные истины. Мудрейшие и почтенные афиняне в беседах с ним чувствуют себя глупцами, — согласись, Фрасибул, это раздражает… Можно, конечно, отнестись к этому с юмором и добродушием. Но юмор и добродушие — удел благополучных времен. Афинский народ обозлен войной и поражением. Нервы у людей сдают. Кроме того, его влияние на молодежь…

Фрасибул. Не кричи так!

Анит. Кроме того, можно легко домыслить, что Сократ ставит человеческий разум выше афинских богов. А было бы очень полезно именно сейчас поддержать наших богов. Защита святынь всегда дисциплинирует и поднимает авторитет. А в наше время…

Входит Мелет.

Это Мелет — пифиец, он обвинил Сократа.

Мелет *(сусмешкой).* Время ночное. Опустим длинное приветствие и сразу к делу, отцы города.

Анит. Что ты хочешь за… это?

Мелет. За что, стыдливый Анит?

Молчание.

Хорошо. Итак, за то, что я обвинил старика, с которым незнаком… За то, что я пущу в дело все красноречие поэта и в ярких красках опишу, как портит он молодежь своими поучениями… и стану трясти при этом длиннохвостой головой, как доказательством своего падения… и еще рыдать, как женщина… Что я хочу за это?

Анит. Учти, Мелет, казна Афин разорена…

Мелет *(хохочет).* Бережливые отцы, мне не нужны ваши деньги. Я — урод, я нездоров. Я не склонен к шумным пирушкам, и друзей у меня нет. Я — свободен. Свободен от всего — от друзей, от здоровья. Принадлежу только себе и вслушиваюсь

только в свои желания и удовлетворяю их. Но я поэт.

Анит *(Фрасибулу).* Он действительно поэт.

Мелет. И как все поэты, я желаю поклонения. Представляете, я презираю всех, плюю на всех… и все-таки желаю любви всех. Потому что я поэт. Здесь моя западня. И я решил: вы дадите мне право сочинить гимн Аполлону — гимн, который от имени Афин повезет священное посольство в Дельфы.

Фрасибул схватился за меч, но удержался.

Вы прикажете священному хору, который наверняка уже вытвердил какие-нибудь вирши покойника Софокла или сладкозвучную рухлядь истлевшего Гомера, забыть всю эту дребедень и выучить то, что сочиню я. Мне нужна слава, и вы мне ее дадите за это.

Анит *(помолчав).* Мы согласны, Мелет. Хор стоит на Акрополе у стены Кимона. Официально мы объявим о твоем назначении после приговора Сократу.

Мелет. Я повторю. У меня нет ничего и никого. Мне нечего терять. Если вы не сдержите слова…

Анит. Мы у тебя в руках, Мелет. До завтра!

Мелет уходит.

(После паузы.) Все в воле богов, Фрасибул. И кровавая смерть и могучая участь. **Фрасибул.** Ступай с миром, Анит. Я становлюсь стар. Устал. Спокойной тебе ночи.

Ночь в Афинах. Сократ идет домой, опираясь на раба Геракла, несущего факел. Сзади идут Продик и Ксантиппа. Продик чуть обнимает Ксантиппу, и та льнет к нему. Вдруг Сократ останавливается и садится на землю.

Ксантиппа *(бросаясь к нему, испуганно).* Сократ, что с тобой?

Сократ *(он пьян).* Мне хорошо, Ксантиппа. Мне сейчас так хорошо! Я рад, что я на тебе женился. Рад, что прожил семьдесят лет. Хорошо! Хорошо — просто идти. Хорошо — никуда не торопиться. Хорошо — сесть посреди дороги, подставив голову ветру. *(Спокойно.)* Ксантиппа, больше этого никогда не будет.

Ксантиппа (*вдруг нежно).* Ну что ты, Сократ. Милый, ведь ты самый мудрый. Все так говорят. Вот и Продик так говорит. А он — важный человек. (*Поднимая Сократа.)* Сократ, пусть нам хоть раз в жизни принесет пользу твоя мудрость. Защитись, пожалуйста, завтра в суде. Хорошо? (*Продику.)* Ведь нам ни разу его мудрость не приносила пользу! Ни разу! Ни драхмы!

Сократ *(удовлетворенный).* Ни разу! *(Рабу.)* Вперед, Геракл, несущий свет! Ты скоро будешь свободен! Я завещаю, Геракл…

Ксантиппа. Продик, он опять! *(Сократу.)* Только посмей

проиграть завтра суд. Я тебя не пущу домой! Я к тебе привязалась… Я к нему привязалась, Продик… Я родила тебе трех сыновей.

Продик грубо ее обнимает.

(Сразу все забыв, воркующим шепотом.) О Продик! *(Идет.)*

Сократ *(оборачивается, видит объятие).* Я пьян или я не пьян?

Ксантиппа. Ты пьян и не останавливайся.

Сократ. Нет, я хочу все-таки остановиться и уяснить, зачем здесь Продик?

Продик. Я провожаю тебя и Ксантиппу.

Ксантиппа. Зачем ты ему объясняешь? Что он, слепой, сам не видит?

Продик. Я твой старый друг, Сократ.

Сократ. И ты решил на этом основании обнимать плечи красавицы Ксантиппы? Давай исследуем, можешь ли ты сделать это, если ты мой старый друг? *(Рабу.)* Геракл, ступай в дом и принеси мою пику. Мою длиннотенную пику. Сейчас я поражу Продика.

Ксантиппа. Старый пьяница! Человек вызвался проводить! Человек твой старый друг…

Сократ *(покорно, лукаво).* Шучу… Продик — мой старый друг. Все шутка. А ты обмер, Продик. Ну какая пика? Что я, Гектор? Мне семьдесят лет. Размышления состарили меня, и мне вряд ли ее поднять. А ты не огорчал себя мыслями и оттого будешь вечно юн — рассудком по крайней мере. И когда тебе стукнет семьдесят лет, ты грозно спроси у судьбы: «За что?» Ну ладно, ступай домой… Да, на прощание скажи, Продик… старый друг Продик… Кто же сообщил Аниту, что я буду сегодня в твоем доме? Или не так: кто попросил моего друга Продика устроить этот пир?

Продик. Сократ! Неужели ты думаешь…

Сократ. Что ты, я ничего не думаю… Но я хочу, чтобы тот же человек сообщил тому же Аниту… что Сократ все исследовал и окончательно понял в эту ночь… в эту прекрасную ночь свободы… в эту последнюю ночь свободы… Что же он понял, Сократ? *(Шепотом.)* Что его смерть *(засмеялся)* — благо!

Суд

Афины. Утро. Дворик у дома Сократа. **Сократ** неподвижно стоит с одной сандалией в руке, другая сандалия — на ноге.

Появляются **Первый** и **Второй** .

Второй. Сократ! *(Кричит.)* Сократ! Сократ, пора! Сократ! Первый. Бесполезно. Сократ задумался.

Второй. Это надолго?

Первый. Когда как. Например, после битвы при Потидее он простоял задумавшись всю ночь. Он погружается в сосредоточенность, как в волны, и тогда, в тишине, внутри него начинает звучать голос, который советует ему, как поступить. Так он объяснял Хариту из Эфеса.

Второй *(не теряя надежды)*. Сократ! Сократ! *(Вздохнул.)* Идем вперед и обождем его у ограды суда.

Ксантиппа *(слышен ее голос)*. Сократ! Пора в суд! Сократ, ты уже надел сандалии? *(Появляясь, яростно.)* Мысли его великие посетили! *(Наливает в чашу воды и обливает Сократа.)*

Сократ *(выходя из задумчивости, как ни в чем не бывало)*. Кажется, пора в суд, Ксантиппа?

Ксантиппа *(передразнила его)*. Пора. Ты знаешь, который час?

Сократ заспешил.

Надень сандалии. Куда ты! Не на ту ногу! На ту уже надел. О боги, о мое несчастье! *(Кричит.)* Лампрокл, Софрониск, Меликсен, идите провожать отца! Бедные мальчики, они с утра рыдают. *(Кричит.)* Лампрокл, Софрониск, Меликсен! *(Уходит, потом возвращается.)* Эти мерзавцы убежали в порт глазеть на корабль священного посольства. Сколько раз я им запрещала. *(Кричит.)* Геракл! Геракл!

(Уходит, возвращается.) Один раб в доме, и тот прохвост. Он ушел глазеть вместе с ними. *(Грозно.)* Ты еще не надел сандалии?

Сократ *(торопливо обувается, не без хитрости)*. В гневе ты еще прекраснее, Ксантиппа. Твоя красота…

Мелет *(пробегая мимо дома)*. Простите, почтеннейшие, это путь на Рыночную площадь?

Ксантиппа *(лениво-кокетливо)*. А вы не в суд, случайно? Мелет. В суд, девушка.

Ксантиппа *(опять кокетливо)*. Ну что вы, какая я девушка. Даже неудобно как-то… *(Оглядев Мелета и сразу потеряв к нему всякий интерес.)* Молодой человек, помогите дойти этому кроткому старцу. Ему тоже в суд. Поддержите его за плечо и, главное, проследите, чтобы он не задумывался по дороге и не потерял сандалии. *(Целует Сократа.)* Иди осторожнее. Смотри по сторонам — теперь по дорогам развелось столько всадников. *(Нежно.)* Чудовище! *(Шепотом.)* И только не задавай на суде вопросов. Помни, что это раздражает. Я знаю по себе. И пусть помогут тебе боги! *(Падает на колени, поднимает руки к небу.)* О

боги, помогите Сократу!

Сократ и Мелет бегут по улице.

Мелет. Только следите, чтобы я не сбился с дороги, а то я недавно в Афинах.

Бегут.

А зачем вам в суд?

Сократ. Я раздумывал над этим целое утро… А зачем вам, молодой человек?

Мелет. Я иду обвинять Сократа.

Сократ. Сократа?

Мелет. Сократа!

Сократ. А что же он вам сделал дурного?

Мелет. Ничего. Я даже с ним незнаком. Просто мне с детства надоело, что все называют его мудрейшим.

Сократ. Я понимаю, это может надоесть.

Афины. Акрополь, у стены Кимона. Хор священного посольства в Дельфах. **Корифей хора** — немолод, с курчавой бородой и короткими седыми кудрями. **Первый актер** — юноша, почти мальчик. В то время как хор, руководимый Корифеем, совершает свои молчаливые передвижения, **Первый актер** начинает облачаться: он надевает котурны, перчатки, удлиняющие руки, затем толщинки и поверх всего — белый хитон. Потом он надевает маску и вставляет в рот глиняный резонатор, чтобы звук был торжественным и гулким.

Актер *(пробует голос).* Ой — йя… Эй — йя…

Корифей *(Хору).* Мы стоим на холме. Над площадью, где судят мудрейшего из греков. Мы сейчас, как великие боги, которые глядели с высот на битву троянцев с ахейцами. И смерть, и победа, и зубы, грызущие прах, — все зрелище. И актеры торопятся отыграть свою сцену.

Актер. Обвинители закончили свои речи, и время отвечать Сократу.

Появляются Мелет, Анит и Ликон — древний старец. Ликонтолько что закончил чтение обвинительной речи. Он садится и тут же засыпает. Вперед выходит Сократ. Хор отступает назад, образуя толпу афинян. Справа появляются ученики Сократа — среди них Первый и Второй. Ропот толпы: «Сократ, отвечай, Сократ!»

Сократ молчит.

Второй. Мне страшно.

Первый не отвечает ему. Ропот толпы.

Сократ. Сначала я хочу задать вопросы обвинившим меня.

Анит. Вопросы ты будешь задавать своим ученикам. Здесь будут спрашивать тебя. Здесь суд, Сократ.

Сократ. Чтобы иметь учеников, надо быть очень мудрым, Анит. Я не знаю за собой подобного качества. Поэтому у меня нет учеников, а есть только — беседующие с Сократом… Афиняне! Вся моя жизнь протекла в этих беседах: я задавал вопросы вам и всегда был готов ответить на любой из ваших вопросов. Позвольте мне не изменять себе и в этот день.

Голоса из толпы *(довольные его смирением).* Пусть спрашивает!

Сократ. Спасибо, сограждане. *(Мелету.)* Ты обвинил меня, пифиец Мелет. Но я хочу спросить тебя: давно ли **ты** меня знаешь?

Мелет *(насмешливо).* Очень давно, Сократ.

Сократ. Ты уверен, Мелет, что сейчас ты всех нас ловко обманул. Но ты сказал правду. Ты знал меня очень давно, с рождения. И все вы — тоже.

Ропот толпы.

Как только вы появились на свет, вы сразу услышали: «Есть в Афинах хитрец Сократ! Он исследует то, что под землей и над землей. Он добирается до неба — туда, где звезды образуют великий порядок. И этому хитрецу ничего не стоит доказать юношам, что белое — это черное, и не щадит он даже бессмертных богов!» Это говорил обо мне не ты, Мелет, не ты, Анит, не ты, старый Ликон. Это говорили вы все! Это говорила молва!

Ропот толпы.

Есть защита против людей, но против молвы нет защиты. У нее тысячи уст, и у нее громоподобный голос. Ее нет, и она везде! И поэтому я знал давно, что осужден. И я всегда ждал сегодняшнего дня и готовился к нему. Он наступил! И в этот страшный мой день я отвечаю молве, афиняне! Все ложь! Сократ не посягал на богов! Сократ не устремлялся мыслями во владения Зевса и не исследовал того, что под землей, хотя я не вижу в этом ничего дурного.

Ропот толпы.

Просто для этого я был недостаточно мудр, афиняне! Единственное, что я осмелился сделать предметом своего исследования, — это человек. Это — я, это — вы, это — все мы, смертные. Я пытался понять, чем нам руководствоваться. Что такое добро и зло в каждом случае. Вот уж семьдесят лет мне, а я все не устаю исследовать человека и удивляться ему. Как много

тут неожиданного, афиняне! Порой кажется — добро. Ну совершенно ясно, всем ясно — добро!.. А исследуешь поглубже, и выходит, что — зло, несомненное зло!

Ропот толпы.

Вот слушал я сейчас речь Ликона. Замечательная речь! Как искусно он обвинял меня! И я подумал, какое это прекрасное искусство — красноречие… Но тут же, по вредной своей привычке, усомнился. Точно ли прекрасно искусство красноречия? И вообще, искусство ли оно?

Гневный ропот.

Я разделяю ваше негодование! Сам негодую на себя! И чтобы тотчас развеять мои глупые сомнения, давайте обратимся к мудрому Ликону. *(Кричит.)* Ликон! Ликон!.. Мудрый старец спит.

Продик *(выходит вперед).* *Я* готов побеседовать с тобой, Сократ, вместо Ликона, о прекрасном искусстве красноречия.

Сократ. Как хорошо! Здесь Продик — друг моего детства. Он — искусный оратор и наверняка легко убедит всех нас, что красноречие…

Продик *(твердо).* Красноречие — прекрасно, и оно великое искусство!

Сократ. Браво! Я чувствую, сомнения отступают. Ну в чем же все-таки его красота?

Продик. Например, в пользе, Сократ, в огромной пользе для владеющего этим искусством.

Сократ. Например?

Продик. Например, если я позову сюда врача… даже самого знающего из врачей… то, обладая красноречием, я легко докажу народу, что понимаю больше в вопросах врачевания, чем этот, самый знающий из врачей. Веришь ли ты, что я могу так сделать, Сократ?

Сократ. Верю.

Продик. Даже больше того, я смогу добиться при помощи красноречия, что сограждане изберут врачом меня вместо этого, наилучшего из врачей.

Сократ *(потрясен).* Тебя, который ничего не смыслит во врачевании?

Продик. Да!

Сократ. Замечательно. *(После паузы.)* Но оттого, что тебя изберут врачом, ты ведь не станешь врачом на самом деле?

Продик. Ну конечно, нет.

Сократ *(наивно).* И не сможешь вылечить никого из нас?

Продик. Ну конечно, нет.

Сократ. Что же выходит? Значит, красноречие — это средство, при помощи которого один невежда умеет доказать

другим невеждам, что он — знаток, хотя таковым не является. *(Гневно.)* Но ведь это зло, Продик! А может ли прекрасное быть злом? Что же ты молчишь? Ну, смелее, Продик, друг детства!

Продик. Пожалуй, нет, Сократ.

Ропот толпы.

Сократ. Именно. Но мы еще не решили, искусство ли вообще красноречие.

Продик. А что же оно такое?

Сократ. Занятие. Только — занятие, которое требует души угодливой и дерзкой, наделенной природным даром обращения с людьми. Ибо охотится оно не за высшим благом и истиной, но за человеческим безрассудством и манит его лестью и красивыми словами!

Раздраженный ропот толпы.

Это такое же занятие, как поварское дело. Как часто, афиняне, подобно неразумным детям, мы предпочитаем повара, лезущего к нам с вредными яствами, суровой истине искусства врача. *(Мягко.)* Вот до чего мы дошли вместе с Продиком в приятной беседе! Я вел много таких бесед в жизни. Потому что при скудной моей мудрости… *(Замолчал. Вдруг гордо.)* Все ложь! Сократ — мудр, афиняне! Когда спросили дельфийскую пророчицу, кто мудрейший из греков, она ответила: «Сократ!»

Второй. Зачем он раздражает их?

Первый. У него слабеет память. Пророчица сказала: «Софокл — мудр, Еврипид — мудрее, но Сократ — мудрейший».

Сократ. Дельфийский бог назвал меня мудрейшим только за то, что я знаю, как мало значит моя мудрость! За то, что я неустанно сомневался — утром, днем, вечером! И оттого я вел беседы с вами! Сократ мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное: стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забывать. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил, как овод, который все время пристает к коню. К красивому, благородному, но уже несколько обленившемуся коню и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное. Ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне! Я стар, но еще могу послужить вам. А другого овода вы не скоро найдете. Ведь получаю я за эту работу только одну плату — вашу ненависть! Свидетельством тому моя бедность и сегодняшний суд.

Ропот толпы.

Второй. Он прекрасен! Сократ!

Первый. Но это уже не лучший Сократ. Это — старый Сократ, склонный к многословию и сентиментальности. Если бы ты слышал его раньше. Никаких призывов к чувству. Одна божественная логика.

Анит. *(Сократу).* Сколько у тебя детей?

Сократ. Трое, Анит.

Анит. Как он горд, афиняне! Он не хочет нам сказать, что у него трое маленьких детей. Два подростка и один совсем ребенок. Почему ты не привел их в суд, Сократ? Ведь так делали все, чтобы разжалобить народ.

Сократ. Наверно, Сократу не стоит вести себя так позорно.

Анит. Он не только требует, чтобы мы оставили ему право досаждать и впредь своими попреками городу.

Ропот толпы.

Сократ хочет еще подчеркнуть свое особое положение, свою особую гордость. Он не нуждается в вашей жалости, афиняне!

Грозный ропот толпы.

Сократ. Впервые я соглашаюсь с тобой, Анит. Смерть не стоит унижений, тем более для старика. Ведь даже если вы меня помилуете, вряд ли это сделает меня бессмертным — при всем могуществе Афин. *(Сурово.)* Но полно! Вы дали присягу судить меня по правде, и я не стану мешать вам жалобами родственников. Судите меня, афиняне!

Корифей. Они голосуют. Пять сотен человек бросают камешки в две урны, чтобы решить судьбу философа.

Хор. Стук камней… Говор толпы…

Корифей. Как маленькие дети — все забавы.

Второй (*шепотом, Первому).* Если они его осудят, клянусь…

Анит, стоящий на другом конце, вдруг вздрогнул и обернулся. Потом снова застыл в ожидании.

Первый *(Второму).* Ты ничего не сделаешь, не посоветовавшись, Аполлодор.

Второй …..Или не так. Мы подкупим стражу и выкрадем его.

У меня есть много денег… Как нелепо: в Афинах жил самый прекрасный, самый благородный человек, жил ради них…

Рев толпы.

Корифей. Они подсчитали. Двести двадцать один камень брошен в урну, чтобы оправдать Сократа, но двести восемьдесят решили, что он виновен… Они поиграли в камешки.

Хор. Виновный Сократ должен сам просить наказание у

народа.

Сократ. Я удивлен, сограждане. Выпади на тридцать камешков меньше, и я был бы оправдан. Сошлись три мудрых, три смелых обвинителя — и всего тридцать камешков!.. Итак, какое наказание я назначил бы себе сам за свои преступления?.. За то, что никогда не давал себе покоя… За то, что всегда шел туда, где мог убедить вас, что нельзя все время заботиться о чинах, о речах в народном собрании, об участии в управлении и заговорах… За то, что призывал вас думать о самих себе, чтобы каждому стать лучше… Что я назначу себе в наказание за такую свою жизнь?.. Я кормил бы себя бесплатными обедами, как кормите вы тех, кто побеждает на Олимпийских играх. Потому что те, кто побеждает в состязаниях колесниц, дают вам мнимое счастье, а я пытался дать подлинное. Они — повара, я врач. *(Усмехнулся.)* Кроме того, они здоровы и не нуждаются в бесплатном питании, а я, увы, уже нуждаюсь!

Гневные крики в толпе.

Но я слышу, у вас другое мнение. Что ж, давайте исследуем и другие наказания для Сократа. Итак, первое: вы можете заключить меня в тюрьму. Но я люблю свободу! Я не смогу жить в неволе, и тюрьма для меня хуже смерти! Запомните это, судьи!.. Можно отправить меня в изгнание. Но и это будет неразумно: если вы, мои сограждане, не вынесли моих наставлений, то почему их должны выносить другие! А если на чужбине я откажусь наставлять юношей мудрости, они попросту изгонят меня за бесполезность. Если же я начну их наставлять, меня изгонят их отцы, как это сделали вы!.. Вы скажете, сограждане: но разве Сократ не может жить в Афинах спокойно, никого не уча? Не могу! Свидетельством тому нос Анита… Поэтому, афиняне, у вас есть только два наказания для Сократа: бесплатные обеды, или… *(Засмеялся.)*

Афины после суда.

Стемнело. С факелами в руках возвращаются Сократ и его ученики.

Второй. Что теперь делать?

Сократ. Быть мудрым и ждать приговора.

Второй *(шепотом).* Сократ, мы устроим побег.

Продикс факелом в руках догоняет Сократа.

Продик. Ты победил меня сегодня, Сократ, но я… улыбаюсь.

Сократ. Это означает, что ты нарочно позволил мне победить себя, как друг детства.

Продик *(не желая замечать насмешку)*. Ты совсем бодр, Сократ, после такого суда! А я, знаешь ли, сильно устаю к вечеру. Хотя я и помоложе. Ты могуч, Сократ. Но зато днем я чувствую себя молодым. Мне кажется, если бы не вели люди этот проклятый счет годам, я чувствовал бы себя совсем молодцом… А ты действительно не боишься смерти?

Сократ. Нет, Продик.

Первый *(торжествующе)*. Сократ!

Продик. Ая боюсь… Вокруг все время уходят сверстники. Живешь, как в порту, когда ждешь свой корабль и смотришь, как отплывают, отплывают… Ну, прощай, Сократ! Мы с тобой вместе начинали, не думал, что так все печально окончится. *(Помолчав.)* Я очень хотел бы поговорить с тобой… перед…

Сократ. Я всегда рад беседе, Продик. Даже… перед… *(Засмеялся.)*

Голос Ксантиппы из темноты: «Сократ, Сократ!»

Первый (торопливо). Сократ, быстрее! **Второй.** Мы приготовили все для пира!

Голос Ксантиппы : «Сократ! Сократ!»

Сократ. Нет. Сегодня я должен быть с нею. Это моя последняя ночь в моем доме. Я всегда жил на улицах, на базарах, в портиках храмов.

Голос Ксантиппы : «Сократ! Сократ!»

Она все пыталась устроить «дом», а я смеялся. Но сейчас мне показалось, что я люблю свой дом. Во всяком случае, я хочу провести в нем последнюю ночь.

Первый *(сурово)*. Это говорит не Сократ. Сократ когда-то замечательно ответил Кимону из Самоса. Когда тот спросил Сократа, откуда он родом, Сократ ответил ему: «У меня нет дома, я — гражданин Вселенной!»

Сократ. Было… Было… Удачный ответ.

Голос Ксантиппы : «Сократ, я чувствую, ты здесь!»

Я вас прошу сделать веселые лица, иначе завтра она приведет детей в суд. И побыстрее спрашивайте, если у вас остались важные вопросы.

Второй. О побеге.

Сократ. Пустое.

Первый. Я всегда хотел спросить тебя. Сократ, о чем ты думал в ту ночь, которую ты простоял в задумчивости, — перед битвой при Потидее?

Сократ. Это важно. Это было во время отступления. Я шел пешим, защищая отступавших. Я убил многих, и люди падали и грызли зубами землю, вопя от боли… А потом, ночью, я стоял без сна в кромешной тьме и вдруг ясно вспомнил, как они стенали и рушились на землю… И мне стало больно в животе. И тут я понял, что есть — общее «я»… что мое «я» — есть у другого, и он тоже «я». Я убивал «я»!

Входят **Ксантиппа** и **Геракл** с факелом.

Все хорошо, Ксантиппа!

Ксантиппа *(тихо)*. Они осудили тебя…

Сократ. Да.

Ксантиппа. Насмерть…

Сократ. Приговор вынесут завтра.

Ксантиппа. Ты не бойся, старенький Сократ… Я не буду стенать, царапать грудь и мести косами пол. Все будет очень тихо. Пошли, родной!

Первый и **Второй.** Спокойной ночи!

Ксантиппа. И вам того же — спокойной ночи!

Афины. Ночь.

Дом Мелета. **Анит** и **Мелет.** Анит оглядывается.

Мелет. Не нравится? Бедновато?

Анит. Я всегда рад посетить дом друга.

Мелет. Нам непросто дружить с тобой, Анит. Разница в возрасте… Все сыновья похожи на Эдипа, и у них в крови — убить своих отцов. Об этом твердят все. А то, что папаши завидуют сыновьям и не прочь при случае их съесть живьем, как Сатурн своих возлюбленных деток, — об этом молчок?.. Но когда же ты представишь меня Хору?

Анит. Мы договорились — после приговора Сократу.

Мелет. Это официально. А неофициально, просто, чтобы познакомиться…

Мелет не договорил фразы. Появляется гетера **Гарпия.** Она молода и прекрасна.

(Почти испуганно.) Зачем?

Анит. Это прекрасная Гарпия. Она была на суде, и ей очень понравилась твоя речь. Она упросила меня познакомить ее с тобой.

Гарпия. Это так, Мелет.

Мелет *(засмеялся, стараясь не глядеть на Гарпию; Аниту)*. Ты

хочешь заплатить мне шлюхой?

Анит. Ну, зачем так? Ты выше человеческих слабостей, ты нас предупреждал. Просто божественные Парки прядут нити нашей судьбы, и в твоей судьбе сегодня запуталась женщина. Прощай! Мелет *(испуганно)*. Куда ты?..

Но **Анит** уходит.

Гарпия. Поэт боится меня.

Мелет *(стараясь говорить грубо)*. Садись, девка!

Гарпия. Мне больше нравилось, когда ты называл меня «шлюхой», суровый поэт. Мне уйти?

Мелет *(после паузы)*. Откуда ты родом?

Гарпия. Еще можешь спросить, который сейчас час. *(Засмеялась.)* *Я* из Сицилии, робкий поэт. *(Чуть насмешливо.)* Конечно, старая история: захватили город, убили отца и братьев и взяли меня в рабство.

Мелет (неловко). Бедная!

Гарпия. Вот видишь, всего один поэтический рассказ, и я уже бедная вместо шлюхи… торопливый поэт!

Мелет. Девка! Тварь! Я тебя ударю! Ты издеваешься…

Гарпия молчит, улыбается.

Прости… Говори дальше. **Гарпия** *(чуть серьезнее, так что юмор теперь почти незаметен)*. Была рабыней. Меня хлестали по рукам — бичом. *(Протягивает к нему руки.)* Здесь — отметины.

Мелет дотрагивается до руки Гарпии.

Этот рубец… И еще выше, у плеча…

Мелет вдруг прижимается губами к ее руке.

(Хохочет.) Чувствительный поэт.

Мелет *(яростно)*. А дальше убийца твоего мужа поселил тебя в своем доме? А дальше ты жила с ним! *(Задыхаясь.)* И ты рожала ему детей! Ты переливала кровь убийцы мужа в кровь его ублюдков! Гарпия *(хохочет)*. Ревнивый поэт!

Мелет. И он за это отпустил тебя!

Гарпия. Так хотели боги.

Мелет. Я плюю на ваших богов! Я в них не верю! *(Целуя ее руки.)* Никому не верю! Я тебя увидел в первый мой день в Афинах! Ты шла вдоль портика храма! Я часто заглядывался на женщин! Они меня не замечали. Но когда прошла ты, я перестал их видеть! Я называл тебя последними словами! Я все знал о тебе. *(Кричит.)* Но я не мог тебя забыть! Ты мне снилась. И когда сегодня ты вошла, я испугался! Я по правде понравился тебе на суде?

Гарпия *(без выражения)*. Очень, рыбочка моя!

Мелет *(опускается у ее ног и зарывается головой в колени). Я* расскажу тебе все! Я был нищ, уродлив, болен и один… И вот однажды я решил: жизнь коротка, она проходит, а я не жил! И я переменил свою жизнь! Я хочу… всего. Поэтому нет больше того, чего бы я не совершил во имя… всего. Я — свободен! Никаких обязанностей! Я! Я! И я крикнул об этом богам! Это было ночью, в поле. И вдруг раздался удар грома. Я понял, что Зевс недоволен, и тогда я заставил себя крикнуть снова: «Плюю на вас, бессмертные боги!»

Гарпия. Только не смей при мне клясть богов, миленький. Я боюсь.

Мелет. А заниматься… этим?

Гарпия. А «этим» занимались сами боги, они веселые и любят любовь.

Мелет. Дурочка! (*Схватил ее.)* Ты будешь сильно меня любить?

Гарпия *(умело вырываясь).* Какой неловкий — одни синяки от тебя. Я буду тебя любить, но сейчас я пойду. Не уговаривай: я люблю спать одна и обязательно дома. А завтра вечером моя козочка ко мне придет?

Мелет *(пытаясь огрызнуться).* Девка!

Гарпия *(холодно).* Чтобы я не слышала больше этого.

Мелет *(торопливо).* Значит, до завтра?

Гарпия молчит.

(Заискивающе.) До завтра?

Гарпия *(чуть стукнула его по лицу).* И захвати с собой какой-нибудь подарок. Твоя ласточка давно мечтает о серебряном треножнике, например.

Мелет *(жутко).* Ты по правде меня любишь?

Гарпия. Да, поцелуй меня, но без синяков.

Он ее целует.

И надень хитон получше и вымойся. До завтра, любимый!

Мелет. До завтра!

Гарпия уходит.

Какая ночь!.. Я не смогу спать… ***(Улыбается.)*** Что же мне делать? Нет… я не могу спать. ***(Смеется.)***

Афины. Рассвет.

В Акрополе Мелет и Хор священного посольства в Дельфах.

Хор.

Проснулись вершины гор,
И в долинах тает прохлада.
И смутны тени утреннего мира,
И боги поют в высоких сенях Олимпа.

Мелет. К черту богов! Что вы можете, кроме богов?

Корифей. Ты отнял у нас ночь. Мы показали тебе все, что умеем. Что ты еще от нас хочешь?

Мелет. У тебя дурной характер, старик! Ты наверняка так стар, что помнишь Эсхила.

Корифей. Помню.

Мелет *(дразнит).* Твоего Эсхила и удачливого красавца Софокла я вгоню в забвение, как они меня вгоняют в сон. *(Хохочет, наблюдая безмолвную ярость Корифея.)* Послушай, старче, тебе самому не надоело повторять из года в год все эти идиотские эпитеты классиков: «Многорукий Ахиллес», «Многогрудая Кассандра»… Ты хоть вдумайся, ну почему женщина, Кассандра, — и многогрудая? Что она — ощенившаяся сука? Или почему Ахиллеса величают многоруким? Он ведь — герой, а не сороконожка. Я все переменю! К чертям! Сейчас я прочту свои стихи, которые вы будете разучивать… Что ты все время глазеешь на мою шею?

Корифей *(глухо).* У тебя на ней… родимое пятно. Такие отметины бывают у жертвенных животных.

Мелет *(вздрогнул).* Болван! Надо слушать стихи, а не глазеть на чужие шеи. Пошли кого-нибудь за глотком вина… По-твоему, что такое поэзия? Ответь, старый глупец, не бойся!

Корифей. Это — крайность: ярость, страсть, гнев, рождение… и убийство.

Мелет. Слова… Слова… Слова…

Входит Анит.

Анит. Я ищу тебя повсюду. Солнце поднялось. Пора в суд.

Мелет. Мне нужны деньги.

Анит. Уже? *(После паузы.)* Много?

Мелет. Сколько стоит серебряный треножник? *(Торопливо.)* И не забудь сегодня, после приговора, объявить, что мою песню будут исполнять…

Анит. Мы ничего не забудем, славолюбивый Мелет. *(Гладит его по волосам.)* Спокойный Мелет… Кроткий Мелет.

Анит дает Мелету деньги, и только после этого Мелет сбрасывает его руку. Афины. Утро. Суд. Сократ, Мелет, Ликон,

который, как обычно, спит, Анит, Притан — должностное лицо в Афинах, ученики Сократа.

Притан (*выступая вперед)*. Сократ, сын Софрониска из дема Ал опеки. Мы вынесли тебе приговор — смерть!

Молчание толпы.

Говори последнее слово. **Сократ.** Мне жаль вас, афиняне. Теперь о вас пойдет дурная слава. Люди, склонные поносить наш город, а их немало, ибо Афины — город великий, эти люди получат право кричать на всех перекрестках, что вы убили старого мудреца. Они даже добавят — великого старого мудреца, чтобы еще больше вам досадить. Все неразумно: если я вам уж так докучал, вы хоть немножко набрались бы терпения, хоть чуточку подождали, и все случилось бы само собой — ведь вы знаете мой возраст, нетерпеливые сограждане!

Молчание толпы.

(Ученикам.) Мне хотелось, чтобы вы, беседовавшие со мной, рассказали впоследствии, что я был осужден не потому, что мне не хватило доводов на суде. Доводы мои не слушали. Вместо них сограждане ждали только покаяния. Ждали, чтобы я отрекся от себя словом, сказал все, что привыкли здесь слушать от других.

Ропот толпы.

Но все вы помните: в дни молодости, когда я сражался с оружием за великий город Афины, мне не раз угрожала смерть. И никогда я не прибегал к бесстыдству и трусости. А ведь на войне, как в суде, так легко убежать от смерти. Надо только бросить свое оружие и обратиться с мольбой к преследователям. Надо только забыть себя и согласиться делать что угодно… Нет, избегнуть смерти нетрудно, труднее избегнуть человеческого падения. Оно настигает быстрее смерти. И вот меня, человека старого и оттого медлительного, легко настигла стремительная смерть. А вот моих обвинителей, людей молодых и проворных, настигло то, что бежит быстрое смерти, — человеческое падение… Время перед смертью благоприятно для предсказаний. И поэтому, умертвившие меня сограждане, я хочу предсказать вам будущее. Убив меня, вы думаете избавиться от необходимости давать отчет в праведности жизни своей. Но случится обратное! Ведь это я сдерживал до сих пор всех ваших обвинителей. Ведь это мой авторитет не давал раскрыть им рта, потому что всем было известно, что судил Афины один я! Теперь у вас появится тьма новых обличителей, и они будут беспощаднее — оттого, что будут моложе!.. И еще. Я хочу обратиться ко всем, кто голосовал за мое оправдание. Побудьте со мной, друзья мои, пока не истекло время моей речи. Не печальтесь обо мне. Если правду говорят, что умереть — это значит стать ничем, тогда смерть — это сон без

сновидений. Тогда она для меня просто приобретение. Ведь если сравнить ночь, когда спал крепко и даже не видел снов, с большинством ночей, таких трудных, таких беспокойных, особенно в моем возрасте, — я уверен, что всякий, даже сам царь, изберет эту спокойную ночь… С другой стороны, если правду говорят, что смерть — это переселение душ отсюда в иное место, и если верно предание, что в том месте находятся все умершие до нас, — тогда есть ли что-нибудь заманчивее смерти? Ну, представьте себе, увидеть вместо всех этих рож *(жест в сторону обвинителей)* лицо Орфея или лицо Гомера… Да, я готов умереть тысячу раз, если это правда! И уж там-то мне дадут наконец спокойно разбирать поступки тамошних обитателей! Без страха наказания! Вы представляете, какое мне готовится блаженство? Я испытаю тех, кто истинно мудр или только казался нам мудрым, кто затевал великие войны и истреблял целые народы. Я смогу без страха развенчать одних и уверовать в других.

Ропот толпы: «Довольно! Последнюю просьбу, Сократ!»

Что ж, с легким сердцем. Я прошу вас, сограждане, о моих сыновьях.

Анит усмехнулся.

Да, ты так мечтал услышать об этом, Анит, сильный Анит, победительный Анит, и вот я прошу о своих детях. Если когда-нибудь, афиняне, вам покажется, что сыновья мои заботятся о деньгах, о должностях, о красивых речах больше, чем об истине и добродетели, донимайте их так же беспощадно, как донимал вас я! И если они, не представляя собой ничего, вообразят о себе многое, — укоряйте их так же беспощадно, как укорял вас я. И тогда вы воздадите по заслугам и мне, и моему потомству. Вот все, что я прошу у вас перед смертью. Но пора идти отсюда: мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить. А что из этого лучше, неведомо никому, кроме богов.

Шум расходящейся толпы. К Сократу бросаются ученики. Одновременно подходит **Тюремщик** .

Тюремщик. Будем одеваться, старичок! *(Начинает заковывать в кандалы руки и ноги Сократа.)* **Первый.** Ты был сегодня, как прежде. Я преклоняюсь перед тобой. Я все записал.

Подходят Анит и Мелет.

Анит. Прощай, Сократ!

Мелет. Рад, что ты счастлив умереть, рад, что мы совсем не огорчили тебя.

Сократ. Я тоже поздравляю вас, мои обвинители. *(Подставляя руку тюремщику.)* У убийц и у убитых ими — одна судьба. Если чтут убитого, обязательно помнят убийцу. Значит, покуда буду бессмертен я — будете бессмертны и вы. А молодому

Мелету это так необходимо, ведь он поэт. Ну, радуйся, юноша! В твоих яростных глазах, в твоих нервных руках уже нет тления! *(Хохочет.)*

Врывается Ксантиппа с детьми.

Ксантиппа. Сократ! Подлый! Сократ! Что ж ты наделал! *(Бросается на тюремщика с кандалами.)* Не трогай его, негодяй, у него больные ноги!

Ее оттаскивают ученики.

(Вырывается.) Сократ! Любимый! Отец дома!.. Кричите! *(Дергает за уши сыновей.)*

Сыновья вопят. Стража уводит Сократа. За ним идут ученики. Остаются уснувший Ликон, вопящая, подняв руки к небу, Ксантиппа и испуганные дети.

Афины. Глубокая ночь. У дома гетеры Гарпии. Появляется Мелет с факелом. Он пьян.

Мелет *(тщетно стучит в дом).* Я — бессмертен! Я — бессмертен!.. Открой, шлюха! Я разбужу всю улицу… Открой, девка, Мелету, имя которого в веках.

Из дома Гарпии выходит Анит. С ним — Рабе факелом.

Анит? *(Хохочет.)* Значит, мы оба? *(Хохочет.)*

Анит. Опять пьян? Ты быстро пристрастился… Я жду тебя, Мелет.

Мелет *(хохочет).* Где?

Анит *(насмешливо).* Ты забыл?.. Ведь сегодня я должен официально представить тебя священному Хору.

Мелет. Думаешь, я скоро отсюда освобожусь? *(Хохочет.)* Думаешь…

Анит. Я жду тебя у стены Кимона. До встречи!

В доме гетеры Гарпии.

Мелет и Гарпия.

Гарпия. А где треножник, поэт?

Мелет. К чертям треножник! Что он здесь делал? *(Хватает амфору и разбивает ее.)* Молчать!

Гарпия. Федр!

Входит Раб огромного роста.

Ударь его, Федр! **Мелет.** Ты что… свободного грека…

Раб бьет его.

Гарпия. Еще раз, Федр.

Раб снова бьет. Мелет падает.

Мелет. Не надо. **Гарпия.** Не надо его больше бить, Федр.

Раб уходит.

Мелет *(сидя на полу).* Ты меня любишь?

Гарпия. Я тебя очень люблю, козочка!

Мелет *(сидя на полу).* Я тебя страшно люблю. Хочешь, я на тебе женюсь? Великий Перикл женился на Аспазии, а она тоже была шлюхой. Ну и что? Сама богиня Венера, разве она не…

Гарпия. Федр!

Входит Раб.

(Мелету.) Сколько раз я тебе говорила, птенчик, что запрещаю при мне оскорблять богов. Я боюсь. *(Рабу.)* Федр!

Мелет *(вскакивая).* Не надо меня бить…

Гарпия. Он ударит не больно. Просто чтобы боги видели, что я их чту.

Раб бьет и уходит. Мелет снова на полу.

Бедняжечка, нельзя оскорблять богов. И очень плохо, что козочка напился и не принес мне треножник. Ведь ты меня любишь?

Мелет. Да! Да!

Гарпия. А сейчас ты пойдешь к Аниту и попросишь у него денежки. Он мне сам говорил, что ты можешь у него их попросить.

Мелет. Плевал я на деньги.

Гарпия. Какая сердитая у меня рыбочка. Очень хорошо, что ты на них плюешь. А ты их для меня попроси. *(Сухо.)* И без денег не приходи. И обязательно чтобы был в новом хитоне. Федр!

Входит Раб.

Проводи господина к Акрополю, его там ждут. *(Нежно.)* Надо уметь любить женщину, дорогой! Прощай, любимый, и возвращайся быстрее.

Раб выталкивает Мелета и тотчас возвращается.

(Рабу.) Эту записочку ты передашь актеру Килликию, такой белокурый, совсем молоденький. Скажи, что я жду его завтра.

Афины перед рассветом. Акрополь. Хор и Анит. Появляются Рабе факелом и Мелет.

Мелет *(Аниту).* Мне нужны деньги. Мне нужны эти совиные рожи на золоте — деньги твоих Афин.

Анит. Лес плодит сов, но я не рожаю деньги, добрый Мелет. Кроме того, по-моему, ты здесь не за тем: Хор выстроился — и все внимают и ждут твое сочинение.

Мелет. Песню захотели? Ну что ж, я прочту вам песню. Она называется… Нет, название потом. *(Читает.)*

Если ты скажешь, что я ослеп,
Я выверну веки и выдавлю глаза.
Если ты скажешь, что я немой,
Пусть вырежут мне язык.
Если ты скажешь, что я уже мертв,
Убью самого себя.
Чтобы правою всегда оказалась ты,
Вечно лгущая и недостойная…
Ты — как проезжая дорога,
По которой ездит всякий,
Но я молюсь тебе.
Ты — как захватанный руками сосуд,
Откуда не пил только ленивый.
Но я молюсь тебе.
О будь чиста, как красива,
О будь чиста, как пошла,
О будь чиста, как похотлива!
О будь чиста, как зла!
Обмани меня любовью,
Я буду рад.
Обмани меня слезами,
Я буду рад.
Потому что буду знать,
Что на мгновенье, что, хоть обманывая,
Ты подумала и обо мне.
Кто любил недостойную,
Кто любил продажную,
Тот изведал бездны,
Тот знает тьму,
Тот достоин прощения неба.

Это будет называться «Гимн гетере». (*Корифею, смеясь.)* И я хочу, чтобы вы исполнили его в Дельфах вместо гимна Аполлону. Я хочу так!

Корифей не двигается. Анит смеется.

(Аниту.) Теперь дай мне деньги… Ты все предусмотрел… Я жалок, и мне нужны деньги.

Анит смеется.

Ты уже знаешь, я продам свое право на песню! Все, как ты ожидал, предусмотрительный Анит!

Анит. Ты недорого продашь свое право на песню. Ты учтешь, что казна Афин разорена… Сколько, Мелет?

Мелет. Сколько… Сколько… *(Истерически.)* Нет! *(Кричит.)*

Нет! Все-таки — нет! Я не пойду к ней! А они будут петь мою песню! Пускай один раз не будет по-твоему! Я — тварь, но я ненавижу тебя и всех вас! *(Корифею.)* Строй своих бездельников, старик! Пора репетировать, поднимается солнце.

Никто не двигается.

Анит. Ты так шумел, Мелет, перед домом Гарпии, что разбудил, наверное, полгорода… И все слышали, как тебя оттуда выволок раб… Поэтому завтра никто не удивится, если Мелета найдут мертвым. Просто все будут считать, что пылкий Мелет покончил с собой от неразделенной страсти. Смерть, достойная поэта… старомодного поэта. Но все же хорошая смерть! В последний раз сколько ты хочешь? **Мелет** *(в истерике, совсем опьянел от собственной храбрости и неистовствует).* Нет! Они будут петь мою песню! Нет! Нет! Нет!

Корифей Хора молча подходит сзади к Мелету и, ловко пригнув его голову, всаживает кинжал в шею. Так убивают жертвенных животных. Мелет падает. Анит кланяется Корифею и молча уходит. За ним — Федр, отдав записку гетеры Первому актеру. По знаку Корифея строится Хор. Первый актер, зевая, читает записку гетеры Гарпии. Потом, усмехнувшись, прячет ее, надевает маску и присоединяется к Хору.

Хор.

Зевс любит дуб,
Лавр — Аполлон,
Афродите приятен мирт,
Оливки — Афине.
Хмель возлюбил Дионис.
Будем молиться свету,
Выйдя в поля и воздев руки к небу
И слушая говор богов
В дальних священных рощах.

В темнице просыпается Сократ. Он садится на ложе и некоторое время пытается понять, где он находится. Потом понимает и улыбается. Его тюрьма окрашивается светом восхода.

Сократ. День…

Тюрьма

Афины. Утро. Фрасибул и Анит.

Фрасибул. Я провел дурную ночь, Анит. Должно быть, переменился ветер. В такие ночи от старых ран умирают сверстники.

Анит. Да, была тяжелая ночь, Фрасибул. Сегодня ночью Мелет… тот самый Мелет… закололся.

Фрасибул. Закололся?

Анит. Он был влюблен в гетеру Гарпию, а она предпочла ему актера Килликия. Мелет в отчаянии прибежал к Килликию и у него на глазах закололся. *(С усмешкой.)* Актер Килликий дал показания и предъявил записку гетеры… (*Остановился.)* Короче, афинянам все будет понятно. Мелет не был украшением города, и боги быстро призвали его в царство теней.

Фрасибул. Я понял все про Мелета.

Анит. Сократ провел ночь в тюрьме. Ночь прошла спокойно.

Фрасибул. В Афинах сожгли сочинения Протагора, изгнали Анаксагора, объявили безбожником Диагора. По-моему, никто среди эллинов уже не сомневается в благочестии нашего народа и ревностной защите богов.

Молчание.

Я жду ответа.

Анит. Мы должны были приговорить Сократа к смерти.

Фрасибул. Когда великий Перикл умирал и друзья славословили его деяния, он сказал: «То, за что вы хвалите меня, сделали многие. Хвалите меня лишь за то, что при моем правлении не был казнен ни один афинянин!» Я когда-то мечтал о таких же словах.

Анит. Великий Периклжил в хорошее время. Мягкость и прощение — удел благосостоятельной страны. Крайность — удел тяжелых времен.

Фрасибул. Крайности делают тяжелые времена проклятыми временами.

Анит (*упрямо*). Сократа нужно было приговорить к смерти.

Фрасибул. Я уже все решил, Анит. Я провел бессонную ночь и все обдумал. Я видел Сократа на войне. Тогда стояла тяжелая зима, и мы выходили на улицу, напялив на себя всю нашу одежду и обвязав ноги войлоком и овчинами. А он выходил — в обычном плаще и босиком. И воины начали роптать, они решили, что он издевается над ними. Тогда один из стратегов для успокоения воинов чуть не велел казнить Сократа… Потом Сократ вернулся, и слава его гремела. В результате Аристофан осмеял его в своей комедии… Потом Сократ стал стар, и власть в Афинах захватили тираны. И главный тиран — Критий, его бывший ученик, позвал Сократа и грозил заключить его в тюрьму за то, что Сократ не

хотел прислуживать тиранам… Теперь мы изгнали тиранов, и вот уже мы приговариваем к смерти Сократа… Не слишком ли много для жизни одного старца? Казни Сократа не будет.

Анит. Я никогда не говорил, что Сократа нужно казнить. Я только отмечал, что его надо приговорить к казни, что Сократ не должен жить в Афинах… Великому Фрасибулу еще неизвестно, что вчера, сразу после приговора Сократу, я… своею властью… приказал отправить священное посольство в Дельфы. А это значит, как хорошо известно мудрому Фрасибулу, что ни одна капля крови не может пролиться в Афинах **(*усмехнулся*), пока** священное посольство не вернется обратно из Дельф. А это значит, что пройдет не меньше месяца, пока сможет состояться казнь Сократа… А это значит, что за этот срок… что-то случится. Например, мне известно, что ученик Сократа Аполлодор уже собирает деньги на его побег…

Фрасибул. На войне есть одно преимущество, Анит, — там все понятно. «О горькая пернатая стрела!..»

Афины. Тюрьма. Тюремщик принес еду Сократу.

Тюремщик. Да, не повезло вам: на моей памяти это первый такой случай. Обычно приговорят, и на другой день, к заходу солнца, уже несешь ему чашу с ядом. А тут живи целый месяц! А кормят у нас плохо. А вы, я вижу, старичок не из состоятельных?

Сократ. Да, я не очень состоятельный старичок.

Тюремщик. А подкармливаться вам придется, сами видите. Станет это вам в копеечку — целый месяц! А теперь все подорожало. Мне рассказывал дед, что в Сицилии бык стоил раньше две драхмы, а теперь овца стоит двадцать драхм. Раньше раб стоил сто драхм, а теперь за полтораста я купил в Пирее урода, и характер дурной: факел несет ночью, будто одолжение делает.

Сократ. А может быть, это опять Эзоп?

Тюремщик. Что вы сказали?

Сократ. Так, вспомнил старую историю про одного раба.

Тюремщик. Я к чему все это говорю: сейчас я к вам пропущу одного господина. Отчего ж не пропустить? Я ведь понимаю — вам скучно, и господин очень просит. Отчего ж не сделать одолжение людям, хотя и не положено. Но раньше овца стоила… а теперь… Вы уж намекните ему.

Входит Продик.

Продик. Рад тебя видеть, Сократ.

Сократ. И я рад тебя видеть, Продик. Но особенно рад тебя видеть он (жест в сторону тюремщика). Жизнь, говорят,

подорожала, особенно жизнь баранов. Она теперь стоит…

Тюремщик. Сорок драхм.

Сократ. Поэтому, если ты хочешь беседовать с живым Сократом, который в неволе, — помоги сделать мертвым барана, который еще на воле.

Продик *(передавая деньги, тюремщику).* За это ты впустишь женщину.

Тюремщик кланяется и уходит.

Это Ксантиппа. Она придет к тебе следом за мной.

Сократ. Что с тобой, Продик? В тебе была всегда тьма достоинств, но щедрость не была в их числе.

Продик. Я пришел покаяться перед тобой, Сократ.

Сократ. В чем же, Продик?

Продик. Мы дружны с тобой с детства, хотя я много моложе.

Сократ. На три года.

Продик. Но выгляжу я намного моложе. Между нами всегда было соперничество… неосознанное, что ли… как между сверстниками. Мы пошли с тобой разными путями: я стал известным оратором, учу ораторскому искусству, ты — философ. Я всегда с удовольствием следил за тобой, хотя и не во всем одобрял и не всегда принимал твои взгляды. Но есть люди, которым они нравятся, и пускай! Короче, отношения у нас развивались нормально. Не так ли?

Сократ. По-моему, тоже.

Продик. Но, понимаешь, что вышло. Обвинительную речь, которую против тебя произнес старец Ликон…

Сократ. Да?

Продик. Старец Ликон…

Сократ. Ты его уже назвал.

Продик. Эту речь, видишь ли, сочинил ему… я.

Пауза.

Сократ. Зачем же?

Продик (*оживившись его спокойствием).* Понимаешь… Ликон… как-то приходит ко мне и говорит: «Сократа все равно осудят, а мне трудно писать речь, я старенький. А ты, говорит, Продик, у нас великий оратор. А я старенький…»

Сократ. Значит, ты просто помог из уважения к старости.

Продик *(как всегда, стараясь не замечать насмешки).* И кроме того, я решил: лучше я напишу речь за Ликона, чем другой… Ведь я твой друг и сделаю это мягче… сладкозвучнее, что ли… Ты наверняка это почувствовал?

Сократ. Я сразу это почувствовал. Я так и сказал себе:

«Замечательную речь держит против меня Ликон, мягкую и сладкозвучную». Правда, в конце он почему-то предложил казнить меня, но это мелочь.

Продик. Сократ, ты знаешь, я верю в богов. Я вообще не люблю ссориться с людьми, особенно с людьми мертвыми, и я не хотел бы, чтобы ты умер, не простив меня… затаил что-то недоброе… и после смерти… посещал меня.

Сократ. Это жестоко, Продик! Ты хочешь лишить меня своего общества после смерти. Ни в коем случае! Такой оратор!

Продик. Сократ…

Сократ. Такой прекрасный собеседник, ни за что!..

Продик. Перестань шутить. Ты знаешь, как трудно в нашем возрасте засыпать. Я буду думать все время… Мне будет казаться… У меня плохой сон! Сократ, ты должен простить меня. Я прошу… Очень прошу тебя.

Сократ. Знаешь, пожалуй, я прощу тебя, но при одном условии. Тебе шестьдесят семь лет. И за все эти годы, Продик, я не слышал от тебя ни одной мысли, которой не знали бы все. Ты известный оратор, ты даже учишь красноречию других, — так что, будь добр, чтобы спасти свой будущий сон, открой мне одну, хотя бы одну истину, которую не знали бы все, и я тотчас прощу тебя.

Продик *(усмехнулся)*. Даже если тебе будет больно?

Сократ. Даже так.

Продик. Ну что ж, я верю тебе, ты всегда был хозяином своего слова… Итак, я считался твоим другом, Сократ, но я всегда ненавидел тебя!

Сократ *(укоризненно)*. Ну что ж тут нового, Продик! Разве не известно, что больше всех нас ненавидят те, кто считаются нашими друзьями!.. Но не печалься. Постарайся объяснить мне, за что ты меня ненавидел. Может быть, здесь мы почерпнем с тобой нечто новое и неизвестное?

Продик. Твоя мудрость всегда казалась мне глупостью, и я очень радовался, когда Аристофан написал про тебя комедию. И высмеял тебя. Я много хохотал тогда.

Сократ. Я тоже. Комедия у Аристофана получилась удачная… Это ты заплатил ему за комедию, Продик?

Продик *(не отвечая)*. Но что получилось в результате этой комедии? У греков есть одно качество, я его не знал тогда: чем больше кого-то уничтожают, тем больше он их занимает. Греки, как женщины, — их тянет к запретному. И твое имя стало у всех на устах! Когда я понял это, я пошел к Аристофану и просил его написать другую комедию — обо мне. Но он сказал, что нельзя дважды получать урожай с одного поля. Он сказал, что тема закрыта.

Сократ. Даже здесь тебе не повезло.

Продик. И так во всем. Я — красив, ты — уродлив. Ты так уродлив, что кормилицы пугают тобой детей.

Сократ *(сочувственно).* Да… Да…

Продик. А что в результате? Ты был уродлив до того, что привлекал всеобщее внимание. А я был красив, но недостаточно, чтобы об этом говорили другие. И в результате — опять болтали о тебе! Наконец я добился. Я стал зарабатывать сто пятьдесят мин в месяц за уроки красноречия. Я увеличил наследство отца в сто раз. Об этом должна была пойти слава? Но не пошла. Потому что Протагор зарабатывал чуть больше, а толпа интересуется только первыми… Ты же вовсе отказался от денег, ты объявил, что философу стыдно брать деньги за мудрость. А людям всегда интересно, когда на них кто-то не похож. И опять твое имя было на устах у всех. Ты ходил в грязном хитоне, урод, живущий подачками своих учеников, — и тебя славила вся Греция! Я был красив, умен, богат — и обо мне не знает никто! Я издал свои сочинения. Их читают только мои ученики. Ты даже не потрудился записать свои мысли! Что получилось в результате? Тебе начали приписывать все мудрости, которые когда-нибудь и кто-нибудь произносил! Я не спал ночей и создал наконец достойное изречение! Я попросил за большие деньги высечь его на храме! Чем кончилось? Недавно я узнал, что мое изречение считают твоим! Справедливо ли это?

Сократ. Ни в коем случае.

Продик. А теперь открой мне, Сократ: разговоры о добродетели и т. д. и т. п. — это все хорошо. Но если говорить откровенно, ты жил так по глупости или нарочно?

Сократ. Ты хочешь спросить, нарочно ли я был нищим, уродом и не издавал своих книг?

Продик. Да!

Сократ. Я тебе открою. Это получилось… насильственно!

Продик. Как?!

Сократ. Видишь ли, ты живешь один. Ты — Продик, сам Продик. А рядом со мной всегда находился некий человек, который меня обличал и мучил. Понимаешь, стоило мне произнести любую истину, которая так ясна нам с тобой, как он тотчас ее опровергал… Я ведь тоже думал, что главное — быть богатым, пользоваться почетом, выпускать свои книги. Но как только я произносил это вслух, он бросался на меня с бранью и приводил тысячу примеров, когда быть богатым, выпускать книги и пользоваться почетом оказывалось стыдно! И что самое ужасное, я никогда не мог от него избавиться. Ибо он жил рядом со мной, в одном доме, даже в одном теле. И это он мучил меня,

задавал вопросы, на которые нам с тобой хорошо известны ответы, а ему — нет. И оттого я не сумел прожить жизнь так, как прожил ее ты. И оттого я — здесь, в тюрьме, а ты пришел сюда ко мне… Но что же у нас получается, Продик? Ведь это ты должен был открыть мне то, чего не знаю я… А у нас выходит наоборот.

Пауза.

Продик. Ну что ж… Я расскажу тебе сейчас, Сократ, и твоему взыскательному другу тоже расскажу. ***(Медленно.)*** Сколько у тебя детей, Сократ?

Сократ. У меня трое сыновей.

Продик. Я рад открыть тебе истину: у тебя нет сыновей, Сократ. *(Засмеялся.)* Пока тебя мучил твой человек… *(Замолчал.)*

Долгая-долгая пауза.

Сократ *(поднял голову, улыбнулся, глухо)*. Посмотри на меня и на себя. Жена нищего, дряхлого философа предпочла ему красивого, богатого, легкоголового Продика. Что ж тут нового? И когда было иначе? В какие времена, Продик? *(Почти кричит.)* А я просил тебя открыть мне новую истину! Я не прощаю тебя! Я буду являться к тебе!

Продик *(вскочил)*. Ступай под землю! Рогатый старик! Смерть тебе!

Сократ *(вскочил)*. А что в результате, Продик? За эту смерть они завтра восславят меня и будут ставить мне памятники и поклоняться моей роже — плешивой роже, которой пугали детей кормилицы!

Продик *(в ужасе)*. Ты… нарочно? Опять?

Сократ *(хохочет)*. Ну что ж ты стоишь? Ты мечтал о славе. Я открываю тебе, как ее достичь. Последний твой шанс, Продик: беги и сделай нарочно, чтобы они тоже несправедливо убили тебя! *(Хохочет.)*

Продик убегает. Сократ ложится на ложе. Входит Тюремщик.

Тюремщик. К вам пришла…

Сократ. Не пускай ее.

Тюремщик. Как прикажете.

Сократ неподвижно лежит на ложе.

(Словоохотливо.) Правду ли говорят, что вы самый большой мудрец?

Сократ не отвечает.

Я почему вас спрашиваю, я не верю слухам. Например, обо мне говорят, что я самый большой дурак. Тогда что же выходит —

самый большой мудрец сидит в тюрьме, а самый большой дурак его стережет. Ан не так!.. Вы — славный старичок, я вам кое-что открою. *(Шепотом.)* Я совсем не дурак, я только притворяюсь. Потому что с дурака взятки гладки и никакого спроса. И никто его не боится, и все над ним смеются, а значит, любят. И так я всю жизнь прожил, и хорошо. Хоть читать и писать не умею, а состою на государственной службе и получаю два обола. Достиг!.. Главное — не выдавать никому, что ты умный. А в душе будь хоть мудрецом, это твое дело. Я сам знаешь какой умный в душе! Когда я одному приговоренному здесь все это рассказал, он даже заплакал. «Эх, говорит, жаль, что ты мне раньше не встретился! Жил бы по-другому…» И все имущество мне завещал… Плохо, что у вас нет имущества.

Врывается Ксантиппа.

Ксантиппа (*Тюремщику).* Ты что торчишь тут?! Взял деньги — уходи!

По знаку Сократа Тюремщик уходит.

Продик сказал мне… Он негодяй, Сократ… Это все неправда! Это твои дети, Сократ! Твои! Твои!

Сократ. Я знаю, Ксантиппа.

Ксантиппа. Он со злости! Он нарочно, чтобы… Сократ! Хочешь, я позову его, он подтвердит? Ты мне веришь?!

Сократ. Да, Ксантиппа.

Ксантиппа *(прижалась к нему и вдруг начинает плакать).* Ты веришь по правде? Клянись!

Сократ. Клянусь.

Ксантиппа. Ты взял меня совсем молодой… Ты был старик, а я была… У тебя было столько друзей, и ты всегда с кем-то беседовал… А я слушала и ничего не понимала… Я была совсем молодая, а ты…

Сократ. Не надо, Ксантиппа!

Ксантиппа. Ты все время себя побеждал. Сначала ты победил свое тело и выучился ходить босиком зимой. Потом ты победил тщеславие и стал ходить в рваном хитоне. Потом ты победил свою плоть, и она уже не мешала тебе мыслить… И я осталась одна на пустом ложе! А я была совсем молодая, Сократ. А ты не обращал на меня внимания! Мне даже казалось, что ты попросту меня не видишь. Ты вдруг почему-то вообразил, что я красивая, настолько ты не обращал на меня никакого внимания! Ну погляди на меня, Сократ, какая же я красивая! Ну что ты, с ума сошел, откуда же я красивая!

Сократ. Ты красивая, Ксантиппа.

Ксантиппа. Замолчи! Мне было плохо с тобой всегда, а ты решил, что я попросту сварливая. А я никогда не была сварливой,

я ею стала с тобой. И я всегда знала, что я некрасивая, что у меня есть только моя молодость… Что она скоро пройдет, и тогда ничего не останется… А Продик был красив и…

Сократ. Не надо, Ксантиппа.

Ксантиппа. Я делала все, чтобы ты узнал, Сократ. Я хотела, чтобы ты ревновал. А ты, как всегда, попросту не заметил меня. Ты продолжал одерживать свои замечательные победы и все совершенствовался… Спасибо тебе, Сократ, за то, что ты был так добр сегодня… За то, что ты терпел все эти годы мой дурной характер… Спасибо тебе… Но это была проклятая жизнь, Сократ! Смешно. Тебя отнимают у меня теперь… Теперь, когда я уже постарела и скоро состарюсь совсем… Когда я начинаю понимать, о чем ты беседуешь с учениками, и даже готовлюсь стать тебе верной женой, точнее, верной матерью. Потому что ты давно уже стал моим четвертым ребенком, моим незаконным четвертым ребенком… И вот в это время тебя отнимают!

Входит Тюремщик.

Тюремщик. Пора.

Сократ. Иди.

Ксантиппа. Скажи мне что-нибудь, Сократ.

Сократ. Ты всегда была верной женой, Ксантиппа. Ты родила мне трех сыновей. И я благодарю судьбу за то, что она дала мне в жены — тебя.

Ксантиппа убегает.

(*Тюремщику.)* И никого не впускай… Мне плохо… Иди… Иди!

Тюремщик уходит. Сократ неподвижно сидит в темноте на ложе.

Афины. Тюрьма. После болезни Сократа. **Сократ** и **Первый ученик** .

Первый. Сократ! Сократ! (Обнимает его.) Сколько же я не видел тебя! Когда мы узнали, что ты заболел, мы прибежали! Почему ты не захотел нас впустить?

Сократ. Я подумал, в часы болезни человек не столь приятен и лучше ему быть одному.

Первый. Как ты себя чувствуешь теперь? Ведь ты ни разу в жизни не болел.

Сократ. Это была не просто болезнь. Это была прекрасная болезнь. Я рад, что ты здесь, и я тебе сейчас все расскажу. А где Аполлодор?

Первый. Он скоро придет.

Сократ. А где Платон и остальные?

Первый. Все тебе объяснит Аполлодор.

Сократ (уже думая о своем). Я лежал в бреду и глядел на потолок. Тени ходили по нему, и мне казалось, что это облака и что я лежу у самого неба. Я не узнал свою ладонь, она была похожа на срез дерева. А потом сознание вернулось, и однажды под утро я проснулся весь в поту… Я лежал мокрый, без сил, но почему-то сразу понял, что выздоровел, и заплакал, так мне вдруг стало хорошо. Я понял, что впереди у меня день… день жизни. И я был счастлив и чувствовал любовь ко всем… любовь…

Первый *(прекращая записывать).* Как странно!

Сократ. Жить!.. Жить!.. С каждым мгновением возвращались мои силы, и я уже мог ходить. Это оказалось счастьем — просто ходить. И тут я понял, что многого не знал раньше… Раньше я был горд, уважаем, здоров. У меня были дети, дом, жена. А вся моя нищета была попросту выдумка, я в нее играл: ведь я мог всегда заработать много, если бы захотел. Оказывается, нужно было потерять все: дом, детей, семью, здоровье, стать беззащитным перед смертью, как затравленный зверь, нужно было, чтобы сознание погрузилось во тьму и проснулось однажды утром вместе с солнцем; нужно было, чтобы я лежал бессильный, в поту и во мне уже ничего не было, кроме благодарной радости — жить, жить… — все это нужно было, чтобы я вдруг понял… Пойми и ты. Я часто говорил, что зло — это отсутствие просвещения и что все в жизни можно исследовать разумом. Это не так. Я понял в тюрьме то, что не смог додумать тогда, в лагере под Потидеей. Любовь… Любить всех. Понять, что другой — это ты… И любить его… Коли есть в тебе это, только тогда разум сможет подсказать истину… И я никогда не был счастлив так, как в тот миг, когда почувствовал эту любовь в себе. И оттого мне так хочется жить сейчас. И немало из того, что я утверждал прежде, перестало мне казаться сейчас истиной… Что ты так смотришь?

Первый. Тебе действительно хочется жить?

Сократ. Да! Да!

Первый. А я отчего-то думал, что ты хочешь умереть…

Сократ. Живое не может хотеть умереть. Живое может лишь достойно принять смерть.

Входит **Второй** ученик.

Первый. Ну что ж, Аполлодор порадуется твоей любви к жизни. Прощай!

Сократ. Куда ты?

Первый. Я должен идти. Аполлодор все объяснит… Ты изменился, Сократ. Я никогда не думал, что тебе так захочется жить. *(Уходит.)*

Второй. Сократ! Сократ! Я не видел тебя почти месяц…

(Обнимает его.)

Сократ. Как живет Ксантиппа, моя жена?

Второй. Вчера мы передали ей деньги, и она…

Тюремщик *(заглядывая).* Пора!

Второй. Нет времени, Сократ!.. Ты наденешь сейчас мое платье. Я останусь здесь вместо тебя. Мы подготовили твой побег, Сократ. Ты отправишься в Фессалию, по пути тебя ждут со свежими лошадьми все — беседовавшие с Сократом. В Фессалии тебя встретит Платон.

Тюремщик *(заглядывая).* Быстрее!

Второй. Простимся, Ксантиппа и раб с лошадьми во дворе. Что ты молчишь.

Сократ. Я думаю.

Второй. Прости, но нет времени!

Сократ. Всегда должно быть время подумать! Садись спокойно, Аполлодор, и поразмыслим.

Тюремщик *(заглядывая).* Скоро придет новая стража.

Второй. Сократ!

Сократ. От стражи легче спастись, чем от неверного поступка.

Второй. Сократ, мы готовили этот побег четыре недели. На днях возвращается посольство из Дельф, и тогда…

Сократ. Ответь мне, Аполлодор, справедливо ли отвечать злом на зло?

Второй. Нет, Сократ. Но…

Сократ. Ответь, справедливо ли поступили со мной законы моего отечества?

Второй. Нет.

Сократ. Но разве я жил в своем отечестве только потому, что условился, что его законы должны поступать со мной справедливо во всех случаях?

Второй. Но…

Сократ. Отвечай.

Второй. Нет, Сократ!

Тюремщик *(заглядывая).* Ваша жена ругается. Она стоит во внутреннем дворе и очень сильно ругается.

Сократ. Это замечательная женщина, Аполлодор. Иметь ее — большое счастье и ответственность. *(Тюремщику.)* Сходи и объясни Ксантиппе, что ее муж, Сократ, занят беседой. Она знает, как это важно, и поймет.

Тюремщик уходит.

Итак, законы вполне резонно могут мне сказать: «Сократ! Согласно нам, законам твоего отечества, отец твой взял в жены

твою мать, и ты появился на свет. Ты — есть в некотором роде наше порождение. Согласно нам, ты вскормлен, воспитан и наделен благами. Наконец, согласно нам, ты мог попросту покинуть свое отечество, когда вырос. Но ты не сделал этого. Более того, ты никогда не выезжал из Афин, разве что только на войну. Даже ради празднеств не покидал ты родной город. Ты даже не путешествовал. Значит, ты не хотел уехать от нас в другой город с другими законами. Значит, мы, законы твоего отечества, тебе нравились, пока относились к тебе справедливо! Но вот сегодня ты претерпел от нас, и что же? Ты уже готов предать нас, а следовательно, и свое отечество. Ты готов бежать от нашего постановления, скрыться из тюрьмы, переодевшись в козью шкуру или в платье Аполлодора, к нашим врагам. Значит, ты решил ответить своему отечеству злом за зло? Но ты учил всегда иначе! Что же тогда тебе делать, Сократ, в чужой стороне? Чем ты станешь там заниматься? Учить справедливости и добродетели? Но, сбежав от нас, ты сам ее первый нарушишь. Тогда чем ты станешь жить в Фессалии? Услаждать себя едой? Но это хуже смерти!». Аполлодор… Аполлодор… Мне очень хочется жить… Но тебе будет стыдно, если твой собеседник Сократ предаст свои убеждения ради жизни… Ты плачешь, Аполлодор? Но почему? Надо радоваться! Мы ведь поняли с тобой, что есть благо, и не совершили непоправимого поступка. Мы идем до конца в своей вере, не так ли? Ну, отвечай, я прав или не прав?

Второй *(еле слышно).* Ты прав, Сократ!

Тюремщик *(врываясь).* Она бушует и плачет. Она кричит. Подходит стража…

Сократ. Иди к ней, Аполлодор, и скажи, что Сократ — как вакхант, завороженный звуками собственной флейты. Он идет за своими убеждениями, и они гудят в нем, и он не слышит ничего другого! (Хрипло.) И уведи Ксантиппу… Только, пожалуйста, пройди с нею мимо моего окна… Я хочу увидеть ее лицо.

Второй ученик молча кланяется и уходит. За ним — **Тюремщик.** Сократ, гремя оковами, становится у окна. Ждет.

(Глядя в окно.) Какое лицо! Какое у нее прекрасное лицо!..

Афины. В доме Анита. **Анит** и **Гарпия** спят на ложе. Входит Раб, будит Анита.

Раб. К господину пришли…

Анит *(вскакивает, надевает одежду, будит Гарпию).* Уходи!

Гарпия *(сонно).* Вот так всегда… Больше не приду. *(Уходит за занавеси.).*

Раб вводит Первого ученика.

Анит. Я рад тебя видеть в своем доме. Это большая честь для меня. Заслуги твоего рода перед Афинами…

Первый. Я не пришел болтать с тобой о моем роде. Сейчас Аполлодор сидит в камере Сократа. Тюремщик подкуплен. Лошади ждут. Сократ отправится в Фессалию.

Анит *(будто не слыша сообщения).* Я очень рад с тобой беседовать. Я тоже в свое время занимался философией: нас было трое — я, Тисандр из Афидны, Андрон, сын Андротиона… Однажды мы держали совет, до каких пор можно заниматься философией стоящему человеку, который собирается достигнуть чего-то в жизни.

Первый. Послушай, Анит…

Анит. Я это говорю тебе потому, что мне жаль, когда молодой человек, принадлежащий к такому прекрасному роду…

Первый. Я обойдусь без сожалений кожевенника Анита…

Анит. Несколько неудачно построенная фраза.

Первый. Послушай, Сократ убежит, ты понимаешь это?

Анит. Это я давно понял. А вот зачем ты, ученик Сократа, который, кстати, готовил этот побег, раб которого сейчас стоит с лошадьми и ждет вместе с Ксантиппой упомянутого Сократа, — зачем ты пришел ко мне? И что ты хочешь? Вот этого я не могу понять.

Первый. Ты и не сможешь этого понять, кожевенник… Ты долго будешь медлить?

Анит. Позволь это решить мне. Ведь ты пришел ко мне, а не я к тебе… ***(Светски.)*** Значит, я хочу дать тебе один совет. Я любил твоего отца и знал тебя с колыбели. Ах, как быстро бежит время: время не проходит, это проходим мы, безумцы!

Первый *(выхватил нож).* Слушай, Анит…

Анит *(схватил его за руку).* Как вы все похожи. Вы любите бездны и ощущение катастрофы. *(Выворачивает ему руку и швыряет нож в угол.)* Даже ты, самый спокойный, как пьяница, алчешь привкуса смерти.

Первый (орет). Ты долго…

Анит *(спокойно).* Ты о чем?.. Ах, Сократ… Да, Сократ… Что ж, Аполлодор действительно приходил к нему. Но полчаса назад Сократ отказался бежать.

Первый. Что?!

Анит. И Платон напрасно ждет Сократа в Фессалии.

Первый. Откуда ты… знаешь?

Анит. Добрые люди… Они всегда подскажут вовремя. Я надеюсь, что и ты в дальнейшем не забудешь дорогу в этот дом.

Первый *(усмехнулся*). Ты решил, что я стану твоим доносчиком, кожевенник Анит!

Анит. Я мог бы арестовать тебя за участие в побеге. Но я не спешу. Я надеюсь на тебя… И если ты впредь не оправдаешь мои надежды… *(Остановился.)* Удивительны пути, по которым распространятся слухи в народе о предательстве ученика Сократа.

Первый. Тогда ты ляжешь у этого порога, пес!

Анит. Все же я надеюсь на тебя. *(Помолчав.)* Мне было приятно с тобой встретиться…

Первый. Это ничто, Анит, по сравнению с тем, как было приятно мне. *(Уходит.)*

Возвращается Гарпия, подходит к задумавшемуся Аниту, обнимает его. Тот вздрагивает от неожиданности.

Гарпия *(сладко).* Я привязалась к тебе, суровый Анит… Хитроумный Анит. Как ты ловко его… **Анит.** Ты слушала нашу беседу, многознающая Гарпия? *(Целует ее. Смеясь.)* У тебя есть яд?

Гарпия глядит на него изумленно.

Чтобы выпить его, когда я вышлю тебя в холодную Скифию.

Гарпия в ужасе смотрит на Анита. Но Анит простодушно смеется. И Гарпия, решив, что это была шутка, начинает хохотать.

Афины. Тюрьма. Рассвет следующего дня. Сократ спит. Постепенно в камеру входят первые отблески поднимающегося солнца. Появляются Анит и Тюремщик. Тюремщик будит Сократа. Гремя кандалами, Сократ садится на ложе и различает стоящего в дверях Анита.

Анит. Привет тебе, Сократ! Прости, что я разбудил тебя. Я слышал, что прежде ты вставал вместе с солнцем. Я забыл, что в тюрьме привычки меняются.

Сократ. Я давно жду тебя, Анит, и все удивляюсь, почему ты не приходишь.

Анит. Ну что ты, Сократ, я не покидал тебя все это время. Я был с тобой… как бы это точнее сказать… незримо. *(После паузы.)* Что бы ты сказал, Сократ, если бы я объявил тебе, что сейчас возвратилось посольство из Дельф и наступило твое последнее утро?

Сократ. Я поблагодарил бы тебя, Анит, за то, что ты вовремя разбудил меня и дал мне увидеть последний восход солнца.

Анит. Но я еще не объявил тебе этого, Сократ. *(Помолчав.)* Мудрейший из афинян, как ты думаешь, о чем я пришел попросить тебя?

Сократ. Если ты хочешь попросить меня не являться к тебе после смерти…

Анит. Ну что ты, Сократ, я не верю в жизнь после смерти. Как, впрочем, не верю и в богов.

Усмешка Сократа.

Видишь ли, человеческая жизнь слишком мгновенна, чтобы проверить, существуют ли великие боги. А я — кожевенник и верю только тому, что можно проверить на собственной коже, точнее — шкуре… И вообще, согласись, Сократ, было бы слишком печально узнать, что вся наша короткая жизнь находится в воле *(жест в небо)* этих вечно бранящихся олимпийцев… Неужели ты действительно веришь в богов?

Сократ *(улыбаясь)*. Мне очень хочется верить в жизнь после смерти.

Анит. Тогда это забавно, Сократ: человек, который верит в богов, посажен в тюрьму другим, который в них не верит, по обвинению в неверии в богов.

Сократ. И это бывало, Анит… Остается лишь выяснить, кто из этих двух счастливее.

Анит. Ну конечно, ты — осужденный. Ты докажешь мне это с легкостью. И даже меня, как барана, заставишь повторять вслед за тобой, что лучше сделаться пищей червей, чем стать властелином мира. У тебя уж так устроены мозги — ты докажешь все, что хочешь… А если действительно, Сократ, сейчас наступило твое последнее утро, тебе не жаль его терять на болтовню?

Сократ. Я называю это беседами, Анит. Я потратил на это всю свою жизнь…

Анит. А если это была ошибка? Я ведь сам занимался философией, Сократ, в молодые годы. Вчера я даже начал рассказывать об этом… одному, хорошо знакомому тебе молодому человеку… который разбудил меня рано утром, так же, как я тебя… (*Замолчал, ждет вопросов Сократа.)*

Сократ молчит.

Значит, я рассказал этому молодому человеку, как трое нас — Тисандр из Афинды, Андрон, сын Андратиона, и я…

Появляется Тюремщик, но по знаку Анита уходит.

Так вот, собрались мы однажды и держали совет, до каких пор можно заниматься философией стоящему человеку. И мы решили: до тех пор, пока он не станет вредить себе излишней мудростью.

Сократ. И вы счастливо избежали этой опасности.

Анит. Именно, насмешник Сократ. Поэтому, когда я вижу старца в глубоких летах, который утонул в философии, отстранив себя от нормальной жизни, — прости за резкость, я говорю то, что думаю, — мне хочется позвать раба с кнутом и высечь этого старца… Но не будем горячиться, не так ли? Значит, о чем мы говорили? Да, о посольстве из Дельф. Но я еще не сказал тебе,

что посольство возвратилось. Это пока у нас повисло в воздухе, не так ли? Да, еще чтоб не забыть… Мне очень понравились твои рассуждения об афинских законах: я имею в виду то, что ты говорил здесь наедине Аполлодору. Ты вспомнил?

Сократ молчит.

Это похвально, хотя сам я, который посадил тебя сюда на основании законов, которые ты так уважаешь, — не разделяю твоего мнения о них. Наши законы — дурны, ибо они установлены слабосильными. Что делать — слабосильных большинство: в природе всегда больше дурного и отходов. И вот, чтобы защитить себя от меньшинства сильных, то есть от тех, кто способен над ними возвыситься, — это слабое большинство придумало наши афинские законы. И утверждает, что встать над большинством — несправедливо и надо страшиться этого. Но, Сократ, ведь сама природа повсюду провозглашает право сильного. Закон великой природы считает справедливым, если лучший и сильный подавит худшего и слабого. «Творить насилие рукой могучей» — это сказал великий поэт Пиндар… Мы же берем с детства самых решительных и сильных людей и приучаем их заклинаниями законов, что все они должны быть равны ничтожному большинству и что только это справедливо… Но мне хочется, Сократ, чтобы у нас появился некто, достаточно одаренный природой, который освободился бы от этого дурмана и освободил других.

Сократ. Это будешь ты, Анит?

Анит. *(не отвечает).* И восторжествует закон естественного, то есть природа.

Сократ. Тогда я очень мешал тебе, сильный Анит!

Анит. Ты мешал всем. Умным, потому что многое из того, что приходило в голову тебе, приходило в голову и им. Но они молчали. А если кто-то молчит, ему совсем не нравится, когда говорит другой… Ты мешал глупым — они тебя не понимали… Ты мешал тем, кто не верит, потому что требовал веры… Ты мешал тем, кто верит, потому что их раздражала твоя вера, которую надо все время проверять сомнением — истинна ли она.

Сократ. И все-таки почти половина судей, несмотря на подкуп, запугивания, были за меня, Анит. Почему так? А может быть, вера и сомнение не страшат народ, а страшат лишь тиранов… или будущих тиранов? Мы можем и это исследовать…

Появляется Тюремщик.

Анит. Пора! *(Встает.)* Времени не осталось, Сократ. Я объявляю тебе, Сократ: священное посольство ночью прибыло из

Дельф, и наступил день твоей смерти. Во дворе собрались твои ученики, твоя жена и дети. Они ждут, когда снимут с тебя оковы. *(Жест в сторону Тюремщика.)* Он приходил сюда для этого. *(Тюремщику.)* Уйди пока.

Тюремщик выходит.

Сократ, я могу заключить сейчас под стражу Ксантиппу, Аполлодора, Симия, Кебета и других по обвинению в подкупе тюремщика и в подготовке твоего побега…

Сократ молчит.

И чтобы легче нам было закончить рассуждения о пользе веры, сомнения и философии вообще, я могу открыть тебе, мудрейший из афинян, откуда я знаю о твоем побеге… Нет, не от тюремщика, хотя и от него тоже…

Сократ *(не выдержал).* Откуда, Анит?

Анит (не ответил, засмеялся). Но я оставлю их всех на свободе, потому что тюремщик принял деньги по моему повелению. Ты можешь бежать, Сократ. Более того, я пришел просить тебя бежать… Я надеюсь, что в Фессалии у тебя будет время поразмыслить о твоем любимом ученике… и о том, почему он рассказал мне о твоем побеге.

Пауза.

Сократ. Ты хочешь, чтобы я бежал. *(Засмеялся.)* Это очень похвально, Анит, что ты решил творить зло, не проливая крови… Но возможно ли это? Исследуем. **Анит.** Отвечай быстрее, Сократ.

Входит Тюремщик.

Ты бежишь в Фессалию? **Сократ.** Ты отлично знаешь, Анит, что я никуда не побегу. *(Жест в сторону Тюремщика.)* Тебе ведь доложили мою беседу с Аполлодором?

Тюремщик утвердительно кивает.

Прощай, Анит. И не мучь меня понапрасну. Мне очень хочется жить. Я был не прав. Оказывается, даже в тюрьме можно жить. Более того, в тюрьме можно многое понять.

Анит *(не удержавшись от насмешки).* Мне всегда казалось, что людям твоего склада совсем не худо побывать здесь. Я даже позаботился о тебе, Сократ.

Сократ. Спасибо, Анит. Жаль, что не смогу ответить тебе любезностью на любезность и убежать в Фессалию…

Анит. Ты вспомнил о своих детях, Сократ?

Сократ. Вспомнил, Анит.

Анит. А о жене, об учениках?

Сократ. И о них вспомнил.

Анит. А если я велю кричать на всех углах о предательстве любимого ученика Сократа, это не принесет тебе пользы за

гробом!

Сократ. Ты хорошо сделаешь: о предательстве нужно кричать.

Анит (*Тюремщику*). Начинай!

Тюремщик снимает оковы с Сократа.

И пустишь к нему жену и друзей. *(Сократу.)* Он принесет тебе чашу с ядом и объяснит, как все это половчее сделать. Слушайся его, Сократ, у него в этом большой опыт… Да, жаль! У тебя была длинная жизнь, на твоих глазах построили великие храмы Акрополя, на твоих глазах Афины расцвели и увяли. В последний раз, Сократ…

Сократ. Есть басня Эзопа, Анит. Некий заботливый хозяин решил отмыть своего черного раба, эфиопа, чтобы тот стал белым. Ты знаешь, чем это кончилось.

Анит. Мудрый старец. *(Засмеялся.)* А ты действительно — мудрый. Ну конечно, я не хотел, чтобы ты бежал в Фессалию… И казни твоей не хотел… В казни есть что-то торжественное, страдальческое… А у меня была мечта: убить тебя как собаку., как трусливую собаку при попытке к бегству. И рад, что открываю Сократу эту последнюю истину. Прощай.

Сократ. Я рад, что не ошибся: зло всегда порождает кровь.

Анит уходит.

Тюремщик *(заканчивая снимать оковы).* Сейчас придут твои друзья и жена. Но сначала давай договоримся, когда приготовить чашу. Сократ садится на ложе и медленно, с наслаждением растирает затекшие руки и ноги.

Сократ. Как только они уйдут, сразу неси мою чашу. **Тюремщик.** Вот это разговор! Молодец, старичок! ***(Распахивает двери.)***

Входят **Ксантиппа** и ученики Сократа. Среди них — **Первый** и **Второй** .

Сократ *(продолжая со счастливой улыбкой растирать ноги).* Какая странная вещь, друзья. То, что люди зовут приятным и сладостным, подчас поучительно уживается с тем, что принято называть мучительным, больным. Они будто срослись в одной вершине — кто получит одно, вскоре получит и другое. Еще недавно моим ногам было тяжело и больно от оков, а теперь всему моему телу сладостно и приятно. Тема для басни Эзопа.

Второй *(стараясь говорить весело).* Кстати, меня спрашивало уже несколько человек, правда ли, что ты вдруг начал сочинять стихи?

Первый. Это неправда. Сократ сочинял в тюрьме не свои

стихи, а перелагал древние басни Эзопа.

Сократ *(будто не слыша Первого ученика, обращаясь только ко Второму)*. Знаешь, Аполлодор, в течение жизни мне часто снился сон, будто чей-то голос говорил мне: «Сократ, потрудись на поприще муз». Я считал, что я так и делаю, ибо философия считается величайшим из всех искусств муз. Но в тюрьме… в тюрьме философия не всегда утешает. И вот после болезни, когда в моей душе проснулось ликование, я попытался творить на самом обычном для муз поприще — я начал слагать стихи.

Второй. И что же?

Сократ. Оказалось, нельзя творить стихи при помощи разума. Оказалось, поэты летают. И только тогда приносят свои песни, собранные в садах и рощах муз. Поэт — это существо легкое, крылатое и безумное. И творить он может, только когда сделается исступленным, вдохновенным, чего не позволяет мне мой скучный разум. И потому я оставил свои жалкие потуги и сочинил всего один гимн в честь Аполлона. Ведь благодаря празднику Аполлона в Дельфах я прожил этот лишний месяц, и не поблагодарить его было бы невежливо. *(Отдает гимн Второму ученику.)* Ты передашь это сегодня священному Хору, когда он сойдет на землю Афин.

Ксантиппа. Я не могу так! Я не могу!

Сократ. Ксантиппа… Ксантиппа…

Ксантиппа *(бессвязно)*. Я не могу, Сократ! Я просто не могу.

Сократ. Уведите ее!

Ученики держат Ксантиппу.

Ксантиппа. Нет! Все, все, я буду молчать! Я буду молчать! Я должна все это до конца увидеть. Ты слышишь? Я должна быть с тобой до конца, чтобы ты знал, что я тебя люблю.

Сократ *(Второму)*. Ксантиппа — женщина, но что с тобой, Аполлодор?

Ксантиппа вырывается из рук учеников, падает на пол и ползет к Сократу.

(Опускается на колени.) Ну, давай поговорим, Ксантиппа. Ты ведь стала у меня совсем мудрая.

Ксантиппа (шепотом). Совсем мудрая.

Сократ. Ты уже научилась беседовать со мной. Не так ли?

Ксантиппа. Научилась.

Сократ. Тогда слушай: ты ведь знаешь, что ни одна птица не поет, если она страдает…

Ксантиппа. Знаю.

Они стоят на коленях друг против друга.

Сократ. Тогда ответь мне, почему лебеди, почувствовав свою смерть, заводят такую громкую, такую счастливую песню? Отчего они ликуют?

Ксантиппа *(ничего не соображая).* Отчего они ликуют?

Сократ. Значит, смерть — это не всегда страдание. А ведь лебеди — это вещие птицы и принадлежат все тому же Аполлону. Ты поняла?

Ксантиппа *(целуя его руки).* Я поняла.

Сократ. Теперь ответь мне, Ксантиппа, свойственно ли настоящим философам пристрастие к так называемым наслаждениям: к питью или еде? Ответь мне.

Ксантиппа. Свойственно… Несвойственно. *(Вцепилась в руку Сократа.)*

Сократ. А к остальным удовольствиям, начиная с тех, что относятся к уходу за телом — например, щегольские сандалии, красивый плащ, — ценит ли все это истинный философ или не ставит ни во что, кроме самых необходимых?

Ксантиппа *(бормочет).* Несвойственно… Свойственно…

Сократ. Молодец. Ксантиппа! Стало быть, истинный философ на протяжении всей своей жизни постепенно освобождает свою душу от прихотей тела. И когда наступает час его смерти, что с ним происходит?

Ксантиппа. Что с ним происходит?

Сократ. Душа обычного смертного разлучается с телом осквернённая и замаранная. Всю жизнь она угождала своему телу — его страстям и наслаждениям. Она настолько срослась с телом и зачарована им, что не считает истинным ничего, кроме утех тела, то есть того, что можно осязать, выпить, съесть или использовать для любовной утехи. Все смутное, незримое она боится и ненавидит. И оттого мучительно такой душе расставаться с телом и жизнью. Не то философ! Ксантиппа, я никогда не заботился о теле. Я победил все его желания — и теперь, вступая в пору, когда оно будет докучать мне своими слабостями и мешать мне мыслить, я расстаюсь с ним легко, без сожаления, как лебеди. Я убегаю из-под его стражи. Это не страдание, Ксантиппа. Я покидаю землю легко, с осознанной любовью ко всем живущим. Считай это просто выздоровлением моего дряхлого тела. И как при выздоровлении приносят богу Асклепию в благодарность в жертву петуха — сделайте так, когда я закрою глаза.

Ксантиппа плачет.

Уведите ее, прошу вас!

Ученики уводят Ксантиппу. Она вырывается. Падает на пол.

Сократ целует ее. Ученики тянут ее по полу, как куклу.

Останься, Аполлодор.

Все уходят, за исключением Второй и Первого учеников — Первый молча стоит в стороне и записывает все происходящее.

(*Тюремщику.)* Я пойду сейчас проститься с детьми. (*Выразительно.)* И когда вернусь…

Тюремщик *(радостно*). Нести?

Второй. Зачем ты спешишь, Сократ?

Тюремщик *(торопливо)*. Значит, я прикажу — пусть сотрут яд и положат в чашу?

Сократ. Да.

Тюремщик. Мы с тобой управимся до обеда. Я сразу понял, что ты самый толковый из всех, кто сюда попадается. А то начнут — плачут, кричат, ругаются… А зачем?

Первый. Солнце еще не закатилось, Сократ, а все обычно принимают отраву после его захода.

Сократ не глядит в его сторону.

Второй. Он прав. Я узнавал: все обычно ужинают и пьют вволю на закате, и некоторые даже наслаждаются любовью.

Сократ смеется.

Тюремщик. Я пойду?

Сократ *(Тюремщику*). И я с тобой. Я хочу сам омыться, чтобы не хлопотали после. *(Второму.)* Нужно кончать. Если еще продлится, она не выдержит. *(Уходит за Тюремщиком.)*

Второй *(Первому)*. Сократ странен с тобой — он не глядит в твою сторону.

Первый. Сократу не надо на меня глядеть. Мы понимаем друг друга без взглядов и без слов. Я знаю все, что он думает. Сегодня на рассвете Сократа посетил Анит. Анит узнал о готовящемся побеге и объявил Сократу, что арестует ночью нас и жену Ксантиппу.

Второй. Я убью Анита.

Первый. Ты прав, это необходимо. Я пойду с тобой.

Второй. Ты останешься. Ты один знаешь все, что говорил Сократ. В тебе его голос.

Первый. И опять ты прав. Тогда торопись…

Второй. Сократ услышит обо мне, он успеет.

Первый молча протягивает Второму нож, тот берет его и отдает ему свиток с гимном Сократа.

Первый. Простимся. **Второй.** Простимся.

Обнимаются.

Я не люблю тебя. Но этот поцелуй — ему. *(Целует Первого.)*

Когда он закроет глаза, ты передашь ему мое тепло. *(Уходит.)*

Появляется **Тюремщик** с чашей. Ставит чашу на ложе Сократа.

Тюремщик *(Первому).* Только поменьше разговаривайте с ним после того, как выпьет. А то беседа горячит и мешает действовать яду. И отраву приходится принимать по нескольку раз. Это и ему не сладко, и у меня — неприятности.

Первый молча, в ужасе глядит на чашу. Возвращается Сократ.

Сократ (*Тюремщику).* Что же… теперь? **Тюремщик.** А ничего особенного. Выпей и ходи себе, пока лечь не захочется. А как ляжешь, все пойдет дальше само собой.

Сократ берет чашу.

Первый. Не надо… Не торопись…

Тюремщик. И не пролей.

Сократ (держа чашу, не оборачиваясь). А где Аполлодор?

Первый. Он вышел… и скоро придет к тебе.

Сократ. Пир! *(Пьет.)*

Тюремщик. До дна! Как пьяница! *(Принимает нашу из рук Сократа.)*

Порядок! Вот это старичок! *(Уходит с чашей.)*

Первый. Сократ…

Сократ не отвечает.

Мы позаботимся о Ксантиппе, о твоих детях. Я клянусь!

Сократ *(не глядя на него).* Надо заботиться о себе самом. Это будет лучшей службой и мне и моим детям. *(Начинает расхаживать по комнате.)*

Первый. Ты не смотришь на меня?

Сократ. Ты знаешь.

Первый. Анит!

Сократ. Отчего же ты готовил мой побег, если ты…

Первый. Я был уверен, что ты откажешься от побега. Но потом я увидел тебя после болезни: ты все время говорил о жизни. Я усомнился, что ты сможешь принять смерть.

Сократ. Зачем тебе так хотелось, чтобы я принял эту смерть?

Первый. Этого хотел ты сам — принять смерть во имя своей победы. Ты говорил об этом в доме Продика. Мне показалось сначала, что я тогда не понял тебя до конца… Но я обратился к своим тетрадям — прочел твои беседы с Федоном из Коринфа и с Харетом из Фив, где ты говорил *(наизусть):* «После смерти провидца народ, как нашкодивший ребенок, виня себя и каясь, выбьет на мраморе то, что вчера не хотел даже слушать…» И тогда из тетрадей я окончательно выяснил…

Сократ *(в ужасе).* Из тетрадей?!

Первый. Да! Потому что в моих тетрадях звучит истинный голос Сократа. Там я записал его лучшие беседы. Там Сократ — великий, могучий и цельный.

Сократ. То есть, как — цельный?

Первый. Сократ — человек. И под влиянием минуты он иногда говорит не то… как было, к примеру, недавно, после твоей болезни. В моих тетрадях все выверено. Там нет у Сократа противоречий. Там — истинный Сократ, и все вытвердят его наставления и будут следовать им и славить его.

Сократ *(в ужасе).* Но ты забыл, что я сказал в доме Продика. Человек меняется с быстротекущим временем! И надо проверять.

И надо сомневаться. «Единственное, что я знаю, — это то, что я ничего не знаю…»

Первый. Это говорит не тот Сократ, не истинный. Это говорит Сократ, принявший яд, в страхе и в отчаянии…

Сократ. Ты безумен! В тебе нет любви! И у тебя страшные глаза — глаза жреца, а не философа! Я боюсь, что если завтра по Афинам станет ходить новый Сократ, — ты его убьешь, но именем того, прежнего Сократа! *(Кричит.)* Ты сожжешь тетради! Слышишь! Поклянись мне! *(Кричит.)* Аполлодор!

Входит Тюремщик.

Тюремщик. Я сказал — нельзя горячиться.

Сократ. Позови Аполлодора. *(Ложится.)*

Тюремщик *(ощупывая тело Сократа).* Все во дворе успокаивают твою жену. Сейчас вернутся. Больно здесь?

Сократ. Нет.

Тюремщик. Значит, дошло до живота. Молодец! Дело идет на лад!

Сократ. Я умираю?

Тюремщик. Ну, до этого время есть. *(Ощупывая грудь.)* «Умираю» — ишь какой быстрый. Пока ты будешь умирать, еще столько случится. Вот Анит — богатый, видный мужчина — живи, да и только! А сейчас рассказали, что у Акрополя подошел к нему какой-то шалопай и ни с того ни с сего пырнул его ножом. И нету Анита. Вот так! И парня нету. Закололся. Вот их — правда нету! А ты — еще есть. *(Уходит.)*

Сократ. Аполлодор… *(Первому.)* Ты?..

Первый. Не было выхода. Анит мог все рассказать и нанести вред учению Сократа… Я не пощадил тебя ради тебя самого. А щадить этот бурдюк с вином, это ходячее сало… *(Становится на колени у ложа.)* У меня нет никого ближе тебя. Я выплакал свои глаза. Я буду седым к утру.

Сократ. И Аполлодор…

Первый. Это жертва. Как молодой ягненок, он взошел на алтарь истин Сократа о добре.

Сократ. Как много крови вокруг добра… Тебе не кажется, что боги смеются?.. Исследуем же… *(Умирает.)*

Первый. Сократ… Сократ… *(Целует мертвого Сократа.)* Пеплос на лицо. *(Закрывает лицо Сократа. Потом опускает голову на грудь и беззвучно рыдает.)* Один я…

Входит Тюремщик.

Тюремщик (*осматривает Сократа, удовлетворенно)*. Все! *(Распахивает дверь.)*

Входит **Ксантиппа.** Неподвижно останавливается в дальнем углу. Входят **ученики Сократа** и **Продик,** одетый в великолепные белые одежды.

Продик *(тихо и величаво Первому ученику)*. Я был лучшим другом его детства. Ты был лучшим другом его старости… Расскажи нам о его кончине.

Первый *(с трудом)*. Он принял смерть, как подобает великому философу, легко и радостно, как выздоровление. Его последними словами были: «Петуха — богу Асклепию».

Продик Величавая смерть… Величавая жизнь.

Первый *(глухо)*. Он завещал создать великую книгу жизни из истин, открытых им для нас. Мы назовем ее «Похвала Сократу».

Продик *(подходит к Первому, шепчет)*. Только надо побыстрее очистить помещение. Я видел, как Тюремщик отдал сандалии Сократа Кебету из Фив. Сейчас это просто старые сандалии, а завтра они станут реликвией и капиталом… Нам надо подумать о вдове и сиротах.

Первый подходит к Тюремщику и что-то говорит ему.

Тюремщик. Выходите! Все выходите! Выходите!

Постепенно гаснет свет. У ложа остается одна Ксантиппа. Черный силуэт Ксантиппы у ложа. Толпа учеников выходит на улицу. Один из них, огромный фиванец Кебет, прижал к груди сандалию Сократа и благоговейно ее целует. Неожиданно к нему подбегает другой ученик, вырывает сандалию и убегает. Кебет бросается за ним вдогонку. В это время, закрывая всю сцену, в белых одеждах, с венками на головах, появляется процессия. Это Хор священного посольства, вернувшийся из Дельф. Впереди — Корифей хора.

Первый ученик медленно и величаво выступает вперед из толпы. За ним — Продик. Первый ученик протягивает Корифею свиток с гимном Сократа.

Корифей и Хор.

«О непреклонная судьба
И могучая участь!
Мы приходим в мир,
Сжавши руки в кулак,
Будто хотим сказать — все мое!
Мы уходим из мира с открытыми ладонями,
Ничего я не взял,
Ничего мне не нужно!
Весь я ваш, боги!»

Театр времен Нерона и Сенеки

Над цирком заходило жаркое солнце. Сквозь розовый шелк, натянутый над гигантским амфитеатром, тяжелые лучи падали на арену. Плавилась арена, усыпанная медными опилками, в розовом свете плыли статуи богов…

Посреди арены высился золотой крест. Под крестом горела золотом громадная бочка.

И в этом пылающем розово-золотом свете возник на арене прекрасный юноша. В золотом венце, в золотой тоге — совершеннейший Аполлон. Только вместо сладкозвучной кифары в руках Аполлона был бич…

И, бурно приветствуя этого странного Аполлона с бичом, понеслись крики толпы:

— Да здравствует цезарь Нерон!

— Ты наш отец, друг и брат, ты хороший сенатор, ты истинный цезарь!

Это были загадочные крики, ибо гигантский цирк был совершенно пуст…

Пустые мраморные скамьи амфитеатра сверкали в догорающем солнце.

Заходило солнце. В тени мраморного портика сидел старик. С тихой улыбкой старик смотрел вдаль — как тонул в сияющем озере солнечный диск. Безжизненная, морщинистая, похожая на срез дерева рука старика машинально мяла свиток.

Отряд преторианских гвардейцев спешился у виллы. Сверкая доспехами, трибун Флавий Сильван ступил на мраморный пол.

Была ночь, когда носилки со стариком, окруженные эскортом гвардейцев, приблизились к Риму. Рим не спал в эту ночь. Толпы людей с факелами заполнили ночные улицы, грохотали колымаги, запряженные волами.

В колымагах над головами толпы раскачивались в огромных клетках львы, слоны, тигры, носороги… Грохот повозок, крики животных, улюлюканье людей…

Толпа преградила дорогу носилкам. Не открывая занавесей, старик слышал близкие голоса толпы:

— Тигр-то какой… у, тигрюга! Ишь, закрутился, как мышь в ночном горшке!..

— Льва приручил сам Эпиан. Говорят, он подарил такого льва Поппее Сабине и лев разглаживал ей морщинки языком… Чего хохочешь? Лев даже обедал вместе с нею за одним столом!

— Указальщик мест сгоняет меня и орет: «Эти места для сенаторов… для сенаторов!.. Так тебя разэтак!..» Тогда я сажусь

на крайнее место — три четверти зада у меня висит, то есть я как бы стою… Но четвертью задницы сижу — сижу на сенаторских местах!..

Старик слушал все эти крики и хохот толпы. Отвращение и грусть были на его лице.

— С дороги! Прочь! — гремел где-то рядом голос трибуна. Потом глухо ударили палки по человеческой плоти. Вопли избиваемых людей… И уже побежали рабы, и понеслись в римской ночи носилки. Туда, туда — где нависла над вечным городом громада нового цирка.

Сквозь орущую, гогочущую вокруг цирка толпу, сквозь когорты гвардейцев носилки со стариком проследовали внутрь цирка. Трибун помог старику сойти с носилок. Прямой, величественный и гордый, старик неторопливо вышел на арену…

В свете факелов, горящих на пустой арене, ждал его Аполлон с бичом.

Увидев старика, Аполлон бросился ему на грудь, обнял его. Это были какие-то яростные объятия. Он будто душил старика — и лихорадочно приговаривал, почти кричал:

— Сенека! Учитель! Сенека!..

— Нерон… Великий цезарь… — пытаясь вырваться из этих жестоких объятий, бормотал старик.

Но Нерон сжимал его еще яростнее:

— Ну что ты… это для других я цезарь. А для тебя всего лишь твой послушный ученик Нерон.

Наконец Нерон выпустил Сенеку из объятий, будто оттолкнул. Потом с удивлением посмотрел на него. И, бесцеремонно приподняв край тоги, обнаружил тунику и шерстяной нагрудник — Такая теплая ночь. А ты так укутался, учитель?

— Старость, Цезарь. Охладела кровь. И вечерами я надеваю две туники, обмотки на бедра. И все равно…

Но Сенека не закончил. Из тьмы на арену вышел могучий немолодой мужчина в тоге римского сенатора. За сенатором с серебряной лоханью в руках следовало некое прекрасное существо: грива спутанных волос, огромные глаза и нежное, тщедушное тело мальчика. Этакий Амур.

— Рад тебя видеть, сенатор Антоний Флав, — обратился Сенека к гиганту-сенатору.

Но сенатор смотрел на Сенеку невидящими глазами. Нерон с каким-то любопытством следил за сценой.

Возникла неловкая тишина, и Сенека неторопливо, величественно продолжал:

— Позволь мне приветствовать тебя, друг мой Антоний Флав, старинным приветом, которым наши деды начинали свои наивные добрые письма: «Если ты здоров — это хорошо, а я — здоров…»

И тогда Нерон поднял бич — и сенатор отчетливо заржал. Ужас — на лице Сенеки. Но только на мгновение… И вновь лицо его стало бесстрастным и спокойным.

— Ах, как повеяло нашей величавой римской древностью! — как-то светски заговорил Нерон. — Как они умели ухватить главное: «Если ты здоров — это хорошо». Именно — здоров, — Нерон усмехнулся, — то есть живой. Но одного не пойму, учитель. Почему ты все время обращаешься к сенатору Антонию Флаву? Где ты увидел здесь мудрого сенатора?

Сенека молчал.

— Может, ты видишь сенатора? — обратился Нерон к Амуру.

Амур, молча улыбаясь, удивленно пожал плечами и протянул серебряную лохань сенатору. Сенатор начал торопливо, неумело поедать овес из лохани.

— Ты ошибся, учитель, — продолжал благодушно болтать Нерон. — Антоний Флав — видный мужчина, его трудно не заметить. Да и что здесь делать твоему другу и солнцу мудрости — сенатору Антонию Флаву? Сейчас ночь, и он преспокойно храпит в своей постели. А здесь только я — твой ученик Нерон… — И, улыбаясь, он кивнул на Амура: — Да вот еще — прелестная девушка. И вот, — Нерон нежно улыбнулся и указал бичом на сенатора, — старый мерин.

И Нерон ударил бичом — сенатор торопливо заржал.

— Какой ужас, Цезарь, — воскликнул Амур, — ему на круп сел овод!

Нерон поднял бич, и сенатор показал, как он отгоняет хвостом овода.

— Отогнал, но очень неумело.

Нерон ударил сенатора бичом, и тот, будто винясь, опять покорно заржал.

— Как я рад тебя видеть, — продолжал как ни в чем не бывало светски беседовать Нерон. — А как она рада тебя видеть…

И тотчас перед Сенекой дьяволенком запрыгал Амур.

— Ты, конечно, узнаешь это прелестное лицо? — добро улыбался Нерон.

— Конечно, я узнал его, Цезарь, — ответил Сенека. — Это твой раб — мальчик Спор. За время моего отсутствия в Риме он подрос — и оттого пороки на его лице стали откровеннее.

— Да что ж ты такое несешь, Сенека! — всплеснул руками Нерон. — Где ты увидел мальчика Спора?! Подойди сюда,

крошка.

Амур с ужимками подошел вплотную к Сенеке.

— Неужто так ослабело твое зрение, — продолжал сокрушаться Нерон. — Да это же прелестная девушка! Вот — крохотная грудь… Вот — юные крепкие бедра… Ну?.. Ты видишь девушку? Я спрашиваю!

Сенека молчал.

Нерон поднял бич — и тотчас заржал сенатор.

Нерон темно усмехнулся:

— В последний раз, Сенека… Перед тобою старый конь и юная девица… Гляди внимательнее. Ты их видишь?

Глаза Нерона неподвижно смотрели на Сенеку. Но Сенека молчал по-прежнему. И тут Нерон добродушнейше расхохотался и обнял Сенеку.

— А все потому, что ты давно не бывал в столице. Заперся, понимаешь, в своих усадьбах. У, брюзгливый провинциал!.. Ну и в результате ты не в курсе последних римских событий. Но я все прощаю своему учителю. Объясняю. Помнишь, ты рассказывал мне в детстве… у горящего камелька… про превращения… про все эти метаморфозы, которые так любили устраивать великие боги. Ну, к примеру, для великого Юпитера превратить какую-нибудь нимфу в козу, в кипарис — что мне плюнуть! И знаешь, я задумался. Все-таки я Великий цезарь, земной бог… А почему бы мне не заняться тем же, следуя богам небесным? К примеру, у меня умерла жена Октавия. А хочется жену. Спрашивается: где взять?

— В женщинах так легко ошибиться, — вздохнул Амур.

— Именно, — подтвердил Нерон. — И тогда я… совершаю метаморфозу. Я превращаю хорошо тебе знакомого мальчика Спора в девицу! Грандиозно, да? Как я это сделал? Я собрал наш великий законодательный орган — нашу гордость и славу— римский сенат. И сенат единогласно постановил… — Он вопросительно посмотрел на Амура.

— Считать меня девушкой, — восторженно закончил Амур.

— На днях я женюсь на нем, — скромно сказал Нерон, — то есть прости… на ней! Гениально? Да здравствует сенат! Речь! — завопил Нерон.

И он ударил бичом. И сенатор величаво выступил вперед. Стараясь не встречаться глазами с Сенекой, он патетически начал:

— Можно сжечь Рим, можно разрушить его дома. И все-таки Рим устоит! Ибо не камнями домов славен наш город! А свободой и законами, олицетворенными в нашем древнем сенате. Жив римский народ — пока жив сенат!

— Каков жеребец! — восторженно захлопал Нерон.

Амур подхватил аплодисменты. И вслед откуда-то из-под земли раздались приветственные крики.

— Это тоже моя метаморфоза: я превратил солнце мудрости — сенатора Антония Флававконя! Теперь у меня в стойле сразу жеребец и сенатор. Я улучшил породу. И потому я прозвал этого мерина Цицерон, в память о другом твоем любимце.

Усмехаясь, Нерон неотрывно глядел в глаза Сенеки. Но ничто не дрогнуло в лице старика.

— Но я продолжил метаморфозы. Заметь, ты не отгадал уже две! А ведь я все считаю, учитель… Так что постарайся угадать мою третью.

И Нерон ударил бичом. И тотчас в середине арены, там, где находилась пегма — квадрат, покрытый досками, — произошло движение. Доски вдруг поднялись, как лепестки распустившегося цветка. И среди них из-под земли медленно вырастала прекрасная нагая девушка. В золотой раковине в свете факелов она возникла на мерцающей арене — как та богиня из пены вод… И вослед этой явившейся Венере страшно неслись из-под земли озлобленные, угрожающие крики и гогот.

Нерон воздел руки в немом восторге. Амур схватил невидимый лук и выпустил невидимую стрелу в грудь Нерона. Как бы пораженный стрелой, Нерон схватился за сердце. А Венера, будто обессиленная своим рождением, лениво покачивая бедрами, шла-плыла по арене…

— Непроворна? — зашептал Нерон Сенеке. — Она побывала в трудном сражении — там… — И Нерон указал вниз, откуда неслись крики.

Амур захохотал.

— Ах да, прости, учитель, ты ведь не знаешь, что у нас там. — И, обняв Сенеку, Нерон поволок его к центру арены…

В глубине под досками оказалась решетка. Под решеткой открывалась подземная галерея. Она шла вправо и влево. В левой ее части был сад. К деревьям, увешанным фруктами, привязано было множество щебечущих птиц…

— Под садом — машины, — шептал Нерон. — Завтра они в мгновение поднимут этот сад на арену. И наше быдло… прости, великий римский народ, набросится на даровые плоды, давя друг друга. Но это будет в перерыве… Когда проголодаются… А сначала… Смотри, смотри туда, праведник!..

С другой стороны галереи открывалась длинная полость — большая подземная цирковая зала, куда обычно крючьями стаскивают трупы с арены. Сейчас большая зала была великолепно убрана. Курились благовония, горели масляные

лампы. Бесконечный пиршественный стол, уставленный фантастическими яствами, уходил во тьму. Вокруг стола на ложах, церемонно опершись о левую руку, возлежали молодые мужчины и женщины. Рабы торопливо сновали между ложами, наливая вино в кубки.

— Это убойные люди, — зашептал Нерон, прижимая голову Сенеки к решетке. — Ты хоть знаешь, что будет завтра?.. Почему не спит Рим?

— Я не знаю, Цезарь, что будет завтра, — равнодушно ответил Сенека.

— Да… да, конечно, ты выше суеты, и все мирское тебе чуждо… Завтра в Риме я открываю этот цирк. Не хочу хвастать, ты и сам видишь — это величайший цирк…

Нерон уже волок Сенеку по арене к мрачному зданию, находившемуся против императорской ложи. Тринадцать огромных дверей здания были обращены на арену.

Нерон открыл маленькое окошечко в самой большой двери и, прижав голову Сенеки к решеточке, провозгласил:

— Бег колесниц!

Красавцы кони стояли в стойлах. Крайнее — мраморное — стойло оставалось пустым…

— Ты догадался, для кого этот драгоценный мрамор? — шептал Нерон. И грозно обернулся на сенатора. Сенатор торопливо заржал. — Его дом!

Рыканье львов, трубные крики слонов раздавались в ночи за другими закрытыми дверями.

— Слышишь, слышишь, как они голодны?.. Грандиозно? — Нерон уже волок Сенеку обратно в центр арены. — Ну естественно, сенат постановил назвать в мою честь завтрашние игры Нерониями. По-моему, удачное постановление.

И он опять пригнул голову старика к решетке. И опять Сенека увидел чудовищное подземелье.

— Эти ребята, — шептал Нерон, — завтра откроют мои Неронии. Эти миляги утром выйдут сюда, на арену, сразиться с теми дикими зверями и будут разорваны в клочья, а уцелевшие убьют друг друга в бою… Но погляди, как они сейчас веселятся!

Крики восторга, визги женщин неслись сквозь решетку.

— Я велел им дать, — усмехнулся Нерон, — самые тонкие яства. Они пьют вино вволю и жрут от пуза. Смотри, что они выделывают со шлюхами! Заметь, это самые дорогие римские девки… Ты погляди, какие утонченности! Кстати, эти гладиаторы тоже одна из моих метаморфоз. Я превратил завтрашних убойных людей в царей на одну ночь. И видишь — хохочут. Счастливы. Забыли о завтра. А мы с тобой глядим на них сверху…

— А в это время на нас, предающихся забавам, тоже глядят сверху…

— Да, да, и тоже… смеются? — подмигнул Нерон.

— Что делать, Цезарь, — равнодушно ответил Сенека, — у нас с этими одна участь. Только у этих — утром, а у нас… чуть позже.

— Как мудро! — Нерон улыбнулся. — Чуть позже. Ах, как ты удачно сказал! Запомни эти свои слова, Сенека. Значит, чуть позже?

И Нерон добавил, лаская Венеру:

— Вот откуда ты пришла… Ну расскажи нам, девка, как ты достойно сражалась там, внизу.

И, раскачивая бедрами, Венера начала показывать свою битву.

— Прости, — засмеялся Нерон, — она не умеет словами. Она так прекрасна, что ее сразу заставляют действовать. И она попросту разучилась говорить!

И Венера, смеясь, продолжала свою похотливую пантомиму.

— Но вот я, земной бог, велю ей… — сумрачно сказал Нерон.

И Венера остановилась как вкопанная. Застыла в немой величественной позе — теперь она вся была гордость и неприступность…

— Метаморфоза! — вскричал Нерон. — Она превратилась!.. Кто перед тобою сейчас, учитель? Ну? Узнал?

— Передо мною шлюха, Цезарь, — ответил Сенека.

— Да у тебя очень плохо со зрением, Сенека. Ну что ж, будем намекать. Кто самые целомудренные женщины в Риме? Ты ответишь: жрицы богини Весты, ибо они дали обет вечного целомудрия. А кто из этих целомудренниц самая целомудренная? Естественно, скажешь ты, Верховная жрица, несравненная дева Рубирия: ей двадцать пять лет, она прекрасна и не познала ни одного мужчины. Значит, перед тобою кто, Сенека? Ну?!

— Я с рождения знаю непорочную деву Рубирию из великого рода Сабинов. А передо мною — все та же шлюха.

— Этот гадкий провинциал абсолютно не в курсе нашей римской жизни, — вздохнул Нерон, обращаясь к Амуру. И, обняв Сенеку так, что старик опять задохнулся в его объятиях, Нерон благожелательно пояснил: — Эту самую непорочную деву Рубирию, которую ты знал с рождения, я, попросту говоря, изнасиловал, прости за откровенность… Ну изнасиловал — и все дела! Но ты учил меня: цезарь всегда должен радеть о нуждах своего народа! Не могут же эти болваны римляне остаться без символа целомудрия! А слухи ползут, в городе ропот. Как быть?

Амур сделал сочувственное лицо:

— Я собираю…

Сенатор с готовностью заржал.

— Да, собираю наш великий сенат, — подтвердил Нерон. — И сенат издает постановление — считать изнасилованную Рубирию… девушкой! Все тут же успокоились? Довольны? Ни черта подобного! Беда римлян — они абсолютно лишены чувства юмора. Эта самая Рубирия… которую уже опять все считали целомудренной, удавилась! Что делаю я? Метаморфозу! Я тотчас вспоминаю твое учение о единстве противоположностей в природе.

И начинаю думать: кто же в Риме может стать самой целомудренной женщиной?..

Амур хохочет — и выталкивает вперед Венеру.

— Да… да, — вздохнул Нерон, — на днях соберется сенат и примет закон: считать эту тварь Верховной жрицей богини Весты! Символом целомудрия! Фантастика, да?

— Зачем ты позвал меня в Рим, Великий цезарь? — спросил Сенека.

— Все-таки не выдержал, спросил, — усмехнулся Нерон. Он приник лицом к лицу Сенеки и зашептал: — Когда тебя поволок в Рим мой трибун — била дрожь? Вон сколько на себя напялил — а все равно знобило?.. — И, оттолкнув Сенеку, добавил совсем добродушно: — А ты сам не догадываешься? Я тоскую по тебе… а ты нас не любишь! Не хочешь даже поиграть с нами в метаморфозы… — И тут Нерон остановился, воздел руки к небу и закричал патетически: — Какие метаморфозы?! Как я мог забыть?! О боги, я, хозяин, до сих пор не позаботился накормить дорогого гостя!

Амур тотчас выхватил у сенатора серебряную лохань с овсом и бросился к Сенеке.

— Идиот! — закричал Нерон. — Что такое еда для философа? Это умная беседа! — И Нерон величественно приказал Амуру: — Немедленно привести сюда четырех самых мудрых собеседников Сенеки!

Амур выхватил из темноты свиток и приготовился записывать.

— Прежде всего, конечно, сенатора Антония Флава… Ой, прости, сенатора Флава нельзя: он превратился в лошадь…

Раздался нежный смех Венеры.

— Да, да… Но зато трое других — они остались! — продолжал Нерон. — Немедля послать за тремя неразлучными друзьями мудрейшего Сенеки — сенатором Пизоном… сладкоречивым консулом Латераном… Ну и, естественно, за Луканом, нашим величайшим римским поэтом Луканом. Ах,

любимец Рима…

— Душка Лукан, — в восторге щебетал Амур.

— Не следует их тревожить, — прервал Сенека. — Эти почтенные и немолодые люди давно спят.

Нерон залился добрым смехом:

— Как ты сказал: давно спят? Опять удачная фраза! Что ты, Сенека, какой сегодня сон? Ты же сам видел — толпа… грохот повозок… Где уж тут заснуть! Любимые сограждане с вечера толкутся у цирка. Чтобы первыми с утра занять лучшие даровые места. Они так орут, что я трижды посылал когорту разгонять эту сволочь… прости, великий римский народ. Сколько их завтра здесь соберется! Знаешь, Сенека, говорят, цезарь Кай, когда дикие звери пожрали на арене всех убойных людей и все равно не могли насытиться, приказал бросить на арену наших замечательных сограждан. Их выдергивали прямо из рядов… Прости, тебе неприятно… Но ты не беспокойся, у нас завтра этой проблемы не будет, — он указал на подземелье, — мяса хватит на всех!.. Что ты стоишь? — грозно обратился Нерон к Амуру. — Друзья Сенеки будут просто счастливы обменять эту бессонную ночь на беседу с мудрейшим из римлян. Зови их, и побыстрее, ягодка моя.

И Амур, перевернувшись колесом, исчез в темноте главного входа.

— Да, значит, зачем я позвал тебя в Рим? — добродушно спохватился Нерон. — Просить вернуться. Мне так одиноко. Я устал от Тигеллина. От проклятого кровожадного Тигеллина. Ну почему ты не хочешь жить с нами в Риме?

— Прости, Великий цезарь, но для меня здесь нет покоя. На рассвете меня будит противный крик менял.

Чуть сомкнешь глаза — начинает бить кузнечный молот. А воздух? Чем мы тут дышим? Дымом кухонь! А Тибр? Там же плавает невесть что! И теперь, когда я живу на природе среди незамутненных ручьев…

И тут Сенека столкнулся глазами с сенатором, уныло поедавшим овес из лохани. И красноречие его иссякло.

— Отвечу! — закричал Нерон. — Да, загрязняем реки, да, портим природу, да, шумим! Но зато, учитель, мы живем с тобой в просвещеннейший из веков. Если бы наши деды увидели, к примеру, стекла наших домов, через которые проходит свет…

Он поволок Сенеку к центру арены, туда, где решетка покрывала застекленное отверстие. Сквозь решетку был виден страшный пир — яростное непотребное веселье.

— Грандиозно, — шептал Нерон. — А деды-то прозябали во тьме! Или это последнее наше изобретение — трубы, вделанные в

стены, по которым само идет тепло, так что в доме можно зимой жить как летом… А изобретение стенографии? Так что руки теперь поспевают за проворством языка!..

На арену торжественно вышел Амур.

— Сенатор Пизон… — начал Амур… и замолчал.

— Слышу его шаги! — радостно закричал Нерон. — Пизон уже спешит прервать мои докучные речи! Почему ты молчишь, любимая?

Но Амур только скорбно опустил голову. И сенатор, пряча глаза… заржал.

— Заржала лошадь — плохое предзнаменование, — запричитал Нерон. — И хотя Сенека учил меня не верить предзнаменованиям, я трепещу.

— Мы послали за сенатором Пизоном трибуна Флавия Сильвана с гвардейцами… — начал Амур.

— Ну! Ну! — в ужасе торопил Нерон.

— Трибун подошел к его дому. Постучал… Но сенатор Пизон, услышав этот стук, немедля позвал своего хирурга — и вскрыл себе вены.

— Как?! Почему?! — всплеснул руками Нерон.

— Неизвестно, Цезарь. Сенатор Пизон оставил завещание, где все имущество завещал тебе, Великий цезарь.

— Какая неожиданная смерть! Пизон! Великий богач! Великий мудрец!.. Осиротели!

Сенека бесстрастно слушал его вопли.

— Нет, я разделяю твое горе, учитель: один друг превратился в лошадь, другой зарезался!

— Но осталось еще двое в этом союзе мудрецов, — робко подал голос Амур.

— Немедля послать за ними трибуна Флавия Сильвана с гвардейцами! И разбудить Тигеллина! Где Тигеллин?! Где начальник тайной полиции?! В городе режутся сенаторы.

— За Тигеллином будет послано, Цезарь, — сказал Амур.

— Тигеллин расследует… — забормотал Нерон. — Вот придет Тигеллин… — И тут Нерон остановился и добавил добродушно: — Да, зачем я позвал тебя в Рим?.. Ну естественно, чтобы узнать: не нуждается ли в чем мой старый учитель?

— Ты осыпал меня такими милостями, — спокойно отвечал Сенека, — что моему счастью не хватает только одного — меры. С тех пор как я удалился от дел, я живу в пожалованных тобою поместьях.

— Да, да, — бормотал Нерон.

— И хотя дух мой, — продолжал Сенека, — всегда

удовольствовался немногим, но поместья мои благодаря твоей милости…

— Да, да, бескрайни… И, говорят, приносят огромные доходы? — продолжал бормотать Нерон.

— Вот это особенно меня печалит. Я учу воздержанию и умеренности, а сам купаюсь в роскоши. И как, обессилев в походе, я стал бы просить тебя о поддержке, так теперь, достигнув старости и не имея сил нести бремя богатства, прошу лишь об одном: возьми назад пожалованное тобою.

Визги и крики неслись из подземелья. Нерон бросился к решетке, заглянул вниз.

— Гениально! — И обратился к Сенеке: — Прости… Как сладостна твоя речь! Но тем, что без запинки смогу тебе возразить, я ведь тебе обязан. Ты научил меня всему, в том числе и ораторскому искусству. Неужели воспитание цезаря не заслуживает жалкого десятка вилл? Любой спекулянт у нас имеет больше! Нет, Сенека, я еще не расплатился с тобой как должно! — И, обняв Сенеку и прохаживаясь с ним по арене, Нерон добродушно говорил: — Помнишь, в дни юности, у камелька, ты рассказал мне, как некий философ взялся воспитывать ученика? Когда же пришла пора расплачиваться, ученик не заплатил. Философ повел ученика к судье. И ученик объяснил: «Этот философ обещал научить меня добродетели. Я не заплатил ему. Следовательно, нагло обманул. Следовательно, я бесчестен. Следовательно, он ничему меня не научил! А можно ли платить за ничто?» Грандиозно? Умение правильно оценить труд — черта богов и мудрых властителей. Так учил меня ты. — И Нерон приблизил лицо к лицу Сенеки и зашептал: — Я позвал тебя в Рим, чтобы по справедливости расплатиться с тобой.

Из тьмы на арену выпрыгнул Амур.

— Консул Латеран… — торжественно начал Амур и замолчал.

— Наконец-то! Консул Латеран! Его шаги! Сейчас он усладит тоскующий слух Сенеки!.. — И тут Нерон взглянул на Амура и в ужасе прошептал: — Ты молчишь?

Сенатор заржал.

— Нет! Нет! — патетически кричал Нерон.

— Трибун Флавий Сильван подошел к его дому, — начал Амур, — но Латеран уже позвал хирурга. И когда трибун постучал в дом почтенного консула — Латеран перерезал себе вены.

— Да что они, взбесились?! Какой ужас! И этот мудрец сбежал от нас!

— Но все имущество Латеран завещал тебе, Великий цезарь.

— Немедленно послать… — начал Нерон.

— Трибуна Флавия Сильвана… — продолжал Амур.

— За поэтом Луканом! — кричал Нерон. — За последним из мудрецов! Теперь он нам особенно желанен…

Амур потрепал сенатора по воображаемой холке и подсыпал ему овса в лохань.

— За то, что хорошо предсказываешь римских мертвецов, — засмеялся Амур и исчез с арены.

— Где этот чертов Тигеллин?! — неистовствовал Нерон. — Лучшие люди Рима режутся друг за другом!.. Крепись, Сенека! Вот придет Тигеллин…

Сенека хранил невозмутимое молчание.

— Ах, Сенека, — продолжал Нерон, — ушли безвременно два мудрейших гражданина… Но, я вижу, ты спокоен, ты никогда не боялся смерти, не так ли?

— Именно так, Цезарь.

— Да, да. Сколько раз ты беседовал со мной о бренности жизни… Ах, старые, добрые времена детства! Я так порой жажду твоих поучений. Так страшно умирать! Так прекрасны краски мира. В мире столько миленьких вещиц.

Они стояли в свете факелов посреди арены и неторопливо беседовали.

— Да, краски мира прекрасны, но и они не наши. И сколько ни есть вещей в этом мире, все они чужие. Природа обыскивает нас и при входе, и при выходе. Голыми пришли, голыми уходим. И нельзя вынести отсюда больше, чем принес, — мерно звучал в темноте голос Сенеки.

— Как грустно… Как страшно будет умирать! — И Нерон внимательно посмотрел на Сенеку.

— Кто сказал, Цезарь, что умирать страшно? Разве кто-то возвратился оттуда? — усмехнулся старик. — Почему же ты боишься того, о чем не знаешь? Не лучше ли понять намеки неба? Заметь: со всех сторон в этом мире нас преследуют — то дыхание болезней, то ярость зверей и людей. Со всех сторон нас будто гонят отсюда прочь. Так бывает лишь с теми, кто живет не у себя. Почему же тебе страшно возвращаться из гостей домой?

Нерон восторженно кивал в такт словам Сенеки, когда на арену выскочил Амур.

— Наконец-то! — воскликнул Нерон. — Солнце римской поэзии! Я слышу! Это его легкая поступь. Раскроем объятия поэту Лукану…

Но Амур безмолвствовал… Сенатор заржал.

— Как, и этот?.. — пробормотал Нерон.

Он отвернулся. Тело его задрожало от беззвучного смеха.

Нерон начал хохотать. Он хохотал во все горло. Его распирало, корежило от смеха.

— Прости, Сенека… Я все понимаю… Но очень смешно. И Лукан позвал…

— Позвал хирурга, — трясся от хохота Амур.

— И велел вскрыть себе вены… А имущество… — погибал от смеха Нерон.

— Тебе… тебе, Великий цезарь! — катался от смеха по арене Амур. И Венера тоже смеялась — звонко и нежно, как колокольчик.

— Довольно, — вдруг коротко приказал Нерон.

И смех будто смыло. Наступила тишина. Нерон сумрачно глядел на Сенеку.

— Вот видишь, учитель, как осторожно надо выражаться. Ты сказал: «Они давно спят». И боги подстерегли твои слова — и получился каламбур. Как грустно… Где этот Тигеллин?

— Тигеллин приближается, Цезарь.

— Вот придет Тигеллин… Ну что же делать?! Кто из оставшихся в живых римлян сможет достойно беседовать с Сенекой?

Амур опустил глаза долу, пораженный грандиозностью вопроса. В тишине трещали факелы.

И тогда Нерон объявил:

— Я уверен, только один — сам Сенека! — И, не спуская глаз с Сенеки, Нерон приказал: — Немедленно послать за философом Сенекой.

Сенека был невозмутим.

— Будет исполнено, Цезарь, я пошлю трибуна Флавия Сильвана за философом Сенекой.

И Амур вприпрыжку исчез в темноте…

— Какая страшная ночь! Как много крови… — бормотал Нерон. И добавил благодушно: — Но мы прервались. Как прекрасно ты говорил о презрении к смерти. Продолжай, учитель.

— С удовольствием. Вспомни, как ты родился… как вытолкало тебя из утробы в мир величайшее усилие матери…

— Мама… Бедная мама… — зашептал Нерон, приникая к груди Сенеки.

— Ты закричал от прикосновения жестких рук, почуяв страх перед неведомым. Почему же потом, — продолжал Сенека, — когда мы готовимся предстать перед другим неведомым и покидаем теплую утробу мира, почему мы так боимся?

— Сладостна… сладостна твоя речь. — Нерон стонал от восторга.

— Девять месяцев приготовляет нас утроба матери для жизни в этом мире. Почему же мы не понимаем, что весь срок нашей жизни от младенчества до старости мы тоже зреем для какого-то нового рождения?

Амур с факелом выскочил на арену.

— Сенека! Спешит к нам! Его шаги! — закричал Нерон.

— Сенека… — начал Амур и умолк.

Сенатор заржал.

— Как?.. И Сенека?! — воскликнул Нерон.

Амур печально молчал.

— Ну, знаешь!.. Это даже не смешно!

— Трибун с гвардейцами подошли к дому Сенеки, — докладывал Амур. — И тогда философ собрал всех своих учеников… Потом Сенека погрузился в ванну. И в ванне сам перерезал себе вены. Истекая кровью и беседуя с учениками, философ Сенека испустил дух.

— Величавый конец, достойный Сенеки, который никогда не страшился смерти! — торжественно сказал Нерон.

— Сейчас я рассказал об этом в толпе у цирка. Теперь о смерти Сенеки говорит весь Рим, — закончил Амур.

— Как все призрачно, учитель. Этот мир — череда метаморфоз, не более. Где мальчик Спор, а где юная девица? Где сенатор, а где конь?.. Вот ты стоишь здесь живой, а о твоей смерти уже болтает весь город. — Нерон был ужасен. Страдание изуродовало его лицо, и в глазах его были слезы… настоящие слезы. — Потому что совершилась моя последняя метаморфоза. Пока ты беседовал здесь живой — я превратил тебя в мертвеца, учитель!

— Это и была твоя плата? За этим меня позвал в Рим Великий цезарь? — по-прежнему невозмутимо спросил Сенека.

— Короче, как ты умер для истории, мы выяснили. Теперь остается решить, как ты умрешь на самом деле. Стоп!.. Прости! Есть еще один вопрос: за что ты умрешь? За какую вину? — И Нерон расхохотался. — Да что ж это мы все о смерти да о смерти! Поговорим-ка лучше о чем-нибудь веселом. Ну хотя бы о завтрашнем дне. Представляешь, утром весь Рим будет обсуждать смерть Латерана, Пизона, Лукана. Ну и, конечно, твою смерть…

— Как их будут жалеть! — вздохнул Амур.

— Нет, больше будут радоваться. Что сами живы, — усмехнулся Нерон. — Так уж устроены смертные. Ну а к полудню про вас забудут. Потому что начнутся Великие Неронии. Интересовать будет только бег колесниц!

Нерон ударил бичом.

И с гиканьем и хохотом Амур погнал по арене сенатора — запрягать его в золотую колесницу.

— После бега колесниц я задумал великие битвы животных. — И Нерон опять ударил бичом.

И в мрачном здании на краю арены распахнулись все двери. И в свете факелов в огромных клетках яростно забегали голодные звери. И в ответ на крики зверей из подземелья понеслись вопли людей…

— Слон сразится с носорогом… — перекрикивал Нерон вакханалию звуков, — лев — с тигром…

Рев толпы в подземелье все нарастал.

— Да! Да! — в восторге кричал Нерон. — И тогда на арену выйдут они, наши миляги, убойные люди! Речь! Цицерон!

Запряженный в колесницу сенатор патетически начал речь:

— О зрелище битвы на арене! Глядите: вот побежденный гладиатор сам подставляет горло победившему врагу. Вот он выхватывает меч, дрогнувший в руке победителя, чтобы бестрепетно вонзить его в себя. Презрение к смерти и жажда жизни — вот что такое гладиаторский бой!

И сенатор заржал. Амур и Венера бешено аплодировали.

— Какое все-таки замечательное искусство наше римское сенаторское красноречие! — вздохнул Нерон. — Что там еще у нас ожидается завтра? Живые картины из жизни богов и героев! Это, как всегда, будет в центре внимания публики. Сначала покажем прелюбодеяние супруги царя Крита Пасифаи с быком, посланным Посейдоном. Этот номер особенно ценят наши римские зрители…

Нерон взглянул на Венеру. И Венера подошла к клетке, где стоял огромный черный бык с золотыми рогами. С нежным призывным воркующим смехом Венера посылала быку воздушные поцелуи.

— Кстати, после исполнения этой шлюхой роли Пасифаи я соберу сенат.

Сенатор с готовностью заржал.

— Да, да, единогласно! И эта девка займет место Рубирии, символа нашего целомудрия, — нежно улыбнулся Нерон. — Ну а потом, после живой картины любви, мы покажем живую картину героизма — «Мучения Прометея». Это будет центром всего зрелища. Сначала я сам прочту бессмертную трагедию Эсхила «Прикованный Прометей». А в это время Прометея, укравшего у богов огонь для людей и научившего нас всем искусствам, будут мучить… — Нерон дружески обнял Сенеку. — И вот здесь я хочу с тобой посоветоваться, учитель. Сначала я задумал мучить согласно преданиям: соорудить на арене скалу, приковать к ней

Прометея и так далее, по традиции. Но в скале сейчас есть что-то старомодное. Мучения Прометея должны быть жизненны. Поэтому я придумал: мы распнем Прометея по-современному, — он величественно указал на золотой крест, — на кресте! Грандиозно?! Ну, после распятия и моего чтения на глазах ста тысяч восторженных зрителей Прометей начнет терпеть свои великие муки…

И тотчас деловито вступил Амур:

— Гефест проткнет ему тело шилом железным. Потом дрессированный ворон будет клевать печень.

Факел выхватил из темноты громадного ворона, сидевшего под крестом на цепочке.

— И вот тут-то и возникает главное затруднение. — И Нерон совсем дружески обнял Сенеку. — Кого взять на роль Прометея? Назначить из них? — Нерон указал на подземелье. — Не тот эффект!.. Я ведь и сам-то пытался исполнить роль Прометея. Правда, всего лишь на сцене. Помню, надел огромные котурны, чтоб быть всех выше. И тут актер Мнестр — великий был актер — он… он… — Нерон замешкался и взглянул на Амура.

— Перерезал себе вены, — напомнил Амур.

— Ах, Мнестр, бедный… Вот этот Мнестр, — болтал Нерон, — мне и говорит: «Ты хочешь сыграть Прометея высоким, а он был великим». Величие — вот ключ. Понимаешь, придется не только терпеть боль на глазах тысяч, но при этом еще оставаться богом — то есть терпеть мужественно, величаво… — И Нерон приник к лицу Сенеки. — Кто сможет?

И на мгновение, на одно мгновение лицо Сенеки дрогнуло… И Нерон засмеялся и, оттолкнув Сенеку, продолжал болтать, болтать:

— Кстати, о богах… Я совсем забыл главную живую картину Нероний — это когда в цирке появляется земной бог — я!

И Нерон вскочил в золотую колесницу. И ударил бичом. Амур взял сенатора под воображаемые уздцы. И колесница с Нероном медленно тронулась по арене.

— Римляне от всей души приветствуют своего цезаря согласно установленному сенатором регламенту! — провозгласил Нерон и хлестнул бичом сенатора.

— Когда цезарь вступит в цирк, — пронзительно закричал сенатор, — с первой трибуны прокричат шестьдесят раз: «Цезарь, да сохранят тебя боги для нас!!!»

И сенатор, с трудом волоча золотую колесницу, безостановочно заорал:

— Да сохранят тебя боги для нас!!!

— Ну полно… полно, — говорил Нерон, скромно отмахиваясь

рукой от приветствий.

Сенатор послушно замолчал.

— Продолжай, идиот, — прошептал сквозь зубы Нерон. И сенатор завопил с прежним воодушевлением:

— После чего с другой трибуны прокричат: «Мы всегда желали такого цезаря, как ты!!!» — сорок раз! А потом со всех трибун вместе «Ты наш цезарь, наш отец, друг и брат. Ты хороший сенатор и истинный цезарь!!!» — восемьдесят раз.

Нерон ласково кланялся пустым трибунам. Амур аплодировал. Венера, будто в экстазе, подхватила овации.

— Да… да, — шептал Нерон. — И вот тут-то начнутся аплодисменты. Ах, как я люблю аплодисменты! Ты не актер, Сенека, не понять тебе эту радость оваций! Ах, ласкающий самое сердце звук! Ну а потом…

Теперь Нерон сидел в императорской ложе. Сенека по-прежнему стоял внизу на арене. Венера и Амур бесконечно аплодировали, а сенатор, запряженный в колесницу, вопил свои приветствия.

— Да, да… — счастливо смеялся в ложе Нерон. — Я занял свое место и все вслушиваюсь, вслушиваюсь в эти сладостные звуки… И вот тут ко мне подходят… точнее, должны были подойти… четверо. Четверо твоих несравненных мудрейших друзей: сенатор Антоний Флав, консул Латеран, сенатор Пизон и поэт Лукан. А я все млею от оваций. И тогда сенатор Пизон в поклоне обнимает — точнее, должен был обнять — мои колени. А в это время великий Лукан передает мне их послание. Я, наивный человек, разворачиваю свиток, читаю. — Нерон развернул воображаемый свиток. — И тогда консул Латеран наваливается на меня сзади, хватает за руки. А сенатор Антоний Флав, твой четвертый друг, бьет меня ножом в сердце. — И Нерон выхватил нож из-под золотой тоги.

Сенатор в ужасе заржал и поволок прочь по арене золотую колесницу… Водно мгновение Нерон был на арене. Он схватил за горло сенатора.

— Нет, — вопил Нерон, — ты больше не Цицерон!! Ты вновь ублюдок — сенатор Антоний Флав, решивший убить своего цезаря! Ну, покажи нам, как ты хотел это сделать! — В бешенстве он засовывал нож в руки сенатора. — Коли меня! — Он разорвал на себе тогу. — Ну, бей меня! Никого нет! Только Сенека! Ваш друг Сенека, которого вы мечтали сделать правителем Рима! Он тоже поддержит! Пристукнет сзади ученика!.. Ну, смелее, мразь! — визжал Нерон, подставляя грудь под нож.

И тогда сенатор упал на колени и отбросил нож в сторону… Заржал.

— И это современный Брут, — усмехнулся Нерон. — О жалкий век! — И совершенно спокойно обратился к Сенеке: — Вчера на рассвете мне донесли о заговоре. Как ты думаешь, что сделал я, учитель?

— Я несведущ в подобных делах, и мне не отгадать, что сделал Великий цезарь, — невозмутимо ответил Сенека.

— Самым естественным было бы всех их за решетку, — радостно предположил Амур.

— Да, так поступили бы все прежние цезари, — благосклонно улыбнулся Нерон. — Но не я. Я знаю свой век. В наше время не нужно усилий: достаточно сделать так, чтобы заговорщики сами узнали, что заговор раскрыт. Ну, в прежние времена, конечно, сразу бы что-нибудь предприняли: выступили бы первыми или попросту сбежали. Но не ныне!.. Ныне они заперлись в своих домах и начали ждать, подставив шеи под приближающийся топор. Они улеглись в своих роскошных ваннах и позвали хирургов. Ты свидетель, Сенека: я только посылал к ним трибуна! И они поспешно резали свои тела, не забывая угодливо завещать имущество мне — своему убийце! Чтобы я не преследовал их жалкое потомство. — И он приблизил безумные глаза к глазам Сенеки. — Потому что этим городом давно правлю не я и не великие боги… А страх! И в этом городе страха давно перевелись люди. Осталось только мясо и кости людей. — Он засмеялся и объявил: — Мясо и кости сенатора Флава!

И сенатор, захлебываясь слезами и страхом, пополз к ногам Нерона…

— Когда его схватили… палач в ожидании прихода моего верного Тигеллина выложил перед ним свои орудия. Ну, что он там выложил? — И Нерон шаловливо-величественно поднял с арены кол. — Вот эта штучка так легко дырявит тело. И, пройдя насквозь, сладко щекочет гортань… — Нерон шутливо подбросил ногой кверху «зажим». — А эта — с хрустом давит суставы… И мясо и кости сенатора Флава обнимали мои колени, умоляя сделать с ним что угодно, только не отдавать его Тигеллину! Я смилостивился. Оставил его в живых, превратив гордого сенатора в ржущего жеребца. Но не все ли равно, как называться мясу и костям?! Вот те, с кем ты был в заговоре, учитель! Что молчишь? — истерически, почти рыдая, кричал Нерон.

Амур подскочил к Сенеке с ворохом свитков. Он тыкал ему в лицо свитками. А Нерон продолжал орать:

— Это твои письма! У всех заговорщиков мы нашли твои письма! Где ты поливал грязью своего цезаря! — Он задыхался и вопил, уже обращаясь к Амуру: — Он писал их к некоему Луцилию!

— Думал замести следы, старая лиса, — визжал Амур. Нерон схватил Сенеку за горло:

— Ты был с ними в заговоре? Отвечай! Отвечай!.. Мясо и кости Антония Флава — на очную ставку!

Сенатор попытался уткнуться лицом в опилки арены. Но крохотный Амур рывком за волосы поднял огромную голову сенатора.

— Он был с вами в заговоре? Ну, Цицерон! — кричал Нерон, избивая сенатора бичом. — Этот Сенека… старая рухлядь, которую я осыпал благодеяниями… хотел меня убить?

Сенатор молчал.

— Позвать Тигеллина! — завопил Нерон.

И тогда, задыхаясь, в слезах, сенатор заржал.

— Все кончено, Сенека! Тебя уличил твой друг — мясо и кости сенатора Флава!

Амур захохотал… И Нерон вдруг улыбнулся, обращаясь к Амуру:

— А все делал вид: дескать, не умею играть в метаморфозы. А сам еще как играл! Творил втихую превращение учителя в убийцу своего ученика… Но ты забыл, тварь, что я земной бог… И метаморфозы — это мой удел! И я превращаю тебя, несостоявшийся убийца Сенека, в мертвеца Сенеку!.. Теперь ты понял, за что — моя плата. Точнее, первый взнос. Вся плата выяснится далее. Сегодня у тебя будет длинная ночь, Сенека. Самая длинная в твоей жизни…

И Сенека ответил по-прежнему невозмутимо:

— Я благодарю тебя за плату, Цезарь.

— И еще поблагодари меня за то, что я не забыл твою постоянную дурацкую заботу о том, что скажут о тебе потомки. Именно поэтому я придумал эту идиотскую величественную смерть в ванне среди учеников! Остальное дополнит легенда.

— И за это я благодарю тебя, Великий цезарь, — сказал Сенека.

— Как он показывает нам, — засмеялся Нерон, — что не боится смерти! Ах, Сенека, — он обнял учителя, — я часто наблюдал смерть и скажу: одно дело — представлять смерть, и совсем другое — умирать. Особенно как умирают в наш просвещеннейший век. — И Нерон, уткнувшись лицом в лицо Сенеки, бормотал безумно: — Вот придет Тигеллин… Тигеллин — великий ученый… Он открыл закон…

И вдруг Нерон наотмашь ударил Сенеку по лицу. Старик вскрикнул, но тотчас спохватился. И вновь спокойное гордое лицо Сенеки глядело на Нерона. Нерон усмехнулся:

— Прости, учитель, но ведь промелькнуло, не правда ли? Но

это только начало страха… А если с тебя сорвут одежду?

Одним движением Нерон бросил старика на колени. И Амур ловко закрепил его голову в деревянных тисках.

— Зажмут твою голову до хруста, — яростно шептал Нерон, усевшись на корточках рядом с Сенекой. — И обнажат твою тощую задницу! Ну какой может быть героизм в такой позе? Одна боль и стыд. Спроси у Цицерона… И опять, Сенека, опять у тебя промелькнуло… Нет, ты не виновен в этой своей слабости, просто повторяю: есть закон пытки. Его открыл наш верный Тигеллин. Звучит он так: каждый человек, обладающий богатством и почетом, обязательно не выдержит унижения и боли плоти. И чем больше были его достояния и права, тем скорее. А ты у нас великий богач, один из самых уважаемых людей. Нет, Сенека, вопрос не в смерти, а в том, как наступит смерть… — засмеялся Нерон и поднялся.

Амур освободил голову Сенеки. Нерон помог Сенеке встать и благодушно закончил:

— «Но мы все исследуем» — как любил говорить мудрец Сократ, которым ты перекормил меня в детстве. И только тогда я расплачусь с тобою… Но придется торопиться, чтобы все успеть к приходу Тигеллина. Ведь нам определять, а ему — исполнять плату… За дело!

Амур церемонно подошел к Сенеке с золотым кубком в руках. И, поклонившись, высыпал из кубка ему на голову множество свитков.

— Это и есть, — усмехнулся Нерон, — твои письма к Луцилию. Точнее, выдержки из них… Я составил из твоих писем краткий итог… как ты учил меня когда-то…

Амур наклонился, поднял с арены свиток. И сунул Сенеке.

— Прогляди… Это твои слова? — спросил Нерон.

Сенека как обычно невозмутимо проглядел свиток и бросил его на арену.

— Это мои слова.

— И отлично, — сказал Нерон. — Сейчас ты прочтешь все это вслух. Ну а мои ребята…

И тут Амур вынул из темноты золотую кифару. Наигрывая на кифаре, Амур — какой-то вдруг угловатый, странный — надвигался на Сенеку.

— Что с ним?! — в изумлении воскликнул Нерон. — Неужто?! Да это метаморфоза!.. Свершилась! Сенека, ты узнал? Это он — мой бедный братец Британик, которого я… Смотри, какой худенький, слабенький… с лицом юного бога… Помнишь, как он прелестно пел — мой сводный брат Британик?

И Амур запел.

— Говорят, я был влюблен в него и даже склонил его к греху, — причитал Нерон, лаская Амура. — Все сплетни! Он опять с нами — Британик живой! Британик! Британик! — звал Нерон.

— Неро-он! Нерон! — отвечал Амур. И оба они смеялись.

И, радуясь встрече братьев и тоже смеясь, Венера пошла по арене к Сенеке, вся какая-то новая — величественная, недоступная.

— О боги! И с ней — метаморфоза!.. Ты узнал ее, Сенека? Это целомудренное тело? Вспомнил?.. Как она была чиста! И не потому, что неопытна, а потому, что волей победила свои греховные женские наклонности. Ну?! Ну, это же моя жена! Моя бедная Октавия! Ты сам говорил, что она вылитая богиня Веста! Бедная Октавия, я ведь ее… тоже… Октавия! — кричал Нерон. — Октавия! Ты опять с нами!

И вдруг Венера расхохоталась. И разом ее походка изменилась, и бедра начали гулять. Она теснила Сенеку в греховном танце.

— Нет, это уже не Веста! — вопил Нерон. — Это метаморфоза!.. Смотри, праведник, я провожу линию вдоль ее спелой груди… живота… стройных полноватых ног… Получилась волна! Та самая сладострастная волна, из которой она родилась! Да, это — Венера, полная желания. Это она — моя мама! Ты сам всегда сравнивал маму с Венерой. Я сразу это вспомнил, когда увидел маму нагую со вспоротым животом… Сенека, к нам пришла мама! Мамуля, которую я тоже… Мама! Мамочка! Да, да, они все с нами, Сенека!.. Как прежде.

Из подземелья раздались крики.

— Ну конечно… Мы забыли об этих…

Нерон поволок Сенеку в центр арены. И наклонил его голову к решетке.

В подземелье веселье достигло апогея. Дым благовоний смешивался с копотью масляных ламп, блестели нагие, умащенные тела. Люди валялись на мраморном полу, отяжелев от вина, храпели на ложах, занимались любовью — все это в гоготе, в пьяных криках, стонах…

— Эти лежат на шлюхах, жрут, пьют и орут, — зашептал Нерон. — Эти и есть толпа… точнее, великий римский народ, который нас с тобой окружал все эти годы. Теперь, по-моему, собрались все. Можно начинать. Ну естественно, роль Нерона буду играть я… Что ты уставился?

— Я не понимаю, Цезарь, — сказал Сенека. Нерон усмехнулся:

— Помнишь, ты рассказывал мне в детстве историю, как умирал великий цезарь Август? Он собрал друзей, поправил

прическу, старая кокетка, и спросил: «Как я сыграл комедию жизни? Если хорошо, похлопайте на прощание. И проводите меня туда аплодисментами…» Так и мы с тобой сейчас… в ожидании Тигеллина… сыграем комедию нашей жизни… Это нужно тебе, чтобы уйти, и мне, чтобы с тобой сполна рассчитаться. И быть может, проводить тебя туда аплодисментами. Да здравствует театр! Понятно, роль Сенеки будешь играть ты. Для этого я дал тебе твои письма…

— Кто же отважится сказать, хорошо ли мы сыграли комедию жизни? — спросил Сенека.

Нерон подошел к огромной золотой бочке.

За длинные седые волосы он вытянул из бочки человека.

Лицо старика с печальными глазами смотрело на Сенеку в свете факелов.

— Судья в бочке, — усмехнулся Нерон. — Бочку прислал мне с письмом префект Ахайи для завтрашнего, прости, уже сегодняшнего представления. Он пишет, будто этой бочке четыре сотни лет и она всегда стояла на торговой площади Коринфа. Уверяет, что в этой бочке когда-то жил сам Диоген… И с тех пор уже четыреста лет она не пустует: в ней всегда обитает какой-нибудь мудрец… О мудрости вот этого старца ходят легенды. Как тебя зовут? — спросил Нерон старика в бочке.

— Отойди, пожалуйста, ты заслоняешь мне солнце, — ответил старик.

— Но это сказал не ты. Тот, кто произнес это, звался Диогеном, — усмехнулся Нерон.

— Так было, брат, — ответил старик.

— Меня следует называть Великий цезарь, — сказал Нерон, легонько ударив его бичом. — А как зовут тебя?..

— Диоген, — ответил старик.

— Перестань паясничать! Как зовут тебя?! — закричал Нерон, избивая старика бичом.

— Я боюсь, ты убьешь его, Цезарь. И все оттого, что плохо освоил мои уроки. Ты забыл, что было много Диогенов. Тот, который первым поселился в этой бочке, видимо, именовался Диоген Синопский. Во всяком случае, я вижу буквы на бочке. Те, кто наносил позолоту на бочку, пощадили эту старую надпись: «Превыше всего — ни в чем и ни в ком не нуждаться». Я когда-то рассказывал тебе, — продолжал Сенека спокойным, ровным голосом учителя, — у Диогена Синопского не было ничего, кроме плаща, палки и мешочка для хлеба…

— Ты сказал! — улыбнулся старик. — Но сначала он имел еще и кружку, брат. Пока однажды не увидел мальчика, который

черпал ладонью воду из родника. И Диоген воскликнул: «Сколько лет я носил с собой эту лишнюю тяжесть!» Вот тогда-то он и выбросил свою кружку…

— Ну а потом был Диоген Аполлонийский, выходец с Крита, Диоген Вавилонский, Диоген с Родоса… Так что и он вполне может зваться этим же именем, — закончил Сенека.

— Какой же ты по счету Диоген, старик? Какое у тебя прозвище? — усмехнулся Нерон.

— Я с радостью тебе отвечу, брат.

Ударом бича Нерон прервал старика.

— Великий цезарь… — поправился старик, застонав от боли. — Все Диогены подновляли эту надпись на бочке. Я «Диоген первый, отказавшийся сделать это». Потому что нуждаюсь во всем. И еще меня называют «Диоген, никогда не покидавший своей бочки».

— И почему тебя тянет в это уютное гнездышко?

— Я не могу передвигаться, брат.

И снова последовал удар бича, и снова старик поправился:

— Великий цезарь. У меня перебиты суставы, я могу только ползать.

— Почему ты упорно зовешь меня братом?

— Потому что все люди — братья. Оттого они все нуждаются друг в друге…

— Так вот: я, твой брат, Великий цезарь, открою тебе, как ты будешь именоваться отныне «Диоген последний». Потому что в этой бочке никого и никогда больше не будет.

— Так не может быть… — улыбнулся старик.

— Ее сожгут сегодня на рассвете… Ну а пока, Диоген последний… пока ты еще в бочке… смотри в оба! Сейчас ты увидишь великую комедию… Твой брат цезарь примет в ней участие и твой брат Сенека тоже. Согласись, не каждый день увидишь подобных актеров. Ну как, учитель, ты согласен на такого судью? — обратился Нерон к Сенеке.

— Как повелит цезарь.

— Тогда начинай. Читай свои письма… Ты прости, я осмелился убрать из них кое-какие длинноты. Ты пишешь красиво, но старомодно. А мы живем в торопливый век… Но, конечно, ты волен все восстановить в своем чтении. Ведь это ты играешь Сенеку!

Сенека задумался. А потом медленно раскрыл свиток и бесстрастно, будто читая чужое, начал:

— «Ты спрашиваешь, Луцилий, как я сделался воспитателем цезаря? Начну по порядку. Цезарь Нерон родился в Акции в

восемнадцатый день до январских календ…»

С диким воплем Нерон упал на арену к ногам Венеры. Голова его торчала между ног Венеры. Сенека в изумлении следил за ним.

— Чего уставился? — засмеялся Нерон. — Это моя роль! Я рождаюсь! Девять месяцев в утробе матери я жил ее похотливыми гнусными мыслями. И вот — воля! Я есть!

Сенека бесстрастно продолжал:

— «Когда Нерон родился, его отец, прославившийся гнуснейшими злодеяниями, воскликнул: «От меня с Агриппиной ничего не может родиться, кроме злополучия!..»

Нерон усмехнулся.

— «Отец Нерона скончался от водянки, оставив малолетнего сына и жену Агриппину. Агриппина, которая была в ту пору в возрасте цветущей женщины, позволяла старому цезарю Клавдию пользоваться ее ласками», — читал Сенека.

… Как видение, мелькнуло перед ним прекрасное женское лицо — и рядом одутловатое бабье лицо старика…

— «Когда же она сумела вступить в права законной супруги, то заставила старого цезаря усыновить Нерона и объявить его своим наследником. На одиннадцатом году жизни Нерона мне предложили стать его воспитателем. И я согласился».

… Тихий кроткий мальчик целует руку Сенеки…

— Ты много написал о моем роде, — усмехнулся Нерон. — За одну десятую Тигеллин сажает на кол. Зачем же ты сделался моим воспитателем, если от отца с матерью ничего не могло родиться, кроме злополучия?

— Я надеялся, Цезарь.

— Ты надеялся! Что плод волчьей любви можно превратить в домашнего пса? — засмеялся Нерон.

— Ты прав, Цезарь, это следует уточнить, — бесстрастно сказал Сенека. — Я думал тогда о Риме, о будущем государства. Я возмечтал воспитать юношу, уважающего сенат и наши древние законы! Который покончит навсегда со страшными временами прошлых деспотов — цезарей Тиберия, Калигулы и Клавдия. Душа моя жаждала уединения, но я отдал ее во власть суеты ради будущего Рима.

— Благородно!.. Но мы все это проверим, не так ли? Продолжай, учитель…

— «Однажды мать Нерона, Агриппина, — читал Сенека, — попросила меня привести к ней прорицателей-халдеев. Я привел. На ее вопрос о судьбе сына один из прорицателей ответил…»

… Старик с лицом Зевса с греческой скульптуры стоял в

покоях императрицы.

— Он будет царствовать, но он убьет свою мать, — сказал старик.

— Пусть убивает, лишь бы царствовал, — шептала в ответ прекрасная женщина…

— «И вскоре, подстрекаемая неистовой жаждой власти, Агриппина отравила старого цезаря Клавдия, чтобы возвести на престол сына…» — невозмутимо читал Сенека.

И с воплем Нерон опять упал на арену. Он в судорогах катался по опилкам. В ужасе глядел на него Сенека. И, как собаки подхватывают лай, этот вопль тотчас подхватили люди из подземелья. Неистовые крики раздавались из-под земли.

— Слышишь! Они кричат! Они уже поняли: мама убила Клавдия. Они убьют ее! И меня! Я боюсь! Я боюсь! — вопил Нерон. — Что ты уставился? — спросил он Сенеку, поднимаясь как ни в чем не бывало с арены. — Будто забыл, как я вопил тогда в страхе? И что ты мне ответил? Это не записано в твоих мудрых письмах. Но нам с тобой все нужно знать — для точной оплаты твоих трудов… Что ты сказал тогда?

— «Не бойся, Цезарь, они кричат то, что всегда кричит римская толпа после смерти своих цезарей: «Цезарь Клавдий умер! Да здравствует цезарь Нерон!»

— Но ты еще кое-что прибавил… Я жду!

— «И запомни, — невозмутимо продолжал Сенека, — никто не убивал цезаря Клавдия. Это дурные слухи, которые всегда возникают после смерти властителей. Твой отчим отравился грибами — и все!..» Я сказал это, потому что ты, мальчик, не мог тогда понять всех отвратительных сложностей жизни. Тебя надо было успокоить. Ты успокоился, вышел к гвардейцам и произнес речь.

— Ну-ну-ну! Я по-прежнему вопил. — И он вновь бросился на арену и закричал: — «Мать убила отчима! Я знаю, и все они знают! Я боюсь! Я не смогу сказать речь!..» Неплохо сыграно, не так ли? — расхохотался Нерон, поднимаясь с арены. — Великий актер Нерон!.. И что ты ответил мне, Сенека?

Сенека молчал.

— Да, ты промолчал, — усмехнулся Нерон. — И молча протянул мне написанную речь. И я понял: ты все знал! И написал эту речь заранее… Кстати, речь оказалась отличной. Речь — что надо! — И он взглянул на сенатора.

— «Гвардейцы! Я, ваш цезарь…» — тотчас темпераментно начал сенатор.

— Не надо! Все речи одинаковы, — усмехнулся Нерон. — Давай сразу — что они завопили после моей… то есть его речи?

— «Цезарь Клавдий умер. Да здравствует цезарь Нерон!» — двадцать раз! «Мы всегда хотели такого цезаря, как ты!» — двадцать раз. «Ты наш цезарь, отец и брат! Ты великий сенатор и истинный цезарь!» — сорок раз! — кричал сенатор.

— Да, да, — шептал Нерон. — Вот с этими воплями приветствий они несли меня в сенат. Я помню: белый страх… и ржание лошадей…

И Сенека увидел: Нерон плыл на руках гвардейцев среди поднятых мечей и бронзовых римских орлов…

— И я вышел из сената — цезарь, осыпанный всеми почестями. Только звание «Отец отечества» я отклонил. Чтобы все поняли, как скромен новый цезарь… Так мне посоветовал учитель Сенека… ловчила Сенека… Продолжай!

И вновь Сенека бесстрастно читал:

— «Ты спрашиваешь, Луцилий, правду ли говорят, будто я сочинил речь для цезаря? Нерон познал все тонкости эллинской философии, у него блестящая память — надо ли мне за него сочинять?» Нерон засмеялся.

— Я хотел, чтобы нового цезаря любили в Риме, — глухо сказал Сенека. — И еще — ты не хотел, чтобы в Риме не любили тебя…

— Продолжай! — ответил Нерон.

И Сенека продолжал свое бесстрастное чтение:

— «Я уверен: цезарь вырастет добродетельным юношей и уйдут в невозвратное прошлое страшные времена Тиберия — Калигулы — Клавдия. И пусть слухи о сомнительных выходках молодого цезаря не лишены оснований — будем надеяться, что все это минет с возрастом. Хотя не могу не сказать с сожалением, что молодой цезарь поддается дурным влияниям. Особенно всех тревожит недавнее появление при дворе некоего Софрония Тигеллина…»

При этих словах Амур изобразил совершеннейший ужас — и они с Венерой попятились в темноту.

— Вот и пришел Тигеллин, — забормотал Нерон.

— «Этот Софроний Тигеллин, — продолжал читать свиток Сенека, — недавно вернулся из ссылки… Он был отправлен туда еще в правление цезаря Клавдия за то, что обольстил юную Агриппину, мать Нерона. К общей печали, цезарь назначил Софрония Тигеллина, запятнавшего себя бессчетными пороками, начальником тайной полиции. И теперь имя Тигеллина постоянно на устах молодого цезаря».

Нерон засмеялся.

— «Отмечу любопытную подробность: Тигеллин никогда не

появляется на людях. Его нигде никто не видит. Он живет затворником в собственном дворце, ибо болен общей манией всех злодеев — постоянным страхом покушения на свою проклятую жизнь».

— Как интересно, — прервал Нерон. — Это твое письмо найдено у консула Латерана. Но ведь консул жил в Риме. Он знал о Тигеллине столько же, сколько и ты. Зачем же ты пишешь ему то, что он отлично знает?

Сенека безмолвствовал.

— Это не просто письма, — зашептал Нерон. — Ты писал их для потомков!.. Это твое оправдание, тщеславный учитель. Как я тебя знаю!.. Тебя так никто не знает!.. Продолжай!

— «И все-таки я с верой гляжу в будущее, — спокойно продолжал Сенека. — Я надеюсь, что воспитание, которое получил цезарь, возьмет свое. Нерон перебесится — и Рим получит Великого цезаря. Главное уже достигнуто: Нерон желает стать первым цезарем, который вернет римскому сенату права и власть, отнятые Тиберием, Калигулой, Клавдием».

— Но Тигеллин сказал… — начал Нерон и остановился. — Кстати, кто представит Тигеллина в нашей комедии? Ты с ним так и не встретился?

Он уставился на Сенеку.

— Нет, Цезарь.

— Ни разу?.. Ай-ай-ай! Столько лет живете в Риме бок о бок — и не *сумели* повидаться! Значит, роль Тигеллина может сыграть любой: Сенека не знает его лица…

Амур выскочил из темноты:

— Я — Тигеллин! — И он сделал свирепое лицо и расхохотался.

— Скоро придет сам Тигеллин, — улыбнулся Нерон. — И с успехом сыграет свою роль. Так что спеши читать, Сенека.

— «Главное — терпеливо и непрестанно объяснять Нерону, в чем он не прав. Недавно мы долго сражались с цезарем из-за его поздних возвращений и ночных бесчинств».

… Нерон — в грязном рубище, в колпаке вольноотпущенника с компанией таких же переодетых знатных молодых бездельников. Они набросились на подвыпивших людей, выходящих из кабака. Они бьют палками беззащитных людей, топчут их ногами. Вопли, крики боли и хохот цезарской шайки.

— Ну, немного побесчинствовал… — вздохнул Нерон. — Ну, попугал запоздалых горожан… Ну, убил двух-трех в драке… Разве лучше… если б они меня убили?

Сенека печально посмотрел на Нерона.

— Да, да, — сказал Нерон. — Вот так же укоризненно ты смотрел на меня тогда, учитель… И мать… А Тигеллин — никогда. Ах, Сенека, ты любил меня за власть, которую я дам тебе и римскому сенату. Мать — за власть, которую я ей уже дал… И только Тигеллин любил меня ради меня самого. Кстати, Тигеллин сказал… что мать повсюду объявляет: коли я по-прежнему буду бесчинствовать, а также следовать твоим советам в государственных делах, я перестану быть Цезарем! Она заменит меня братом Британиком… — Нерон помолчал и добавил тихо: — Я произнес все это… и посмотрел на тебя. И ты все понял… потому что трудно не понять взгляд волка… Что ты мне ответил тогда?

Сенека молчал.

— Точно! Промолчал, добродетельнейший из смертных!.. А потом мы встретились на дне рождения Британика. Как он пел в тот день…

Амур с золотой кифарой в руках вышел из темноты. И запел…

— А потом Британик захотел пить, — сказал Нерон.

И Сенека вновь увидел всю сцену, как тогда со своего ложа. Предвкушатель поднес Британику горячее питье. Британик отпил глоток и попросил остудить. Предвкушатель, усмехаясь, долил в питье воду и поднес кубок Британику…

На арене Нерон протянул кубок Амуру. И Амур выпил — до дна…

— А мы с тобой продолжали нашу беседу, учитель. И конечно, о добродетели, как всегда. Ты закончил тогда книгу, написанную специально для меня, — «О долге цезаря». В тот вечер ты читал мне начало. Ну, вспомни свои слова! И тогда вернется моя цветущая юность! Ах, это возможно только в театре! Спешите видеть: величайший артист Нерон и артист Сенека играют сегодня Комедию жизни! — И добавил строго: — Я жду!

И Сенека, стараясь оставаться невозмутимым, начал:

— «Сила цезаря — в его умении служить своему народу!» Нерон одобрительно кивал, и Сенека продолжал:

— «И чтобы страшные ушедшие времена Тиберия — Калигулы — Клавдия никогда не повторились, цезарь обязан научиться уважать человека. Отныне и навечно: человек для человека должен стать святыней!»

И тогда раздался вопль Амура. Амур упал на арену и в муках и судорогах катался по сверкающим опилкам.

— Да! Да! — сочувственно сказал Нерон. — Все произошло при этих замечательных словах…

Амур затих.

— Мертв? — в ужасе прошептал Сенека. Нерон засмеялся:

— Но Британик был тоже мертв!.. Я не пожалел царственного брата — зачем мне жалеть этого порочного раба?.. Ты все никак не можешь понять, учитель: мы всерьез играем Комедию жизни.

— Я не хочу умирать!.. Я не хочу! — закричала Венера.

— Да, да, вот так же кричала мама, глядя на мертвого Британика… Венера упала на колени, она обнимала ноги Нерона:

— Я боюсь! Я не хочу!

— Ну — точно! Вылитая мама! Как она испугалась, бедняжка, в тот день. Продолжай, Сенека… А мы займемся уборкой тел.

И, оттолкнув Венеру, он поволок с арены во тьму легкое тельце Амура.

И вновь бесстрастно читал Сенека:

— «Луцилий! Чем дороже груз, которым владеет путешественник, тем более он заботится о спокойствии воли и благодарен Нептуну за это спокойствие. Так и философ: ему нужен мир в государстве, чтобы размышлять в покое, — и он благодарен тому, кто дарует этот мир… Вот отчего я так забочусь о силе цезаря и славлю его власть!»

— Я не хочу! Я не хочу! — ползала по арене Венера.

— «Ты пишешь, — продолжал невозмутимо Сенека, — что он истребляет свою семью? Зато в его правление не подвергается посягательствам жизнь и свобода частных граждан. Зато совершенно исчезли политические процессы… А вспомни страшные времена Тиберия — Калигулы — Клавдия!»

— Как я люблю эту твою присказку, — улыбнулся Нерон.

— «Ты спрашиваешь, Луцилий, справедливы ли слухи об убийстве Цезарем Британика? Надеюсь, что нет. Но даже если так? Каков выход? Принять сторону его матери, мечтавшей заменить Цезаря слабовольным, юродивым Британиком и властвовать самой? Но это означало бы вновь вернуть Рим в страшные времена Тиберия — Калигулы — Клавдия».

— Но Тигеллин сказал… — начал Нерон и зашептал, указывая на Венеру. — Это все она! Мать! Мать натравила меня на Британика! Брат — ее жертва!

И Сенека вновь увидел Нерона тогда, в анфиладах дворца. И услышал его отчаянный шепот: «А знаешь, зачем она это сделала? Чтобы Рим узнал и меня ненавидел! Но Тигеллин сказал: она плетет заговор. Тигеллин сказал: мать подошлет ко мне убийц!..»

— И что ты мне на это ответил тогда, Сенека? — спросил Нерон.

— Я боюсь! Боюсь! — кричала Венера. Сенека молчал.

— Да… промолчал, опять промолчал, все прочитав в глазах

волка… Бедная мама, ты помнишь, как это было.

— Не надо! Я не хочу! Я боюсь! — визжала Венера.

— Успокойся, шлюха, — усмехнулся Нерон. — Я не видел, как убивали маму… Мама! Я ее любил. Презирал, боялся — и любил!.. И когда ты молча согласился на ее убийство — вот тогда я до конца тебя возненавидел! Ах, Сенека, какая это была женщина! Сколько я совершил покушений на ее жизнь? И она все-все избежала! Интуиция! И как живуча! Ну — кошка! В тот день она навестила меня на вилле, и я посадил ее на корабль. Корабль должен был развалиться в открытом море. И развалился. Но мама выплыла… Вот тогда я послал к ней убийц. Помнишь — осень, мы с тобой сидим у нашего камелька. Ты, как всегда, беседуешь со мною о добродетели. А я жду известий о маме… Знаешь ли ты, что такое ждать убийства матери? — И Нерон опустился у ног Сенеки и шептал: — Не оставляй меня, учитель! Говори! О путях самосовершенствования! Ну! Как тогда! Говори!!!

Сенека глухо начал:

— Есть три пути самосовершенствования. Путь размышления — самый благородный…

— Ах, как мудро!

— Путь подражания — самый легкий… И путь опыта — самый трудный.

— Да… Да. А я представлял: они уже отворяют двери в ее покои.

… И центурион обнажил меч. Прекрасная женщина не защищалась. С достоинством обратилась она навстречу оружию:

— Бей в чрево, которое его выносило.

Движение руки с мечом — и последний вопль…

— Не надо, — вопила на арене Венера. — Я боюсь!

Нерон ползал у ног Венеры, обнимал ее ноги, шептал:

— Мама… Бедное чрево… Я убил маму…

Он повалил Венеру в сверкающие опилки, он осыпал ее поцелуями.

— Мама… Тебя нет!.. Посмотри, какая у нее грудь, Сенека! Мама была Венера! А как она хотела царствовать! Она боялась моих баб. Она так хотела царствовать, что ложилась со мною в одни носилки! Она соблазняла меня!

— Замолчи, Цезарь!

— А ты опять не выдержал, — засмеялся Нерон. — Да, мама лежала мертвая, а я стоял над нею… и, хохоча и плача, обсуждал ее прелести… Но боги молчали. Почему они всегда молчат? Может, они… как и ты… молча одобряли? Ну, судья, брат Диоген последний, почему не ударила молния в нечестивца?

— Ты — сказал?.. — ответил старик в бочке.

— Не понял! — усмехнулся Нерон и с размаху, страшно ударил его бичом.

— Не бей его, Цезарь. Он все объяснил, — сказал Сенека. — Он считает, что видимый мир — это всего лишь наше испытание…

— Я не знаю, то ли он сказал. Но ты, Сенека, как всегда, промолчал… И мы учтем это, определяя твою плату, — усмехнулся Нерон.

Из подземелья неслись негодующие крики.

— Ты слышишь, Сенека? — взвизгнул Нерон. — Они пришли за мной! Весь город знает: я убил маму! Весь Рим на ногах!

Крики из подземелья раздавались все громче, и Нерон бросился к центру арены.

— Когорты окружают дом! Они приговорят меня к казни матереубийц: они посадят меня в мешок с собакой, змеей и обезьяной! И сбросят в Тибр! Я боюсь!.. А все Тигеллин. Это он натравил меня на маму! И ты это тоже хотел! Вы оба меня с ней ссорили! «Я боюсь!» — Нерон засмеялся. — Так я вопил тогда.

Он взглянул вниз — сквозь решетку.

Опустел пиршественный стол, пустые кубки валялись на мраморном полу. Люди кричали и били пустыми кубками по гулкому полу.

— Ну конечно! Им забыли добавить жратву и питье. И они негодуют, — усмехнулся Нерон, обращаясь к Амуру.

Амур бросился в темноту — исполнять приказание.

— Сейчас, миляги, сейчас, сердечные. — Нерон уже обращался к Сенеке: — И что ты мне ответил тогда?

— «Все обойдется, Цезарь. Я написал твою речь, — спокойно сказал Сенека. — Сейчас войдут сенаторы, и ты прочтешь. Они ненавидели твою мать. Они будут с тобою, Цезарь».

Нерон взглянул на сенатора, и сенатор тотчас прокричал речь:

— «Раскрыт заговор. Было решено убить цезаря и уничтожить великий сенат… Можно сжечь Рим, но можно его отстроить заново. Ибо не камни составляют душу Рима. Жив римский народ, и величаво стоит Рим — пока жив сенат. С болью и печалью сообщаю вам, сенаторы, что во главе заговора стояла наша мать Агриппина».

— Грандиозно! С каким чувством я прочел твою речь!

Сенатор завопил:

— «Да сохранят тебя боги для нас, Великий цезарь!» — десять раз. «Мы всегда желали такого цезаря, как ты!» — десять раз. «Ты наш цезарь, отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный цезарь!» — двадцать раз… Сенаторы! Предлагаю поставить дары в

храмах за спасение цезаря и отечества!

Из подземелья уже раздавались восторженные крики.

— А ты прав, Сенека! Против меня проголосовали только трое сенаторов. Утром их нашли с перерезанным горлом. Говорят, разбойники… — И он обнял Сенеку. — А вообще я рад, что мамы больше нет. Теперь наконец-то я смогу спать с Поппеей Сабиной… Мама не любила ее! Я знаю, ты тоже. О ласки Поппеи Сабины! О ее тело! Согласись, Сенека, она очень похожа на маму — ну совершеннейшая Венера. — И он притянул к себе Венеру, и тоже обнял ее — другой рукой. — Прекрасная Поипея… Знаешь, Сенека, она уговаривает меня убить мою жену, добродетельную Октавию… Кстати, Тигеллин сказал…

— Октавия была прекрасная женщина! — тихо сказал Сенека.

— Да, да, ты всегда любил Октавию… Но знаешь ли, старик, что такое ночи Поппеи Сабины? Мое сердце разбито! О сердце артиста! Я решил вернуться к игре на кифаре. Представляешь, Сенека, пока я был занят — убивал маму, сколько лавровых венков нахватали мои соперники! Опять у тебя недовольное лицо… И Поппея тебе не нравится, и кифара. А знаешь, Сенека, я убил маму, чтобы впредь не видеть вокруг себя недовольных лиц. И чтобы ты не докучал мне своей перевернутой рожей, я отправлю тебя отдохнуть на курорт в Байи. Полечись в Байях, Сенека! Наш писатель, наш классик Сенека. Прости, ты еще не классик. Чтобы стать классиком — нужно умереть… Читай!

Сенека невозмутимо читал свиток:

— «Дорогой Луцилий! Агриппина была ужасная женщина, и хотя смерть ее тоже ужасна, как всякая насильственная смерть, — но, выбирая между двумя ужасами, мы, граждане, не смеем не думать о благе отечества. Победи Агриппина — и тотчас вернулись бы страшные времена Тиберия — Калигулы — Клавдия. Поэтому восславим судьбу за победу цезаря! Ты пишешь о слухах, об убийствах сенаторов, голосовавших против Нерона… Нам пристало думать не о слухах, а о пользе отечества. Это порой так нелегко, поверь. Ты пишешь, что цезарь все свирепеет и злодеяния его все ужаснее. Да, он бесноватый гуляка, но это природное свойство его натуры. Я хорошо изучил его и знаю: чтобы его унять, надо терпеть. Только терпимость и нравственные беседы размягчают его душу. Надо помнить, что рядом с ним стоит страшная тень Тигеллина, потворствующая его порокам. И хотя этот маньяк Тигеллин до сих пор не показывается на людях, я знаю, они видятся с цезарем каждый день. Сколько усилий и красноречия надобно тратить в борьбе за душу цезаря. О, если бы не судьбы отечества, я давно покинул бы постылый Рим».

Нерон слушал Сенеку. И ласкал, ласкал Венеру. Нежный смех

Венеры раздавался в ночи.

— Ну продолжай, Сенека… — шептал Нерон.

— «Как я счастлив теперь в Байях, хотя приходится терпеть много неудобств, столь обычных для наших модных курортов. Моя гостиница расположена прямо над лечебными водами. С утра пораньше под моим окном здоровые — шумно занимаются гимнастикой, больные — стонут, служители — с криками мчатся с полотенцами, и кто-то с воплями бьет вора, укравшего чужое платье. Ночью меня будят крики с озера — там до утра раздаются визг женщин и похабные крики мужчин. Да, наши замужние Пенелопы недолго носят на курорте в Байях свои пояса верности… Но все искупают часы заката, когда краски неярки, но прекрасны. При виде догорающего солнца, умирающего дня покой и гармония объемлют душу. И вновь постигаешь: нет, мы не умираем — мы только прячемся в природе! Ибо дух наш — вечен… Ох, побыстрее бы в гавань! Чего желать? Что оплакивать в этом мире? Вкус вина, меда, устриц? Но мы все это изведали тысячи раз! Или милости Фортуны, которые мы, как голодные псы, пожираем целыми кусками — проглотим и вкуса не почувствуем? Все суета! Пора! Прочь из гостей! В гавань! В гавань!»

— Но Тигеллин сказал, — нежно засмеялся Нерон, лаская Венеру, — я не смогу жениться на Поппее Сабине, пока жива моя жена Октавия. С Октавией нельзя развестись: она принадлежит к роду цезарей…

— О боги! — прошептал Сенека.

— О тело Поппеи Сабины! — улыбался Нерон, все лаская Венеру. — Она лежит в ванне, с лицом, намазанным особым тестом, замешенным на ослином молоке. Это — для блеска кожи… С кусочками мастикового дерева во рту. Это — чтобы дыхание ее благоухало…

И, отвечая на ласки Нерона нежным смехом, Венера вдруг выскользнула из его рук.

— Она не пускает меня на ложе! — завопил Нерон. Венера смеялась.

— Ты не станешь спать с цезарем, пока жива Октавия?

Венера хохотала.

— Какая мука! — И Нерон зашептал Сенеке: — Но Тигеллин сказал…

И тотчас Венера приникла к цезарю.

— Гляди, учитель, она сразу стала веселой… счастливой… моя Поппея Сабина… Ну, читай, читай свое письмо об Октавии. Моя Поппея жаждет!

— «Луцилий! — Сенека по-прежнему старался читать бесстрастно. — Страшное известие поджидало меня по возвращении из Байев: по приказанию цезаря убита добродетельная Октавия».

Венера смеялась, Венера ворковала…

— О счастье! О радость! — кричал Нерон. — Поппея дозволила себя ласкать. О ласки Поппеи Сабины! Ну читай, читай! Ей так нравится это твое письмо!

— «Несчастной Октавии перерезали вены на руках и ногах, — монотонно читал Сенека. — Но от страха ее кровь оледенела в жилах и не сочилась из ран. И тогда, чтобы ускорить смерть Октавии, ее отнесли в горячую баню. Как она молила о жизни! Но тщетно: она была виновна в том, что цезарь желал жениться на Поппее Сабине…»

Нерон ударил бичом.

Сенатор заржал и яростно завопил:

— Сенаторы! Великий цезарь уличил свою жену Октавию в прелюбодеянии с жалким рабом и в заговоре против сената… «Да здравствует цезарь! Да сохранят тебя боги для нас!» — тридцать раз. «Мы всегда желали такого цезаря, как ты!» — тридцать раз. «Ты наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный цезарь!» — шестьдесят раз.

Он заржал и замолк.

Сенека неподвижно стоял на арене со свитком в руке…

Нерон бесстыдно ласкал Венеру.

— Смотри, Сенека, весь мир в этих влажных губах… — шептал Нерон. Венера смеялась, отвечая на ласки Нерона.

— Как она льнет… Неужто этот смех… эти крутые бедра… не стоят холодной крови худосочной Октавии?

Венера заливалась счастливым смехом.

— Как она счастливо глядела тогда на отрезанную голову Октавии! Как удобно жить в наш просвещенный век быстро стали ездить колесницы! Только убили — и уже несут тебе отрезанную голову на золотом блюде… О мое тело! Оно повелевает своим цезарем. Оно победило!

Торжествуя, смеялась и Венера.

— Как я люблю радость на человеческом лице… Человек смеется — ему кажется, что он распоряжается своею судьбою… — шептал Нерон.

И, лаская Венеру, он вынул нож из-за ноги и нежно щекотал ее этим ножом. И, откликаясь на эту странную ласку, Венера смеялась, смеялась, смеялась. И когда смех ее стал безудержным, безумным — Нерон ударил ее ножом. В сердце. Без стона Венера упала навзничь, на арену.

— А этот смех был последним, — сказал Нерон.

Сенека в оцепенении глядел на застывшую в сверкающих опилках Венеру. Нерон улыбнулся.

— Каждый раз ты так смешно пугаешься, будто впервые видишь убийство. — И Нерон потащил Венеру за ногу, как куклу, прочь с арены. — Понимаешь, Поппею надо было убить… Римский народ ее ненавидел. А ты учил: цезарь должен думать прежде всего о благе народа… Кстати, это убийство единогласно одобрил наш сенат.

— «Да здравствует цезарь!» — тридцать раз. «Мы всегда желали такого цезаря как ты!» — тридцать раз. «Ты-наш отец друг и брат ты хороший сенатор и истинный цезарь!» — восемьдесят раз! — вопил сенатор, страшно, без пауз.

— Это не речь! — зашептал Нерон в восторге. — Он ржет! Свершилось! Сенатор превратился в коня! Я вывел новую породу: сенаторы-кони… Я поставлю в сенате мраморные стойла! Грандиозно!

Из темноты выскочил Амур.

— Ночь на исходе, звезды меркнут, Цезарь…

— Он прав, — сказал Нерон и ударом ноги опрокинул кубок со свитками. — Скоро придет Тигеллин, а сколько ты еще не прочитал, учитель? — Он торопливо проглядывал оставшиеся свитки, бормоча и швыряя их обратно на арену: — «Вчера убит сенатор Цезоний Руф…» Ну, это ясно! «Вчера удавлен консул Корнелий Сабин…» «Вчера убит Децим Помпей…» Как скучно! «Вчера умер богач Ваттия. Он умер своею смертью — вещь удивительная по нынешним временам…» «Вчера умерла Поппея Сабина…» Как я любил мою Поппею… Как я страдал… Читай это письмо, Сенека! А я буду вспоминать ее ласки… Это будет твое последнее письмо. Пора определять плату.

— «Говорят, что Поппея, — невозмутимо начал Сенека, — с неодобрением отозвалась об игре Нерона на кифаре. И тогда цезарь в порыве бешенства зарезал ее. Это ужасно. Но было бы еще ужаснее, если бы ее влияние на цезаря продолжалось… В какое страшное время выпало нам жить, Луцилий, если мы все время должны выбирать между разными степенями ужаса!»

— Дальше… дальше, — торопил Нерон, в нетерпении разгуливая по арене.

— «Ты пишешь, Луцилий, что мой родственник, великий поэт Лукан, прославляет цезаря…»

— Так! Так! — усмехался Нерон, торопя чтение.

— «Тебе трудно его понять, Луцилий, ты далек от власти. Лукан, напротив, к несчастью, к ней приближен. А ныне в Риме всякий, кто ежечасно не прославляет цезаря, тотчас становится

подозрительным — и немедля погибает! И тогда темнее небосвод и страшнее зловещая тень Тигеллина!»

— Браво! Дальше!

— «Ты спрашиваешь, Луцилий, долго ли продлится это страшное время? Я отвечу: пока жив цезарь. Цезарь же молод, поэтому для нас это время — навечно. Как удачно сказал некто о цезаре и нашем времени: «Комедиант, играющий на кифаре…»

— Вот!!! — закричал Нерон. — И кто же этот «Некто»?..

Сенека молчал.

— Ты оберегаешь его, — усмехнулся Нерон. И уставился на сенатора. — Кто поверит, что недавно он был храбр, грозен?.. А ныне жрет овес в стойле… А ну-ка, повторяй, Цицерон, что ты сказал обо мне, когда тебя звали Антоний Флав?!

И сенатор заржал, упав на колени.

— Он разучился говорить! — хохотал Нерон.

— Я приду ему на помощь и повторю то, что он говорил тогда о тебе, — сказал Сенека. Размеренно, неторопливо он произнес: — «Комедиант, играющий на кифаре, оскорбляющий святыни своего народа, запятнавший себя всеми видами убийств, спокойно разгуливает без охраны по Риму и вот уже второй десяток лет стоит во главе государства. Что из того, что он истребил лучших людей? Чернь развлекается и, главное, сыта. Что стало с римским народом, который за сытость соглашается жить в крови и позоре! Подлое время!» Я же добавлю от себя так, Луцилий: о жалкая толпа, не думающая о будущем… И когда падет Великий Рим… а Рим падет… Они проклянут не тех цезарей, которые превратили Рим в гнойную опухоль, а того последнего, жалкого и невинного властителя, при котором разразится катастрофа!»

Сенека замолчал. Молчал и Цезарь.

— Вот и окончилась Комедия жизни. Ты прочел все, учитель, — сказал наконец Нерон.

— Ты утверждал, Цезарь, — усмехнулся Сенека, — что составил итог из моих писем, отнятых у мертвецов. Но ты попросту сократил одни письма и соединил с другими. И получилось последовательное течение нашей жизни, не более. А итог нужен, ты прав. Я твой учитель, я приду к тебе на помощь. — И, помолчав, Сенека начал: — «Луцилий, вчера я вспомнил свои письма к тебе. Как стыдно! Неужто совсем недавно я был таков? Что делать философу во всей грязной каше? Нет, покой, только один покой дает нам возможность размышлять об истине… А так ли поступает Цезарь, и кого они еще убьют вместе с Тигеллином — не все ли равно? Думай о настоящем. Будущим распорядишься

не ты».

Нерон засмеялся.

— «Ты пишешь, — продолжал Сенека, — что вчера еще кого-то убили… Мне его жаль. Но если бы они его не убили — разве итог его жизни был бы иной? Нет, Луцилий, смерть поджидает всех: и нас, и палачей наших. Всем придется сбросить эту временную телесную оболочку, чтобы вернуться в дом свой. С восторгом я ощущаю, как старость проникает сквозь оболочку моего тела, ведя за собой вооруженную смерть. Близится дом… И я не позволю скорби исказить открывшуюся мне гармонию».

Крики, вопли неслись из подземелья. Нерон хохотал. А Сенека невозмутимо продолжал:

— «Достичь гармонии трудно, но достичь ее среди стонов и крови — во сто крат труднее… Будем же думать не о теле, которым легко распоряжаться властителям мира, но о душе и вечности, им неподвластной. Тогда до конца постигнешь слова древних: «Кто борется с обстоятельствами, тот поневоле становится их рабом». На прощание прими от меня в дар слова философа: «Мы учим не терять». А нужно учить: «Будь счастлив, все потеряв». И еще: «Все заботятся жить долго, но никто не заботится жить правильно».

— Прости… — задыхаясь, сказал Нерон. — Очень смешно… Ты так важно читал о гармонии… среди горы трупов… Гляди… лежат… повсюду: мама… Поппея… Октавия… там Британик… А это — Лукан, Пизон… Там — актер Мнестр… Тысячи!..

… И Сенека увидел: бесконечные ряды белых ванн, уходящих во тьму. И руки с перерезанными венами. И капала кровь…

— А над нами, — продолжал хохотать Нерон, — ты читаешь итог — как финал высокой трагедии. Опомнись, учитель! И подумай: величайший моралист воспитал величайшего убийцу… Да это комедия, Сенека! Смешная до колик!

— Но я учил тебя любви! — закричал Сенека. Впервые за долгую свою жизнь он кричал: — Только любви! С детства!

— Ты учил меня лжи, — усмехнулся Нерон. — А научил — ненависти… К благопристойным словам, к жалкой вашей морали!.. Но я открою тебе тайну: я давно отвергаю ваш мир! Благонамеренный, сытый мир! Знаешь ли ты, старик, как становятся богом? Я рос как все смертные: заброшенный мальчик, жаждавший любви. Как я хотел, чтобы ты любил меня, мой учитель. И ты говорил, говорил, что любишь. Но я уже тогда знал: лжешь! Любовь — это солнце! А ты — ледяной старик. Нет, ты любил не меня, а свое орудие… свою будущую власть! Как я мечтал о любви матери… И вот однажды не вовремя я зашел в ее покои. Я увидел ее бесстыдные голые ноги…

Обольстительное лицо женщины вновь возникло перед Сенекой… и потная спина мужчины на ложе…

— С ней был Тигеллин, — шептал Нерон, — а я глядел, глядел на ее лицо. И не мог наглядеться! Она не сразу увидела меня. Наконец — увидела! И вопль! Ненависть! В тот день я понял: моя мать меня не любит. Но я уже не мог забыть — яростное солнце на запрокинутом женском лице! Так я узнал, какое лицо бывает у женской любви… Я захотел этой любви — к себе. Я заговорил с тобой, учитель, о любви женщины. Ты сказал: женская любовь дешева, ее можно купить и тем преодолеть, чтобы очистить душу для подлинной духовной любви, а потом как-то незаметно…

… Рука Сенеки вкладывает золотую монету в тщедушную ручку мальчика…

— Ненавидя твое благопристойное «незаметно», я побежал к той, которая должна была дать мне солнце! Она дала мне торопливые содрогания и стыд! Но я не мог жить без любви! Я видел, в какой восторг повергает толпу пение и игра на кифаре. И я научился играть и петь. Но недостаточно, чтобы меня за это любили. Я пришел в отчаяние: мне не познать солнца!.. Но вот однажды я увидел ее. Это была подруга матери. Она шла темными коридорами дворца, величавая богиня с гордым лицом. И тут мне пришла в голову мысль… На следующий день…

… И Сенека увидел женщину в алом пурпуре в темном переходе дворца. Из-за колонны навстречу ей шагнул юноша. И смертный ужас на лице женщины, когда она увидела нож.

— И, угрожая ножом и позором, — шептал Нерон, — я заставил ее… богиню… отдаться! И… и вот тут… в проклятиях… в ее содроганиях, слезах… в ее ненависти я ощутил… Это было солнце… Но совсем другое… И я с трудом удержался, так мне хотелось заколоть ее… от восторга! И вот тогда-то я понял: когда орел когтит добычу, то в муках плоти, трепещущей в когтях, рождается… да, да — тоже любовь! Но ни с чем не сравнимая — любовь казни! Любовь жертвы к палачу! — Нерон был в безумии: глаза сверкали, срывался голос. — И когда Британикупал замертво, я вновь почувствовал… Я смотрел на всех вас: гордая мать и лгущий учитель — все вдруг соединились… Моя воля простиралась безгранично — и все ваши воли лежали ниц! Кто раз вкусил эту беспредельность своей воли, тот может идти только вверх! Вверх! Вверх! Я дышал воздухом гор. Там нет смертных. Кто раз познал, что такое быть богом… Кровь!

Кровь! Все мало!.. И весь римский народ для меня как та женщина, которую я насиловал с ножом в руках! Однажды я сожгу этот ваш Вечный город и прокричу свое проклятие!

— Довольно! — закричал Сенека.

— Опять трагедия, — смеялся Нерон, — а мы договорились: играем комедию!

И он ударил бичом. И с визгом и хохотом вскочили с арены Амур и Венера… Гогоча, дьявольскими прыжками понеслись они вокруг Сенеки.

— Комедия! — хохотал Нерон. — В комедии все шиворот-навыворот: мертвые оказываются живыми, а ты, живой, мертв!

— Я не хочу жить! Зови Тигеллина, — сказал Сенека.

— Ты прав. Время настало: пусть придет Тигеллин! — ответил Нерон.

— Я слышу шаги Тигеллина! — закричал Амур. И бросился во тьму. И тотчас попятился назад в ужасе. — Тигеллин идет! Дорогу Тигеллину…

И все застыли. В наступившей тишине Нерон спросил еле слышно:

— Он здесь?

— Он — здесь! — ответил Амур.

— Как он страшен. Я боюсь, — шептал Нерон. — Опустите веки Тигеллину! Почему ты молчишь, Сенека? Почему ты не смотришь на Тигеллина? — И Нерон схватил Сенеку за горло. Белые от бешенства глаза уставились на старика. — Ты видишь Тигеллина? Видишь Тигеллина, старый ублюдок?

— Не вижу, Цезарь, — прошептал Сенека.

— Как странно, девочка моя, — обратился Нерон к Амуру, — наш Сенека не видит Тигеллина. Что ж ты теперь будешь делать… не увидев Тигеллина? Как без него тебе жить? Точнее — умирать?

И наступило молчание.

— Тигеллина нет?! — прохрипел Сенека.

— Комедия, учитель: Тигеллин явился в Рим сразу после смерти Клавдия, но пробыл в Риме одну ночь — Тигеллин был удавлен на рассвете, я не простил ему маму. Ты ведь знал, Сенека, что его нет… — шептал Нерон. — И я знал, что ты знаешь. Я ведь для нас его придумал. С Тигеллином нам было удобно… обоим: мне — убивать, тебе — оправдывать убийства. Тигеллин был единственной возможностью идти об руку убийце и святому… Но завтра тебя не станет, Сенека. Зачем мне без тебя Тигеллин! Я осчастливлю Рим: я объявлю о казни этого чудовища. Какой будет восторг: прошли страшные времена Тигеллина! Смерть Тигеллина — часть моей платы: я дарю тебе высшее счастье — пережить смерть врага. Ну а теперь, судья в бочке, твой черед: актеры Нерон и Сенека отыграли роли. И жаждут услышать приговор: хорошо ли они сыграли Комедию жизни?

Старик в бочке не ответил. Он шептал непонятные слова.

— Что ты бормочешь, мой брат Диоген?

— Я молюсь… Я прошу его сохранить во мне любовь…

— Кого же ты собираешься любить?

— Всех… Мы все вместе род человеческий… Ты — это я. А я — это он. И если сейчас я возненавижу тебя — я возненавижу себя. И если ты убьешь меня — ты убьешь себя.

— Значит, ты всех нас хочешь любить? Ну за что, к примеру, ты станешь любить его? — Нерон указал на Сенеку.

— За его слова, брат. Этот человек много думал… и произнес много верных слов.

— Он говорил, другие слушали и убивали. Ну а этого… брата? — Нерон усмехнулся и кивнул на сенатора.

— За его унижение… За страдание его.

— А за что ты собираешься любить своего брата Цезаря?

— За то, что он всех несчастнее. Будет молить о смерти как об избавлении… будет обнимать ноги последнего раба…

Нерон бросился к бочке и начал яростно сечь бичом старика. Старик не защищался — он только стонал при каждом ударе.

— Оставь его, Цезарь! — не выдержал Сенека.

— А знаешь, — Нерон улыбнулся, — он победил тебя. Во всем, что он говорил, есть безумие. Но почему-то его безумие кажется мудростью… А твоя мудрость всегда казалась мне глупостью… Радуйся, человек из бочки: ты победил величайшего философа Сенеку. И за это брат Цезарь наградит тебя по-царски: я назначаю тебя Прометеем — Божеством на моих Нерониях!

— «Даздравствуетцезарьмывсегдахотелитакогоцеза-рякактысорокразтывеликийотецбратсенатортыистинныйцезарьвосемьде — завопил сенатор.

— Завидная участь, — продолжал Нерон, — ты будешь терпеть мучения великого титана. Ведь Прометей, как и ты, очень любил людей. Но он не только любил — он пострадал за них. Так что перед сотней тысяч своих братьев римлян ты сможешь показать — и не словами, как Сенека, — а трудным делом… как ты их любишь! Ты доволен великой милостью своего брата Цезаря?

— Ты — сказал, — улыбаясь, ответил старик.

— А жаль, — обратился Нерон к Сенеке, — ведь это тебя я мечтал наградить божественной смертью. Это тебе я готовил роль Прометея. Но ты всегда был в лучшем случае домашний пес при леопарде. А какой же Прометей без бунта!

И Нерон приказал Амуру:

— Начинайте! Распните его, — указал Нерон на старика. —

Пусть римская чернь, войдя сегодня в цирк, увидит своего Прометея высоким и великим…

— Он не сможет идти к кресту, Цезарь, — сказал Амур. — У него перебиты руки и ноги.

— А разве божество ходит? Везите к кресту Прометея! У нас для него приготовлена царская колесница! Эй, конь!

И сенатор с готовностью заржал.

Амур и сенатор вытащили старика из бочки. И тогда сенатор увидел руки старика со страшными следами.

— Гляди, Цезарь, — в панике завопил сенатор, — следы… гвоздей!

— Ты посмел заговорить! — Удар бича обрушился на сенатора.

— Следы гвоздей!.. И на ногах тоже!.. — в ужасе продолжал кричать сенатор.

Нерон осмотрел руки и ноги старика. Спросил изумленно:

— Тебя распинали?

— Ты — сказал, — улыбнулся старик.

— Когда?

— В очень давние времена. Я был тогда Прометеем… Потом распинали опять, когда я стал Диогеном… Потом… Меня все время распинают, брат. Оттого так веселит меня твоя вера, что ты делаешь это первым, — засмеялся старик.

— Он воскрес! Он бог! — завопил сенатор и поволок свою колесницу прочь от бочки. — Он истинный бог!

Нерон схватил сенатора под уздцы:

— Он жалкий калеченый человек!.. Как жаждут у нас сверхъестественного! Спасибо Сенеке — он научил меня не верить суевериям… Ну рассуди, если даже его распинали: что тут чудесного? Ну распяли, а потом, как у нас бывает, легионеры не проверили, умер ли он. И завалились спать, а друзья распятого тут как тут — и сняли с креста! Что здесь необычайного, скажи? Ну? Ты ведь еще недавно был умным сенатором, Антоний Флав, — сказал Нерон, успокаивая то ли сенатора, то ли себя самого. И он обратился к старику: — Во всяком случае, Диоген, я обещаю: в этот раз тебя распнут хорошенько. Договорились?

— Ты — сказал!

— Но если ты все-таки надумаешь опять воскреснуть, где нам тебя искать, Диоген? Назначай место.

Старик, все продолжая радостно улыбаться, долгим взглядом оглядел всех — Нерона, Амура, Венеру. И появившихся из темноты легионеров с факелами. Наконец взгляд его остановился на Сенеке. Мгновение он пристально смотрел на него, а потом

сказал, обращаясь уже к Нерону:

— Я буду ждать тебя в бочке, как всегда.

— О бочке мы тоже позаботимся: ее сожгут под твоим крестом… чтобы тебе было виднее, — улыбнулся Нерон. — И еще. Я задумал, наш Прометей, чтобы на кресте тебя развлекли возлюбленные тобой люди…

И Нерон закричал вниз, сквозь решетку в подземелье:

— Ребятки! Вас тысяча! Сейчас вам принесут мечи… Запомните: я сохраню жизнь десятерым… Оставшимся десятерым! Десять из тысячи получат свободу, девок и деньги. Так обещает ваш цезарь. Рубитесь! — И он подмигнул Венере: — Встань за решетку, шлюха, чтобы у них хватило вдохновения!

Венера взошла за решетку. И лениво начала свой танец.

Все быстрее, быстрее, быстрее кружилась Венера…

А под решеткой вокруг стола, заваленного объедками, среди коптящих ламп, курящихся благовоний, окруженные визжащими женщинами, рубились убойные люди. Лязг мечей, стоны раненых, крики боли…

На арене в свете факелов легионеры подняли старика на крест. И распяли его.

— Ты по-прежнему любишь всех? — спросил Нерон старика.

— Да, брат, — еле слышно шевелил губами старик на кресте.

— И его? — указал Нерон на сенатора в колеснице.

— И его, брат, — изнемогая от боли, ответил старик с креста.

— Вот он и станет твоим Гефестом — он проткнет тебя.

И Амур начал распрягать сенатора. Но сенатор упал на колени, цеплялся за упряжь и кричал:

— Великий цезарь! Умоляю!.. Я не могу! Он бог!

— Тогда тебя самого посадят на кол рядом с ним. — И Нерон взял пику у легионера и протянул сенатору: — Будешь колоть, мразь? Ну?.. Будешь?!

Дрожа, задыхаясь в слезах, сенатор взял оружие.

— Я вернусь в одежде Эсхила… чтобы на фоне всей этой декорации в лучах восходящего солнца прочесть бессмертную трагедию поэта «Прикованный Прометей»… Ну а ты, учитель, как всегда, будешь зрителем… Хотя, надеюсь, к вечеру ты величаво покинешь наш жестокий спектакль в соответствии с моей легендой. Легкой жизни — легкая смерть! Такова моя плата.

И Нерон обнял Сенеку. И поцеловал его. В глазах Нерона были слезы.

Нерон ушел во тьму…

Трещали горящие факелы. Сенека смотрел на старика, умиравшего на золотом кресте, на сенатора с пикой, дрожащего

под крестом, на Венеру и Амура, упоенно скакавших по решетке в безумном танце под крики и стоны умиравших людей, на легионеров, стороживших крест.

И опять взгляд Сенеки встретился со взглядом старика на кресте.

И тогда Сенека поспешно направился к пустой бочке. Осмотревшись, поняв, что никто за ним не следит, быстро, неуклюже полез Сенека в бочку.

Голова его исчезла в огромной бочке…

Вставало солнце. Сквозь розовый шелк его лучи упали на арену. И золотом вспыхнули медные опилки. В трубном реве фанфар из главного входа появился Нерон. В пурпурной тоге, в лавровом венке, с кифарой в руках он шел к золотому кресту. У креста Нерон остановился и ударил по струнам. Зазвучала кифара — и Нерон запел стихи Эсхила:

— Вот кольца приготовлены.
Надень ему их на руки
И молотком к скале прибей.
Теперь, Гефест, железным шилом
С размаха грудь ему
Проткни!!

И, закрыв глаза, сенатор остервенело ударил пикой старика на кресте. Старик задохнулся от крика и боли.

— Прости им… — прошептал он и затих на кресте.

— Он умер… Я убил его… — в ужасе прошептал сенатор. Усмехаясь, Нерон обратился к распятому:

— Мой брат Диоген мертв… — И, зевнув, Нерон посмотрел на золотую бочку: — Ну что, пустое дерьмо?

И с размаху презрительно ударил ее ногой. И завопил от боли… Бочка осталась недвижимой.

— Отойди, Цезарь, — раздался голос из бочки.

— Сенека?! — в ужасе прошептал Нерон, отступая от бочки.

— Ты ошибся, Цезарь, меня зовут Диоген. И ты загораживаешь мне солнце…

Нерон взял факел из рук легионера.

В беспощадном свете огня в подымающемся солнце стали видны румяна, толстым слоем покрывавшие усталое, обрюзглое лицо Нерона. Но вот Нерон отодвинул факел — и вновь он был прежний Аполлон.

С факелом в руках медленно приблизился Аполлон к бочке. И поджег ее.

Потом Аполлон, Амур и Венера молча уселись вокруг подожженной бочки.

Они ждали.

Страшный, нечеловеческий вопль раздался из горящей бочки. И затих. Затихли крики и стоны в подземелье. И наступила тишина.

И тогда в тишине зазвучал нежный смех Амура. Смех этот, как мелодию, подхватил Аполлон, за ним — Венера.

Так они сидели вокруг догорающей бочки, как три юных божества. И тихонечко смеялись — будто переговаривались о какой-то только им известной тайне.

Лунин, или Смерть Жака

… И раз навсегда объявляю: что если я пишу, как бы обращаясь к читателям, то так мне легче писать…

Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет…

Ф.М. Достоевский

Смешок.

Потом зажгли свечу — и тускло вспыхнули золотое шитье и эполеты… Вся глубина камеры оказалась заполнена толпой: лица терялись во тьме, лиц не было — только блестели мундиры…

Потом свечу передвинули — и из тьмы возникли очертания женской фигуры. И тогда старик, державший свечу, протянул к ней руки…

И вновь раздался его сухой, щелкающий смешок.

Старик этот и был Михаил Сергеевич Лунин.

А потом он зашептал, обращаясь туда — в темноту — к Ней:

— Сегодня я забылся сном только на рассвете. В груди болело. Сон был дурен… Знобило. И тогда в дурноте я завидел ясно готическое окно и Вислу сквозь него… Был ветер за окном… И воды реки были покрыты пенистыми пятнами. Беспокойное движение в природе так отличалось от тишины вокруг нас… Ударил колокол… Звонили к заутрене. Я знал, мне нужно обернуться, чтобы увидеть твое лицо. Но я не мог. Я не мог! Я не мог!.. Я так и не увидел твоего лица… Потому что я забыл его!

Смешок.

Он опускается на колени и все тянет руки к женской темной фигуре.

И **она,** беспомощная, темное видение с белыми голыми руками, протянутыми к нему.

В это время в другом помещеньице два человека обговаривали дело. Один — Поручик **Григорьев,** молоденький, нервный, хорошенький офицерик, а другой — **Писарь** — тоже молоденький, но степенный и огромный.

Григорьев. Чтоб к утру показания у меня на столе лежали… Чтоб я перед начальством все за тобою проверить успел…

Писарь. Насчет проверить — это вы справедливо, ваше

благородие… С нами без проверки разве можно?! Только зачем же к утру? Я куда пораньше для вас все сделаю… Сами-то когда управитесь?

Григорьев. К трем. *(Выкрикнул нервно.)* К трем!

Писарь (*обстоятельно*). Значит, к трем после полуночи, ваше благородие, и я управлюсь. На столе у вас к трем все лежать будет. (*Обстоятельно.)* Перво-наперво у нас пойдут чьи показания? Какую фамилию мне проставить?

Григорьев. Родионов Николай, ссыльнокаторжный, сорок лет, вероисповедания православного.

Писарь (*вписывает*). А остальное я уже записал.

Григорьев. Как… записал?

Писарь. Понятливый, ваше благородие. Как намекнули вы мне в обед, в чем будет дело, я показания и изготовил. Фамилии только и осталось проставить. Перышко-то у меня ох и быстрое!

Григорьев *(нервно)*. Читай! *(Кричит.)* Читай же!

Писарь (*степенно, строго читает)*. «Я, Николай Родионов, ссыльнокаторжный, вероисповедания православного, находясь в тюремном замке истопщиком печей, второго числа сего месяца…» *(С удовольствием.)* Ан и ошибка… Второе-то число у нас сегодня, а после полуночи… уже третье число будет! (*Исправляя, бормочет.)* Не тот писарь, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо подчищает…

Григорьев *(не выдерживая)*. Читай! Читай!

Писарь. Значит, «третьего числа сего месяца пришел топить печь в камеру, где содержался государственный преступник Михаил Лунин. По приходе в оную, спросил я у государственного преступника Лунина о затоплении печи. Но он мне на спрос мой ничего не ответил… Тогда я вновь его окликнул, но он продолжал лежать без движения. Тогда обратился к ссыльнокаторжному…» Какую здесь фамилию проставить?

Григорьев. Баранов Иван, шестидесяти двух лет, вероисповедания православного.

Писарь *(бормочет, вписывая)*. «… православного… Каковой вместе со мной, придя в комнату, осмотрел тело, и, не приметив в нем никакого дыхания, положили мы оба, что государственный преступник Михаил Лунин помер…» Далее пойдут показания Баранова Ивана… Я за час их составлю… а потом все перебелю… К трем, ваше благородие, все у вас будет… Только ночи-то у нас холодные… Холодно-то как… Холодно!

Григорьев. Пришлю графинчик.

Писарь. И курева не позабудьте, ваше благородие. И пущай Марфа графинчик-то сама принесет. Не забудьте про Марфу… про Марфу не забудьте, ваше благородие!

Поручик вышел из помещения и некоторое время, поеживаясь, ходил в коридоре перед камерой, где в тусклом свете все так же на коленях, протягивая руки во тьму, стоял Лунин. Наконец Григорьев отворил камеру и вошел.

Григорьев. Добрый вечер, Михаил Сергеевич.

Лунин *(обернулся и некоторое время рассматривал его, будто силясь понять. И только потом поднялся с колен).* А-а-а, поручик. *(Он оживился, даже улыбнулся.)* Рад вас приветствовать в моем гробу.

Григорьев *(вздрогнул).* Зачем же так, Михаил Сергеевич?

Лунин *(глядя острым, волчьим взглядом).* А я теперь этак всех встречаю, поручик. Эти слова у меня вроде присказки. Да и как иначе назвать мою обитель? На днях ревизия у нас была: сенатор приехал…

Григорьев *(торопливо).* Я не знаю… Я в отъезде…

Лунин. Да ничего такого не произошло… не бойтесь… Просто знакомец мой прежний, сенатор, эту ревизию проводил… я его мальчишкой знал по корпусу… Стариком он стал, совсем стариком… Ко мне в камеру заглянул, а на физиономии — участие, мы ведь с ним с глазу на глаз. Рад, говорит, вас видеть, Лунин. А я ему и брякни: «И я вас приветствую в своем гробу». Он так и задрожал. Старики — они про гроб не любят… А вы ведь совсем молоденький… *(С маниакальной подозрительностью.)* Отчего же вы так испугались — «про гроб»?

Григорьев *(торопливо).* Я и не испугался, Михаил Сергеевич. Отчего же мне пугаться… не пойму вас, право. *(Стараясь строго.)* А вот чей портретец вы на стенку повесили — принужден я спросить.

Лунин. И это — знакомец… Жизнь была долгая, Григорьев, и знакомцев в ней: сенаторы, воры, министры, убийцы, фальшивомонетчики, государи…

Григорьев. А это, если не ошибаюсь, государственный преступник Муравьев-Апостол у вас висит?

Лунин *(смешок).* У нас висит… Ну вот, сами знаете, а чего спрашиваете?

Григорьев. Эх, сударь, все вы гусей дразните.

Лунин. Кого дразню?

Григорьев. Гусей… Ну зачем же вы государственного преступника и повесили?

Лунин. Это вы его повесили, любезнейший! А я его не вешал. *(Смешок.)* Фраза?

Последние слова он произносит смеясь, туда — в темноту, в

толпу мундиров.

Я ведь шутник, господа…

И Лунин захохотал еще пуще.

Григорьев (*совсем серьезно*). Не время шутить, Михаил Сергеевич, поверьте. **Лунин** *(повернулся и долго глядел на поручика своим волчьим взглядом, наконец произнес тихо-тихо).* Шабаш?

Молчание.

Когда?

Григорьев. Исполнить надлежит сегодня после полуночи.

Лунин. Пуля?

Григорьев. Совсем иначе, Михаил Сергеевич. Решено, чтобы никакого вам посрамления не было, дескать, так и так: от апоплексического удара скончались…

Молчание. Смешок.

Лунин. Значит, удавите… Тебе предписано?

Григорьев *(только вздохнул)*. Так что должен я обыск произвести в камере… чтобы никакого противозаконного оружия… *(Помолчав.)* Михаил Сергеевич, вы ж понимаете, дело совсем тайное… а я такое на себя беру — вас предупреждаю. Но ведь милосердие должно быть.

Лунин. Что должно быть?

Григорьев *(твердо)*. Милосердие.

Смешок Лунина, как кашель.

Нет, не одно лишь милосердие, конечно, а обоюдная польза тоже. *(Медленно.)* Если дадите честное слово подпустить к себе… исполнителей… я ничего обыскивать не стану… Можете сделать в полнейшем одиночестве необходимые приготовления… и помолиться… или написать чего… естественно, без упоминания о… *(Замолчал.)*

Лунин. А как обману?

Григорьев. Что вы, Михаил Сергеевич. Уж если вы свое слово скажете… Да и для вас выгоднее — боли никакой. Я двух человек возьму, они опытные, сноровистые, Родионов и Баранов. У них, почитай, человек по десять на совести… Только пальцы на горло возложат, и не почувствуете. *(Тихо.)* Если сопротивляться, конечно, не станете…

Лунин. Боишься?

Григорьев. А как же вас не бояться… Вас все боятся, Михаил Сергеевич. Одной рукой девять пуд выжимаете, а если еще пистолетик куда припрячете. Удушить-то вас все равно удушим… но крови-то, крови… А зачем? Я все вам как на исповеди

выкладываю, чтобы вы помыслы мои знали: вы — нам, а уж мы вам послужим… Все ваши пожелания да распоряжения передам сестрице вашей и еще кому.

Лунин. Когда удавить думаешь?

Григорьев. В три после полуночи… уж позже никак нельзя. К трем всех заключенных из тюремного замка выведем… вроде на поверку…

Лунин. На случай, если слова не сдержу?

Григорьев. Я того не говорил, только к трем выведем всех! Всех! Из замка!

Долгое молчание.

Лунин. Но условие будет. *(Смешок.)* Насчет шеи моей мы, можно считать, договорились — условие будет насчет глаз моих… Ты знаешь, я католичество принял, чтобы в одной вере с вами не состоять. Оттого, согласись, увидеть последним смертным взглядом ваши рожи…

Григорьев. Не понимаю вас, Михаил Сергеевич.

Лунин. Священник католический, который к полякам каждый день в тюрьму приезжает, — он и сегодня приехал?

Григорьев. Точно так.

Лунин. Так вот. В час смертный я хочу увидеть его лицо, чтобы он мне глаза закрыл.

Григорьев. Шутить изволите?

Лунин. Послушайте, мальчик, я редко шучу. *(Он холодно и страшно посмотрел.)* Священник закроет мне глаза. Только тогда вы шею мою получите. Если не так, Григорьев, добирайтесь до нее сами. И уж двух, как минимум, я с собой заберу при лучшем для вас исходе.

Григорьев. Но как же это можно? Дело ведь тайное… Я присягу дал…

Лунин. А я уже все продумал… Священника… ты в ту камеру поместишь… со мной рядом… ну, где ты Марфу держишь… *(Смешок.)* А как душить меня начнете… криком его и разбудим.

Григорьев. Да крикнуть-то вы не успеете…

Лунин. А я кричать и не собираюсь.

Григорьев. А кто же кричать будет?

Лунин. А ты… как они душить меня начнут… убийцы-то… так ты сам закричишь. А они тебя поддержат. Сами душить будете и сами кричать! А когда священник прибежит на крик — вы ему: «Так и эдак, все по высочайшему повелению сделано, а твое собачье дело — глаза усопшему закрыть и тайну соблюсти». Учти: клятву с тебя возьму, и самую страшную, что все так выполнишь… Ты верующий…

Григорьев *(мрачно).* Истинно верующий.

Лунин. А иначе времени не теряй, уходи! *(Грубо.)* Ну, согласен, что ль?

Григорьев. Согласен, как же не согласен, коли вы за горло взяли.

Лунин. Ничего. Сейчас я тебя за горло… а ночью ты меня. И квиты.

Григорьев. Ох, и шутник вы… Ну, я пошел.

Лунин. А клятву… Клятву-то… вслух!

Григорьев. Христом-Богом клянусь…

Лунин. А тех, кто удавит меня… пришлешь ко мне. Григорьев. Не понял, Михаил Сергеевич… зачем?

Лунин. На руки их поглядеть хочу… Это ведь не каждому дано увидеть руки, которые жизнь твою примут. И велишь дать им водки… и поболее… за мой счет… чтоб весело исполняли и громко кричали.

Григорьев. Значит, до трех, Михаил Сергеевич?..

Дребезжащий смешок Лунина. Дверь за Григорьевым закрылась. Стук засова.

Лунин *(женщине).* Как же я не понял?.. Я ведь всегда встречался с тобой накануне. *(Подмигнув в темноту.)* Господа, попались! *(Визгливо.)* Попались! И, страшно чему-то веселясь, он начинает торопливо одеваться. Он надевает черный шейный платок, потом серебряное распятие на шею, потом шерстяные чулки, кожаные порты, а поверх набрасывает на плечи беличью шубу.

Сам себя обряжаю.

Потом он вдруг впадает в глубокую задумчивость, будто силится что-то вспомнить. Потом тревожно глядит на свечу и торопливо ее задувает…

Чуть не спалил… тогда… зажечь надо… чтобы от двери все виднее было.

И он гасит свечу и зажигает жалкий огарок. А в это время Писарь в помещеньице строчил будущие показания, диктуя вслух сам себе с удовольствием.

Писарь. «А в десять часов пристав дистанции Машуков и начальник охраны капитан Алексеев вошли в комнату, где за караулом хранилось тело умершего государственного преступника… Михаила Лунина…»

В комнату совсем рядом с камерой Лунина быстро входит Григорьев и расталкивает спящую на нарах молодую бабу. Баба долго просыпается и, увидев Григорьев а, счастливо-лениво тянется поцеловать его.

Григорьев *(отталкивая)*. Не до тебя, Марфа! Отстань! И вещи свои собери. Здесь сегодня совсем другой человек ночевать будет…

Марфа. А мы где же?

Григорьев. Быстрее! Быстрее собирайся!

Баба было снова потянулась к нему.

(Истерически.) Не до тебя! И в комендантскую графинчик отнесешь!

Марфа *(усмехнувшись)*. Кому отнесть?

Григорьев. И курева… писарю. *(Визгливо.)* Что смотришь? Русским языком сказал. Писарю отнесешь и в комендантской пол потом вымоешь. Вторую неделю полы не моешь! Если баба полы не моет, она и мух давить перестанет! *(Ион выбежал.)*

Марфа *(задумавшись, сонно напевает, покачивая голой ногой).*

Ой, тошно, ой,
Кто-то был со мной.
Сарафан не так,
И в руке пятак.

В камере Лунина. Лунин, освещенный огарком; в полутьме сверкают мундиры, в стороне силуэт женщины.

Лунин. Их разбудят посреди ночи. Они только размякли во сне, но их повлекут на мороз… и плоть их, охваченная холодом, превратится в деревянную колоду. Но даже это бесчувственное дерево пробьет дрожь, ибо они поймут, что без них… там… свершается ужасное… Попались, господа, попались!..

Часы бьют полночь.

Три часа… Три часа — триста лет — три тысячи — все пустые слова. А есть только то, что сейчас. Сейчас я есть. Три часа. «Сейчас»… вечность. (*Задумался.)* Я решился… Есть удивительная загадка, господа: «Улетают слова, но остается написанное…» О, сколько изустных проклятий и воплей тщетно носятся, носятся по ветру! Они бросаются к нам в лицо… вместе со снегом… но мы слышим!.. Да-с… *(Лихорадочно.*) Но стоит записать… пригвоздить вопли к жалкому клочку бумаги, и… *(Смех.)* Ох, какая это загадка. Например: коли я сейчас составлю бумагу, полную противогосударственной хулы… и если сия бумага будет… будет уничтожена! Немедля! Сожжена!.. Все равно как-то непостижимо: «улетают слова, но остается написанное»… Как только я закрою глаза… лакеи… обнаружат эту бумагу! Захватят! Торжествуя, сожгут!.. Но сначала… сначала прочтут! Прочтут тайну! Прочтут, упиваясь, счастливо! И запомнят все хулы! Хулы

на господина их! Ибо лакеи! А для лакеев нет ничего приятнее, чем когда хулят господина их!.. После чего в придорожных трактирах… потом в гостиных… в дворянских собраниях… а потом уже при дворе самом!., из уст в уста поползет сия исчезнувшая бумага! Ибо *(кричит)* «улетают слова, но остается написанное»!..Итак, тайну… я решился… я посвящаю свою вечность странному соединению пера с бумагой…

Он подходит к мундирам, но те отступают назад. Он вновь подходит, но те молча ускользают. Он бросается гоняться за ними, ока наконец Она — из темноты — не кладет ему руку на лоб… И тогда он тотчас успокаивается.

(Ей.) Разговаривать мне с ними — спасение. *(Шепчет.)* Господа, как спастись в тюрьме, ужаснее которой нет в России… Сердцу полезны страдания… Но разум угасает… в грязи, в вони, в мучениях, в обществе убийц и фальшивомонетчиков, где единственное зрелище — публичная порка, которую заставляют меня смотреть! Но я открыл: страдание — пища сердца… а пища разума? Беседа! Воображение! И вообще, господа, что такое воображение? Коли каждую ночь вы будете видеть сон, который есть продолжение сна предыдущей ночи… как вы отличите дневную реальность от сновидений! Воображение, господа, поверьте, это та же реальность! Ибо после публичной порки… после поручика Григорьева и убийц… возвращаясь в свою камеру, я в воображении учился видеть Магомета и Будду… Я научился беседовать с ними!.. И неужели вы думаете, я признаю после того реальностью физиономию поручика? Поверьте, воображение реальнее реальности!.. Вон там, на белом потолке… в воображении… сколько раз я чертил приплюснутый нос и лысину афинского философа. Я научился различать их одежду… И однажды, господа, когда в очередной раз захлопнулась дверь моей камеры… сразу… вон от того угла… легкой походкой… в белом плаще… почти без усилий моего воображения… шагнул великий Дант!.. Я явственно различал красную полосу на его лбу… от снятого лаврового венка! *(Смешок.)* И тогда я понял: спасен! спасен!..

Он замолкает, потом проводит рукой по лбу.

Однако за дело…

И с каким-то странным усилием он диктует себе и медленно пишет. Читает:

«Я, Михаил Сергеевич Лунин, двадцать лет нахожусь в тюрьмах, на поселениях и сейчас умираю в тюрьме, ужаснее которой нет в России. Все мои товарищи обращались за этот срок с жалобами письменными и требованиями. Я — никогда. Я не унизил себя ни единой просьбой, ибо настолько презирал вас, что

не замечал. И сия бумага — не есть мое обращение к вам. Я назвал бы ее моей исповедью. Однако я не буду никоим образом возражать, если Верховная власть ознакомится с моим сочинением. Ибо — оно для всех! ***(Кричит.)*** «Улетают слова, но остается написанное!» Я решаюсь записать сие в виде диалога… следуя изящным традициям французской литературы и взяв за пример сочинение господина Дидро «Разговор Жака Фаталиста со своим Хозяином».

Смешок мундирам.

«По рождению своему в стране рабов… я заслужил прозвище слуги Жака. Ну а Хозяин у нас… в России… Итак, предстоит разговор Жака с его Хозяином… в присутствии очевидцев… Согласитесь, господа, что сие якобинство…» Он замолкает, сидит с поднятым пером и более ничего не пишет. Он погружается в свою больную задумчивость.

В комендантскую входит **Марфа** с подносом, молча ставит поднос с графином перед **Писарем.** А потом, подоткнув подол, начинает мыть пол.

Писарь. Может, за компанию?

Марфа молча продолжает мыть пол.

(Пьет.) Сколько названий для нее, проклятой, придумали. Если, допустим, я выпью, то скажут: «употребил». А если портной — «наутюжился». А если кто знатный — генерал, аль кто — «налимонился»… С молодых годков ее пью. Батюшка, родитель мой, дознался — зовет меня… Ну, вошел я и от страха твержу ему: «Не буду пить… точно не буду». А батюшка, родитель мой, и говорит: «Если ты пить не будешь — кто с тобой водиться будет? Водочка, она общество создает… Компанию полезную…» И плеточкой меня, и плеточкой да приговаривает: «Не за то бью, что пьешь, а за то, что дурак. Умный — он пьет, да тихо. Умный, он пьет, да других не пить учит… Так что помни, сынок, все дозволено человекам, все… да по-умному… таясь». Поняла, что ль?

Писарь схватил Марфу, но та будто ждала — она вывернулась, метнулась в угол и замахнулась тряпкой.

Марфа. Так тебя огрею, малый!

А в это время в камеру рядом с Луниным Григорьев ввел Священника.

Григорьев. Озоруют у нас, ваше преподобие… по ночам… Годика три назад тоже один священник приехал… как вы, к полякам. Разместили мы его в корпусе, а утром — с ножом в горле… Да-с. Конченый народец. Уж дальше нашего Акатуя — некуда посылать. Тут убийцы — всем убийцам убийцы… Вот я и подумал: вам, чай, с жизнью-то расставаться неохота, и у меня

если что — неприятности будут. А тут в камере сухо… и охрана стоит у двери… Тут в камере ночь и проведете…

Священник вдруг бросился к двери камеры, толкнул ее, дверь легко открылась.

(*Рассмеялся.)* А вы, значит, подумали… Да разве можно такое, без суда да следствия невинного человека? Никак нельзя. А дверь я б на вашем месте не запирал… на ночь — приоткрытой оставил. Все-таки и часовому послышнее… а то ведь окошко хоть зарешеченное, а все ж окошко… Спокойной ночи…

Священник молча кивнул. Григорьев вышел, не запирая двери. Священник опустился на колени и забормотал молитву.

В камере Лунина.

Лунин. Тсс… Стукнула дверь… *(Смешок.)* Какова выдумка, господа… Я позаботился о свидетеле. *(Одержимо.)* Впоследствии священник расскажет… что видел, как придушили Лунина… потому что не может он не рассказать… как не могут другие не рассказать. Хоть какую клятву дадут. Ибо еще есть одна загадка, господа: «Кровь вопиет! Кровь человеческая всегда вопиет. Вопиет кровь!» — и это тоже достойно упоминания!

Голос во тьме. Карета Волконского… Карета Чаадаева… Карета Трубецкого… Карета Фамусова…

Лунин. Неужели я вернулся к началу?

Голоса мундиров. Маска, кто я?

Лунин. Я не вижу… Я ничего не вижу. (*Смеясь, он тычется в мундиры, выставив руки, будто он с завязанными глазами.)*

Общий хохот.

Первый мундир (*выступая из темноты).* Маска, кто я?

Лунин. Это детство!.. Мне перевязали глаза… И я осторожно шагаю босыми сильными ножками по нагретому солнцем дощатому полу детской… Смех няни… Игра в жмурки… Я ткнулся рукой в ее мягкий живот.

Первый мундир (*все приближаясь).* Маска, кто я?

Лунин. Нет, нет, это еще прежде детства… Это меня моют в большом корыте… и прикрывали глаза рукой, чтобы не попало мыло. И через ее пальцы я вижу… свое тельце… И та деревянная кукла… с кучей пуль, полученных за веру, царя и отечество, которая ляжет завтра здесь… И то сияющее тельце…

Первый мундир (*совсем приблизившись).* Маска, кто я?

Лунин. Нет, это уже маскарад!.. Ну, понятно! Как же я не признал! Жизнь начинается с бала, господа. Ах, жизнь начинается с нашего телячьего восторга. С орехового пирога начинается жизнь! Маскарад! Я взбегаю по лестнице во дворце! И вдруг в зеркале на верхней ступеньке вижу бегущего мне навстречу

высокого молодого красавца кавалергарда… И понимаю, что он — это я! И задыхаюсь от удовольствия… И через три десятка лет… *(Смешок.)* Ах, как это все одинаково: жизнь начинается с веры, данной всему молодому, живому: что оно, молодое и живое, — навечно… и что далее — все будет еще счастливее… Бал! Бал! Бал наших молодых обманов!

Первый мундир садится рядом с Луниным, и они слушают.

Голоса мундиров *(из темноты.)* Головки сахара зажжены и синим светом горят на саблях! Гусарский пунш, господа!

— А истории гусарские — французские актрисы!..

— А благороднейшие разговоры! Мы бросались друг к другу на грудь и сладко клялись во всем благороднейшем! Какая была жажда дружбы! Мальчики! Мужи!

— А наши девки, а цыганки!.. А квартальный надзиратель, привязанный к медведю…

Первый мундир. Мы еще вместе… Все вместе!

Лунин. Бал! Бал!

Первый мундир. Принесли шампанское… и игра возобновилась… Я поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл сонника… Мы еще вместе! Все вместе!

Голоса мундиров *(из темноты).* Загнул паролипэ… и отыгрался.

— Играю мирандолем, никогда… не горячусь… И все-таки проигрываю! Бал! Бал!

Первый мундир. Маска, кто я?

Лунин. Ты мой старый знакомец… и нынешний министр Киселев… Ты отречешься от меня тотчас, когда…

Первый мундир *(перекрикивает).* Признал!.. Маска, кто я?

Лунин. Ба! Ты мой другой усердный старый друг и другой нынешний министр Уваров!.. И ты тоже… *(Смешок.)* Прежде чем петух пропоет трижды…

Первый мундир *(хохоча).* Опять признал… Маска, кто я?

Лунин. Еще знакомец… Граф Чернышев. Ты будешь допрашивать меня в крепости…

Первый мундир *(вопит).* Признал!.. Маска, кто я?

Лунин. Орлов Алешка! Общие девки… Общие цыганки… Тебя станет просить обо мне моя сестра… Но ты… *(Смешок.)* Орлов Алешка, шеф жандармов и главноуправляющий Третьим отделением.

Первый мундир. Мы вместе. Мы еще все вместе…

Лунин. И все-таки это случилось! Все это случилось… на нашем балу. Я хотел бы отметить. На веселом молодом тщеславном маскараде… случилось это! Война двенадцатого

года? Каждый раз, прощаясь с жизнью… Радость оставленной жизни?.. Завоеванное пулями право тебе решать судьбу отечества?.. И вот уже замолкли пули, и мнение твое не интересует… Ты — слуга Жак! Взвивается бич… а победившее отечество оказывается пугалом для всей Европы.

Из темноты спиной начинает выдвигаться Сермяга — жуткая уродливая арестантская спина.

Сермяга. Маска, кто я?

Первый мундир *(кричит).* Бал! Еще бал! Общие цыганки… общие девки… Как это сказано у древних римлян? «Общие партнеры по постельной борьбе»…

Лунин. Наш век начался опасно: с наступления молодых. Мы все тогда поняли — это наш век! Байрон, Занд… Наполеон… А век оказался стариковским веком! А ты сам по колено в море крови и слез… Здесь, господа, было два пути: не заметить… только этак — по-нашему не заметить: «Не моего ума дело»… «Есть отцы-командиры…» И так поступили многие военные герои!

Первый мундир. Загнул пароли и отыгрался!

Лунин. Или уж совсем по-нашему. Что такое заговор в Европе? Это когда быдло, бесправное мужичье, собирается с вилами и хватает за горло повелителей и отнимает права! Выгрызает! А по-русски: тихие, страдающие глаза быка в ярме… покорность рабов. И вот уже их молодые повелители, заболев совестью, сами составляют заговор, чтобы с восторгом да счастьем отдать все: богатство, землю… только грех с души снимите! Ах, какой русский составили мы заговор! Заговор на балу!

Сермяга. Маска, кто я?

Лунин. Если бы я… одевавший тогда в пестрое тряпье свое молодое тело… уверенный, что имею право распоряжаться чужой жизнью и смертью… жалевший старость молодой беспощадной жалостью… ненавидевший всяческое бессилие и уродство, — о, если бы я мог тогда на балу… увидеть ту азиатскую степь… Ах, господа, господа…

Сермяга *(спиной).* Маска! Кто я?

Голоса мундиров (из *темноты).* Карету Орлова… Карету Волконского… Карету Трубецкого… Карету Пущина…

Лунин *(в спину арестантской сермяги).* Через какой-то десяток лет… *(Хохочет.)* В вонючих опорках… пешком… По той азиатской степи… Нас гнали из одной тюрьмы в другую. *(Хохоча.)* Я вспомнил: «карету Волконского!..»

Голос Сермяги. Маска, кто я?

Лунин. Это ты, Пущин.

– *(Смех.)* Признал!.. Маска, кто я?

— Это ты, Завалишин.

– *(Смех.)* Признал… Маска, кто я?

— Это ты, Волконский… Мы шли. И я вдруг поднял глаза и, разговаривая с тобой, мельком увидел арестантскую сермягу и торчащую бороду и захохотал. О Боже! Это был князь Сергей Волконский. Как он был похож на Стеньку Разина… Той ночью мы остановились на отдых. Я вышел подышать воздухом, и на заднем дворе в одной грязной рубахе я вновь увидел сидящего спиной князя Сергея… *(Обращаясь.)* Князь… а князь…

Сермяга *(спиной, не оборачиваясь).* Ошиблись, барин.

Лунин *(хохочет). Я* перепутал тебя, князь Волконский, с последним кандальником.

Сермяга *(спиной).* Батюшка, подай милостыню, Христа ради.

Лунин. А это был убийца, приговоренный к бессрочной каторге. Он знал, что я не подам… Но он уже опух от голода и одурел… Я принес ему еду и накормил его. И мы сидели друг против друга на корточках… на земле.

Сермяга *(спиной).* Батюшка, спаси тебя Бог.

Лунин. И он заплакал. И тогда я заплакал тоже и вспомнил того кавалергарда, который бежал по лестнице… на том балу!

И тут Сермяга оборачивается — и обнаруживается, что арестантская сермяга только сзади, а спереди, с лица, — это такой же великолепный мундир — с блестящим шитьем и эполетами.

И этот Второй мундир со столь странной арестантской спиной усаживается рядом с Первым мундиром.

А Первый мундир за столом все мечет карты.

А Лунин и Второй мундир говорят, говорят.

Второй мундир. Надо подать широкий адрес Государю с просьбой об освобождении крестьян.

Первый мундир. Хожу… миранд олем и проигрываю.

Второй мундир. Именно широкий, чтобы стало ясно, что все общество требует…

Первый мундир. Поставил на первую карту и выиграл сонника.

Второй мундир. Нет, нужно молить Государя о конституции.

Лунин. Ах, как это по-нашему… даже за свободу… за конституцию… в ноги бухнуться и лбом прошибить.

Далее Второй мундир и Лунин кричат взахлеб.

— Но Государь не пойдет. Теперь уж всем ясно, не пойдет

Государь на конституцию.

— Ну что же делать?

— Ни за что не пойдет!

— Ну не убить же Государя!

Лунин. И это тоже по-нашему: еще вчера лбом землю прошибить думали, а сегодня можно и табакеркой в темя, как с Павлом или с Третьим Петром.

— Вопрос задан важнейший, что ты молчишь, Лунин?

Лунин *(холодно).* Для меня важности этого вопроса, господа, не существовало. Для меня всегда было дико, что может найтись человек, который меня… меня… меня!., с сердцем, с чувствами, со страстями… меня, которого любили и любят… с моими тайнами… меня… единственного в целом мироздании… считает своим Жаком… своим подданным… Ну так ясно: вольность и свобода есть естественное состояние человека, и всякий, кто нарушает это, — тиран, величайший преступник! И я удивляюсь, как другие давно не понимали этого, коли это так ясно. Но в империи из века в век вырабатывали у людей странное зрение… Например, шапку, пожалованную некоему Рюриковичу каким-то татарским Мурзой… из века в век именовали русской короной и древней шапкой Мономаха. И все верили… и, главное, видели в обычной богатой татарской шапке византийскую корону! Слепцы! Слепцы! И потому в империи так важен зрячий!

Мундир. Лунин, что ж ты молчишь?

Лунин. «Я сделаю это, господа! Я готов взять на себя убийство Государя»… Как они задрожали от восторга опасности, и опять пошли разговоры… и объятия… и пунш… и пунш!

Голоса *(из темноты).* Карету Трубецкого… Карету Волконского… Карету Муравьева… Карету Репетилова…

Первый мундир. Лунин, Лунин… Бал в разгаре. А ты все объясниться со мной не хочешь. А я жду. *(Элегически.)* Принесли еще шампанского… И разговор за картами оживился. Бал! Маска, кто я?

Лунин. Орлов Алешка!

Первый мундир. Мы были так дружны…

Лунин. На том балу…

Первый мундир *(бормочет стихи).* «К плотскому страсть имея…», «Шестнадцать лет, бровь черная дугой, и в ремесло пошла лишь нынешней зимой…» Ах, это прелестное ее ремесло… Да-с, да-с. Мы все были вместе на том балу!

Лунин *(смешок).* А после бала уж раздельно: те, кто сел… и те, кто нас сажал. Одни останутся при крестах, других пристроят на крестах… Шутка, господа. Как жизнь, Алешка? Жизнь наша прошла. Моя — тут, твоя — там, но прошла! Как закончился бал,

Алешка?

Первый мундир. Я состою шефом жандармов, главноуправляющим Третьим отделением и командующим главной квартирой. Государь во мне не чает души. И то, что брат мой был декабристом, это только оттеняет мою преданность. У меня есть привилегия говорить с императором свободно и откровенно… и даже влиять на Государя… Но я редко пользовался этой привилегией… лишь в случаях крайней необходимости… Твоя сестра не однажды обращалась ко мне устно на балах, на раутах и письменно через графа Дубельта — с просьбой, чтобы милосердие нашего Государя простерлось и на тебя. Но я не счел возможным беспокоить Государя.

Лунин. Бедная сестра поверила, что ты стал нашим замечательным, отечественным бюрократом. Смысл бюрократизма нашего, господа, состоит в незабвенном правиле: никогда ничего не делать ради дела — а только ради резона. Сегодня один попросит Государя ради тени, а потом другой — ради сострадания… А глядишь, уж третий просит ради истины! Эдак все рухнет в продажной стране… Так решила о тебе моя бедная сестра. Но на самом-то деле меж нами была банальная тайна. Через столько лет в орденах, в мундире и в славе — ты не мог забыть… Стрелялись мы.

Первый мундир. Мы стрелялись за политику. Уже тогда между нами были противуречия.

Лунин. «Противуречия» — это ты потом придумал. А тогда мы стрелялись, потому что я был молод, и мне нравилось испытывать судьбу. Тогда был бал! И вера в то, что Создатель занимается моей персоной, что не даст мне умереть, пока не совершу нечто, предназначенное только мне. Все мы были фаталистами, и весело было глядеть в наведенное дуло пистолета. Жизнь или смерть? Карта! Игра! И я дрался! Я дрался потому, что светит солнце или испортилась погода.

Я дрался оттого, что влюблен, и оттого, что разлюбил… *(Хохочет.)* И вообще, господа, извольте разменять со мной пару пуль на шести шагах расстояния. Сон души, играв бисер. Итак, однажды я огляделся окрест и понял, что стрелялся положительно со всеми, кроме тебя, Алешка, — важного, как индюк, и оттого считавшегося храбрецом. «Послушай… не хочешь разменять со мной пару пуль?»

Первый мундир. «Условие».

Лунин. Но раньше чем ответить, ты посмотрел мне в глаза, надеясь, что я шучу. И мне весело было наблюдать, как там, на дне твоих глаз, уже показался… *(Смешок.)* «Условия мои обычные: шесть шагов расстояние». И я взглянул на тебя своим

«дуэльным взглядом»: взгляд в упор, незрячий взгляд сквозь…

Первый мундир. Ты… ты… мерзавец.

Лунин. Дело наше случилось в полдень. Весенний жар нагревал плечи. Я сбросил шинель и увидел, как из земли торчала травинка.

Первый мундир. И правда. Я тогда тоже увидел травинку, поднял глаза и взглянул на тебя.

Лунин. Ты все был уверен, что я скажу: «Хватит, господа, все шутка», — и мы бросимся в объятия друг другу. Был такой разряд отечественных дуэлянтов: напьются, наоскорбляют, а потом в объятия и уж пьют без просыпа по этому поводу. Но ты встретил мой взгляд и задрожал. И, не глядя, тотчас я выстрелил первым и в воздух.

Первый мундир. Да! А я бросился к тебе на шею.

Лунин. А я рассмеялся и закричал: «Что с вами, сударь! Извольте к барьеру».

Первый мундир. Мерзавец!.. Я остановился и вновь увидел твой жуткий взгляд убийцы.

Лунин. «Мне захотелось выстрелить в воздух, сударь, но вам я этого не советую. Хорошенько цельтесь, иначе следующим выстрелом я вас убью».

Первый мундир. Я понял, что все это была жуткая сладострастная насмешка. В ярости я поднял пистолет, и вновь… этот твой взгляд, и вновь рука заходила.

Лунин. Да. И я разглядел то, что хотел: безумный страх вместо ярости, в тебе был один страх. И уже не на дне глаз, а во все лицо! Страх! Ты целил с шести шагов и заранее боялся промахнуться!

Первый мундир. Мерзавец, я промахнулся!

Лунин. Тогда еще раз, не глядя, я выстрелил в воздух.

Первый мундир. Я опять было сделал шаг…

Лунин. «К барьеру, сударь, я не шутить приехал, и старайтесь в этот раз попасть. В третий раз в воздух мне стрелять утомительно…» А дальше все то же: бешенство… мой взгляд. И страх до дрожи в руках, и промах.

Первый мундир. Я пробил твою шляпу.

Лунин. Ты пробил всего лишь шляпу, и на глазах твоих выступили слезы ужаса… И вот только тогда я улыбнулся и выражением лица позволил тебе броситься вновь ко мне на шею. И ты бросился ко мне со всех ног после всех издевательств… Потому что ты был трус. Бедная сестра. Разве ты мог забыть то, что один я знал о тебе правду: ты, которого всю жизнь именовали храбрецом, на которого и Государь полагался как на храбреца, был на деле жалкий трус, а храбрым бывал только из трусости. И

вот ты — трус, ленивый до анекдотов, ты, картежник, бабник, и потому, естественно, ты исправляешь должность, где прежде всего нужна деятельность, а потом энергия, и подразумевается храбрость и чистота нравов!.. Ибо империя — это абсурд… это миф… Это — бред.

Первый мундир. Мерзавец… мерзавец.

Лунин. Ошибаешься, Алеша. Не ярость, а благодарность в тебе должна быть. Ведь назначением своим ты и мне обязан… Должно записать, господа. Был в России двадцать пятый год, когда почти все… хоть сколько талантливое, хоть сколько мыслящее… было истреблено. И тогда-то всплыло то, что осталось… Так что ты тоже — сын двадцать пятого года… Но я-то не держу на тебя зла, Алеша. Я сам в пояс кланяюсь и говорю: «Прости»…

Первый мундир. Замолчи!

Лунин. Как странно. Ты не можешь понять «прости». За то, что двадцать лет назад я был молод и жесток… и гадок… за то, что после… тюрьмы моей понял это — я в пояс кланяюсь судьбе, а тебе говорю: прости. Но не услышать «прости» сытому животному. *(Тихо.)* А без «прости»… как умирать, Алеша?..

Голоса мундиров. Карету Волконского… Карету Фонвизина… Карету Бестужева…

— Государь!.. Государь прибыл!

Лунин. Как… Государь… здесь?

Смех мундиров.

В тюрьме?! Но почему? **Первый мундир.** Мы все здесь.

Смех мундиров.

Лунин. А может быть?..

Первый мундир. Именно, именно, Лунин!

Лунин. Значит — переворот?!

Первый мундир. Противоправительственный переворот!

Лунин. А кто ж… устроил?

Первый мундир. Как кто? Вы и устроили, Лунин!

Молчание.

Лунин. Тогда почему… я… здесь?

Хохот мундиров.

Первый мундир. Это смешной вопрос… Ты забыл… историю… «про Пестеля»?

Лунин. Да, да… Эту историю я узнал тогда… в разгаре бала.

Второй мундир. Но ты сам ценил Пестеля.

Лунин. Да, я считал его человеком безусловно гениальнейшим!

Второй мундир. И Пестель ратовал за твой план

цареубийства… Он ему по нраву был. Ты должен был убить царя, но…

Лунин. Но… *(Смешок.)*

Второй мундир. Но Пестель… должен был стать в будущем главой конституционной республики. Теперь посуди сам… как он мог быть главой конституционной республики — не соблюдая конституции? Согласись, Лунин, тут наступило бы противоречие.

Лунин хохочет.

А убийство царя ведь все равно убийство в глазах общества. Поэтому во имя будущего соблюдения конституции… одним из первых предполагаемых декретов республики… понимаешь, надо… Лунин, надо быть, казнить тебя и всех, кто убил бы Государя… Так надо было поступить во имя будущего непреложного соблюдения законности последующими поколениями свободных граждан! Пестель — человек дела, проницательнейший человек, и он это понял сразу. И нас убедил. Лунин. Потрясающе! *(Смешок.)* Я предназначал себя на роль Брута… а мне уготовили во имя законности роль жертвенного барана?.. Но что же выходило?!

Молчание.

Во имя торжества будущей справедливости… на другой день было решено совершить чудовищную ложь?.. Перед моими глазами, Господи… тотчас встало гигантское египетское колесо, которое переворачивают рабы… Но не во имя всеобщего блага… Но лишь чтобы самим ступить наверх, а новыми рабами сделать… прежних, тех.

Хохот мундиров.

Но нет, такой сюжетец не подходил! Я понимал: он возник лишь от моей обиды… Они отдавали все — титулы, поместья! Да, у нас было все, а мы отдавали… Но сам Пестель? Я задумался. ***(Сухо.)*** О, если бы я мог предположить в нем будущего тирана! Я бы зарезал его!.. Убил на дуэли… на другой день за свою обиду! Как я хотел в это поверить… Но дело ведь было не так! Я знал его отлично! Он был человек честнейший и, бесспорно, гениальный! По размышлениям я признал это! Тогда что же? И я вдруг вспомнил плаху, господа. И вопль казнимого Верньо: «Революция как Сатурн… пожирает своих детей… Берегитесь, боги жаждут!» А может быть, великие дела укрепляются вот этак — неправедной и праведной кровью. *(Лихорадочно.)* Кровь!.. Кровь!.. Кровь!.. Может быть, свобода и искупительные жертвы… А?! Или, может быть… все обычные понятия в условиях чрезвычайных… *(Кричит.)* Черт! Черт! Черт! (*Замолкает, с усилием.)* Я много думал над этим… Но тогда я не нашел ответа! А может быть, ложь? Может быть, все

было тогда проще: тогда я понимал Пестеля… Ибо тогда, молодой, яростный, сытый и здоровый, я был способен на те же решения! Может быть, если бы сие решение было принято мною… для другого… или даже для самого себя, я принял, я согласился бы с ними! Может быть, вся ярость была лишь оттого, что мною распорядились?! Короче, господа, я покинул тайное общество… Мундиры. Государь… Господа, Государь… Государь на балу!

Из темноты выступает третий сверкающий мундир — Мундир Государя.

Государь!.. Государь!..

Мундир Государя. Маска, я тебя знаю.

Лунин. Вот она. Встреча Жака с Хозяином на балу! *(Представляясь Государю.)* Я, Михаил Сергеевич Лунин, кавалергард, участник всех сражений Отечественной войны, награжден Золотым оружием за храбрость… В кампании тысяча восемьсот пятого года я был вашим адъютантом… Бал начинался, и вы любили меня тогда, Ваше величество, Государь Александр Павлович.

Мундир Государя. Насчет моей любви к тебе… Ты был дельный офицер, но какой-то… Тебе неприятно было смотреть в глаза.

Смешок Лунина.

И еще: тебя всегда тянуло за язык. При Фридлянде нас разбил Наполеон. А ты был в моей свите. Армия бежала в беспорядке. Было холодно, и промерзлые солдатики, забыв про дисциплину, тащили все, чтоб согреться. С трудом вы отстояли для своего Государя избу. И только я забылся в ней сном, как вдруг раздался страшный треск. Я выбежал из избы и увидел жалкого солдатика, растаскивавшего крышу над головой своего Государя. И ты не преминул сострить! Знал, что не надобно, что мне передадут, и знал, кто передаст, но… потянуло за язык.

Лунин. Любимейшая фраза в империи. «Потянуло за язык» — как бы подчеркивает то противоестественное положение языка, когда он начинает говорить свободно!

Мундир Государя. Тебя должен был полюбить мой брат Константин. Он солдафон, и твои способности к фрунту… Впрочем, я не люблю Константина… как и брата Николая… *(Бормочет.)* Я не люблю Константина, я не люблю Николая.

Лунин. Мне было за тридцать. После скитаний и странствований… я переехал в Польшу и служил гусарским подполковником у великого князя Константина… На балу… все еще на балу!.. И Константин любил меня!

Мундир Государя *(хохочет, Лунину)*. Маска, я тебя знаю… А

насчет моей любви к тебе… Ты был… дельный офицер, но какой-то… Кстати, тебя должен был полюбить мой брат Александр. У него, как и у тебя, на языке вечно были Монтень и Руссо… Я не люблю Александра, как и брата Николая тоже. Кроме того, у тебя, Лунин, был взгляд… Тебе неприятно было смотреть в глаза. Однажды я погорячился и чуть было не ударил тебя. Но даже если бы ударил — что с того: ударил, а через час — орденок в петлицу. Всех бьют! В империи, когда муж или начальник бьет, — это ласка… обещание милости… знак доверия, воспоминание о корнях… о наших мудрых народных обычаях.

Лунин *(глухо).* Но не ударили!

Мундир Государя. Я встретил твой взгляд и понял: этот зарежет. И еще: тебя всегда тянуло за язык. И все-таки… когда все случилось… я не хотел выдать тебя брату Николаю, не потому, что я тебя любил, а потому, что… *(Бормочет.) Я* не люблю Николая… Я не люблю Александра…

Лунин. Три брата… Они похожи!.. Эти мешки под глазами… этот фамильный медальный греческий профиль. (*Хохочет, кричит.)* Это — одно… Они — одно!

Мундир Государя. Я не люблю Александра, я не люблю Николая, я не люблю Константина.

Лунин. Они превращаются друг в друга… как Мефистофель превращался в пса!.. Только бы разум… У меня иногда нет последовательных мыслей… *(Лихорадочно.)* Я забываю слова и названия, и галлюцинации раздирают меня. Бывают дни, когда я чувствую себя мертвым, но зачем-то живым! *(Кричит.)* И дух мой бродит по долинам, приводящим невесть куда!

Она. Не надо… Не надо… *(Тянет руки из темноты.)*

Мундиры молча мечут карты. Он успокаивается. И снова его сухой, жесткий смешок.

Лунин. Неужели это все был я… Тот сытый, щеголявший грудой пестрого тряпья — это я? Это я в тщеславном юном порыве выбежал из избы Государя… с одной надеждой… Наконец-то!.. Спасу его! И слава!.. Слава!.. То есть любовь всех!.. А потом хохотал на морозе, глядя на несчастного солдатика на крыше, и придумывал остроту. Ах эта жажда… тогдашняя неукротимая жажда славы… Эта гордая вера в предназначение, позволявшая мне… А эта отвратительная радость… оттого, что я умел заставить других людей испытывать страх перед собою… точнее, перед тем, что я именовал… тогда в себе всяческим отсутствием страха. Хотя сие была ложь: во мне тогда жил страх — животный ужас смерти! Но не от пули — пули я не боялся, пули можно было избежать… А я верил в свое предназначение.

Астрах… чудовищный ужас… той… конечной смерти, которую избежать нельзя и от которой не спасает никакое предназначение… Этот ужас посетил меня в детстве… потом в отрочестве, чуть было не отравился… от сознания неизбежности уничтожения меня, живого, которого все любят, радостного моего тельца… И оно исчезнет! Тогда во мне поселился животный страх старости… Как я содрогался, когда думал, что мне непременно станет пятьдесят! Шестьдесят!.. И это ощущение: я всего лишь птица, пролетающая сквозь комнату! И все!.. И это был я?! Уже давно для меня все эти мысли — набор отвлеченных фраз. Я думаю обо всем этом холодно, господа… Что делать, я не могу вспомнить… свое «я» тогда: ибо человек определяется не событиями, которые изменяют лишь внешнее его существование, но новыми мыслями… которые приходят к нему. Появились в нем новые мысли — и изменился человек… Мысли юноши… мысли ребенка… мысли старца… Что делать, я помню лишь разумом мысли своего тогдашнего «я». Да, я не помню себя… точнее, «его». Какое отношение имеет он ко мне?! У нас с ним одно имя? Или я знаю события его жизни? Но события в жизни Юлия Цезаря я тоже знаю! *(Смешок.)* Значит, сей Цезарь в той же мере — «я»? *(Смешок.)* Ложь! Ибо одну мысль свою я помню… с отрочества! Одна мысль, господа, во мне оставалась всегда неизменной! Одна мысль стягивает все мои «я» и не дает распасться моему единому существованию. С рождения во мне был убит раб. С рождения я яростно ненавидел Хозяина. *(Смешок.)* Хозяин всегда знал, что у него есть слуга Жак… А Жак всегда знал, что у него нету Хозяина… И достаточно было Хозяину, господа, встретиться невзначай глазами с Жаком, о! — он сразу чувствовал: вот он стоит, страшный слуга, чудовищный слуга — слуга без Хозяина!.. Вот отчего Хозяин никогда не любил слугу Жака! *(Кричит.)* Жажда вольности… Ненасытная жажда свободы…

Стук засова.

Рано!

Он вскакивает и бросается к сцене. Входит Григорьеви глядит на Лунин а. За ним на пороге стоят двамужикав арестантской сермяге. Оба бородатые, оба огромные.

(Шепотом.) Ты что ж, поручик?

Григорьев. Да вы никак подумали… *(Тихо.)* Нехорошо, Михаил Сергеевич, я слово перед Христом-Богом дал.

Лунин *(кричит).* А зачем же?! *(Жест на двоих убийц.)*

Григорьев. Да вы же сами просили «насчет поглядеть». Я и привел.

Лунин. Кого… привел?

Григорьев. Ну их… этих!

Лунин *(засмеялся)*. А-а, да… «Эти».

Григорьев *(указывая)*. Родионов Николай, лет ему сорок.

Мужик кивает.

Осужден за смертоубийство.

Мужик снова кивает.

А этот — Баранов… Тоже… Смертоубийство и у него… Ну, сами изволите видеть, какая рожа.

Лунин *(усмехнулся)*. За труды. *(Передает мужикам деньги.)* Первый мужик. Спасибо, барин… А мы уж постараемся для тебя. Все половчее сделаем.

Григорьев. Сделают. Только пусть попробуют не сделать. Первый мужик. Что глядишь, барин?

Лунин. А ты совсем как мой Васильич. *(Тихо позвал.)* Васильич…

Первый мужик. Баранов я. Баранов фамилия моя. А звать меня Иваном. Иван я, а не Васильич.

Лунин *(упрямо)*. Васильич… Я когда каторгу отсидел и на поселение вышел, домочадцами обзавелся. Домочадцами моими стали старичок Васильич с семьей… Он служил мне. Очень сноровистый мужичок. Что с ним жизнь до того ни делала — в карты его проигрывали, жену продавали… пока он тоже убийства не сотворил! (Позвал мужика.) Васильич!.. *(Очнулся.)* Ты похож.

Первый мужик. А как же не похож, барин? Все мы одним миром мазаны: сермяга, да нос красный пьяный, да борода. И все ж не Васильич я, барин, хотя знакомы мы с вами прежде… Это так… Эх, не признали. Неужто совсем не признали?

Мужик молча глядит на него.

Первый мужик *(засмеялся)*. «Подай милостыню Христа ради».

Лунин *(глухо)*. Признал.

Первый мужик. То-то. Я на заднем дворе содержался тогда… Оголодал совсем, в чем жизнь держалась — одни косточки. А ты хлебушка мне поднес, не побрезговал… Век не забуду, барин.

Лунин. А убивать меня тебе не жалко будет?

Первый мужик. А как не жалко? Последнего человека убивать жалко. На букашку наступишь — и ее жалко, а ты хлебушка мне поднес. Но жалеть-то с умом надо. Я откажусь — другой возьмет. А все ж таки лучше, когда добрая рука… своя рука…

Лунин *(бормочет)*. За горло ухватит… *(Мужику.)* Руку покажи.

Мужик протягивает.

Да не ту.

Первый мужик. Я левша, барин.

Лунин разглядывает руку.

Лунин *(второму)*. А ты что ж молчишь?

Второй мужик. А чего говорить?

Лунин. Знаешь, за что я здесь?

Второй мужик. А мне что! Нас не касается. Не нашего разума дело.

Лунин. И не жалко тебе… меня?

Второй мужик. А что тебя жалеть, барин? Тебя вон на телеге сюда привезли, а я пехом через всю Россию… Тебя убить — видал, сколько хлопот… а меня убьют так: пулю в затылок всадят, когда нужник чистить буду, чтобы я своей харей туда ткнулся. Тебе вон полста — но ты жил, хоть сколько, а жил! А мне сорок, а я всю жизнь спрашиваю: за что? За что родился? За что Господь даровал мне жизнь? *(Кричит.)* Добрый мой, за что?

Первый мужик. Ты на него не обижайся, барин. Силушка его давит. Не старый он еще, вот сила-то по жилам живчиком и ходит. Грузно ему от силушки, как от могучего бремени… А работу свою со старанием исполнит. Не сомневайся.

Смех Мундира из темноты.

Лунин. А в какие времена человеческие по-другому было? Но слова убиенных всегда одни: «Прости их! И дай силы мне простить, ибо не ведают они, что творят!» **Григорьев** *(испуганно глядит на него)*. Так мы пойдем, Михаил Сергеевич. Пусть выспятся мужички. А деньги ваши я у них заберу пока, чтоб трезвые были, скоты… *(Мужику.)* Если что, я вам такую силушку покажу. *(Истерически.)* Понял?

Уходят.

Лунин со своей постоянной усмешкой молча глядит в темноту, где три мундира, усевшись рядком, мечут карты.

Лунин. Сидят на одной лавочке? Каин… Авель… Кесарь… Вся история бала!

Она. Аве Мария… Аве Мария.

Лунин. Ты! Ты!.. И тогда на балу я встретил тебя…

Она. Аве Мария… Аве Мария…

Лунин. Мне было тридцать семь. Бал кончился. Мне было тридцать семь. Тридцать семь — это Рубикон в империи… Пройди благополучно тридцать семь, и все!.. Кто не помрет, кого не удавят, кто согласится окончательно жить подлецом — дальше покатится потихонечку, ладненько к смерти. *(Смеется.)* В тридцать семь завершается человек: вырастил до предела свою

здоровую мощную плоть и верит, что — навечно. А жир все равно на бойню пойдет, на корм червям и листьям. Ох, как гонит он мысль эту. И вот в тридцать семь я жил в твоей Польше, готовясь вступить на последнюю прямую дорогу к смерти… Я жил, как должен жить тридцатисемилетний холостой богатый гусар… Я много любил, и меня много любили… Любовью называлось… лечь в кровать с совершенно чужой женщиной… Особенно желанной становилась эта женщина, если она была красива. Но еще более полагалось гордиться, если женщину называли красивой другие. И уж совсем пристало быть наверху блаженства… если притом она еще и принадлежала другому. Красть желанное чужое — это тогда особенно меня радовало… Я не помню их лиц. Все смешалось в одно — стыдное тело… И вот тогда, в тридцать семь, я переживал очередную собачью любовь. Мы договорились встретиться с ней на балу у твоей матери. Я помню, как тесно опиралась она о мою руку; это означало: «Я забыла для вас все на свете»… Я помню пудру на ее прошлогодних щеках. Я задыхался от ее запаха, когда увидел тебя.

Она *(из темноты).* Милый… милый…

Лунин. Я не вижу твоего лица. *(Кричит.)* После стольких лет грязи красота здесь — звук! Иероглиф необъяснимый!.. *(Успокаивается.)* Я помню твою шею, и как поворачивалась твоя голова, и как я увидел твой взгляд, и облачко детского дыхания вокруг губ… и кожу щеки. Но я не вижу лица, я забыл его!.. Знаешь, что такое старость? Если в толпе появятся твои отец и мать — ты их не узнаешь. Ты не узнаешь их лиц!

Она гладит его волосы.

Я глядел на тебя и думал…

Она в темноте начинает танцевать.

Боже мой… Бал, на котором я тебя увидел.

Она. Милый… милый…

Лунин. В двадцать семь лет я был старик. В тридцать — я чувствовал себя Вечным Жидом, засидевшимся зачем-то на свете. И вот мне было тридцать семь, и я снова был счастливый мальчик. Упоение сердца! Боже, сколько же надо прожить, чтобы стать молодым!

Она *(из темноты).* «Как вам понравилась моя дочь?.. Я рада, что…»

Лунин. Я удивился. У твоей матери был твой голос… совершенно тот же звук голоса!

Она. «Она в том счастливом возрасте, когда природа, закончив свое творение, отходит, чтобы им полюбоваться… И я

горда ею, как мать… Но я боюсь. В ней страшное смешение кровей: князья Любомирские, кровь польских королей, графы Потоцкие… Они все ненавидели друг друга, но интересы семейства… И сейчас все эти крови кричат в одном маленьком теле бедной дочери! Я помню себя в ее возрасте! О, я была способна на дикие поступки, но… рядом, к счастью, была моя мать. Да, в ее годы я тоже ждала рыцаря Гонзаго, античного Британика, но они не пришли, и я вышла замуж: за графа Потоцкого. Впрочем, даже если бы они пришли… Так что при всех ее безумствах все закончится очередным Любомирским. *(Смех.)* Боже, сколько раз я влюблялась и теряла голову, и меня спасала только мать. И теперь я благодарна ей. Я победила тогда безумную свою страсть. Она стала платонической и родила прекрасную дружбу. И я смогла написать ему: «Я для вас навсегда менее чем любовница и более чем друг». Согласитесь, это прекрасно. Да, все прошло. Сколько померкших честолюбий, сколько событий, казавшихся важными, забыто…

Сколько имен, казавшихся незабвенными, и сколько страстей, казавшихся непреодолимыми… И прошло! Прошло! А я вот живу, не переставая страдать и надеяться… Я хочу вас попросить… Вы много старше ее — пожалейте… (*Раздельно.)* По-жа-лей-те ее».

Лунин. Я увидел тебя потом в часовне… В полумраке собора — маленькая фигурка. Это было как видение… Темная фигурка с белыми протянутыми руками в соборе!

Она становится на колени и молится.

«Я хочу вам сказать…»

Она. «Не надо, вы не должны говорить ничего! Главное то, что скрыто в нашем теле… что глядит сквозь него в наших глазах… глядит сквозь плоть… У вас глаза без оболочки… Такие глаза бывают у больных, у безумцев… Хотя в них еще злой гордыни много… Знаете, за кого я молилась сейчас… когда вы стояли за моей спиной?..»

Лунин *(глухо).* Я знал… И я испугался.

Она *(после молчания).* «Да, я молилась за вас».

В комендантской.

Марфа заканчивает мыть пол. **Писарь** диктует себе вслух, важно, и пишет.

Писарь. «Я, Баранов, шестидесяти двух лет… вероисповедания православного, из мещан Казанской губернии, по приходе в комнату… увидал государственного преступника Михаила Лунина лежащим на кровати на спине… Дыхание у него незаметно было… и положил я немедля, что он мертвый, о чем

тотчас сказали мы часовому…» *(Отложил перо. Марфе.)* А коли денег тебе дам на юбку пунцовую, а?

Марфа молчит.

Писарь вынимает деньги и кладет на стол. Марфа распрямилась, посмотрела на деньги, бросила мокрую тряпку на пол и молча задула свечу.

Лунин. Тридцать семь! Полет птицы сквозь комнату… Я уже близко различал… ту, противоположную стену… Гусарский подполковник при великом князе. *(Смех.)* А засыпанная снегом страна… моя несчастная… моя родная… где-то!.. Не думать! Не думать… тесно от силушки, как от бремени. И вот я жил в Польше, гусарский подполковник, бывший претендент в Бруты… В душе выгорело и… и уязвленная болью бездна… и ад — от понимания и невозможности… И страх… проходит жизнь — и ничего! *(Кричит.)* Не было жизни! И утром не хотелось просыпаться.

Она. «Я молилась за вас».

Лунин. Еще вчера начало жизни, и вот тридцать семь лет — «с ярмарки, с ярмарки». Пришли дни печали… и даже маленькая девочка… почувствовала!

Она. «У вас глаза без оболочки… Такие глаза бывают у больных и безумцев… Я молилась за вас… И еще. Я прошу вас об одном: не приходите в наш дом больше. Я вас прошу!» *(Ее смех.)* *Я* знала, что ты придешь.

Лунин. Я приходил на бал, как на пытку. Я видел тебя среди жалкой толпы! Раньше я их презирал, теперь я был в их власти. Твоя полуулыбка кому-то, чуть оживленный разговор — и я уже несчастнейший… бессильное бешенство. Но вот взгляд на меня… один… мимолетный… и!..

Она. «Опомнитесь… Я вас прошу».

Лунин. «Я не могу слушать музыку. Я плачу теперь все время. Я счастлив… Я вас люблю».

Она. «Боже мой… Боже мой…»

Лунин. «Я не получу вас никогда, рок стоит рядом с нами и стережет свои создания. *(Хрипло и страшно.)* Пощадите».

Она. «Уезжайте, Лунин. Уезжайте хоть на время. Я вас прошу… уезжайте… Я хочу подарить вам это распятие… пусть оно хранит вас. Но уезжайте, прошу вас. Я не могу так жить более. Я должна решать сама, без вас… Уезжайте».

Совсем рядом смех и воркование Марфы и Писаря.

Лунин. Как мало помнится… из целой человеческой жизни… Совсем ничего. *(Замолкает.)* Но это я помню: я сижу на поваленном бревне в Силезии. Идет снег, новогодний счастливый

снег… как в детстве… Я растираю снегом свои щеки… И погибаю от счастья. Все суета… Как, оказывается… просто: любить ее — предназначенную тебе женщину, и иметь от нее детей… и жить среди мира и солнца ради этой любви. *(Смешок.)* А в это время уже… свершилось, и судьба моя была решена… тогда же, когда я мечтал о будущем… среди этого снега… и солнца…

В темноте камеры дыхание толпы мундиров.

Второй мундир. 14 декабря 1825 года я уже поднялся, когда ко мне зашел Каховский, чтобы идти на площадь. Наскоро позавтракав, я обнял жену — она залилась слезами. Ее пришлось оттащить, а она все кричала: «Не уводите его, не уводите его!»

… Стройся! По коням!

Первый мундир. Братцы! Братцы!

Второй мундир. Братцы! Братцы!

Выстрел. Крики.

Опомнитесь! Да что же вы делаете, братцы!

Выстрел, крики. Дыхание толпы.

Первый мундир. Картечью!.. Картечью! Братцы!

Крики мундиров, дыхание толпы мундиров. Мирно игравшие дотоле в карты мундиры перестают играть. Мундиры Первый и Второй выбегают из-за стола. А в это время в темноте вся масса мундиров смешивается, они гоняются друг за другом, стараются заглянуть за спину… И вскоре все те мундиры, которые прятали на спине сермягу, отделены, согнаны в кучу, выстроены. Их стерегут истинные, чистые мундиры…

Мундир Государя. Господа офицеры, я созвал вас всех, чтобы сообщить вам чрезвычайную весть. 14 декабря 1825 года, без сомнения, войдет в историю России. В оный день жители столицы узнали с чувством глубокой радости… *(Бормочет.)* Я не люблю Николая… Я не люблю Александра… Жители столицы узнали с чувством глубокой радости, что Николай, брат мой, воспринял корону своих предков. В сей вожделенный день было, однако, печальное происшествие, о котором я должен сообщить вам, господа.

Лунин. В этой империи все называлось происшествием: булавку с камнем потерял, губернию запороли…

Мундир Государя … Происшествие, которое внезапно лишь на несколько часов возмутило спокойствие столицы. Несмотря на то что Государь император Николай Павлович всюду был встречен изъявлениями искренней любви, горстка подлецов, всего несколько человек… гнусного вида, во фраках…

Лунин. Я слушал… и понял: свершилось!

Во тьме многолюдство мундиров исчезает — и за столом теперь сидят только Первый мундир и Мундир Государя, а рядом в кандалах стоит спиной Сермяга.

Первый мундир *(указывая на Сермягу).* А вот стоит Ивашка — серая сермяжка. «Из бархатников да в сермяжники» — народная пословица.

Мундир Государя. Я люблю свой народ. Свой замечательный простой народ. Православный, могучий и великий… Господа, я пригласил вас на следствие о бунте.

Первый мундир. Прямо с бала меня привезли к Государю разбирать дело…

Лунин. И тогда… у Константина я вдруг явственно понял: бал кончился. Наступил суд.

Мундир Государя. После бала всегда суд… Это даже философски как-то, а, Жак? Хотя с бала на суд непростая дорога… Но как же ты… давным-давно покинувший тайное общество… забывший думать о них, должно быть, — почему ты оказался причислен к делу о заговоре? Вопрос этот непростой и любопытнейший вопрос, ибо тут, Жак, сокрыта некая тайна… или даже откровение.

Лунин. Черт! Черт!

Мундир Государя. Была! Была тайна… Как только привели первых арестованных во дворец… когда посыпались первые фамилии, я пришел в ужас! Волконские… Одоевские, Трубецкие… Бестужевы… потомки Рюрика и Гедимина… Цвет общества — в заговоре! А через них к родственникам… в заговоре все общество?! Я помнил несчастного отца — императора Павла, он против них пошел — его по темени! И я допрашивал арестованных, дрожа от страха… в холодном недостроенном дворце. Я, вчерашний гусарский полковник. Кстати, ты, кажется, тоже полковник, Жак?.. А полковник… полковника. Итак, представь себе это… А рядом — моя несчастная жена… с трудом говорящая по-русски… А за окном тьма… снег, ночь… и весь Петербург… И тут ко мне привели арестованных штатских Рылеева и Каховского. Я возликовал! Я понял, как надо объявлять обществу. Не было заговора, не было происшествия! Несколько штатских, гнусного вида, во фраках — всего лишь! Я решил замять дело. В этом тайна, Жак! Я отстранил генерала Толя, с пристрастием допрашивавшего, потому что не хотел выяснений. Я назначил в комиссию ветхих старцев да в придачу к ним наших сорокалетних либералов!.. Известных либералов Александрова царствования — твоего знакомца графа Чернышева, мечтавшего о представительной власти для России, Бенкендорфа… слывшего чуть ли не вольнолюбцем… Голицына, просвещеннейшего

либерала! Я понимал: старички покричат и пожалеют… Старички у нас в России о Боге… нет да и вспомнят. В самом страшном старом висельнике у нас что-то просыпается под старость… Бог близок, гавань близка. И в старичках я не ошибся, а вот с сорокалетними либералами… тут конфуз вышел!

Первый мундир *(мечет карты, повторяя)*. Прямо с бала меня привезли к Государю разбирать дело.

Мундир Государя .. Оказалось, «под сорок» — это в империи опаснейший возраст. «Под сорок» у нас говорят себе: «Все так» (то есть лгут, воруют да подличают)… И слова эти значат: «Пора!» Сорок лет — это последние годы, когда карьеру можно сделать, да еще и плодами насладиться, то есть когда еще резон есть.

Первый мундир. Наверху сидели старые хрычи, бездельники, тупицы. И чтобы усидеть в своих креслах, они величали нас либералами на всех углах! И вдруг нам выдался случай. Мы могли доказать власти их старческую ложь! Мы могли сразу развеять этот миф! И оттого мы повели дело с допросами мятежников с таким усердием, что фамилии ну просто посыпались!

Мундир Государя. И вот тут-то произошло мое озарение. Вначале я пришел в ужас. Но было поздно. Я ждал в страхе от общества ответного удара. Но общество молчало. Оно пребывало в оцепенении. Но постепенно оно проснулось… И что же?! Вместо хулы, проклятий я услышал… ропот одобрения! Почти восторга! Слезы счастья и клики: «Победа! Победа!» И уже казалось, что расправились не с горсткой офицеров-соотечественников, а целая неприятельская армия повержена. Молебны заказывали о спасении отечества! Общество прозревало! Просто на глазах! И вчерашние друзья, дети, любовники именовались теперь уже «преступники». Я был накануне удивительнейшего открытия! И вот тогда-то я вызвал ко двору Сперанского! Того самого Сперанского, которого бунтовщики мечтали увидеть будущим президентом своей республики! Сперанский явился… Я взглянул ему в глаза и успокоился: там был страх! Ужас! И ничего более!.. Я предложил ему возглавить комиссию — определить меру наказания тем, кто мечтал сделать его главой правительства. О, с какой радостью он услышал эти слова! С каким восторгом! Но я продолжил эксперименты. Я позвал к себе сенатора… Бог с ней, с фамилией… Ходили слухи, будто бунтовщики хотели видеть его… чуть ли не предводителем… Ему стало плохо от страха, Жак. И я не смог с ним находиться в одной комнате. И вот тогда-то я понял, точнее, открыл: оказалось, я чуть было не впал в непоправимую ошибку, решив, что арестовывать не надо! В моей империи — надо! Всегда надо! Как можно больше! Всех! Кто

причастен! И даже тех, кто не причастен!

Первый мундир. Мы арестовали всех: Трубецкого, Волконского, Чацкого. Мы даже Репетилова взяли.

Мундир Государя. И это было правильно. Ибо это была империя рабов, это было общество, развращенное рабством! И держать такое общество в узде может только страх. Я думал, я в Европе, а это оказалась лишь принарядившаяся Азия. Азии нужен деспот — всего лишь… И каждый день приносил мне сведения о правильности открытия. В состав суда над бунтовщиками я ввел либералов, я ввел даже родственников подсудимых… Чем кончилось? Меня просили «четвертовать» главных бунтовщиков… И тогда-то я возликовал! Я понял, что в результате принятых мер общество выздоровело настолько, что я уже могу себе позволить быть милосердным… ибо уже не было отбоя от добровольцев на роли палачей! И я сам смягчал наказания суда. Сам. Наступило похвальное единение и молчание в империи. Не потому, что боялись говорить, а потому, что не имели права говорить: нас всех объединяла расправа над мятежниками. Вокруг себя я видел одно рвение. И отцы приводили своих детей к наказанию… *(Играет в карты с Первым мундиром.)* И тогда я решился казнить тех пятерых! Более того, я понял: если бы не было этой казни — для окончательного выздоровления общества ее следовало бы выдумать. В империи аресты, казни и кнут — всего лишь лекарство! Вот почему, когда появилась в допросах и твоя фамилия, я немедля записал — «взять под арест подполковника Лунина»! Так что твоя участь, Жак, всего лишь плод некоего моего открытия. (*Засмеялся.)* Твой путь с бала на суд!

Лунин. Черт! Черт! Хозяин не смог понять Жака! Потому что Хозяин может понять лишь слугу! В ту ночь… когда я узнал… я вскричал: «Проклятие! Кровь рождает безумие! Тем плевать на здравый смысл! Тем надо рвать! Рвать! И на губах чтоб не проходил привкус крови! Пес, лижущий пилу, пьет свою кровь и за сладостью не замечает этого!.. Боже! А вокруг «этих» — тьма, молчание, и все слиплось в харкотине лжи… И ночь, и в казематах несчастные, потерявшие голову…» И все это я точно представил себе… И все это увидел воочию перед собою! Потому что хорошо знал… и этих… и тех. *(Кричит.)* «Пришли дни распятия… И место твое на Голгофе… Спуститься в ад! Укрепить их дух. Вот цель!» Моя тайна: свободный человек, я сам избрал свою судьбу! Мог избежать! Но избрал! Сам! В ту ночь!

Она. Не надо… Не надо! Я здесь!..

Лунин. Ты? Там!..

Она. Когда я узнала… Боже мой!.. Не надо — молчи! Я иду к тебе… в ту ночь… Я иду к тебе в ту ночь!.. Ты помнишь?

Помнишь?

Лунин. Их уводят! Уже! Уже! Как… как быстро…

Она. Ты помнишь… ты помнишь…

Стук шагов и звон цепей.

Лунин. Твои глаза расширились… и горячечные губы… Ты выдернула длинные девичьи ноги из упавших юбок… и шагнула… И я поразился, как блестела твоя кожа… и этот детский загар на плечах… И как металось в подушках детское лицо…

Она начинает раздеваться.

Визг Марфы и Писаря в темноте.

Молится священник.

Когда меня вызвали во дворец великого князя, я подумал: свершилось! Сорок лет скоро… Жизнь прожита — так неужели замаячило… предназначение?

Она. Прошел тот день и наступал вечер «той ночи». Ты был в Варшаве и не пришел ко мне. Я погибала. Ведь не мог ты не думать обо мне, если я умирала.

Лунин. По пути на Голгофу Жак не обернулся на хорошенькую девочку… Я лгу. Я любил… И благодарил судьбу. Теперь в жизни было все — и цель, и любовь. Прожив жизнь, я ощутил полноту жизни.

Мундир Государя. Я вызвал вас, Лунин, чтобы сообщить…

Лунин. Я сразу понял!

Мундир Государя. Хоть я не имею права рассказывать вам об этом… но моя убежденность в вашей непричастности… Короче, Лунин, ваше имя было упомянуто мятежниками… точнее, одним из самых отъявленных, и обвинение выдвинуто — из самых серьезнейших… Вас обвиняют в замысле цареубийства брата моего, Государя Александра. *(Бормочет.)* Я не люблю Александра, я не люблю Николая… *(Лунину.)* Я уверен, что обвинение ложно. Зная ваш характер… известную склонность к острословию… я могу предположить, что у вас сорвалось нечто с языка… Мало ли что мы говорим… Вот, например, когда брат мой Александр был императором… чего мы только с братом Николаем про него не говорили. Мне кажется… ни для кого не секрет, что между мною и братом… *(Бормочет.)* Я не люблю Александра, я не люблю Николая… Поэтому некоторые лица, зная, что вы близки ко мне, желают притянуть вас к делу… *(Помолчав.)* Вы, кажется, хотели поехать поохотиться.

Лунин. Смею доложить, что я уже отохотился. И охоты охотиться более не имею.

Мундир Государя. Тогда я скажу вам все до конца: приехал

фельдъегерь из Петербурга с приказом о вашем аресте… Я не люблю вот эту вашу улыбку, Лунин.

Лунин. У меня лишь одна просьба. Не арестовывать меня тотчас… А отпустить под честное слово до завтрашнего утра. Оружие я сдам немедля.

Мундир Государя. Хорошо, Лунин. Но насчет оружия не спешите.

Лунин. Он все еще надеялся, что я убегу. Ведь слуге должно убегать от гнева Хозяина.

Мундир Государя. Эх, Лунин, Лунин… Если вас не повесят — это будет чудо.

Она. Боже мой! Как я ждала! Как я ждала! Ну не могли же вы не умирать от любви, если я умирала.

Лунин. Я получил твою записку в десять, вернувшись из дворца.

Она. Я не писала записку.

Лунин. Значит, Господь ее написал. Там было одно слово: «Приходи».

Она (*после паузы).* Это написала я… ее мать… В тот вечер я узнала из дворца обо всем, что с вами случится… Завтра вы должны были исчезнуть из нашей жизни навсегда… Не дать ей повидаться с вами — она бы умерла. И я решилась, чтобы она познала первое счастье с вами… самое мучительное — и одновременно самое легкое счастье… когда за ночью — расставание. И нет будущего… В ту ночь я не ложилась спать. Я услышала: кто-то влез в окно замка… крался по зале… Бедная моя… милая моя… Это уже не ты — ждешь его! Это уже я, твоя мать. Жду! Это не я… это моя мать… Это не моя мать… это уже моя бабка… это ее бабка. Наша проклятая кровь! Какой-то рыцарь-трубадур любил прапрабабушку и славил ее десять лет в песнях… Потом его привезли к ней, умирающего от ран!.. Он был почти старик, он провонял, плоть его разлагалась… Но она, красавица, разделила с ним ложе — потому что в нашем роду платили любовью и за человеческое тоже! Пожалей ее, Боже!..

Лунин. Милая… милая…

Она. «Вы пришли… вы пришли… Я только одно прошу сказать: когда они вас увезут?»

Лунин. Я знал, зачем ты спрашиваешь… Я не имел права отвечать, но я не мог… Я желал этого!

Она. «Я не смогу жить иначе! Ответьте: когда вас увезут?»

Лунин. И я ответил — я, старая сволочь.

В тишине молитва священника.

Она. Лицо в подушках… и как сжала грудь своими детскими

руками… И сведенный судорогой рот…

Лунин. Утро… Мы прощались в галерее замка. Сквозь окно Висла, и сомкнуты уста твои.

Она. Я протянула руку…

Ее рука из темноты.

Лунин. Нет, нет, еще рано!.. Когда войдут они, дотронься до моего лба, как тогда… И, как тогда, в последний раз я почувствую губы твои своими губами…

Удары часов, половина третьего.

Тридцать минут… жизнь прошла…

Первый мундир. «Вы изобличены показаниями государственного преступника Пестеля, а также ваших родственников Никиты и Матвея Муравьевых… Речь пойдет о замысле цареубийства». Я допрашивал тебя сразу по прибытии в Петропавловскую крепость…

О, как я боялся вначале этой своей должности. Судить благороднейших людей, вчерашних героев… Но постепенно от ежедневного решения человеческих судеб во мне вырабатывались и поступь иная, и взгляд… и осанка. И главное, я с изумлением увидел вокруг — уважение! Да! Да! Был либералом — не уважали. Чего только обо мне вокруг не говорили на балу! А тут зауважали и даже начали подмечать «этакие черты». На суде зауважали! И вот я, граф Чернышев, бывший либерал, а ныне министр и князь… И за это время, Лунин, никто и никогда не завопил мне в физиономию: «Убийца! Он послал на каторгу наших детей! Убийца!» О нет, был только ропот почтения. Я никогда не забуду, как привели тебя на допрос, Лунин. Я ведь всегда завидовал твоему дуэльному взгляду, успехам у женщин, богатству… И вот ты, бывший светский лев, стоял передо мной навытяжку в кандалах. И я все мог с тобой сделать! И это было на моем челе. *(Взглянул на часы.)* Но звон брегета нам доносит, что до стены тебе лететь… почти ничего. Мне пора спросить тебя о том… что уже упоминалось у нас, но между делом… Но коли следствие и суд, Лунин… Поэтому еще одну деталь… мучительную… я хотел бы обсудить с тобою поподробнее. Отчего же они… все эти наши Бруты да Гракхи… выдавали друг дружку на следствии? Отчего? Лунин?!

Лунин *(кричит).* Ложь! Я свидетельствую! А Пущин? А Фонвизин? А Якушкин?! Пройдя через все допросы, они были герои! Я назову с десяток фамилий! Я…

Первый мундир *(хохочет).* Я согласен! Я согласен! Я готов быть щедрее: пусть их будет пятнадцать! *(Хохочет.)* Итак, кроме пятнадцати. *(Хохочет.)* Если бы ты знал, как это оказалось

просто… Какой все-таки несложный инструмент человек. Нет, Гамлет не прав: на простой флейте куда труднее научиться играть… а на человеке — просто… Простого проще! Когда ко мне на допрос приводили этих пылких мальчишек… каждый из которых считал меня фанфароном… горел от пылкости, глядел волком… Как же мы их легко охлаждали… Мы сажали их в одиночку, в душную, смердящую…

Лунин. Да! Да! После обожавших семей, маменек… после развращающего «все могу» они впервые постигали, что такое не мочь, что такое унижение!

Первый мундир. Как странно мы говорим с тобой.

Лунин. Это вечный наш разговор с чертом… Голова — а из головы лезет черт! Лезет! Черт! Черт!

Первый мундир *(спокойно)*. На третий допрос они приходили изменившимися. Оказывалось: геройство — это долго… это грязь… холод… и главное — неизвестность. И еще: они видели перед собой не врагов… тут им было бы все понятно… а вчерашних отцов-командиров. И вот тогда мы начали на них кричать. Нет, как просто устроен человек. Вскоре они уже меня не презирали… Нет, смотрю — ловят… ловят взгляд… точнее, мягкость в глазах… и радуются, коли находят… то есть признают, да-с, признают во мне отца-командира! Тогда мы их через разочек и погладим: весточку от семей или еще что передадим, а потом опять… крик! Крик, вопль! И тут-то и начиналась в них подмена. Они приходили к нам с естественной верой, что трусость — это выдать друзей… Мы же заставляли их уверовать, что трусость — это не подчиниться своим командирам (а они ведь уже признали нас командирами!). То есть трусость — это испугаться выдать друзей. И самое смешное: мы им даже избавление не обещали за это! Они сами хотели прочесть в наших глазах: выдашь — и весь этот ужас минет, канет, как дурной сон… И разум их начинал мутиться — усталое тело кричало: уступи… И тут достаточно было сказать: «Другой выдал», — и они выдавали!

Мундир Государя. Но это мои лакеи добивались падения… а мне хотелось светлого падения… падения, которое падавшему казалось бы очищением… И вот поэтому после криков, допросов… появлялся я… тот, на которого они подняли руку, помазанник Божий… Я глядел на них со всепрощением… И они, измученные… с радостью готовы были видеть во мне добро… И они рассказывали мне все… испытывая подъем, как при молитве… Ибо им, героям, не хотелось падать… а хотелось сохранить то духовное, что вело их на площадь… И я им в этом помогал. И тогда они в благодарность, светло, могли мне

рассказать всю правду — то есть выдать!

Первый мундир. И тут их до конца ломали!.. Сразу после просветления их вели на очную ставку… К ним вводили товарищей… И они видели лица тех, кого только что предали… и так светло! И они понимали, что пали, и им уже было все равно. Так уличили Муравьева, а тот — Шаховского, а Шаховской — Рылеева, а Рылеев — Каховского… Хотя, не скрою, были загадки. Одна тебе особенно интересна. Например, полковник Пестель — злодей во всей силе слова этого, без малейшего раскаяния на челе, — отчего он выдал многих и, в частности, тебя? Он выдал куда больше, чем мы его спрашивали!

Лунин. Это его ошибка! Его ошибка была в том, что он считал… что имеет дело с людьми здравомыслящими! Хотя бы немного думавшими о стране!.. Он решил, что, если раскрыть вам заговор во всей его силе, вы должны ужаснуться и первым делом подумать: отчего так?., в чем существо требований?.. Он ошибся: вы всего лишь свора псов, обезумевших при виде крови! *(Вопит.)* Проклятие! Проклятие!

Первый мундир. Как странно, Лунин… Но у этого гениальнейшего человека были высокие мотивы, приводившие, однако…

Лунин. Замолчи! Замолчи!

Мундир. Я часто думаю… о том же… о чем думаешь часто и ты… А если бы сей муж одержал верх?

Лунин. Черт! Черт! Черт!.. Вы повесили его! Вы! Вы! И по камере нельзя ходить… его ноги свисают с потолка… и бьют по голове! Проклятие!..

Он останавливается.

Первый мундир. Ну полно… полно, Лунин. Итак, я много раз допрашивал тебя по прибытии в Петропавловскую крепость. *(Продолжается допрос.)* «Вот список четырнадцати мятежников, заключенных в крепость. Возьмите, Лунин, перо, бумагу и добавьте к этому списку новые имена, вам известные…»

Лунин. «С удовольствием». *(Пишет.)* Прошу, граф.

Первый мундир. «Послушайте, Лунин, но вы переписали мои же четырнадцать фамилий».

Лунин. «Именно так».

Первый мундир. «Но это я вам их назвал».

Лунин. «А я вам их повторил… и больше добавить ничего не могу… ибо добавить больше — это значит изменить родству и, что еще важнее… совести, граф. А если вы впредь пожелаете разговаривать со мной в эдаком тоне, то кандалами… невзначай…»

Первый мундир. Да, ты был из немногих, не выдавших никого… Ну, это только на допросах ты храбр был… Мне донесли, что на прогулке и в камере часто твои глаза наполнялись слезами… и выражение черной меланхолии…

Лунин. Я любил! И отдал сразу после бала… Суд после бала!

Первый мундир. Не то, Лунин. Или не только то.

Второй мундир. Я встретил вас на лестнице, когда меня вели на прогулку… Вы сами подошли ко мне и затеяли беседу.

Лунин. Да, тотчас, как я очутился среди них… Я начал поддерживать их дух… И когда я увидел этого мальчика с опухшими от слез глазами…

Второй мундир. Вы рассказали мне, как могли бежать и не бежали… и как никого не выдали на допросах…

Лунин *(Ей).* Он слушал меня с недоверием… А потом вдруг я увидел злобу! Да, злобу!

Второй мундир. «Не разговаривайте со мной. Я вас ненавижу! Зачем вы меня мучаете! Да, я выдал Шаховского! Я никому не принес пользы! За то я просил Господа дать мне смерть! Я пытался сам! Но не смог! О, вы не знаете этого! У вас нет семьи… А у меня старуха мать! И сестра… и я не выдержал! А некоторых сажали в кандалы и пытали, если понимали, что слаб, несчастный».

Лунин. Ты назвал «несчастными» выдавших тебя. Ты им простил?

Второй мундир. Я простил? Да смею ли я… после того, что сделал сам… Да и без того, клянусь, я лишь смел бы молиться за них, чтобы их дух не пал так низко… как пал мой. Я люблю их.

Лунин. Тогда ты меня прости. *(Ей.)* Черт! Черт! Черт! Я бросил все в гордыне помочь им… А они любили друг друга и оттого понимали. Они все вместе… а я, появившийся… чужой, гордец… Я вернулся тогда в свою клетку… и, глядя на коптящее пламя, ощущал смрад от духоты и боль в сердце… Дверь была открыта… и вдруг сквозь решетку из соседней камеры я услышал голос Муравьева-Апостола. Он читал стихи по-французски.

Второй мундир *(читает).*

Задумчив, одинок, я по земле пройду,
не знаемый никем…
Лишь пред концом моим, внезапно озаренный,
узнает мир, кого лишился он.

Лунин. И я упал на колени, чувствуя счастье оттого, что вдруг понял… Это нельзя сказать словами. Но смысл был таков: я приехал сюда тем, прежним… сытым гордецом. И только сейчас,

среди слез и мук, я познавал дорогу… Да, пройти весь путь, их страдания… Не как Дант, спустившийся в ад… но поселившись в этом аду — и заслужить судьбой своею рассказать о них истину… Я чувствовал ликование… и дух мой заполнял небо… Я пришел в счастливейшее расположение духа. И когда Жаку объявили приговор Хозяина, он захохотал… Меня, познавшего предназначение… чувствовавшего само небо… Плуты! Временные человеки!.. И я заорал: «Прекрасный приговор, господа, его следует немедля окропить». Я приспустил штаны и на приговор…

Хохот мундиров.

Боже мой… Тишина-то какая. *(Ей.)* Ах да! Их увели уже… двадцать минут.

В комендантскую входит со светильником Григорьев, освещает спящих Писаря и Марфу. Расталкивает, те поднимаются. Потом Григорьев вводит Баранова и Родионова. Они глядят на одевающихся Марфу и Писаря.

Баранов. Бесстыжие.

Родионов. Вольные.

Григорьев. Молчать. *(Марфе.)* Быстрее, быстрее. *(Яростно, Писарю.)* А дело! Где дело?

Писарь. Как обещался. *(Берет со стола готовое дело.)* Перышко-то мое быстрое, ваше благородие. (*Читает торжественно.)* «Дело о скоропостижной смерти государственного преступника…»

Григорьев. Молчать! *(Забирает дело.)*

А Марфа все так же неторопливо одевается, напевая:

Ой, тошно, ой,
Кто-то был со мной.
Сарафан не так,
И в руке пятак.

Григорьев выталкивает ее из камеры. За ней степенно выходит Писарь. Григорьев, Баранов и Родионов садятся рядком и ждут… Григорьев поглядывает на часы, он нервничает, и порой озноб пробегает по его телу.

В камере Лунина.

Лунин. Двадцать минут всего…

Она. Ты знал, что я умерла?

Лунин. Я знал, что ты умерла… Ведь ты не оставила бы меня одного в этом мире… Я даже знал час, когда ты умерла. Той ночью… мне снился замок… и поцелуй… последний… в замке… твои губы коснулись лица, и твой голос сказал: «Верни мне его…»

Апотом почтой я получил от сестры стихи друга. Я раскрыл томик и задрожал. Я прочел:

«Твоя краса, твои страданья исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья, но жду его: он за тобой».

И я — седой и старый… плакал. Я знал, что там, за гробом, ты вспомнила обо мне.

Она. Ты любил без меня?

Лунин. Я любил тебя без тебя.

Она. Как звали меня без меня?

Лунин. Без тебя тебя звали Мария. Это случилось уже после… после двадцати лет каторги, когда я вышел на поселение. Она приехала в заточение к мужу… Она встретилась с Волконским в тюремном замке и на коленях целовала его кандалы… Когда я впервые ее увидел: эти глаза без оболочки… и этот голос… твой голос… я понял, что после смерти ты вновь пришла ко мне.

Она садится и играет в темноте.

(Долго слушает, а потом кричит.) Не надо играть! Я вас прошу, Мария!

Она. «Что с вами, Лунин?»

Лунин. «Просто тысячу лет прошло. Грязь, тюрьмы… кандалы — все стерли. Я всегда боялся музыки, Мария. Слово определенно, оно настаивает, и я всегда хочу ему сопротивляться… А музыка повергает каждого в его собственные мечтания… и ты беззащитный».

Она. «Как удивительно. Я могу с вами говорить обрывками фраз, и вы поймете. Как я могла не знать вас прежде. Я хочу вам показать свою девочку, Лунин».

Лунин. Ты склонилась над ней и откинула покрывало. Твое плечо коснулось моего локтя.

Она. «Вы дрожите, Лунин? Ну, поцелуйте мою девочку… и не бойтесь ее разбудить. Я знаю это ее движение, предшествующее пробуждению».

Лунин. И ты улыбнулась покорно и тихо.

Она. И тогда ты сказал: «Пощадите»?

Лунин. Да. И засмеялся.

Она. «Почемувы смеетесь, Лунин?»

Лунин. «Потому что каждый раз перед Голгофой появляешься ты, и я должен отдавать тебя… Всем вокруг даны чувства отца, супруга, любовника. Я свободен, и оттого легко могу вступать… *(смешок)* на крестную тропу. Я считаю ее последней улыбкой

жизни…» И я простился с тобою во второй раз в жизни… и опять навсегда.

Она. «Лунин… седой Лунин… последний воин Лунин, я перекрещу вас на подвиг…» Она сказала, что будет молиться за тебя?

Лунин. Да. Ты снова сказала в ней это. *(Мундирам.)* Но, господа! В кружок! Время мое… почти… *(Шепчет.)* Но тайны… А тайны остались! *(Пронзительно.)* Есть времена, когда единственное положение, достойное человека, — на кресте! И вот с креста моего… после двадцати лет каторги, уже выйдя на поселение, я опять начал *(смешок)*. С 1836 года я регулярно отправлял письма моей сестре.

Первый мундир. Эти письма перехватывались, и с них составлялись копии… *(Читает письмо Лунина.)* «Дорогая сестра. Мое единственное оружие — это мысль… то согласная… то в разладе с правительством. Я уверен, что это напугает некоторых господ, хотя пугаться тут нечего: оппозиция — вещь, свойственная всякому политическому устройству». *(Продолжает читать письма.)* «Дорогая сестра… так как я особенно был близок когда-то с нынешним министром государственных имуществ Киселевым, прошу тебя прислать мне подробный перечень его деяний, дабы я мог в тишине, не торопясь, их обсудить…» «Дорогая сестра, я разобрал распоряжения министра… и должен с печалью сообщить свое мнение…» В то время, как товарищи его пребывали в глубоком раскаянии, он в этих письмах опять обнаружил закоренелость в превратных мыслях и чувствах.

Лунин. Мой Каин, Алешка… Впрочем, какой ты Алешка? Подожди… Сначала был Орлов *(засмеялся),* потом был Чернышев… потом стал Бенкендорф… Сначала Александр… потом Константин… потом Николай… Сначала Наталия, потом Мария… И вот теперь, когда все подошло к концу, я понимаю… Как детьми мы сокращаем дроби, так и жизнь уничтожает кажущееся многообразие. И вот уже вокруг нет толпы. Жизнь-то свелась к ним, к четырем: Каин… Авель… Кесарь… и Мария — на одной лавочке умещается вся жизнь!

Первый мундир *(читает письмо)*. «Дорогая сестра, полноте бытия моего недостает ощущения опасности. Я так часто встречал смерть на охоте, в поединке, в борениях политических… что опасность стала необходима для развития моих способностей… Здесь, на поселении, нет ее… В утлом челноке переплываю Ангару, но воды ее спокойны… В лесах встречаю разбойников, но они просят подаяния… *(Раздельно.)* Мое земное послание исполнилось. Проходя сквозь толпу, я сказал все, что нужно знать моим соотечественникам. Оставляю письмена законным

наследникам моей мысли, как пророк оставил свой плащ ученику, заменившему его на брегах Иордана».

Лунин. Сия фраза означала: я свершил! Среди безумного молчания… после двадцати лет каторги… на поселении, на брегах забытой Богом реки… я исполнил цель. Жак написал первую правду о суде и расправе над героями! Среди непроходимых лесов несчастный старый Жак дерзнул рассуждать о династии! О том, как бесчестили, и брюхатили, и насиловали страну, как подзаборную девку! Россия! Поля, леса и вечный деспот!

Первый мундир. О том, что он написал на поселении, мне стало известно тотчас. Я обратился к Государю с посланием: «Нам стало известно, что вышедший на поселение государственный преступник Лунин дал почитать возмутительную рукопись «Взгляд на Тайное общество» некоему учителю Журавлеву… Учредив секретный надзор за сестрой государственного преступника Лунина, мы обнаружили, что она получила следующее письмо. *(Читает письмо Лунина.)* «Дражайшая сестра, ты получишь две тетради: одна содержит письма, вторая — мои сочинения… Ты постараешься размножить все это и пустить в оборот. Их цель — поразить всеобщую апатию…»

Мундир Государя. Ну и как, поразили? Вопрос важнейший… ибо… Время! Время!.. Суд закончился. И сейчас Жака поведут на плаху! Но по дороге следует обернуться назад — таков обычай приговоренных.

Лунин. Черт! Черт! Черт!

Мундир Государя. Ну, и Жак обернулся. Ах, как хорошо светит солнце, Жак… Не так ли? Вот она, обширная империя. Вышлите герольдов на перекрестки! Кто слышал о сочинениях государственного преступника Лунина?! Никто… Я знаю, ты опасался, что сестра беспокоится о своих детях больше, чем о распространении бредовых сочинений брата… Я могу успокоить тебя: она распространяла твои сочинения, и мы ей не мешали. Более того, мы с интересом наблюдали за ее действиями. Для нас это был в некотором роде опыт, ибо мы верили в наше общество. Наше общество… как уже справедливо отмечено тобою и мною… в некотором роде продукт истории двадцать пятого года, и оттого подобные попытки успеха не имели и иметь не могли. В империи наблюдалось общее благоденствие и единение… Я выразился бы так: «Вимперии все молчит, ибо благоденствует…» И особенно радостно было видеть, как встречались попытки твоей сестры нашими либералами.

Первый мундир. Я прочту тебе список с дневника господина Тургенева, брата декабриста, либерала классического! *(Читает.)*

«Эта глупая женщина… и тараторка… — это о твоей сестре, — своей болтовней только вредит своему брату. И вообще, мой друг Н. сказал: «Этот Лунин и его сестра похожи на зачумленных, которые, заболев болезнью, стремятся заразить ею как можно больше народа». Но еще больше заинтересовало нас, как откликнулись на «подвиг» твои друзья по заточению… И это мы тоже узнали тотчас. *(Читает.)* «Милый Лунин, тебе шестой десяток, а ты все тот же азартный кавалергард. Прости, но в результате твоих идей расправятся не только с тобою, а пострадают третьи лица… нас всех снова будут таскать за бесполезные твои бредни… Страна молчит, Лунин. Единственно, что мы можем, — это охранять свой мир от суеты… и думать не о себе, не о тщеславии, а о своих близких».

Лунин. Черт! Черт! Черт! *(Кричит.)* Они неподсудны! Прошедшие через кандалы… и через эту страшную пытку надеждой!.. В них все время теплилось: через пять лет освободят… ну не могут же… через десять лет!.. И не освободили! И загнали на край света!.. И тут дрогнуло: они поняли, что с человеком можно сделать все, что общества нет в стране… а есть власть беспощадная, всемогущая… И они уже хотели только покоя. Они женились, плодили детей… старели, спивались… и умирали от болезней, а точнее, от безнадежной силы этой власти. «Кто бросит в них камень?» Кто посмеет! *(Смешок.)* Но здесь-то и скрыты тайны! Господа, вы слышите дробь барабанов! Жак поднялся на эшафот, и как положено… Он объявляет на плахе последние свои тайны!.. Наиважнейшие свои тайны! *(Шепчет.)* Я чувствовал… Я читал между строками писем бедной сестры… да я и сам догадывался… Коли герои устали — чего требовать от общества рабов?! Скажи, Каин, неужто Авель, загнанный тобою на каторгу, выйдя на поселение, прочел бы сочинения первому встречному, если бы… *(Орет.)* если бы сам не хотел, чтобы донесли! Если бы не знал точно, что донесут! Ибо в империи без доносов нельзя! У нас без доносов, как без снега, земля вымерзает! Да, Жак хотел, чтоб Хозяин захватил его сочинения. Я ждал! Я звал! Помнишь, что писал: «Проходя сквозь толпу, я сказал все, что нужно знать моим соотечественникам. Оставляю письмена законным наследникам моей мысли, как пророк оставил свой плащ ученику, заменившему его на брегах Иордана!..» Как просто, Каин!..

Да-с, с некоторых пор, господа, я писал все свои сочинения с одним безумным расчетом: в подвалах… в тайных наших подвалах, охраняемые от уничтожения, они дойдут до тех, кто придет впоследствии на берега кровавой реки… Не найдя отзвука вокруг, я обратился к потомкам, открыв величайший способ

общения с ними — через жандармов! Какова тайна?!

Мундир Государя. Этот способ устраивал и нас тоже… Но, Жак, бедный старый Жак… Тебе почти шестьдесят… Точнее, шестьдесят тебе никогда не будет. И неужели ты надеешься…

Лунин. Черт! Черт! Да, человечество жестоко… и только кровь считается! И лишь с креста достучится до сердца проповедник! В империи удачная смерть — важнее удачной жизни. Смерть — у нас живая водица бессмертия!.. Но оттого-то Авель и звал брата Каина: «Убей!» Кровью моею вы должны скрепить идеи мои! Это последняя тайна. Да прольется моя кровь! Кровь, которая вопиет! Я звал ее!.. Как я боролся за эту смерть! *(Лихорадочно.)* Когда я выяснил, что рыба сожрала крючок, я перестал спать. Я знал, Хозяин нагрянет среди ночи… И вот однажды залаяли собаки…

В соседней камере Григорьев поглядел на часы, встал, вышел в коридор и начал отпирать камеру Лунина. Дверь камеры отперта. В темноте на пороге Григорьев.

Лунин. «А, здравствуйте, господа! Нагрянули! Входите! Простите, что принимаю вас в кальсонах, соснул после охоты, но ведь и вы ко мне без предупреждения».

Григорьев. Полно, полно, Михаил Сергеевич!

Лунин. «А почему же полно? И что вы глазеете на стену, господин жандармский майор… Да! Там висит мое ружье — я ведь охотник! Васильич! Сними ружье! Господа боятся ружей — они привыкли только к палкам! А теперь позвольте, господа, я надену штаны и готов проследовать за вами на предмет получения пули в лоб». *(Хохочет.)*

Григорьев *(почти кричит)*. Михаил Сергеевич, да опомнитесь! Да что вы опять такое говорите! Свечу-то зажгите.

Лунин *(опомнился, устало глядит на него)*. А-а… *(Улыбнулся, растерянно.)* Я обознался… Впрочем, нет! Как же я забыл про тебя! При сокращении дробей я забыл еще об одном: Каин, Авель, Кесарь, Мария… но в моей жизни был еще жандарм. Как хорошо, ты успел напомнить. Да, в моей жизни был всегда жандарм! Дурак при губернаторе, министр при царе, а Лунин — всегда при жандарме! Какова шутка!

Григорьев. Шутить время вышло, Михаил Сергеевич, ребятки уже за стеной — готовятся.

Лунин. Так, поди, четверть часа осталось.

Григорьев. Десять минут, сударь. Но вам и приготовиться нужно, и свечу зажечь, и улечься…

Лунин *(с усмешкой)*. Действительно, приготовиться надо. Дорога ведь дальняя!

Григорьев. Значит, часы отзвонят три — ребятки и войдут.

Григорьев возвращается в камеру к Баранову и Родионову. Нервность его возрастает, и он уже не может сидеть. Он все быстрее и быстрее ходит взад и вперед по камере. А рядом — молится Священник.

Лунин задувает огарок и медленно зажигает новую свечу. Ставит ее у постели.

Лунин. Значит, и вправду… я на плахе… Быстро… *(Смешок.)* И вот на плахе Хозяин и Жак обменялись последними шутками. Шутка Хозяина: он не убил Жака сразу, но подвергнул заключению в ужаснейшей из тюрем.

Первый мундир. В строжайшей из тюрем.

Лунин *(Ей)*. А в империи… тюрьму ценить умеют… Акатуй, туман, слякоть. Они ждали, что разум мой здесь угаснет! Что я сгнию здесь… и главное — тихо сойду в безвестность. *(Смешок.)* Но Жак тоже пошутил в ответ. Я надеюсь, господа, вы оцените мою потребность шутить в разнообразнейших обстоятельствах? Ну, читайте же, сударь! *(Смешок.)*

Первый мундир. Государь, нами снова были перехвачены возмутительные письма государственного преступника Михаила Лунина, хотя писать ему в тюрьме строжайше воспрещено было… Прочитавши их, я вынужден предложить Вашему величеству предпринять крайние меры к государственному преступнику Михаилу Лунину.

Лунин. А это была всего лишь шутка. Не тайна, но именно шутка: я переписал речи добродушнейшего старца Сократа и рассылал их от своего имени… И за тысячелетние слова афинского философа… исполнят то, что… *(Он погружается в свою больную задумчивость. Потом вздрагивает и произносит тихо.)* За дело… Пора… *(Он подходит к кровати и ложится.)* И все?.. Как просто… Обнимемся, Волконский… Обнимемся, Фонвизин… Обнимемся, Пущин… и друг Завалишин. *(Помолчав.)* И ты, Пестель… Во все дни человеческие… во времена надругательства — и креста — всегда находится тот, кто говорил: нет… В этом был смысл… *(Засмеялся.)* И тайна… Ах, как бьет барабан! Как оглушительно… Не надо мне завязывать глаза. Это — жмурки… Это няня прикрыла мне глаза руками… чтобы не попало мыло, и мое детское тельце…

Бьют часы.

Я чувствую единение с Сущим! И дух мой блуждает по пространствам и доходит до звезд!.. Я свободен.

Дверь распахивается. На пороге двое убийц, за ними

Григорьев. Они медленно идут к кровати.

(Ей.) Твой черед. Я иду к тебе!

Она приближается к нему из темноты, одновременно с убийцами.

На тебе тафтяное черное платье… и твой взгляд блуждал по изгибам шитья моего доломана… В окно я завидел Вислу. Ее воды бурлили под набежавшим ветром… Но вокруг нас была тишина, так отличная от беспокойства в природе. Неожиданно звук колокола потряс эту тишину. Звонили к вечерне, надо было прощаться… И тогда ты склонилась ко мне…

Она наклоняется над ним.

Я вижу! Боже мой! После стольких лет снова твое лицо! *(Кричит.)* Я вижу!

С воплем один из убийц бросается к кровати и хватает Лунина за горло. Безумный крик второго убийцы и Григорьева. В дверях за Григорьевым появляется бледное лицо Священника. И все обрывается. Темнота.

А потом свеча вспыхивает и освещает на мгновение женское лицо. И снова темнота и тишина. В тишине — хриплый смешок. И молчание… Потом зажигают свечи. Это в соседнюю камеру вошел Писарь. Писарь вынимает дело, раскладывает его на столе, бормоча, диктует себе и пишет.

Писарь. «После досмотра на теле скоропостижно умершего государственного преступника Лунина обнаружены были: чулки шерстяные — одна пара, порты кожаные — одни, кальсоны теплые — одни, рубашка кожаная — одна, шуба беличья — одна, платок черный шейный — один, распятие нательное серебряное — одно; кроме того, в камере найдены были часы настенные — одни, альбом сафьяновый с бронзовыми застежками — один, портрет мужской настенный — один и тридцать листов писчей бумаги, исчерканных отрывистыми словами и непонятными знаками».

Продолжение Дон Жуана

В полдень над городом нависло страшное июльское солнце. Сквозь распахнутые окна лилось оно в некую комнатку, на фотографии, развешанные по стенам. На фотографиях этих запечатлены были весьма забавные сцены: например, молодой человек целовал юную особу и сам же (!) из-за спины особы грозил себе пальцем; или зрелый мужчина и зрелая особа предавались поцелуям — и уже зрелый мужчина, воспарив над собою, — укоризненно грозил себе же пальцем; или печальный брюнет здоровался с самим собою, но уже с лицом самым развеселым. Под всеми этими художествами торчала рекламная полоска с надписью: «Двойное фото. Заказы принимаются на 25-е».

Комнатка с фотографиями была какая-то бездонная. Хотя солнце било прямыми лучами и окна были раскрыты — в конце комнатки царил густейший полумрак. И тут, в полумраке, начинались подвохи: в багетных рамах были выставлены гигантские фотографии женщин в натуральную величину. И то ли из-за неясности света, то ли из-за размеров, — но казалось, будто в рамах стоят отнюдь не фотографии, а самые что ни на есть натуральные женщины. Таково было это помещеньице, залитое полуденным солнцем.

И вот в нем, за письменным столом, у окна, потонув в солнечных лучах, — сидел добродушнейший субъект. Русоволосый, ясноглазый, румяный, моложавый, но как-то ненадежно моложавый. Перед ним, прямо на столе, возвышался огромный портфель. Субъект был погружен в раздумье.

Застрекотал телефон… Как приговоренный, субъект горестно вздохнул и поднял трубку:

— Алло.

В трубке засмеялись, а потом кто-то развязно спросил:

— Это фотография?

— Она самая, мужчина.

— Товарища Лепорелло можно к телефону?

Субъект за столом вытер пот со лба и сказал:

— Вы, видимо, просите соединить вас с Леппо Карловичем Релло? (В трубке молчали.) А по какому вопросу, поинтересуюсь?

Голос в трубке. А — по личному.

Субъект. Но Леппо Карловича нету!.. У него совещание по багету, а прием по личным вопросам с двух до пяти на той неделе… Вас записать?

Голос в трубке. Странно. Я, например, занимаюсь личными

вопросами три тысячелетия и все решить их не могу. А ему с двух до пяти достаточно!.. Может, он у нас не лакей, а гений?! (Голос захохотал, а потом добавил грубо.) Ну вот что, морда, передай ему, чтобы приходил к двум сегодня в ЦПКиО. Ждут его!

Гудки в трубке.

— Он… он, — застонал субъект.

Городской парк в два часа дня. Тусклое солнце висит над рекой, но нет прохлады от реки. Где-то играет музыка между чахлыми деревьями, и где-то, наверное, людно, празднично. Но здесь, в каком-то выморочном уголке парка, только пустая раскаленная асфальтовая площадка, и никого. Кому нужна эта бессмысленная площадка? Все устремились туда, в чахлые кущи, в тень. Здесь, на этой площадке, и появился человек. Он вышел на ходулях, он был одет в камзол и длинный плащ, драпировавший его ходули. Но в тот субботний день такой наряд мог и не показаться странным, ибо в парке происходил карнавал. И действительно, человек на ходулях остановился, достал из-под плаща мегафон и равнодушно прокричал свои объявления: «В семнадцать тридцать на массовом поле откроется бал-маскарад «Юность твоя и моя». В двадцать часов на веранде танцев вечер из цикла «Разрешите с вами познакомиться». А в зеленом театре цирковое представление «Летние узоры». В это время с тележкой с мороженым показалась хорошенькая женщина. Она остановилась, взглянула на человека на ходулях и заулыбалась, как улыбаются при виде клоуна.

Человек *(с выражением добра и горя).* Который час?

Женщина. Сорок минут.

Человек. Какого?

Женщина. Нашего… закрываемся… На маскараде работаете?.. Что вы так на меня смотрите?

Человек. Не вспомнила меня?

Женщина. Что-то вертится. Голос у вас приятный, не резкий. Все орут, орут… А вы на саксе на веранде играете? Нет? Да!.. А-а-а! Вы — завпроизводством в пивбаре? Нет? Да? А-а-а! Вы в метро ко мне пристали… еще врали, что дипломат в Алжире…

Человек. Солнце… Колонны, портик… ты прокралась в мою комнату — «легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала. Скромница, из-за нее ты мало боролась со мной».

Женщина *(завороженно).* Мне снилось это…

Человек. Я люблю тебя.

Женщина. Это правда? Это правда?

Человек. В любви не бывает лжи. Любовь всего лишь пламя, и если от твоих слов оно разгорается — то это не ложь, а ароматные поленья, сухой хворост. *(Целует ее.)*

Женщина. А я ведь еще не старая? В меня ведь можно влюбиться? *(Она начинает катать перед собой тележку, повторяя.)* Я ведь еще не старая… в меня ведь можно влюбиться…

А человек на ходулях уже приковылял к новой женщине. Та шла неторопливо по аллее, читая на ходу книгу, когда он возник перед нею.

Женщина. Что вы так на меня смотрите?.. Послушайте, меня раздражает ваш взгляд… банальный… наглый взгляд.

Человек. Не надо… Ты вспомнила… Сколько я тебя не видел?.. Три тысячи лет… Луна над морем… Незамутненные ручьи… Бег фавна… А твой жадный детский рот…

Женщина. Боже, это мне снилось сегодня.

Человек. Я люблю тебя.

Женщина *(закрывая глаза).* Еще… еще…

Человек. Я люблю тебя…

Женщина *(как в бреду).* Истосковалась я… вот честное слово, просыпаться не хочется… Ведь вроде все есть. А иногда проснешься и думаешь: да пропади ты все пропадом…

Появляется уже несколько женщин. Они окружили человека на ходулях, а он, медленно двигаясь на своих ходулях и повторяя как заклинание: «Я люблю… тебя…», увлекает их всех за собой, как тот волшебный крысолов с волшебной дудочкой.

Бьют часы — семь. С последним ударом человек возвращается один, глядит на часы и произносит: «Однако». Тогда из-за дерева начинает выдвигаться тот самый субъект с портфелем. Он появился прежде, но прятался в тени деревьев, и вот теперь, нехотя и вздыхая, он выдвинулся вперед. Человек на ходулях посмотрел на него равнодушно.

Субъект (*угодливо).* Наверно, трудно на ходулях, мужчина?

Человек. А сам попробуй.

Субъект. А зачем мне это? Мне, я так вам скажу, хлопот хватает и на своих двоих.

Человек. А на ходулях ходить полезно — выглядишь необычно и, что главное — повыше окружающих. А ведь живем-то в конечном итоге для этого, а? Что?

Субъект. Пустое вы сейчас сказали, мужчина. Я вам так отвечу: «Удивлять людей — штука неблагодарная, себя уморишь, а людей не удивишь» — пословица.

Человек. А ты пословицу свою…

Субъект. А чего это вы меня на «ты»?

Человек. Асам знаешь. (*Наклонился, шепчет.)* Знаешь, а, сукин сын?.. Лепорелло!

Субъект (*отступив, тоскливо).* Не знаю! Ничего я не знаю, мужчина! *(Кричит.)* И почему вы решили, что меня зовут Лепорелло?

Человек *(вдруг соскочил с ходулей и схватил Лепорелло за горло).* Дурака из меня делаешь!

Лепорелло (*истерически*). Я вас не знаю! Я просто пришел поглядеть из любопытства! Кто же это, думаю, мне звонит. Отпустите!

Человек (*шепчет*). Ты сразу понял, что звоню я, Лепорелло, а все-таки понадеялся: вдруг ошибочка… Но когда ты увидел мою голову, вознесенную к небесам, мое лицо — прекрасное, слегка постаревшее лицо…

Лепорелло. Попрошу держаться в рамках! И *вообще,* мужчина, вы о чем-то все говорите, а я вас не понимаю!.. (*Раздельно.)* Я заведую фотоателье. Я иду парком на совещание!.. Вам понятно? (*Жалостливо.)* Фотографировать — одни неприятности. Люди видят себя ну совершенно иными, чем они есть на самом деле. Брюнет к тебе с претензией, почему запечатлели чересчур темным, блондин — почему он вышел светлым, лысые хотят быть на фото с волосами, а толстые… — сумасшедший дом! Я пошел. *(Ион побежал.)* Отпустите! Я вас не знаю!

Человек догнал его в два прыжка.

Если вы у нас фотографировались, если у вас жалоба — предъявите квитанцию! Ну, где ваш квиток? Где? Нету! Значит, дел у вас ко мне никаких! И с приветом, Вася!

Человек *(не выпуская его).* Я очень постарел, я не похож на себя?

Лепорелло. Непохожи! Совсем непохожи! Я вас не помню. *(Кричит.)* Отпустите!

Человек. Ах, не помнишь! Сукин сын! А тысяча шестьсот тридцать второй год! *(Награждает его оплеухой.)* А река Гвадалквивир! Этот хрустальный рубеж между Севильей и Трианой ты тоже не помнишь? *(Оплеуха.)*

Лепорелло. О, как я жил! *(Стонет.)* Я жил без вас спокойно двести лет!

Человек. Смотри! Уже начал вспоминать. А Торребланка, где начиналась Севильская мостовая? *(Мечтательно.)* Запах апельсиновых деревьев… Забыл? *(Оплеуха.)* А Кармонские ворота? Сколько раз мы въезжали с тобою через них в Севилью! А вот пошли глухие речные улицы! Ты их тоже забыл, Лепорелло?! *(Оплеуха.)* Мы увезли туда с тобою в тысяча шестьсот сороковом году жену графа де Салданья. Реал де Монсарес… не помнишь?

(Лупит.)

Лепорелло *(кричит)*. Помню! И как вы проткнули на дуэли ее мужа! Все помню!

Человек *(неловко)*. Разве?.. *(Одушевляясь.)* Какие у нее были ноги! Длинные, как лебединые шеи… Такие ноги за три тысячи лет я видел только у Прекрасной Елены. (*Элегически.)* А вот перед нами улица Лампады. Там мы увидели впервые маркизу де Тариф.

Лепорелло. Да, да… Кстати, ее мужа вы тоже… на дуэли…

Человек. Разве? (*Воодушевляясь.)* Ах, цвет ее кожи! Редчайший цвет паросского мрамора из древних каменоломен. Помнишь, как мы первый раз крались к ее дому? Час свидания! Мы двигались в самый страшный час для прохожих в Севилье… Кстати, какой час в Севилье считался самым страшным для прохожих?

Лепорелло *(опомнился)*. Я не знаю, ничего я не знаю, мужчина! Я и не был ни в какой Севилье, я заведую фотоателье! У меня совещание по багету, а вы меня задерживаете. *(Кричит.)* Некорректно!

Человек *(сопровождая оплеухами)*. Ну что же, мы не гордые, мы напомним. Самым страшным часом *(бьет)* для прохожих в Севилье *(бьет)* было десять часов вечера зимой *(оплеуха)* и одиннадцать часов ночи летом. В это время — что?

Лепорелло *(стонет)*. Не надо меня бить…

Человек. В это время *(лупит)* разрешалось горожанам выливать помои из домов прямо на улицу. Ну, вспомнил? *(Оплеуха.)*

Лепорелло. Вспомнил, ну конечно, вспомнил.

Человек. Еще бы тебе забыть? Сколько дерьма осталось на наших плащах и шляпах, сколько раз мы стойко молчали, приставив к окну лестницу, когда сверху лилось… Но мы не смели проронить ни звука — честь женщины! О, ратный труд любви!

Лепорелло. Вспомнил! Все вспомнил, сударь!

Человек. Да, но все изменилось в Севилье! *(С грустью.)* И теперь уже не выльют тебе горшок на голову зимой в одиннадцать часов вечера… Иные времена, иные песни… Не так ли? Как ты думаешь на этот счет, Лепорелло?

Лепорелло *(угодливо)*. Так же, как и вы. Все изменилось, сударь.

Человек. Ой ли? А нравственность? Скажи, что ты о ней думаешь?

Лепорелло. Я, сударь, скажу смело: я думаю о нравственности и обо всем прочем — ну точно так же, как

думаете вы!

Человек. Я просто не нарадуюсь на тебя… *(Взяв его под руку.)* Ездил я недавно на курорт: почки!.. И что я там вспомнил, как ты думаешь?

Лепорелло. Что?!

Человек. Как в двадцатом году до новой эры, две тысячи лет назад, я лечил… кстати, тоже почки… на грязевом курорте в Вайях. Ты вспомнил?

Лепорелло. Вспомнил! Все вспомнил!

Человек. Ну, кто там был тогда? Карлик Луций, молодой Агриппа Постум, Цицерон, конечно… Море, пляж… собирались у меня, беседовали, но эти разговоры, Лепорелло, меня просто выводили из себя. И я, помнится, тогда написал следующие стихи:

«Всякий готов обсудить здесь любую красотку,
Чтобы сказать под конец — я ведь и с ней ночевал!»

И вот через две тысячи лет я слышу точно такие же речи.

Лепорелло. Ужас! Ничего не изменилось.

Человек *(возмущенно).* То есть как?.. А изюм?

Лепорелло. Что?!

Человек. Изюм! В семнадцатом веке, если ты помнишь, я прикладывал к лицу изюм, чтобы цвет лица был посвежее. А сейчас оказалось, что все это была липа. Медицина это выяснила. И теперь я обхожусь без изюма. Отсюда можно заключить что, Лепорелло?

Лепорелло. Что все-таки многое изменилось, сударь.

Человек. Осталось совсем немножко тебя пошколить, и из тебя получится отличный слуга. А пока, Лепорелло, я так и не услышал от тебя, как меня зовут, и я огорчен! Ну, кто я? Я жду!

Лепорелло. Вы… вы… *(Он знает, что произнеси имя, и это конец.)* Я… у меня совещание…

Пытается убежать, человек схватил его.

Я позову на помощь! Отпустите сейчас же!

Человек. Зови! *(Лупит его.)* Ну, что же ты не зовешь? *(Новая оплеуха.)*

Лепорелло. Я вспомню, я все вспомню, и тогда вы меня отпустите?

Человек *(глухо).* Вспоминай, Лепорелло, я жду.

Лепорелло. Вы… вы… Я познакомился с вами… ну, например, триста двадцать лет тому назад…

Человек. Ну что же, действительно это было одно из наших с

тобою знакомств.

Лепорелло. Вы носили тогда титул… вы были сыном сеньора Алонзо Хуфте Тенорио, и вас звали…

Человек. Побыстрее, Лепорелло. (*Замахнулся* .)

Лепорелло. Дон Жуан!

Человек. Вот видишь, Лепорелло, ты вспомнил: в семнадцатом веке меня действительно звали Дон Жуан. А ты был кем? Моим?.. (*Замахивается* .)

Лепорелло. Вашим слугою!

Дон Жуан. И как тебя звали тогда, в семнадцатом веке?

Лепорелло. Лепорелло.

Дон Жуан. Вот видишь, как нехорошо. Ты притворяешься заведующим фотоателье Леппо Карловичем Релло, а на самом деле ты попросту Лепорелло, слуга Дон Жуана. Ай-яй-яй! Выходит, ты лгун, а еще хотел звать на помощь честных людей… Ну, ведь и это далеко не все… Мы встретились с тобой куда пораньше, а ну-ка вспоминай! (*Замахнулся* .)

Лепорелло. Вспомнил! Мы встретились с вами в тысяча двести седьмом году.

Дон Жуан. Действительно. Далее…

Лепорелло. И вас тогда звали граф Роберт Проклятый.

Дон Жуан. Было… Было…

Лепорелло. Вы соблазнили тогда Анну, монахиню из рода де Салданья. Излишне говорить, что ее отца, сеньора де Салданья, на дуэли…

Дон Жуан. Разве? Ах! Какая у нее была талия, Лепорелло! И вот этот переход от талии к бедру, благородная линия коринфской амфоры… Кстати, как тебя звали тогда, в тринадцатом веке?

Лепорелло *(после паузы*). Сганарель.

Дон Жуан. Ах, какой нехороший. Оказывается, ты имена меняешь, как перчатки, из века в век, а еще хочешь звать на помощь! Да! Но мы ведь и куда пораньше с тобою виделись… Не томи. (*Замахивается* .)

Лепорелло. В девятом веке вы были братом короля Альфонса.

Дон Жуан. Братом — короля!

Лепорелло. И вас звали Обри Бургундец.

Дон Жуан. И это было…

Лепорелло. Кроме прочих, вы соблазнили тогда герцогиню Изабеллу, ну, а ее мужа, герцога Гонзальво… излишне говорить…

Дон Жуан. Разве? (*Мечтательно.)* Изабель… Изабель… Как пахнут волосы у женщин! Можно забыть все, Лепорелло, но запах подушки после той ночи в восемьсот тридцать седьмом году в

Бургундии — он навсегда со мною.

Лепорелло. Я хочу заметить, что этот герцог Гонзальво, муж Изабеллы, и был ваш первый Командор.

Дон Жуан. Что ты мелешь?

Лепорелло *(упрямо).* Герцог Гонзальво, командор ордена Калатравы!

Дон Жуан *(орет).* Заткнись!

Лепорелло *(увертывается от его оплеух, они бегают по сцене).* Сначала вы его проткнули на дуэли, потом ему поставили памятник в монастыре *(увертываясь),* и, помнится, как-то проходя мимо ограды, вы в шутку попросили памятник посетить спальню его супруги, где вы в ту ночь намеревались…

Дон Жуан *(бегая за ним).* Заткнись, олух!..

Лепорелло. Ну, почему же так, сударь? Вы сами просили все вспоминать… Некорректно!

Останавливаются оба и тяжело дышат. Дон Жуан держится рукой за сердце.

Так что уточняю: в девятом веке Командор был мужем герцогини Изабеллы, в тринадцатом веке Командор был отцом той монахини из рода Салданья, Анны… в семнадцатом веке Командор был то ли мужем… то ли отцом… я уж запутался… Стольких женщин вы соблазнили в семнадцатом веке…

Дон Жуан (*вновь бросаясь за Лепорелло).* Олух!

Лепорелло (*убегая).* Но я точно помню, что этот самый Командор во все века являлся к вам с кладбища и за руку утаскивал вас в преисподнюю.

Дон Жуан. Подлец! Ты! Ты! (*Поймал, бьет его.)*

Лепорелло визжит.

Прости! Нервы. Я хочу, чтобы мы побыстрее подошли к истокам нашей дружбы, а ты все — командор, не командор. Продолжим. Итак, мы миновали девятый век, и наконец о, Рим!

Лепорелло. Да! Я служил вам в Риме.

Дон Жуан. С двадцатого года до новой эры. И это было! О, беспощадная река времени… А как мы жили с тобой в Риме!

Лепорелло. Прямо скажу, неплохо, сударь! Шикарный дом у Аппиевой дороги… А сколько у вас было почитателей! Вы были тогда известным поэтом. Черт! Фамилия! Вот память!

Дон Жуан *(насмеитиво).* Забыл! (*Замахнулся* .)

Лепорелло *(нехотя).* Овидий.

Дон Жуан. Ну вот, и это тебе пришлось вспомнить. «Рим! Цезаря форум, Весты храм хранит огонь… Вот Палладий — древнего Нумы дворец…»

Лепорелло. В Риме вы соблазнили то ли внучку императора Августа, то ли его дочку… Нет, их обеих. Помнится, кстати, их обеих звали — Юлия!

Дон Жуан. Разве? О, Юлия-младшая и Юлия-старшая!

Лепорелло. Кстати, их отца, императора Августа, вопреки своему обыкновению, вы не проткнули на дуэли. Напротив, он выслал вас в холодную Скифию… То ли за Юлию-старшую, то ли за Юлию-младшую, то ли за них обеих?..

Дон Жуан. Разве?.. О, божественная Юлия-младшая! Этот взгляд… А русалочья косинка… А прохладная нежность ладони… Агрудь… Помню все. Жаркий полдень, она молча распустила пояс. (*Замолчал, грезит.)* «О, боги, чаще бы так проходили полудни мои…» Да, но мы пропустили восемнадцатый век, Лепорелло…

Лепорелло *(нехотя).* 5 восемнадцатом веке вас, естественно, звали Казанова, сударь.

Дон Жуан. Именно… А теперь, Лепорелло, осталась всего одна встреча, наша первая, начало — истоки, так сказать. Я жду: юность, цветущая юность!

Лепорелло *(хмуро).* Троя.

Дон Жуан. Великая Троя. О, как это все было давно! Три тысячи лет без малого! И как это было недавно. Юность! Порывы!.. Кстати, ты был тогда кем?

Лепорелло. Вашим слугою.

Дон Жуан. Моим рабом, лгун! И тебя звали как?

Лепорелло. Калатинион или Каталиной — кто как!

Дон Жуан. Вот видишь! Ты и раб к тому же! Да еще у тебя целых четыре фамилии! Ужас! А меня как звали тогда? Ну, побыстрее!

Лепорелло. Вас звали Парис — сын царя Приама.

Дон Жуан. Да! Это было мое первое явление в этом мире. О, высокие облака детства, сиреневая мгла в расщелинах гор, прозрачные ручьи и тяжкий грохот волн у изголовья! Как я был молод тогда и как я верил в жизнь… Я думал, что жизнь — это пир, где все время несут, несут… блюда.

Лепорелло. А как красивы вы были и куда только все подевалось? Ну, ясное дело, молодость. Когда я вас увидел в Трое, вам было лет двадцать?

Дон Жуан. Восемнадцать. Восемнадцать лет — бывает же такое!

Лепорелло. Кстати, сударь, сколько вам в этом веке?

Дон Жуан. Побольше.

Лепорелло (*мстительно*). А именно?

Дон Жуан. Видишь ли, мерзавец… с каждым столетием мне

начисляется… За три тысячи лет набежало… Ну, сколько ты мне дашь?

Лепорелло. Тридцать семь.

Дон Жуан. Идиот! Мне тридцать шесть, подлец… Ну, финита, ты вспомнил все!

Лепорелло. Тогда, сударь, я двинусь, пожалуй. До скорого!

Дон Жуан. Не-а.

Лепорелло. То есть как? Я ухожу! Я предупреждал! У меня совещание по багету.

Дон Жуан смеется. Лепорелло пытается уйти, но не может оторвать ног от земли.

Дон Жуан. Или ты действительно все забыл, или ты опять строишь из меня идиота! Сукин сын! *(Раздельно.)* Я пришел, а ты все вспомнил. Не хотел вспоминать, но заставили. И теперь восстановлены наши вековые отношения. У нас опять гармония: Дон Жуан и его слуга — Лепорелло. А куда же слуге без приказа?

Но Лепорелло все пытается уйти.

(Вдруг завопил.) Болван! Прохвост! Ты кончишь играть на нервах?! Подай ходули!

Лепорелло. Но я не могу вам служить…

Дон Жуан. Что?!

Лепорелло *(смешавшись*). То есть не то что не могу… просто некоторые обстоятельства… так сказать, осложнения… Я все-таки заведую фотоателье, и вообще… Сударь, может быть, обойдетесь без слуги, а? Ну зачем я вам в этом веке? Ну, в прежние времена — понятно, без слуги даже как-то неудобно. А сейчас? Ну, я понимаю, когда были латы, камзол, я охотно вам прислуживал, но помогать вам надевать брюки… *(Яростно.)* Зачем вы воскресились? Почему вам не лежалось в земле? Все лежат — люди как люди.

Дон Жуан *(задумчиво)*. Если бы знать. *(Вдруг яростно.)* Негодяй! Его держат из-за меня на свете! Прохвост! Из-за меня он видит солнце вновь и вновь три тысячи лет подряд! И он еще…

Лепорелло. А я не хочу! Опять бессонные ночи! Опять ваши женщины! И наконец, побои!

Дон Жуан. Ну полно, полно…

Лепорелло. И когда меня только не били из-за вашей милости: на рассвете! В полдень! На закате! В меня били, как в бубен, а вы в это время предавались любовным утехам! И так три тысячи лет подряд! Я вас спрашиваю: будет ли просвет? Сударь… отпустите, прошу.

Дон Жуан молчит.

Ну, еще бы, ведь, кроме меня, вы никому не нужны. *(Гаерски.)* Дожив до таких лет! Вы никому не нужны!

Дон Жуан. Ерунда, Лепорелло. Каждый человек кому-то нужен. Гробовщику, продавцу в винном отделе, который на тебе благосостояние строит, и, наконец, червяку в земле — твоему червяку. *(Помолчав.)* Вокруг все время толпа — а умирать-то все равно одному… (*Помолчав.)* Хватит! Рассказывай, как ты жил без меня, Лепорелло, эти двести лет.

Лепорелло. Прямо скажу, сударь, хорошо!

Дон Жуан. Женат, конечно, отдельная квартира, дача, дети?

Лепорелло. Именно.

Дон Жуан. Во все времена, даже когда ты был рабом, — ты умел устраиваться в жизни. У тебя всегда были семья, дом, знакомый центурион, ибо ты всегда искал в жизни определенности. Пока я был молод… ну, там в Риме или девятом веке… я тебя за это презирал… А сейчас меня тянет к этому. Годы все-таки — тридцать девять.

Лепорелло. Вы сказали — тридцать семь.

Дон Жуан *(награждает оплеухой*). А может быть, жениться, а?

Лепорелло. Вот новость! А в Севилье… в Париже… в Кызыл-Орде, на Командорских островах… — где вы только не женились!

Дон Жуан. Да нет, сделать это серьезно — навсегда. Хватит мгновенных встреч! Яростных романов! Надоело. Вот я сейчас вспомнил жизнь, Лепорелло, и подумал: «Боже — сколько отдано сил! Сколько пролито крови! Сколько нервных клеточек потеряно! И ради чего!»

Лепорелло (с *негодованием*). Тьфу!

Дон Жуан. А ведь я мог стать великим ученым! Какой-нибудь Архимед, Плиний-старший, Ларошфуко! Ты помнишь, когда я учился в Саламанке в тысяча шестьсот семнадцатом году — как меня ценил… ну, этот магистр… ну, как его…

Лепорелло. Жену и дочь которого вы…

Дон Жуан. Разве?..

И тут в аллее появляется красивая, хотя и несколько полноватая — в общем, цветущая красотка. Она бросает страстный взгляд на Дон Жуана.

Лепорелло *(подмигнул).* Какова?

Дон Жуан *(мрачно).* Толстая курица.

Лепорелло. Насколько я помню, это качество вас никогда не отпугивало.

Дон Жуан. Ужас. А талия — рукой не обхватить… Нет, Лепорелло, — баста. Надоело. *(Вслед красотке.)* Ну, погляди

беспристрастно, ну что в них хорошего? Низкорослые создания, чересчур короткие ноги, толстые плечи, какие-то наросты на грудной клетке! Кошмар!.. Нет, знаешь, жениться мне тоже не подходит. Пора отдохнуть… уединиться… Куплю дачу где-нибудь под Сыктывкаром и наконец спокойно подумаю впервые за три тысячи лет…

Лепорелло. А вы не издеваетесь?

Но Дон Жуан уже не слышит. Он встал на ходули и, запрокинув голову, глядит на солнце. И выражение добра и горя вновь на его лице.

Дон Жуан *(бормочет).* … Открытьглаза… утром… после тьмы. *(Очнулся.)* Только мне надо где-то сменить костюм. Пропах ладаном… и кровь на воротнике. Этот мерзавец вечно хватается за горло… Ну, двинулись.

Лепорелло. Куда?

Дон Жуан. К тебе домой, естественно, я так соскучился по уюту.

Лепорелло. Ни за что. У меня жена, дочь-невеста…

Дон Жуан. Негодяй! Да как ты смеешь! Дом друга…

Лепорелло. Я все понимаю, но — нетушки.

Дон Жуан. Тупица! Я битый час тебе твержу, что женщины…

Лепорелло. Сударь, я вас знаю не одну тысячу лет… Сейчас они вам опостылели, а через час… Убейте, но домой не поведу. Хотите переодеться, идемте в фотографию!.. Сотруднички все равно на совещании по багету… Одевайтесь там, раздевайтесь, хоть на голове там стойте!

Дон Жуан. Осел! Ничтожество!

Лепорелло. Кстати, как обращаться к вам в этом веке?

Дон Жуан. Не понял.

Лепорелло. Ну, Овидий? Дон Жуан? Парис? Казанова? Или в этом веке у вас какое-нибудь новое имя?

Дон Жуан *(подумал).* Знаешь, все-таки Дон Жуан… Хотя, почему не Парис?.. Впрочем… век скоростей, ему созвучна краткость — Д. Ж. Зови меня сокращенно, Лепорелло. Это имя как бы новое и… вместе с тем… Д. Ж. — отлично!

Они расположились в той самой бездонной комнатке. Д. Ж. в черной куртке фотографа полулежал в кресле.

Как хорошо… Я так намерзся, Лепорелло. Ночь, холодище, а ты лежишь себе в дрянном камзольчике.

Лепорелло. А вы разве… не?.. *(Жест под землю.)*

Д. Ж. *(с негодованием).* Никогда!.. Страшно, ты сидишь, а за окном солнце… и вот будет то же окно, и вновь будет солнце, но

без тебя! *(Лихорадочно.)* Главное — понять тайну!.. Ну отчего я без конца появляюсь… Может быть, старуха Земля тоскует, а? Ну, конечно! Старуха тоскует, а? Ведь точно? Земля — мать. И она любит меня, как блудного сына, а? В этом ее женское начало! Такого сына корят, но им любуются и ждут! Ведь так? Согласись, сколько моралистов ходило по земле: какой-нибудь Франциск Ассизский, святой Маврикий, Катон — кто их помнит? Специалисты… А останови на улице любого и спроси, кто такой Дон Жуан?.. Но тогда почему я исчезаю? Отчего?! *(Он обернулся и вскричал.)* Глаза! Там глаза!

Д. Ж. схватил лампу и осветил глубину комнаты и застыл: в свете становятся видны бесконечные портреты женщин. Они стояли в рамках, совсем будто живые. И какой-то почти наглостью было присутствие среди них толстой красавицы, которую Д. Ж. отверг в парке и которая теперь как ни в чем не бывало радостно улыбалась ему. Д. Ж. обвел глазами портреты и вздрогнул. Он увидел в стороне еще портрет, но только прикрытый материей. Мгновение он смотрел на него, а потом резко отвернулся.

(Указывая на открытые портреты.) Кто это?..

Лепорелло. Точнее, что это?.. Это наша продукция. Называется, сударь, «натюрель» или «в натуральную величину», один к одному.

Д. Ж. А отчего одни женщины, подлец?

Лепорелло. Сами удивляемся, сударь. Обычно в «натюрель» у нас фотографировались чемпионы или генералы, а тут за неделю перед вашим появлением — вдруг пошли одни бабы… одни бабы! И все требуют в «натюрель», в «натюрель»… А где взять багет? Я вон совещание…

Д. Ж. *(прервал)*. А это что за мерзость? *(Он указал на торчащие бумажонки в уголках рамок.)*

Лепорелло. Это квитки, сударь. Там адресок указан, затем фамилия, имя, отчество.

Д. Ж. И телефончик, да? Какое нахальное, однако, местечко. Я назвал бы его донжуанское местечко. *(Заорал.)* Лепорелло, но как забилось сердце! Нет! Как забилось! Чу, пошла нежность! Целит, целит, мерзавец Амур! «О, сколько смертей перенес из-за тебя, миролюбивый Амур».

Лепорелло. Сударь, никак начинается?

Д. Ж. *(заводясь)*. Вон та… Первая с краю… На кого она похожа? Господи, ну конечно, Рим, двадцатый год до новой эры. «Ты, что готова создать тысячу разных причесок, ты, Кипосида…» Лепорелло, живо неси ее квиток…

Лепорелло делает шаг.

Стоп! *(Указывает на вторую.)* Да это же Корина! Лепорелло, ты ее помнишь? «Стан так пышен и прям, юное крепко бедро»… Корина! Я изнемогаю!

Лепорелло. Нести квиток? *(Бросается к портрету.)*

Д. Ж. Стоп, мерзавец! *(Разглядывает третью.)* Где же я видел эту родинку над губой? Это же тысяча шестьсот двадцать шестой год, жена магистра! Надо опустить глаза — сердце разорвется. *(Он опускает глаза с усилием, и тотчас его вопль.)* Ноги!

Лепорелло *(испуганно)*. Что случилось, сударь?

Д. Ж. Я узнал их! *(Указывает на следующий портрет.)* Они мне снились в гробу, эти ноги графини Реал де Монсарес!

Лепорелло. Сударь, а может, по граммульке?

Д. Ж. К ней! Тащи ее квиток! Немедля! О боги! Я изнемогаю!

Рука Д. Ж. мечется между портретами, и несколько обезумевший Лепорелло мечется за его рукой.

Стоп, болван… вон та еще прекраснее. О, радость нового лица! О, этот восторг, когда ты чувствуешь трепет зарождающейся страсти. Вот она еще чужая, и ты сам еще чужой для этих губ, для этих зубок, щек… и вот уже свершилось! Все уже живет тобою! И нет одиночества! *(.Наконец его рука замирает перед портретом толстой красавицы.)* Однако?! Неужто?! О боги! Маркиза де Тариф! Ты ее узнал, Лепорелло?

Лепорелло. Я ее узнал, но…

Д. Ж. Амур-предатель! Попал мне в сердце! Гляди — ей тридцать пять, как минимум, а как чарует! Это благородное вино, выдержанное временем в старинной амфоре. *(Орет.)* Хватай ее квиток и немедля к ней! Что ты уставился?

Лепорелло. Но, сударь… Час назад мы встретили ее в парке и вы соизволили определить ее «толстой курицей».

Д. Ж. И ты это снес? Ты не удавил меня?! Сказать такое о подобной богине!

Лепорелло. Вы даже отметили, сударь, что она так толста — рукой не обхватить!

Д. Ж. А зачем?! Зачем ее обхватывать одной рукой, если у меня их две?! *(Восторженно разглядывая.)* Нет, какая мягкость линий! Никаких углов — сплошной овал! И при такой коже! Вот на ком надо жениться. У нее хороший характер — весела как птица! К ней, Лепорелло!

Лепорелло бросается к портрету маркизы де Тариф.

Стоп! Да подожди ты! *(Кивнул на бесконечно звонящий телефон.)* А почему у вас все время так мерзко звонит телефон?

Лепорелло. Это из главка, сударь, меня разыскивают. Там совещание по багету.

Д. Ж. (*усмехнулся*). Ты думаешь? А ну-ка, сними трубку.

Лепорелло (*послушно снимает).* Алло, вас слушают.

Женский голос. Париса можно?

Лепорелло. Париса?

Д. Ж. *(удовлетворенно).* Началось. *(Экзальтация его уже медленно спадает.)* Спроси, кто…

Лепорелло. Кто у телефона, поинтересуюсь?

Женский голос. Корина.

Д. Ж. Из Трои или из Рима?..

Лепорелло. Вы из Трои или из Рима, женщина?

Женский голос. Из Рима.

Д. Ж. *(зевая).* Ну, конечно, это Корина, «у которой стан так пышен и прям, юное крепко бедро»… Скажи, что я…

Лепорелло (*находчиво, в трубку).* Парис в пути, женщина!

Женский голос *(страстно).* Передайте Парису, что я жду его!

И вновь звонок телефона.

Лепорелло. Алло.

Другой женский голос. Овидия можно?

Д. Ж .(*совсем вяло).* Скажи…

Лепорелло *(демонстрируя понятливость).* Он на пути, женщина! *(Повесил трубку.)* Сударь, она тоже сказала, что ждет вас.

И снова звонок, бесконечный звонок телефона. Лепорелло хочет поднять трубку, но Д. Ж. с несколько брезгливой гримасой жестом его останавливает.

Д. Ж. Уже надоело. *(Зевнул.)* Все надоело. *(И погружается в свою задумчивость.)*

Лепорелло (*кивнув на звонящий телефон.)* Что все это значит, сударь?

Д. Ж. (*совсем сонно).* Я сам сообразил это только в семнадцатом веке… нет, даже в восемнадцатом, когда я был Казановой. Короче, все, кого я любил, не умирают.

Лепорелло (в *ужасе).* Как — все?!

Д. Ж. (*виновато*). Да, они рождаются вновь и вновь, но под другими именами, даже с другими лицами. Но я их всегда узнаю по взгляду: завороженный, грезящий взгляд, будто опрокинутый в себя… Они вспоминают… Они не могут забыть любовь Дон Жуана, ночь Дон Жуана… И они живут опаленные, с этим взглядом, и вечно ждут. И стоит мне объявиться на свете — они

устремляются мне навстречу… Сейчас они, должно быть, тоже уже собираются.

Лепорелло *(задрожал)*. Куда… собираются?

Д. Ж. Ну и отупел ты, братец, за двести лет. Сюда собираются! *(Декламируя.)* «И они идут на свидание с Дон Жуаном, с Парисом, с Казановой — кто с кем, каждому свое».

Лепорелло *(бросился к окну, взглянул вниз и в ужасе отступает)*. Сударь! Там толпа!

Д. Ж. *(подойдя к окну)*. Ну разве это толпа… Толпа еще соберется. *(Скучно.)* Мои любимые! Мои прекрасные! Я, как полководец, собравший ветеранов… «Прощайте, вы, пернатые войска…»

Лепорелло. Надо бежать. Пока не поздно! Скандал на мази, я чувствую!

Д. Ж. Я не могу бежать, Лепорелло, ты знаешь. У нас здесь осталось главное…

Лепорелло. Вы о чем, сударь?

Д. Ж. Не притворяйся, мерзавец! Ты понял.

Лепорелло *(торопливо)*. Я ничего не понял! Вы послали меня к маркизе де Тариф! Все! Я иду! Адью!

Д. Ж. (*дрожащим голосом, указывая на портрет, прикрытый холстом)*. И все-таки, Лепорелло, кто там?

Прыжком он бросается к холсту. Лепорелло тоже прыжком, ловя последнее мгновение, прикрывает ему дорогу. Они борются.

Лепорелло. Это не она!.. Клянусь!., д. ж. *(истошно)*. Уйди, убью мерзавца!

Отшвыривает Лепорелло, сбрасывает покрывало с портрета.

О, боги! Елена! Я так и знал!

Лепорелло. Это… Елена?! Ха-ха-ха!

Д. Ж. Прекрасная Елена…

Лепорелло. Это Прекрасная?! Хо-хо-хо! Да это же наша сотрудница! Ой, надорву животик! Елена?! *(Кричит.)* Я перепутал! Вы — не Дон Жуан! Вы — Дон Кихот! Вам Санчу Пайсу нужно!

Д. Ж. *(разглядывая портрет)*. А я давно постиг тайну Дон Кихота. Сервантес говорил, что записал книжку со слов безумца в смирительной рубашке по имени Дон Кихот. А это не был безумец, это был, как и я, рыцарь, явившийся в мир через сотни лет после своих подвигов и узнавший в посудомойке свою Дульсинею. *(Кричит.)* Елена! Ее носик! Как это было пленительно — увидеть среди идиотски правильных греческих носов вот этот легкомысленный, будто подмигивающий солнцу носик! Ты узнал этот носик? *(Замахнулся.)*

Лепорелло. Узнал, узнал.

Д. Ж. А стан? Этакая девочка-рюмочка… Ну, стан ты хотя бы…

Лепорелло. Узнал… узнал.

Д. Ж. Решено! Немедля! Я пишу ей письмо, а ты отнесешь. *(Пытаясь прийти в экстаз.)* Неужели она будет моею? Всю жизнь! Это божество!

Лепорелло *(отойдя на безопасное расстояние).* Нет, сударь…

Д. Ж. Не понял?

Лепорелло. Я не могу отнести ей ваше письмо… То есть могу, отчего не отнести, и отнес бы! Но посудите сами. Ну, в прошлые времена — слуга принес письмо. Это было ежу понятно. А сейчас — припрусь я, и она подумает, что вы дебил, инвалид. Подумайте о впечатлении!

Д. Ж. Но иначе нельзя.

Лепорелло. Почему, поинтересуюсь.

Д. Ж. Видишь ли, я сам постиг это только в тысяча шестьсот шестьдесят третьем году в Париже. *(Продолжает писать.)* Ты помнишь, у меня был приятель — Шарль Лебрэн, ну, первый живописец короля…

Лепорелло. Ну, еще вы соблазнили его сестру, а он меня бил палкой…

Д. Ж. Разве?.. Очаровательный был человек. И какие прелестные картины писал про любовь, каким успехом они пользовались у женщин! И вот однажды мне пришла в голову гениальная мысль: я пошел к этому Лебрэну и попросил открыть, как он достигает на лицах мужчин того выражения любви, которое столь пленяет милых дам. За десять луидоров он открыл мне. Оказалось, Лепорелло, прежде всего надо обратить внимание на глаза. Глаза влюбленного должны быть умеренно раскрыты, белок при этом яркий и блестящий, зрачок все время неотрывно смотрит в сторону предмета страсти. Все остальные черты сладкие от дыхания почтительной любви: рот приоткрыт немного, губы — влажные от нежных паров любви, поднимающихся от сердца… *(Все это он изображает на лице.)* Ну, как?

Лепорелло. Прелесть!

Д. Ж. Можно устоять?

Лепорелло. Ни за что.

Д. Ж. Но чтобы изобразить такое, мне надо привыкнуть к предмету страсти. Но ты же помнишь, в первое время я всегда изнемогаю от любви: я горю! И когда я вижу ее — страсть захлестывает, лицо сведено судорогой, глаза пылают, рот горит, зрачок блуждает… а она — что? Пугается! И поэтому в первое

время я могу лишь прохаживаться в сторонке, постепенно привыкая. И оттого я вынужден из века в век посылать сначала тебя! И оттого я не могу без тебя!.. Но вскоре страсть гаснет — и я уже легко могу изобразить на лице то выражение нежной любви, которое так ценил живописец Шарль Лебрэн. *(.Протягивает Лепорелло письмо.)* Получив письмо, она никогда не скажет: «Ах, какое умное письмо он мне написал», но всегда отметит умиленно: «Он написал мне целых десять страниц».

Лепорелло. Нет! Нет! Я не могу идти! Все равно не могу! (*Отскакивая.)* Не бейте! Умоляю!.. Я объясню! Я все объясню! Я мог бы пойти! Отчего ж не пойти! Но я не могу… потому что… потому что… только стойте там… *(Кричит.)* Она занята! В ее сердце другой!

Д. Ж. Ну?

Молчание.

Как — это довод?! Безмозглый тупица! *(Он гонится за Лепорелло.)* Три тысячи лет он изучает женщин бок о бок со мною — и ничего не запомнил! Только одни побои! *(Схватил его.)* Женское сердце?..

Лепорелло *(торопливо).* Сейчас там один, а через час…

Д. Ж. *(вопит).* Нет!

Лепорелло. Через полчаса!..

Д. Ж. Нет!

Лепорелло. Через минуту там другой!

Д. Ж. Как пошло высказано. Сразу видно — лакей. Насколько благороднее сказал поэт: «Но для женщины прошлого нет: разлюбила — и стал ей чужой…» Ты еще не ушел?

Лепорелло. Уйду! Отчего ж не уйти!.. Но сначала я все-таки скажу… Она — замужем!..

Д. Ж. Ну…

Молчание.

Как… это довод?! Мерзавец! *(Схватил за глотку.)* А что такое муж для Дон Жуана?

Лепорелло. Вы задушите. *(Хрипит.)* Это попутный ветер!

Д. Ж. Он заставляет нестись безрассудно и только вперед! О паруса кораблей! Ну ладно, иди!

Лепорелло. Но… но… вы не надписали письмо!

Д. Ж. Действительно… А как зовут Прекрасную Елену в этом веке?

Лепорелло. Анна.

Д. Ж. Итак, «Анне от Д. Ж.». В пятнадцатом веке ее тоже звали Анной, и в тринадцатом — тоже. А в Риме ее звали Юлия-

младшая… в девятом веке — Изабель! Как сладостны ее имена! «Дай ей имя, обильное гласными, прекрасное для уст мужчины».

Лепорелло. Нет, сударь, я не пойду, я не могу идти! *(Убегает.)* Я не могу идти! Ради вас! Не убивайте, выслушайте! *(Скороговоркой.)* Вы — легкомысленный! И вы забыли, что это роковая женщина! Вы всегда в нее влюблялись, а потом приходил Командор, и тю-тю — вы летели, в звезды врезываясь! А мне надоело! Я устал расставаться с вами! Я устал от ваших смертей!.. Нет, ради вас я не понесу письмо!

Д. Ж. А ты затронул тайну. *(Задумался.)* Устами дурака… *(Медленно.)* … А может быть, разгадка? *(Бормочет.)* Может быть, вся тайна здесь и скрыта? *(Жест на портрет.)* Каково предназначенье пчелы? Отвечай, сукин сын!

Лепорелло. Я так думаю — опылять цветы.

Д. Ж. Любить цветы, идиот! А дождь к чему?

Лепорелло. Я так считаю: поливать — поля, деревья, асфальт…

Д. Ж. Ласкать поля и деревья. Ты уже понял? Всему свое предназначенье. Дон Жуан должен порождать любовь, иначе эти прелестные создания просто завянут. Дай ей все, Лепорелло, но если у нее не было в жизни страсти — пусть самой гадкой, пусть самой несчастной, но страсти, — она не жила! И я шел по свету тысячи лет, раздаривая эту страсть, пока не встречал на пути ее *(жест на портрет)* — Елену… Изабель… Анну… и тогда все рушилось… и я влюблялся! И мое сердце уже не могло вместить то огромное шоссе, где по строгой разметке бредут толпы. Оно становилось костром. Но может ли пчела принадлежать одному цветку, а дождь одному полю? Нонсенс! Чепуха! Влюбленный Дон Жуан не нужен природе, и потому приходит Командор! Какая простая мысль!

Лепорелло. Замечательная мысль, сударь!

Д. Ж. А что, если избежать пламени?

Лепорелло. Вот я о том-то и твержу!

Д. Ж. А что, если не влюбляться в Анну?.. А попросту соблазнить ее, как маркизу де Тариф, а затем бросить этак холодно, по-донжуански? Что будет в результате? Я останусь Дон Жуаном? И у природы нет ко мне претензий? Итак, «соблазнить и не влюбиться» — вот весь эксперимент! Неси письмо!

Лепорелло. Но, сударь, три тысячи лет вы в нее влюблялись.

Д. Ж. Болван — мне сорок пять, в конце концов. *(Горько.)* В сорок пять не влюбиться — это просто.

Лепорелло. Сударь, вы все время твердите слово «природа».

Д. Ж. Это естественно, я атеист.

Лепорелло. Как?.. После вашего прибытия оттуда? *(Жест*

наверх.)

Д. Ж. Ну, это так понятно с точки зрения геометрии! А я люблю геометрию!.. Ты кончишь мне заговаривать зубы? *(Орет.)* Ты отнесешь письмо?

Лепорелло. Нет! (*Падает на колени.)* Нет! Я не могу! Убейте меня, но… не могу! Потому что… тоже… предназначенье…

Д. Ж. Что?!

Лепорелло *(ползая в ногах).* Да! И у меня предназначенье! Не вы один… Не убивайте… Я объясню! Когда-то… еще в Трое… я был вашим рабом. И мне казалось, что счастье — в свободе! Ах, как я ее жаждал. Но как-то вы соизволили умереть в очередной раз, и мне дали свободу. И что же оказалось? Став свободным, я должен был сам заботиться о себе. А что я умел? Только служить! И я стал служить одному, чтобы быть сытым… другому — чтобы быть одетым… И вместо одного хозяина у меня оказалось их тьма! И тогда я познал себя! Свое предназначенье! Быть слугою! И с тех пор я уже заботился только об одном: чтобы во все времена у меня был хозяин. Что я без хозяина? «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан», как сказал Достоевский. Вас не было двести лет, и естественно… *(Замолчал.)*

Д. Ж. *(трагически).* Так!.. И кто же твой хозяин?

Лепорелло *(застенчиво).* Иван Иваныч.

Д. Ж. Кто?

Лепорелло *(совсем смутившись).* Он заведует кустом наших фотографий. Но и это еще не все, сударь. Я лично сосватал ему… ну… ну, вашу… Елену, то бишь Анну… Она у нас приемщицей была до Деборы Савватеевны. Ну откуда я знал, что вы воскреситесь?

Д. Ж. Значит, Командора в этом веке звать Иваном Ивановичем?

Лепорелло (с *достоинством).* Я отказываюсь понимать вашу иронию! Он заведует кустом! Я хотел вам это все сразу открыть! Но вы предавались воспоминаниям! Вы слушали, как всегда, только себя!.. Надеюсь, не надо пояснять, почему я не могу нести любовное письмо к жене своего хозяина?

Д. Ж. Как интересно, значит, ты тоже экспериментатор: ты решил в этом веке служить сразу обоим: и Дон Жуану, и Командору.

Лепорелло *(строго).* Ивану Иванычу.

Д. Ж. Какой ты умный, Лепорелло, однако.

Дон Жуан подходит к нему и протягивает ему руку. Лепорелло с чувством ее пожимает. И тогда Дон Жуан молча притягивает его к себе и начинает бить сосредоточенно и

страшно. Стоны Лепорелло ужасны.

Лепорелло. Ой, больно… ой, не надо!

Д. Ж. Нет, это еще только твой жир почувствовал, а вот косточки в самой глубине… *(Продолжает бить.)*

Лепорелло (*избитый, поднимаясь с пола, стирает кровь со счастливой улыбкой).* Сударь, вот теперь я узнал вас. Хозяин! Вернулся!

Д. Ж. А насчет…

Лепорелло. Что вы! Есть одно солнце на небе! И только настоящий хозяин может так тебе врезать!

Оплеуха.

О!

Д. Ж. Для профилактики.

Лепорелло. Вот именно! А этого чертова Командора мы в гробу видали в белых тапочках! *(Распаляясь.)* Охламон! Заграбастать Прекрасную Анну! Не по чину берет! Выродок! Несу письмо! (*Подпрыгнул.)* Уж когда я служу… *(Вопит.)* Люблю служить! *(Услужливо.)* Но обычно с письмом вы всегда посылали цветы.

Но Дон Жуан не слышит его. Он стоит, постепенно погружаясь в свою страшную задумчивость, и выражение горя и добра снова на его лице. В тишине за окном становится слышен гам, гул голосов.

(Бросаясь к окну, грозно.) Что за шум, когда хозяин мыслит? *(Замеру окна.)* Там — тысячи! Боже мой!

Д. Ж. *(вяло).* Пришли…

Лепорелло. Сударь, улица запружена! Милиция! Мы погибли!

Рев сирены.

Д. Ж. *(бормочет).* Как я старался себя завести… А все равно… Скучно… видимо, возраст, сорок семь уже все-таки.

Лепорелло *(заорал).* Вы что стоите, сударь?

Д. Ж. Прекрати визжать.

Раздаются глухие удары в дверь и крики: «Откройте, откройте немедленно!»

Лепорелло. Все! Не уйти! Хана!

Д. Ж. Старый козел! Мы никогда не уходили в дверь в присутствии женщины! Подбери свой живот и… *(Он распахивает окно.)*

Лепорелло (в *ужасе).* Как?!

Д. Ж. *(выталкивая его в окно).* Вперед! По крышам! И только посмей мне разбиться! С таким письмом!

Лепорелло *(лезет на крышу).* А деньги на цветы?

Д. Ж. Болван! Цветы у нее! Стоят на столе! Я послал ей мысленно сто шестьдесят роз!

Лепорелло *(уже с крыши).* Как… вы остаетесь?

Д. Ж. *(глядит вниз с любовью и нежностью).* Увидеть их всех…

Удары в дверь. Под мощными ударами дверь распахивается, и вбегает человек.

Человек. Попрошу документы.

Д. Ж. *(не оборачиваясь, глядя в окно).* Нету.

Человек. То есть… как?

Д. Ж. Потерял, пока летел. Ветром унесло. Душа ведь нараспашку.

Человек *(ласково).* А чем здесь заниматься изволите?

Д. Ж. Двойное фото: я молодой, веселый, здороваюсь с собой — пожилым и печальным и пальцем себе грожу, а вы мне мешаете!.. Некорректно. Ну, я пошел.

Человек *(усмехаясь).* Не понял.

Д. Ж. А чего же тут не понимать. Я ведь русским языком говорю. *(Рявкнул.)* Ушел я. *(И Дон Жуан, раздвинув стену, исчезает.)*

Человек бросается за ним, судорожно шарит по стене и вытирает пот со лба.

В квартире Командора. Осторожно входит Лепорелло. Он снял туфли и проходит в носках, чтобы не испачкать пола.

Лепорелло. Побеспокоить позволите?

Командор *(мрачно).* Сам пришел? Ну, рассказывай, бедолага.

Лепорелло (*развалясь в кресле).* Не понял? О чем?

Командор. Ну и нахал ты, папочка! Мало того что безобразие учинил — меня вон в главк вызывают. *(Глотает валидол.)*

Лепорелло. Опять ничегошеньки не понимаю. О каком безобразии речь?

Командор (*даже поперхнулся).* Да ты… (*Еще проглотил валидол.)* Сегодня в пятнадцать пятнадцать около вашей фотографии толпилась очередь. По протоколу в очереди стояло сто двадцать тысяч двести восемь клиенток.

Лепорелло. Ах… ах…

Командор. А в это время, несмотря на рабочий час, на дверях красовался замок! Замок, Леппо Карлович, — в пятнадцать пятнадцать!.. А сто двадцать тысяч клиенток стояли за фотами!

Транспорт остановился, милицию вызывали!

Лепорелло. Так вы об этом? (*Совсем легко.)* Но это все не так: злые языки, Иван Иваныч.

Командор (*глотает таблетку).* А как?! Как было?! Второй валидол — умру я с тобою!

Лепорелло. Ну, во-первых, фота была закрыта потому, что в главке совещание по багету устроили, а сто двадцать тысяч двести восемь женщин стояли совсем не к нам!

Командор. А куда же?!

Лепорелло. Не выяснено: сами не помнят. Женщины — что с них взять! Твердят, будто дома сидели, обед готовили и вдруг — будто ветром их сдунуло.

Командор. Чем?

Лепорелло. Ветром… А после ветра им сразу показалось, что они в Севилье…

Командор. Где?!

Лепорелло. Вот и я тоже спросил: «Где?» — «В Севилье», — говорят! А некоторые, страшно сказать, про Рим упомянули… А другие — про Трою какую-то… Ужас! Ну а потом все вместе они такое загнули — про Дон Жуана!

Командор. Про кого?

Лепорелло. Про Дон Жуана… Ну, дежурный старшина только за голову схватился: протокол в корзину, всех отпустил, а сам быстрее на бюллетень и в дурдом слег.

Командор. Третий валидол глотаю… Ты мне русским языком скажи: что они тебе в жалобную книгу записали?

Лепорелло. Не пойму я вас. Я про Дон Жуана толкую, а вы мне про жалобную книгу… Чепуха какая-то! Чиста у меня жалобная книга, как белые ручки вашей супруги, раскрасавицы Анны… Как ее здоровье, поинтересуюсь?

Командор. Значит, выкрутился, прохвост?

Лепорелло *(мрачно).* А прохвоста, Иван Иваныч, отметаю.

Командор. Да что с тобой сегодня, Карлыч?

Лепорелло. А вы мне не тыкайте. И вообще, я вас о здоровье раскрасавицы спросил, а вы мне опять не ответили! Некорректно!

И вот тут из другой комнаты раздался голос Анны.

Голос Анны. Боже мой! Какая прелесть! Откуда? *(И появилась Анна с букетом роз.)* Ванюша, это ты?! *(Протягивае трозы.)*

Командор. Что… я?..

Анна. Ну, розы, вся комната моя в розах!

Командор, проглотив таблетку валидола, молча рванулся в

соседнюю комнату.

Лепорелло *(встав за Командором).* «Ну и розы! А какие крупные, как мухи в жару!»

Командор (*вернувшись, мрачно Анне).* Откуда розы?

Анна. Я сама не знаю. Я вхожу в комнату и вижу…

Командор *(кричит).* Откуда розы, я спрашиваю?!

Анна. Перестань сейчас же так со мной разговаривать! Я объясняю: вошла и стоят розы. Что еще?

Лепорелло. Не понимаю, чего расстраиваться! Это же розы стоят, а не червяки.

Командор *(не слушая, яростно).* Откуда розы?

Анна. Перестань кричать! *(Ушла, хлопнув дверью.)*

Лепорелло. Беспокоитесь? Еще бы! Такая раскрасавица!.. Но, Иван Иваныч, хочу обратить внимание — там их двадцать связок. Я подсчитал — по восемь штук в связке. Значит — сто шестьдесят роз… Так что и не беспокойтесь — ухажер больше трех розочек…

Командор *(щедро).* Ну, шести!

Лепорелло. И то **…** если грузин! Нет, это не ухажер. А может, это организация?!

Командор *(только рукой махнул).* Ну откуда они взялись? Не в милицию же звонить?!

Лепорелло. Ни за что! Зачем грубая сила, когда у нас есть разум. Значит, факт налицо: сто шестьдесят штук. Ишь, как пахнут! *(Заговорщически.)* Короче, Шекспир — у него и ответ есть.

Командор. Не понял.

Лепорелло. Еще бы! Такой плохонький был, бабы его не любили, ну ни в какую не любили! Хозяин у него одну, ну, в час отбил!..

Командор. У кого?

Лепорелло. У Шекспира. А гляди, кем он оказался… Но мы отвлеклись… Значит, у Вильяма Шекспира есть такая фраза. *(Визгливо.)* Пошла фраза: «Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам». Мысль понятна? Интеллигент, он всегда должен допускать возможность чудесного. Ты же интеллигент, папочка, у тебя образование высшее, ты вон в теннис играешь. Короче, в мысли на расстоянии можешь поверить? *(Кричит.)* Не задумывайся! Можешь или нет?

Командор *(растерянно).* Ну… могу…

Лепорелло. Ав жизнь на других планетах?

Командор. Могу.

Лепорелло. Ну, а в Дон Жуана? Вот сейчас откроется дверь и войдет!

Командор *(ошалело).* Могу.

Лепорелло *(целует его).* Тогда все спокойно. Короче, эти

розы и послал Дон Жуан.

Командор. Ты что же хулиганишь? Я же с тобой как с человеком…

Лепорелло *(печально)*. А еще говорили — можете поверить… Эх вы! Ну пусть супруга ваша, раскрасавица, нас рассудит. *(Кричит.)* Анюта!

Командор. Да какая она тебе Анюта?! Ты что сегодня — свихнулся?

Лепорелло *(мрачно)*. А за грудки не хватай, а то я тебя так схвачу.

Командор в изумлении опустил руки, входит Анна.

Мы сейчас спорим с супругом вашим: я говорю, что Дон Жуан есть, а он не верит. Я говорю — а кто же розы вам прислал — сто шестьдесят штук, а он опять не верит. И чтобы окончательно убедить его, я вам сейчас письмо вручу.

Анна. Какое письмо?

Лепорелло. От Дон Жуана.

Командор. Мерзавец! (*Вскочил, схватился за сердце и опускается на стул.)*

Анна. Что с тобой, Ваня? Леппо Карлович, на помощь!

Лепорелло. Не обращайте внимания… это у него от роз. В шестнадцатом веке, когда он был Командором, это у него тоже случилось в Бургундии. У него аллергия к розам. Сейчас пройдет.

Анна. Вы… вы…

Лепорелло *(визгливо)*. Пошла надпись на письме! Внимание! «Анне от Д. Ж.», что означает в переводе: «Донне Анне от Дон Жуана».

Вечереет. Дон Жуан и Лепорелло.

Лепорелло. Сто шестьдесят роз — потрясли! С письмом было похуже: разодрала в клочки, не читая. А тут очнись Командор Иван Иваныч — пришлось уносить ноги… **Д. Ж.** Ну что ж! Великолепно!

Лепорелло глядит в изумлении.

Наука любви сходна прежде всего с военной наукой. И оттого тут и там сходные правила. Например: «Возраст, способный к войне, подходящ и для дела Венеры. Жалок дряхлый боец, жалок влюбленный старик». То же и в тактике; Наполеон говорил мне, что самые удачные сражения начинаются, как правило, с неудачных выстрелов. И я замечу: самые удачные любовные победы начинались у меня…

Лепорелло. Ее дом, сударь. *(Указывает.)*

Д. Ж. *(деловито)*. Окна?

Лепорелло. Второй цокольный этаж… Влезть легко, я подставлю спину, а вы со спины… фить — в комнату!

Д. Ж. *(мрачно).* Дождик собирается.

Лепорелло. Это есть.

Д. Ж. Проклятье! Период ухаживания — самый тяжкий период. «Мы рабы, а она госпожа. Лени Амур не признает, отойдите, ленивцы. Тяготы все собраны в стане любви. Будешь лежать под дождем из небесной струящейся тучи, будешь, несчастный, дремать, лежа на голой земле». Однако холодает и холодает. После такой жары… А я так легко простужаюсь, Лепорелло. Сорок девять все-таки. Интересно, когда погаснет свет?

Лепорелло. Вынужден вас огорчить. По моим сведениям, там сейчас гости с нашей работы: приемщица Дебора Савватеевна и ее муж Авенир Петрович — альпинист, золотой значкист ГТО. А они, как правило, обожают анекдоты. Как начнут…

Д. Ж. Дождик пошел, черт побери! А может, рискнуть и с ходу появиться перед нею? Ну, помнишь, как в Бургундии. Там сидело триста гостей…

Лепорелло. Половину вам пришлось отправить на тот свет.

Д. Ж. Разве?

Лепорелло. Но убивать Дебору Савватеевну как-то… тем более у нее скоро пенсия, сударь.

Д. Ж. Проклятье! Гнусный дождик! И холодно, холодно!

Лепорелло. А может, за анекдоты и нам приняться? Вот ваш отец — Алонзо Хуфте Тенорио — вот был весельчак! Сколько знал анекдотов! За анекдоты его король сделал бароном! Помню, враги захватили его в плен и пытали, чтобы завладеть анекдотами. Но он не выдал им ни одного и умер молча, как герой.

Д. Ж. Заткнись! Такой мерзкой погоды не припомню.

Лепорелло. Ну что вы, сударь! В Риме в четвертом году новой эры в это время выпал снег, а вы только начали ухаживать тогда за Юлией-младшей.

Д. Ж. *(чуть оживившись).* Да, мы ехали тогда на носилках с Юлией. Она была равнодушная, я — пылал. И тут в носилках ей стало холодно, а на улице жгли поленья. Помнишь, что сделал я?

Лепорелло. Кажется, согрелись с нею у костра.

Д. Ж. Тупица! Я подошел к костру, приложил раскаленное полено к груди, и в пылании сожженной кожи на своей груди я отогрел ее озябшие руки. И в ту ночь, естественно… (*Замолкает и грезит.)*

Лепорелло. Грандиозно.

Д. Ж. А в семнадцатом веке, когда я вернулся израненный…

Лепорелло. Это когда вы прихлопнули герцога Гонзальво…

Д. Ж. Разве?.. В ту ночь я нашел у себя записку от Анны с одним словом: «Приезжай». Что сделал я?

Лепорелло. Поскакали.

Д. Ж. Лошадь пала на дуэли, прохвост. Нет, я побежал к ней на своих двоих!

Лепорелло. Фантастика!

Д. Ж. Я бежал десять километров, и след крови тянулся за мной.

Лепорелло. Кошмар.

Д. Ж. Высокие облака прошлого! (*Погружается в задумчивость, грезит.)*

Лепорелло. Сударь, гости ушли!

Дон Жуан думает.

Да придите вы в себя! Пора соблазнять! Очнитесь наконец!

Д. Ж. *(опомнившись).* Что?

Лепорелло. Гости смотались! За дело.

Д. Ж. *(пытаясь прийти в экстаз).* О милая! Наверное, сейчас сидит и грезит.

Лепорелло. Вот именно.

Д. Ж. *(распаляясь).* Этот взгляд! Божественные очи! От таких взглядов горели города и стрелялись люди! Лепорелло. Ну, все точно.

Д. Ж. И рядом этот пошляк!

Лепорелло. Наконец-то! Я вас узнал!

Д. Ж. Этот собственник, потягиваясь и зевая… рядом с ней!

Лепорелло. Читает «Футбол — хоккей» — он выписывает, я знаю.

Д. Ж. А она — прекрасная…

Лепорелло … убирает посуду со стола…

Д. Ж. Мочи нет! Сердце рвется, Лепорелло!

Лепорелло. Свет погасили! Можно! Пора!

Д. Ж. Подставляй спину, сукин сын.

Дон Жуан вскакивает на спину Лепорелло, надевает маску и вдруг задумывается. Экстаза как не бывало, а на лице тоска и добро.

Лепорелло *(снизу).* Вы его сразу прикончите?

Д. Ж. *(глухо).* Кого?

Лепорелло. Командора.

Д. Ж. Отстань, не мешай.

Лепорелло (в *ужасе).* Сударь, вы, кажется, задумались?

Молчание.

Вы почему не лезете в окно?

Д. Ж. *(стоя на спине Лепорелло, бормочет).* «Юдоль печали… Дом плача…» Какие слова!.. Как ранят сердце!.. Нет, я не могу соблазнять… Но почему? Почему?!

Лепорелло. Сударь, вы на мне, а не на ходулях!

Д. Ж. *(вопит).* Мерзавец! Не мешай думать!

На этот крик окно распахивается, и в окне — Анна. Видит Дон Жуана в маске.

Анна. Боже мой… кто это?

Д. Ж. *(торопливо).* Только не бойтесь… три тысячи лет я вас прошу не бояться… а вы… *(Замолчал.)*

Анна. Как странно… Но я вас не боюсь. А отчего вы в маске? Кто вы?

Д. Ж. Я всегда приходил к вам в маске сначала. Но вы просто забыли. Вы все забыли. Вспомните.

Анна. Откуда я знаю ваш голос?

Д. Ж. Я пришел к тебе, Анна, от Дон Жуана. Я пришел к тебе, Анна… Елена… Изабель… Юлия…

Анна. Вы — сумасшедший.

Д. Ж. Не надо. Ты ведь ждала этого прихода. Ты ждала с тех пор, как увидела цветы. Ты захотела чуда. *(Замолчал.)*

Анна. Как странно… Я вас слушаю, вместо того чтобы…

Д. Ж. Это потому, что ты уже начала вспоминать. Он любил тебя всегда. Он убивал ради тебя, и ради тебя он погибал, твой Дон Жуан, попирая смерть Великой любовью к тебе. *(Бормочет.)* Пошлость…

Лепорелло *(хрипит).* Сударь, назначайте свидание, иначе я помру.

Д. Ж. Он будет ждать вас в семь. Он будет…

И здесь Лепорелло не выдерживает и с криком падает. Д. Ж. тоже рушится вниз. Крик Анны. От шума просыпается Командор. Голос Командора: «Анна!»

Анна. Он проснулся! Беги!

Анна исчезает, а в окне появляется Командор.

Командор *(высовываясь).* Кто вы такие?! *(Кричит.)* Милиция!

Лепорелло *(снизу, мрачно).* Вот только раскрой коробочку! Ты по счету заплати сначала, а потом милицию зови. По счету получить пришли. Ясно?

Дон Жуан, охая, встает.

Командор *(сверху, растерянно).* По какому счету?

Лепорелло. А розы получил? Небось комнатку украсили,

Иван Иваныч! А платить кто будет — Петр Петрович? *(Скандально.)* На дармовщинку жить задумал?

Командор *(узнал).* Леппо Карлович?!

Лепорелло. Тамбовский волк тебе Леппо Карлович!

Дон Жуан и Лепорелло идут от дома Анны.

Дон Жуан. Как я надеялся, что она устоит! Сколько веков я надеюсь — скучно!

Лепорелло *(заискивающе).* Я вам честно скажу, сударь. Когда вы говорили, у меня просто слезы стояли в глазах… Кстати, этот охламон припустился за нами… Вы его сразу зарежете?

Д. Ж. молчит.

Только я одного не понял, сударь, почему вы сказали ей, что, дескать, не вы Дон Жуан? Почему вы называли себя «он»?

Дон Жуан *(яростно).* А я не мог говорить от себя всю эту пошлость! Мне все время стыдно, Лепорелло.

И еще: мне жаль ее… Ах, как я хотел, чтобы она прогнала!..

Голос Командора, догоняющего сзади: «Немедленно остановитесь!»

(*Продолжает, не обращая внимания.)* Ну, вдумайся, три тысячи лет я не даю ей покоя, разлучаю с мужем, убиваю его, потом умираю сам, и она все это выносит из-за одной ночи!

Командор *(догоняя).* В последний раз — остановитесь по-хорошему!

Лепорелло *(будто не слыша, Дон Жуану). Хорошо,* хоть свидание успели назначить. Но учтите, до семи остается уйма времени! Так что я, пожалуй, позабочусь… Они вас будут тоже ждать, хозяин.

Д. Ж. Кто?

Лепорелло. Маркиза де Тариф… она еще вам понравилась… ну, толстая… Потом…

Д. Ж. *(кричит).* Зачем?!

Лепорелло. То есть как это зачем? Обычно, назначив свидание одной, мы с вами всегда бежали к другой. Конечно, если это не была всепоглощающая страсть. Но, как я понял, в этом веке таковой не будет? В этом эксперимент.

Д. Ж. молчит.

И потому, сударь, я считаю своим долгом позаботиться: уж служить, так служить. *(Подпрыгнул от восторга.)* Кстати, если вы уложитесь до трех с маркизой, можно посетить и Корину — у нее в парикмахерской смена только с шести. Не понимаю вашей

задумчивости.

Д. Ж. Мне жаль его, Лепорелло.

Лепорелло. Кого?

Д. Ж. Командора. Все-таки немолодой человек. Я по себе знаю, как трудно в этом возрасте засыпать. Если бы к тебе заявился посреди ночи…

Командор *(догоняет*). Документы! Живо!

Лепорелло. Интересно, кто так громко раскомандовался, будто он на совещании по багету?

Командор. Значит, это все-таки вы, Леппо Карлович?

Лепорелло *(не отвечает*). Пооскорбляйте его всласть, сударь, а то он у нас горячий слишком. Ах, в тринадцатом веке вы его славно назвали — «гнусный старый змей», а в восемнадцатом, когда вы его проткнули, вы так остроумно выразились: «Старого учить, что мертвого лечить».

Командор. Да я уничтожу тебя, да я вышлю тебя на сотый километр! *(Орет.)* Немедленно сообщи мне фамилию этого… *(жест на Д. Ж.)*.

Лепорелло *(Дон Жуану)*. Просто и не знаю, как нас представить, сударь… Ведь не верит он в вас… И вообще, ваша милость, что с ним делать: в Дон Жуана — не верит, за розы — не платит, к прохожим ночью — пристает, да еще и тыкает!..

Схватил за горло. Командор вырывается.

Д. Ж. Отпусти его, не надо, я не хочу его убивать. Слышишь?

Лепорелло. Да что с вами, хозяин? *(Отпустил Командора.)*

Д. Ж. *(Командору)*. Если у вас ко мне какие претензии — сообщите, и, может быть, мы все уладим и мирно разойдемся в этом веке.

Командор. Претензии! Вы… вы преследуете мою жену!

Д. Ж. Это ошибка.

Командор *(заревел)*. То есть как ошибка!.. Когда…

Д. Ж. Ошибка именовать это словом «преследовать». Это называется «любить». Это большая радость и печаль одновременно.

Командор. Или ты идиот, или ты негодяй. *(Закричал.)* Я запрещаю вам! Торчать у моего дома! Я…

Д. Ж. К сожалению, это не в вашей власти. И это было ошибкой во все наши предыдущие встречи.

Командор. Да я вижу тебя в первый раз! Ты… ты…

Д. Ж. Вам надо понять: можно запретить переходить улицу при красном свете. Еще что можно? Ну, многое можно запретить. Но три вещи — дышать, думать и любить, — всего три вещи запретить нельзя. Если вы это поймете, все будет спасено.

Командор. Ну точно, идиот!

Д. Ж. На это трудно ответить. Много веков я размышляю над тем, что такое нормальный человек. Вот Лепорелло — нормальный. Почему? Потому что всегда интересовался нужными вещами: зарплата, где лучше пошить тогу, автомобиль, знакомство с центурионом и т. д. А вот вещи ненужные: река, облака, деревья…

Командор. Послушайте! Оттого что вы псих — мне не легче. Короче, я не уйду, пока вы не поклянетесь не преследовать мою жену. Я имею право на это, потому что я муж. Хоть вы идиот, но это вы понять можете — я муж.

Д. Ж. Поэтому я и беседую с вами. Слушайте, давайте все-таки не совершим непоправимых ошибок, и тогда мы избавимся от трагедий в этом веке! Вы — муж, и замечательно! Я с удовольствием буду вас уважать. Две тысячи лет назад я, по-моему, очень удачно написал о мужьях в Риме: «Главное, ты не забудь понравиться мужу подруги. Станет полезнее он, сделавшись другом твоим»…

Командор. Все! Надоело! Сейчас я дам тебе по роже!

Д. Ж. Как жаль! (*Совсем тоскуя.)* Этого я уже не смогу позволить. (*Лепорелло.)* Я сделал все, чтобы избежать…

Лепорелло. Да уж, слушать было противно!

Д. Ж. Как я тоскую! Только как же все это произойдет? *(Бормочет.)* Кинжал? Это для разбойников… Шпаги… у меня нет. Тогда сак же?

Командор *(задыхаясь от ярости).* Что ты бормочешь? Что «как же»?

Лепорелло. Как он тебя убьет, змей! Вот что! И не мешай думать хозяину!..

Командор. Вы… негодяи… я позову милицию. Я… вы… вы… вы… я… вам… вас… *(Схватился за сердце.)* Валидол… (*Падает, умирает.)*

Лепорелло. С приветом, Вася! Умер!..

Д. Ж. Несчастный.

Лепорелло. Вот это век! Не надо шпаг! Не надо крови! Все прилично. *(Командору.)* А все кричал: «Нету Дон Жуана!» *(Пихнул ногой тело.)* Ан — есть!

Д. Ж. Как жаль! Ему пятьдесят лет, не более.

Лепорелло. Не более?! В семнадцатом веке он считался бы стариком, а тут погляди — джинсы, теннисом занимался. Все молодился, оттого и надорвал сердчишко. Истинно утверждали в Риме: Становись стариком рано, если хочешь пробыть им долго».

На следующий день. Дон Жуан и Лепорелло.

Лепорелло. Сударь, двенадцать часов дня… Сейчас придет

маркиза де Тариф. **Д. Ж.** Как? Уже двенадцать?! Невероятно летит время. Мне уже пятьдесят один! Бабочка живет день, и ей хватает… А я прожил… *(Закричал.)* Вранье! Бабочка живет день, и ей не хватает! Я живу три тысячи лет — и мне тоже мало! Мир! Ловушка для живого! Год! Тысяча! Сотни! Все сливается! Боже! Мне уже за пятьдесят, а жизни ведь не было! Я все тот же мальчик Парис! Пятьдесят! Это какой-то сон!.. Какая скука… Зачем! За что? *(Орет.)* А я не жил! Я не сил! Я не жил! И вот уже — «жил-был я»… *(Он задумывается.)*

Появляется Маркиза де Тариф. Одновременно начинает играть траурный марш. Лепорелло поднимает большой венок с надписью: «Ивану Ивановичу Командору от фотографии 13».

Лепорелло. И не забудьте про семь часов. *(Удаляется.)*

Маркиза де Тариф. Сколько решалась, прежде чем пойти, лапочка. А ты по правде меня любишь?

Дон Жуан. Только помолчи. *(Он становится на ходули, обратив лицо к солнцу.)*

Маркиза де Тариф. А почему мне молчать? Я говорить люблю! А почему ты на ходулях? Ух, ты сейчас на одного циркача знакомого похож! Да ты не волнуйся, у меня с ним ничего не было, чисто дружеские отношения. Скажи, мне идет эта прическа? Ты знаешь, как жалко, что ты меня не встретил, когда я с юга приехала. Я когда загораю, эффектная очень.

Д. Ж. Я прошу тебя — помолчи.

Маркиза де Тариф. А мы куда сейчас пойдем? Знаешь, чтобы было что вспомнить.

Д. Ж. Никуда, наверное.

Маркиза де Тариф. Почему?

Д. Ж. Потому что… мне жалко тебя.

Маркиза де Тариф. А чего это ты меня разжал елся? Что я — дефектная? Вон у меня подруга — так у нее ноги кривые, будто она на цистерне до Киева ехала — вот ее и жалей! А я сама кого хочешь пожалею! Я вон китов голубых в субботу по телевизору жалела. Их мало осталось, и они не могут воспроизводиться. Вот плывет голубой кит по океану и ищет голубую китиху, а ему навстречу — все не те! Все не те!

Д. Ж. Молчи, прошу… *(Бормочет.)* Какой позор! Как хорошо светит солнце. Ветер в травах… Я воспринимал мир несправедливо. Я думал: страдать, болеть и умереть… Я думал — это злое устройство, ловушка для смертных… И вот я уже достаточно постарел, чтобы полюбить жизнь… «Молодость обманула, юность увлекла, а старость успокоит…» О, радость жалеть… О, радость страдать… *(Вытер слезы.)*

Маркиза де Тариф. Какой ты странный, лапочка… То

кричишь, то плачешь. Может, у тебя грипп?

Д. Ж. Это с детства. В детстве, в Трое, люди жили все вместе — среди улиц… И человек не был человеком в себе, он был весь наружу, и герои плакали перед толпой… Люди так переменились за три тысячи лет…

Маркиза де Тариф. Лапочка, ты все говоришь, а я не понимаю. И зачем пришла?

Д. Ж. Я просил тебя помолчать.

Маркиза де Тариф. А что это ты голос повышаешь? Что я — собственная, что ли? Аферист какой-то! *(Кричит.)* Ненормальный!

Д. Ж. Мне дадут спокойно подумать?! Однажды в три тысячи лет?!

Маркиза де Тариф. А ты не ори на меня! А то я знаешь как сейчас заору?!

Д. Ж. Вон! Вон! Понятно?

Маркиза де Тариф рыдает. И тогда-то вбегает Лепорелло. Увидев рыдающую Маркизу де Тариф, он приходит в восторг.

Лепорелло. Наконец-то! Вот этак по-нашему! *(Сгордостью.)* Хозяин! *(Маркизе.)* Что поделаешь, голубь! Дон Жуан! Соблазнил да и выгнал — и весь сказ!

Маркиза де Тариф *(лупит Лепорелло)*. Фиг! Фиг! Фиг! Наряжалась, выходной взяла! И все зря! Опять как корыто на именинах! *(Убегает.)*

Лепорелло *(в ужасе, он понял)*. Не соблазнили?

Д. Ж. молчит.

Сударь, что же это вы со мной делаете? *(Холодно.)* Меня били за разное… но за это, сударь, — никогда! Я сгораю от стыда! Я прошу объяснений.

Д. Ж. Мне жаль ее, Лепорелло.

Лепорелло. Если бы жаль было, вели бы себя по-другому. *(Взглянул на часы.)* Уже пять вечера. Корина, конечно, отпадает — тю-тю. С вашими настроениями нам с Анной управиться бы! Надеюсь, вы помните, что в семь часов у вас эксперимент!

Д. Ж. Отстань!

Лепорелло. То есть как это — отстань, на часах уже пять тридцать. А вам надо подкрепиться.

Д. Ж. «И сверкая хрустальной росою, время бежит».

Лепорелло. Сударь, вы ушли из дома с ее мужем, который после этого умер. Вы представляете, что она вообразила! Сколько красноречья вам придется потратить! В Бургундии, после того как вы проткнули герцога Гонзальво, вы ползали по залу девять часов подряд, на коленях!.. А вы — голодный!

Д. Ж. Ползать не ползать, все равно простит… Как скучно!

Лепорелло. Послушайте, уже без пятнадцати семь.

Д. Ж. *(пытаясь завестись).* Да… да… конечно… «Пылала жасминная кожа, как даль перламутра морского…»

Лепорелло. Ну! Ну!

Д. Ж. «… И бедра ее метались, как пойманные форели…» «Слыша, как стонет в ночи — о, подожди! подожди!» *(Зевнул.)* Не могу! Смешно… и скучно… И главное, жаль. Ее… тебя… всех… *(Становится на колени.)* Простите меня.

Лепорелло *(яростно).* Семь часов вечера!

Д. Ж. Уйди!

Лепорелло. То есть как это «уйди»?! Семь часов. Д. Ж., вас ждет женщина! Вы — Д. Ж. или вы не Д. Ж.?!

Д. Ж. *(бормочет).* Дон Жуан тире Овидий тире Парис тире Казанова. Превращение виноградной лозы в вино, зерна в семя… это вечное движение — коловорот. Движение есть сущность избранников. Они — дрожжи, но это удел молодых. А старики кричат: «Остановись, мгновенье»… Размышляющий Дон Жуан?.. *(Захохотал.)* Я не нужен, Лепорелло. Я стал старый. Я не хочу больше движения. Я могу только глядеть на траву под ветром и лепетать библейские слова, а все другое мне мешает. *(Кричит.)* Раздражает! Поди прочь!

Лепорелло. А что же будет теперь со мной? Иван Иваныча-то… вы…

Д. Ж. Мне очень жаль, Лепорелло, но тебя, должно быть, тоже не будет… Если нет Дон Жуана, зачем держать его слугу? *(Задумался.)*

Лепорелло. То есть как это — не будет? Я жил три тысячи лет! Я не хочу умирать! Сударь, я привык жить! (*Бегает вокруг задумавшегося Дон Жуана.)* Пожалейте! Но должна же быть в вас хоть капля жалости?! Я жил три тысячи лет, у меня жена, дети! *(Орет.)* Я не хочу умирать!

Д. Ж. молчит.

Значит, вы не Дон Жуан?! Значит, Бога — нет?! А я штабс-капитан?! И Лепорелло убегает. Д. Ж. продолжает стоять в глубокой задумчивости. Стоит он так очень долго. И вот уже часы бьют одиннадцать.

Д. Ж. *(будто очнулся, он посмотрел на часы, вздохнул).* Уже одиннадцать часов вечера… Да, жизнь прошла… пятьдесят семь, в конце концов. *(Посмотрел на часы и вдруг заторопился, бормочет.)* Анна… Анна…

Д. Ж. в маске, медленно передвигаясь на ходулях, подходит к дому Анны. Из раскрытого окна ему становится слышен голос

Анны.

Голос Анны. Я погибаю от нежности. Это как смерть… Милый, милый…

Д. Ж. *(засмеялся).* Вот и образовалось… Она уже кого-то любит. *(Добро.)* Моя прекрасная…

Голос Анны. О, не спеши… О родной… родной…

Д. Ж. Я не ревную… Я достаточно стар, чтобы обрадоваться чужому поцелую, чужому счастью… Прекрасная Анна.

Голос Анны. О! О… О моя радость!.. Я так трудно всегда привыкаю… а тут… Как же я сразу тебя не узнала… Я не прощу себе… Я не смотрела на тебя, когда ты приходил к нам… О мой любимый… Как же я не узнала!.. О Дон Жуан!

Д. Ж. *(вытер пот со лба).* Я схожу с ума!..

Голос Анны. А знаешь, когда мне только передали твои слова… я сразу все вспомнила: и голубое небо, и твои объятия, и даже кровь… Милый! Ничего не было, слышишь? Без тебя я не жила! Я ждала! Ты шел ко мне! Сквозь века! «Великая любовь»… Какие слова! Мы снова вместе! Ты любишь? Ну скажи, это так прекрасно — произносить это слово! Почему его боятся произносить, это слово — «люблю», «любить», «любовь», «любимый»… Ты любишь?

Голос Лепорелло *(из окна).* Люблю.

Д. Ж. Проклятье! Убить мерзавца!

Д. Ж. пытается раздвинуть стену, но стена на этот раз недвижна. Тогда он вскакивает на ходули и через окно врывается в комнату. В комнате Анна, Лепорелло, а на подоконнике — Д. Ж.

Анна. Боже мой!

Д. Ж. Убью! *(Прыгает в комнату.)*

Анна. Не надо! *(Пытается загородить своим телом Лепорелло.)* Милый! Беги!

Лепорелло. Спокойно, Аннушка… (*Поднимается, драпируясь в одеяло.)*

Анна. Нет! *(Кричит.)* Тебя опять хотят убить! Беги!

Лепорелло. Не пойму, в чем дело, гражданин.

Д. Ж. Подлец. Я — Дон Жуан.

Анна в ужасе глядит на Д. Ж.

Лепорелло *(спокойно).* Ишь ты, а я думал, ты — Евгений Онегин.

Д. Ж. Мерзавец! Подлец!

Лепорелло. А глоткой нас не возьмешь! Мы и не такое слыхали… Ты — логикой! Если ты Дон Жуан — геометрию любить должен! *(Хохочет.)* Значит, Дон Жуан — никак не

меньше? А я кто же тогда, выходит?

Д. Ж. Ты… ты… негодяй!

Лепорелло. Тогда начнем рассуждать. *(Визгливо.)* Внимание! Аннушка, пошло рассуждение: он — Дон Жуан. Тогда вопрос к нему. *(К Д. Ж.)* А зачем вы сюда пожаловали, мужчина, поинтересуюсь, да еще так некорректно — через окно?

Д. Ж. Подлец! *(Анне.)* У меня свидание… с тобой! Как же ты… «Великая любовь». *(Задохнулся.)*

Лепорелло. Отлично. Значит, у вас свидание? Во сколько же?

Д. Ж. В семь, сукин сын.

Анна вскрикнула.

Лепорелло. Тогда, поинтересуюсь, сколько у нас на часах? *(Рявкнул.)* Тебя спрашивают?!

Д. Ж. *(глухо).* Полночь.

Лепорелло. Тогда еще вопросик, совсем уже ясный, гражданин… А может ли Дон Жуан опоздать на свидание на пять часов?.. Нет, на час? Нет — на полчаса?.. Нет… на минуту?! *(С негодованием.)* Бывало ли с ним такое за три тысячи лет? Что же ты молчишь? *(Орет.)* В Севилье я бежал к тебе, Анна, десять километров в тысяча шестьсот тридцатом году, и кровь так и хлестала, но я поспел… *(К Д. Ж.)* Что замолчал?

Д. Ж. Ты… ты… лжец!

Лепорелло. Опять ерунду порешь. Бывает ли ложь в любви? Может ли Дон Жуан произнести подобную хреновину? И тут неувязочка, так что придется выяснять личность, а то все под масочкой… (*Срывает с него маску.)* Гляди-ка, Аннушка…

Дон Жуан закрыл лицо руками, но Лепорелло раздвинул его руки.

Эти набрякшие мешки под глазами… да ты… старая калоша! *(Хохочет.)* А может ли Дон Жуан быть старым? Ну сам посуди, морда, что молчишь? Погляди-ка мне в глаза, видал? Горят мои глаза! Потому что — орел! Дон Жуан! А у тебя? Слезятся?!

Анна. Но почему я знаю этот голос… Почему я помню… лицо?..

Лепорелло. Но, ласточка! Так он же приходил к тебе от меня три тысячи лет подряд! Он же слова мои приносил вчера! Это же он — мой слуга Лепорелло!

Д. Ж. застонал.

Только он у меня немножко стал… того… с приветом, от старости… Дебил!.. Все-таки три тысячи лет служить! И кто его только не бил, сердечного… за эти годы… Ведь так, Сганарель?

(Внезапно дает пощечину Д. Ж.) **Д. Ж.** Ты… ты… ты… *(Бросается на Лепорелло.)* Лепорелло *(легко сбивая его с ног).* Но — тихо! Тихо, Калатинион! Я ведь теперь твой хозяин! А? Что? Гармония! *(И он начинает беспощадно лупить Д. Ж.)* Анна *(истерически).* Не надо! Я прошу! Лепорелло. Что ты… Это ему хорошо для здоровья. Врачи с поликлиники говорят, что от трепки он в себя приходит! Так, Сганарель? *(Анне.)* У него три имени: обычно я зову его Сганарель. Ну а когда он ведет себя хорошо, зову ласково — Лепорелло! Ну а когда плохо — Калатинион — от слова «колотить».

Беспощадно лупит Д. Ж. — Д. Ж. падает.

Д. Ж. *(хрипло).* Не надо бить.

Анна в ужасе смотрит.

Лепорелло. Ну вот и получше пошло дело. *(Взглянул на часы.)* Принеси-ка портфельчик, Аннушка… В прихожей он… Пора нам.

Анна, оглядываясь на Д. Ж., пятясь, уходит.

Что ж ты, ботинки снять не мог — наследил… А я, честно скажу, боялся! Думал, все-таки ты — Дон Жуан, специалист, тысячи лет практики! Но правду говорил отец в древности: «Не боги горшки обжигают». Я хоть прост, да смекалист. Оказалось, главного ты не знал: за три тысячи лет не понял, тупица. Главное — не стихи. Главное — молчать. Скажи ей: я — Дон Жуан. И — в тряпочку! Дальше она все за тебя выдумает, как ей захочется. Женщины — они такие фантазерки! И не балованные… Все обижаешься?.. Да ты благодарить меня должен! Тебя воскресили, так ты трудись. Не хочешь работать, хочешь думать — освободи место!..

Возвращается Анна с портфелем. Д. Ж. неотрывно глядит на нее.

Анна. Что ты смотришь на меня, старик?

Д. Ж. Я жду, когда ты вспомнишь «великую любовь».

Лепорелло. Ах, ты опять за свое?! *(Рванулся.)*

Анна. Не надо. Оставь его.

Лепорелло остановился.

Я вспомнила. Я расскажу тебе, лакей. «Великая любовь»… это жить им — днем, ночью, на рассвете, задыхаясь в подушку от слез. Это когда сжигает… это когда он опоганил твой дом, убил твое замужество, ограбил твою постель… а-а-а, еще вспомнила: «Великая любовь»… это когда тебя все проклинают! Тысячу лет подряд называют шлюхой! Обвиняют во всем — в том, что из-за тебя сгорела Троя, в том, что плохо учится его ребенок, что погиб твой муж, что его жена дурно выглядит… «Великая любовь» — это

снотворное, снотворное… снотворное… и слезы… и больная голова, и желчь во рту… «Великая любовь» — это анализы мочи… и страх… и…

Д. Ж. (в *ужасе*). Ты… ты…

Анна *(прерывая его, кричит)*. Нет! Я не знаю, кто ты! И я не хочу знать! (*Указывая на Лепорелло.)* Но с ним… я так мечтала о великой любви! (*Засмеялась.) А с* тобою я ее тотчас вспомнила… Ты украл у меня даже это… За что?! Проклятый старик! Лакей! *(Кричит.)* Уйди! Уйди! *(Бросается к Лепорелло.)* Мне спокойно с тобой. Зачем он пришел?

Лепорелло. Все будет хорошо, Аннушка. Ты красивая, с тобою куда хочешь пойти не стыдно. Все будет в ажуре… Только… постараемся без излишних разговоров… ты ведь знаешь, у меня в этом веке — фотография, я не один — дочь-невеста, совещание по багету… *(Визгливо.)* О, как я тебя люблю! А дальше — пошли мои стихи про любовь! *(К Д. Ж.)* Вспоминай!.. Мне что, два раза повторять? *(Замахнулся.)*

Д. Ж. *(хрипло)*. «Как сладко на земь пасть, томиться в рабстве страсти… и все ж, чем страсти власть, нет сладостнее власти». *(ИД. Ж. начинает хохотать. Он хохочет страгино, до колик. Постепенно он замолкает, а потом еле слышно произносит.)* Командор… Командор… *(Громче.)* Командора — ко мне! Командор!.. *(Вопит.)* Командор! Командор!

Все молчат. Тишина.

Лепорелло. Сганарель… а Сганарель…

Д. Ж. (*еле слышно*). Командор… Командор…

Лепорелло. Сганарель… а Сганарель!.. (*Швыряет ему в руки портфель.)*

Д. Ж. *(задыхается от слез и бессмысленно глядит на портфель)*. Не помню!.. Я не помню…

Лепорелло. А тысяча шестьсот тридцать второй год? А река Гвадалквивир — этот хрустальный рубеж между Севильей и Трианой!.. Ты тоже не помнишь? А, Сганарель? (*Лупит его.)*

Д. Ж. (*вздрагивая от ударов, бессмысленно*). Помню… помню… помню…

Она в отсутствии любви и смерти

Часть первая

На сцене: четыре комнаты, кухня и ванная — это как бы одна огромная малогабаритная квартира. Но это только «как бы», ибо на самом деле все эти помещения принадлежат разным владельцам, все они взяты из разных квартир, в самых разных концах огромного города.

И только первая и вторая комнаты находятся в одной квартире.

Первой комнатой владеет Она: 18 лет, миловидна, не более, одета в серенькие польские джинсы и в голубую байковую кофточку (уличный вариант) или в коротенький серенький балахончик (так она ходит дома). На стене висит еще одна ее любимая вещь — красная поролоновая куртка, оставшаяся со времени ее 14-летия. (Вещи свои она любит, хранит подолгу им верность, высокомерно не замечая, что они старенькие и немодные, ибо с ними у нее всегда что-то связано.) Ее комната — узкий пенал, где помещаются всего три предмета: письменный стол, вечно раскрытая кресло-кровать и магнитофон. Это удобно, потому что можно лежать на кресле-кровати (любимая поза) и доставать до стола, а главное — до магнитофона. Но это и не очень удобно, потому что, задумавшись, она начинает разгуливать по комнате, как по улице: откинутая голова (гордость) и устремленные в небо глаза (сомнамбула), — и оттого она бьется, по очереди, сначала об угол стола (вскрик), потом о кресло-кровать (проклятия!). Это повторяется изо дня в день, но откинутая голова и устремленные в небо глаза остаются.

Окна в ее комнате всегда раскрыты, и комната наполнена немыслимым солнцем (южная сторона) и невообразимым грохотом трассы (дом стоит на шоссе). Она выросла в этом грохоте и совершенно к нему привыкла. Для нее в этом только большое преимущество: она может свободно разговаривать в своей комнате вслух — сама с собой, как с подругой, ибо из-за шума ничего не слышно в той, во второй комнате, которую занимает Ее мать.

Вторая комната — комната ее матери. Проходная, большая и тихая (окна во двор). Здесь все как у всех: трельяж, телефон на полу на длинном шнуре (о который Мать периодически спотыкается), большая тахта (можно залезать с ногами) и зеленое кресло из югославского гарнитура. Ее матери «за тридцать», но

Мать — прелестна: она кажется совсем юной в голубеньком несминаемом джинсовом костюмчике.

Третья комната находится на другом конце города и принадлежит Подруге ее матери. Это точно такая же комната, с точно таким же югославским креслом (только желтым). Подруга — сверстница ее матери и одета в точно такой же джинсовый костюм, только Подруге он не идет, потому что подруга маленькая, толстенькая и некрасивая. Естественно, зато подруга очень энергичная и просто ни секунды не может усидеть на месте, все время носится по комнате или убегает в невидимую нам кухню (точно так же спотыкаясь о шнур телефона на полу).

Далее идет кухня совсем в другой квартире. В этой кухне, загроможденной джазовыми инструментами, три юнца, тихонечко импровизируют некую мелодию. Двое — очень высокие, гнутые, с прекрасными длинными волосами. Третий — тоже длинноволос, но маленький — Маленький джазист с подпрыгивающей походкой, нервно сгрызающий свои ногти. Маленький джазист — хозяин на кухне, он руководит двумя высокими.

Рядом с кухней — ванная в Его квартире (а точнее, как положено в малогабаритных квартирах, — совмещенный санузел). Перед зеркалом с электробритвой стоит Он. Ему тоже «за тридцать». Он молча стоит с жужжащей электробритвой, разглядывая свое отражение в зеркале.

И наконец, последняя пустая комната, погруженная в темноту. Вся ее мебель — стол и два стула — почему-то сдвинута в угол и уложена на кровать. Это нагромождение покрыто автомобильным брезентом — и есть что-то ужасное в этой бесформенной куче.

Такова эта странная малогабаритная «квартира», составленная из разных помещений, соединенных на одной сцене.

Рядом с этой «квартирой» угол лестничной клетки и телефон-автомат на стене.

Когда начинается действие:

Он в ванной стоит перед зеркалом с электробритвой, а джазисты в кухне тихонечко играют.

Ее мать в своей комнате сняла телефонную трубку. Не стала набирать номер, а расхаживает, в задумчивости, с телефонной трубкой в руках *(споткнулась о шнур: «Ах черт!»),* а ее Подруга в своей комнате пытается дозвониться Ее матери, в нетерпении вскочила и тоже споткнулась о шнур телефона *(«Ах черт!»).*

Она в своей комнате, по очереди ударившись о стол *(«Ах черт!»)* и об угол кровати *(«Черт!»),* улеглась наконец животом на тахту и успокоилась. Потом как-то сладко долго потянулась и, изгибаясь всем телом, жмурясь в потоке солнца, медленно

стаскивает с себя балахончик, будто сдирает кожу, и стоит полуголая в бешеном потоке солнца. Потом плюхнулась на кресло-кровать, включила магнитофон *(щелчок)*.

В это время ее **мать** — все так же с телефонной трубкой в руках — подошла к ее двери, толкнула — но дверь заперта. Мать стучит. Она не двигается.

Мать. Оглохла?! *(Стучит.)* **Она** *(не обращая ни малейшего внимания, шепчет в микрофон)*. Каждое утро, проснувшись, я ощущаю ваши губы с такой физической реальностью, что становлюсь безумной. И со всей силой этого безумия говорю вам: я вас люблю.

Мать колотит в дверь. Одновременно, будто по сигналу, начинается стук во все двери. В ванной, где **Он** по-прежнему стоит у зеркала, стук в дверь и голос его жены.

Голос его жены. В доме — ничего! Ты не СХОДИЛ даже за нарзаном… А люди придут в гости! Что ты молчишь?

Он. Я думаю.

Голос его жены. О Боже! О чем?! О чем?!

Он молча укладывает электробритву в футляр и выходит из ванной. Одновременно стучат в дверь кухни, где играют джазисты, и старческий голос кричит из-за двери: «Котик! Семь часов! Ты просил сказать, когда будет семь!» И тогда Маленький джазист складывает инструменты и уходит, а двое других, будто не замечая его ухода, будто в наркотическом опьянении — продолжают мелодию. В это же время Подруга, в очередной раз тщетно набрав номер матери, в бессильной ярости колотит в собственную дверь. Наконец общий стук внезапно прекращается, и только Ее мать продолжает тщетно барабанить в ее дверь. Она спокойно взглянула на часы, надела байковую кофточку, джинсы, поролоновую куртку и как-то сонно открывает дверь и глядит на Мать с телефонной трубкой в руках. Усмехнулась. Мать поняла ее взгляд и торопливо, неловко положила телефонную трубку на ковер.

Мать. В куртке будет холодно. Поддень кофту.

Она. В кофте будет жарко.

Мать. Милая, у тебя скоро экзамены… Без кофты не пойдешь.

Она. Хорошо, я понесу кофту в руках.

Мать. Это твое дело. Привет Эрике. Кстати, почему Эрика никогда к нам не зайдет?

Она молча и по-прежнему сонно смотрит на мать. Мать, видимо, привыкла не получать ответов, поэтому безостановочно продолжает спрашивать.

Когда ты вернешься?

Она. Не знаю. Я сначала пойду в парикмахерскую.

Мать. В какую парикмахерскую?! Ты собиралась к Эрике.

Она. Сначала я пойду в парикмахерскую.

Мать. Милая, сегодня предпраздничная пятница и все…

Она (*бесстрастно*). «Сидят в парикмахерских…» Я знаю. Я прошу тебя: дай мне деньги на парикмахерскую.

Мать *(будто осененная мыслью*). Как же я сразу не поняла! Ну, конечно! Ты пойдешь в парикмахерскую, чтобы проторчать там в очереди до вечера, да? А потом будет поздно идти к Эрике, да? И ты вернешься домой! Ты решила посмотреть, кто придет ко мне, да?

Она (*все так же без выражения).* «Ты решила испортить мой единственный вечер». Нет. Я не вернусь домой рано. Подходит?

Мать. Это ты сможешь! Чтобы я сошла с ума от страха… (*Вдруг кричит.)* Я не умею! Я не могу с тобой!

Она *(миролюбиво).* Что делать, ты молодая мать.

Мать. Да! Да! *(Сразу переключаясь, легкомысленно — весело.)* Знаешь, вчера мне один тип из третьего подъезда сказал, что когда мы с тобой идем по улице…

Она … То издали я выгляжу старше тебя.

Мать (*устало).* Какая ты все-таки жуткая… *(Подумав.)* Ну что ж, я не хотела тебе говорить, но ты вынудила… Короче, утром ко мне пришла Надя… ну, девочка из третьего подъезда…

Она *(торопливо).* Мне неинтересно!.. Кто рылся у меня в столе?

Мать (*усмехнувшись).* Так вот… Эта милая Надя… пришла, знаешь зачем?

Она. Мне нужны деньги на парикмахерскую!

Мать … Повидать твою кошку. Оказывается, ты ей рассказала, что у нас живет потрясающая кошка Каштанка, которая тебя страшно любит и ходит за тобой по улице не иначе как на задних лапах! На задних лапах!!

Она (*успокоившись).* И что ты ответила?

Мать. Правду. Что отродясь у нас не было никакой Каштанки, хотя иногда ты приносишь с улицы бродячих кошек… Но они от нас немедленно убегают! И не потому, что я плохо с ними обращаюсь, — а потому, что ты их попросту забываешь кормить! Ты ведь ко всему еще и ленивая! *(Дает деньги.)* А кот «на задних лапах» — это из «Мастера и Маргариты»? Да? Ты брала без разрешения мою книгу?

Она *(сухо).* А все-таки: кто же рылся на моем столе? Мать. На твоем письменном столе… который стоит пока в моем доме, я писала сегодня письмо. Можно?

Она. Поэтому я закрыла все ящики стола на ключ… чтобы в твоем доме кто-то случайно…

Мать. Иди. *(Тихо-тихо.)* Иди. *(Орет.)* Уходи! Она *(усмехнулась)*. Не позвонил? (*Кивнув на телефонную трубку.)* Сама позвонишь?

Мать дает ей пощечину.

(Весело.) Чао! Я пошла в парикмахерскую! *(Уходит.)*

Как только стукнула входная дверь, Мать тотчас поднимает брошенную трубку, набирает номер.

Мать. Привет, ты не звонил мне, а то я разговаривала по телефону? *(Выслушивает ответ.)* Понятно… Ну, как насчет «сегодня»? *(Выслушивает ответ.)* Конечно, свободна. Мы же договорились. *(Выслушивает ответ.)* Нет, ты же знаешь, в девять — это поздно, она возвращается. *(Выслушивает ответ.)* Ну ладно, тогда давай в понедельник. Кстати, с понедельника в «Ударнике» — Неделя французских фильмов. *(Выслушивает ответ.)* Ну если они такие ужасные — конечно, не стоит, я могу посмотреть и свои ужасные. До понедельника. Чао. Спокойной ночи…

В это время **Подруга** в очередной раз набрала номер — звонок в комнате матери.

Алло…

Подруга. Ну, знаешь! С кем ты столько болтала? С ним?

Мать. Приезжай.

Подруга. А разве… Он…

Мать. Нет!.. Сегодня у нас с тобой девичник.

Подруга. Еду. Я тебе такое расскажу — новый план жизни. Чао!

Хохочет, и Мать отчего-то тоже хохочет и вешает трубку. Подруга, напевая, энергично собирается в своей комнате… А джазисты тихонечко играют… В ванную входит О и. Когда Он открывает дверь ванной, становятся слышны громкие голоса гостей и музыка магнитофона (та же мелодия, которую играют джазисты). Он захлопывает дверь, садится на угол ванны и молча сидит. Но вновь открывается дверь, и в ванную просовывается веселое, пьяное лицо гостя. Это — Доктор.

Доктор. Ку-ку… Твоя просила меня тебя посмотреть. *(Хохочет.)* Твоя говорит, что ты плохо спишь. *(Заливается.)*

Он. Действительно, хорошая фраза — смешная.

Доктор *(приоткрывая дверь ванной)*. Ты посмотри, как сидят наши жены. Представь, что ты их не знаешь, просто мы с тобою закадрили каких-то чувих и привели. Представил? Ну, какую ты

выберешь? Ха-ха-ха! Я — свою.

Он *(чуть подмигнул).* И мою. Бери уж обеих.

Доктор *(задыхаясь от припадка смеха).* И твою, и свою… *(Поймал его взгляд, поспешно.)* Твоя говорит, что ты просыпаешься каждый день в пять утра. Я ее спрашиваю, откуда ты знаешь, когда он просыпается, если сама наверняка храпишь в пять утра, как сурок. *(Хохочет.)* Но она требует, чтобы я тебя показал профессору. Я ей отвечаю: «Если ему надо показать профессора — я приведу… а если его — то уж лучше доктору. По крайней мере мы, доктора, хоть что-то понимаем». *(Хохочет.)* Распусти ремень. *(Доктор сам распускает ему ремень.)* Так — больно? Так?.. Дыши! Дыши, друг мой… глубже… мне даже не надо тебя осматривать, я могу сказать с ходу…

Он сбросил руку Доктора.

Ну, попижонь! Попижонь! Учти, я пьян, и поэтому говорю сейчас умные вещи: твое сердце оказалось банкротом. Оно не выдержало взятых тобой на себя обязательств. *(Хохочет.)* Как говорил мой отец: «Мы живем в эпоху, жестокую к сердцам». Тебе нужна чепуха: две недели в больнице. У вас отличная академическая больница.

Он *(тихо-тихо).* Какой же ты мерзавец.

Доктор *(трезво и тоже тихо).* Не понял.

Он *(спокойно).* Хотя… *(Засмеялся.)* «Мою» я понимаю — ты современный мерзавец, везунчик, веселый и кобель. Но ты, не пропускающий ни одной медсестры, — зачем тебе эта увядшая, несчастная женщина?

Доктор. Что ты городишь?

Он. Я объясню: она чуткая! Это главное — а ты органически не можешь не сцапать, не схватить, не стибрить чужого… Мир — помойка, да?.. Где все жрут, хватают за сиськи…

И вдруг, размахнувшись, Он нелепо бьет Доктора, но Доктор спокойно перехватывает его руку и, вывернув, пригибает его голову к полу.

Доктор *(шепчет).* Дурак, ты по правде болен, слышишь?

Доктор выпустил его руку. Он встает и молча выходит из ванной.

Общее затемнение.

Прошло несколько часов. Та же квартира… Все так же играют в кухне джазисты… В комнате подруги уже никого… Мать, уже успокоившпсь, молча сидит с ногами на тахте в своей комнате… Ванная в его квартире пуста… А Он… … А Он открывает дверь и входит в ту жуткую пустую комнату. Видимо, прежний хозяин

расширил ее за счет прихожей, и теперь дверь с улицы открывается прямо в комнату. Он подходит к телефону, усмехается, поднимает трубку, молча слушает гудок, потом достает из портфеля рубашку и мятый плащ и развешивает все это на гвоздиках. Потом сдергивает автомобильный брезент и начинает расставлять мебель, когда раздается звонок в дверь. Он в ужасе глядит на дверь, но звонок звонит безостановочно; Он открывает. На пороге, с кофтой под мышкой, Она. Она не входит в Его квартиру. Но останавливается на пороге. И весь их дальнейший разговор происходит на пороге.

Она. Здесь сдается квартира?

Он. Квартира сдана.

Она. Давно?

Он. Вчера.

Она. Вам?

Он. Мне.

Она. Интересно, дорого стоит такая квартира?

Он. Пятьдесят рублей.

Она. Это обычная цена?..

Он. Нормальная.

Она. Скажите, у вас не найдется попить, только мне нужно холодную, из-под крана.

Он молча уходит в кухню. Вслед ему требовательный крик.

Только мне нужно полный стакан, ладно?

Он возвращается со стаканом воды.

Лупит!

Кивнула на окно.

Он. Ливень.

Она. Никакого лета в этом году… Черт! (*Глядит на часы, показывая, что торопится, но не уходит из-за дождя.)*

Он. Опаздываете?

Она. Боюсь «потечь» на дожде — косметики в этот раз много.

Он. Зайдите все-таки!

Она. Ничего, ничего, не стоит вас затруднять. И вообще страшно входить в такую дорогую комнату… Но если у вас есть время, мы поболтаем здесь… пока дождь… Квартира у вас, конечно, очень хорошая. Только ваш район мне, например, не нравится. Я люблю свой… У нас, знаете, окраина: лес, пруд! Идешь домой, в школу, а впереди тебя шагает человек… такой важный, с портфелем. И вдруг у пруда… пруд у нас между домами… вынимает из портфеля газетку, раздевается прямо на снегу, портфелем прикрывает одежду, чтобы вьюга не замела — и в лунку! Потом вылезает, оделся и дальше!.. (*Требовательно.)* Я

еще хочу пить.

Он уходит в невидимую кухню, приносит воды. Она жадно пьет.

(Засмеялась.) Вы удивляетесь, что я столько пью? Я всегда умираю от жажды. *(Глядит на часы.)*

Он. Важная встреча?..

Она. Потешная. Знаете, на столбе, где висело объявление о вашей квартире… рядышком приклеили оригинальную записку: «Требуется вокалистка в инструментальный ансамбль» — и телефон. Человек, естественно, позвонил, договорился о прослушивании. Сказали, что в таком-то часу его будет ждать руководитель ансамбля; он будет в розовых джинсах. *(Засмеялась.)* Здорово?

Он. Здорово!.. А «человек» не боится?..

Она. А человек загадал: зададите ли вы этот вопрос… Человек не боится. Никого и ничего. Он может идти посреди улицы, и машины его объезжают. Никто и ничто не смеет ему причинить боль.

Он. Это почему же?

Она. А так… А вообще это очень солидная группа. Люди всегда приглашают их на вечера… Я их, правда, сама не слыхала… я не любила школьные вечера… но люди…

Он. Люди — это мальчики и девочки?

Она. Слушайте! Моя мама обожает, чтобы все было названо. Даже то, что она уже поняла! И притом желательно дважды.

Он. Это у нас с вашей мамой возрастное.

Она. Не надо, мне и так вас жалко.

Он (*помолчал, примирительно*). Любите петь?

Она. По-моему, сразу видно, что я ненавижу петь. Я люблю мычать что-нибудь про себя, без слов. А петь какие-то слова — это ужасная пошлость. Но у меня отличный голос, и я хочу зарабатывать. Я решила снять такую же квартиру. Это большое счастье, когда в твою дверь никто не смеет постучать, если ты сама этого не хочешь. А потом я отправлюсь на юг с подругами.

Он. У вас есть подруги?

Она. По-моему, совершенно очевидно, когда у человека есть подруги. У меня есть две подруги. Наденька — она потолще, и Эрика — она худа и прекрасна. Мы в прошлом году объездили буквально весь юг. Втроем мы снимали две койки. Мы с Эрикой спали валетиком… Путешествие нам ничего не стоило. Мало ели — много курили… Во всяком случае, у них мы денег не брали.

Он. А с ними вы не ладите?

Она. Просто когда человек входит в свой дом — он отчего-то

сразу их обижает. Дело, наверное, в электронах. У них электроны движутся параллельно, а у человека — перпендикулярно. Можно спросить: у вас что-то стряслось?

Он. Как вам объяснить… Счастье. У человека появилась возможность… нет, нет, точнее, «право» — жить так, как хочет он сам… И вот он взял отпуск… И вот у него уже своя квартира…

Она. Без них.

Он. Да! Да! Можно читать книжки… Или вообразить, что ты на юге… Человеку не разрешили на юг… а он может лежать и слышать шаги по гравию… и будто солнце.

Она. Чушь! Если бы у меня была возможность, я все равно бы поехала на юг. На юге… на юге… (*Вдруг требовательно.)* Я хочу пить! Только я сама. У вас не получается холодная. (*Проходит через комнату в невидимую кухню.)*

Шум льющейся воды.

Он. Кстати, меня зовут Федор Федорович, а вас? **Ее голос** *(из кухни).* А зачем вам? Кому сколько лет, кто где работает и как кого зовут — меня не интересует… Я вымыла, кстати, вашу чашку и поставила ее на место… Мое имя, как у тысяч… Мое имя — обычная кличка, не больше. Поэтому я себя называю «Я». Это хотя бы правда. *(Она возвращается из кухни. По ее лицу смешно размазана тушь.)* Я подставила лицо под кран. *(Хохочет.)* Теперь мне не страшен никакой дождь. *(Продолжая размазывать рукой краску.)* Теперь, слава Богу, я могу наконец уйти от вас. Чао! *(И она уходит, оглушительно хлопнув дверью.)*

Он остается один, садится на кровать, потом идет в кухню и возвращается с ее кофтой в руках. Усмехаясь, вешает ее кофту на стул.

Он *(бормочет).* На кого же она похожа?.. *(Засмеялся.)* Просто перед глазами уже прошла такая толпа… что всякий на кого-то похож… *(Замолчал.)*

Звонок в дверь в квартире матери. Мать идет открывать, возвращается с Подругой.

Подруга. Ну, что у тебя?

Мать. Все время звонит, звонит! Надоел!

Подруга. Наверное, он хочет на тебе жениться! Точно?

Мать *(избалованно).* А ну его! Только избавилась от одного сонного трутня и все начинать сначала? Обстирывать, готовить, пока он будет читать газету «Советский спорт»… Уже все было! Уже все знаю! *(Уходит на кухню.)*

Он *(лежа на кровати, бормочет).* Да, как быстро… Как быстро!.. Однажды волновался по поводу какого-то дела… ругался. И ответили: «Ваше дело состоится, но через два года»…

«Как?! Только через два года?!» В трубке засмеялись и поправили: «Уже через два года. Поверьте, это быстро. Через два года — это во вторник!» И вот уже понимаю эту фразу… Мясорубка из дней. Мелькание. В среду — сорок… в пятницу — пятьдесят. И уже в субботу… Ну, самое большее… ну, до субботы! И отплывать! Отплывать! И вот с этим ощущением… *(Он замолкает и лежит молча.)*

Мать *(возвращаясь).* И главное… зачем? Девочку я, слава Богу, вырастила. А насчет того, что в шкафу обязательно должны висеть брюки, — в конце концов, я могу туда повесить свои!

Подруга. Счастливая: все тебя преследуют, красивая, дочка есть… А я сегодня утром проснулась вдруг в пять утра… — и так отчетливо представила свою жизнь…

Мать. Сегодня сделаем маску из свежих огурцов. *(Уходит на кухню.)*

Он *(вдруг приподнявшись на постели).* А в общем-то ничего не произошло: два равнодушных друг к другу тела, отчего-то засыпавших в одной постели, потому что это была не постель, — это был корабль, на котором они собирались отплыть вдвоем в старость… эти двое, которых знакомые называют детскими именами… а дети этих знакомых в ужасе пялят глаза, когда на Федю и Валю откликаются два полуразрушенных типа… Два угасших тела… которых связывало друг с другом… что? Возраст… Это называется взаимопониманием… Безысходность… именуется уважением… Трусость, именуемая ощущением близких болезней и пониманием слабостей друг друга… «Брак: обмен дурных настроений днем и таких же запахов ночью». Бесстыдная и гадкая французская пословица. Так что же взбесило? По какому праву другое тело вдруг оказалось живым!..

Подруга и Мать возвращаются с тарелкой, наполненной нарезанными огурцами. Они накладывают огурцы на физиономии, ставят на пол бутылку вина и два бокала и ложатся на тахту, продолжая разговор.

Подруга … И всю неделю сплошные предательства! У меня есть два чешских чемодана. Месяц назад одолжила один нашему зав. травматологией. Теперь мне надо ехать в командировку. Звоню ему: принеси! Думаешь, почесался? А почему? Потому что считает, что он мне нравится! *(Пьет.)* Возвращаюсь из командировки — сосед по лестничной клетке, молодой специалист, дальний родственник, я ему деньги одалживаю, ну жалко мне его… лезу в шкаф — нету Цветаевой. Оказывается, он открыл без меня комнату и снес ее в букинистический!

И главное, уверен, что я ему ничего не сделаю! И не только

потому, что я добрая! Нет! А потому, что он тоже считает… что он мне нравится! Ну что за дела?.. Лучше бы шубу мою туда снес!

Мать. Хорошо!

Подруга. Что?

Мать. Что он хоть шубу твою туда не снес.

Подруга. Короче, у меня уже просто комплекс. Я больше не могу так! Давай выдадим меня замуж. Я никогда не была замужем. В последнее время я все яснее чувствую: я буду хорошей женой! Я веселая! Меня в больнице зовут «колокольчик». Говорят: чем больше бьют — тем больше звенишь! Ха-ха-ха! Все! Начинаю новую жизнь. *(Пьет.)*

Мать. «Колокольчик», да? *(Хохочет.)* За тебя! *(Пьет.)*

Подруга. Главное, действовать. Я прочла свой гороскоп. Я — телец. Тельцы в этом году должны обязательно действовать! Если хотят чего-то достичь! Я хочу! Хоть чего-то… Ты читала сегодня «Литгазету»?.. Там статья об одиноких… Читала?

Мать. Кажется.

Подруга. То есть как это может казаться?! Значит — читала! Какое там письмо капитана! Капитан гидрографического судна — одинокий, застенчивый — ищет подругу жизни!

Мать. «Жил отважный капитан»…

Подруга. «Но никто ему по-дружески не спел»! Понимаешь, на суше он все время ремонтируется в доках… и он не мог познакомиться с… с суженой. *(Хохочет.)*

Мать. В доках… *(Хохочет.)* С суженой. *(Закатывается.)* «Капитан, капитан, подтянитесь»! *(Хохочет.)*

Подруга. Слушай, а ты тоже веселая!

Мать. Я тоже немного — колокольчик.

Подруга. Звоню я в редакцию; дайте адрес капитана. Говорят: мы не брачная газета, у нас тысяча звонков по этому поводу. Но я решила: пишу письмо капитану — нахально отправляю в газету для пересылки. И пусть только попробуют не переслать. Я телец, у меня год действия — жалобами завалю.

Мать. А статья жуткая. Я представила себе все это. Вечера одиноких «после тридцати»… Это же конец света: зафиксированный он… и зафиксированная она — стоят, как на случке, умирая от стыда.

Подруга. Это ты будешь умирать от стыда. А нормальные люди…

Мать. Ну если так хочется выйти замуж, поезжай на курорт, я не знаю! Ну, пойди в ресторан!

Подруга. Это опять ты — пойдешь в ресторан. Вернее, не дойдешь до ресторана… Выйдешь замуж по дороге! А человек с обычной внешностью… с нормальной… то есть с моей… Ты не

представляешь, какая запись на эти вечера одиноких. Кстати, я позвонила туда утром. Отвечают: женские билеты у них распроданы до следующего года.

Мать *(вдруг).* Слушай, едем к нему, а?

Подруга. К кому?

Мать. Ну, к моему! Явимся сейчас. (Вскочила, и огурцы посыпались с лица.)

Подруга. Ты что?! Неудобно — поздно!

Мать. А вот и хорошо. *(Яростно.)* Одевайся!

Подруга. Слушай, двенадцатый час. Он… свободный человек… мало ли…

Мать. А мы — воспитанные, звоним — и вопрос из-за двери: баба есть? Гони! Исчерпывающе! Что, не прогонит? Ради меня? Ну скажи, Вера?

Подруга. Прогонит.

Мать. Он такой жадный, у него коллекция фарфора. Войдем и нечаянно локтем весь этот фарфор… Эффектно?

Подруга. Так эффектно!

Мать. Он в ужасе! А мы хохочем, звеним — два колокольчика: розовые ротики, язычки бьются…

Подруга. А давай считать, что мы уже!

Мать. Бабу выгнали. Да?!

Подруга. И вазу разбили.

Мать. Севрскую. Он… ничтожный! Он ничтожный! *(Опять вскочила, теряя огурцы с лица.)* К черту! Лучше письмо сочиним твоему капитану!

Подруга. Грандиозно!

Мать и Подруга, хохоча, проходят в ее комнату. Мать усаживается за письменный стол.

Мать *(диктует себе и пишет).* «Дорогой и отважный капитан! А не пошли бы вы…»

Подруга. Нет, это слишком лаконично.

Мать. Да, письмо должно быть сентиментальным. Они любят, Верунчик, сентиментальное. Значит *(издевательски):* «Дорогой капитан! Иногда выходишь на улицу и бродишь, сливаясь с толпой. Все спешат по своим делам, а тебе некуда спешить… и ты возвращаешься домой… одна…» И вот тут-то: «Дорогой капитан, а не пошли бы вы…»

Подруга. Ну перестань! Так хорошо начала, просто — дрожу вся! Продолжай!

Мать *(с легкостью диктует).* «Теперь обо мне: мне за тридцать». Исчерпывающе? «Рост средний, вес…»

Подруга. Не будем.

Мать. Давай напишем — хорошенькая. Капитаны, даже отважные, они это любят.

Подруга. Но он же увидит.

Мать. А когда увидит — поздно будет. Ты его задавишь энергией. Ты в пять утра просыпаешься. (*Продолжает.)* «Я — любитель книг, природы, стихов и в основном домоседка. Характер у меня немного вспыльчив, но отходчив. И главное, за годы одиночества я поняла: бывают женщины, которые сами не знают, чего хотят, и все время ссорятся с мужьями. Ну что плохого, если мужчина любит читать за столом «Советский спорт», а я в это время картошку, допустим, приготовлю. Вы пишете, что вы не исключительный человек…»

Подруга. Он не пишет.

Мать. Отстань! «А мне и не надо! Мне чего попроще. Я устала от исключительных». (*Торжествующе.)* И вот тут-то с троеточия: «… Дорогой капитан, а не отправились бы вы…»

Подруга. Как здорово!.. *(Медленно.)* С ходу сочинила такое! Может, ты у нас писатель?

Мать *(засмеялась).* Я тренировалась, Верочка, к твоему приходу.

Они возвращаются в комнату матери, собирают огурцы, вновь раскладывают на лицах и лежат на тахте и молчат. В это время звонок в его квартире. Он открывает дверь. На пороге Она. Он протягивает ей кофту.

Она. Все всегда забываю. *(Молча проходит на кухню, шум воды.)*

Подруга *(вдруг).* Но вообще-то… я… наверное, достану билеты… на этот вечер «после тридцати»… Я развила с утра деятельность… Естественно, у меня оказалась пациентка… Конечно, мне рядом с твоею красотою…

Мать *(тихо).* Да ты что…

Подруга хочет прервать ее.

Тт-тс… помолчи немножко… а то мы, кажется, перезвенели. (*Идет в ее комнату, включает магнитофон.)* Расслабь лицевые мускулы… Ах, как хорошо… Который час, кстати?

Подруга. Еще рано. Одиннадцать.

Она *(возвращаясь с кухни).* Который час?

Он. Одиннадцать.

Она стоит и что-то высчитывает молча, шевеля губами.

Как ваш в розовых джинсах?

Она. Я все понимаю по дороге. У меня даже есть теория на

этот счет: когда движешься — становишься машиной и, наверное, тогда-то и включается подсознание. Недаром — машинально от слова «машина»… Пока я шла домой, я установила, что оставила у вас кофту и что… как ни странно, нигде больше не было объявления о «певице». Оно висело только у моего дома. Поэтому, когда я увидела этого, в розовых джинсах, я совсем не удивилась: он оказался тем самым типом… который уже месяц торчит против моего окна, когда наступают сумерки.

Он (*усмехнулся).* Значит: все-таки…

Она. Пришлось побыстрее уносить ноги. А то у меня беда: если я нравлюсь человеку, а он мне понятен, я его начинаю доводить. А это не все терпят. *(И вдруг быстро направилась к окну.)*

Он. Что?

Она. Так… удостовериться… кое в чем… Сколько сейчас?

Он. Четверть.

Она. Ну, прощайте.

Мать *(Подруге).* Я начинаю волноваться.

Подруга. Да ну тебя, кто возвращается в это время?

Он. Прощайте.

Она. Прощайте… (*Медленно идет к двери.)* Черт! Ах черт! (*Вдруг беспомощно садится и начинает лихорадочно стучать зубами.)* Только вы не бойтесь. *(Ее бьет озноб.)* Это пройдет… Мне нужен горячий чай! *(Кричит.)* Мне холодно!

Он *(в панике).* Что вы! Чтобы! *(Срывает с кровати брезент и начинает укутывать ее.)*

Она *(требовательно).* Мне холодно! Мне холодно! Мне холодно!

Он. Сейчас… Сейчас…

Нелепо кутает ее в брезент.

Она *(сидит, стуча зубами, закутанная в брезент).* Я южный человек… Я не могу без солнца! *(Дрожь постепенно затихает.)*

Он. Получше?

Она *(кивнула, усмехнулась).* Слушайте, а вы не испугались! Здорово! Вы совсем не испугались. Обычно все они боятся больных. Притом даже не то чтобы заразиться боятся, просто больной им неприятен. А вы… вы первый, не испугавшийся моей странной лихорадки… Потрясающе! Знаете, у меня есть мальчик знакомый… и он, вместе с моей подругой Эрикой, навещал в больнице еще одну нашу общую подругу. Она лежала в психиатрической клинике. И мальчик ее полюбил. Потом девочка выздоровела — и люди расписались. Вы не представляете, что устроили они… И не потому, что они ее не знали или она им не

нравилась. Нет, потому, что девочка лежала в нервной клинике! Я часто задаю себе вопрос: откуда такое отвращение к страданию?

Он усмехнулся и невзначай дотронулся до ее лица.

(Тотчас вскочила.) Мне надо позвонить. *(Торопливо набирает номер).*

Звонок в комнате матери.

Мать. Алло…

Она молчит.

Алло! Алло!

Она. Это я.

Мать *(кричит).* Где ты находишься? Я схожу с ума!

Она молчит.

Ну где ты? Ну умоляю! Ты будешь отвечать?

Она. Нет.

Мать. Ну хорошо, только ответь: с тобой что-то случилось? Ну? Ну? Я умоляю!

Она. Нет. Я скоро выезжаю. *(Вешает трубку.)* Подруга. Слава Богу! Где она?

Мать. У Эрики.

Подруга. Что же ты не могла сама туда позвонить?

Мать. Она телефона не дает.

Подруга. То есть как это — не дает?

Мать. Отстань!.. Боже мой, я почему-то вдруг так испугалась!

Замолкают. В это время в кухню возвращается Третий джазист. Он молча присоединяется к двум остальным. Они играют мелодию, которую по-прежнему слушают Мать и ее Подруга. В ванную входит Его жена: лицо заплаканное, долго моет лицо, потом начинает накладывать маску из клубники.

Его жена. Сволочь! Ах, какая… (*Уходит, бешено хлопнув дверью.)*

Она *(помолчав).* Что меня особенно удивляет: самая тонкая перегородка — это между больными и здоровыми — и нет большей пропасти. Да, я что-то забыла…

Он. Забыли дрожать.

Она. Нет! Нет! Это была правда! Слышите! Тут вы ничего не поняли. Все так прекрасно понимали! Это у меня проходит… И так же внезапно появляется! Это правда! Правда! Который час?

Он. Двенадцать.

Она. Вы спросили, почему я не боюсь ничего? У меня есть такая теория: с рождения в человеке заложена интуиция. Но мы ее с возрастом — засоряем. В истинном виде интуиция остается

только у детей и у животных. Так вот, я ее в себе не заглушила. Когда я вижу два яблока — красное и зеленое… и интуиция подсказывает мне: возьми зеленое, я все-таки беру красное… оно оказывается червивым. Поэтому, во-первых, я сразу понимаю: надо ли мне бояться, а во-вторых… *(Замолчала. Вдруг серьезно.)* А вот вы зря не боитесь меня. Может, я оставила у вас кофту нарочно, чтобы вас погубить! Может… обитало в пространстве некое кровожадное существо… (*Помолчав, вдруг.)* А если бы вы узнали обо мне ужасную вещь, а? Вы поверили бы?

Он засмеялся и молча дотронулся до ее волос.

(Вскочила.) Откройте дверь! Немедленно! Мне домой нужно! Откройте!

Он испуганно открывает, и Она вихрем уносится в открытую дверь… Он один; Он начинает стелить постель, что-то бормочет. Мать и Подруга лежат с огурцами на лицах и слушают музыку; потом Подруга встает, начинает одеваться. Джазисты закончили играть. Молодые мышцы их затекли — и они шумно возятся и корчат рожи.

Он *(бормочет).* … Открывается дверь и входит… И оттого, что она психованная… или черт знает отчего… *(Задумался.)* И вот уже «охладевший и отживший»… А где же — разочарование и мудрость?.. А как же — «Быстро стареют в страданиях для смерти рожденные люди?!» *(Смех.)* Ужас!

В кухне Джазисты расходятся. Остается только **Маленький джазист** .

Подруга *(одеваясь).* Письмо капитану за тобой. Мать. Чао. Я спать хочу.

Подруга уходит.

(Напевает.) «Раз пятнадцать он тонул… но ни разу… но ни разу… но ни разу…»

Задумавшись, сидит на тахте. Стук двери — входит Она.

Явилась, не запылилась. Есть хочешь?

Она. Хочу. *(Уходит на кухню.)*

Мать *(кричит).* Не ешь стоя! В парикмахерской была?

Ее голос. Естественно.

Мать. Удачно подстриглась, совсем не видно. Как Эрика?

Она *(молча проходит в свою комнату).* Опять рылись на моем столе?

Мать *(думая о своем).* «Но ни разу даже глазом не моргнул». (*Вынимает из спального ящика подушки, белье и стелет на тахте.)*

Она *(лежа на животе, включает магнитофон и шепчет).* Письмо первое: «Я увидела вас… — взгляды перекрестились — это было страшно. Меня отшвырнуло, показалось, что падают

стулья. В изумлении я обвела глазами вокруг, но все было на месте. И в панике я бежала, бросив на поле боя кофту, как стяг, как бестелесное свое тело… А потом были бессмысленные слова, в которых, как в скорлупе, шевелились те слова. Какое было серое небо весь день. И в дальнейшем все самое грустное и нежное… когда все будет правда… будет происходить при этом дожде… Я все знаю, что будет… Воспоминания о будущем. А теперь — убийство. *(Стирает запись.)* Самоубийство.

Мать *(ложась в постель, кричит).* Ты потушишь свет или, как обычно, до трех?

Она молчит.

Сумасшедшая девка. *(Гасит свет.)*

Она в своей комнате набирает номер телефона. Звонок в его квартире.

Он. Алло… алло…

Молчание.

Алло… *(Швыряет трубку.)*

Она *(торжествующе).* Явь!

В кухне тихонечко играет Маленький джазист, выкрикивая слова: «Моя любовь… Моя любовь…»

«Квартира». На следующий день. Пустые комнаты матери и подруги. Пустая ее комната.

В кухне, как обычно, играют Джазисты — их трое. В своей комнате на кровати лежит Он. В ванную входит Его жена, причесывается перед зеркалом. Дверь в ванную раскрыта, и рука доктора тихонько и нежно гладит ее по лицу, и слышен **голос Доктора,** разговаривающего в невидимом нам коридоре по телефону.

Голос доктора. Я на «скорой помощи»… Мне отсюда не очень ловко разговаривать. *(Выслушивает ответ.)* Буду к шести. *(Выслушивает.)* Не надо! Только творог, я и так прибавил! Никто не звонил? *(Выслушивает длиннейший ответ.)*

Он … Во время дальних командировок любил звонить ей: казалось, дозвонюсь и скажу такое! И я дозванивался… И говорить было не о чем… Потом я прилетал в Москву и успевал глубокой ночью — на дачу. И мы ругались в постели до утра… *(Замолчал.)*

Голос доктора *(из коридора).* Я не могу больше тебя слушать — я же объяснил! Я на «скорой»!.. Кстати, я достал билеты на французский фестиваль. Целую.

Он. Все умерло в истериках… Все… сдохло в… *(Замолчал.)*

Доктор *(заглядывая в дверь).* Ужас! Кстати, эти французские фильмы — такая муть!

Жена. Я знаю, мне предлагали… Ты не видел мою сережку?

Доктор протягивает ей сережку.

И как ты ее увидел?

Он, смеясь, целует ее.

И самое глупое, что он меня безумно любит, и это не дает мне покоя! Ты счастливый! Ты никого не любишь, и у тебя нет никаких обязательств… *(Чуть помедлила, ожидая возражений.)*

Доктор. Он очень болен, я повторяю.

Жена. Ты считаешь, что я должна ему позвонить?

Доктор. Это твоя обязанность: сейчас — позвонить и помириться с ним.

Жена. Но я не люблю его… Хотя, конечно, как только я подумаю… что он… где-то один… как собака… Боже мой… ну почему я не могу об этом не думать! И почему я не могу думать о себе! Почему все могут?!

Доктор целует ее в шею. Потом выходит из ванной, потом его рука ставит в ванной телефон и закрывает дверь. Жена медленно набирает номер, потом кладет трубку, вновь набирает. Звонок в его комнате.

Он поднял трубку.

Он. Алло…

Жена *(помолчав)*. Здравствуй.

Он *(после паузы, почти страдальчески)*. Здравствуй.

Жена. Ты хочешь показать, что ты не рад?

Он. Я ничего не хочу показать.

Жена. Как ты себя чувствуешь?

Он. Хорошо.

Жена (*инфантильным, капризным, «девичьим» голосом)*. Неправда! Тебе плохо сейчас. Я знаю. *(Нежно.)* Плохо?

Он. Мне хорошо! Мне великолепно! Мне замечательно! Мне с рождения не было так хорошо! Поверь!

Жена. Бог с тобою. Обещай только одно: если тебе станет плохо — ты сразу мне позвонишь: ночью, когда угодно! Обещай!

Он. Да! Да! Да! Я обещаю! Я все тебе обещаю. Только *(почти кричит)* не надо звонить!

Жена. Счастливо.

Он. Счастливо. *(Бросает трубку и лежит, глядя перед собой.)*

Жена *(распахивает дверь в ванной, Доктору)*. Его страшно жаль.

Голова Доктора просовывается в ванную.

В последнее время я его почти ненавидела… Но сейчас

услышала его голос… несчастный… и все простила. Весь этот ужас последних лет… *(Помолчав.)* Неужели придется ехать? Хотя, в конце концов, он не виноват, что я его разлюбила! Надо оставаться человеком!.. Ну, хорошо, решили! Обними меня… Ну почему я не могу как все? Как я тебя люблю. Знаешь, ты моя первая измена *(помолчав*), то есть… первая, чтобы до греха. Подойди, пожалуйста. На секундочку… хоть на одну секундочку думай только обо мне, ладно? Какое счастье просто держать за руку. Я каждую твою клеточку сейчас чувствую… Я все понимаю, но… хоть крохотулечку — любишь? Ну соври! Ладно? Доктор. Да.

Жена. Ты не соврал?

Доктор. Нет!

Рука доктора все так же ласкает ее лицо. Она выходит из ванной; дверь в ванной захлопывается.

Он молча лежит на кровати. У телефона-автомата на лестничной клетке появляется Она. Набирает номер. Звонок телефона в его комнате. Телефон звонит безостановочно. Он выдергивает шнур.

Общее затемнение.

Прошло еще два дня. Та же «квартира». Снова утро. Почти все комнаты «квартиры» пусты. Только на кухне наигрывают Джазисты (их двое, Маленького нет). В своей квартире на кровати лежит Они читает. У телефона-автомата на лестничной клетке — Она. Набирает номер. Он долго слушает звонок, потом, вздохнув, берет трубку, но тотчас в панике Она вешает свою. И снова набирает номер.

Он. Алло…

Она молчит.

Алло!.. *(Уже зло.)* Алло!

Она *(сумрачно).* Это я.

Он *(безумно обрадовавшись).* А-а! Здравствуйте, здравствуйте!

Она. Я вам звонила все эти дни.

Он. Я уезжал.

Она. Вы были дома все эти дни, но почему-то не подходили.

Он *(засмеялся).* Откуда вы узнали?

Она. У меня есть теория: обычно проходишь мимо других нормально. Это значит, ты уносишь с собой свое изображение — оно скользит по другим, не больше. Но иногда ты отражаешься в ком-нибудь, как в зеркале. Это опасно. Начинаешь тотчас погружаться в этого человека. Это значит, ты чувствуешь все, что чувствует он. Например, я по-разному чувствую себя, когда этот человек дома, когда его нет и когда он уехал из города. Начинаешь ощущать даже его мысли. Это приводит к страшной

путанице: он ведь не знает, что ты все о нем знаешь.

Он. Где вы сейчас?

Она. Сейчас я могу… возникнуть из пространства… Я в некотором роде Карлсон — «привидение жуткое, но симпатичное». *(Бросает трубку. Гудки. Уходит.)*

Он вскакивает, лихорадочно начинает убираться, потом приносит стакан воды, надевает пиджак, снова снимает. Звонок в дверь. Он открывает, входит Она.

Он. Вы звонили из парадного?!

Она *(изумленно)*. Неужели вы не можете поверить, что я действительно — из пространства. Я зазевалась — и передо мной тотчас возник ваш дом. Он стоял на солнцепеке, весь багровый, и я чуть не разбилась о него. Я хочу пить.

Он. Я приготовил. *(Протягивает стакан воды.)* Она (*агрессивно*). Как молочко в блюдечке для кошки. *(Пьет.)* Послушайте, как умиленно вы на меня смотрите, ну точно на котенка. А чувствуете вы наверняка совсем другое… но просто так безопасно, да? Так положено смотреть, да?

Он молчит.

Послушайте… а вы несвободный человек, да? Вы, как они, — любите все, что положено.

Он *(усмехаясь)*. Например?

Она. В прошлый раз я хотела рассказать о себе ужасную вещь… Вы запомнили?

Он. Да.

Она. Еще бы! Если бы я хотела рассказать о себе замечательную вещь… ни за что не запомнили бы!.. Хорошо, я расскажу. Но с условием: я — о себе, а вы — о себе.

Он. Не сумею. Когда я рассказываю о себе ужасные вещи — они выглядят очень милыми.

Она. Вот! Это и есть первый пример несвободы!.. Свободный человек может рассказать о себе такое!.. Опасно заставлять рассказывать о себе свободного человека!

Звонок. Он не берет трубку.

Странно, я тут, а телефон звонит.

Он. Это вы звонили все дни?!

Она. А это недостойный вопрос…

Телефон по-прежнему звонит.

Я начинаю рассказ. Итак, живут три подруги: Эрика, Наденька и еще одна… В это время люди вокруг усиленно играют

в «генералов». Можете спросить.

Он. Спросил.

Она. Это популярная игра: вы фильм «Генералы песчаных карьеров» видели?

Он. Нет.

Она. Тогда я объясню! Считается, что все плоды, которые висят на деревьях… даже если эти деревья за забором… принадлежат матери-земле… и всем людям, естественно… Или: если люди… заходят в кондитерский магазин… и там их охватывает жажда конфет… а человек, если чего желает, никогда себе не откажет… Что делают неимущие «генералы». Они берут два пакетика конфет… и пока движется очередь… желание конфет исчезает и один пакетик тоже… Они подходят к кассе, свободные от желания и лишнего пакетика.

Он. То есть самое обычное воровство?

Она. Я рассказываю не образцовую историю, а ужасную.

Он. Простите.

Она. Тогда продолжаю. Однажды некая девочка возненавидела одну из нашей троицы из-за мальчика… Мальчик полюбил, ну, скажем, Эрику… И вот та отвергнутая девочка… ох, какие страсти бывают у отвергнутых девочек… заставила другую девочку… назовем ее «Икс»… сделать следующее: когда Эрику выбирали в старосты… эта Икс встала и все рассказала про конфеты. Подлость была в том, что она сама ела эти конфеты в магазине и потому все могла подробно рассказать. Естественно, она нарушила законы игры. Но, согласитесь, в мире все должно идти по законам: детским, взрослым, законам природы, законам праведным и неправедным — но по законам, иначе мир рухнет! Законы надо соблюдать… Ну вот… А дальше… *(Замолчала.)*

Он. Дальше…

Она. Вы догадались. Немного лихорадило, но была абсолютная ясность мысли… Самое страшное было то, что Икс покорно пошла в лес за троицей. Она знала, зачем ее повели. Но пошла — и не от бесстрашия, а от покорности, от рабства… Так же как наябедничала из-за покорности перед той! Итак, четверка вошла в лес и стояла на солнышке… как-то страшно соединенная. Все чувствовали, что они одно… такое, наверное, бывает у религиозных фанатиков! Экстаз! Из этого состояния уже было не выйти… и позже человек понял: покорность жертвы — это и есть одна из причин насилия. Но это потом, а тогда были самые простые мысли: воротничок надо выстирать… нельзя в школу с таким грязным, потом вымыть посуду, книгу в руки… включить маг и на диван. Только надо быстрее сделать, если пришли. Человек понял, что сойдет с ума. То, что происходило вокруг,

воспринималось кусками, и человек ударил ее первым, чтобы не заорать… *(Молчание.)* Каково?

Он. Вы правы… это действительно ужасно.

Она. Вы могли представить, что я способна на такое?

Он *(подумав).* Я отвечу потом.

Она. Это нехорошо, я рассказала сейчас… Тогда другой вопрос. Зачем я вам все это рассказала? Как вы думаете? Опять вы почему-то смотрите на меня, как на котенка… Послушайте, вы сегодня что-то ни черта не понимаете!

Он. А вы сегодня что-то…

Она *(перебивает).* А я вообще злая!.. Я иногда со злости могу натворить такое!.. Разве не видно? *(Яростно.)* Ну, я жду… Теперь ваша очередь!

Он. Значит, четыре года назад. Уже четыре года! Да, четыре года назад… *(Усмехнулся.)* С… «человеком» было то, что в старину называли горячкой. Ночью он сидел у стены с западавшим языком, обливаясь потом, и когда сознание возвращалось, он думал: совсем недавно я мог спать без боли, мог лежать на траве, мог гулять под солнцем… И все это было мне дано! А вместо этого я завидовал, скучал и суетился, суетился, суетился. И вот тогда, в своем полубреду, человек поклялся: если выздоровею — уж никогда не забуду — важности жизни! Особенно он настаивал на вечной благодарности молоденькой врачихе, которая возилась с ним. Она казалась ему такой прекрасной! В страшные ночные часы… Это было обожание. Он представлял, как выйдет из больницы и будет посылать ей цветы в день рождения… Нет, на все праздники! Она давно забудет, кто он! Но он, сохранивший навсегда память о важности жизни, — он будет помнить… А потом «человек» *(засмеялся)* вышел… Он сидел на скамейке в парке и смотрел, как движутся тени по траве… и плакал… И через неделю он жил… как прежде.

Она *(торжественно*). Я рада вашей истории… Мне кажется, если бы вы не почувствовали, зачем я вам рассказала свою, — вы не решились бы поверить мне это, да?

Он подошел к ней.

(Охрипла.) Ощущение… что все было… Самое нелепое, я помню… чем кончилось.

Он. Вы…

Она *(еле слышно).* Что?

Он. Звоните.

Она не двигается.

Звоните, ладно?

И тут Она выбегает из квартиры, хлопнув дверью. На

лестничной клетке Она остановилась у телефона-автомата, набирает номер.

Звонок.

Да?

Она. Я хочу задать вопрос: сколько я у вас была? Хорошо, я сама отвечу. Я была у вас двадцать три минуты по часам… Значит, двадцать три минуты по часам и целых три рабочих смены. (*Засмеялась.)* Это окончание к моему ужасному рассказу.

Он. Не понял.

Она. Это хорошо. И все-таки вы много сегодня поняли. Учтите: была только одна… одна возможность, чтобы все продолжалось… Человек стоял в дверях, умирая от страха. Все висело на волоске. Но вы сказали одну… единственно возможную фразу: «Звоните» — и все стало на свои места. (*Швыряет трубку на рычаг, потом вновь набирает.)* Потому что все другие фразы… означали бы, что вы — не вы… и снова назад — в пространство! Я благодарна вам за это. *(Убегает.)*

Наступил вечер. В «квартире». Он лежит на кровати. Джазисты (их теперь трое) играют в кухне. В свою комнату входит Мать.

Мать *(решительно снимает трубку и торопливо набирает, будто боясь раздумать).* Алло! Ты не звонил мне, а то меня не было дома? *(Выслушивает ответ.)* Так как насчет понедельника?.. Но мне надо знать заранее. *(Выслушивает.)* Понятно. *(Сухо.)* А может, лучше встретимся в другой понедельник? (*Выслушивает.)* Хорошо, я позвоню в воскресенье. Целую. Чао…

В комнату входит Подруга с огурцами в тарелке. Мать и Подруга ложатся на тахту и накладывают огурцы на лица.

(Раздраженно). Вообще свинство. Ко мне никто не приходит… чтобы она могла готовиться к экзаменам… А ее каждый день с утра корова языком слизнула.

Подруга. Сдаст. А не сдаст — ей восемнадцать лет. Ей все равно хорошо.

Он *(бормочет).* А как воровски дотронулся до ее лица… Тогда почему же?.. *(Замолчал.)*

Мать. Подожди, я огурцы уложу как следует.

В ванную входит Его жена с телефоном в руках. Перед зеркалом накладывает маску из клубники и одновременно набирает номер.

Жена *(по телефону).* Ты не звонил мне, а то меня не было дома… *(Выслушивает ответ.)* Я тоже так думаю. Чао. *(Вешает*

трубку, набирает номер).

Звонок в его квартире. Он не подходит.

Подонок!.. *(Швыряет трубку, выходит, хлопнув дверью.)*

Мать *(закончив укладывать огурцы).* Все!

Подруга *(торжественно).* Значит, пришла. Какой-то болван орет в микрофон счастливым голосом: «Товарищи после тридцати! Наконец мы собрались вместе, желаем вам приятного вечера и веселых встреч!» Сижу. Рядом за столом шесть баб, одна краше другой, возраст соответственно. Думаю, пора сматываться. И тут подходит к столу…

Мать. Врешь!

Подруга. Вот так! Красавец, лет сорок с небольшим, элегантный, с легкой сединой. Грустный! Ну, просто капитан!.. Мои бабоньки обмерли, а он… обращается — ко мне!!! Мимо всех!!! «Разрешите вас на танец пригласить». Я быстро лезу через пять пар ног. Пока лезла, увидела лица остальных… получила такое количество отрицательной психоэнергии — просто хоть в отпуск! Как я доползла до конца стола — не знаю. И говорю ему небрежно: «Ха!» И нехотя, лениво иду с ним танцевать.

Мать. Ну! Ну?!

Подруга. И вот тогда я испытала, что такое быть повелительницей! Что такое быть — тобой! Вот я во сне летала и правила машиной! Абсолютно то же ощущение! Начинает он со мной танцевать… Ну, танцуй…

Они обе складывают огурцы в тарелку. Мать включает магнитофон в ее комнате. Подруга готовится к танцу; в это время стук двери — входит Она.

Здравствуй.

Она. Здравствуй.

Мать. Ты собираешься проваливаться в институт, двоечница?

Она, ни слова не отвечая, молча проходит к себе.

Чтобы сейчас сидела за учебниками.

Она молча хлопает за собой дверью, выключает магнитофон. Все дальнейшее происходит одновременно. Мать и Подруга вновь укладывают огурцы на физиономии.

Он *(отложил книгу).* Хладность…

Джазисты играют.

Она *(включила магнитофон).* Письмо второе, которое излагает все, что было до сегодняшней встречи… «На следующий день, после того как я увидела вас впервые, я позвонила вам. Но телефон молчал. Шел дождь. Она меня не пускала. Но я бросилась в дождь. Я примчалась к вашему дому, дом стоял на

месте, дом был реальностью… На вашем этаже за лифтом оказался автомат. Я позвонила снова, но никто не ответил. Я звонила бесконечно, но телефон молчал. Я поднялась этажом выше и просидела там на подоконнике до вечера. Я боялась, что с вами что-то случилось. В одиннадцать я уехала домой. На следующий день все повторилось. Три дня по целой рабочей смене я провела на вашем подоконнике, чтобы увидеть вас на двадцать три минуты. За это время я успела полюбить ваш подоконник. Он выходит на юг, там всегда солнце, там можно читать книги, писать и иногда спускаться этажом ниже и звонить вам. Когда мне становилось особенно хорошо, я звонила вам — просто так, от восторга».

Мать (*Подруге*). Только не рассказывай так смешно, а то у меня огурцы колышутся. Подожди, я все-таки их переложу…

Она. Зачем я приезжала? Мне, собственно, от вас ничего не нужно было. Лишь увидеть! И когда я увидела вас — я тотчас спокойная уехала домой… Именно спокойная — потому что я знала: с моим человеком все в порядке. Он есть. Я не выдумала его, как все иное! Мне не интересно, как вас называют другие. Я сама придумала вам имя. Это строфа: «Кто и откуда, милое чудо». Милое чудо, здравствуйте!

Подруга. Я танцевала так небрежно… великолепно… Я была такой идиоткой, ну просто настоящей женщиной.

Мать. А он?

Она. Он! Мое лето… мое самое прекрасное лето… «Кто и откуда, милое чудо»! Он! Он!

Подруга. А он на меня смотрит так красиво — просто южный взгляд — и рассказывает историю своего одиночества. Оказалось, он робкий. Такой красавец, но робкий. Ну болезнь! За ним все ухаживают — а он все робеет. И мечтает о преданной любви. Ну, думаю, раз в жизни пошла пруха. И становлюсь все эффектней и эффектней… Отгадай, чем кончилось?

Мать. Отбили!

Подруга. Да ты что! Оглянулась я на свой стол — ни одной моей уродины, все танцуют, и рядом с каждой кавалер, и симпатичный, и тоже им — про одиночество, про робость! Ну, отгадай: кто они были?

Мать. Импотенты.

Подруга. Вот дура.

Она (*выключила магнитофон).* А ваша высшая откровенность в ответ на ужас, который рассказала я! «Кто и откуда, милое чудо». (*Ищет ручку, чтобы записать, и натыкается на письмо матери, читает.)* «Дорогой капитан…» *(Читает про себя.)* Отвратительно! *(Швыряет письмо на стол.)*

Подруга. Ну, отгадывай… ну еще немножко… совсем рядышком, «горячо»!..

Мать *(шепотом)*. Неужели?!

Подруга. Ха-ха-ха! Это была киносъемка! Они снимали фильм об одиноких, скрытой камерой. Ну теперь ты понимаешь, какая мне выпала пруха — мое лицо на всю страну с экрана. Ну неужели не найдется на целую страну хоть один, всего один тип… которому нужна любительница стихов и природы. И вот он покупает билет в кино, и наша встреча состоялась. *(Кричит.)* Пруха! Тельцы должны действовать!

Она (перечитывает письмо). Мерзость! *(Швырнула письмо со стола на пол. И топчет его в ярости.)*

Подруга *(выкрикивает)*. Есть надежда! (*Вскочила, огурцы посыпались.)* И еще про запас капитан!.. Кстати, ты отправила ему письмо?

Мать вспомнила и тотчас вскочила и, теряя огурцы, бросилась к ее двери. Стучит. **Она.** Можно.

Мать входит в ее комнату. Она глядит на мать, молча поднимает письмо с пола и протягивает ей.

Мать. Ну конечно! Разве ты можешь не прочесть чужое письмо? Спешу тебя разочаровать. *(Громко.)* Это я написала для тети Веры. Слышишь?

Она молчит.

Оглохла?!

Маленький джазист *(в кухне выкрикивает слова)*.

Моя любовь
Бывшее «ты»,
Ты, кто мне снилась,
Ты, о ком я грезил,
«Ты» распалась —
В реальность грудей, бедер и губ.
Теперь их можно ласкать или обсуждать,
Как жратву в ресторане…
Бывшее «ты»
Моя любовь!

Часть вторая

«Квартира» через несколько дней. Вечер. Все комнаты пусты, только в кухне играют два Джазиста в его комнате Он и Его жена.

Жена. Какая страшная квартира.

Он *(как-то испуганно).* Чепуха! Прекрасная квартира!

Жена. Я ее боюсь отчего-то. Прости, что я пришла сама, но твой телефон не отвечал, а я волнуюсь. Твое счастье — ты можешь не волноваться. Так что договоримся: подходи к телефону… Нет, как ты не можешь понять! Если бы ты мог хоть что-то понять… *(Махнула рукой.)* Он. Прошу тебя!

На лестничной клетке у телефона-автомата появляется Она и набирает номер. Звонок телефона в его квартире, Он не подходит.

Жена *(усмехнулась).* Звонят…

Он не подходит.

Ты очень тактичный.

Он молчит. Звонок.

Каждое утро я просыпаюсь в надежде, что все это сон!.. И все замечаешь: кому-то достали билеты на французский фильм… раньше я бы не обратила внимания… И неужели тебе все равно, что я… что мне… Ты знаешь, с тобой я была очень несчастна… но ты — молодец, ты сумел сделать меня еще несчастнее…

По-прежнему звонок телефона.

Тебе очень хочется подойти!.. Но ты… Еще раз спасибо… Он. Не надо! Я очень тебя прошу! **Жена.** Что «не надо»? Ты же знаешь, что вся моя жизнь… Я — твое порождение… Я с тобою стала женщиной… я… *(Поднялась.)* Я пойду? *(Не уходит.)* Какой же ты злой! Знаешь, раньше я специально приходила к тебе в институт… И когда я видела там тебя: такой блестящий… (*Засмеялась.)* И уже могла продолжать жить с тобою… Иногда на целый месяц хватало… Я пойду?

Он кивнул. Она все не уходит.

Как всегда — только о себе. Ну ладно! Эх ты!

Он. Я не сержусь. Это надо было сделать. Ты сделала первой. Всего лишь!.. **Жена.** Я ничего не сделала.

Он сморщился.

(Помолчав.) Ну, Бог с тобой! (*Встала, подошла к нему.)* А ты совсем-совсем… не любишь меня? *(Приблизилась вплотную.)*

Он *(кричит).* Не надо!

Жена. Подонок! Ты же… негодяй! Ты… ты… ты… садист! Это все должны знать! Я на каждом углу буду кричать! *(Как базарная*

торговка.) Я ненавижу тебя! Я десять лет тебя ненавижу! Я изменяла тебе! Слышишь! Знаешь, с кем я звонила тебе?!

Он. Я убью тебя! Я…

Жена. Не-а! Не сможешь! Ты… ничтожество! Сколько сил я положила, чтобы сделать из тебя мужчину! Инфантильный дурак! Ты… ты… Ну, ударь! Ударь меня! Трус! Трус!

Жена лупит его по лицу. Он хватает Жену за руки, выкручивает. Какая-то отвратительная драка. Безостановочно звонит телефон. Наконец, Жена вырывает свои руки и вдруг хватает его за шею и целует в губы. Потом выдергивает шнур лампы, темнота. На лестничной клетке Она повесила трубку и убегает. Телефон замолкает. Тишина, только в темноте играют Джазисты… Потом Он зажигает лампу и сидит на постели, опустив голову на руки.

Жена. В следующий понедельник у меня отгул, и я тебя отсюда заберу… Попижонь (*при этом слове Он вздрагивает).* До понедельника — и хватит! (*Кивнула на телефон.)* Ты же безвольный… А этот звонок… Мне-то на него наплевать! Но тебя может обвести любая сукина дочь! В другое время я бы сказала: «Ради Бога, если ты сам этого хочешь!» Но ты же болен. (*Пронзительно.)* Перестань! Ни о чем не думай! Никого у меня не было! Я потом тебе все объясню! Поцелуй меня… (*Сама его целует.)* До понедельника! Чао!

Он остается один, неподвижно сидит на кровати. В это время **Подруга** входит в свою комнату, набирает номер телефона. Звонок в квартире ее матери. Одновременно раздается звонок в его квартире. Это на лестничной клетке перед телефоном-автоматом вновь появилась **Она.** Она держит высоко, как знамя, окровавленный палец, накрытый платком, а другой рукой набирает его номер. Все четверо разговаривают одновременно.

Мать *(снимает трубку).* Алло… **Он** (*поспешно поднимает трубку).* Алло!..

Молчание.

Алло!

Подруга. Ты не представляешь, какая идет пруха! Она *(кричит).* Почему вы не подходили к телефону?! Мать. Подожди, я закурю.

Он. Во-первых, здравствуйте.

Она *(истерически).* Я истекаю кровью!

Он. Что?!

Мать *(закурила).* Ну, все в порядке.

Подруга. Значит, рассказываю в общих чертах, остальное при встрече завтра.

Он *(кричит).* Ты где? Где ты?

Она молчит.

Где ты?!

Он швыряет трубку и бросается прочь из квартиры. Она медленно идет от телефона-автомата, торжественно держа перед собою окровавленный палец, накрытый платком.

Подруга. Значит, слушай: на этом вечере «после тридцати» я познакомилась с одной армянкой, не очень, правда, красивая, но такая веселая, просто приятно. «Наш человек».

Молчание.

И вот сегодня утром эта жизнерадостная подруга звонит мне на работу прямо из Еревана и говорит такой текст: «Вера, я нашла тебе жениха!»

Мать. Умереть!

Подруга. Но главное, отгадай, где она его нашла. Ну, слабо? Ну где? *(Кричит.)* На кладбище!

И тут Мать начинает хохотать. Она хохочет неудержимо, до истерики, и Подруга тоже хохочет.

(Заливаясь.) Ну и что? А одна моя знакомая нашла себе мужа на лестничной клетке… И счастлива!.. Она инженерша, слышишь? Купила себе дорогой кооператив… Ей надо было выплачивать пай… А тут еще подвернулась шуба. Где взять? И что она решила, отгадай? Что?

Мать. Послушай, мне надоели кроссворды!

Подруга. Опять не в духе… Она подрядилась мыть свою лестничную клетку. Естественно, она стеснялась и решила это делать по ночам, чтобы жильцы не видели. И вот моет она лестничную клетку, а ночью, как известно, все семейные спят… Короче, все сразу выяснилось: оказалось, что после полуночи возвращаются два симпатичных однокомнатных холостяка — один с восьмого, другой с четвертого. А она к тому времени от мытья полов стала такая изящная: сшила себе рабочий туалет — эффектная короткая юбочка и к ней кофточка фирменная… Представляешь? Глубокая ночь, луна за окном лестничной клетки, а у нее идут разноэтажные свидания… Короче, пошла такая бурная жизнь… на этой клетке! Осенью она уже была замужем — то ли за тем, с четвертого этажа, то ли с восьмого, то ли за ними обоими… А чего? Какой запасной вариант!.. Кстати, я высчитала: капитан вчера получил твое письмо.

Мать. Спокойной ночи. Я устала сегодня.

Подруга. Ты мне не нравишься в последнее время. До завтра!

В его квартиру входят Он и Она. Она все так же торжественно держит перед собой, как флаг, забинтованный палец.

Она. Надеюсь, вы запомнили, в аптеке сказали: я могла истечь кровью! Я могла умереть!

Он *(почти кричит*). Я в двадцатый раз спрашиваю: что случилось?

Она. Как странно, еще вчера вам достаточно было спросить меня или послать за чем-то — и я понеслась бы исполнять! А сейчас мне все равно! Я не слышу вас, как ее! А я немножко себя поняла: я могу поступать только фанатично, безрассудно, со всем пылом или никак! Смешно! Я освободилась от вас! Я в пространстве! Надеюсь, вам ясно: мы прощаемся!

Мать *(подойдя к зеркалу).* Потолстела… *(Начинает подпрыгивать.)* … десять… двадцать…

Он молчит.

Она. Понимаете, я с детства выдумывала. Когда я не умела читать, я сидела у окна, смотрела на улицу и выдумывала. И люди, и вещи, которые я видела, тотчас превращались. Поэтому, когда я потом вновь встречалась с этими людьми и вещами, я всегда путалась… что было реально и что я сама придумывала. Я привыкла путаться. Поэтому с самого начала вы не были для меня реальным человеком. Я вам скажу фразу, вы ее все равно не поймете: «Если бы хоть кто-нибудь позволил ей себя полюбить». Я не боюсь ее сказать, потому что никто в мире не смеет меня унизить! Теперь слушайте все: я приехала к вам сегодня, впрочем, как и вчера, и позавчера, — и сидела на вашем подоконнике…

Мать. Сорок… пятьдесят… (*Подпрыгивает.)*

Она. Я учила историю. Вы уходили и приходили, а я учила. Мне не надо было с вами встречаться. Мне достаточно было того, что я вас вижу, потому что… потому что…

Он. Это была моя жена!

Она (*кричит*). Мне наплевать! Меня не интересуют ваши отношения с другими!.. *(Кричит.)* Если бы вы понимали, что меня не волнуют ваши гнусные отношения, — вы подошли бы к телефону! Но вы предали меня! И освободили… Значит, вы — не вы! Я ухожу из вашей жизни! Обратно! В пространство! Все! *(Она не уходит. Зло.)* А теперь отвечайте! Учтите! Вы должны сказать мне все! Слышите? И не беспокойтесь… Что бы вы мне ни сказали, сейчас мне ничего не страшно, кроме лжи! *(Засмеялась.)* Вскрывать себе вены — это для других, потому что для других подвиг — умереть, а для меня подвиг — жить. Я слушаю вас.

Он. Я уезжаю отсюда!

И вмиг Она совершенно потерялась.

Она *(безумно).* Когда?! **Он.** В понедельник…

Долгое молчание.

Она. Можно задать вопрос… куда?

Он … Обратно.

Она. К ним? *(Засмеялась.)* Как же я не поняла!.. Поразительно! При моей-то интуиции! Значит, ваше — «звоните» было тогда не от понимания моего страха, а от страха вашего, да? Послушайте, до чего же вы несвободный… Теперь я даже думаю, что именно это мне в вас и нравилось. *(Яростно.)* Мне всегда хотелось иметь собственного котенка. Знаете… мурлыкающее маленькое тельце, нуждающееся в моей защите! Молчите! Слушайте… Я только теперь поняла, зачем я вам рассказала тогда мою ужасную историю… Интуиция! Сразу почувствовала, что для вас эта история полна смысла! Ну ладно! Гуляйте! Счастливо вам добраться в нашу тюрьму!

Он *(засмеялся).* Несвободный… это зануда, да?

Она. Вам так удобнее?

Он. Когда ты станешь старше — ты поймешь… что у этих самых зануд — всегда остаются обязанности… Их давно уже ни о чем не просят, а они все за кого-то отвечают…

Она. Я не слышу! Я не слышу! Я не слышу!

Он *(кричит).* Потому что это необходимо!.. Например, прожив десять лет с человеком, нельзя…

Она *(орет).* Десять! Двадцать! Тридцать! Замолчите! Я ненавижу вас сейчас! Я не хочу потонуть в ваших банальностях! Мне плевать! Все в порядке! *(Вдруг.)* Слушайте. Я успокоилась! Совсем! Расстаемся! Я даже напоследок хочу попросить вас об одном одолжении! Вы исполните?

Он. Я исполню. *(Он весьма растроган.)*

Она. Учтите, вы дали слово! *(Зло.)* Сейчас вы возьмете трубку, а я наберу номер. Ответит женский голос. Вы скажете этой женщине следующее: «Здравствуйте, это говорит капитан. Я приехал».

Он *(разочарованно).* Какой капитан?

Она. Отважный. Очень отважный капитан, которого ждут. Устраивает?

Он. Я не понимаю.

Она. А вам и не надо понимать. Достаточно того, что понимаю я. А вы дали слово исполнить. Итак: «Это капитан. Я приехал». Надеюсь, запомнили? Дальше вы спросите у женщины: «А это Вера?» И она ответит вам утвердительно… Учтите, она будет колебаться, но все-таки ответит, что она Вера… И тогда вы назначите ей свидание.

Он. А на самом деле это будет не Вера?

Она зло засмеялась.

По-моему, это ужасно. А если она не ответит, что ее зовут Вера? **Она.** Ответит. В этом весь фокус. Я набираю… *(Поднимает трубку. Набирает.)*

Звонок в квартире ее матери.

Мать. Алло…

Он. Здравствуйте.

Мать. Кто это?

Он *(после паузы).* Это… капитан… Я приехал.

Мать. Боже мой!.. Вы получили письмо?

Он *(после паузы).* А вы… Вера, да? *(Молчание. Он повторил.)* Вы Вера, да?

Мать *(после долгой паузы).* Да.

Он. Я хотел бы вас повидать, Вера.

Она торжествующе засмеялась.

Мать *(опять после паузы).* Хорошо.

Он. А когда?

Мать. Давайте завтра… Нет, послезавтра… Нет, вы позвоните мне… в это же время. Хорошо? Послезавтра в это же время. Я буду ждать.

Он. Хорошо. До свидания, Вера.

Мать *(глухо).* До свидания…

Гудки в трубке. Повесила трубку.

Какой у него… интеллигентный голос.

Он. Теперь объясни мне наконец! *(Заорал.)* Я хочу знать!

Она *(засмеялась).* Нет, не хотите… Ну, вы точно как она!.. Что она сказала?

Он *(глухо).* Чтобы я позвонил послезавтра.

Она. Да не пугайтесь! Ничего нового я не придумала. Все ждут своего капитана: я, Вера, она, все мы… *(Усмехнулась.)* Ну ладно, прощайте. Ах да… вы все беспокоились насчет моего пальчика. Я опустила письмо для вас в ваш почтовый ящик, а потом… позже… когда поняла, что это письмо вам не принадлежит, я просунула палец в отверстие и пыталась его выковырить… Но письмо не шло обратно… и я почувствовала ужасную боль, но я все равно поворачивала палец и края отверстия рвали… и кровь лилась в ваш почтовый ящик. Потом я все-таки вырвала палец, и кровь пошла сильнее, и я позвонила вам… Я ненавижу вас! (*Засмеялась.)* Не дай вам Бог узнать, что я выстрадала сегодня! Ничего, когда-нибудь я сумею отомстить за

свои страдания! *(Кричит.)* Меня многому учили в жизни, и только сегодня вы научили меня жить! Будьте прокляты! (*Выскочила, хлопнув дверью.)*

Он остается один. Она появляется у телефона-автомата, набирает номер. Звонок.

Он *(торопливо хватает трубку).* Алло…

Молчание.

Алло!.. **Она.** Через тридцать минут спуститесь и возьмите письмо, я напишу его сейчас… вместо того.

Молчание.

Он *(тихо-тихо).* Ты нарочно засунула палец в ящик и вертела, пока не облилась кровью…

Она швырнула трубку на рычаг. Стоит у телефона-автомата и плачет. Потом набирает номер.

Алло…

Молчание.

Алло!..

Она. Это подлость! Подлость! *(Бросает трубку и убегает.)*

Он один в квартире. В это время Ее мать перестала подпрыгивать и уселась перед зеркалом, причесывается. В ванную входит Его жена и тоже причесывается, разговаривая с Доктором, стоящим на пороге ванной.

Жена. Я не соврала ему. У нас с тобой действительно ничего не было. «Лав мэйкинг», как говорят англичане, — всего лишь. А для меня это ничто! Я ведь мечтала… А!.. *(Махнула рукой.)* Я звоню тебе со своей несытой нежностью, но ты занят! Вечно занят! *(Яростно.)* И ты смеешь быть занятым после того, что я для тебя наделала?!

Доктор. Но я…

Жена. Замолчи! Ты — садист! Тебе доставляет удовольствие смотреть, как я суюсь в эту жуткую реку, не зная броду… как я буквально давлюсь своей нежностью к тебе! Знаешь, все! Хватит! Была любовь… предопределенная и не заслуженная тобой.

Он гладит ее по волосам и очень нежно по лицу — и Она двигает головою в такт его ласке.

Да! Тебе легко… Достаточно взгляда, и я, как дрессированная тигрица, сажусь на тумбу и глазею на хлыст! Нет, нет! Все, я решила! Мы будем с тобою друзьями! *(Выходит из ванной.)* **Голос его жены.** Мы будем только друзьями! Слышишь?! Мы только-только друзья!

Захлопывается дверь ванной. Он взглянул на часы; выходит из квартиры, потом мигом возвращается в свою квартиру с

письмом и читает. **Он** *(читает)*. «Еще мой обожаемый Бернард Шоу сказал: «Нет в мире женщины, способной сказать «прощай» меньше чем в тридцати словах». (*Усмехнулся.)* Банально? Все, о чем мы с вами говорим, почему-то тонет в банальности! Но мне больно! Мне очень больно! Слышите?! Чтобы понять, что я пережила сегодня, обратитесь к классике — «Дневник Печорина», перед словами: «Тем временем Мери перестала петь»! Я не понимаю, что такое для меня эта встреча: величайшее счастье или величайшее несчастье всей жизни… Но я уже точно знаю, что ни одного человека в мире я не полюблю, как вас. Я готовилась к этой любви! Я не стыжусь признаться в ней! Я пишу вам с гордостью, как о награде, — я вас люблю! И мне не стыдно и не страшно, потому что во мне горы любви! Слышите, вы! Уходя от вас, я подаю вам, нищему, свою любовь. Держите на бедность!» Подпись «Я».

Затемнение.

Глубокая ночь. Она на цыпочках проходит через комнату матери в свою. Мать не спит. Мать даже не ложилась, демонстративно сидит с книжкой в руке, ждет ее. Но, не оборачиваясь, Она проходит в свою комнату и стоит у своего стола и стоя ест оставленный ей ужин. Одновременно в кухне появляется Маленький джазист, открывает холодильник и так же стоя ест свой ужин.

Мать. Я не живу, чтобы дать тебе возможность сдать экзамены! *(Кричит.)* Не ешь стоя! Что с твоим пальцем?

Она молча ест.

И почему ты опять в брюках? Я ведь просила тебя приучаться ходить в нормальной юбке. Тебе в институт на экзамен скоро идти!

Она *(миролюбиво)*. В юбке у меня ноги голые. Это меня очень смущает. *(Ставит тарелку.)* Спокойной ночи. *(Закрывает дверь, подходит к магнитофону, щелчок, включила запись.)*

Мать *(распахнув ее дверь)*. Ты сразу скажи… ты решила проваливаться в институт, двоечница? *(Кричит.)* Выключи этот проклятый магнитофон! *(Орет.)* И почему ты не ответила — что с твоей рукой?!

Она. Я никогда не была двоечницей. Кстати, я заметила, что люди, не знающие языка, когда они разговаривают с иностранцами, кричат. Им почему-то кажется, что так их поймут.

Мать (*вдруг спокойно)*. Мне не нравятся твои встречи с Эрикой. Меня очень заботят твои ночные возвращения с порезанными пальцами. Короче — все.

Она. Не поняла.

Мать *(помолчав)*. Я пошла к Наденьке… к твоей любимой

подруге…

Она. Я не хочу слушать.

Мать *(продолжает)* … твоей ближайшей подруге Наденьке, которая, правда, не знает, что она твоя ближайшая подруга. И она мне сказала, что Эрики больше нету.

Она. Мама!

Мать. Да, Эрика внезапно уехала к себе во Львов. Эрика абсолютно неожиданно вернулась к родителям, слышишь? И вообще мне надоели все твои глупости. У тебя через два дня экзамены! С завтрашнего дня ты будешь учиться! Эрика во Львове!

Она … Еще одна… подлость.

Мать. Милая, я знаю жизнь. К сожалению, ты у меня сумасшедшая, и я не хочу, чтобы дело кончилось… первым встречным!

Она *(сухо)*. Капитаном.

Мать. Что… ты сказала?

Она. Я ничего не сказала… Это ты говоришь. Это ведь ты хочешь сделать мне больно?

Мать *(молча выходит из ее комнаты и начинает стелить свою постель)*. О Боже! Как мне надоело разбирать эту постель… *(Задумалась и добавила как-то устало.)* Знаешь… я виновата, что родила тебя сразу и без сердца и без мозгов. Я постараюсь исправить это, как могу. Ложись спать. И больше ты никуда не выйдешь из дому, пока не сдашь экзамены. (*Ложится в постель.)*

Она *(укладываясь в кровать, включает магнитофон)*. Письмо двадцать третье. «Итак, сегодня я потеряла сразу вас и Эрику. Я в пространстве, никого вокруг… О нет! Ничего подобного… Ведь слово осталось. Утром, перед приходом к вам, я включила магнитофон и машинально бормотала что-то. Потом мне пришло в голову прослушать свое бормотанье… Это было одно слово, повторяемое на разные лады. Я испугалась. Я записала тотчас музыку на этом слове. Отмотала ленту, включила. Но это слово тихо звучало сквозь музыку. И в панике я сожгла эту ленту. Смешно! Люди стесняются этого слова! У меня есть теория: человек прочитал определенное количество рассказов, человек наблюдал вокруг, человек знает — сначала должна быть любовь, чтоб потом была свадьба. Человеку нужна свадьба, и человек идет не от причины к следствию, а — наоборот: рядом есть объект, подходящий для свадьбы… значит? Значит — я его люблю! Так просто! Ион вынужден говорить то, чего не чувствует. И оттого людям так неудобно произносить это слово, и оттого люди привыкли стесняться его. Они стесняются своей лжи… Но почему же осталось это слово у меня после всего?!

Мать молча входит в ее комнату, выдергивает шнур у лампы. Темнота. Возвращается к себе и долго ворочается в постели.

Джазист (в *кухне закончил есть, взял инструмент и тихонечко напевает).*

Реквием

Я не заживусь на этом свете,
Я недолго буду жрать наш общий кислород,
Нарушая экологию среды.
Я умру, и в последний путь пусть провожают
Меня друзья:
Дохлая птица, которую я закопал под забором,
Моя любимая кошка, которую не разрешила держать мать…
Только они, эти двое… меня не предали.

Затемнение.

Глубокая ночь. Во всех комнатах спят. И тогда Она зажигает свет. Щелчок магнитофона — включила.

Она *(шепчет в магнитофон).* Письмо двадцать четвертое. «Три часа ночи — это мой час. Только ночью я чувствую себя полностью человеком… Ночью я читаю и думаю, даже ем. Только хищники и убийцы едят по ночам… поэтому у всех убийц желудки порченые… Я проснулась сейчас совсем счастливая. Поразительно: вместо того чтобы умирать от горя — я свечусь от радости и освещаю собою всю комнату, меня надо выключать на ночь… иначе все загорится… Я вас не видела несколько часов, но я не теряю с вами связь. У меня есть теория: у женщин более высокое предназначение, ибо они должны отдавать. И создавать новую плоть. Поэтому природа наделяет их щедрее. Доля природы в женщине больше. И оттого в них мало логики и много хаоса и безмерности… то есть природы… Поэтому установление связи между людьми сквозь пространство — дело женщин… Чтобы все стало в мире на свои места… я должна непрерывно чувствовать эту связь с вами… Иначе все останавливается. И вот сейчас, наладив связь с вами, — после всего!., — я испытываю радость! Потому что… я чувствую правду. Боже мой! Как мне нравится вот так разговаривать с вами! Я вас люблю. Сколько раз на день я ловлю себя на этом слове, срывающемся с губ. Я сойду с вами с ума, но я не смогу от вас уйти. (*Смеется.)* Какое счастье. Наконец я смогу сказать вам то, что повторяла тысячу раз, вас предчувствуя: «Каждое утро, проснувшись, я захлебываюсь в собственном дыхании… я ощущаю ваши губы с такой физической

реальностью, что почти теряю сознание. Только молоточки в висках. Я становлюсь безумной… и со всей силой этого безумия я говорю вам: я вас люблю! Спокойной ночи, милое чудо!»

Раннее утро. «Квартира». В своей комнате спит О и, комнаты матери и подруги — пустые, в кухне играют Джазисты. Она встает, распахивает свою дверь, включает магнитофон на полную мощность и, пританцовывая, движется по пустой квартире, напевая: «Тирли-тирли-тирли-бом!»

Она (в *магнитофон*). Как всегда: третье письмо за ночь. «Доброе утро, милое чудо! Я тихонечко двигаюсь по квартире под собственное вытир… вытирли… рование. Ощущение радости: если я подпрыгну — я повисну в воздухе! Всю ночь мне снился сон… оставшийся в наследство от давно ушедших детских времен. Бесконечное поле с блеском холодного неба, и мой полет с высоты этого неба, резкий и прохладный, к земле. После этого у меня целый день от восторга судорожно раздвигаются губы, а глаза горят по-хищному. Счастье, что я не родилась в Средние века, иначе меня сожгли бы, как ведьму. Я люблю вас! Я люблю вас! Ужас! В течение ночи я трижды снимала трубку и только усилием воли заставляла себя не звонить вам. Счастливейший день сегодня! И знаете почему? Потому что сегодня я уже не выдержу… я не выдержу… и увижу вас… И вы этого хотите сами! Я не знаю, как это произойдет! Я чувствую! Я увижу вас сегодня! *(Смеется.)* Тайники души…»

Вечер. Та же «квартира». Он в своей комнате читает, лежа на кровати. Мать и Подруга в комнате матери лежат на тахте. Она в своей комнате, включила магнитофон и что-то бормочет в такт мелодии.

Мать *(Подруге)*. Подожди, я только позвоню по делу. *(Набирает номер.)* Ты не звонил мне, а то меня не было дома?.. *(Выслушивает.)* Ну хорошо. Ну хорошо. Давай в следующий понедельник… Нет, не обиделась. Чао. *(Повесила трубку.)*

Подруга *(продолжая рассказ)*. Ты представляешь, сколько стоит мраморный памятник на кладбище в Ереване? И кто хозяева этих памятников?

Мать. Представляю — воры.

Подруга. Не в духе… И вот эти обеспеченные вдовцы… это, как правило, любимые тобою торговые работники… все свободное время проводят у монументов своим женам. Причем даже те, которые своих жен терпеть не могли. Понимаешь, как только он вообразит, что его мраморные пятьдесят тысяч стоят без надзора — так он со всех ног бежит на кладбище! Сидеть! У памятника! И вот там-то с ними знакомятся наши холостячки. И вот моя веселая армянка подружилась на кладбище с приятным

вдовцом. Она описала ему меня. И тотчас в этом одиноком торговце вспыхнула любовь. Оказывается, он всегда мечтал о блондинке — любительнице стихов и природы.

Мать. А что же она сама за него не вышла?

Подруга. У нее нос! Она сейчас в очереди стоит на пластическую операцию! У них там в Ереване один репатриант… А уже с тем новым носом — она не останется «с носом»… Ха-ха-ха… Но мой вдовец… всем вдовцам вдовец… он имеет на своем участке целых два памятника!

Мать. Как?!

Подруга. Один — умершей жене, а второй — живому себе. Египетский фараон. Весь день он сидит на скамейке и любуется своим изображением. Идут люди, а он все наблюдает, какое впечатление производит он после своей смерти! Человек он добрый, незлобивый…

Мать. И честный.

Подруга. Кстати, любитель стихов и природы. На памятнике он изображен в большой кепке и с книжкой стихов Исаакяна в руках.

Мать. А тебе он памятник тоже про запас поставит?

Подруга. А ну тебя! *(Хохочет.)*

Мать *(закатывается).* Вы все трое… за одной оградой… и он в кепке с книжкой!

Подруга *(заливаясь).* И я тоже с книжкой!

Мать. С Цветаевой… которую сдали в букинистический…

Подруга. Умру… Умру! (*Закатывается.)*

Мать вдруг замолчала, замолчала и Подруга. Они лежат и о чем-то думают. В это время в своей комнате Она разгуливает, натыкаясь на вещи, и что-то мычит в такт своим мыслям.

Мать *(прислушиваясь).* Ни черта она не поступит! *(Пошла к ее двери).* **Она** *(включает магнитофон).* «Письмо тридцать второе, которое заканчивает серию неотправленных писем, поскольку пишется с твердым намерением предстать перед адресатом». Адресат, именуемый в дальнейшем «милое чудо»…

Мать распахивает дверь. Она немедленно замолкает.

Мать *(выключает магнитофон).* Завтра у тебя сочинение. *(Подруге.)* Она даже не раскрывала учебников. *(Ей.)* Ты ведь писать не умеешь, двоечница! *(Подруге.)* Ты бы посмотрела, как она пишет! Ты бы почитала!

Она. Ага. Ты почитала и посмотрела!.. Я это уже поняла!

Мать. Но и ты этим не брезгуешь… Хотя я сделала это случайно. *(Подруге.)* Ничего нельзя взять с ее стола… в доме не осталось клочка чистой бумаги. *(Ей.)* Все исписано ее идиотскими бормотаниями, даже жировки на квартиру. *(Подруге.)* Причем эти

писания она разбрасывает всюду… потому что ко всему она еще и неряха!

Она. Не надо!

Мать. Малограмотная неряха! *(Подруге.)* Она «Тбилиси» через «Д» умудрилась написать — «Дбилиси». Кстати, кто это — «милое чудо»?

Она. Замолчи!

Мать. Кстати, этому «милому чуду», которому ты так образно описываешь интересные подробности твоей поездки на море в «Дбилиси»… следует знать, что ни в каком «Дбилиси» ты не была… Это так же точно, как то, что в «Дбилиси» нет моря!

Она. Я запрещаю читать мои бумаги!

Мать. Я запрещаю орать в моем доме! *(Вдруг.)* Уродина!

Она. А ты… ты… ты… *(Вдруг пришла в себя, усмехнулась. Спокойно.)* Кстати, звонил капитан.

Подруга. Какой… капитан?!

Она. Уж не знаю!

Мать побледнела.

(*Усмехаясь, глядит на мать.)* … Он сказал: «Передайте Вере, как мы договорились, — я позвоню ей завтра».

Подруга. То есть как — договорились? Когда мы договорились?

Она. Не знаю… Он сказал: «Как договорились с Верой».

Длинная пауза.

Мать (*поняла. Задыхаясь.)* Ты… страшная… ты… ты…

Она спокойно захлопнула дверь. Мать и Подруга молча лежат на тахте.

(Жалко.) Перепутала она что-то. Она ведь… «витает».

Подруга молчит. В это время Она в своей комнате зажигает спички, разводит на столе маленький костер и начинает сжигать всю необъятную гору бумаги, которой завален стол.

(Потянула носом воздух.) Горит! *(Бросилась к ее двери, но дверь заперта.)* Открой! Немедленно! *(Барабанит.)* В последний раз! Открой! *(Кричит.)* Или ты будешь жить дома, как все нормальные девочки! Или… ты… уйдешь отсюда! Слышишь?! Открой! Сейчас же!.. Уходи! Уходи!

Затемнение.

Глубокая ночь. Во всех комнатах темно. Только в комнате матери горит свет. Мать глотает таблетки, гасит лампу, потом зажигает снова, смотрит на часы, потом снова гасит. В его комнате. Он спит. Пронзительный звонок. Он вскакивает, бросается к двери.

Он. Кто?

За дверью молчание. Он торопливо одевается. Звонок звонит безостановочно. Он уже одет, хочет открыть дверь, но дверь почему-то не открывается. Он рвет дверь на себя. Ему кажется со сна, что он сойдет с ума, если не откроет эту дверь. Безумным усилием Он наконец открывает дверь — и летит на пол. Он так и сидит на полу, держась за сердце, когда спокойно, торжественно входит Она с большим портфелем в руках.

Она. У нас, когда люди хотят пошутить, — они вставляют спичку в звонок, а ручку двери привязывают веревкой к перилам.

Молчание.

Вы хотите, наверное, спросить, который час, да?

Он *(сидя на полу).* Действительно?

Она. Мой любимый. Два часа ночи. Вы знаете, еще недавно я была совсем без сил. Но у меня есть теория: когда сил совсем не остается, это самое опасное. Тогда человек может натворить такое…

Он *(все сидя на полу).* Что случилось?! Что случилось?!

Она. Как вы смешно выкрикиваете. Даже я начинаю нервничать. Я к вам прямо из пространства! Я пить хочу! Вы рады, что я пришла?

Он *(продолжая сидеть на полу).* Я очень рад. Я очень рад.

Она. Нет, вы не рады. Вы сейчас просто испугались, что я буду все дни просиживать у вас на подоконнике, а по ночам врываться к вам в квартиру. *(Смеется.)* Вы не бойтесь, я пришла к вам чисто случайно… Кроме того, я предварительно установила с вами связь… чтобы узнать, можно ли к вам прийти.

Он *(бессильно).* Что… установила?!

Она. Ну, я уже вам писала об этом! Слушайте! Это письмо я вам, кажется, тоже не отправила, да? Я все время путаюсь, что вы знаете обо мне, а чего нет! Жаль, вы никогда его не получите. Оно только что погибло в огне!

Он. Послушайте… а они… не беспокоятся?

Она. Почему все одинаковы? Почему все задают какие-то простейшие вопросы, на которые можно отвечать только такими же простейшими ответами? У низших все значительно лучше. Как только детеныш сможет добывать себе пищу, узы тотчас уничтожаются. У высших же плюют на тот момент, когда возникает взаимоотталкивание, и силой хотят поддержать прежние отношения. Раз ты живешь на их территории — ты их собственность, они не только могут — они должны лезть в твои дела! *(Хохочет.)* Нет, как вы напуганы! Совершенно неправдоподобная ситуация: посреди ночи девушка явилась к малознакомому первому встречному. И он же ее боится.

(Хохочет.) Странно, да? Только в жизни могут случаться самые неправдоподобные вещи. Вообще, чем вещь интереснее, я заметила, — тем она неправдоподобнее. *(Вдруг.)* А вы абсолютно правильно боитесь. Меня следует бояться. *(Вдруг шепотом.)* Нас открыли!

Он *(сухо)*. Кого?

Она. Эрику, Наденьку и меня… Я вам как-то рассказывала — мы избили девочку. Вчера нас вызвали… *(Благостно.)* Вам хочется спать?

Он *(зло)*. Послушай, тебя никуда не вызывали…

Она *(страшно испугавшись)*. Замолчите!

Он. И никакую девочку ты не избивала! Это очерк такой! Я читал его в «Литературной газете». Ты все придумала? Как ту дрожь в первый день…

Она бросается к дверям, но Он ее ловит.

Нет уж! Причем придумала с ходу, и наверняка в последний момент, может быть, когда спичку вставляла в звонок! Только зачем? Зачем? **Она.** Договаривайте: затем, чтобы иметь повод увидеть вас, да? Вчера я чуть не погубила свой палец ради вас, да? А сегодня… Все ради вас? Слушайте! Слушайте! А давайте обсудим другой вариант: может, я нарочно вам врала так нелепо, чтобы вы догадались! Может, мне просто было интересно, как долго вы сможете оставаться богом, то есть молча прощать! Но вы недолго смогли. Вы неважный бог. Слушайте! А может, мне надо было, чтобы вы быстрее пали, чтобы улететь обратно в пространство, а? Вы быстро пали. Если бы вы видели себя сейчас… Слушайте! Вы просто обычный «несвободный» человек, который боится всего непонятного. Не волнуйтесь… Я вам не угрожаю… Это так — детское… Только дети умеют увлекаться целиком и фанатично… Но контроль я все-таки сохраню, потому что я сразу — ребенок и женщина… Учтите, очень старая женщина. У меня ощущение, что я жила всегда… Ну что молчите? Второй вариант тоже не подходит? Слушайте! Тогда я вам могу третий предложить? Может быть, история об избиении была всего лишь иносказанием! Притчей! Это история ведь о вас была! А не обо мне! И смысл ее был, конечно, не в том, что три девочки избили четвертую. Смысл ее был в той, четвертой. Помните? Она сразу подчинилась. А ведь они вели ее, только чтобы попугать! Всего лишь напугать! Но от ее тупого подчинения в них проснулось зверство. Помните, они велели ей встать на колени, и тотчас, без сопротивления, она встала. Я уверена: вот тогда-то они и озверели окончательно. Покорность жертвы будит в человеке самое низменное: древний инстинкт хищников! Я

уверена: безропотно подчинившаяся жертва в какой-то степени соучастник палача. Я рассказала вам эту историю для размышления, «милое чудо». Потому что я интуицией чувствую: вы — прирожденная жертва! Что вы молчите? Вы, посмевший уличить меня во лжи! Как же вы не поняли? Я никогда не лгу, я только придумываю! Например, никакой Эрики нету! Просто я зашла в магазин пишущих машинок, мне было шестнадцать лет, у меня не было никакой подруги, точнее, я со всеми рассорилась и погибала от одиночества. А там висела реклама пишущей машинки: красавица с золотыми волосами печатает… и надпись «Эрика». И я тотчас сделала ее своей подругой! Потому что… чтобы придумать самое нереальное — мне всегда нужно основание: я — нереальный реалист! Поэтому, чтобы придумать любовь, — мне нужно, как минимум, подобие… то есть вы. Что вы на это скажете? Может, это четвертый вариант истории? Может быть, вы — миф, как подруга Эрика, не более? А все слова, которые я говорю вам, я уже тысячу раз произносила в воображении. Может, просто выдумала вас, чтобы не задохнуться от собственной нежности.

Он молча подходит к ней.

Если вы дотронетесь, я заору. Я очень хочу заорать! Я так заору, что проснется весь ваш проклятый дом. *(Кричит.)* Отдайте письма! Слышите! Немедленно! Отдайте все мои письма!

Он удивленно глядит на нее. Потом молча идет, открывает портфель, стоящий в углу, и протягивает ей письмо.

Нет! Нет! Все, что я написала! *(Кричит.)* Немедленно! Потому что каждое письмо стоило мне всех сил! Страданий.

Он молча, усмехаясь, продолжает стоять с одним письмом.

(Почти испуганно.) Это… все?..

Он по-прежнему молча глядит на нее. И тогда Она выбегает из квартиры, хлопнув дверью. Он сидит на кровати, держась за сердце.

Раздается резкий звонок. Он открывает, Она входит.

Она *(с ненавистью)*. Я рада, что отправила вам всего одно письмо! Вы недостойны моих писем! Но перед тем как войти к вам сегодня, я сидела на подоконнике и кое-что вам написала. Я решилась все-таки прочесть это вам… чтобы не было путаницы. Только учтите — одно слово, и я уйду! Молчите и слушайте. *(Вынимает толстую тетрадь и читает.)* «Письмо тридцать третье».

Он с изумлением хотел было спросить, но Она мрачно на него взглянула, и Он ничего не спросил. Она начинает читать письмо.

«Человек ушел из дома. Все ссоры человека с нею кончались

примерно одинаково: «Не умеешь жить дома, как все нормальные люди, уходи». И вот человек вдруг взял и ушел. А может, он хотел в ту ночь, чтобы его выгнали, — это еще неясно. Но так или иначе, человек взял с собой книжку, духи, общую тетрадь, зубную щетку и, имея в наличии девяносто три копейки, отбыл, сопровождаемый проклятиями. Он вышел на магистраль и начал ходить с одной стороны на другую. Ему казалось забавным — ходить вот так посреди улицы, которую днем перейти нельзя из-за машин. Несколько раз останавливались машины, но человек качал головой, он ждал свой автобус. В час тридцать, поняв, что ждать бесполезно, он поехал на попутном грузовике. Человека высадили в центре и, учитывая бедственное положение, вручили пакет молока и не взяли девяносто три копейки. Человек выпил на скамейке молоко, а потом встал и пошел куда глаза глядят. Он шел и думал — пока ему не перебежала дорогу ночная кошка. Тогда он остановился и огляделся: это было заколдованное место. Стоило человеку отвлечься на мгновение — и где бы он ни находился, он оказывался именно здесь. Поэтому он так боялся отвлекаться. И вот он стоял у этого самого дома и смеялся. Помните, как в «Войне и мире» Пьер…»

Он. Милая…

И тотчас Она ринулась за дверь. Через мгновение пронзительный звонок в дверь. Он открывает.

Она *(входя, серьезно*). Я не буду вам больше читать. Я просто кое-что скажу напоследок. В детстве я очень много болела. Поэтому я, привыкшая быть одна, как никто, ненавижу одиночество. Я, у которой нет друзей… потому что никто меня не выдерживает, — я всегда мечтала о друзьях. Но им скучно со мною, а мне — с ними. И они быстро уходят от меня или я от них. Я называю их — друзья-моменты. Но вы! Вы! Мне предназначенный… Как же вы не поняли, как вы сумели не понять?! Если бы вы знали, что мне стоило простить вас вчера, и вот я пришла, а вы меня оскорбляете всем: словами! Видом! Обвинениями во лжи! *(Размахивая забинтованным пальцем.)* Но я не покраснела, слышите, хотя мне стыдно за вас! Потому что я давно научилась не краснеть, чтобы выжить. Да! Когда человек был маленьким, он заметил: если в чай положить лимон — чай светлеет. Мать мыла голову в лимоне, чтобы у нее светлели волосы. Тогда человек придумал теорию: он стал есть лимоны в невероятных количествах, чтобы научить свою кожу не краснеть. Так вот: когда человеку нужно покраснеть — за себя или за кого-то, — он вспоминает, как мучительно трудно есть через силу лимон! И он бледнеет! Только бледнеет! **Он.** Я…

Не успел сказать — Она тотчас выскочила за дверь, и тотчас ее звонок.

Он открывает.

Она *(входя).* Когда я поднималась к вам — я вдруг представила: на лестничной клетке в разных пролетах стоят двое. Они стоят один над другим, так что могут даже взяться за руки, но потом — любое движение вверх или вниз, и они не удержат рук в этом рукопожатии! Не удержат! Но они не могут стоять — ведь они должны идти! И поэтому тот миг, когда они соединили руки, — единственный! Единственный! Иначе быть не может! Я чувствую! Скоро все кончится! Я чувствую! (И, хлопнув дверью, выбегает из квартиры.)

Он молча подходит к двери и раскрывает, ждет. Проходит долгое-долгое мгновение. Наконец в дверях появляется Она со своим нелепым портфелем. Она сама подходит к нему. Он ее обнимает. Она бешено выворачивает голову, но застывает тотчас, как чувствует его губы. Она целуется нелепо, неумело, бешено, потом долго молчит, потом бормочет: «Вершины вбок».

Затемнение.

Ночь. «Квартира». По своей комнате в темноте из угла в угол расхаживает Ее мать. Ходит, ходит. В кухне брошены инструменты и — никого. В ванную входит Его жена, зажигает свет и глядит в зеркало, разглаживает пальцами мешки под глазами.

Жена. Совсем перестала спать. *(Достает из степного шкафа лекарство, глядит на себя в зеркало, глотает. Уходит.)*

Свет в ванной остается гореть, освещая всю остальную «квартиру». Он и Она в его комнате.

Он. Ты что? (*Проводит по ее глазам.)*

Она. Ну что вы! Когда дети плачут, они это делают для других. Здесь не для кого. (. *А слезы сами текут по ее лицу, по Она все-таки произносит слова — не всхлипывая, а только медленно.)* Вы не обидитесь, если я уйду?

Он. Ты никуда не пойдешь.

Она. Знаете, я сейчас немного посплю. Умираю — хочу спать. А потом я уйду.

Он. Ты считаешь, что… они…

Она. Я запрещаю вам вмешиваться в мою жизнь. Я никому этого не позволяю… Только помолчите, я посплю три секундочки, ладно?

Долгая-долгая пауза, наконец-то Она сумела совсем успокоиться.

Вскакивает.

Все! Я выспалась, больше не хочу. Я хочу вина!

Он. Зачем тебе вина?

Она. Испугались? Я так люблю, когда вы пугаетесь. Я хочу напиться! Я хочу напиться! Слышите!

Он. Тебе не надо напиваться.

Она. Ха-ха! А вы без юмора: учить праведности вами же сотворенную грешницу… Ну хорошо. Я, пожалуй, еще немного у вас побуду. *(Нежно-нежно.)* Мне не так долго осталось с вами встречаться… Мне, может, не очень долго осталось жить. Не верите? *(Серьезно.)* Я не переживу этого лета. Кстати, они — это она.

Он. А твой отец…

Она. Разучитесь задавать мне вопросы. *(Опять нежно-нежно.)* Она читала мне вслух сказки! Все детство! Миллион сказок! Она очень красивая, и она принадлежала мне, только мне!.. И вот однажды… она перестала читать, и я стала сама их придумывать. Как я люблю свое лето… Знаете, в чем между нами огромная разница? В том, что у вас уже было это лето **…** И вот однажды я узнала, что она — не моя, она мне изменила. Учтите, я даже не возненавидела его, он ниже моей ненависти. Я возненавидела ее! Я не могла смотреть на нее без презрения! У нее голос меняется, когда она разговаривает с ним по телефону! Я все время вспоминаю историю: тигр любил укротительницу и загрыз ее, когда она полюбила! Но самое жуткое: недавно я прочла ее письмо. Она — богиня! Красавица! Рожденная, чтобы ее боготворили! Писала неизвестному! И готова была боготворить его, только чтобы не быть одной… то есть не быть со мной!

Он. Это мы ей звонили?..

Она. Не мы, а вы! Послушайте, я рассказала вам все это только потому… что у меня ощущение, что все, что знаю я, — знаете и вы. И я путаюсь! Просто чтобы не путаться… Который час?

Он. Четыре.

Она. Прекрасно. Еще, пожалуй, четверть часа. Я уже совсем не хочу спать. Знаете, ночью я оживаю. Возлюбленная ночь… Но именно в этот час, знаете, перед рассветом, у меня появляется ощущение такого трагизма — как будто мне осталось жить всего лишь до восхода! И так не хочется уходить. Я люблю ночь за нереальность, или моя нереальность от ночи? *(Вдруг.)* Пожалейте меня! *(Бешено.)* А, все равно! Моя ночь! Милый! Милое чудо! *(Смеясь.)* Слушайте! Слушайте! Помните, я говорила, что не боюсь никого и никто не сумеет причинить мне боль? Помните? Знаете почему? Потому что самая страшная боль исходит от меня самой. И самое дикое, что я эту боль предчувствую задолго. И,

предчувствуя, я уже заранее ее переживаю. Так что, когда эта боль наступает, — мне уже не больно. Невероятная дикость получается: то, что я чувствую во время, предшествующее боли, — куда страшнее, чем сама боль… Знаете, отчего я сейчас так переживаю? *(Шепчет.)* Я чувствую: Я вас потеряю.

Он. Ну что ты еще выдумала?

Она. Я хорошая, слышите? Я хорошая! Скажите: я хорошая, да? Я все равно хорошая? Да? Да?

Он. Да, да!

Она. И понимаете, то, что я сейчас скажу вам, — это не фантазия: я знаю точно — я жила раньше… очень давно… иначе я не могла бы так точно вас предчувствовать. Вы верите?

Он. Верю.

Она. Нет, вы попросту хотите спать… У меня есть теория: в Новый год я должна стричься. Дело в том, что кончики моих волос хранят память года. Определенная их длина соответствует определенному страданию. И оттого вместе с кончиками волос уходят мои беды… Поэтому 31 декабря я прихожу в парикмахерскую, но там на меня смотрят как на идиотку: говорят, у тебя стричь нечего. Но я жду! Я жду! И где-то в десять вечера они сдаются и стригут меня, только чтобы отвязаться. А в этом году мне было так плохо, что я не дождалась Нового года и прямо перед вами решила состричься! И когда я состриглась, я вдруг странно поняла: случится! И я вышла из парикмахерской — ожидая. И в половине шестого я впервые раскрыла вашу дверь.

Он. А тот, в розовых джинсах, он… был?

Она. Эх вы — «был — не был»!.. Он похож на меня, может, поэтому я не люблю его. Я даже думаю, что он сейчас стоит за окном. *(Засмеялась.)* Я знаю, вы не верите.

Рассвет. Он просыпается, вскакивает, бросается в невидимую кухню, возвращается: Ее нет. В это время Она тихонько на цыпочках проходит через комнату матери. Мать неподвижно лежит на кровати с открытыми глазами. Она проходит в свою комнату, закрывает дверь и застывает. Она молча оглядывает комнату, будто видит ее впервые, потом в какой-то странной панике начинает передвигать вещи в комнате. Входит Мать. Она стоит около кровати и глядит на Мать.

Мать *(жалко)*. Возвращайся, когда захочешь… Но только возвращайся… а то я не сплю! *(Уходит.)*

И тут Она начинает рыдать громко, в голос. В кухню входит Маленький джазисти молча начинает крушить инструменты. Звук падающих на пол инструментов.

Затемнение.

Вечер. Она звонит с лестничной клетки. В своей комнате О и. Поднял трубку.

Он. Алло… **Она** молчит.

Алло… Это ты? Она молчит.

Где ты?

Она. В пространстве.

Он. Почему ты ушла?

Она. Я ушла, чтобы вы не запомнили меня такой… Он. Как ты добралась домой?

Она Я уже уходила от вас очень поздно, но вы не интересовались этим вопросом.

Он. Я жду тебя с утра! Я…

Она. А раньше вы не ждали меня с утра. *(Засмеялась.)* Как все просто оказалось. Скажите мне, пожалуйста, еще раз, что я хорошая.

Он. Ты хорошая, ты очень-очень хорошая.

Она … «Несмотря на то что ты, кажется, не сдала экзамен».

Он *(кричит).* Как не сдала?!

Она. Можете меня поздравить.

Он. Почему не сдала?! *(Орет.)* Любой тупица…

Она. Опять вы испугались! Я написала сочинение, очень интересное… но грязное. В этом была вся беда: я переписывать органически не могу. Дело в том, что мне мучительно повторять одно и то же. Например, если я рассказываю разным людям, то всегда с такими изменениями, что когда они собираются вместе и начинают вспоминать, что и кому я говорила, — мне приходится убегать. И вот, когда я переписывала сочинение…

Он. Послушай, а ты не можешь прийти и все это мне рассказать?

Она. Нет… И вот, когда я переписывала, меня захватила одна идея. Я вдруг представила себе идеальное нормальное существо — такое, каким хотели бы меня видеть вы и она… то есть здоровое, без нервов, и несколько похожее на упрощенное животное. И тут я сделала вывод: для меня ценность человеческого существования определяется его индивидуальным отклонением от нормы. Но тут я пошла дальше. Мне показалось, что не труд создал человека.

Он *(в ужасе).* А что?

Она. Только не бойтесь: лень! Оттого что одной обезьяне стало лень целый день искать себе пищу, она задумалась: что бы такое сделать, чтобы ничего не делать и быть сытой. И придумала орудие. И появился человек. И так мне это понравилось… Я все это записала.

Он *(в ужасе).* В сочинении?!

Она. Правда, когда я решила обсудить эту мысль со всех сторон, — мне не хватило времени.

Он. Что же теперь?

Она. Не кричите!.. Не знаю. Ну ладно! Теперь я сказала вам самое страшное — для вас. Но еще осталось сказать самое страшное — для меня.

Он. Что?! Что еще?!

Она. Если вы будете так пугаться…

Он. Приходи!.. Я прошу тебя!

Она. Попросите еще, пожалуйста.

Он. Я прошу!.. Я умоляю…

Она. Нет… Если я приду, я не смогу вам все сказать. А так смогу. (*Засмеялась.)* Я счастлива… Я, кажется, счастлива… Вы знаете, я всегда прихожу к вам — прощаться. Каждая наша встреча для меня последняя. Представляете, что я переживаю?.. Я не знаю, как я это выдерживаю…

Он. Подожди у телефона одно мгновение.

Она *(засмеялась*). Хитрый. Хотите найти меня на вашей лестничной клетке? Я не гриб — не надо меня искать. Учтите, даже если я там — я от вас убегу. Так что слушайте спокойно. Я расскажу вам, почему я решила проститься с вами сегодня. Человек обожал свою комнату. Человек много болел в своей жизни и большую часть времени проводил в кровати. В кровати он читал, думал, ел яблоки. Это было его прибежище среди пространства. И вот однажды человек вернулся в свою комнату утром. Первый раз в жизни он не ночевал в своей комнате. И не узнал ее. Это была чужая комната. Человек подошел к кровати — она оттолкнула его. В панике он передвигал вещи. Но все было кончено! Представьте человека, который жил в своем доме и которого поселили вдруг на вокзале! И в этот миг вошла мать и так тихо-тихо сказала: «Возвращайся, когда хочешь, но только возвращайся». И вдруг все стало таким счастливым, человек чувствовал такое счастье и боль… и такую любовь к ней, и жажду жертвовать!.. Боже мой! Как он мог забыть свою любовь к ней! И человек зарыдал. И смотрел на себя в зеркало. А оттуда, из зеркала, на него глядели четыре опухших от слез лица… И человек все выяснял: какое из них — он сам. И все четыре лица по-разному отвечали на вопрос, кого он любит: его? Или свою потребность любить? Или воспоминания о том, о чем она мечтала? Или действительно только себя?.. И все четыре лица плакали вместе… Как в детстве. Один ревет, а все за компанию, потому что вспоминают тоже свои обиды. Прощайте.

Он. Алло… алло…

Она *(после долгого молчания).* Я вас никогда не спрашивала,

но я решила спросить вас об одной вещи… Забыла… Нет, я вспомнила. А, черт, ну, как вы… то есть как вы… относитесь ко мне?

Он. Вся история в том, что у меня никогда не было «того лета». (*Засмеялся.)* Всю жизнь я работал, работал, работал… *(Вдруг.)* Я люблю тебя.

И тотчас Она швырнула трубку. И снова набирает номер. Звонок в его квартире.

Алло!..

Молчание.

Алло!..

Молчание.

Алло!

Она *(очень тихо)*. Не кричите. Вы знаете, сегодня был самый счастливый мой день за все восемнадцать лет. У нас перед домом лес, и когда я шла от вас утром, я сняла туфли и бежала… бежала… расставив руки. Знаете, я буквально захлебывалась от восторга. Я размахивала, размахивала своей голубенькой сумочкой… до безумия ощущая голыми ногами мокрую траву. Знаете, такая сумасшедшая нимфочка… Вообще для меня очень важно — соприкосновение, поэтому свой вечный любимый балахон я ношу надетым непосредственно на голое тело… И поэтому я так люблю воду. Соприкосновение, ласка природы… Моя кожа хранит соприкосновение с вашей. Ваша кожа во мне навсегда! И никто этого у меня никогда не отнимет.

Он *(бессвязно*). Я больше ничего не прошу! Но объясни, я очень прошу: объясни…

Она *(засмеялась)*. Раньше во мне была обделенность. Я ничего не получала от вас взамен и хватала, как говорится, что дают. И вдруг разом получила все, что могла: вершину… *(Усмехнулась.)* Правда, немножечко вбок. И оттого сейчас вместо жадности голодного во мне странное умиротворение… покой. Я готова плакать все время. Я всех люблю: вас, ее. Я настоящая женщина. Я стала взрослой, милое чудо… Я всегда стремилась стать взрослой и не хотела! Мне нельзя! Я не сумею взрослой! Мне страшно! Для меня все дело в том, чтобы стремиться, но не стать! К счастью, я не успею стать! Завтра я ложусь в больницу.

Он. В какую больницу?

Она. Опять вы кричите! Если бы вы знали, как я устала.

Он. Я тоже устал! Я очень устал. В какую больницу?!

Она. Если человек сердится — значит, он устал не до конца. У меня есть теория: когда человек устанет до конца, он не сможет быть злым. У него и сил не хватит для сокращения мускулов в

злую гримасу. Настоящая усталость — это ясное тихое лицо. Прощайте. Я напишу вам! Слышите?! И ждите! *(Кричит.)* Я напишу! Прощайте! А то за мной, кажется, следят! Ждите! *(Вешает трубку, убегает.)*

Прошло несколько дней. Вечер. В свою комнату входит Он с ее письмом в руках. Одновременно в комнату матери входят Мать и Подруга.

Мать. Сестра из гинекологии показала мне упражнение. (*Становится на корточки и ходит.)* Полчаса в день — и можешь есть пирожные.

Подруга молча мрачно сидит в кресле.

Он (*читает ее письмо).* «… Я поняла. Мои сказки — это мои мечты, погибающие из-за собственной величины… В палате — две кровати, две тумбочки… В тумбочку я сложила свои тетради и неотправленные письма. Вы знаете, когда меня везли, мы проезжали мимо той доски объявлений. И конечно, шел дождь и было серое небо… небо моих воспоминаний неизвестно зачем. Мне нельзя вспоминать. Я начинаю плакать. Подпись. Бывшая «я». «Я» — умерло, здравствуйте, меня зовут Наташа, или Каштанка, кто как… Если вы захотите прислать мне ответ, напишите по адресу: двадцать третий квартал, дом восемнадцать, кв. девять — мне перешлют». (*Задумывается и быстро выходит из квартиры.)*

Мать (*поднимаясь с колен, стараясь небрежно).* Ну, почему ты не рассказываешь о своих жениховских делах?

Подруга (*усмехнулась).* А чего рассказывать. Надеюсь, ты поняла, что я только шутила. Ты ведь, кстати, тоже шутила…

Мать вопросительно глядит на нее.

Ну с капитаном… ну, которому ты письмо от меня отправила… А телефон почему-то свой написала… Пошутила, да?

Молчание.

Боже мой, ты — красавица! А я думала, что у красавиц… Все-таки, наверное, лучше быть уродиной. Природа им много не дала, а взамен дала все: ловкость, хитрость, и вдобавок все уродины ощущают себя красавицами и еще других убеждают в этом. Природа экономна: или красота, или ум, или счастье… Ну, чем у вас кончилось с капитаном?

Мать. Он не позвонил больше.

Подруга. Главное — не трепыхаться. Мне предлагают заведовать отделением. Наверное, возьму, а то у меня куча энергии. Что ты молчишь?.. Просто мне хотелось верить, что есть та, которую все любят, которая всех бросает…

Мать. Врешь!.. Ты никогда в это не верила. Если бы ты

видела свое лицо, когда я звоню ему по телефону!.. Просто так было удобнее — тебе и мне. Ну, а теперь нам плохо будет вместе. Надо выдумывать новое… А поздно… Ты права. Надо сказать себе: ты прожила. И опустить глаза раз и навсегда. (*Засмеялась.)* «Капитан, капитан, улыбнитесь…»

Звонок в дверь. Они замолкают. Снова звонок. И тотчас, как будто по команде, обе начинают лихорадочно собираться: они причесываются, поправляют одежду, они в каком-то исступлении. Наконец Мать идет открывать дверь — и возвращается вместе с ним. Мать в недоумении глядит на него.

Он. Простите, ради Бога: я хотел бы узнать, как здоровье Наташи?

Мать *(вздрогнув при звуке его голоса, тихо*). Какой Наташи?

Он. Это двадцать третий квартал, дом восемнадцать, квартира девять?

Мать. Да. Но никакой Наташи здесь нет. Подруга. Может быть, вам Галю?

Он. Нет, мне Наташу.

Мать (*вдруг торопливо).* А вам дом восемнадцать, квартира девять по улице Свиридова или по Третьей Вавилова?

Он *(глухо).* Я не знаю.

Мать *(совсем торопливо).* Вам наверняка по Третьей Вавилова! Это такой же дом. Только торцом, как выйдете — направо…

Но раздается стук входной двери, и в комнату входит Она. Мать в ужасе глядит на нее. Она молча смотрит на него.

Она *(совершенно спокойно).* Здравствуйте.

Мать *(торопливо).* Ты не знаешь Наташу во втором корпусе?

Она. Нет. *(Проходит в свою комнату, застыла у двери и слушает.)*

Он. Спасибо, я пойду. *(Уходит.)*

Подруга. Какой милый, да? И голос у него какой-то…

Мать. Интеллигентный.

Она все стоит у двери в своей комнате.

Подруга. Я почему-то вдруг так взволновалась, когда он позвонил. Мне показалось, вот откроется дверь… и войдет… **Мать.** Капитан.

Подруга засмеялась и мать тоже.

Поздравляю тебя.

Подруга испуганно глядит на Мать.

Дождались… Он пришел…

Подруга. Что ты мелешь?!

Мать. Ну-иу, ты уже все поняла. Ты его сразу узнала, да? Хотя он очень долго плавал: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там…» Но он к нам вернулся! И на берегу его ждали две Ассоли, две романтические, прокуренные Ассоли средних лет. (*Засмеявшись.)* Ну, давай хором: «По морям, по волнам…» *(Кричит.)* Галя! Галя! Ты будешь есть?

Она (*глотая слезы).* Да!

Подруга. Это правда? *(Вскочила.)* Куда он уехал?!

Мать. Он? *(Вяло.)* Туда… Куда все они уехали: кот, который ходил на задних лапах, прекрасная Эрика… это идиотская страна… где живет (*громко*) моя бедная дочь… *(Выкрикнула.)* Моя бедная и любимая дочь, которую ждет ужин в кухне на холодильнике! *(Пронзительно.)* Только, пожалуйста, не ешь стоя!..

Общее затемнение.

На следующий день. Почти все комнаты «квартиры» пусты, все на работе. Только Он — в своей комнате и в кухне — Маленький джазист.

Маленький джазист *(вынимает письмо и читает вслух, точнее, видимо, перечитывает, судя по легкости, с которой он читает. Он будто будоражит себя, доводя до бешеной ярости).* «Вы мне надоели вашими постоянными преследованиями. Вы требуете правды! Пожалуйста! Вы — точно такой же буржуа, как те, кого вы презираете. Просто сейчас — вы молодой буржуа, а потом станете осмотрительным и старым. Для меня буржуа отличается: первое — дефектом зрения. Он видит только то, что видят все, то есть он творчески бездарен. Второе — несвободой — страхом перемен и постоянной трусостью, маскируемой разными высокими словами и понятиями. И полной невозможностью осуществить свои мечты и страсти, если для этого требуется преступить норму. Он способен лишь на трусливое подглядывание… Я могла бы все это аргументировать разбором ваших писем, но мне скучно… Что же касается до дефекта вашего зрения, вы сможете легко в этом убедиться, прочтя вырезку из вашего любимого журнала «Наука и жизнь» номер семь за тысяча девятьсот семьдесят седьмой год, статья называлась «Охотничьи собаки». Пари: вы читали эту статью и ничего не заметили!.. И в то время как вы кропали сентиментальные стихи, перед вашим носом лежал прелестнейший текст. Клянусь, можно — не изменяя ни строчки — положить всю статью на музыку, и получится блестящая рок-опера! Итак, посылаю вам начало этой статьи. Статья называется «Охотничьи собаки». Рок-оперу по этой статье следует назвать «О женщинах». Итак… Текст: «Если человек имел

собаку, он будет помнить ее всю жизнь. Вспоминая ее, человек вспоминает себя, возвышенного этим покровительством к существу, ничего не требующему и лишь глубоко озабоченному тем, чтобы хозяин не бросил его. Не перестал являть божескую милость… Но быть Богом не просто, даже таким небольшим, каким следует быть человеку в отношениях с собакой. Есть люди, которые, заводя пса из-за моды, ничего не находят в этом союзе. Однако человек, однажды испытавший отнесенное к себе чувство привязанности, потом всегда о нем тоскует. Помните, тоску по собаке может заглушить только другая собака» и т. д. Здорово, да? И помните (когда вы захотите переслать мне свои очередные сентиментальные песни о любви!) — любви нет! Есть только превращение личности в покорную собаку. И все! Подпись: Каштанка, спаниель.

Маленький джазист замолкает, потому что в кухню входят двое других юнцов. Он глядит на часы, молча кивая. И тогда все они уходят — втроем. И тут же звонок в его квартиру. Он открывает дверь, и молча входит Она.

Он. Дать воды?

Она отрицательно качает головой. Молчание.

А почему «Наташа»?

Она. А мне всегда нравилось это имя.

Он. А если бы я послал тебе письмо?

Она. Я всегда сама вынимаю газеты из ящика.

Он. А как тебя зовут по правде?

Она. Сначала меня звали «я», потом «я» — умерло. Теперь меня зовут Каштанкой. Надеюсь, и она скоро подохнет.

Он. Я плакал, когда читал твое письмо.

Она. Я плакала, когда я его писала.

Он. Но зачем? Зачем?

Она. Слушайте! Я постараюсь вам объяснить, но в меру вашего понимания. В себе я люблю и ценю трагизм… свою нереальность… И то, что вы бы назвали — жестокостью. С вами все это во мне вымерло… И народилось какое-то доброе существо… полное щенячьей любви и преданности — ко всем! Мне надо было уйти от вас хоть на время… чтобы понять, что со мною! Мне надо было уйти от вас и одновременно вас сохранить… Я хотела, чтобы вас не было, но чтобы вы были и ждали… Но я привыкла жить среди нормальных людей. Я, живущая в нереальности, выучила: люди не верят сказкам… Вымысел смешит или пугает. Единственный вымысел, который реален для людей, — это страдание. И я выдумала свое страдание, чтобы вы поверили. Я не могла сказать вам правду: я ухожу в пространство, обождите! И я сказала: «Я ухожу в

больницу», — и вы стали ждать.

Он. Ну ладно, это со мной. Но зачем же ты сделала с нею?..

Она. Это гадкий вопрос. *(Подумав.)* Она вам понравилась, да? Она красивая. *(Засмеялась.)* То-то. Я считала, что забыть того… ничтожного, она сможет только ради другого… только ради мифа. Или вот вам совсем благородное объяснение: я хотела, чтобы у нее появился кто-то вместо того, который ее не любил… или хотя бы у нее появилась надежда. Видите! Видите, как вам это все нравится! Потому что это лирично и похоже на то, что должно быть! А хотите ужасное объяснение? А если… если я попросту захотела повелевать ею?.. А если верны все три объяснения сразу, что тогда?

Он. Я только одного не могу понять, откуда это в тебе!.. Ты же совсем маленькая… откуда эта уверенность, что ты можешь распоряжаться другим человеком! Чужой волей! Откуда эта необходимая потребность все время диктовать… мне! ей!.. И эта сосредоточенность на себе?.. Неужели это возраст? Откуда жестокость… при твоем сердце? Неужели это было во мне… раньше? Тогда почему я не помню?.. Или я не все понимаю?

Она *(в запальчивости).* А я тоже не все понимаю! В вас есть все, что я ненавижу… Вы жертва!.. *(Бешено.)* Если хотите… Я предпочитаю жертве — палача! Вы — буржуа! Вы не похожи ни на одного из моих героев, но я вас люблю! Я вас почему-то смертельно люблю, как никого и никогда не полюблю в жизни! Я вас люблю, хотя все в вас не принимаю! Вы слепой! Ведь вы с самого начала считали меня чуть ли не девкой… А хотите, я вам сейчас скажу самую смешную вещь: первый человек в жизни, которого я сама поцеловала, — это вы! Меня целовали один раз до вас! Но это было насильно… Если бы вы знали, как я готовилась к этому поцелую. Я боялась, что у меня не получится. *(Кричит.)* Вам смешно! А я с самого начала чувствовала, что вы ни черта не понимаете! Но уверяла себя в обратном и все-таки чувствовала… Я только теперь поняла наконец, почему я вас называла «милое чудо». Не подвела интуиция! Хотите, скажу? У одного моего обожаемого фантаста есть такое определение: «Чудо — это всегда в конечном счете шарлатанство».

Он *(тихо).* Я люблю тебя…

Она. Перед тем как мы расстанемся… сейчас это уже точно, потому что Каштанка во мне должна подохнуть… я попрошу вас исполнить мое последнее желание! Это последнее сентиментальное желание издыхающей жалкой собаки! Знаете, когда я бесславно сутками слонялась перед вашим домом, поджидая вас… я всегда покупала себе мороженое. Так вот, в последний раз мы встретимся с вами на улице и вдвоем пройдем

этим проклятым маршрутом. И вы сами мне купите мороженое, идет?

Он. Да! Да! Да!

Он целует ее… Бесконечно. И Она уже совсем в безумии отвечает на эти поцелуи, когда раздается звонок в дверь. Вновь звонок.

(Усмехнулся). Понедельник. *(Подумал и пошел к двери.)* Она *(бросаясь перед ним).* Не открывайте!

Он в изумлении глядит на нее.

(Кричит.) Ну не надо! Я вас прошу, не надо!

Он, смеясь, отталкивает ее и открывает дверь. На пороге стоит Маленький джазист. Он в розовых джинсах. За ним — двое других.

(Метнулась между ними.) Уйди! *(Кричит Джазисту.)* Уходи! Немедленно!

Маленький джазист. Нет! Я хочу, чтобы все закончилось! Я пришел поглядеть на мужика, который тебя…

Она. Заткнись!

Маленький джазист *(заводясь).* Что же ты, отец, делаешь, а?

В каком-то оцепенении Он растерянно пытается отыскать в кармане очки. **Она.** Уйди!

Бросается на Маленького, но один из Джазистов уже держит Ее.

Маленький джазист *(схватил Его за лицо).* Я же спросил тебя, отец: что же ты с нею делаешь, а? Она *(визжа и вырываясь).* Я прошу! Я прошу!

Но они уже ловко и как-то весело начинают швырять его на руки друг другу. И Он, ничего не видя без очков, тычется между ними.

Мале **нький джазист** *(приговаривая).* А, отец? *(Швыряет.)* А? Ну, отец? Быстрее, отец!

Она вопит.

Затемнение.

Та же «квартира». Все комнаты наполнены народом. В ванной почему-то на полу перед телефоном сидит Жена. А в это время в телефоне-автомате в своем парадном Доктор торопливо набирает номер. В это же время Подруга и Ее мать разговаривают по телефону.

Подруга. Он приехал!

Мать. Кто?

Подруга. Этот! С кладбища!

Звонок во входную дверь.

Мать. Подожди, **я** открою.

Звонок телефона в ванной.

Жена. Алло…

Доктор *(зло).* Что случилось? Почему ты мне сама позвонила?!

Жена *(глухо и спокойно).* Прости… Но он… Его избили… Он связался с какой-то девкой… Его избили. И тут же, на диване… причем даже не от побоев… *(Хрипит.)*

Молчание.

Доктор. От сердца?.. Я говорил. **Жена.** Эта сука не догадалась вызвать «скорую».

В комнату молча входит Она.

Мать *(возвращаясь к телефону).* Ты что, ключ забыла? *(Не оборачиваясь, в телефон.)* Алло… **Подруга.** Хочешь, скажу, как зовут этого, с кладбища? *(Хохочет.)* Рафаэль!

Мать закатывается.

Жена *(вдруг вопит).* А-а-а! (*Зажала себе рот кулаком и вопит в руку.)*

Доктор. М-да.

Мать *(взглянув на часы).* Я перезвоню тебе, сейчас. *(Повесила трубку.)*

В своей комнате Она садится на кровать и молча раскачивается — взад и вперед.

Жена *(почти изумленно).* Не удалась жизнь. **Мать** *(набирая номер, кричит Ей).* Еда на кухне. Только не ешь стоя! *(В трубку.)* Алло, ты не звонил мне… а то у меня было занято… *(Стараясь весело.)* Сегодня — понедельник…

Старая актриса на роль жены Достоевского

«… Мне 19 лет, я сижу в гримуборной, сзади ко мне подходит актер — великий Ленский. Он берет кисточку, делает несколько мазков на моем лице — и в зеркале, на глазах, я становлюсь старухой!

Я плачу! Я не хочу!..»

(Из театральных мемуаров.)

Дом инвалидов и престарелых в старинном особняке. В маленькой гостиной с лепным потолком — мебель разных эпох, старинные кресла красного дерева, современный дешевый журнальный столик с телефоном и царственный диван карельской березы — с бронзовыми инкрустациями, львиными головами. Рядом с диваном — эмалированное ведро с надписью «Хлорка» и половая щетка. В другом углу гостиной — крохотная эстрада со старым роялем. На стенах — портреты Пушкина, Толстого, Чайковского вместе с медицинскими плакатами о борьбе с гриппом и кишечными заболеваниями. К стене прислонен огромный фанерный щит с надписью: «А еще я люблю жизнь за то, что в ней можно путешествовать. Пржевальский». (Щит стоял прежде в городском саду, и как-то на зиму его перенесли в гостиную — и здесь забыли.) В гостиной тишина — и никого. Потом раздается скрип отворяемой двери и появляется Старая актриса. Она входит с книгой в руках, останавливается и с любопытством оглядывает гостиную. Прочитав слова Пржевальского на щите, Она радостно хохочет. Смех у нее какой-то заразительный, прелестно молодой… Продолжая смеяться, Старая актриса направляется к эстраде с роялем… Она чуть пританцовывает и даже напевает: «Мы были на бале… на бале… на бале…»

Голос (*будто из-под земли, гнусаво*). «И с бала нас прогнали…»

Она замирает, прислушивается, но в комнате тишина.

Она *(поняв, что все это почудилось)*. «Мы были на бале, на бале… на бале…»

Голос *(оглушительно через мегафон)*. «И с бала нас прогнали!.. Прогнали… Прогнали!..»

Она *(оглядывая пустую комнату)*. Вы где? Голос (*интимно,*

громким шепотом через мегафон). Я — у себя.

Поняв, что голос звучит из-под дивана, Она направляется туда.

(Вопит через мегафон.) Ни с места!

Она испуганно останавливается.

Санитарная зона — видишь, ведро с хлоркой? Специально протирают вокруг меня! Хо-хо-хо… Испугалась? Небось подумала: трубный глас с того света?.. А это я мегафон стащил из комнаты здоровья. Теперь удобно разговаривать: тут три четверти населения — глухие как тетерева! Кстати, старуха, ты очень глухая?

Она. Слава Богу, судьба милостива… И я отчетливо слышу ваш противный голос из-под дивана… Кстати, а что вы делаете под диваном?

Голос. Я там живу.

Она. То есть как?

Голос. То есть так!

Она. Внизу… живете?!

Голос. А ты наверху живешь… Тебе что, лучше?..

Она. Ха-ха-ха!.. Ну, все-таки внизу… там ползает… разное…

Голос. А наверху — не ползает?

Она. Как забавно!.. И что же… вы… там… весь день проводите? Или все-таки выходите на прогулку… на воздух?..

Голос. Эх, старуха-старуха… У нас с тобой теперь прогулка одна — там на воздухе належимся… И вообще, знаешь, сколько я наглотался за жизнь этого треклятого воздуха? Теперь лежу и от вашего чертова воздуха отдыхаю… Хо-хо-хо!..

Она *(стараясь весело).* Ха-ха-ха!

Голос. А ты, видать, спортивная старуха… Как зашла — слышу: шасть к словам Пржевальского!.. И похохатываешь — смешно читать призыв к путешествиям в Доме для инвалидов и престарелых? (*Таинственно.)* Неужели ты не поняла, курица, о каком путешествии речь? О самом быстром и самом надежном: утром обедаешь с родственниками, а ужинаешь — с предками! Хо-хо-хо!

Она. Ха-ха-ха…

Голос. А у самой поджилки трясутся? А я, грешник, люблю кладбищенский юмор. Я, когда почтальоном работал, сам придумал себе надпись на могилке: «Ушел, не оставив адреса». Хо-хо-хо!

Она. Ха-ха-ха!

Голос. Ну а ты?.. *(Задыхаясь от смеха.)* Что напишешь на своей?

Она. Одно слово: «Занято…» Ха-ха-ха! Вот так, почтальон под диваном!

Голос. Нет! Нет! Это прежде я был почтальон. А теперь я живописец, гений!

Она хохочет.

Ты что-то задерживаешься, хохотливая старуха. Обычно заговоришь с вашей сестрой с кладбищенским юмором, и она тут же ноги в руки — и пулей освобождает мне жизненное пространство.

Она. Зачем вам столько пространства… если вы — под диваном?

Голос. Видишь ли, старуха, я — философ.

Она. Как? И почтальон, и живописец, и философ? Я встретила Леонардо да Винчи!.. Ха-ха-ха!

Голос. Поостри, карга!.. Ты еще не знаешь, кого ты встретила! Сколько усилий я потратил, чтобы тут одному в покое философствовать? Я, как прибыл сюда, сначала залег в туалете! За унитаз ухватился, чтобы не оттащили! И лежу себе в туалетной тиши и мыслю: проблемы сплошь мировые — вечная жизнь, добро и зло, Великий инквизитор. Ан нет, каждую секунду в дверь рвутся! Им плевать, что там философствует живописец и гений! Им… им…

Она. Писать надо! Ха-ха-ха!

Голос. Ну, кайф! Даешь, старуха! И пополз я прочь из туалета открывать новые территории! И наполз я на эту гостиную. Ах, как тут мне понравилось! Деревья в окне! Лежи себе под диваном — размышляй! Ан опять нельзя — все время топчется здесь разное вредное старичье вроде тебя… Хо-хо-хо!

Она. Ха-ха-ха… Какой вы…

Голос. Какой я?

Она. Сукин сын, однако!

Голос. Но я научился с вами управляться… Ты про меня еще ничего не знаешь — ты ведь новенькая?

Она. Ха-ха-ха… Так обо мне говорили только в школе… Вернулось детство!.. Действительно новенькая… Я час назад сюда приехала… и вышла из своей комнаты — погулять… Ну, пошла по коридору… и в общем… Ну… как бы точнее сказать…

Голос. Забыла номер своей комнаты! Хо-хо-хо! Заблудилась!

Она. Ха-ха-ха… Как вы догадались? Это так смешно — тут все оказалось одинаковое: комнаты, старушки. Я уже битый час хожу… Ха-ха… Ищу.

Голос. А санитарку спросить стесняешься!

Она. Ага, решит, что я совсем «ку-ку», ха-ха! И вообще, я все

должна делать сама! Надо, друг мой, не давать себе спуску!.. А как вы догадались?

Голос. Я — гений! Номер твоей комнаты — двадцать один.

Она *(сразу подозрительно).* Откуда вы знаете номер моей комнаты?

Голос. Если человек под диваном — он и знать ничего не должен? *(Свистящим оглушительным шепотом.)* Мыслящая курица мне все сообщает: кто новенький приехал, кто старенький помер. На случай, если живые новенькие ко мне забредут. *(Громким шепотом.)* Думаешь, ты одна свою комнату ищешь? Это с вашей сестрой через раз случается! Вот мыслящая курица и просит — чтобы я вас всех гнал отсюда по вашим номерам. *(Хохочет.)*

Она. «Как чуден Божий мир, как Божий мир прекрасен…» Какой приятный персонаж — «мыслящая курица».

Голос. А я всех баб «мыслящими курицами» зову. Хотя курицы бывают разные… Вредные, вроде тебя, думать мне мешают — их под нож нужно! А санитарка — полезная «мыслящая кура»: она вокруг дивана хлоркой протирает, еду носит…

Она. Как… вы… там… едите?

Голос. Значит, если человек под диваном, ему есть не надо? Вы, значит, на диванах, обжирайтесь, а мы, под диванами, с голоду помирай? Дудки! Долой социальную несправедливость! Все люди равны — на диванах и под диванами!

Она. Ха-ха-ха…

Голос. Какой смех у тебя… Колокольчик!

Она. Надтреснутый. *(Хохочет.)* Бог не дал мне ни ума, ни внешности, но дал смех! Я очень смешливая… И этого оказалось достаточно: я всегда пользовалась успехом у мужчин. Любой скучный идиот сразу ощущал себя со мной великолепным остроумцем!..

Голос. Все, старуха! Норму пребывания в гостях ты перевыполнила! Катись репкой отсюда! Федя будет философствовать.

Она не двигается.

По-моему, ты оглохла?

Она *(подумав).* Я остаюсь здесь, пожалуй.

Голос. Как? Ты что, ведьма?

Она. У меня условный рефлекс. Если мне что-то приказывают — я поступаю наоборот…

Голос *(угрожающе).* Старуха!

Она. Я никогда не умела подчиняться… У собаки есть хозяин,

у волка есть Бог! Ха-ха-ха! Я — остаюсь.

Голос. Уходи, старуха, подобру-поздорову!

Она. Ни за что! Мне тут нравится: деревья, рояль — я так соскучилась по музыке! Я — остаюсь.

Голос. Ох, как я сейчас буду страшен!

Она. Ох, как мне хочется это увидеть!

Голос *(оглушительно).* Учти, я — сумасшедший!

Она. Тоже, напугал! Все мои мужья называли меня «сумасшедшей»… Значит, нас здесь будет двое — сумасшедших!

Голос. Учти, я — по правде… Я — эпилептик. Как все гении. Как Достоевский Федя. Я так задрожу, я такую конвульсию выдам!

Она. Ну и дрожите! На здоровье! Тоже — событие! Надо спокойней относиться к таким вещам. Например, Август Стриндберг… это великий драматург… весьма бытово относился к этим делам. Он вежливо говорил своим гостям: «Простите, господа, я вас покидаю, у меня в два — конвульсия…» Ха-ха-ха!

Голос. Он был их эпилептик, а я — наш… Если я задрожу — я тебя в клочья разнесу!

Она. Не знаю, не знаю… Пока вы только угрожаете — а дел никаких!

Голос. Ну что ж… Я покажу сейчас — как я гоню из моей комнаты… Тебя обслужить по первому разряду, старуха?

Она. Уж пожалуйста, в самом полном объеме, уж вы постарайтесь! Напоминаю: смертью вы меня уже путали, сумасшествием — тоже.

Голос. Ничего, у меня есть кое-что в запасе. Итак, я начинаю говорить правду…

Она. Очень интересно. Например?

Голос. Например: что это, старая карга, нарумянилась, платье новое надела — небось на свиданку со смертью собралась? *(Хохочет.)* Как?

Она. Ну просто «кайф», как вы говорите!

Голос. А со старичками я еще «кайфовей». Ишь, говорю, старый хрен, мне санитарка все про тебя донесла. Как ты больным притворялся и довести попросил, а сам ее за плечики все норовил ухватить! Я тебя насквозь вижу, сексуальный маньяк! Хо-хо-хо!

Она. Здорово вы научились оскорблять людей. Но знаете, я работала в театре, и я знавала таких мастеров этого дела — теперь мою шкуру кочергой не оцарапать!

Голос *(вдруг свистит. Потом орет через мегафон, оглушительный вопль).* Громи старуху! Громи-и-и! Ату ее! Ату!

Она. Как?.. И это — все?

Голос (*сконфуженно*). Нет, есть еще секретное оружие — мат. Я мат очень люблю — он речь сокращает! Скажу сейчас одно *слово* — на три веселые буквы…

Она *(сухо).* Не успеете! *(Идет в угол.)*

Голос. Ты что?.. Ты куда?..

Она *(нежно).* Здесь хлорка в углу стоит… Санитарка-курица ее оставила… *(Остановилась.)*

Голос (в *ужасе).* Ты что?

Она. Именно! Я буду поливать вас — сверху. *(Вдруг бешено.)* Я выкурю тебя, как таракана! Я уничтожу! Я…

Голос. Не надо! Не смей! Не надо!

Она *(опять нежно).* По-моему, вы сдались? *(Вдруг вложила два пальца в рот, оглушительно свистит, орет.)* Победа! Победа! Победа!

Голос. Ведьма! Ведьма! Ведьма!

Она *(вновь нежно).* Я — актриса, поверьте, это хуже! Итак, комната — моя! *(Идет к эстраде.)*

Голос. Ты что задумала?.. *(Стонет.)* Ты идешь к роялю?

Она. Ну, в яблочко!

Голос. Ты собираешься мучать слух пожилого джентльмена под диваном?

Она. Ну, все точно! *(Садится у рояля. Кладет свою книгу на рояль.)*

Голос *(орет).* Не смей!.. Не надо! Умоляю! Если тебе так приспичило играть — точно такой рояль стоит в большой гостиной, я объясню дорогу!

Она. Никаких больших гостиных! Я провела слишком много лет на людях! И меня здесь особенно прельщает, что единственная физиономия в комнате находится под диваном!.. Ха-ха-ха!

Голос. Не дам! *(Почти плача.)* Ну почему? Ну за что?.. Как я хорошо жил!..

Она. «Мы были на бале… на бале…» Сегодня у меня особый день. *(Тщетно пытается открыть крышку рояля.)* И я должна себе сделать подарок… *(Крышка не открывается; гомерический хохот через мегафон.)*

Голос. Ну и как — сыграла, старуха?.. Он заперт! С тех пор как я захватил гостиную… Хо-хо-хо!

Она *(бормочет).* Боже мой, значит, это и есть тот самый «драгоценный рояль» — «который заперт и ключ от которого потерян»?.. Как я любила эту фразу из «Трех сестер».

Голос. Что ты там бормочешь?

Она *(не отвечая, бормочет, поглаживая закрытую крышку).* Первая роль… Жизнь была как беспредельное поле… освещенное

солнцем. И вот теперь оглядываюсь назад — и понимаю: жизнь — это очень узкая полоска… и в тени… Может быть, это оттого, что к старости столько забываешь?.. Сон… Сон! *(Она замолкает и недвижимо сидит у рояля.)*

Голос. Ты что там колдуешь?

Она. Я слушаю, не мешайте!

Голос. Тоже — «ку-ку»? Что ты слушаешь?!

Она *(вдруг яростно)*. Музыку, сукин сын! *(Бешено.)* У меня в доме живет такой же негодяй, он бьет в стену, когда я играю… И я научилась слушать музыку про себя! *(Молчание, она слушает.)*

Голос *(ворчит)*. Ах, не смейте ей мешать слушать музыку про себя… Ах, у нее сегодня особый день… Хо-хо. Что же это за такой день, старуха? Наверное, день твоего рождения? Я угадал? (*Молчание — она все сидит, положив руку на крышку рояля, и слушает.)* И они сдали тебя сюда — в такой день?.. Вместо того чтобы усадить тебя в центре стола и сюсюкающими голосами восклицать: «Ах, посмотрите на нашу бабулю!.. Сколько ей лет? Шестнадцать! За самую молодую среди нас…» Здесь поднимаешься ты, хрустя суставами…

Она. Убью! (*С неожиданной силой швыряет книгу под диван.)*

Голос *(вопит)*. АРА.

Она *(яростно)*. Попала! И молчать!!!

Голос замолкает. Она все сидит у рояля, слушает музыку, очевидно с чем-то для нее связанную. Наконец Она поднимает голову и встает со стула.

Голос. Концерт окончен? Бис! Браво! Брависсимо! Что мы слушали?

Она *(примирительно)*. «Ноктюрн» Шопена… Верните, пожалуйста, книгу!

Голос. Кстати, а что это за книга? *(В мегафон слышен шелест страниц, затем потрясенный шепот.)* Боже мой!.. Боже мой!.. *(Необычайно взволнованно.)* И ты преспокойно слушала какую-то музыку, швырнув в меня эту книгу?! Ты хоть знаешь, что ты швырнула?

Она. Отдайте книгу!

Голос *(стонет)*. Это — «Игрок» Феди Достоевского! Самая мистичная Федина книга!.. И ты ее — как камень… в меня?! В Федю! Креста на тебе нет, старуха!

Она. Стало быть, вы — Федя?

Голос. Это он… который ее написал… И это я, в которого ты швырнула…

Она. Да, это был не лучший мой жест. Пусть простят меня оба Феди… Верните книгу!.. Ее положили мне мои дети… Я

люблю этот роман.

Голос *(вопит)*. Что? Что ты сказала?! Ты любишь? Правда, старуха?.. Это все меняет! (Кричит.) Все может быть спасено!

Она. Послушайте, вы вернете книгу? *(Идет к дивану.)*

Голос *(вопит)*. Санитарная зона! Не сметь!.. Сейчас верну… *(Нежно.)* Только подержу ее в руках чуток!.. Ах, как я люблю это издание… *(Бормочет.)* Это сразу же после моей смерти… Гляди, здесь надпись дарственная! Ишь ты — подарил… Станиславский?! Ну, ты даешь! А может, ты какая знаменитость? Нет, если бы ты была знаменитость, тебя не сдали бы в этот забытый Богом дом!

Она решительно направляется к дивану.

Сам! Сам!

Из-под дивана навстречу Актрисе летит по полу книга. Она не без труда наклоняется, долго поднимает.

А в общем, будь ты хоть раззнаменитой — все равно тебя не знаю… Я по вашим театрам не хожу, я в пивбар хожу. *(Вдруг шепотом.)* Но какой, однако, пасьянс получился? Ты — Актриса, ты любишь Федю, ты принесла с собой роман «Игрок», тот самый мистический роман, о котором я мучительно философствовал все это время! Боже, я сейчас сообразил, почему не разодрал тебя в клочья, почему позволил надругаться над моей комнатой. *(Шепчет.)* Я тебя предчувствовал, старуха!.. Я все важное всегда предчувствую… Однажды я… то есть он, Достоевский Федя… так написал об этом: «Я в каком-то ожидании чего-то… Я как будто болен теперь. И кажется, со мною должно случиться что-то очень решительное — может быть, тихое, может быть, грозное. Во всяком случае — неизбежное».

Она. Как? Вы это… наизусть?

Голос *(странно*). Я всего Федю… могу наизусть… *(Помолчав.)* Как хорошо, что твои дети засунули тебя в этот дом!

Она *(бешено)*. Да что ж вы повторяете, как попугай! Просто тупица какой-то!.. Меня никто никуда не засовывал, ясно?

Наступает молчание.

Ну что вы там притихли?.. Я не хотела на вас кричать!.. Я могу вам все объяснить, перед тем как уйду… в эту… ну, в эту…

Голос *(насмешливо)*. Ну, в какую?

Она *(беспомощно)*. Ну?..

Голос *(великодушно)*. В двадцать первую!

Она. Вот именно — в двадцать первую комнату! Мои дети уехали отдыхать на юг. Они пятый год без отпуска. И я сама настояла! Они отбыли всего на неделю! А так как директор этого

дома — наш знакомый, я решила обождать детей здесь. Вот и все! Всего неделю!

Голос. А почему бы тебе, старуха, не обождать их всего неделю в вашей уютной квартирке?

Она *(неловко).* Я забываю выключать электрическую плиту на кухне… Все помню, но эта ужасная плита… Что делать — я всегда забывала то, что меня не очень интересует. Ха-ха-ха… И еще… Я постоянно падаю на улицах.

Голос. Здорово! Надеюсь, в лужи падаешь?

Она. Ни за что! Я плюхаюсь только насушу… Вдруг головка томно кружится — и… Я так часто падаю, что называю себя «падшая женщина». Ха-ха-ха… Ну не могут же они отдыхать и все время беспокоиться? Ну, ладно… Я устала… Я пошла?

Голос. Ни за что, старуха! (*Торжественно.)* Сейчас я сообщу тебе мистическое!.. Но сначала… Мы должны узнать друг о друге поподробнее… Кстати, у нас с тобой много общего. Я тоже часто плюхаюсь на улицах… когда мне морду бьют! Хо-хо-хо! Как раз на днях отлупили!

Она. Какие ужасы вы рассказываете, Федя!

Голос. Нормалек! Потому я — тут! Я всегда, как изобьют меня до полусмерти, сюда ползу! Как в берлоге — отлеживаюсь! Да, кстати: ты здесь всего на неделю? Отдай мне свою дополнительную подушку… А то есть закон Архимеда: чем больше избита морда, тем выше она лежать должна! Хо-хо-хо!

Она. Ха-ха-ха! Я принесу вам мою вторую подушку, драчун! И это в нашем-то возрасте — драться! Ах, как мне это в вас нравится! Я считаю: главное нам — не сдаваться! Любой ценой!

Голос. Никогда!

Она. Ни за что!

Голос. Мне приходится драться все время… Я — гений, мне за картины тыщи платят! И вот они — чтобы бороться с культом моей личности — и бьют меня.

Она. Кто — «они»?

Голос. Реалисты!.. Нет, реалисты били раньше, когда я был абстракционистом. А теперь я стал реалистом — и теперь меня бьют… Кто?

Она. Абстракционисты? Ха-ха!

Голос. Хо-хо-хо! В этот раз дело было, точнее, било так. Иду я мимо «Гастронома»… А оттуда — шасть реалисты… то есть, пардон, абстракционисты… Ау меня как раз в кармане — тыща сотнями, я ее за портрет отхватил… Спрашивают: «Есть деньги?» Я: «Нету». Они идут рядом. Я понимаю: сейчас обыщут — найдут деньги, изобьют… И вот, пока мы шли, я так незаметно, незаметно все деньги по сотне и выбросил. Хо-хо-хо! Повезло! И

вот тогда-то я им глаза открыл на их живопись! Тут взяли они меня за грудки…

Она. Нет, определенно мне все это очень нравится! Но ведь они вас когда-нибудь убьют!

Голос. Ну что ты, старуха! Если бы хотели — давно убили. А они только бьют, чтобы я падалью себя чувствовал, чтобы падучая моя повторялась… Помнишь, как Федя описал: «Падучая приходит мгновенно. В это время вдруг искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом, всеми чертами… Страшный, невообразимый, ни на что не похожий вопль вырывается из груди — и в этом вопле исчезает все человеческое…»

Она. Как? Вы опять… наизусть?

Голос *(не отвечая).* Но сейчас… Сейчас ее быть не может — потому что у меня к тебе мистическое дело… Все душевные силы мои устремлены на это дело. Итак, старуха, смогла бы ты сыграть?

Она. То есть как? Что… сыграть?

Голос *(торжественно).* Смогла бы ты сыграть роль?

Она. Ха-ха-ха… Ну что вы, я давно ушла со сцены… С ролями покончено, друг мой.

Голос. Соврала! Как можно покончить с тем, для чего родился? Разве я могу перестать рисовать?.. Я как увижу красивое — непременно нарисую, чтобы восторг свой небу явить. А некрасивое — ни за что! Я — Федя, певец красоты… Вот санитарка меня просит: «Нарисуй!» — «Не могу, — отвечаю, — я красавиц только рисую, а ты молодая, сисястая, но не красавица». А вот ты, старуха, — красавица!

Она. Это вы из-под дивана рассмотрели?

Голос. Да-да, по ногам! Я все по ногам определяю: и характер, и лицо… и даже прическу…

Она. Вы просто палеонтолог какой-то!

Голос. Среди людей красивые — редки. Вот среди животных — навалом красавцев! На днях я рисовал пуделя: нос бликует, язык алеет, шерсть — антрацит! И весь он — просто сложный красавец! Только чтобы рисовать, мне изучить надо. Я тебя за месяц изучу!

Она. А, у вас тоже плохо с памятью… Я говорила: я здесь всего на неделю!

Голос. И через месяца полтора — твой портрет готов…

Она. Да что ж вы — оглохли? Я через неделю — тю-тю!

Голос. Странно, я всегда чувствую, что будет. Я гений, старуха! Ничего, что я зову тебя старухой?

Она. Мне необходимо как можно чаще это слышать… А то я

опасно забываю свой возраст. «Старайся рано постареть, если хочешь долго прожить». Я очень хочу! В молодости я часто не хотела жить! Как я была безнадежно стара в девятнадцать лет! Всю жизнь я куда-то спешила, спешила! Я не представляла свою комнату без раскрытого чемодана. И вот чемодан закрыт, жизнь прошла, а у меня ощущение радостного покоя… Жажда жить, будто я только-только начинаю! Очень много надо прожить, чтобы стать молодой… Ха-ха-ха!

Голос. Я так ясно увидел сейчас — как ты играла красавиц!

Она. Я играла влюбленных девушек с задыхающимися голосами. Они торопили жизнь, они были полны энтузиазма, как время!.. Сколько девушек по улице ходили с моей челкой, в моей беретке, в моих спортивных тапочках… И когда я не смогла все это носить, чтобы не быть смешной, я ушла… Старый соловей — в этом уже противоречие! Ха-ха-ха!

Голос. Жаль, что ты в кино не снималась! Я все кино смотрю, и новые, и старые, а тебя не видел.

Она. Я презираю кино… Может быть, потому, что была при его рождении… Для меня кино — это промышленное выращивание жемчуга! Ха-ха-ха!

Голос. И тебя никогда не хотели снимать?

Она *(гордо)*. Всегда хотели. Я отказалась от тыщи ролей. Но они не унимаются до сих пор! Им не терпится предъявить миру мое изношенное лицо… Но я умею дать отпор… В последний раз один особенно назойливый негодяй спросил по телефону, не хочу ли я играть в его картине «Чайковский». Я ответила: «Я Чайковского играю только на рояле». Ха-ха-ха!

Голос. И ты никогда не пыталась вернуться на сцену? За все эти годы?

Она. Та… «вечно юная» умерла вместе со своим знаменитым голосом и псевдонимом. И со своим временем. Осталась я, со своей настоящей и, слава Богу, никому не известной фамилией… Я надеялась, что они забыли меня за четверть века… Но сейчас в моде «ретро»… И предприимчивые прохиндеи, как мухи, кружатся надо мной… В эту игру они включили даже моих наивных детей… Недавно я болела — и дети подослали мне старого врача… Старый врач должен был породить во мне ностальгию по сцене. Он сделал вид, будто не знает, кто я. «Ах, как меня тревожит ваш голос и смех, — сказал он, приникая стетоскопом к моей увядшей груди. — Ах, как вы напоминаете мне мою любимую актрису… И куда она только делась?» И вот тут я схватила его зубами за ухо…

Голос. Хо-хо-хо!

Она. Когда я отпустила — как он бежал! Ха-ха!.. Послушайте,

какого черта я болтаю с вами на эти банальные темы, а? Наверное, потому, что вас не вижу! Ха-ха! Как это все скучно! Какое счастье, что с той жизнью — покончено! Сегодня ночью я прощусь с последней привычкой из той жизни — всегда засыпать только в своей постели… Поверьте, соблюдать ее было нелегко… Но скольких искушений я избежала! Как говорил мой учитель: «Если хочешь разбить благонамеренное буржуазное искусство — веди жизнь благонамеренного буржуа». Ха-ха-ха! Черт возьми, сегодня я — как юная девушка, которая в первый раз готовится не ночевать дома. Ха-ха-ха! В честь этого события я и сделала себе подарок — «Ноктюрн» Шопена… А все-таки, почему я с вами столько болтаю? Может, голос из-под дивана напоминает Страшный суд?

Голос. Ах, лживая старуха! Неужели ты думаешь обмануть гения под диваном? Ты говорила: я рада, что ушла из театра… Что все прошло… А в это время твои ноги… твои старые ноги выделывали молодые, бесстыдные вензеля — и тянули, тянули тебя сами — к эстраде! *(Вопит.)* Лгите, люди! Но ваши ноги вас выдадут! Ноги — искренни!

Она. Немедленно! Замолчите!

Голос. Ну! Правду! Осмелись рассказать правду!

Она. А почему это я должна?..

Голос *(перебивая).* А потому что — «Страшный суд»!

Она. Ну, совсем «ку-ку»! Вас выметут завтра из-под дивана вместе с мусором! А может, вас вообще нет?

Голос. Правду! Правду! Правду! *(Свистит.)*

Она. Перестаньте вопить!.. *(Подумав.)* А, черт с вами! Провалитесь вы!.. Самые счастливые минуты за все эти годы — это… это когда раздавались звонки моих прежних, престарелых друзей — и они с трепетом просили подготовить их бездарных потомков показаться в театр! Сдерживая безумную радость — нехотя, капризничая, — я соглашалась! И наступало забытое счастье репетиций. Но все это было лишь увертюрой к счастливейшему дню — дню показа. В тот день я поднималась рано. Моя старая гримерша — безропотное создание, боготворящее меня всю жизнь, — покрывала мое лицо толстым слоем штукатурки. И я отправлялась в театр… Зачем? Чтобы «подыграть» во время показа очередному бездарному ученику… А на самом деле? Чтобы только выйти, выйти вновь на сцену! Ах, кого я только не «подыгрывала» в последние годы… Клеопатра… Офелия… Джульетта!. Я представляю, как они сидели в зале, зажав рты, чтобы не расхохотаться… Но я возвращалась домой — и ждала! Ждала звонка! Они должны были понять, что я еще живая, что я — гожусь!.. Но они не звонили!

Голос. А если бы позвонили?

Она. Я отказалась бы! Я все равно отказалась бы! Но они должны были позвонить. Бедная гримерша — как я изводила ее в эти дни!

Голос. Значит, я прав! Ты хочешь играть… (*Торжественно.)* А сейчас я предложу тебе сыграть!

Она. Никогда не думала вернуться на сцену в Доме для престарелых. Ха-ха-ха! *(Как бы шутя, но с нетерпением.)* И кого же сыграть?

Голос. Ее! Ее — которая в старости вспоминает всю свою жизнь.

Она *(совсем нетерпеливо).* Кого — ее? Совсем «ку-ку»?

Голос. Две женщины определили Федину жизнь… И обе дожили до глубокой старости. Одна — его юная жена, несравненная Анна Григорьевна! Лучшая из жен в российской литературе. «Этой отваги и верности перевелось ремесло — больше российской словесности так никогда не везло…» И другая — безумная страсть его через всю жизнь, сладчайшая мучительница Аполлинария Суслова… Ты найдешь ее во всех… моих… то есть Фединых романах: это она — Настасья Филипповна… она — Грушенька… И наконец, она… тут даже имя оставлено — Полина из «Игрока»… Книга, которую ты швырнула мне в голову! Ах, старуха… Как мне нужно, чтобы ты представила минувшее… И тогда… (*кричит)* меня перестанет мучить по ночам неясность воспоминаний… и вызывать припадки!

Она. Как я поняла, вы хотите, чтобы я сыграла пьесу «Женщины Достоевского»?.. *(Со смешком.)* Но я никогда не слышала, что такая пьеса есть.

Голос *(шепчет).* Но будет… Я ведь гений…

Она. Значит, вы ее напишете? Под диваном?

Голос. А почему под диваном писать нельзя, а на диване — можно?.. Ах, старуха, в этой пьесе мне писать ничего не придется. *(Шепчет.)* Дневники есть… подлинные! Полиньки Сусловой и Анины — воспоминания… Их ты и сыграешь!

Она. А где мы возьмем здесь все эти дневники?

Голос. Со мной они, старуха! Всегда со мной… Под диваном лежат. Это — вечная моя… то есть Федина, привычка! Федя Достоевский всегда возил с собой свои любимые книги — Евангелие и «Дон Кихота». И я вот тоже! Воспоминания эти с собой всегда вожу; я из-за этих книг даже от любимого кота отказался… Я все в них наизусть знаю… Я многое помню *(шепчет)* до сих пор! Ну, согласна, что ли?

Она *(не знает, как вести себя в этой странной, волнующей ее ситуации, и решает все обратить в шутку; кокетливо).* Ни за что!

Я не люблю играть пьесы с двумя главными женскими ролями!.. Ха-ха-ха!.. Знаете, когда я только поступила в театр, прежняя премьерша, на все роли которой я была назначена, встала в кулисе… И когда я проходила на сцену, она молча и больно щипала меня… У меня зад был просто голубой от синяков.

И хотя мой тогдашний муж умирал от ревности — я ее не выдала! Потому что я — такая же! Я — собственница! Я даже гримерше своей запрещала гримировать других актрис! Ха-ха-ха!

Голос *(серьезно).* В твоей пьесе будет только одна женская роль… Ты должна сыграть ту, на кого так похожа… *(Кричит.)* Красавицу! Аполлинарию Суслову!.. Ее дневники ты мне представишь!

Она. Ха-ха-ха!

Голос. Не надо смеяться… Не надо со мной как с сумасшедшим… (*Громким шепотом.)* Ты ведь уже поняла, кто здесь, под диваном. *(Замолчал. Потом почти жалобно.)* Узнала? *(Помолчав.)* Это я — Федя…

Она *(почти шепотом).* Какой… Федя?

Голос *(совсем тихо).* Достоевский… Федя.

Она *(стараясь смеяться).* Ха-ха… *(Замолчала. Потом, тихонечко кружась.)* «Мы были на бале… на бале… на бале…»

Голос. «… И с бала нас прогнали! Прогнали по шеям!»

Внезапно Старая актриса замирает и опускается на пол.

Прошло несколько дней. Та же гостиная. Бородатый человек средних лет сидит на диване и глядит перед собой тяжелым, напряженным взглядом. Появляется Старая Актрисас книгами в руках. Она в изумлении глядит на странного субъекта, но тот будто не замечает ее. И вдруг Он начинает говорить — безостановочно и куда-то в пространство.

Он. Вы пришли навестить старого джентльмена под диваном? *(Кричит.)* Эй, старый клоун! Драчун! Эпилептик!.. Молчит!.. Ты будешь отвечать?.. Опять молчит! Может, окочурился? Говорят, неделю назад сюда пришла какая-то древняя раскрасавица с прелестным овалом лица…

Она. Я бы сказала — обвалом лица… Ха-ха-ха!

Он *(будто не слыша).* Ну, старый ловелас клюнул на ее антикварные прелести. А она возьми да грохнись в обморок. И на неделю исчезла… А он не выдержал разлуки — и, видать, предпринял путешествие по Пржевальскому… Хо-хо-хо!

Она. Ха-ха-ха! (*Изумленно.)* Это… вы?!

Он. А это — вы… Самая пора прочесть стихи: «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило…»

Она. Почему вы покинули ваше оригинальное гнездышко? *(Передавая книги.)* Спасибо за книги!

Он. Мегафон изъяли. А без мегафона трудно общаться с внешним миром… Человечество еще только приспосабливается к жизни под диваном… Пришлось вот лезть наверх — в толпу!

Она. Но вы — совсем молодой!.. Как вы очутились в этом доме?

Он. Пардон, старуха: этот дом — для *(с ударением)* инвалидов и престарелых. Я — эпилептик, то есть? Полноправный инвалид, член дома!.. А здорово ты грохнулась!.. Гляжу, кружится, как молодая коза, и — бац!

Она. Ну еще бы — узнать, что ты беседуешь с Достоевским! Если бы вам сообщили, что я — Вильям Шекспир или Сара Бернар?

Он. Я все равно не знаю, кто такая твоя Сара! *(Хохочет.)* Я про пивко все знаю!

Она. Но я-то знаю, кто такой Достоевский! И вот кружусь себе от восторга — ир-раз!! Я уже в этой… Ну?.. Черт!

Он *(милостиво)*. В двадцать первой.

Она. Ну и что? Да, эти ужасные цифры — не моя стихия!

Он. А я обрадовался, когда ты шлепнулась: будет знать, ведьма, как терроризировать джентльменов под диванами! Ну а потом сменил гнев на милость и велел «мыслящей курице»: «Коли ведьма не окочурилась» — отдай ей «Дневник» мучительницы моей, раскрасавицы Аполлинарии Сусловой… чтобы старуха готовилась ее представить… и «Воспоминания» жены моей Анны Григорьевны… чтобы старуха все знала о той, кого я предпочел… чтобы поняла мой выбор.

Она. Спасибо. Ваши книги буквально поставили меня на ноги! Правда, меня несколько удивили дарственные надписи на этих книгах…

Он. А чего? Там написано: «Феде Достоевскому от его заочного дружка Льва Толстого». И еще: «Феде Достоевскому от Володи Высоцкого»… Понимаешь, старуха, мне стало так обидно, что твою книгу надписал Станиславский. И я все свои книги тоже надписал — *любимыми именами… Рад, что книги пришлись тебе по* сердцу и что ты горишь желанием представить мою Полину… О мучительный следок ее ноги! О Хлыстовская Богородица, о святая всех расстриг — Полина Суслова! Кстати, ты обратила внимание, ведьма, на подчеркнутые мною места?

Она. Ненавижу, когда портят книги!.. Но хочу отдать вам должное: вы все очень точно отметили… Получился готовый литературный монтаж — «Женщины Достоевского».

Он. Никак не хочешь сказать: «Твои женщины, Федя»… Тебя просто корежит, когда я произношу: «Мои», «Я»… Если бы ты знала, ведьма, каких духовных сил мне стоило понять, что я —

это он. Кстати, ничего, что я зову тебя ведьмой?

Она. Меня так никто не называл… А я обожаю все впервые!

Он (*шепотом*). Все случилось со мной, когда я письмоносцем работал. Зашел я, как всегда, в пивбар после разноски… там мужик — рыжий-рыжий! Ну типичный маг! Надрались мы с ним по-черному. И вот тут он говорит: «Знаешь ли ты, Федя, что после смерти дух наш переселяется в других людей, или в животных, или в растительность?» И вот с того дня он поселился во мне: начал я все время думать — кем же я был до себя… Вот ты, к примеру, кем была, старуха?

Она. Я?.. Камышовым медведем… или пингвином… Ну, чем-то очень нелепым.

Он. Нет! Ты — раскрасавица. Ты была наверняка райской птичкой или, на худой конец, павлином… Прости, у меня привычка отвлекаться, как у всех психов… Короче, хожу по улицам и думаю, думаю: кем же ты был, Федя? Не сплю, не ем… так бы и помер… Но тут рыжий маг подсунул мне Федино сочинение — «Идиот». Читаю — матушки родимые! Идиот в кавычках — да в этом же вес! мой пафос! Хватаю Федину биографию! Он — Федя, я — тоже. У него — припадки, у меня — тоже! Я проклинаю свои грехи, но держусь за них, он — тоже! Я всегда требовал принять меня таким, как есть, — «черненьким», он — тоже! И так далее! Бегу к рыжему магу… «Претензия у тебя слишком серьезная, — говорит маг, — надо тебе устроить самопроверку. Если ты — это он, то должен быть гениален в каком-нибудь роде искусства». Я тут же хватаю карандаш — и пошел чесать!

Она. Что… пошли?

Он. Рисовать в смысле. И эту первую же картину маг продал за тыщу рублев интуристу. А я все не устаю проверять. Берусь за стихи — и…

Она. Гениально?

Он. Ну точно! Читаю их рыжему магу — и он говорит: «Как дважды два четыре, ты — это он!» Ну, тяпнули мы с ним на радостях… Только не осуждай меня, старуха.

Она. Ну что вы… Я бы сама назюзюкалась, узнай, что я — Достоевский!

Он. Смеешься… Трудно тебе поверить, старуха. Это потому что ты все умом. Ум — смерть веры… Ты сердцем поверить старайся… Ты представляешь, как я обрадовался… что ты воочию представишь мне мою Полину?.. Неужели все оживет, старуха? Неужели я перенесусь в прошлое?..

Она. Ха-ха-ха! Как все это очаровательно, нелепо… В этом что-то такое дикое… такое… Ну что только со мной может

случиться!.. Кстати, почему вы решили, друг мой Федя, что я должна., представить… Суслову?

Он. Глупость спросила! Во-первых, вы с ней обе — раскрасавицы…

Она. Как? Я для вас красавица не только когда вы под диваном, но и на диване? Ха-ха-ха!.. А моя несколько… излишняя седина…

Он. Это Божья серебряная сетка на золотых волосах…

Она. А обвал лица, морщины…

Он. Я вижу только голубые глаза… сквозь зимнее окно в прожилках изморози… Итак, ты — истинная Полина: ты дожила до глубокой старости… И вот ты вспоминаешь… Возьми Полинину книгу…

Она *(не отвечая, подходит к роялю*). Боже мой, кто-то открыл крышку? *(Радостно хлопает в ладоши.)*

Он. Это мой подарок тебе — по случаю воскрешения Полины Сусловой…

Она *(садится у рояля и всю дальнейшую сцену она ведет, перебирая клавиши).* «Мы были на бале… на бале… на бале…» Федя, я отношусь с уважением к вашей странной идее… Вы это поймете по тому, как я буду с вами откровенна… *(Играет.)* Какая я, к черту, Аполлинария Суслова? Она и в старости была победоносная обольстительница! В нее влюблялись — до смерти! Каламбур…

Он. Да что ж ты несешь, старуха?

Она. Нет-нет, чтобы ее сыграть — надо иметь самочувствие Сары Бернар в расцвете славы! Для меня все это в далеком прошлом!..

Он *(яростно).* Ты что же — отказываешься?!

Она *(застенчиво).* Не совсем так… *(Перебирает клавиши.)* Во всем этом что-то есть!.. Я бы даже попробовала… но не Полину… *(Замолкает.)*

Он. Ты сошла с ума…

Она *(совсем застенчиво).* Анну Григорьевну Достоевскую!

Он. Свихнулась, карга? Моя Аня была скромницей. Во всем — в лице, в повадках… А ты… ты…

Она. Что — *я*? *(Холодно.)* Что вы знаете обо мне, наглец?

Он. Ты не вылезала из роскошных туалетов! А у Анны Достоевской не было денег на лишнее платье!.. Я будто вижу тебя… в твоей молодости…

Она. Как интересно! Что там видит этот мерзавец?

Он. Ты — в роскошной каракулевой шубе. Было?

Она. Это называлось манто! *(Бьет по клавишам.)*

Он *(будто в экстазе).* Твои руки — в роскошной муфте!..

Носила?

Она. Браво! *(Играет.)*

Он. На ногах — моднейшие туфли с драгоценной пряжкой!.. И кокетливые ботики…

Она. Все точно! Да здравствуют ботики!.. Завязка всех романов: когда он, встав на колени, помогал ей снять с ножки эти трогательные ботики… Ее ножка — в его руках… Да! Да! Я все это действительно носила… *(Кричит.)* Но на сцене! Самодовольный наглец!

Прохвост! Спорщик. *(Бьет по клавишам.)* Как это ни странно, ты описал мой знаменитый туалет из французской пьесы… Ох, как я сводила в нем с ума! (*Напевает шансонетку.)* А в жизни… как я была скромна!.. Так скромна… Так скромна… как… Анна Григорьевна, сукин сын! (*Бешеный ритм рояля.)* Ха-ха-ха!

Он. Старуха! Опомнись! Ты все — из чувства противоречия!

Она. И я всегда плевала на одежду! В двадцатые годы я содрала с окна плюшевую занавесь, прорезала дыры для рук и головы — и носила как зимнее пальто!!! Ха-ха-ха! *(Бешеная музыка.)*

Он. Старуха!

Она. В тридцатые годы на мне были блузка, беретка, юбка и спортивные тапочки! И в этом туалете всюду — и во дворец и на паперть! Мы были первые хиппи! Мы показывали пальцем на тех, кто наряжался! Мы их осмеивали! Революция отменила туалеты! Мы жили идеями, а не вещами. Мы были такие идейные, как… как… Как Анна Григорьевна, негодяй! *(Бурная мелодия.)* Нет, еще идейнее! Потому что это было суперидейное время! Ах, какой тогда был ветер! Ветер революции! Всюду выставки, диспуты! Всё — на улице! И всё бесплатно! Всё — для всех! Музеи, трамваи! Мы ездили на трамвае… Это было развлечение! Мы пели прямо из окон *(Поет песенки двадцатых годов.)* И впоследствии мой муж номер два…

Он (*стонет).* Но у моей Ани был только один муж! На всю жизнь. А сколько их было у тебя, старуха? Сколько было номеров твоих мужей?

Она. Это не важно… Потому что… Потому что я всегда любила только его… Только одного… как… как Анна Григорьевна, прохвост! *(Бешеная мелодия.)* Разговор окончен. Я готова сыграть Анну Григорьевну.

Он. Ну подожди, старуха, ну выслушай!..

Она. Бесполезно… Анну Григорьевну!

Он (*обольщая*). Как я любил Полину. Я уже погибал, когда видел «мучительный следок» ее ноги. Послушай, что говорит герой в «Игроке» о Полине… Это я говорил когда-то

Аполлинарии: «… Не сердитесь, я просто сумасшедший. Мне стоит только вспомнить, вообразить шум вашего платья, и я руки себе искусать готов… Знаете ли вы, что когда-нибудь я вас убью. Не потому убью, что разлюблю иль приревную… А так просто убью… Знаете невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю все больше — а ведь это невозможно!.. Скажите слово — и я соскочу в бездну… Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите!..» Полина была великая мучительница!.. Это и в тебе есть, есть! Я чувствую!.. Полина коршуном висела над Аниной жизнью… И до конца дней своих моя Аня умирала от ревности… Аня!.. Аня даже в дневнике не смела назвать ее по имени. Она называла єе *(смешок)* «особа»! *(Передает ей лист.)* Ты только прочти, что написала Аня в тайном дневнике своем… И это в дни нашего свадебного путешествия! Читай!

Она. Я с листа не умею… Я начинаю волноваться.

Он. Брось, старуха, здесь никого нет!

Она. Здесь есть Я — и этого достаточно!

Он. Брось!.. Ты не можешь этого прочесть, потому что ты, красавица, никого не ревновала… Ревновали тебя.

Она. Мерзавец! *(Лихорадочно начинает читать.)* «Среда. Одиннадцатое сентября тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года. Мне сейчас представилось, что эта особа приехала сюда, в Женеву, что Федя видел ее тайно, ничего мне не говоря… О! Они думали, что я ничего не знаю, смеялись бы надо мною!.. Нет. Никогда этого не будет! Я слишком горда! Потому-то я дала слово всегда наблюдать за ним и не доверяться слишком его словам! Положим, что это дурно, — но что делать. Я не могу быть спокойной, если так люблю Федю, что ревную его! Да простит меня Бог за то, что хочу шпионить моего мужа… Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, — ходит к ней! Меня все это до такой степени поразило, что я начала плакать, да так сильно!.. Я сжимала себе шею, кусала руки и просто боялась, что сойду с ума! Я плакала Бог знает как и страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, так не любит, что способна нарочно ему отдаться, чтобы насолить мне, зная, что это будет для меня горько. Неужели все мое счастье рушится? Господи! Я, кажется, умру, если… так будет!..»

Он. Браво! Я вижу… Ты умела ревновать к пустому… И ты тоже шпионила своих мужей, как… как…

Она. Как Анна Григорьевна, мерзавец!

Он. Да, но при этом ты любила себя, а она — меня.

Она *(ледяным голосом).* Послушайте, я никогда не просила ролей… Я только намекала…

Он. Ах, как страшно! И все, конечно, немедленно…

Она. Почему же? Бывали непонятливые. Например, я помню директора театра, который затеял гнусную интригу. Он решил передать понравившуюся мне роль своей потаскухе. Дело было на гастролях. Я направила свою гримершу в ближайший пруд — принести мне жабу. С жабой я поднялась к нему в номер, положила ее под одеяло. И чтобы божья тварь не страдала без привычной водной среды, я опрокинула под одеяло графин с водой!.. Ха-ха-ха!

Он. Полина! Типичная Полина!

Она *(холодно).* Анна Григорьевна, дегенерат!

Он (*вдруг ударил себя по лбу, захохотал).* Ах, старуха! Мы вправду двое сумасшедших! Мы чего-то спорим, ругаемся, а ты ведь не сможешь играть — ни Полину, ни Аню! Да! Ну, что уставилась, ведьма? По-моему, ты забыла: прошла неделя — и, следовательно, сегодня тебя должны забрать домой твои отпрыски! Хо-хо-хо!

Она *(сначала растерялась, потом кокетливо).* Ах да! Ну конечно! Вот — типичная моя память! Все самое нужное забываю! Ха-ха! (*Указывая на телефон.)* Работает?

Он. Прекрасно работает. Лучше не бывает!

Она торопливо набирает.

Итак, мы прощаемся, Полина?

Она *(набирая).* Анна Григорьевна, дебил! *(Нежно.)* Как я люблю сцены прощания… Говорят, они мне удавались. *(В трубку.)* Алло, это я… Все прекрасно… Прости, что не звонила, — ты знаешь, я плохо ощущаю время… Так всегда: только приехала — и, оказывается, уже прошла неделя! *(Выслушивает. Удовлетворенно.)* Они волнуются?.. То-то! *(Выслушивает.)* Зачем они купили билеты? Им не нужно прилетать завтра! Немедленно сообщи — пусть они сдадут эти билеты: я вчера слушала радио — там замечательная погода! Скажи, что я приказала!.. Чтоб раньше чем через десять дней их духу здесь не было!.. Ха-ха-ха!.. Да, я весела… Почему? Ха-ха-ха… Это моя тайна. Милочка, самое прекрасное в человеке — таинственность. У кого она исчезает — тот погас! Я скоро позвоню… И может, разрешу тебе меня навестить. Ха-ха-ха! *(Кладет трубку.)* Это моя гримерша. Самое смешное: она моложе меня, но всю жизнь заботится обо мне, как о ребенке.

Он. По-моему, ты остаешься, старуха?

Она. Да. Еще на десять дней! Ура! *(Вновь садится к роялю.)* Итак, с сегодняшнего дня… я начинаю репетировать Анну Григорьевну… Поэтому мне надо хорошенько высыпаться…

Кстати, это оказалось очень трудно без дополнительной подушки, которую я так легкомысленно отдала… Гоните назад подушку!..

Он. Какая наглость! Захватила мою комнату, роль, которую не должна играть… и теперь хочет захватить подушку?

Она. Но это моя подушка…

Он. Это ваша бывшая подушка — и моя нынешняя. Я достаточно все задаром делал, когда был он. В этом веке — все должно быть наоборот!

Она. Уж не хотите ли вы продать мне мою собственную подушку?

Он. Это мысль! Мне очень нужны деньги… Я мечтаю забрать сюда моего любимого кота… Кот страшно прожорлив — и ест только дорогие продукты… Потому что мой кот — тоже гений! Когда я пишу стихи, он садится на стол и через плечо заглядывает в рукопись.

Она. Не отвлекайтесь от подушки!

Он *(невозмутимо продолжая).* Однажды я решил все проверить. Я вышел из комнаты… а потом на цыпочках вернулся… Что, по-твоему, делал кот? *(Шепотом.)* Он — читал! Итак, я продам тебе подушку!

Она. Ваше предложение — такое наглое, что даже мне нравится. Жаль, что у меня нет денег. Они меня никогда не любили… Ха-ха-ха! Я всегда их тратила!

Он. Ну что ж, готов на компромисс: кольцо, которым так кокетливо поигрываешь!

Она. У вас хватит совести стащить кольцо с пальца женщины?

Он. Ради моего кота-гения? Вне всяких сомнений.

Она. Хорош гусь… (*Царственно.)* Держите… (*Передает кольцо.)*

Он. Не гусь, а кот… Подушку вам сегодня принесет «мыслящая курица»!.. Кстати, могу отдать подушку даром, если… Если ты согласишься на Полину!

Она только смерила его взглядом.

Ну что ж, назад пути нет! (*Резко меняя тон, церемонно.)* Анна Григорьевна, нижайше прошу вспомнить со мной столь дорогие сцены нашей общей жизни: нашу первую встречу… Объяснение в любви… И конечно, наше свадебное путешествие, обернувшееся безумной моей игрой… Наверное, больше мы не успеем, ты ведь должна скоро…

Она. Через десять дней… Только нужно все эти сцены чем-то закончить.

Он. Тем, чем они закончились, — моей смертью!.. Хо-хо-хо!

Итак: Любовь — Игра — Смерть! Вся пьеса!

Она. Во время болезни я придумала начало: Анна Григорьевна, старая, со свечой стоит перед конторкой… Она одна в доме… перед нею лежат ее записи… И этот ворох бумаги есть (*горько*) вся ее жизнь. (*Открывает книгу «Воспоминания Анны Григорьевны» и начинает читать.)* «В тысяча девятьсот десятом году, живя в полнейшем уединении, я мало-помалу погрузилась душой и мыслями в прошлое, столь счастливое… И это помогло мне забыть… пустоту и бесцельность моей нынешней жизни».

Он. Плачешь?

Она *(читает)*. «Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что мне хотелось немедля их записать, уже не стенографически, а общепонятным языком». *(Вытирает слезы.)*

Он. Нет! Нет! Ты не так плачешь! Ты себя жалеешь!.. А моя Аня себя никогда не жалела. Она меня жалела… Если бы Аня свиделась со мной через сто лет… разве бы она о себе плакала? Она на грудь мне сначала бросилась бы!.. Она меня спросила бы: «Как ты жил. Федя?..» *(Будто отвечая.)* «Ах Аня!.. Я теперь — безвестный страдалец. Люби страдальцев, в них правда! Я принес тебе свои стихи. Аня, чтобы ты через них душу мою поняла…» *(Протягивает ей тетрадку.)* Прочти!

Она *(ей скучна эта новая безумная игра — ей очень хочется продолжить чтение «Воспоминаний Анны Григорьевны»)*. Спасибо, мой друг, спасибо! *(Бросает тетрадку на стул.)*

Он *(сухо)*. Ты не бережна к моим стихам… А ведь в них теперь — я… Как прежде был в прозе моей… *(С достоинством.)* Кстати, эти мои стихи — очень дорогая вещь!.. И не надо ими уж так швыряться! Знаешь ли, старуха, что рыжий маг оценил вот эту тетрадь в шестьсот рублей двадцать три копейки?

Она. Ха-ха! *(Поняв, что ей не избежать этой новой игры, она решает ее поддержать. Она обожает любую игру. В этом — ее суть.)* А почему — двадцать три копейки?

Он. За тетрадь!.. Нет, я не могу отдать тебе такую дорогую вещь. Довольно я транжирил в прошлом веке!.. Знаешь, я лучше прочту свои стихи вслух, а потом тетрадку заберу. *(Становится в позу, открывает тетрадь, читает.)* Стих первый: «Без поллитры — нет палитры».

Она. Ну?

Он. Все!

Она. Ха-ха-ха!

Он. Я специально прочел, чтобы ты поняла, как я страдаю в этом доме: пить нельзя, ругаться — тоже…

Она. А зачем вам так страдать? По-моему, вы совсем

выздоровели… И что вас тут держит, Федя?

Он. Ушел бы! Убег! Но нельзя… «Не могу старуху оставить — Аню мою она должна представить». Это — стих второй!.. Хо-хо-хо! Читаю третий стих: «У меня во рту железный зуб. В грозу боюсь открывать рот, чтобы не попала молния!»

Она. Ха-ха-ха! Браво!

Он. Стих четвертый. Мой самый любимый:

Флаг. Крик.
Снег выпал,
И я выпил…

Не поняла, ведьма? С удовольствием поясняю… Я вообще отношусь к своим стихам и картинам демократично… Есть такие гордые художники, поэты: напишут — и понимай как хочешь… А я всегда на обороте картины пишу разъяснение!..

Она. Ха-ха-ха!

Он. И со стихами — тоже… Читаю научный комментарий к прочитанному стиху: «Однажды я шел по улице. Под пальто у меня была… *(Вздохнув.)* Да!.. И вдруг в небе — я увидел флаг. Он так хорошо реял!.. И на душе у меня оттого была такая благодать — я люблю флаги… И вот тут раздался — крик!.. Я испугался. Думаю: попаду в историю — бить будут, бутылку заберут. И побежал я прочь!

И в этот миг пошел снег — чистый, пушистый… И так мне стало стыдно, погано… Открыл я бутылку… и выпил…» Вот и весь стих…

Она. Милый Федя… Добрый Федя…

Он. Какие у тебя глаза стали… Совсем ее глаза… Анины… Вот теперь ты готова… Теперь начинай… А я буду вспоминать… и плакать.

Она (*читает*). «Я вижу себя двадцатилетней девушкой. Ко мне подошел преподаватель стенографии Ольхин и сказал: «Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу… Работа предполагается у писателя Достоевского — он теперь занят новым романом и хочет писать его при помощи стенографа…»

Он. «В тысяча восемьсот шестьдесят шестом, теснимый кредиторами, продал я право на издание всех моих сочинений спекулянту… плохому человеку, обязавшись для этого издания приготовить новый роман. Условия были кабальные: коли я не доставлю этот новый роман издателю до первого ноября тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, то волен он даром издавать

все, что я напишу в течение девяти лет, без всякого мне вознаграждения… Было уже начало октября, а за роман я не принимался. Сроку осталось уже менее месяца, когда я решился на эксцентрический, небывалый шаг — продиктовать весь роман стенографу за двадцать шесть дней».

Она. «Четвертого октября тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, в знаменательный день первой встречи с будущим мужем, я вышла пораньше из дома… Но чтобы не прийти к Достоевскому ни раньше, ни позже назначенного срока, я шла медленными шагами, все время посматривая на часики… Его дом был большой, со множеством мелких квартир, наполненных купцами и ремесленниками… Он мне сразу напомнил тот дом в «Преступлении и наказании», где жил герой романа Раскольников…»

Он. Хо-хо-хо…

Она. «Квартира тринадцать…»

Он. Квартира тринадцать! Надо же! Я жил в квартире с этим номером!

Она. «… находилась во втором этаже. Служанка попросила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. И вот вышел Федор Михайлович…»

Федя поднимается, он бледен и важен.

«С первого взгляда он мне показался довольно старым. Лицо его было бледное и болезненное… Но как только он заговорил — сейчас же стал моложе. И я подумала, что ему навряд ли больше тридцати пяти — тридцати семи…»

Он. Мне было сорок четыре… Мне сейчас тоже сорок четыре… Хо-хо-хо!

Она. «Он был среднего роста, но держался очень прямо. Свежекаштановые, даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и приглажены. Но что меня поразило — так это его глаза… Они были разные… И это придавало лицу какое-то загадочное выражение…»

Он. Просто один зрачок у меня был сильно расширен от лекарства. Хо-хо-хо. Разговор пошел отрывочный… Я сразу сказал, что у меня эпилепсия и на днях был припадок… и мне понравилось, что ты не испугалась… Диктовать я был пока решительно не в состоянии…

Она. «В **это** время вошла служанка и принесла два стакана крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали булочки… Мы пили чай… и разговор наш оживился…»

Он. Кстати, хочешь чаю? *(Вынимает термос .)*

Она. Какой вы молодец… точная обстановка всегда помогает

на репетиции.

Он. Только прошу простить… В отличие от того дня — у меня булочек нету… Правда, было варенье, но я его съел…

Она. Ничего, ничего, я люблю чай и без варенья.

Он. Вы без какого варенья больше любите чай — без клубничного или вишневого?

Она. Пожалуй, без клюквенного…

Он. Прошу! Ваш любимый чай — без клюквенного варенья. Итак, «… разговор наш оживился…». Теперь… когда ты все знаешь о нынешнем Феде, я должен все узнать о нынешней Ане…

Она. Я не поняла…

Он. Мне нужно понять страдающее местечко в твоей душе… откуда может взрасти в тебе Анина душа… Без этого нельзя! Расскажи о себе все-все, старуха. *(Повторяет.)* Итак, «… разговор наш оживился…».

Она. Но это дико… Впрочем, не более, чем все, что тут происходит…

Он. И кто же был он — кого ты так любила?

Она *(то ли издеваясь, то ли всерьез).* Вы знаете, не помню…

Он. То есть как это можно — не помнить?

Она. Странно, не правда ли?

Он. Это более чем странно…

Она. Стыдно, не так ли? Но выветрилось из памяти вместе с номерами тогдашних телефонов, датами встреч и, главное, — расставаний.

Он. Старуха, тебе придется его вспомнить! Мы начнем «Страшный суд» с двадцатых годов… С твоей юности.

Она. Вы думаете, это возможно?.. В памяти такая свалка-Жизнь, роли… Все вместе… Ха-ха-ха. *(Вдруг.)* А, черт с вами!

Он. Еще чашечку вашего любимого чая без клюквенного варенья.

Она. Я воспитывалась в богатой семье. Меня с детства окружало только прекрасное: цветы, книги, любовь родителей… Но за окном уже был грозный новый мир… А я была как бы…

Он. Как бы «пришпилена» к этой домашней красоте. Хо-хо-хо!

Она. Я задыхалась!

Он. И тогда появился ОН!

Она. ОН был всегда! Сколько я себя помню, ночью я засыпала — и представляла ЕГО. Днем я видела, что он, как пушкинский Германн, стоит за окном и ждет, ждет… ОН должен был быть непременно актером. Так же, как я… сколько себя помню — готовилась в великие актрисы… И постепенно я стала ненавидеть всю эту домашнюю красоту. Мне захотелось неизвестности… тьмы, в которой… прятался ОН! И однажды поздним вечером… я

отворила дверь — и выскользнула в весеннюю ночь. Я шла по ночному городу… задохнувшаяся от свободы и страха девочка! И я знала — знала, что увижу ЕГО!.. И вдруг — я почувствовала руку на плече. Я поняла: предназначенное — свершилось! Я еще не видела ЕГО, но ОН потянул меня — и я уселась в остановившуюся пролетку. Боже мой, тогда еще были пролетки! Лошади помчали, ОН повернул мое лицо — и я вдруг с ужасом разглядела идиотские усы и что-то старое и страшное… ОН целовал меня, а я как во сне смотрела через его плечо… И тут увидела свое окно… Мы проезжали мимо нашего дома… Там горел свет… Я вспомнила свою любимую лампу, шаги отца… И с воплем я выпрыгнула… Я очнулась в постели… в блаженстве болезни… У меня была горячка… И я до сих пор не знаю — случилось ли все это… или привиделось в девичьем горячечном бреду…

Он. Да, первый поцелуй был не совсем удачен…

Она. Знаете, второй тоже не получился… Это произошло на свежевыкрашенной скамейке… И я была вся зеленая. Ха-ха-ха…

Он. И это был — он?

Она. Тогда я в это верила… Во всяком случае, с ним я убежала из дому… Двадцатые годы… Конец старого мира… Естественно, он хотел стать великим актером… А пока работал укротителем в цирке… Мы мечтали с ним о новом театре — где соединятся цирк, театр улиц и драма… Как мы жаждали обновления искусства! Как торопили время! И вокруг были такие же спешащие и ужасно молодые мальчики и девочки. Мы все толкали время вперед! Я помню нашу крохотную комнатку в гигантской коммуналке… Споры, крик! Мы сидим прямо на полу, на газетах. Мебели нету!.. Я не успеваю убирать за гостями. Я просто постилаю после их ухода новый слой газет… И пол растет вверх, погребая окурки и объедки… На этих газетах я стала женщиной… Я любила среди декретов, воззваний к народам, партийных дискуссий… Ха-ха-ха… И хотя я проповедовала освобождение женщины от быта и «любовь пчел трудовых», как мой кумир Александра Коллонтай… в тайниках души, не признаваясь себе, я по-прежнему… старомодно… буржуазно ждала его!

Он. Как, но…

Она. Да, мой друг!.. К тому времени я уже поняла: мой муж не был ОН! Мой муж уже отказался от нового искусства… Он работал укротителем, должен был стать директором цирка — и был доволен… Он входил в клетку с единственным в городе львом, которого не съели в гражданскую войну… Этот лев был какой-то страшно несчастный, запуганный… Лев был в цилиндре

с надписью: «Мировой капитал»… И когда муж его укрощал, в клетке появлялась я — в одежде работницы! И пела над поверженным львом революционные песни. *(Поет и танцует «Карманьолу».)*

Он (*кричит*). Не надо! Ты уже… танцевала — в прошлый раз!.. А чем кончилось?!

Она (*задыхаясь, садится на стул).* По-моему, я еще здесь… а не в этой… ну, как его…

Он. В двадцать первой! Ну что вы с собой делаете?..

Она. Что делаю? Как всегда — симулирую здоровье! Ха-ха-ха! Короче, когда я поняла, что не люблю, я тотчас ему все сказала… Он протянул мне револьвер, с которым входил в клетку, и предложил немедленно убить его, так как без меня жизнь его была пуста, и он не мог приносить пользу делу революции! И я взяла револьвер — и без колебаний спустила курок… С криком он грохнулся на пол! Ха-ха-ха!

Он. Боже мой! Ты еще и убийца? И это — моя Аня?

Она. Нет, я промазала, а он упал, потому что лишился чувств от страха. Да и выстрелила я, потому что была уверена, что револьвер не заряжен. Я хорошо знала своего мужа. Конечно, он тоже был в этом уверен. Но произошел тот редчайший вариант — со случайной пулей в барабане! Но не могла же я бросить человека, которого чуть не убила?

Он. Ну а потом?

Она. Потом двадцатые годы кончились… В домах уже торжествовал нормальный быт… Муж стал директором цирка, и однажды он сказал, что больше не может жить «в доме без занавесок». Они потом все это говорили…

Он. Сколько их было?

Она. Не все ли равно. Их никого не было — я всегда ждала ЕГО. А эти… эти все жаловались на отсутствие занавесок… Дались им эти занавески! Я, например, их просто не замечала… Я жила по-прежнему идеями! И заодно с занавесками — прозевала, как стала чуть-чуть старомодной…

Он. У тебя опять стали Анины глаза… *(Зовет.)* Аня! Аня! *(Резко, без перехода.)* «И давно вы занимаетесь стенографией, Анна Григорьевна?..» *(Поймал ее недоуменный взгляд.)* «За чаем разговор наш оживился…»

Она *(глядя в книгу).* «Всего полгода».

Он. «Много ли учеников у вашего преподавателя?»

Она. «Сначала записалось более ста пятидесяти. А теперь осталось сто двадцать пять… Многие думали, что стенографии очень легко научиться. А как увидели, что в несколько дней ничему не научишься, — и бросили…»

Он. «Это у нас в каждом новом деле так: с жаром примутся, а потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться у нас кому же охота!..» Хо-хо-хо. «Я рад, что Ольхин предложил мне девицу-стенографа».

Она. «Это почему же?!»

Он. «Да потому что мужчина наверняка бы запил… А вы, я надеюсь, не запьете?» Хо-хо-хо.

Она. Ха-ха-ха!

Он *(зло).* Ты смеешься, потому что не смотришь в свой текст, старуха!

Она. Простите! *(Читает.)* «Я сдержала улыбку… Я решила, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой лад, избегая фамильярности, чтобы никому и в голову не пришло сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему понравилась… Беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Почему-то вдруг разговор коснулся петрашевцев — и Федор Михайлович увлекся воспоминаниями».

Он. «Помню, я стоял на Семеновском плацу, среди осужденных на смерть товарищей, и знал, что мне осталось жить всего пять минут…»

Она *(с очаровательной, наивной улыбкой).* Вызнаете, Федя… Ведь это она все вспоминает? Не так ли? То есть она… ну, как бы произносит текст про себя?

Он. Ага, ты хочешь читать и мой текст тоже? О жадная-жадная актриса!..

Она (*ледяным голосом).* Я никогда не отнимала чужих ролей — и чужих мужчин… (*С угрозой.)* Но свои роли… *(Торопливо читает, будто боясь, что у нее отнимут текст.)* «Помню, я стоял на плацу, среди осужденных на смерть товарищей, и знал, что мне осталось жить всего пять минут. На нас уже надели смертные рубашки и разделили по трое. Я был восьмым в третьем ряду. Первых трех привязали к столбам. Через две минуты они были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь… Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь! Сколько доброго и хорошего мог бы я сделать!.. И так захотелось все вновь испытать! И жить долго! Вдруг послышался отбой… Товарищей моих отвязали от столбов и прочитали новый приговор: мне присудили четыре года в каторжную работу. Не помню другого такого счастливого дня. Я ходил по казематy и все пел, громко пел — так рад был дарованной жизни!»

Рассказ Достоевского произвел на меня жуткое впечатление.

У меня мороз прошел по коже. И меня так поразило, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую увидел первый раз в жизни…

Он. Хо-хо-хо… Я должен был войти в то состояние… Я просто готовился диктовать…

Она *(читает).* «Но диктовка наша все не начиналась… Мне казалось неудобным напомнить о цели моего прихода, и я очень обрадовалась… когда он сам вдруг о ней вспомнил».

Он. Я готов! Сейчас я начну тебе диктовать. Сейчас ты начнешь за мной записывать роман «Игрок», который соединит нас навечно… Но ты еще не знаешь, что слова гения погоняют плетью судьбу. И все, что я продиктую, все, что ты доверчиво запишешь за мной, — страшно случится в твоей жизни: сразу после свадьбы я начну играть — безумно, как играл мой герой… А ненавидимая тобой героиня романа Полина обернется реальной Полиной Сусловой… Но сейчас ни ты, ни я этого не знаем… Я хожу по комнате… и, как пушкинский импровизатор, готовлюсь войти в состояние вдохновения… Так что у тебя есть время — закончить рассказ о себе, старуха…

Она (*послушно, ибо уже оценила эту его новую игру*). Ну а потом… потом… началась война.

Он. И там ты наконец встретила ЕГО.

Она. И опять он оказался не ОН… А я все встречала, встречала, встречала… Я окончила курсы медсестер и уговорила отправить меня на фронт… По дороге… (мое «везение»!) я, конечно, заболела тифом, меня обрили и привезли домой, похожую на старого, желтого китайца… Ха-ха-ха… И все-таки я вырвалась на фронт — правда, только в концертной бригаде… Я пела цыганские романсы… *(Поет.)* Я помню лица молодых солдат… *(Усмехнулась.)* И многие никогда не постарели.

Он. И ты так и не встретила ЕГО?

Она только смеется.

И когда ты перестала надеяться?

Она. Ну что вы, Федя, я и сейчас надеюсь. Я даже отчетливо представляю нашу встречу. Подперев рукой свой постаревший овал лица, я говорю ему: «Ах, мой друг, оцените мое терпение. Я ждала вас добрую полсотню лет. Другая на моем месте давно бы померла! Ха-ха-ха…» А потом как-то позвонил мой муж номер один и сказал, что болен, и попросил зайти. Он стал совсем старый и чужой… Мы сидели в комнате, оклеенной моими фотографиями, и я все искала повод уйти… И в этот миг распахнулась дверь — и с криком «Мама!» вбежала девочка… Оказалось, он взял ее из детдома совсем крохотной. И пока она росла, все показывал ей мои фотографии, все говорил, что я — ее

мама… что я к ним скоро вернусь… И она всегда меня ждала. Она вцепилась в мою руку, и я с ужасом смотрела на него: я поняла, что должна теперь жить с ними всегда… Не могла же я обмануть эту рыдающую от счастья девочку?..

Он *(вопит).* «Лишь бы дитя не плакало!» Здесь! Здесь ты срослась с моей Аней!

Она. Милый Федя! Безумный Федя! Как мне будет не хватать ваших безумств, когда я вернусь к своим детям…

Он. Эта девочка — и есть «твои дети»?

Она *(смеется).* Девочка вышла замуж…

Он. «Лишь бы дитя не плакало!» Носи это и дальше в сердце! Состраданием живи, Аня. В этом и есть — Федя! А то нынче любой сытый злодей клянется Федей, а какой-нибудь преследователь человеков памятник Феде норовит поставить… А я говорю: «Ставьте мне ваши памятники. Только на цоколе написать не забудьте: «Феде Достоевскому от благодарных бесов!..» Ангел мой, Аня, Христос — в тебе… Что тебе больше всего по сердцу пришлось из написанного мной?

Она *(не отвечая).* Как трудно вспоминать… Я — девочка… Я — молоденькая женщина… Я помню это так смутно, как давно отыгранные роли… Хотя нет, свои роли я помню ясно… И Клеопатра, и Офелия… для меня куда реальнее меня самой тогда… В моих ролях было все, что со мной случалось в жизни… Я будто жила для ролей… И сейчас, когда я опять забыла номер своей комнаты, я хорошо помню номер квартиры Достоевского… И этот дом, где теперь живу, кажется мне вымыслом, сном… А единственная моя реальность — здесь: «Солнце моей жизни Федор Достоевский»…

Он *(повторяя).* Ангел мой, Аня, что тебе больше всего по сердцу из написанного мною?

Она. «Преступление и наказание», Федя. Отец любил… И читал мне вслух в детстве.

Он (*хрипло, после паузы).* А какую сцену ты любишь больше всего? Только не спеши… Не погуби меня, голубчик Аня…

Она. Это когда Сонечка… просит Раскольникова — покаяться!..

Он (*как от боли, вопит).* А-а! Я знал, что ты это ответишь! *(Молчание.)* «Мы были… на бале… на бале… на бале…»

Она. Что с вами, Федя?

Он. «И с бала нас прогнали, прогнали, прогнали». *(Хохочет.)* «Прогнали по шеям…»

Прошло несколько дней. Та же гостиная. Федя один. Входит Актриса.

Она *(берет трубку).* Я только позвоню своей гримерше. *(Набирает.)* Алло!.. На юге продолжается хорошая погода… И я запрещаю им приезжать. Баста! Пусть сидят — и ждут моего решения. Все! *(Кладет трубку.)*

Он. Какая деспотка! По-моему, старуха, ты готовишься здесь задержаться?

Она. Ха-ха-ха!

Он. Видишь, я был прав. Я вполне успел бы написать твой портрет. Если бы… *(Остановился.)*

Она *(не выдержав).* Если бы… что?

Он *(неотвечая).* Задело! «Я диктовал роман «Игрок» с двенадцати до четырех часов. В перерывах мы пили чай и разговаривали». *(Наливая чай из термоса.)* И вновь: ваш любимый чай без клюквенного варенья!

Она. Ха-ха-ха! *(Читает.)* «Федор Михайлович с каждым днем относится ко мне все добрее. Он часто называл меня «голубчиком» *(его любимое выражение),* «доброй Анной Григорьевной»… Я перестала его бояться и говорила с ним свободно и откровенно. «Зачем же, Федор Михайлович, вы так часто вспоминаете об одних несчастьях? Расскажите, как вы были счастливы».

Он. «Счастлив? Да счастья у меня, голубчик Аня, еще не было… По крайней мере такого, о котором я постоянно мечтал… Я его только жду…»

Она. «Мне показалось странным, что этот человек в почти старых годах не имеет счастья…»

Он. «Мне предстоят сейчас три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, навсегда там остаться».

Она. «Или?»

Он. «Или поехать за границу на рулетку — и погрузиться всей душой в захватывающую страсть. (*Помолчав.)* Или, наконец, жениться во второй раз и искать радости и счастья в семье. Что бы вы мне посоветовали?»

Она. «Желания ехать на Восток или быть игроком показались мне неясными и как бы фантастическими».

Он. «Так вы думаете, добрая Анна Григорьевна, что я еще могу жениться, что за меня кто-нибудь согласится выйти? Но какую жену мне выбрать — умную или добрую?»

Она. «Конечно, умную».

Он. «Нет, уж если выбирать — возьму добрую. Чтобы она жалела меня и любила…» Как ты хорошо посмотрела, старуха. У тебя стал совсем Анин взгляд — тихий и кроткий. Если я уйду — кто позаботится о тебе?

Она. То есть как?! Почему — уйдете?!

Он. И еще я вот что думаю… Коли у тебя Анин взгляд… вдруг ты и есть — «голубчик Аня»!.. Вдруг ты была прежде совсем не пингвин и не камышовый медведь, а жена моя… Анна Григорьевна, которую я вновь обрел?

Она *(механически)*. Ха-ха-ха!

Он. Подожди! Но что же тогда получается?.. Если я встретил тебя снова… через сто лет… значит… значит, я снова должен на тебе жениться?!

Она *(так же)*. Ха-ха-ха!

Он. А иначе — кто позаботится о моей Ане? Я когда умирал — об этом думал… Иди за меня замуж, старуха! *(Шепотом.)* И бежим отсюда!

Она. Какой очаровательный! Совсем «ку-ку»!

Он. Старуха!

Она. Нет-нет, конечно, я очень польщена, Федя… Жаль, что мы выступаем в несколько разных возрастных категориях.

Он. В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году я был старый, а ты — молодая… Но ты за меня пошла? Чтобы справедливость была, в этом веке у нас все наоборот должно быть? Почему же ты не хочешь? Итак, старуха, сейчас мы будем играть сцену моего официального предложения в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году! Но ты знай, что это относится и к нынешнему времени, — ты поняла?

Она. Двойное предложение! Ха-ха-ха… Но я совсем не готова к такой важной сцене. В эти мгновения женщина должна быть в наилучшей форме. А у меня отвратительно голые руки…

Он. По-моему, старуха, ты хочешь, чтобы я вернул тебе твое кольцо?

Она. На время… пока будете делать предложение. Может быть, это последнее предложение в моей жизни. И я должна быть само совершенство. Ха-ха-ха! Как Сара Бернар, я обожаю драгоценности на сцене.

Он. Надеюсь, помнишь мой принцип: в этом веке — ничего задаром? *(Вздохнув.)* Ну, хорошо, компромисс: я дам тебе поносить кольцо — в долг!

Она. Я никогда не брала в долг! Сама — давала, но не брала! Это мой принцип.

Он. Ага, значит, я должен уважать твои принципы, а ты можешь плевать на мои? Все, старуха! Соблюдаем мой принцип: я дам тебе поносить твое бывшее кольцо за то… что ты отдашь мне твои нынешние серьги!.. Хо-хо-хо!

Она. Ну, знаете!..

Он. Феде нужен капитал, старуха, чтобы содержать гения

кота и, возможно, жену Аню, которой я сейчас сделаю предложение.

Она. Ха-ха-ха… Где наша не пропадала! Согласна: остаюсь нагая! Ха-ха. *(Снимает серьги, надевает кольцо, поигрывает им.)*

Он. За дело! Поверь, нам нужно спешить!

Она *(открывая книгу)*. «У нас уже повелось: когда я приходила стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал в те часы, когда мы не виделись».

Он *(усмехаясь)*. «В эти дни я придумывал новый роман».

Она. «И кто же герой нашего романа?»

Он. «Художник. Человек немолодой, одним словом… моих лет».

Она. «Интересный роман?»

Он. «Для меня он очень интересен. Только вот с концом романа сладить не могу… Тут замешалась психология молодой девушки… И вот теперь за помощью обращаюсь к вам…»

Она. «Я с гордостью приготовилась помогать «известному писателю»… И полилась его импровизация! Никогда — ни прежде, ни после — я не слышала от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа… Чем дальше он шел, рассказывая «роман», тем яснее мне становилось, что Федор Михайлович рассказывает всю свою жизнь: суровое детство… ранняя потеря любимого отца… какие-то роковые обстоятельства, которые отрывают художника на десятки лет и от жизни, и от любимого искусства… Тут было и возвращение к жизни. И встреча с женщиной, и муки, доставленные ему этой любовью… Душевное состояние героя, его одиночество, жажда новой жизни, потребность любить и страстное желание вновь найти счастье… При этом Федор Михайлович не жалел для своего героя самых темных красок…»

Он. «Это был человек преждевременно состарившийся, больной неизлечимой болезнью, хмурый, подозрительный… правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства… Художник, может быть, талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в формах, о которых мечтал».

Она. «Зачем же вы так обидели вашего героя?»

Он. «Я вижу, он и вам не симпатичен?»

Она. «Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце… Ведь другой, испытавший столько горя, ожесточился бы, а ваш герой все еще любит людей… Нет, вы решительно к нему несправедливы».

Он. «Я согласен: у него действительно доброе, любящее сердце… *(Тихо.)* Как я рад, что вы его поняли! И вот он встречает

на своем пути девушку ваших лет… Назовем ее Аней, чтобы не именовать «героиней», это имя хорошее».

Она. «В ту минуту я совсем забыла, что меня зовут Аней… так мало я думала, что рассказ имеет ко мне отношение…» Ха-ха-ха! «… Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила: «А хороша ли собой ваша героиня?»

Он. «Не красавица, но очень недурна. Я люблю ее лицо… Художник встречал ее… ну, допустим, в художественных кружках… И чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он сможет найти счастье… Но мечта эта представлялась ему невозможной… Что он может, старый, больной человек, обремененный долгами, дать молодой, жизнерадостной девушке? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и летам, могла полюбить моего художника… Не будет ли это психологической неверностью?»

Она. «Что в том, что он болен и беден? Неужели любить можно лишь за внешность и за богатство? Если она не пустая кокетка, а обладает хорошим сердцем, почему ей не полюбить вашего художника?»

Он. «Значит, вы серьезно верите, что она могла полюбить его искренне и на всю жизнь?.. *(Долго-долго молчит.)* Поставьте себя, голубчик Аня, на минуту на ее место. И… представьте, что этот художник — я… Что это я признался вам в любви и просил быть моей женой… Скажите, что бы вы мне ответили?»

Она. «Лицо Федора Михайловича выражало такую сердечную муку!» *(Долгое-долгое молчание.)* «Я бы вам ответила… что я вас люблю и буду любить всю жизнь!»

Он *(кричит).* «Всю жизнь»! Всю жизнь?.. Скажи лучше: «Все жизни!» Но тогда?.. *(Нежно.)* Тогда ты должна сейчас идти за меня, старуха! Я прошу тебя: будь моей женой, а?

Она *(неловко).* Ха-ха-ха… Вернемся лучше в прошлое, Федя. Там у нас все куда удачнее…

Он. Значит, ты не хочешь? Точно? *(После паузы.)* Вот ты и приговорила меня. Теперь без угрызений совести я уйду…

Она. Как?.. (*Почти пугаясь.)* Куда?

Он. Так всегда в жизни: грозилась уйти отсюда ты, а ухожу я…

Она *(помолчав).* Когда?

Он. Скоро… Может, очень скоро… Потому нам нужно спешить… спешить… чтобы успеть все доиграть, Аня…

Она. Соскучился по вольной жизни, Федя?

Он *(не отвечая*). Итак, сразу после свадьбы мы уехали с тобой в путешествие за границу. Но я оставил тебя в первом же

отеле! Я умчался за рулетку!.. Я посылал тебе безумные письма! Игра! Игра! Игра!.. Ты вспомнила дьявольский роман?

Она *(не отвечая)*. А в общем, так у меня всегда… Клялись, добивались… А потом: «Где занавески?» Ха-ха-ха! Я их не любила, но бросали меня — они… Театр — это единственный мужчина, которого бросила я. Ха-ха-ха! Может быть, потому, что он был единственный, кого я любила?..

Он. Обиделась, старуха? И я — обиделся! Как же ты могла подумать, что я добровольно тебя покину?.. Ты сама приказала мне уйти… Только наша свадьба могла отменить твое приказание… Но ты не захотела.

Она. Что вы несете, Федя?

Он. Сейчас я начну читать мои письма с рулетки… И ты поймешь, что такое колдовство игры… Ах, это мучительное ожидание решающей минуты… Все естество замирает… Ты над бездной… О, кто раз это вкусил! Это — навечно. И я остался игроком — в этом веке! И буду им во все века! Но я подумал: Федя Достоевский играл — и всегда проигрывал! И потому по справедливости — в этом веке я должен непременно выигрывать! И я стал… как бы это сказать — вечным победителем в игре… То есть… *(Замолчал.)*

Она. Шулером?

Он. Но с возрастом все чаще приходила мысль: а может, все это я придумал — «про справедливость»? Может, я попросту перестал быть мучительным Федей, а стал — обыкновенный, сытый вор? И однажды я решил покаяться… Я сказал об этом партнерам… Как они меня били!.. Чудом — не убили!.. Вот почему я приполз сюда… Но все их боялся!.. И от подлого страха за падальную свою жизнь — я под диван и заполз!.. Но все равно раскаянием мучился… И вот тогда я спросил тебя… мою Аню — про любимую книгу… И Аня устами твоими, старуха, мне и приказала: «Как Родя Раскольников, покайся!» И сегодня утречком — я позвонил… Скоро, скоро они придут за мной!

Она *(после паузы)*. Послушайте, Федя, а может, все это вам… привиделось?

Он *(охотно)*. Может. *(Шепчет.)* А может, и нет… Скоро, скоро узнаем… *(Протягивает рукопись.)*

Она. Что это?

Он. Твои записи, Аня. То, что ты писала в дневник… когда мои письма с рулетки получала…

Она. Как я не люблю читать с листа…

Он. А ты представь: прошло много лет… И вот ты с трудом… разбираешь свои записи… и читаешь… Итак, мое первое письмо к тебе… после того, как я на рулетку уехал… «Гамбург,

восемнадцатого мая тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года…»

Она. Как… опять… наизусть?..

Он. Неужели ты думаешь… что я могу забыть свои письма к Ане? Или ты все еще не веришь, что я — он? *(Повторяет.)* «Гамбург, восемнадцатого мая… День вчера был холодный и даже дождливый… А тут игра, от которой не мог оторваться! Можешь представить, в каком я был возбуждении! Представь себе: начал играть — и к обеду проигрался! Вот мое наблюдение, Аня, окончательное: если быть благоразумным, то есть быть как из мрамора холодным и нечеловечески осторожным, то непременно, без всякого сомнения, можно выиграть сколько угодно! Но играть надо много времени, много дней, довольствуясь малым, если не везет, и не бросаясь насильно на шанс! Постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтобы быть благоразумным! Но с другой стороны — я никак не в силах оставаться здесь еще на несколько дней! Безо всякого преувеличения, Аня, мне до того все это противно, что я бы убежал! А как еще вспомню о тебе — так и рвется к тебе все существо… Ах, Аня, нужна ты мне, я это почувствовал!.. Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным. Это только снаружи таков я — надломленный и испорченный судьбой! Внутри же — другое дело, поверь, поверь!..»

Она *(читает).* «Я была так счастлива этим письмом… Прочла его два-три раза и украдкой поцеловала… Как Федя умеет писать письма — будто говоришь с ним… Пришла домой и еще прочла письмо четыре раза…»

Он. «Двадцатого мая, Гамбург… Милая моя, простишь ли ты меня?.. Веришь ли, я проиграл все, все до последней копейки, до последнего гульдена! Решил написать тебе, чтобы поскорее прислала мне деньги на выезд. Но вспомнил о часах и пошел их продать или заложить… И представь, на эти деньги отыгрался. Что-то сегодняшний день?..»

«Двадцать первого мая. Милый мой ангел, вчера испытал ужасное мучение: иду на почту — и вдруг отвечают: нет от тебя письма. У меня ноги подкосились, не поверил! Бог знает, что мне приходило в голову, клянусь тебе: более мучения и страху я никогда не испытывал! Мне все приходило в голову. Что ты больна, умираешь! С час я ходил по саду весь дрожа, наконец пошел на рулетку и все проиграл! Руки у меня дрожали, мысли терялись, и, даже проигрывая, почти как-то рад был, говорил: «Пусть, пусть!» И вдруг мне мелькнула мысль, ведь, в сущности, ты не могла успеть бы прислать мне ответное письмо… И я тотчас будто из мертвых воскрес… Аня, милая, что же такое ты для меня

значишь, коли я так мучаюсь? Ведь я еще никогда, никогда до такой степени не мучался и не боялся, как вчера, в тот ужасный час! Нет, Аня, сильно надо любить, чтобы так чувствовать…

Если же ты не больна и все как следует, то, друг мой, с получением этого письма тотчас же займись поскорее моими делами. Слушай же: игра кончена — хочу поскорее воротиться, пришли же мне немедленно двадцать империалов… Немедленно! В тот же день, в ту же минуту! Обнимаю тебя крепко, целую бессчетно, твой весь, твой муж, тебя обожающий!..»

Она. «Двадцатого мая. Федя писал, что все проиграл. Я пришла домой и страшно расплакалась. Я плакала долго и много и просила Федю, чтобы побыстрее приехал. Мне страшно без него оставаться… или меня тяготит мысль… что выигрыш в рулетку — это нечестное дело? Лучше не разбирать этих чувств…»

Он. «Двадцать второго мая. Вчера получил твое письмо и обрадовался до безумия. И вместе с тем ужаснулся… Что же ты с собой делаешь, Аня, в каком находишься состоянии?.. Ты плачешь, не спишь и мучаешься? Каково мне было об этом прочесть? Милая моя, ангел мой бесценный, сокровище мое, я тебя не укоряю, напротив, ты для меня еще милее, бесценнее с такими чувствами!.. Каждый день, вставая утром, я решал про себя, что это последний мой день в Гамбурге, что завтра уеду и, следственно, нельзя мне выжидать у рулетки. Я спешил поскорее, изо всех сил выиграть сколько можно было — зараз! В один день. Потому что завтра ехать хотел! Хладнокровие терялось — нервы раздражались, я пускался рисковать… и — проигрывал!! Вся ошибка в том, что мы разлучились… что я не взял тебя с собою… И я о тебе тоскую — и ты чуть не умираешь без меня!.. Но посуди, что было, например, вскоре со мною: отправив письмо с просьбой выслать мне деньги, я пошел в игорную залу… Я употребил сверхъестественное почти усилие — быть хладнокровным целый час. Я выиграл триста гульденов. Я был так рад и так страшно, до безумия захотелось мне сегодня же, поскорее все покончить, выиграть хотя бы вдвое — и немедленно ехать к тебе, что, не дав себе отдохнуть, бросился на рулетку — и все, все проиграл до последней копейки!..»

Она *(долго смеется).* «Прочла и увидела, что Феде, видимо, очень хочется остаться и еще поиграть… Я ему тотчас написала, что, если хочет, пусть остается там. Я предполагаю, что он останется. Пусть лучше эта несчастная идея выигрыша выйдет у него из головы!..»

Он. «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй подлецом! Я сделал преступление — я все проиграл, что ты мне прислала, — все-все, до последнего крейцера, вчера же

получил — и вчера проиграл! Аня, как я буду глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь? Одно, только одно ужасает меня — что ты скажешь, что подумаешь обо мне? Один твой суд мне и страшен!..

… Аня, только бы мне любви твоей не потерять!.. Теперь поскорее к тебе. Присылай скорее, сию минуту денег на выезд — хотя бы они были последние!»

Она. «А потом Федя вернулся… Но уже скоро, рассчитывая наши деньги, он сказал, откладывая сто франков на стол: «А вот на эти деньги я отправлюсь играть в Саксон Ле Бен». Вот ведь странный человек. Кажется, судьба так много раз показывала, что ему не разбогатеть на рулетке, — нет, этот человек неисправим, он все-таки убежден — я уверена: убежден, — что непременно выиграет!.. «Коли ты согласна?» — спросил меня он. «На все согласна». Он это согласие должен ценить, что я никогда ни о чем не спорю, а всегда стараюсь как можно скорее согласиться, чтобы не было ссоры… Вечером мы говорили о Евангелии и Христе, говорили долго. Меня всегда радует, когда он со мною говорит не об одних обыкновенных предметах — о кофе да сахаре… Ночью, когда он пришел прощаться, то много и нежно меня целовал, сказал, что решил завтра ехать, чтобы непременно вернуться в воскресенье, потому что долго без меня пробыть не может. «Я жить без тебя не могу — как мы срослись, Аня, и ножом не разрежешь…» А потом, в постели, он сказал: «Вот для таких, как ты, — и приходил Христос. Я говорю не потому, что люблю тебя, а потому, что знаю тебя».

Он. «Ах, голубчик, не надо меня и пускать к рулетке: сердце замирает, руки-ноги дрожат и холодеют… С первых ставок спустил пятьдесят франков, потом вдруг поднялся, не знаю на сколько, потом пошел страшный проигрыш. И вдруг отыграл… на самые последние отыграл все мои… и, кроме того, в выигрыше — сто десять франков… Если что-нибудь еще прибавлю к выигрышу, то завтра же непременно пошлю тебе, а сам, наверное, приеду послезавтра, то есть во вторник!..»

Она. «Сегодня — вторник, я встала довольно рано и тотчас принялась за Федино пальто. Мне хотелось, если бы Федя приехал даже и сегодня, пальто было бы готово — если не все, то хотя бы наполовину. Но когда я посмотрела на пальто, то оно оказалось до такой степени грязное… Мне пришло в голову отдать его в стирку — но надо было заплатить непременно франка два, а у нас этих франков — ужасно мало… На почте я получила письмо от Феди: он извещал, что сходил на рулетку: сначала было все проиграл, но потом как-то отыгрался и даже выиграл сто франков, хотел было послать их мне, да подумал, что

мало и что, если у него будет хотя бы еще сто, — непременно пришлет их мне. «Ну, — подумала я, — это все пустяки — больше ничего ты, батюшка, мне не пришлешь, это известное дело». Потом я пришла домой, пообедала и опять принялась за шитье, так что пальто сильно подвинулось!..»

Он. «Аня, милая, я хуже, чем скот! Вчера к десяти часам был в чистом выигрыше: тысяча триста франков! Сегодня — ни копейки! Все! Все проиграл! И все оттого, что подлец лакей не разбудил, как я приказал, чтобы ехать в одиннадцать в Женеву. Я проспал! Нечего было делать, надо было отправляться в пять часов, я пошел в два часа на рулетку — и все! Все проиграл! Осталось четырнадцать франков — ровно чтобы доехать… Душа ты моя, радость ты моя. Брани меня, скота, но люби меня. А я тебя люблю безумно. Теперь чувствую, как ты мне дорога!.. До свидания, до скорого!..»

Она. «… Наконец поезд пришел. Федя показался у двери вагона со страшно расстроенным лицом. Я поняла, что это значит — полная неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен. Мы вышли, я начала его утешать!»

Он. «Вот беда-то какая… вот беда… Видишь, у меня даже пальто нет, там оставил, хорошо, что еще тепло, а то я мог бы простудиться… Ведь у меня было тысяча триста франков!! В руках!! Я велел разбудить себя, чтобы ехать в утреннем поезде, но подлец лакей не думал меня будить — и я проспал. Потом пошел — и все проиграл… Потом заложил пальто».

Она. «Я даже не слушала, что он говорит: вот, думала, давалось счастье в руки — не мог привезти домой выигранного… Хотя я про себя уверена, что лакей разбудил его вовремя… Тут явилась мысль: дескать, я непременно выиграю, не только что одну какую-нибудь тысячу, а уж наверное — десять, чтобы облагодетельствовать всех своих подлецов родственников. Ну, разумеется, дикие мысли пошли: вдруг разбогатеть! Вот и пошел — и все проиграл!..

… Потом Федя лежал на постели, думая заснуть, и ужасно как мучился мыслью, что все проиграно — опять вещи закладывать, эта подлая необходимость!.. Ночью, в десять минут третьего, с Федей сделался припадок. Припадок был из сильных. Через десять минут Федя пришел в себя и говорил со мной, но очень долго не мог припомнить, где он был, откуда приехал. Это его очень мучило. Утром я пошла на кухню заваривать кофе, и старухи хозяйки начали ужасно жалеть Федю. Я рассказала это Феде, а он тотчас придумал историю…»

Он. Хо-хо-хо. «Когда мы съедем, они начнут рассказывать: «Ах, у нас жили русские, такая молодая, интересная особа, всегда

такая веселая… и старый идиот. Он был такой злой, что ночью падал с постели, и делал это назло! Ах, он был такой злой, и эта бедная молодая особа!» Хо-хо-хо! *(Вдруг безумно.)* Аня! Аня! Я слышу! Они подходят к дому, я чувствую. *(Бросается к двери, закрывает задвижку.)*

Она. Кто — «они», Федя?

Он. Скоро они войдут! Убежим! Еще есть время!..

Она. Ну не надо безумствовать… Мы так хорошо читали…

Он. Старуха, я отобрал у тебя все драгоценности. У тебя ничего нет! Ты беспомощна, как все красавицы… Ты сгинешь здесь без меня — уже через месяц!

Она *(сухо)*. Через месяц… Я давно вернусь домой, мой дорогой «ку-ку»!

Он. Тебе некуда возвращаться — у тебя нет дома!

Она. Что вы мелете, негодяй!

Он. И никакие дети не ждут тебя.

Она. Замолчите!

Он. Ты думаешь… я не знаю, какой гримерше ты звонишь по телефону? А ну-ка набирай! Ну, что ж ты?

Она. Оставьте меня!

Он. Как? Ты больше не хочешь беседовать с твоей преданной гримершей? Ты не хочешь, как всегда, поговорить с ней по телефону… который, правда, не соединяет с городом… Потому что он — местный! Хо-хо-хо! Что ты молчишь, старуха? Они сдали тебя в этот дом! Обещали забрать — и не забрали! Великую актрису! Хо-хо-хо!

Она молчит.

У тебя нет никого! Один я!.. В последний раз: выходи за меня, старуха! Ты ведь была моей женой когда-то! Целых четырнадцать лет! Я буду тобой любоваться! Я буду о тебе заботиться, как ты когда-то — обо мне… Почему ты молчишь, великая, старая и никому не нужная актриса?

Она *(бешено)*. Милый мой, вы зарвались!.. Вы вообразили себя Достоевским, и я охотно вам подыгрывала!.. Я даже согласилась вообразить себя Актрисой… Ха-ха-ха!

Он. То есть как?.. Ты что?

Она. Но должны быть пределы безумию!.. *(Яростно, кап монолог из драмы.)* Хоть вы и сумасшедший — но как вы осмелились подумать… что она… Великая Актриса может быть — не нужна? Как вы дерзнули произнести своим жалким языком, что ее — от которой сходили с ума толпы — можно сдать в этот жалкий дом?.. Я была рядом с нею, когда в двадцатом году, после спектакля, толпа выпрягла лошадь — и везла ее на себе домой!!!

И все ее нумерованные мужья, уйдя от нее, обожали ее!!! Всю жизнь!!! И ей достаточно было бы слово сказать — и они примчались бы! Принеслись бы к ней!

Он. Откуда — принеслись?

Она *(засмеялась).* С того света, мой друг! Оттуда тоже прибегают, если любят! Но ты не можешь этого понять, мой жалкий товарищ.

Он. Что ты несешь, Старая Актриса?

Она. Заткнись, идиот! Актрисы здесь нет и быть не может! *(Засмеялась.)* Ее с год как… нет… *(Опять выспренно, пак монолог.)* Как она умирала? Она умела умирать — она столько раз это делала на сцене… «Святые доски сцены…» — их она видела в забытьи… И все разговаривала с умершими партнерами… со своими великими мертвыми партнерами… Они стояли вокруг ее кровати — они не бросили ее, они помогли ей сыграть последний спектакль. Она вовремя набросила одеяло на лицо, чтобы агония не исказила черты… И сказала мне… мне!., свою последнюю фразу: «Помни, когда меня сожгут, я буду стоять рядом с тобой и смеяться над теми, кто поверит, что я исчезла… Яне исчезну… я только «спрячусь в природе…» Ха-ха-ха!» Иона засмеялась. *(Смеется.)* Я всегда умела смеяться точно так, как она… Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Ей это нравилось… Как и мне, впрочем… Потому что есть такая пословица: «Когда у женщины красивые зубы, она все находит смешным». Ха-ха-ха!.. Как я мечтала умереть раньше нее! Но она, как обычно, не посоветовалась со мной… И когда я очутилась здесь — я сказала себе: ты была ее гримершей всю жизнь… ты заслужила право хоть немного побыть ею!.. Жаль, что вы погубили эту игру.

Долгое молчание… Он опускается перед ней на колени.

Он. Значит, это ты всю жизнь любила… и всю жизнь служила?.. (*Целует ей руки.)* Значит, это ты — моя жена Аня? *(Зовет.)* Аня! Аня! Аня!

Стук в дверь.

Голос из-за двери. Можно Федю?

Он. Федю? Феди нету!

Голос. А кто вы?

Он. Я? *(Безумно.)* Я — Федя…

Голос. Тогда откройте!

Стук.

Он. А Феди нету!

Голос. А кто вы?

Он *(совсем безумно).* Я? Я — Федя.

Резкий стук.

(Кричит.) Не стучите! А то болит голова! В ней стук остается!.. Не стучите! Не стучите! Не стучите!

Стук затихает.

Аня, я скоро приду… Ты жди меня, Аня… Как всегда ждала! *(Усмехнулся.)* И пальто починить не забудь… Она. Федя! *(Бросается к нему.)* Федечка! **Он.** Когда я уйду… прочти мою смерть… А я послушаю… за дверью…

Стук в дверь.

Голос. Можно Федю?..

Он. Феди нету!

Голос. А вы кто?

Он. Я — Федя. *(И вдруг резко срывается, бросается за дверь. Дверь захлопывается.)*

Она *(бессильно стучит в закрытую дверь).* Федя! Феденька! *(Бьется в дверь.)* Федя!

Голос Феди. Аня! Аня! Пустите меня к ней! Она разбила мою жизнь! Аня! Ну что же ты?! Ну скорее, читай. Аня, они уводят меня…

Она *(ковыляет к столу, берет книгу).* Он… умер?

Голос Феди. Он умер.

Она *(начинает читать).* «Двадцать седьмого января тысяча восемьсот семидесятого года… Проснулась я около семи утра и увидела, что муж мой смотрит в мою сторону… «Знаешь, Аня, я уже три часа не сплю и все думаю… и только теперь я осознал ясно, что сегодня умру…» *(Плачет.)* «Голубчик, зачем ты это думаешь? Ведь теперь тебе лучше, кровь больше не идет?.. Ради Бога, не мучай себя, ты будешь жить, уверяю тебя!» — «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть… зажги свечу и дай мне Евангелие». Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу женами декабристов в Тобольске, когда он ехал на каторгу, и было с ним всю жизнь… Он часто, задумав что-то или сомневаясь в чем-либо, открывал Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице *(левой от читавшего).* И теперь он сам открыл святую книгу… Открылось «Евангелие от Матфея». *(Рыдает.)* «Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду…» — «Ты слышишь — «не удерживай»… значит, я умру», — сказал муж и закрыл книгу… Я не могла удержаться от слез. Федор Михайлович стал утешать меня, говорил мне ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую прожил со мной. Затем он сказал мне слова, которые редкий из

мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе даже мысленно».

Возникает тишина, очень долгая тишина. И вдруг раздаются бурные аплодисменты. Крики «браво!» в мегафон. Дверь распахивается — и влетает Федя.

Федя. Ах, какой финал! Брависсимо! Поздравляю: съемка кончилась! *(Орет.)* Ночные актеры! Быстрее стягивайте с себя одну личину, чтобы оставить другую!.. Хо-хо! Можешь разгримироваться, старуха! Ты здорово сыграла финал. У меня — мурашки по спине. *(Хлопает.)* Аплодируют и все бараны в зале! *(Овация за дверью.)* Слышишь — дружки в пивбар ждут! Хо-хо-хо!

Она молча, почти в ужасе глядит на него.

Ну, что вылупилась?.. Сколько я звонил тебе за эти годы — сколько унижался?.. Ах, сыграйте в моем фильме «Чайковский». Хо-хо! Узнала? По-моему, ты потрясена, карга? Тогда — тысяча пардонов! Но у меня не было выхода: ты должна была сыграть в моем гениальном фильме — про Федю Достоевского! Здорово я вытащил из тебя Аню? Сколько сил! Я рад, я не ошибся в тебе. Ты по-прежнему — великая! Ай да я, ай да Федя! Гений!

Она начинает хохотать. Она безумно хохочет.

Она *(погибая от смеха).* А я все думала, на кого вы похожи? И только теперь поняла! На моего мужа номер три! Он был тоже режиссер! И тоже был помешан на том, что все делает гениально! Он так храпел во сне, что я его всегда будила и умоляла: «Пожалуйста! Не спи как гений! Спи как все». Ха-ха-ха!.. Значит, и директор этого дома?..

Он. Ага! Хо-хо-хо! И твои дети, кстати, тоже!.. Они никуда не уезжали!

Она. Ха-ха-ха! Они готовятся обнять свою бабулю?

Он. Угу! Они спят и видят на экране обвал твоего лица!.. Хо-хо-хо! *(Бормоча.)* Всех дураков обманул Федя! Все так хорошо получилось!

Она. Ха-ха-ха! Да, все отлично! И чтобы стало совсем замечательным, вы сейчас ноги в руки — и вон отсюда! *(Орет.)* Убийца!

Он *(изумленно).* Не понимаю, старуха?

Она *(захлебываясь).* Ты убил Федю? *(Издеваясь.)* Может, это его я ждала полсотни лет!.. *(Вопит.)* Однако здесь все еще пахнет режиссером. *(Ковыляет к вазе.)* С режиссерами в моей жизни давно покончено! *(Швыряет в него вазу.)* Вон! *(Швыряет в него ведро с хлоркой.)* Вон! Вон! Вон!

Он (*уворачиваясь).* И чего шумит?.. Я и так ухожу отсюда… Я

всегда ухожу… когда съемку закончил…

Она *(потерявшись).* Какую… съемку?

Он *(вдруг шепотом).* А я тебе не объяснил? Я по-новому снимаю *(таинственно),* без пленки. *(Отходя к дверям.)* Я уже сколько лет так снимаю: и про Чайковского так снимал… и про Толстого Льва… и про Высоцкого Володю… А теперь вот — про Аню и Федю… снял! *(Совсем безумно.)* Надо только верить! *(Подмигнул.)* Мы-то с тобой верим, ведьма: «Не улетают слова — и остается произнесенное… И воображение — реальнее реальности…» Это открыл я, Федя, — режиссер, гений! Хо-хо-хо! *(Убегает.)*

Она одна. Долго сидит молча, потом улыбнулась.

Она. Это был он?.. Ха-ха… «Мы были на бале… на бале… на бале…» (*Останавливается, будто ожидая голоса из-под дивана.)* «И с бала нас прогнали…» (*Вновь вслушивается, но в комнате тишина.)* «Прогнали по шеям…» (*Она со вздохом поднимается и как-то трудно, волоча ноги, идет к эстраде, поднимается и медленно начинает.)* «Солнце моей жизни Федор Достоевский… В тысяча девятьсот десятом году, живя в полнейшем уединении, я погрузилась душой в прошлое, столь для меня счастливое…»

notes

Примечания

1

Исчислено, исчислено, взвешено, разделено (Дан., V, 25–28)